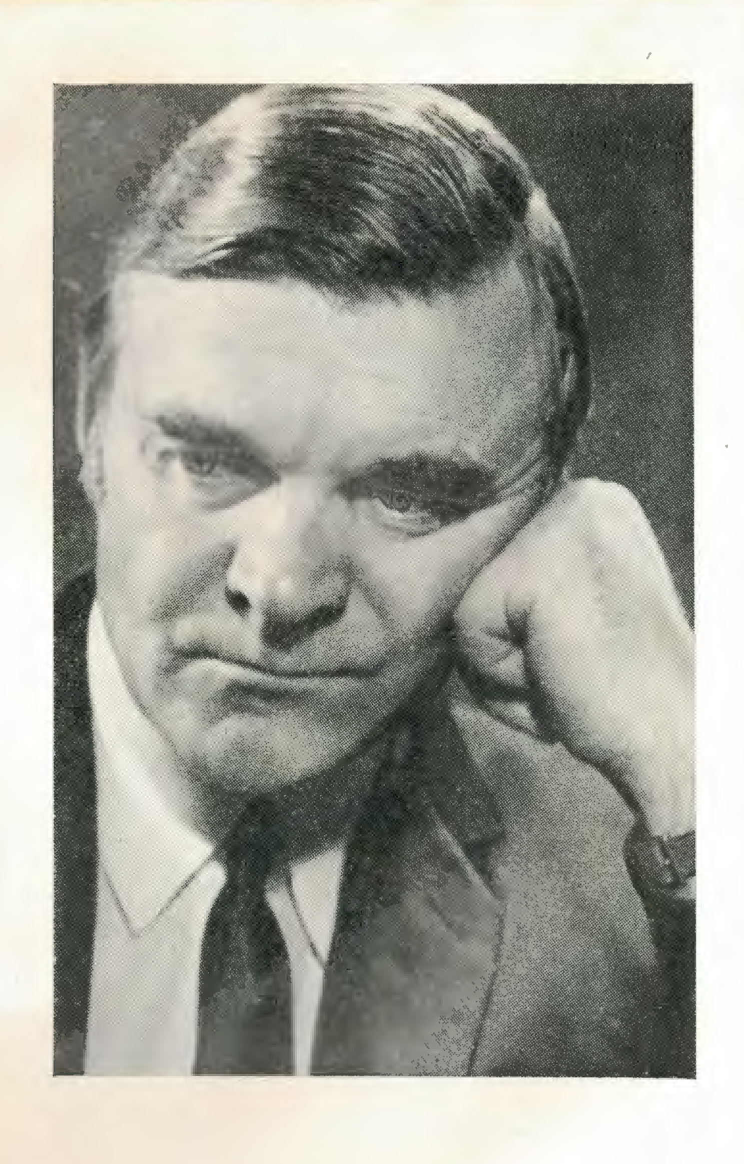
ЮРИЙ БОНДАРЕВ

Последние залпы

Тишина



ЮРИЙ БОНДАРЕВ

ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ

—

ТИШИНА

Повесть и роман

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1980

Р2
Б81

Художник А. Г. Кобрин

Б $\frac{70302-138}{М\text{-}105(03)80}$ 90—80 4702010200

ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ

ПОВЕСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В двенадцатом часу ночи капитан Новиков проверял посты.

Он шел по высоте в черной осенней тьме — над головой густо шумели вершины сосен.

Острым северным холодом дуло с Карпат, и вся высота гудела, точно гулко вибрировала под непрерывными ударами воздушных потоков. Пахло снегом.

Редкие ракеты, сносимые ветром, извивались над немецкой передовой, догорали за темным полукружьем соседней высоты. В низине справа, где лежал польский город Касно, беззвучно вспыхивали, гасли неопределенные светы, как будто задувало их.

Молчали пулеметы.

Новиков не видел в темноте ни орудия, ни часовых, шел — руки в карманах, ветер неистово трепал полы шинели,— и странное чувство тоски, глухой затерянности в этих мрачных, холодных Карпатах охватывало его. Приступы тоски появлялись в последнюю неделю не раз — и всегда ночью, в короткие затишья, и объяснялись главным образом тем, что четыре дня назад, при взятии города Касно, батарея Новикова впервые потеряла девять человек сразу, в том числе командира взвода управления, и Новиков не мог простить себе этого.

— Часовой! — строго окликнул Новиков, останавливаясь, по звуку голосов угадывая впереди землянку первого взвода, вырытую в скате высоты.

Ответа не было.

— Часовой! — повторил он громче.

— А?

Что-то черное завозилось, шурша плащ-палаткой, возле входа в землянку, голос из темноты отозвался сдавленно:

— А! Кто тут?

— Что это за «а»? Черт бы драл! — выругался Новиков. — В прятки играете?

— Стой! Кто идет? — преувеличенно грозно выкрикнул часовой и щелкнул затвором автомата.

— Проснулись? Что там за колготня в землянке? — спросил Новиков недовольным тоном. — Что молчите?

— Овчинников чегой-то шумит, товарищ капитан, — робко кашлянув, забормотал часовой.— И чего они разоряются?

Новиков толкнул дверь в землянку.

Плотный гул голосов колыхался под низкими накатами, среди дыма плавали фиолетовые огни немецких плошек, мутно проступали за столом и на нарах красно-багровые лица солдат — все говорили разом, нещадно курили. Командир первого взвода лейтенант Овчинников, заметный красивым, самолюбивым ртом, ударил кулаком по столу, пошатываясь, встал, затем, небрежно оттолкнув на бедре тяжелую кобуру пистолета, скомандовал с веселой властностью:

— Прекратить галдеж и слушай тост! За Леночку! А, братцы? Пить всем!

Смутный рев голосов ответил ему и стих: все увидели молча стоявшего в дверях капитана Новикова. Он медленно обвел взглядом лица солдат.

— Значит, пыль столбом? — произнес он, хмурясь.— И санинструктор здесь?

То, что веселье это происходило в восьмистах метрах от немецкой передовой и люди, зная это, не сдерживали себя, не удивило его. Странно было то, что здесь, среди едкого махорочного дыма, среди этого нетрезвого шума, сидела на нарах санинструктор Лена Колоскова — сидела она, охватив руками колени, и, покачиваясь взад и вперед, разговаривала с умиленно расплывшимся замковым Лягаловым, смеялась тихим, грудным, ласковым смехом.

«Смеется каким-то жемчужным смехом,— не без раздражения подумал Новиков. — Она пьяна или хочет понравиться лейтенанту Овчинникову. Зачем ей это?»

И, стараясь еще более возбудить в себе неприязнь к этому легкомысленному смеху, он быстро посмотрел на нее, потом на Овчинникова, спросил:

— Что у вас тут? Свадьба?..

Он произнес это, должно быть, грубо — все замолчали. Лена вопросительно перевела на него взгляд и вдруг легко и гибко спрыгнула с нар, подошла к Новикову, блестя яркими, чуть прищуренными, улыбающимися глазами.

— Да, именно, — сказала, откидывая голову, — здесь свадьба. Поздравьте меня и Овчинникова. Лейтенант Овчинников! — приказала она. — Дайте водки капитану!

Что это с ней? Она не была пьяна, кажется (а вообще не поймешь!), и дерзко, смело глядела снизу вверх, — тонкая нежная шея окаймлена воротом, узкие плечи, крепкая маленькая грудь обтянута суконной гимнастеркой, сжатой в талии широким ремнем.

Не раз ловил себя Новиков на том, что его непривычно смущала постоянная вызывающая смелость санинструктора, — он почувствовал, что покраснел на виду мгновенно притихших солдат, и, разозленный на себя за это, резко сказал:

— Вы всегда неудачно шутите, товарищ санинструктор! — И, повернувшись к лейтенанту Овчинникову, договорил тоном приказа: — Прекратить! Что это за веселье? С какой радости? Всем отдыхать!

Лейтенант Овчинников, самолюбиво сузив светло-трезвые глаза на недопитый стакан, спросил:

— За что вы, товарищ капитан? Мой день рождения. Не признаете? Двадцать шесть стукнуло. Лягалов, налей комбату! Ломанем, товарищ капитан?.. Чтоб пыль на всю Европу, а?..

Замковый Лягалов, солдат пожилой, некрасивый, низкорослый, обросший золотистой щетинкой на худых щеках, помигал конфузливо на Овчинникова, на комбата, неуверенно налил из фляги полную кружку, протянул Новикову:

— Товарищ капитан, не побрезгуйте, стало быть... Чистая-а!

Считался Лягалов непьющим, и то, что он пил сейчас и протягивал кружку, вконец испортило настроение Новикову. Он оттолкнул руку Лягалова, хмуро усмехнулся:

— Поздравляю.— И, ссутулившись, шагнул к выходу.

Но уже на пороге услышал позади неловкую тишину, и стало ему неприятно оттого, что он только что внес в землянку, к солдатам Овчинникова, которых любил, холод и недовольство. Он знал, что Лена была развращена постоянным мужским вниманием, — это, разумеется, было связано с ее прошлой службой в полковой разведке. Она пришла в батарею месяца два назад после непонятной истории в полку, о которой всезнающие штабные писаря выпуждены были молчать. Был слух, что она в порыве гнева едва не застрелила адъютанта командира полка, однако Новиков мало верил этому. Походили на правду иные слухи: говорили о ее особенной близости с разведчиками. И Новиков, видя ее маленькую точеную фигуру, ее порочно аккуратную грудь, обрисованную гимнастеркой, лучисто-теплый свет ее глаз, когда она улыбалась, часто слыша ее смех, который тоже был как бы тайно порочен, испытывал болезненные приступы раздражительности. Оттого, что она, казалось, была доступна всем, она была недоступной для него. В первые дни пребывания нового санинструктора в батарее был он совсем нестеснителен, полунасмешлив, иногда в присутствии ее не сдерживался в сильных выражениях, —не божий одуванчик, не то видела!— а после, лежа в своей землянке, он, мучаясь, вспоминал то чувство, какое испытывал, когда ругался, словно не замечая ее, и не находил успокоения. Его стесняла, ему мешала эта женщина в батарее. Но одновременно, даже не видя ее, он все время ощущал ее присутствие и не мог объяснить себе то внезапное неприязненное раздражение, которое она своей смелостью, своим голосом вызывала в нем.

Выйдя из землянки, Новиков один постоял в холодной осенней тьме. Мысль о том, что он грубо обидел сейчас солдат, обидел тогда, когда от расчетов его батареи осталось двадцать человек, когда он должен быть добрей, ласковее с людьми, угнетала его.

Ветер гудел в ушах, и в тяжком скрипе сосен слышался Новикову пьяный гул голосов; и потому, что в землянке бездумно пили спирт и смеялись, как бы забыв о тех, кого похоронили вчера, Новиков чувствовал знакомое посасыванье тоски.

Ощупью нашел пенек — видел его еще днем, — сел, до боли потер небритые щеки, посмотрел в потемки, туда, где за высотой, в полутора километрах отсюда, на запад-

ной окраине Касно, стояли два орудия младшего лейтенанта Алешина — второй в батарее взвод, который он, Новиков, особо берег. Там лежала мгла, не взлетали ракеты.

— Я пошла! — раздался женский голос в нескольких шагах от Новикова.

Из землянки вырвался неясный говор — желтая полоса света упала на кусты, легкие шаги послышались в четырех метрах от Новикова, и по голосу, по смутному очертанию фигуры он узнал Лену. Она остановилась возле, не видя Новикова, долго глядела на прижатые к горам близкие вспышки ракет — среди шумящих деревьев появлялось ее бледное лицо с непонятно решительным выражением. Сквозь гудение сосен глухо хлопнула дверь землянки, и выбежал лейтенант Овчинников в распахнутой телогрейке, окликнул сипловатым баском:

— Ты куда ж, Леночка?.. Постой!

— Я стою. Ну а вы зачем? — спросила она негромко. — Я и сама дойду!

Он проговорил требовательно:

— Куда?

— К разведчикам. Они здесь недалеко, — ответила она насмешливо.— Не привыкла я к вашей батарее. Непохожи вы на разведчиков, лейтенант...

Овчинников придвинулся к ней, сказал тяжелым голосом:

— Непохожи? Хочешь, я ради тебя вон там под пули встану? Хочешь? Не знаешь ты меня еще!..

— Ну, этого не надо! — Она засмеялась. — Глупость это!

Тогда он сказал с отчаянием:

— Так, да? Все равно не отпущу! Ты наших не знаешь!

Он приблизился к ней вплотную, они будто слились, и тотчас Лена сказала презрительно, протяжно, устало, переходя на «ты»:

— Уйди-и, не справишься ты со мной... Губы у тебя мокрые, лейтенант...

Она оттолкнула его, пошла прочь, а он, сделав шаг назад, позвал громко: «Леночка, постой!» — и кинулся следом за ней. В его сбившемся дыхании, в коротком неуверенном крике было что-то неприятно молящее, унижающее мужское достоинство, и Новиков, поморщась, встал, пошел к своему блиндажу.

Блиндаж был полуосвещен сонным, желтым мерцанием коптилки. Воздух был тепел, плотен, пахло шинелями, лежалой соломой. Дежурный телефонист Гусев, молодой, круглоголовый, прислонясь затылком к стене, спал — устало подергивались брови, потухшая цигарка прилипла к оттопыренной губе, другая — свернутая — заложена за ухо. Перед ним на снарядном ящике котелок: из недоеденной пшенной каши торчала деревянная ложка. Возле котелка огрызок обмусоленного чернильного карандаша, измятый листок, вырванный из тетради, ровные аккуратные строчки были усыпаны хлебными крошками: видимо, ел и писал письмо. Новиков взглянул на листок, невольно усмехнулся этому аккуратному школьному почерку: «Ты меня не ревнуй, потому что у нас тут женщин нет, только одна сестра, да и то больно некрасивая...»

Он хотел спросить связиста, звонил ли командир дивизиона, но будить было жалко. Вокруг с тревожным всхлипыванием, бредовым бормотанием спали солдаты. Новиков, не раздевшись, лег на спину, сбоку нар, на обычное свое место, закрыл глаза и будто погрузился в горячий, парной воздух, полный разлетающихся искр, в хаос несвязных людских голосов, и мутно среди них колыхались лица Лены, лейтенанта Овчинникова — обычный, непонятный мгновенный сон.

Он проснулся от сильного гула, давящего на голову, вскочил, озираясь.

— Что? Позывные? — спросил отрывисто. — К телефону?..

— Дальнобойная высоту накрыла...— ответил кто-то.

Вся землянка была наполнена запахом тола, желтоватой мутью дыма. В нем вздрагивающими тенями копошились вскочившие солдаты — все глядели отяжелевшими от сна глазами на крупно трясущийся потолок землянки. Сухо трещали бревна накатов, шевелились, перемещались над головой. А там, вверху, что-то гигантски огромное, душащее, тяжкое, с хрустом разламываясь грохотом, рушилось на высоту, сотрясало ее. Не стало слышно стонущего шума ветра, задавленного железной толщей разрывов.

— Дальнобойная... накрыла, — шепотом выдавил связист Гусев, бледнея.— Воронки... с дом...

Старший сержант Ладья, командир орудия, неловко прыгая на одной ноге, торопливо вталкивал другую ногу в штанину галифе, кричал Гусеву:

— Спишь, тютя! А ну, что там, на передовой? Узнай!..— И, застегиваясь, глянув на Новикова, добавил иным тоном:— Вроде началось, товарищ капитан. Слышите? Не похоже на артналет. Ишь ты, заваруха!

И тут же повысил сочный, зазвеневший командными переливами голос:

— По места-ам! Вылетай к орудию!

— Отставить,— остановил Новиков, шагнув к Гусеву, надсадно кричавшему позывные в трубку, и, медленно разделяя слова, спросил:— Команда была от Резеды?

— Никак нет,— бормотал Гусев, обеими руками прижимая трубку к уху, и тотчас пригнулся к аппарату. Куски земли оторвались от потолка, ударили по аппарату, по его плечам.— Никак нет,— повторил он невнятным шевелением губ, испуганно потирая круглую стриженую голову.

— Дайте трубку! Связист вы или нет? Вы должны всё знать!— сказал Новиков и не взял, а вырвал из рук Гусева мокрую от пота, нагретую трубку.— Резеда! Резеда! Какого дьявола! Что там? Резеда! Питания, что ли, у вас нет? — Покосился на связиста. — Проверяли связь?

— Я Резеда, я Резеда,— внезапно послышался в трубке слабый, как комариный писк, голос и сейчас же зачастил: — Кто у телефона? Шестого к аппарату, шестого к аппарату! Шестого немедленно к Резеде, немедленно к Резеде!.. Немедленно!

— Я шестой, — объявил недовольно Новиков, глядя в стоявший на снарядном ящике котелок, полный бурой жижи. — Что случилось? Иду!

Он положил трубку, надел отлично сшитую, но уже обтрепанную шинель, застегнул ремень, оттянутый кобурой пистолета; потом, сдвинув брови над тонкой переносицей, вынул из кобуры ТТ и резким щелчком выбросил, проверил кассету и вновь втолкнул в рукоятку пистолета. Он сделал все это молча, без спешки, и солдаты, так же молча, смотрели то на капитана, то на вибрирующий потолок землянки, прислушиваясь напряженно к нарастающему реву снарядов. Новиков же ни разу не взглянул вверх, все хмурясь отчего-то, и тем своим обычным грубоватым тоном, который так не шел к его мальчишески юному, всегда бледному лицу, приказал:

— Ремешков, пойдете со мной!

Подносчик снарядов Ремешков, парень лет двадцати шести, молчаливый, замкнутый, солдат-счастливец, не-

давно побывавший по причине ранения в шестимесячном отпуске дома, на Рязани, обратил к Новикову, сидя на нарах, свое крепкое белобровое лицо — в расширенных глазах его росла мольба. Проговорил еле слышным шепотом:

— Нога у меня... нога... — и, жалко кривя губы, потер колено, низко опустив голову. — По горам ведь... нога у меня, товарищ капитан. Другого бы кого, пока нога-то...

— Другого? — переспросил Новиков, заученным движением сунув пистолет в кобуру. — Другого, говорите?

Он знал, куда надо идти сейчас, и выбрал Ремешкова, потому что тот отлеживался шесть месяцев дома, в то время как солдаты его, Новикова, батареи без отдыха находились в боях, дошли до Карпат. Выбрал, потому что считал это суровой необходимостью, тем более что Ремешков был новым человеком на батарее.

— Другого, говорите?

Ремешков молчал. Молчали и солдаты.

Блиндаж сотрясало мелкой дрожью, пол туго ходил под ногами, в короткие промежутки между разрывами, как из-под воды, вливался отдаленный пулеметный треск. Теперь уже всем было ясно, что это не обычный артналет, не обычная перестрелка дежурных орудий и пулеметов после недавних жестоких боев при взятии города Касно, на границе Чехословакии.

И то, что Ремешков робко отказывался идти на передовую, в то время как за неделю в батарее погибло девять человек старых солдат, а Ремешков прибыл на батарею днями, прибыл отъевшийся, раздобревший, со здоровым, молочным цветом лица от домашнего хлеба и сала, особенно было неприятно Новикову.

— У нас в батарее приказание два раза не повторяют! — проговорил он жестко и, более не обращая внимания на Ремешкова, пошел к двери.

— Товарищ капитан!..

Ремешков просительно напряг голос и, вдруг нагнувшись так, что стала видна красная, гладкая шея, со стоном и страданием прошептал:

— Товарищ капитан, разве я... Жалости нет? А?

— Нет! — сказал Новиков и вышел.

Дверь открылась, впустив грохот разрывов, и захлопнулась. Ремешков все ждал, искательно оглядываясь на солдат, и, потирая колено, повторил умоляюще:

— Нога ведь... Жалости нет?!

— Жалости? Тютя пшенная! Он еще думает, калган рязанский! — звонким, озорным голосом воскликнул старший сержант Ладья, надвигая пилотку на выпуклый лоб. — Морду нажевал в тылу и думает, все в порядке! Еще ему приказ повторять! Воевать приехал или сало жрать?

Было командиру орудия Ладье лет двадцать. Сильный, светловолосый, он по-особому ладно носил пилотку, сдвигая ее на лоб и набок. Весь подогнанный, в немецких, не по уставу, новых сапожках, с немецким тесаком на всегда затянутом ремне, он казался мальчишкой, ради игры носившим военную форму, трофейное оружие.

— Ну? — крикнул он.— Думать потом будешь!

— Озверели, прямо озверели...— жалко и затравленно бормотал Ремешков, всхлипывая носом.

Командир второго орудия сержант Сапрыкин, неуклюже грузный, пожилой, двигая непомерно широкими квадратными плечами, в тесной, облитой по круглой спине гимнастерке, старательно кряхтя, наматывал портянку. Подмигнул Ремешкову своими ласково затеплившимися глазами и сказал доброжелательно:

— А ты лучше бери, землячок, автомат да и дуй во все лопатки. Так оно вернее. Раньше-то ведь воевал? Понял или нет? Вот автомат возьми.— И, обращаясь к Ладье, прибавил ворчливо: — Оно верно, после теплой печки да жены под боком умирать неохота. Сам небось так бы, Ладья?

— А я бы и в отпуск не поехал! На кой леший он мне! — сказал Ладья решительно и, взяв лежавший на нарах крепко набитый вещмешок Ремешкова, взвесил его с язвительной улыбкой, говоря:— Давай, давай катись колбасой, тютя!

И подтолкнул Ремешкова в спину.

Оглушенные грохотом снарядов, рвущихся по всей высоте, они некоторое время стояли в ходе сообщения. Взлеты огня беспорядочно выхватывали из тьмы ощипанные стволы сосен. С острым звоном полосовали воздух осколки, бритвенно срезали землю на брустверах, пыль сыпалась на фуражку Новикова. Отплевывая хрустевшую на зубах землю, он ощупью нашел холодный телефонный провод, ведущий от орудия на передовую, и, не выпуская его,

посмотрел в сторону города Касно. Все пространство за высотой — километра на два — было освещено, как днем... Гроздья ракет торопливо повисали там, пышно иллюминируя низкие облака. В них взвивались наискось красные трассы. Небо за высотой все время меняло окраску, наливалось густой багровостью — что-то горело в городе.

— Пойдете по проводу! Я за вами! — приказал Новиков Ремешкову.— Берите провод, он в моей руке! Вот!

— Провод? — глухо переспросил Ремешков.

Но когда Новиков почувствовал прикосновение чужих потных пальцев к своей руке, лопнул рев над головой — огненный шар, ослепив, разорвался в небе,— сверху ударило жарким воздухом, бросило обоих на землю: снаряд лопнул, задев о ствол сосны.

«Разобьет орудия», — беспокойно подумал Новиков и сейчас же услышал стонущий голос Ремешкова:

— Ударило... по голове ударило... товарищ капитан. Всего ударило!

— Э, черт! — с досадой сказал Новиков, подымаясь.— Ранило, что ли? Где вы тут... ползаете?

В бледном отблеске расцвеченного ракетами неба он увидел у стены траншеи скорчившуюся фигуру Ремешкова. Охватив руками голову, он глядел на Новикова опустошенными, рыскающими глазами, и это выражение успокоило Новикова, — раненые смотрели иначе.

— Крови нет? — спросил он и добавил насмешливо: — Еще до передовой не дошли, а вы... Как воевать будете? Ну, пошли, берите провод.

Ремешков поднес к глазам белые ладони и, странно всхлипнув, пробормотал облегченно:

— Взрывной волной меня...

— Не взрывной волной, а страхом.

И Новиков пошел вперед, продвигаясь по ходу сообщения к орудиям.

В трех шагах от землянки Овчинникова он почти натолкнулся на высокую человеческую фигуру, стоявшую в рост.

— Кто тут? Эй! — с угрозой рявкнул в лицо человек, и автомат тупо уперся Новикову в грудь. По голосу узнал часового первого орудия Порохонько; отведя рукой ствол автомата, сказал:

— Свои. Близко подпускаете! — И, сразу же заметив возле Порохонько освещенную слабым заревом тонкую фигуру Лены (стояла неподвижно, прислонясь спиной

к траншее), спросил ненужно: — И вы тут? Вы же к разведчикам хотели идти?

— Хотела...— неохотно ответила она и спросила с вызовом: — А вы откуда знаете?

Новикову стало жарко, не рассчитал неожиданности вопроса, и, увидев в больших вопросительных глазах на близком ее лице горячие отблески ракет, повернулся к Порохонько, сумрачный:

— Орудия целы?

Порохонько, словно поняв все, лениво поскреб темнеющую щетину на узком подбородке, непонятно хихикнул.

— Ось кладет, ось кладет снаряды, як пишет... И кидает и кидает, сказывся, чи що, фриц треклятый! А орудия дышат. Куда же вы, товарищ капитан?

Не ответив, Новиков двинулся дальше по траншее, а Ремешков, поправляя на спине вещмешок, выкрикнул глуховато:

— Фрицам в зубы, куда еще!..— И голос его покрыло разрывом; дым застлал зарево.

Он нырнул головой в траншею, побежал, горбато согнувшись.

— Товарищ капитан! — безразличным голосом окликнула Лена.— Подождите.

Он приостановился.

— Я с вами на передовую,— сказала она, подойдя.— Мне нечего здесь делать. Видите, что там? А я ведь в разведке привыкла к передовой.

— Привыкли?

И это напоминание о разведке, о той непонятной легкой жизни Лены в полку вновь ревниво толкнуло Новикова на грубость.

— Что вы мешаетесь тут, товарищ санинструктор, со своими дамскими штучками! — сказал он, хотя сам не мог вложить точного понятия в эти «дамские штучки». — Что, спрашивается, я теряю тут с вами время?

А она как будто вздрогнула, некрасиво искривив рот, сказала страстно и тихо:

— Может быть, солдаты вас любят, товарищ капитан, может быть. А я вас терпеть не могу! Терпеть не могу! Другое бы сказала, да Ремешков здесь!..

— Спасибо, — произнес он, силясь говорить вежливо. — А я думал, что сейчас можно не терпеть только немцев.

И потому, что она говорила с ним грубо и он увидел ее ставшее некрасивым лицо, Новиков понял, что никакие другие отношения, кроме уставных, не могут связывать их, и почувствовал какое-то тоскливое облегчение, похожее на медленно проходящую боль.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Весь центр этого польского города с тяжелой готической высотой костела, прочно стоявшего среди каменной площади, на которой возле железной ограды чернели мертво обуглившиеся немецкие танки, и пустынные улицы, поблескивающие красными черепичными кровлями, наглухо опущенными металлическими жалюзи, с тенями обнаженных осенних садов за заборами, каменными мостовыми — все было залито недалеким заревом, пылавшим над западной окраиной.

Врезаясь в зарево, искрами рассыпались над крышами очереди пуль, частый, взахлеб, треск пулеметов не заглушал тонкого шитья автоматов, тявкающего звона мин. Тяжелые снаряды тугим громом раскалывались на каменных мостовых, жаркий ветер вздымал вороха сухих листьев, швырял в лицо, корябая, как горячим наждаком.

Весь город, окрашенный зловещим огнем, грохотал, сотрясаемый эхом, с крыш ссыпалась на тротуар черепица. И среди этих звуков возникали новые, визжа, нарастая. Достигнув последней своей точки — пронзительного скрежета трамвая на поворотах,— звуки обрывались.

Новиков и Ремешков упали рядом около закрытого подъезда, дважды резко, сильно подкинуло их на земле взрывной волной, этой же силой Новикова притиснуло к окаменевшему плечу Ремешкова, и жаркий, разбухший от ужаса голос зашептал в лицо ему:

— Побрился я... Зачем я побрился, а?..

— Что? — не понял Новиков. — Что бормочете?

Ремешков, втянув голову в плечи, как бы не видя Новикова, шептал с придыханием, будто из ледяной воды вынырнул:

— Побрился я, побрился... С Днепра примета... перед боем... Побреешься, или чистое белье наденешь, или в баню... У меня дружка так... под Киевом.

— Молчите! — неприязненно оборвал его Новиков. — У меня в батарее будете бриться. И в баню ходить.—

И добавил тоном, не допускающим шуток: — Умрете, так хоть выбритым. А борода растет и у мертвецов. Не видали? — И злым рывком встал. — Встать! Вперед!

Ромешков поднялся, разогнувшись, по-бабьи расставив полусогнутые ноги, стоял близ каменной стены особняка, испуганно озирая небо, пронизанное свистами мин, сдерживая дыхание, забормотал:

— Куда идти? Так и до передовой не дойдем, товарищ капитан! Со всех сторон бьют... Окружают?

В мутной глубине улицы взлетали конусы разрывов. Едкий дым несло вдоль оград, мимо сгоревших на мостовых немецких танков. Город обстреливали дальнобойные батареи, снаряды прилетали с запада и юга: было такое ощущение — Касно окружен. Новиков, однако, не испытывал пока большого беспокойства, — вероятно, складывалась обычная обстановка в условиях Карпат: немцы оставались в долинах, на высотах по флангам, продолжая вести огонь по дорогам.

— Окружили, отрезали, обошли! Сорок первый год вспомнили? — сказал Новиков. — Вперед! И не на полусогнутых, бегом!

И побежал в глубину улицы.

Как только достигли западной окраины города, близкие пожары ослепили их, и оба горлом ощутили неистовый, раскаленный ветер. Он, как в воронке, крутил по всей окраине огромные метели огня, искр, пепла: впереди жарко горели дачные коттеджи на берегу длинного озера. Красный отблеск воды висел в воздухе. Над озером, в дыму, сталкиваясь, перекрещиваясь, мелькали огненные нити пулеметных очередей; и частые вспышки орудийных зарниц в горах, мерцающие сполохи танковых выстрелов, малиново-круглые разрывы мин на берегу, звуки непрекращающейся автоматной стрельбы — все это бросал и рвал над окраиной опаляющий до сухости в горле ветер.

— За мной, бего-ом!

Новиков первый вбежал в туман, быстро движущийся над берегом, заметил впереди темнеющий ход сообщения первых пехотных траншей, с разбегу спрыгнул на мелкое дно. Сразу зазвенели под ногами стреляные автоматные гильзы. Два солдата молча сидели здесь подле патронных ящиков, не шевелясь, курили в рукава. После того как Новиков спрыгнул, солдаты не подняли головы, только утомленно подобрали ноги в обмотках.

— Артиллеристов не видели из артполка? Почему здесь сидите?

Один из солдат, седой уже, снизу посмотрел серьезными слезящимися глазами, трескуче закашлялся, сотрясаясь, сделал нелепые жесты оттопыренными локтями и ничего не объяснил,— видимо, наглотался гари и дыма, пока нес до траншеи патронные ящики. Другой, помоложе, точно оправдываясь в том, что сидели здесь и курили, прокричал на ухо Новикову:

— Пехота мы, товарищ капитан! Вон какое дело-то! Патроны носили... из боепитания... А артиллеристы там, во-он — на высотке...

До высоты — метров сто — шли по траншее, пригнувшись так, что свинцовой усталостью налилась шея. Над головой звенели, взвизгивали косяки мертвенно светящихся трасс, брустверы вздрагивали в рвущемся громе снарядов. С хриплой руганью отряхивая землю с шинелей, солдаты вдруг выныривали головами из траншей, ложась грудью на бруствер, стреляли за озеро. Кто-то басил сорванным от команд голосом:

— По домику! По домику! Вон они у забора легли!..

Впереди, на самой высоте, лихорадочно дрожали вспышки очередей — человек за пулеметом отшатнулся вбок, крикнул злобно: «Ленту!» — и, вытирая рукавом пот, опустился на дно окопа, в розовую от зарева полутень. Отстегнув флягу и запрокинув голову, стал пить жадными глотками. Едва лишь Новиков подошел, человек этот перевел на него узкие черные горячие глаза, и тот увидел потное лицо, прилипшие ко лбу мокрые кругляшки волос — это был командир отделения разведки Горбачев.

— Вы что это тут? Пулеметчиков не хватает? — удивился Новиков.— Где командир дивизиона? Здесь?

Горбачев, бедово прищурясь, отбросил в сторону пустую флягу.

— Вовремя, товарищ капитан! Ждут вас. Начальство. И Алешин здесь. А пулеметчиков тут угробило. Пока суд да дело, дай, думаю... шкуры фрицам посчитаю! — И спросил с хохотком: — Разрешите, а? Пока суд да дело!..

В просторной землянке командира дивизиона, посреди роскошного лакированного столика, принесенного из города, в полный огонь горела, освещая низкий потолок, лица офицеров, вычищенная трехлинейная лампа. Двое связистов, натянув на уши воротники шинелей, спали на соломе в углу.

Командир дивизиона майор Гулько сидел сутулясь, в расстегнутой гимнастерке, без ремня, курил сигарету и как бы нарочно ронял пепел на карту, разложенную на столике. Худощавое лицо его с грустными, армянского типа глазами, как обычно, едко, широкие брови, сросшиеся на переносице, брезгливо подымались. С видом неудовольствия он слушал что-то быстро говорившего младшего лейтенанта Алешина, молоденького, всегда веселого без всякого повода, звонкоголосого, как синица. Алешин старательно сдувал пепел с карты, смуглые пятна волнения шли по чистому лбу, по стройной шее гимнаста. Говорил он и все оглядывался весело на спящих связистов, на стены землянки, задерживал оживленный взгляд на огне лампы и только не смотрел в сторону майора Гулько, будто опасаясь внезапно и некстати рассмеяться. Позади Гулько стоял его ординарец Петин. Он был чрезвычайно высок, огромен, белобрыс; рукава засучены до локтей. С мрачно-серьезным видом он лил себе на широкие ладони немецкую водку из фляги и, задрав гимнастерку на майоре, растирал ему спину и поясницу: Гулько страдал радикулитом. Он ерзал, сопя волосатым носом, пригибался под нажимами ладоней ординарца, сидел в то же время с выражением независимым, был, казалось, всецело занят Алешиным.

Когда вошел Новиков и следом за ним Ремешков, возбужденно раздувая ноздри, майор Гулько выгнул спину, всматриваясь поверх огня лампы, произнес желчно:

— А, Новиков! — и тускло улыбнулся. Но даже и эту ласковость, которую при встречах иногда замечал Новиков, Гулько тотчас прикрыл ироническими морщинами на лысеющем лбу, скосил глаза на ручные часы, потонувшие в густых волосах запястья, выговорил:

— Не торопитесь на передовую, капитан. Тыловые настроения? Французское шампанское распиваете? Трофеи? Или с прекрасными паненками романы крутите? Под гитарку... Мм? Или санитарочка там у вас?

Был Гулько разведен еще задолго до войны, о женщинах не говорил всерьез, считал себя прочным холостяком и, быть может, поэтому постоянно подозревал своих офицеров в вольности и легкомыслии, что, по его убеждению, свойственно нерасчетливой молодости.

— Прибыл по вашему приказанию, — сухо доложил Новиков и подумал: «Обычное радикулитное настроение».

— Веселенькое дело, — продолжал Гулько, обращаясь не к Новикову, а к сигарете, которую с отвращением вертел в тонких прокуренных пальцах, и вдруг, сапнув носом, спросил отрезвляюще внятно, повернувшись к ординарцу: — Расходился? Мозолями кожу снимаешь? Рашпиль. Хватит. Genug[1]. Побереги водку.

Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на столик, прижав кулак ко рту, смотрел на Новикова покрасневшими в напряжении, плещущими весельем глазами,— он давился от смеха. Гулько почесал спину, потом, кряхтя, застегивая гимнастерку, покосился на Алешина с брезгливым видом.

— Что у вас, Алешин? Смешинка в рот попала? Прошу набраться серьезности. — И кивнул Новикову: — Садитесь как можете. К столу. Что смотрите? На шнапс? Нет, вызвал вас не водку пить.

— Я не просил водки, товарищ майор,— сказал Новиков, садясь возле Алешина.

— Совсем приятно,— скептически проворчал Гулько, застегивая ремень.— Консервы, пожалуйста, поковыряйте вилкой. Хорошие датские консервы. Свиные. Но, как ни странно, и нам годятся.

Новиков нетерпеливо свел брови, глядя на карту. Он знал странность Гулько. Чем сложнее складывалась обстановка, тем скептически болтливее и вроде бы равнодушнее ко всему становился он перед тем, как отдать приказ. В самые опасные минуты боя Гулько можно было видеть на НП около стереотрубы — подавал команды, сморщив лицо застывшей гримасой неудовольствия, зажав вечную сигарету в зубах и без гимнастерки — ординарец пуговицу пришивал! В период обороны шлепал по блиндажу в мягких комнатных тапочках, постоянно лежал на нарах, читал затрепанный томик Гете, с недоверчивым выражением и, словно подчеркивая эту недоверчивость, шевелил пальцами в носках. Было похоже: хотел он жить по-холостяцки удобно, вольно, скептически презирая строевую подтянутость, однако большой вольности подчиненным офицерам не давал и притом слыл за домашнего, штатского человека. Новиков же считал его чудаком, не живущим реальностью, и был с ним подчеркнуто сух.

---

[1] Достаточно *(здесь и далее даны переводы с немецкого языка).*

— Слушаю вас, товарищ майор, — сказал Новиков официальным тоном.

— Дело вот какого рода. — Гулько прикурил от сигареты сигарету, длинно выпустил струю дыма через нос и ядовито покривился. — Фу, пакость! Солома, а не табак! — И концом сигареты обвел круг на карте, заключая в него Касно. — Смотрите сюда, капитан. Мы прижали немцев к границе Чехословакии. Немцы вовсю жмут на город с запада. Основательно жмут. Хотят вернуть город. А почему? Смотрите. По горам с танками не пройдешь, естественно. А город этот — узел дорог. Обратите особое внимание, Новиков, на вот это шоссе, на север. Вдоль озера... Вся петрушка здесь. Это дорога в город Ривны. Вот он, километрах в двадцати от Касно. Знаете, что тут происходит? Соседние дивизии замкнули в Ривнах немецкую группировку. Очень сильную группировку. Много танков и прочая петрушка. Уразумели? Они рвутся из котла на единственную годную для танков дорогу, которая проходит через ущелье и Касно в Чехословакию. А там, надо вам сказать, события развернулись грандиозные. Словаки начали восстание против правительства Тисо. — Майор Гулько в раздумье поглядел на часы, положив волосатую руку на карту.— Два дня город Марице блокирован словацкими партизанами. Надо полагать, немецкая группировка под Ривнами стремится прорваться через Касно на Марице, соединиться с немецким гарнизоном, на ходу подавить восстание. Уразумели? Поэтому немцы и стали жать с запада — захватить Касно, узел дорог, помочь прорваться северной группировке. Такова обстановочка. Таковы делишки. — Гулько затянулся сигаретой. — Вообще, не кажется ли вам, Новиков, что великие дни начинаются? Освобождена Болгария, Румыния, бои в Югославии, в Венгрии... Слышите музыку с запада? Мм?..

Майор Гулько, прижмурясь, посмотрел на трясущиеся от разрывов накаты. От глухих ударов сыпалась со стуком земля на стол, звенело стекло лампы, будто сильные токи проходили по земле. И Новикову почему-то хотелось сейчас придержать лампу — жалобное дребезжание раздражало его.

Младший лейтенант Алешин, напряженно и серьезно глядевший на карту, вдруг снова заулыбался, встал

и начал отряхивать фуражку, вытирать шею, весело встряхнулся, притопывая сапогами.

— Ну вот, — сказал он, — за шиворот насыпалось! Просто баня.

Никто не ответил ему. Гулько пососал сигарету, досадливо сплюнул табак, по-прежнему ленивым голосом продолжал:

— Сегодня ночью вы, Новиков, снимаете свои орудия со старой позиции и ставите их на прямую наводку вот здесь. На живописном берегу озера. Направление стрельбы — ущелье, шоссе, Ривны. Соседи у вас: танки пятого корпуса — справа. Плюс иптаповский полк и гаубичные батареи. Слева — чехословаки генерала Свободы. Воюют вместе с нами. Младший лейтенант Алешин уже видел позицию. Вот, собственно, и все. Младший лейтенант Алешин! — чуть поднял голос Гулько. — Покажите своему комбату местостояние батареи.

— Слушаюсь! — живо ответил Алешин.

— Пе-етин! Горячей воды, бриться! — крикнул Гулько, густо выпустив через волосатые ноздри дым, ворчливо договорил: — Я буду на местности через полтора часа. Кстати, наши саперы минируют подступы к высоте. Соблюдайте осторожность!

«Черт его возьми со всей этой чистоплотностью,— подумал Новиков, подымаясь, оглядывая прибранную землянку со слабым запахом одеколона и водки, с круглым туалетным немецким зеркальцем на столике, на котором сверкал никелем трофейный прибор, забитый ножичками и щеточками для чистки ногтей и расчесывания волос.— Устроился, как дома!» И, не скрывая презрения к этой женственно опрятной обстановке, к этой потуге удобности быта, от которой как бы веяло прежними холостяцкими привычками майора, Новиков спросил все так же официально:

— Разрешите идти?

И первый вышел из землянки в траншею.

Горьковато-сырой, пропитанный гарью ветер гулко рвал звуки выстрелов, дробь пулеметов, дальнее и тупое уханье тяжелых мин, комкал все это над траншеей и нес гигантское неумолкающее эхо. Красный туман мрачно клубился над озером, лица солдат в траншее казались сизо-лиловыми. Пулеметы длинно стреляли за озеро, в пролеты меж ярко горящих домов, где были немцы, и

Новиков сверху видел это бесконечно вытянутое вдоль возвышенности озеро, налитое огнем пожаров.

Пули торопливо щелкали по брустверу, сбивая землю, и Новиков тут же схватился за фуражку, ее как ветром толкнуло. Надвинул козырек на глаза, пригнувшись, выругался.

— Что? — крикнул Ремешков за спиной.

— Земля, — ответил Новиков.

— А-а...

Ремешков присел на корточки, снизу с загнанным выражением следил за Новиковым. На какую-то долю секунды мелькнула мысль, что если бы Новикова ранило, хотя бы легко, то не пришлось бы идти под огонь на другой конец озера; тогда ему, Ремешкову, надо было бы вести командира батареи в тыл, в санроту. И оттого что не случилось этого и теперь обязательно надо было идти, почувствовал он, как грудь сжало знобящим холодом, ноги обмякли. Новиков, стоя к нему спиной, позвал громко, словно ударил по сердцу Ремешкова:

— Скоро там, Алешин?

— Готов, товарищ капитан! Идем! — послышался голос младшего лейтенанта.

Дверь землянки на миг выпустила свет лампы, обжитое тепло, где было, казалось, по-домашнему покойно, то тепло, которое так не хотел покидать Ремешков.

«Эх, взял бы майор меня в ординарцы, разве таким, как Петин, был!» — пожалел завистливо и отчаянно Ремешков и, услышав веселый голос Алешина, подумал с неприязнью: «Фальшивят они, играют, веселость создают. Не от души это все. Кому война, а кому мать родна!»

— Э, кого сюда занесло? Кто здесь на карачках ползает? — сказал Алешин и засмеялся непринужденным молодым смехом, споткнувшись о ноги Ремешкова.

И тогда Новиков окликнул строго:

— Где вы, Ремешков?

С трудом и тоской Ремешков встал, оторвав свинцовое тело от земли, хромая, подошел к Новикову, тот пристально, сожалеюще глядел на него прямым взглядом. Спросил:

— Что вы?

— Нога... — Ремешков застонал, потирая колено; плотно набитый вещмешок нелепо торчал за его спиной горбом.

— На кой... прислали вас ко мне? — не выдержал Новиков. — Вы что, воевать приехали или задницу греть возле печки? Шесть месяцев торчали дома и ногу не вылечили. А если не вылечили — терпите! Не то терпят! Запомните, я ничего не хочу знать, кроме того, что вы солдат! Перестаньте морщиться! И стонать! Лучше сидор скиньте, пуда два за спиной носите!

Новиков понимал, что говорил жестоко, но не сдерживал себя. Три раза сам он после ранений лежал в госпиталях, и там, и потом в части ему не только не приходилось показывать на людях свои страдания, а, наоборот, скрывать, стыдиться их. Новиков повторил:

— Перестаньте стонать!

Ремешков перестал стонать — стучали зубы, — но вещмешок не снял, только потрогал лямку трясущимися пальцами.

— Да оставьте его здесь, товарищ капитан! — беспечно посоветовал Алешин, удивленно разглядывая страдальчески напряженное лицо Ремешкова. — Зачем он нам? Пусть сидит со своей ногой.

— Он пойдет с нами.

И Новиков, упершись носком сапога в нишу для гранат, с решительностью вылез из окопа.

Ремешков оставался в траншее последним. Подняв глаза, он увидел, как пули пунктирами пронеслись над головами Новикова и Алешина. Ладони сразу вспотели, влажно прилипли к ложе автомата. Раздувая ноздри, часто-часто задышал он ртом, будто ему воздуха не хватало. «Если я оглянусь сначала направо, а потом налево, то меня не убьют, если не оглянусь...» — подумал он и оглянулся сначала направо, потом налево и, как в пелене, заметил розовые от зарева лица ближних солдат в траншее. Со странным коротким вскриком он выскочил на бруствер, на резкий порыв ветра; спотыкаясь о свежие воронки, часто падая, чувствуя вокруг острые, разбросанные по земле осколки, он побежал за Новиковым, готовый закричать под ожидаемым ударом в спину...

«Там вещмешок за спиной, вещмешок! Пулями не пробить! — мелькало в его голове.— Нет, нет, сразу не убьет, ранит только...»

Он догнал офицеров возле крайних домов и, прислонясь вещмешком к забору, не мог сказать ни слова, не мог отдышаться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В два часа ночи, после рекогносцировки, Новиков послал Ремешкова на старую огневую с приказом немедленно снять орудия Овчинникова и в течение ночи занять позицию в районе севернее города, на новой высоте, правее озера.

Ожидая орудия, Новиков сидел на земле в пяти шагах впереди позиции батареи. Он отчетливо слышал сочный скрип лопат о грунт, сниженные до шепота голоса солдат, движение тел в темноте — копали расчеты Алешина. А вокруг стояло неподвижное глухое затишье. Озеро мерцало алыми тихими отблесками, на той стороне молчали немцы. Там была Чехословакия.

Здесь, в четырех километрах на север от основного боя и в двухстах метрах от немцев, смутное чувство тревоги охватывало Новикова. Казалось, недоставало чего-то ему, в чем-то он непоправимо ошибся, однако не мог ясно найти, уловить точные причины того, что беспокоило его, как пристальный взгляд в спину. Озеро уходило вперед, дымно тускнея, северная оконечность упиралась в черный кряж Карпат, далеко справа розоватой стрелой уносилось из Касно на Ривны шоссе, терялось в ущелье; оно сумрачно клубилось сизо-черным туманом.

— Товарищ капитан! Хотите великолепные сигареты? Польские! «Монополия»! О, черт, смотрите, что в городе!

Подошел Алешин.

Молча Новиков отогнул рукав шинели, взглянул на часы, на фосфоресцирующие цифры, потом посмотрел назад — на отдаленный город, залитый заревом. Там беспрестанно возникали косматые звезды разрывов, вспышки танковых выстрелов вылетали навстречу друг другу, точно сталкивались над озером, которое километров на пять вытянулось вдоль границы Чехословакии. Ветер дул с севера, гудел по высоте, где сидел Новиков, и приглушал звуки боя.

— А здесь молчат,— сказал Новиков и вдруг, увидев над огневой слабый отсвет, спросил:— Кто курит? Прекратить! Богатенков, что ли, терпеть не может?

Слабое свечение над окопом исчезло, кто-то надсадно закашлялся там, поперхнувшись. Младший лейтенант Алешин вынул из кармана шинели огромную коробку трофейных сигарет, залихватски толкнул коробкой козы-

рек фуражки, сдвинул ее на затылок, отчего юное лицо стало наивно-детским, сказал добродушно:

— Черти!.. — И, помолчав немного для приличия, заговорил веселым голосом: — Товарищ капитан, тут наши разведчики великолепный особняк нашли. Бассейн, ванна, ковры, с ума сойдешь! Роскошь! Пойдемте, рядом он. Вон внизу...

— Пустой особняк?

— Совершенно.

Особняк этот, просторный, двухэтажный дом, стоял метрах в ста пятидесяти от высоты в липовом полуоблетевшем парке за чугунной оградой с массивными железными воротами и парадной калиткой, над которой поблескивали медью оскаленные морды львов.

Они вошли в парк, угрюмо-темный, огромный, и он поглотил их печальным шорохом, шелестом опавшей листвы на дорожках, ровным текучим шумом полуоголенных лип. Сухие листья летели в темноте, цеплялись, липли к шинелям. Новиков слышал, как сапоги с мягким хрустом уходили в плотный увядающий настил, отовсюду из засыпанных листопадом аллей веяло безлюдьем, грустно-горьковатым, дымным запахом поздней осени.

В глубине парка возле темного дома гладко блестел за разросшимися кустами бассейн, в густо-черной воде мирно плавали листья, собравшись целыми плотами, и Новиков впервые за много дней увидел здесь, между этими плотами-листьями, острый блеск звезд в черноте неподвижного водоема. Лягушка, испуганная шагами, звучно шлепнулась в воду, и звезды у берега закачались, заструились.

Новиков остановился, посмотрел. Он любил только лето, привык в годы войны ненавидеть осень за раскисшие от дождей дороги и внезапно подумал, что стал забывать неповторимые приметы того довоенного мира, ради которого ненавидел и осень, и немцев, и самого себя за тоску по тому миру. Услышав голос Алешина, Новиков обернулся.

— Вот чепуховина, что это? Что за насекомое?

Младший лейтенант Алешин с детски озорным любопытством посветил в воду карманным фонариком, и Новиков неожиданно для себя проговорил, улыбнувшись:

— Бросьте, обыкновенная лягушка!

— Вот дура! — восторженно воскликнул Алешин.

— Дайте фонарь.

Новиков взошел по ступеням застекленной террасы, зажег фонарик.

Первый этаж дома был пуст. В нем не жили, вероятно, уже несколько дней, пахло пыльными коврами, сладковатой духотой чужого жилья, незнакомой роскоши. На полированной мебели, на мягких сиденьях кресел — серый слой пыли со следами пальцев. Везде признаки торопливого бегства: в углу холла темнел толстый ковер, свернутый в рулон; широкий, на полстены, сервант, искристо сверкавший стеклом, хрустальными рюмками, распахнут; ящики, заваленные столовым серебром, наполовину выдвинуты. Всюду светились на ковре осколки фарфоровых чашек. Видимо, в поспешности искали самое ценное, что можно увезти, в злобе ломали, били то, что попадалось под руки и мешало. Зеркало трельяжа, — очевидно, прикладом, — расколото посредине, перед ним на полу невинно розовела тончайшая женская сорочка с кружевами.

— Балбесы! — сказал Алешин гневно. — Что наделали идиоты дурацкие!

— Кто там? Танцуют, что ли? — Новиков указал фонариком на потолок, где дробно громыхали шаги, заглушенно проникали в нижний этаж голоса.

— Там один разведчик, старшина Горбачев, — ответил Алешин, пожав плечами.

Светя перед собой фонариком, Новиков по плавно пружинящему ковру лестницы поднялся на второй этаж. Смешанным теплым запахом духов, едкой терпкостью нафталина пахнуло навстречу. Зеленый полумрак дымом стоял в этой с низким потолком комнате, — вероятно, спальне, — на окнах тщательно были задернуты тяжелые шторы. Двое незнакомых — офицер и солдат — с сопением возились подле шкафов, суетливо выкидывали оттуда шелковое женское белье, выбирая мужское, набивали им вещмешки, уминали кулаками. Разведчик Горбачев, высокий, гибкий в талии, сидел верхом на кресле, пожевывая сигарету в уголке рта, презрительно цедил сквозь дымок:

— Барахольщики вы, интенданты, на передовую бы вас... — И, увидев вошедших офицеров, лениво встал, не без достоинства и несколько небрежно козырнул, снисходительно произнес: — Интенданты из медсанбата. Подштанники для солдат добывают... Да кружева все. Ха!

— Кто приказал? — спросил Новиков, подходя к интендантам.

Один из интендантов, шумно отдуваясь, повернулся,— был он потен, красен, коротконог, крючок шинели расстегнут, толстые щеки выбрито лоснились, виски седые — капитан интендантской службы. Разгоряченный, собрав веки в узкие щелки, спросил низким прокуренным баритоном:

— А вы кто такой? Что нужно? Что такое?

— Я вас спрашиваю, кто приказал рыться здесь? — повторил Новиков, казалось, спокойным голосом и вскинул на капитана глаза, вспыхнувшие гневным огоньком. — А ну, вытряхивайте из мешков все до последней нитки! И марш отсюда! Ко всем чертям!

Интендант, вытерев пот на квадратном лице, смерил взглядом невысокую фигуру Новикова, заговорил самоуверенно:

— Прошу потише, капитан, не берите на себя много. Не для себя стараюсь, для вас же, солдат и офицеров, для медсанбата белье! Главное, спокойно, спокойно... Васечкин! Бери, и пошли!— командно рокотнул капитан в сторону солдата с унылым, болезненным лицом.

Солдат этот, растерянно тыча руками, топтался возле распахнутой дверцы бельевого шкафа, затем нерешительно поднял четыре до тесемок набитых вещмешка. Два остальных взял, отпыхиваясь, тучный интендант, предупреждающе строго глядя на Новикова.

В то же мгновение Новиков шагнул навстречу, загородив дорогу, сказал гневно:

— Первую же сволочь, которая с барахлом переступит порог... Назад!

Сутулый солдат, словно толкнуло в грудь, попятился, путаясь сапогами в кучах разбросанного женского белья, неуверенно опустил вещмешки у ног. Капитан, по-бычьи нагнув голову, с закипевшей слюной в уголках рта, крикнул:

— С дороги! Не лезь не в свое дело! Мальчишка!..

И в ту же секунду, издав горлом сиплый звук, рванул на боку кобуру нагана.

— Младший лейтенант, отберите у него эту игрушку! — быстро и жестко сказал Новиков.

Младший лейтенант Алешин и следом Горбачев ринулись к интенданту, и тотчас в углу послышалась

тяжелая возня, злое сопение капитана, умоляющие вскрики сутулого солдата: «Зачем вы, товарищ капитан... Зачем?» И когда интенданта, грузного, с злобно налитыми кровью глазами, выводили из комнаты, он упирался короткими ногами, придушенно кричал:

— Наган отдайте! Личное оружие... Не имеете права! Не для себя белье, для медсанбата! Медсанбат разбомбило, ни черта не понимаешь! Молокосос!

Вывели его. Шаги, крики капитана удалялись, стихали на нижнем этаже. Новиков подошел к столу, налил себе полстакана воды и стоя залпом выпил.

— Ну и мордач! Обалдел, просто обалдел! — почти восхищенно воскликнул Алешин, входя вместе с Горбачевым, оправляя ремень.— Вот игрушку взяли.— Он, возбужденный, зачем-то обтер о шинель наган, положил перед Новиковым на стол и, вроде бы ничего не случилось, независимо пощурился на свет лампы под зеленым абажуром. Затем потянулся к ящичку, набитому плитками шоколада. С удивлением посмотрел на рисунок обертки: женская головка со смеющимися глазами, долька шоколада возле полуоткрытых губ, рядом чужие буквы на фоне башни, на железных пролетах. Сдвинув фуражку на затылок, прочитал, растягивая слова:

— Па-ри-ис, — и повел детски заинтересованными глазами на Новикова. — Что такое? Что за «Парис»?

— Это по-французски — Париж. Немцы еще жрут французский шоколад, — ответил Новиков. — А это Эйфелева башня. Конструкции инженера Эйфеля. Кажется, триста метров высоты. А впрочем, может быть, и вру. Забыл...

И, отодвинув наган к консервным банкам, отошел от стола. Внимательно оглядел комнату, повсюду разбросанное белье на ковре, двуспальную, распухшую развороченной периной кровать, мягкие кресла. Потом достал из ниши над широкой тахтой запыленную книгу, полистал, молча швырнул на пол, сунул руки в карманы,— прошелся по глушащему шаги ковру.

— Немцы,— сказал он.— Здесь жили немцы, а не поляки. Отдыхали немецкие офицеры... Ясно... Курортный городок.

— Да шут с ними, товарищ капитан,— успокоительно сказал Горбачев, улыбнувшись глазами из-под черных, свесившихся на лоб волос. — Садитесь, закусим, щоб дома не журились! Здесь продуктов — подвал! На год

хватит. Товарищ младший лейтенант, вам, может, винца? А шоколад-то, разве это закуска? Плюньте. Ерунда!.. В подвале его штабеля...

— Вина? Пожалуйста.

Алешин отложил развернутую плитку шоколада, вопросительно посмотрел на Новикова, внезапно жарко покраснел. Взял рюмку, наполненную ромом, и, как-то торопливо, неумело, давясь, выпил, после чего долго мигал, вбирая воздух ртом, наконец выдавил:

— За победу! Лихая фиговина. А крепка!.. — и, наклонясь к полу, будто уронив что-то, смахнул с ресниц выжатые ромом слезы. Выпрямился и уже с наигранным выражением лихости откусил половину шоколадной плитки.

Горбачев, выпив рюмку одним глотком, не поморщился, понюхал только корочку хлеба, стал тыкать вилкой в банку свиных консервов, подвигал их Алешину. Однако тот, жуя шоколад, замотал протестующе головой, говоря смело:

— Так привык. Спирт в Трамбовле котелками дули и даже ничем не закусывали! Верно, товарищ капитан? Помните? Ух и рванули!

Новикову нравился этот синеглазый младший лейтенант с веселым лицом, с резкими конопушками на носу; нравилось, как скрывал он юную свою чистоту наигранной беспечностью бывалого человека. Новиков знал: Алешин никогда не пил котелками спирт в Трамбовле, а когда разведчики принесли канистру трофейного спирта, младший лейтенант, сославшись на дурацки болевший живот, пить вовсе отказался. Но сейчас Новиков сказал:

— Помню. Вы здорово тогда пили.

И чуть улыбнулся, увидев, как Алешин, красный, сразу захмелевший, блестя глазами, разворачивал хрустящую серебристую обертку второй плитки шоколада, добавил:

— Очень здорово и лихо вы пили! Ну, пошли! Батарея должна уже прибыть. Горбачев, вы останетесь здесь. Вернутся эти — гоните! Ясно?

— Слушаюсь!

Новиков взглянул на часы, пошел к двери. Алешин с видом разочарования рассовал по карманам четыре плитки шоколада, затем упруго встал, толкнул козырек фуражки со лба, начальственно строго сказал Горбачеву:

— Чтоб все как в аптеке, ясно? — и двинулся за Новиковым старательно прочной походкой.

Когда шли по глухой аллее парка, едва заметно посветлел воздух, проступили среди неба верхушки оголенных лип, и Новиков теперь не смотрел на часы, шагал по шелестящим ворохам листьев, глядя сквозь узорчатые очертания ветвей на высоту. Он прислушивался и только по привычно знакомому перезвону вальков, по отдаленным голосам команд на высоте, по крутой ругани ездовых понял, что орудия прибыли.

«С ума спятил, что ли, Овчинников? — подумал Новиков, ускоряя шаги. — Что галдят под носом у немцев? Что у них?» — и приказал Алешину:

— Бегом! Базар устроили! У вас это?

— Не может быть! — ответил Алешин.

Бегом они поднялись по пологому скату на высоту, и Новиков различил черные пятна орудий, повозок, лошадей, двигающиеся силуэты солдат, приглушенно скомандовал:

— Тихо-о! Что у вас тут? Командир взвода, ко мне!

Ругань и голоса стихли, неясные силуэты застыли подле орудий, и к Новикову, шумно дыша, подбежал весь пахнущий горячим, здоровым потом лейтенант Овчинников. Он доложил о прибытии.

— Вы что, Овчинников? — тихо, сдерживая себя, спросил Новиков. — Батарею без единого выстрела хотите угробить? Впереди нейтралка, немцы рядом, вам это не ясно?

— Ничего не ясно! — прошептал Овчинников возбужденным от недавних команд голосом.— Ерундовина! Что, орудия на нейтралке мне ставить? Не перепутал Ремешков, товарищ капитан?

— Нет. А в чем дело?

— Минное поле тут немецкое за высотой, вот что! Орудия проскочили, а вот повозку на мину нанесло! — И Овчинников выругался.— Лошадь — вдребезги, хвоста не найдешь! Повозочного тяжело ранило. Ленка там с ним возится! Значит, мне на нейтралке стоять? Без пехоты? — спросил он, как бы не веря еще.

— Да, без пехоты. Алешин здесь на высоте, с орудиями. А за высотой на нейтралке вы, Овчинников. Почему я должен повторять приказ?

— Думал, ошибся Ремешков,— странно потухнув, ответил Овчинников.

— Никто не ошибся. Занимайте позицию, и без шума, — повторил Новиков, — Где раненый? — И, не услы-

шав, что ответил Овчинников, пошел по высоте, в сторону нейтральной полосы.

— Куда вы? На мины? — крикнул Овчинников и рванулся к Новикову. — Жизнь осточертела, товарищ капитан? Ленка там, и вы еще... Надо саперов вызвать...

— Саперы вызваны. Только они не разминируют, а минируют...

Новиков не договорил, голос Овчинникова срезало на крик: «Ло-жи-ись!» — и тотчас в тишине раздались отчетливый хлопок, легкое, все нарастающее шипение. Новиков спиной почувствовал, что случилось что-то позади, и, обернувшись, увидел: в белесо посветлевшем небе стремительно взвивалась мерцающая, разгорающаяся звезда, и такая же звезда неслась из глубины озера за высотой. Верхняя звезда рассыпалась над озером зеленым огнем, четко вычертив высоту, орудия, повозки, лошадей, фигуры солдат. И в те же секунды, пока ракета горела в небе, с конца озера, где должны были стоять орудия Овчинникова, красными стрелами посыпались на высоту трассы. Очень близко — за нейтральной полосой — гулко заработал пулемет. И снова взлетела ракета, немного правее, и оттуда тоже брызнули цепочки очередей по высоте.

— Повозки — в укрытие! — скомандовал Новиков, ясно поняв: немецкое боевое охранение заметило батарею.

Подбежав к сгрудившимся повозкам боепитания, он увидел, как солдаты суматошно сгружали снарядные ящики, а орудийные упряжки, грохоча передками, вскачь понеслись по высоте.

— Я приказал — в укрытие! — громко повторил команду Новиков, встретясь с лихорадочными глазами первого повозочного, тот со стоном нетерпения кидал ящики на землю, и договорил тише: — Батареи как на ладони! Вы это еще не поняли?

Над головой хлестнула очередь. Новиков нагнулся, повозочный упал животом на ящик, прохрипел в землю:

— Товарищ капитан... Немцы-то совсем рядом... Целоваться можно. Мы ж не знали...

— Ма-арш! — приказал Новиков.

Эта последняя команда оторвала повозочного от земли. Боком упал на повозку, рванул вожжи, повозка покатилась по скату высоты, стуча оставшимися снарядны-

ми ящиками. Вокруг, озаренные ракетами, на рысях мчались мимо Новикова повозки, вслед им хлестали огненные струи пулеметных очередей. Беспрерывно освещаемая высота опустела и точно вымерла вся. Два пулемета, стоявшие очень близко, вперекрест с перемещением били по ней, чудилось — прочесывали каждую осеннюю травинку блестящимися острыми зубьями гигантского гребня, и Новиков, услышав приближающиеся тюканья пуль в землю, лег на траву. Он чувствовал, что немцы теперь не выпустят высоту из виду, будут прочесывать ее целую ночь — все это вдвойне осложняло дело, злило его. «Засечь батарею еще до боя!»

Пулеметы внезапно смолкли, одни ракеты, взлетая над озером, извивались щупальцами огней в воде.

Наконец ракеты сникли, темнота упала на высоту. Новиков встал и, уже не доверяя тишине, позвал вполголоса:

— Младший лейтенант Алешин!

— Здесь я.

Возле зашуршала трава, быстро подошел Алешин, забелело лицо в темноте.

— Вот джаз устроили!.. Два пулемета я засек. Под самым носом стоят. Дать по ним огонь? Чтоб заткнулись!

— Не говорите чепухи,— оборвал его Новиков.— Батарею не демаскировать. Окапываться в полнейшей тишине. Все ясно? Раненые есть?

— Нет. Только один повозочный. Сужиков. На мину нарвался. Лена с ним.

— Знаю. Я сейчас туда. За меня остаетесь.

— Слушаюсь оставаться.— Алешин с сожалением задержал вздох, тут же нарочито бодрым голосом добавил:— Возьмите это, товарищ капитан, Леночке,— и уже неловко протянул Новикову две плитки шоколада.— Подкрепиться... а то они тут в карманах понатыканы, плюнуть негде!

Новиков молча сунул шоколад в карман, как бы не обратив внимания на неловкость Алешина. Он никогда раньше не замечал между младшим лейтенантом и Леной каких-то особых отношений, какие, казалось ему, были между ней и Овчинниковым. И то, что Алешин смутился, говоря «Леночке», было Новикову неприятно. Он не хотел, чтобы этот чистый мальчик — младший лейтенант, напускавший на себя взрослость,— попал

под колдовство этой обманчиво непорочной Лены, знающей все, что можно только познать на войне, в вечном окружении огрубевших от военных неудобств мужчин.

Спускаясь по высоте в сторону нейтральной полосы, Новиков смотрел под ноги, стараясь угадать, где начиналось неизвестное минное поле. «Наскочили на немецкую мину?» — соображал он и в ту же минуту, сойдя в котловину, услышал предостерегающий голос:

— Кто там? Осторожней! — и сейчас же заметил справа от себя, вблизи кустов, темнеющее пятно.

Он подошел... Темное пятно справа оказалось разбитой, без передних колес повозкой, рядом возвышался круп убитой лошади. Лена, стоя на коленях, перевязывала тихо стонущего Сужикова, торопливо накладывала бинт.

— Сейчас, сейчас, — говорила Лена убеждающим шепотом. — Ну, несколько минут... Сейчас повозка придет, и мы в медсанбат, в медсанбат... еще немножко...

— Сильно его? — коротко спросил Новиков, наклоняясь.

Лена, тонкими пальцами завязывая бинт, вскинула голову, и Новиков в упор встретил чернеющие ее глаза. Она сказала гневным голосом:

— Зачем вы еще здесь? Одного мало, да?

— Сужиков! — позвал Новиков и опустился на корточки перед раненым. — Что ж это ты, а? В конце войны... С Киева ведь вместе шли... Узнаешь меня?

Сужиков, пожилой солдат, воевавший в батарее Новикова с Днепра, лежал, запрокинув голову, напряженно округленные глаза глядели в небо; обросшее лицо было серо, узко, оно похудело сразу; с усилием перевел взгляд, узнал Новикова, губы беспомощно-жалко зашевелились:

— Случайно... Разве знал?.. Вот обидно, — и крупные слезы медленно потекли по его щекам. — Обидно, обидно, — сквозь клокочущий звук в горле повторял он. — Всю войну прошел — ни разу не раненный...

Новиков не мог успокоить Сужикова, он хорошо знал: если раненый чувствовал, что жить осталось недолго, то никогда не ошибался. Сужиков не говорил о смерти, но Новиков подумал, что война для него кончилась раньше, чем должна была кончиться, и именно

что ощущение несправедливости болезненно кольнуло его.

— Не надо, Сужиков, не надо, милый,— заговорила Лена ласково успокаивающим голосом, промокая бинтом слезы, застрявшие в щетине щек. — Вы будете жить, Сужиков... Боль пройдет, еще немножко...

Новиков не мог терпеть тех ложных слов, какие говорят медсестры умирающим, и, испытывая неловкость огрубевшего к горю человека, подумал, что он, Новиков, не хотел бы, чтобы его ласково обманывали перед смертью, если суждено умереть: от этой последней ласки жизни не становилось легче.

— Не надо его успокаивать. Он все понимает. Прощай, Сужиков. Я тебя не забуду,— сказал он и легонько сжал худое плечо солдата. Встал и, услышав снизу слабый голос Сужикова: «Спасибо, товарищ капитан»,— почувствовал острое неудобство этой благодарности и подумал: «Вот еще один...»

Минут через десять прибыла санитарная повозка из медсанбата, и Сужикова увезли.

Они шли рядом, Новиков и Лена, молчали. Она неожиданно повернулась к нему, почти касаясь его грудью, упруго выступавшей под шинелью, заговорила:

— Я бы одна отправила его! Зачем пришли? Хотите геройски погибнуть на мине? Кто вас звал? Это мое дело!

— Это мой солдат, — ответил Новиков. — Идемте к Овчинникову. Только осторожней, не петляйте по минам, шагайте рядом со мной. У меня, кажется, больше опыта. — И добавил: — Кстати, вам шоколад от Алешина.

— Какой шоколад? Что это вы? Здесь не детский сад.

Влажный блеск засветился в ее глазах, и он увидел, как то ли презрительно и ненавидяще, то ли жалко и беспомощно, как сейчас у Сужикова, задрожали ее губы. И она резко пошла вперед, по котловине, к озеру.

Новиков догнал ее.

— Стойте, — остановил сердито. — Я сказал вам: идите рядом со мной. Недоставало мне еще одного раненого. Слышите?

Она не ответила.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Два орудия батареи — взвод лейтенанта Овчинникова — были выдвинуты в сторону ничьей земли на двести метров от высоты, где стоял взвод младшего лейтенанта Алешина.

Расчеты Овчинникова, вгрызаясь в твердый грунт, окапывались в полном молчании — команды отдавались шепотом, люди работали, сдерживая удары кирок, стараясь не скрипеть лопатами.

При холодных порывах ветра, налетавшего с озера, все слышали тревожные голоса немцев в боевом охранении, звон пустых гильз, по которым, видимо, ходили они в своих окопах. Люди, замирая, приседали на огневой, не выпуская лопат из рук, глядели в темноту, на кусты, проступающие вдоль свинцовой полосы озера. Ожидали ракет, близкого стука пулемета,— казалось, слышно было, как немцем-пулеметчиком продергивалась железная лента.

Лейтенант Овчинников, еще не остывший после недавнего марша, слепого прорыва орудий через минное поле, полулежал на свежем бруствере огневой позиции, жадно курил в рукав шинели, командовал шепотом:

— А ну, шевелись, шевелись! Лягалов, вы чего? С лопатой обнимаетесь? Действуйте, как молодой!

Он видел, как маслянисто светились во тьме белые спины раздевшихся до пояса солдат, запах крепкого пота доходил до него.

— О чем задумались, Лягалов? Жинку вспомнили? — снова спросил он, зорким кошачьим зрением вглядываясь в потемки, и нетерпеливо пошевелился на бруствере. — Ну, чего размечтались? Жить надоело?

Замковый Лягалов, солдат уже в годах, с некрасивым, робким лицом, с толстыми губами, в постоянно сбитой поперек головы пилотке, стоял, обняв лопату, двумя руками держась за оттянутый подсумком ремень, бормотал усталым голосом:

— Передохну, товарищ лейтенант, маленько. Резь в животе. После немецких консервов... Я маленько...

— Врет, хрен его расчеши! — захихикал насмешливо злой наводчик Порохонько, подходя, светлея в темноте тонким безволосым телом.— Графиню он польскую вспомнил, любовницу. Тут в замке одном... Як на марше зашли напиться в замок, бачим: графиня, руки белые, в

кольцах... Шмяк на колени перед Лягаловым: «Я такая-сякая, капиталистка, туда-сюда, и от любви умираю, возьмите в жены, советской жолнеж, ум-мираю от сердца...»

— Отчепись,— смущенно и протяжно попросил Лягалов, по-прежнему держась за ремень.— Знобит меня, товарищ лейтенант... Разрешите? — И, потоптавшись неловко, полез с неуклюжестью пожилого человека наверх, осыпая ботинками землю, оглядываясь в сторону боевого охранения немцев.

— Насовсем убьет, гляди, — заметил Порохонько язвительно и поплевал на ладони. — Графиню сиротой оставишь!

Сержант Сапрыкин, грузно-широкий, тяжко посапывая, ожесточенно долбя грунт, с укором сказал:

— Ну, чего прилип к человеку? Изводишь дружка ни с того ни с сего. Язык у тебя, Порохонько, болтает, а голова не соображает. — И миролюбиво вздохнул: — Верно, с животом у него неладно, товарищ лейтенант. Перехватил консервов. Это бывает.

— У плохого солдата перед боем всегда понос! — беззлобно ответил Овчинников, вмял окурок в землю, стал снимать шинель. — До рассвета не окопаемся — нам крышка тут. До всех дошло?

Сапрыкин, глядя в темноту, произнес:

— Тут недалеко чехи, соседи наши, окапываются. Ребята хорошие. Давеча с одним разговаривал. Партизаны, говорит, восстание в Чехословакии подняли, наших ждут. Веселое время идет, ребятки! А ну нажимай, пота не жалей, все окупится!

— Это что — для агитации, парторг? Или так, для приподнятия духа? — недоверчиво спросил Порохонько.

— Мне тебя агитировать — дороже плюнуть, орудийный банник ты! — ответил Сапрыкин добродушно. — У тебя свой ум есть: раскидывай да уши востри куда полагается. Не ошибешься без агитации.

— Нажима-ай! — хрипло скомандовал Овчинников. — Разговоры прекратить!

Оставшись в гимнастерке, Овчинников с силой вдавил сапогом лезвие лопаты в твердый грунт, бесшумным рывком отбросил землю на бруствер. Все замолчали. То, что лейтенант взялся сам за работу, вдруг вызвало у солдат обостренно-тревожащее чувство. Все копали в напряженном безмолвии, лишь дышали тяжело, обливаясь разъедавшим тело потом.

Раз Сапрыкин, не рассчитав налившую все его массивное тело силу, со звоном ударил киркой по камню, и сейчас же раздались частые хлопки у немцев. Кроваво-красные ракеты встали, развернулись в небе, отчетливо залили обнажающим светом край озера, поле вокруг. И люди на огневой позиции ясно увидели друг друга, повернутые в одну сторону головы, розовые отблески в зрачках.

— Ложи-ись! — неистовым шепотом скомандовал Овчинников.

Пульсирующее пламя вырвалось на том берегу озера, огненные вихри сбили бруствер, взвились рикошетом в озаренное ракетами небо, впиваясь в звездную высоту.

Люди упали на огневой, прижимаясь разгоряченными телами к холодной земле, — мертвенный свет трасс бушевал над ними. В тот же миг на огневую суматошно скатился, придерживая галифе, Лягалов, бросился ничком, головой в бок лежавшему Овчинникову, странно давясь, икая.

— Не задело? — крикнул Овчинников и услышал сдавленный голос Лягалова:

— Ка-ак он хлестанет!.. Ну, думаю...

— Эх ты, поно-ос, — засмеялся шепотом Порохонько. — О графине подумал, икота началась на нервной почве...

Ракета упала и горела костром за бруствером, дымя, ослепляя, и хотелось Овчинникову горстью земли забросать ее брызгающий свет. Казалось, что бруствер не прикрывал их и все лежали на ровном месте, как голые.

— Вроде как житья не дадут, — спокойно сказал Сапрыкин.

— Заметили, фрицево отродье! Точно подзасекли, — мрачно проговорил лейтенант Овчинников и выматерился от удивления: разом сникли ракеты, разом смолк и стук пулеметов. Он вскочил на ноги, зашептав: — За лопаты, нaж-жимай! Душу из всех вон!

Первым поднялся неуклюжий, будто виноватый, Лягалов, — суетливо поддергивая галифе, кинулся искать лопату, наткнулся на деловито вставшего с земли командира орудия Сапрыкина. Сапрыкин остановил его рассудительно:

— Потихоньку. С какой стати расшумелся, как трактор? С какой стати? Голову гусеницей отдавишь! — и взялся за кирку.

— Это он герой, колгоспный бухгалтер, — отозвался Порохонько. — Одно дело: то понос, то графиню прижимает, то головы отдавливает, ловка-ач! У него и фамилия такая — лягает по головам. Залез в кусты демаскировать.

— Зачем так, разве я виноват? — тихо, конфузливо спросил Лягалов. — Обижаешь ты меня. Легче тебе так?

— Я ж люблю тебя за ловкость.

— Прекратить разговоры! — скомандовал Овчинников вполголоса, и все стихло на огневой.

Подождав, лейтенант выпрямился, всматриваясь в темноту.

— Идет кто-то, — произнес он и, подойдя к краю огневой, окликнул: — Кто идет?

— Двое идут, — сказал шепотом Сапрыкин. — Может, чехи? И по минному полю... Вот славяне! Постой, кажись, комбат с санинструктором.

Овчинников хмуро выругался. Он не скрывал своего расположения к санинструктору, никто из солдат, уважавших Овчинникова за откровенность, простоту взаимоотношений, не мог осудить его. Однако то, что Лена была не одна, не понравилось ему, хотя точно знал, что между ней и Новиковым не было той приятной, с большим намерением игры, которую умело, легко, удачливо начал истосковавшийся по женской любви Овчинников.

Подошли Лена и капитан Новиков, их фигуры черно проступали над бруствером среди темени ночи.

— Леночка, дайте руку. Упасть можно, — приветливо сказал Овчинников, поставив ногу на бруствер. — Прошу вас, Леночка. Спасибо, что пришли.

Она протянула руку, узкую, влажную ладонь; и он особо значительно стиснул ее кисть своими грубо-сильными, в мозолях пальцами, помог сойти на позицию. Когда сходила она, вес ее тела, упругие движения передались на руку Овчинникова, и, от этого задохнувшись, он почувствовал в доверчивом пожатии ее иной, обещающий смысл.

— Связь с Ладьей проложил? — спросил Новиков.

Овчинников, накидывая на плечи шинель, быстро ответил:

— Будет связь. В землянку прошу, товарищ капитан. И вас, Лена... Всем продолжать работать. Возьмите мою лопату, Лягалов.

Новиков не удивился тому, что сам Овчинников вместе с расчетом копал огневую,— хорошо знал самолюбивого лейтенанта, тот не мог сидеть и ждать: окапывался всегда первым, первым докладывал о готовности огня.

Когда же влезли в свежевырытый глубокий блиндаж, крепко пахнущий сыростью, и, загородив вход плащ-палаткой, сели на солому, достали папиросы, Новиков, чиркая зажигалкой, внимательно посмотрел на Овчинникова, сказал:

— К рассвету ты должен вкопаться в землю и замаскироваться так, чтобы тебя в упор не было видно.

— Знаю,— отрезал Овчинников, прикуривая.

Помолчали.

— Скажите, разве в дивизионе не знали, что здесь минное поле? — спросила Лена сердито, видя загоравшиеся огоньки двух папирос и улавливая от одного, особенно ярко вспыхивающего, пристальный взгляд Овчинникова, устремленный на нее.

— Дайте папиросу, заснули, товарищ лейтенант? — сказала она, обращаясь к Овчинникову,— этот сонный его взгляд раздражал ее.

Овчинников встрепенулся, папироса осветила его крючковатый нос, край худощавой щеки, вдруг произнес тяжелым голосом:

— Разведчики научили? Не идет курить вам. Я лично курящих девушек не уважаю. Духи, одеколон — другое дело. Для вас обещаю. После первого боя.

И, ревниво покосившись в сторону молчавшего Новикова, протянул ей папиросу, зажег спичку. Лена не без насмешливого вызова сказала, задув огонь:

— Спасибо. У меня есть прекрасные французские духи. Разведчики уже подарили. Но лучше бы вместо них побольше соломы в блиндаж. Разрешите, я распоряжусь, товарищ лейтенант?

И, отдернув плащ-палатку, вышла.

— Чего это она? — Овчинников уязвленно хмыкнул.— Хитрый, скажи, орешек! Эх, жена бы была, королева в постели! — добавил он преувеличенно откровенно и снисходительно. — Хороша, капитан!

Разговором этим, видимо, он хотел показать Новикову, что дела его с Леной зашли далеко, достигли того естественного положения сблизившихся людей, когда он может уже приказывать или тоном приказа советовать ей,

Однако Новиков сказал не то, что ожидал от него Овчинников:

— Запомни, твои орудия примут первый удар. Шоссе — на твою ответственность. Но рассчитывай на круговой сектор обстрела.

— Знаю.

— Минные поля саперы разминировать не будут. Наоборот, саперы минируют котловину перед твоими орудиями. Вокруг тебя везде мины: и наши и немецкие. Если немцы двинут на тебя, они застрянут на этих полях. Ясно?

— Знаю,— мрачно ответил Овчинников, прикуривая от окурка новую папиросу.

Помолчав, Овчинников опять хмыкнул, думая о чем-то, затягиваясь и выдыхая дым.

— Ловушка, значит? — резко, недоверчиво произнес он, как будто для того только, чтобы возразить.

— Какая? — Новиков усмехнулся. — Просто воюем на нейтральной полосе. Пусть твои связисты свяжутся с саперами, те отметят проход к высоте в минных полях.

— Знаю! — снова отсек Овчинников.

Это хмурое «знаю» говорилось им обычно из тяжелого самолюбия, говорилось потому, что Новиков по годам был гораздо моложе его и, казалось, жизненно неопытнее, и лишь стечением обстоятельств, невезением объяснял Овчинников то, что не он, Овчинников, лейтенант в двадцать шесть лет, а слишком молодой Новиков командовал батареей.

— Что «знаю»? — миролюбиво спросил Новиков, и по этому тону Овчинников снова почувствовал его превосходство над собой.— Действуй. И немедленно прокладывай связь с высотой. Счастливо! Желаю увидеть тебя живым!

Новиков встал, откинул висевшую над входом плащпалатку.

Звездная, неестественно тихая ночь, со свежестью, крепостью горного воздуха, с осторожным шелестом трав, влилась в накуренный блиндаж. Блеск крупной звезды синим огнем дрожал, струился над бруствером.

— Молчат и ждут, — проговорил Новиков задумчиво. Потом спросил не оборачиваясь: — У тебя нет такого чувства, что война скоро кончится? В Венгрии Второй Украинский вышел на Тису. В Югославии наши танки на окраине Белграда. Скоро конец...

Овчинников не пошевелился в глубине блиндажа, во

тьме только жарко разгорелся, подсвечивая его тонкие губы, огонек папиросы, ответил кратко:

— Нет.

Но этот ответ был ложью. Овчинников, как и все остальные, ощущал приближение конца войны и, порой задумываясь, испытывал смутное чувство растерянности, беспокойства о чем-то не доделанном им. Это подавляло его: угнетало то, что не сделал он на войне нечто главное, что сделали другие.

— Нет! Не думал,— хмуро повторил он, и тотчас Новиков ответил полусерьезно:

— Ну и дурак! Ладно. Пошел.

В ходе сообщения, не отрытом еще полностью, он столкнулся с наводчиком Порохонько. Тот, взмокший, в телогрейке, надетой на голое тело, нес на спине ворох соломы, стянутой в узел плащ-палаткой. Спросил, крякнув, подбрасывая зашуршавший ворох на лопатках:

— Вы чи не вы приказали, товарищ капитан? Или разведка?..

Новиков сделал вид, что не понял намека.

— Приказ отдал я. Пора научиться жить на войне с относительным удобством. — И пошутил как будто: — Скоро будем спать на чистых простынях, Порохонько, я вам обещаю.

Порохонько протиснулся к землянке, свалил со спины ворох и вдруг понимающе, сурово даже, оглянулся в темноту, поглотившую комбата. Первым признаком надвигавшегося боя (он знал это) была странная спокойная веселость Новикова.

Была полная предрассветная тишина. Немцы молчали.

За полчаса до рассвета Овчинникову доложили, что все готово: огневая отрыта в полный профиль, к высоте проложена связь, выставлены часовые.

Овчинников, разбуженный сержантом Сапрыкиным, некоторое время лежал на соломе в блиндаже, окутанный мутной дремотой, как паутиной, а когда сел, от движения заболели мускулы поясницы, спросил не окрепшим после сна голосом:

— А второе орудие? Доложили о готовности?

— Нет еще.

В землянку входили истомленные солдаты с землистыми лицами, щурились на свет. На снарядном ящике в

тепло-сыром воздухе неподвижными фиолетовыми огнями горели немецкие плошки. Стояли, дымясь, котелки, мясные консервы, огромная бутыль красного вина. Телефонист Гусев, наклоняя стриженую голову, ложкой носил из котелка к губам горячую пшенную кашу, дул, обжигаясь, на ложку.

Сержант Сапрыкин резал буханку черного хлеба, прижав ее к груди, оттопырив локоть; не соразмеряя силу, так нажимал на нож,— казалось, полоснет себя острием. Хозяйственно раскладывая крупные ломти на ящике, посоветовал с домовитым покоем в голосе:

— Поужинайте, товарищ лейтенант. С вином. Капитан Новиков прислал. Садитесь, ребятки.

— Есть не хочу.

Овчинников налил из бутылки полную кружку вязкого на вид вина, жадно выпил терпкую спиртовую жидкость, весь передернулся:

— Фу, дьявол, дрянь какая! Повидло прислал! А ну, Гусев, командира второго орудия старшего сержанта Ладью!

Гусев вытер поспешно губы — он, как ребенок, измазался пшенной кашей,— сорвал трубку с аппарата, подул в нее, как на ложку, заговорил баском:

— Ладью, Ладью, давайте Ладью... Спите? А нам неясно, что вы делаете. — И, недоуменно пожав плечами, протянул трубку Овчинникову. — Он... музыку какую-то слушает... С ума посошли.

— Какая там еще музыка у тебя, Ладья? — лениво спросил Овчинников, услышав по проводу близкий, как бы щелкающий голос командира второго орудия.— Трофеи, может, виноваты? Как у вас там? Почему вовремя не докладываете? А если все в порядке, докладывать надо. Ладно, послушаем музыку. Какая еще музыка?

Встал, застегнул шинель на сильной, плотно слитой из мускулов, чуть сутуловатой фигуре, спросил тоном приказа:

— Лена где, у орудия?

И, не ожидая ответа, вышел из блиндажа.

Был тот кристально тихий час ночи, когда переместились звезды в позеленевшем небе, прозрачно поредел воздух над безмолвной землей и особой, острой зябкостью влажного рассвета несло от темной травы на бруствере, от стен ходов сообщения, от мокро блестевших лопат в ровике,

Поеживаясь от сырости, Овчинников мягкими шагами подошел к орудию, оттуда донесся негромкий разговор, у станины неясно чернел силуэт часового. По неуклюжей позе узнал Лягалова — на ремне железом отсвечивал автомат. Рядом на снарядном ящике сидела Лена, на плечи накинута плащ-палатка. Лягалов говорил, вздыхая, голос звучал сонно, ласково:

— Не женское это дело — война. Какое там! Мужчину убьют — это туда-сюда, его дело. А женщина — у ней другие горизонты. У меня тоже старшая дочь, Елизавета. Тоже, извиняюсь, фыркальщица, студентка... Парни за ней табунами ходили на Кубани-то. А разве могу я головой представить, что она вот тут бы, как вы, сидела? Не могу! Нет, не могу! Двести бы раз вместо нее согласился воевать! А вы откуда сами-то? Учились где? Школьница небось?

— Я из Ленинграда, училась в медицинском институте. Вы сказали — фыркальщица? — спросила Лена. — А что это значит?

— Да такая, чуть что — фырк. И пошла... Я не говорю про вас.

Лена засмеялась тихим смехом, охотно засмеялся и Лягалов, поглаживая большой крестьянской рукой своей автомат, точно лаская его, спросил:

— А родители как у вас?

— Я одна,— сказала Лена. — Нет, лучше один раз воевать, но навсегда. Я раньше представляла фашизм только по газетам. Потом увидела все сама. Нет, с ними должны воевать не только мужчины, но и женщины, и дети. Один раз. И навсегда! Иначе нельзя жить.

Замолчали.

— Лягалов! — строго позвал Овчинников и мягко подошел к ним.— Идите отдыхайте! Я побуду здесь. Леночка, мне поговорить с вами необходимо.

Лягалов в нерешительности потоптался, с неуклюжестью заковылял от орудия, растерянно взглядывая на недвижно-темную фигуру Лены, исчез в ровике. Подождав немного, Овчинников сел на ящик, почти касаясь плеча Лены, вынул из кармана кожаный трофейный портсигар, предложил, игриво улыбаясь:

— Покурим, а, Леночка? В рукав...

— Не курю, Овчинников.

— Та-ак... Значит, мило шутили надо мной? Что ж, очень приятно, можно сказать,— проговорил он по-пре-

жнему игриво-простодушно, однако, казалось, не без усилия владея голосом, и спросил еще: — Может, перед комбатом форсили?

Она сидела невнимательная, едва заметно хмуря брови, сказала:

— Ничего не слышите? — И повернулась в сторону озера. — Послушайте. Что там у них?

Овчинников не понял.

Низко и свинцово, подступая из темноты, блестел край озера. Серая, застывшая по-осеннему, уже затянутая туманцем вода не отражала высоких звезд; кусты на берегу, откуда всю ночь стреляли пулеметы, стояли затаенно, неподвижно. Тишина рассвета осторожно прижалась к холодеющей земле, к озеру. И тотчас Овчинников с тревогой и недоверием услышал, как сквозь узкую щель в земле, под нежные, звенящие звуки саксофонов, дробный грохот барабанных палочек, сентиментально-сладкий женский голос пел о чем-то томительно-незнакомом. Внезапно появилось такое чувство, будто там, у озера, приемник немцев поймал случайную, с другой планеты, музыку (которую слышали и возле орудия старшего сержанта Ладьи). Сразу возникшая у Овчинникова мысль о том, что у немцев в эти самые крепкие часы они не спали, неспокойно и подозрительно насторожила его.

Он сидел несколько минут, прислушиваясь. Слева от орудия, очень далеко, за ущельем, в горах, мягко тронули тишину пулеметные очереди, витиеватым узором вплелись автоматные строчки и круто ударили танковые выстрелы. В той стороне четвертые сутки шел бой в районе Риви. Потом там смолкло. Здесь смолк и патефон у немцев. Безмолвие лежало везде.

— Что вы, Леночка? — сказал Овчинников небрежно. — Обыкновенная обстановка. Вам-то что за забота? Серьезно обещаю вам — прекрасные духи достану. Встречались — не брал. А вот эту штучку взял. Хороша? Хотите, подарю?

Откинул полу шинели, вынул из кармана нагретый теплом тела, игрушечно блестевший перламутром рукоятки маленький, изящный пистолет, подбросил его, поймал в воздухе, сказал:

— Немка военная какая-то носила. Даже себя убить, должно быть, невозможно. И ранить нельзя, а так вещь, вроде игрушки. У вас оружия нет, возьмите...

— Ну-ка покажите.

Лена легко скинула влажно зашуршавшую плащ-палатку, чтобы не сковывала движения, и будто разделась перед ним. Он увидел четко вырезанные среди свинцового свечения озера ее узкие плечи, тонкую шею; миндальный запах волос, как бы обещающий сокровенную близость гибкого, крепкого тела, коснулся Овчинникова при повороте ее головы.

— Дамский «вальтер», — услышал он голос Лены. — Это действительно игрушка.

Он смутно слышал ее голос, как сквозь воду, и только остро и ревниво мелькнувшая в его сознании мысль о том, что она хорошо знала то, чего не знали другие женщины, что она холодна и недоступна из-за его нерешительности, отозвалась в нем нетерпеливой дрожью, в прерывистом шепоте его:

— Как гвоздь вошли в сердце, Леночка. Клещами не вытащишь. Я тебя никому не дам, никому не дам!..

И сильно, по-мужски опытно обнял ее, рука, уверенно лаская, скользнула от груди к тайно теплым, сжатым бедрам. Он так резко повернул ее к себе, до близости плотно прижал грудью, что она откинула голову, замотала головой. Он начал порывисто, колюче-жадно целовать ее холодный, сопротивляющийся рот, зубами стукаясь о стиснутые ее зубы.

— Леночка, Леночка...

Она упруго вырвалась, вскочила, ударила изо всей силы его по виску и еще раз ударила с перекошенным лицом, сказала страстно и зло:

— Дурак, глупец! Убирайся к черту! Иначе я не знаю что сделаю!..

Он сидел оглушенный, гладя одеревеневшую от ударов щеку, потом внезапно засмеялся удивленно, подставил лицо, дрогнули ноздри его крупного крючковатого носа.

— Еще... ударь... еще!.. Сильней ударь!

Она шагнула к нему.

— Да, ударю!

— Товарищ лейтенант, к телефону вас. Немедленно! — послышался робкий голос Лягалова, и Лена и Овчинников оба одновременно увидели в посеревшем воздухе силуэт головы над ровиком.

— Кто еще там? Лягалов? Подсматривали? — гневно спросил Овчинников. — Я спрашиваю: подсматривали?

— Никак нет,— сдерживая зевоту, ответил Лягалов.— Живот у меня. По своей нужде вышел. Комбат вас... А я на пост встану.

Овчинников до странности быстро потух, лишь колючий подозрительный блеск горел в зрачках. Он косо взглянул на белеющее лицо Лены и, ссутулив плечи, сказал:

— Можешь идти спать к разведчикам. Иди. Мы им в подметки не годимся. Покажи им класс.

И мягкими, щупающими шагами двинулся к ровику, мимо Лягалова, вошел в душный, наполненный храпом блиндаж. Телефонист Гусев сидел в сонной полутьме и, все время сползая спиной по стене, усиленно разлеплял веки. Трубка лежала на коленях. Овчинников схватил трубку, еще не совсем остыв, возбужденно проговорил:

— Второй у телефона!

— Почему не докладываете о проходе? — спросил голос Новикова. — С саперами связался? Что молчишь?

— За мою жизнь беспокоитесь? — произнес Овчинников, беспричинно злясь на этот спокойный голос Новикова (сидит себе в коттедже и водку пьет!). — Я приказ выполнил! Отсюда драпать не собираюсь! За меня не беспокойтесь! Именно за меня!

— Если прохода не будет, отдам под суд! — тихо и понятно сказал Новиков. — Именно за тебя я не беспокоюсь.

— А-а, куда угодно! Хоть под суд, хоть к дьяволу!

Он сидел на нарах, узколицый, с вислым носом, расставив мускулистые руки, самолюбиво сжав тонкие губы, — был похож на взъерошенную хищную птицу.

— Да тут чего порох рассыпать? Схожу я к саперам, обойдется. Ложитесь, товарищ лейтенант, я потопаю потихоньку...

Только сейчас Овчинников заметил сержанта Сапрыкина. Наклонясь в углу над снарядным ящиком, он, добродушно улыбаясь, приклеивал к сильно потертому, помятому партбилету отставшую фотокарточку: крупное лицо, мягкое, задумчиво-домашнее, слегка серебрились виски при слабом свете плошки.

— Вот наказание, скажи на милость. Отклеивается, и только! От сырости или поту? В какой карман класть? Вот шелковую тряпочку от немецкого пороха достал. Годится?

Медлительно завернул партбилет в шелк, долго засовывал его в пришитый на тыльной стороне гимнастерки карман, потом поднялся, говоря покойно, степенно взвешивая слова:

— Пошел я, товарищ лейтенант. А вам бы отдохнуть.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Командир дивизиона майор Гулько приехал на огневую Новикова в четвертом часу ночи.

Хлопая кнутом по узкому сапогу, осмотрел позицию, затем, звеня шпорами, прошелся перед орудиями, здесь в раздумье постоял на высоте, вглядываясь в озеро слева от нейтральной полосы, где в двухстах метрах от немцев были поставлены на позиции орудия Овчинникова.

— Позиция дурная. Орудия как на ладони. Но лучшей нет. Как полагаете, капитан Новиков?

— Я полагаю, что немцы рядом, я приказал разговаривать шепотом, вы же, товарищ майор, звените шпорами и разговариваете громко, как на свадьбе,— нестеснительно и прямо сказал Новиков.— Пулеметы уже пристреляли позицию.

Если в штабной землянке майор Гулько мог сидеть в присутствии офицеров в одной нательной рубахе, то в батареи он обычно приезжал по-уставному подтянутый, тщательно, до синевы выбритый, надевал шпоры, был весь крест-накрест перетянут новыми скрипучими ремнями, говорил громким голосом, с той командной интонацией, которую обычно подчеркивают интеллигентные люди на войне. Не раздражаясь, однако, на замечание Новикова, Гулько невозмутимо хлестнул кнутом по голенищу, сказал:

— Взводу Алешина отдайте приказ отдохнуть по-человечески. Пока спокойно. В этой самой респектабельной вилле. Заслужили. Пусть спят на мягких перинах, на постелях, на чистом белье.

— Я отдал уже приказ,— ответил Новиков.— Прошу в особняк.

...В их распоряжении было несколько часов. Сколько — они не знали.

Офицерам не спалось. Сидели на втором этаже особняка, плотно задернув шторы, из тонких хрустальных

рюмок пили пахучий французский коньяк, много курили, мало закусывали — и не пьянели.

Дым слоями шевелился над зеленым абажуром керосиновой лампы. Тепло было. На мягких диванах, на расстеленных по всему полу коврах храпели утомленные за ночь солдаты; в кресле, припав к журнальному столику, ласково обняв телефонный аппарат, спал, скошенный усталостью, связист Колокольчиков, сладко чмокая губами, терся щекой о трубку, бормотал во сне:

— А ты к колодцу сходи... к колодцу...

Заряжающий Богатенков, только что сменившийся на посту у орудий, сидел в нижней рубахе на ковре, сосредоточенно пришивал крючок к шинели, изредка поглядывал на Колокольчикова с нежностью. Богатенков высок, темноволос, атлетически сложен — движения сильных рабочих его рук уверенны, бугры молодых мускулов напрягаются под рубахой, лицо, покрытое ровной смуглотой, красиво.

— Бывает же, товарищ капитан,— сказал он, обращаясь к Новикову.— В госпитале два месяца лежал — бомбежки снились, здесь, на передовой,— полынь, степь на зорьке, терриконики снятся, лампочки в забое. Проснешься — будто гудок на шахту. А к Колокольчикову вон... колодцы привязались.

— Ложитесь,— сказал Новиков.— Не теряйте минуты.

Майор Гулько, перекатывая сигарету во рту, брезгливо морщась от дыма, перелистывал прокуренными пальцами толстую иллюстрированную книгу, лежавшую на столе, не без отвращения говорил:

— Разгул цинизма в степени эн плюс единица. Кровь, смерть, улыбки возле могил. Разрушение. «Фотографии России»... Книга для немецких офицеров. Петин!— позвал он.— Эту сволочь — в уборную, в сортир! В сортир!— заключил он и, сердясь, швырнул книгу на колени сонно разомлевшему в кресле ординарцу.

Петин вздрогнул, стряхнул дремотное оцепенение, тоже полистал, пощупал книгу и во всю ширину лица заулыбался:

— Куда ее, товарищ майор? Наждак!

Гулько зло фыркнул волосатым носом.

— Я, с позволения сказать, инженер, всю жизнь бродил по стройкам и знаю, что такое Россия,— отчетливо выговорил он.— И отлично знаю, что такое фашизм. Мир в руинах, распятия на деревьях, пепел городов, двуногое

подобие человека с исступленной жаждой уничтожения, садизма, возведенного в идеал. Вы что так смотрите, Новиков?

— Я хотел сказать, что знаком с прописными истинами,— ответил Новиков.

— О, если бы каждый в мире знал эти прописные истины!— проговорил Гулько, насупясь.

— Я не люблю, товарищ майор, когда вслух говорят о вещах, известных каждому,— сказал Новиков.— От частого употребления стирается смысл. Надо ненавидеть молча.

— Вон как? Весьма любопытно,— ворчливо произнес Гулько, косясь на затихшего за столом Алешина.— А вы, младший лейтенант? Что вы полагаете, мм?

Новиков отодвинул рюмку, вынул портсигар, звонко щелкнул крышкой.

— Он непосредственно подчиняется мне, значит, согласен со мной!

Алешин с независимым видом слушал, но после слов капитана смущенно заалел пятнами, неожиданно засмеялся тем естественным веселым смехом молодости, который так поражал Новикова в Лене.

— Россия,— задумчиво проговорил Новиков.— Я только в войну увидел и понял, что такое Россия. Вы знаете, Витя, что такое Россия?

Оттого, что капитан назвал его Витей, младший лейтенант посмотрел влюбленно на лицо Новикова с щербинкой возле левой брови. И тотчас Гулько заинтересованно взглянул в серые, мрачноватые глаза капитана, самого молодого капитана в полку, этого полувзрослого-полумальчика; спросил:

— Что же? Выкладывайте...

Новиков не ответил.

— До России не достанешь. За Польшей она. Эх, километры!— проговорил Богатенков, укрываясь шинелью, натягивая ее на голову.

Новиков встал, привычным движением передвинул пистолет на ремне, подошел к телефону. Связист Колокольчиков, по-прежнему нежно обнимая аппарат, неспокойно терся щекой о трубку, дрожа во сне синими от усталости веками, бормотал:

— Ты к колодцу иди, к колодцу... Вода хо-олодная...

— Вот она, Россия,— тихо и серьезно сказал Новиков.

Осторожно высвободил трубку из-под горячей щеки связиста, вызвал орудия Овчинникова. Подождал немного, стоя перед Колокольчиковым, который с сонным лепетом поудобнее устраивался щекой на ладони, заговорил вполголоса, услышав Овчинникова, о минном поле, потом закончил твердо:

— Если прохода не будет, отдам под суд,— и положил трубку.

— Слушайте, Новиков,— проговорил майор Гулько, поцарапав ногтем по стопке немецких журналов.— Вообще, сколько вам лет? Кто вы такой до войны — школьник, студент?

— Какое это имеет значение?— ответил Новиков.— Если это интересует, посмотрите личное дело в штабе дивизиона.

— Ну, время истекло, мне пора,— сказал Гулько.— Петин, лошадей!

Звеня шпорами, подтянул узкие сапоги, очевидно жавшие ему, и, не отрывая ласково погрустневших глаз от ручных часов, заговорил:

— Как бы ни сложилась у вас обстановка, капитан Новиков, ваша батарея самая крайняя на фланге. На легкий бой не надейтесь.

— Не надеюсь, товарищ майор,— ответил Новиков и замолчал; видимо, Гулько знал то, чего не знал он.

— И прошу вас как можно меньше пить эту трофейную дрянь,— посоветовал Гулько и тихонько и нежно взял капитана под локоть, повел к двери, остановился, глядя в лицо Новикова, сказал почти шепотом, чтобы не слышал Алешин:— В сущности, мальчик ведь вы еще, что уж там, хоть многому научились. А у вас вся жизнь впереди. Пока молоды, спешите делать добро. В молодости все особенно чутки к добру. Простите за философию. Война кончится. Все у вас впереди. Если, конечно, останетесь живы. Если останетесь...

И, пожав Новикову локоть, вышел, машинально нагнув в дверях худую спину, вроде из низкой землянки выходил. С ненужным щегольством протренькали шпоры на лестнице, стихли внизу.

Новиков сунул руки в карманы, прошелся по комнате, испытывая беспокойство, досаду: никто прежде так прямо не напоминал о его молодости, которую он скрывал, как слабость, и которой стеснялся здесь, на войне. Люди, подчинявшиеся ему, были вдвое старше, а он имел непре-

словные права опытного, отвечающего за их жизнь человека и давно уже свыкся с этим.

— Что это?— спросил Новиков, увидя под ногами чужие вещмешки.— Откуда тряпки?

— А это того... из медсанбата... мордача,— ответил Алешин.

— А-а,— неопределенно сказал Новиков и повторил вполголоса:— Что ж, и на войне есть добро. Добро и зло. Вы не изучали философию, Витя?

Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на стол, по-мальчишески внимательно рассматривал красочные фотографии немецких иллюстрированных журналов, думал о чем-то. Мягко-зеленоватый свет лампы падал на белый чистый лоб Алешина, на ровные брови, на раскрытые, по-летнему синие глаза его; они казались молодо и отчаянно прозрачны.

— Ну и везет вам, товарищ капитан!— весело, даже восхищенно воскликнул Алешин.— Просто чертовски везет!

Новиков лег на диван, не снимая сапог, накрыл грудь шинелью, сказал:

— Так кажется, Витя. Не гасите свет. Почему везет?

Алешин отодвинул кресло, с наслаждением потянулся и, разбежавшись, словно ныряя в воду, бросился на свободную, туго заскрипевшую пружинами тахту и, лежа там, стал расстегивать гимнастерку и одновременно — носком о каблук — стаскивать сапоги.

Затем, кулаком подбивая пухлую, пахнущую свежей наволочкой подушку, сказал с ноткой мечтательности в голосе:

— Нет, серьезно, товарищ капитан, вы счастливец, вам везет! Вот вернетесь после войны, весь в орденах, со званием... Вас в академию. А я, черт!..— Он вздохнул, приподнялся, по-детски подпер кулаком подбородок, белела круглая юная шея, каштановые волосы наивно-трогательно спадали на лоб.— А я просто черт знает что, товарищ капитан. Серьезно. Орден Красной Звезды получил, вот медаль «За отвагу» — никак.— И договорил совсем уж доверительно: — А для меня самое дорогое из всех орденов — солдатская медаль «За отвагу». Серьезно! Вы не смейтесь!

— Добудете и медаль. Это не так сложно,— ответил Новиков и спросил:— Вас кто-нибудь ждет?„ Ну, мать, сестра, невеста?

— Мама... и Вика... ее звать Виктория,— не сразу ответил Алешин, и Новиков ясно представил, как он покраснел алыми пятнами.

— Очень хорошо,— сказал Новиков и после молчания снова спросил:— Скучаете по России, Витя?

За туманными равнинами Польши оставалась позади, в далеком пространстве, Россия, как бы овеянная каким-то чувством радостной боли, которое никогда не проходило.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Товарищ капитан! Товарищ капитан!..

Новиков стремительным рывком скинул с груди шинель: в сонное сознание ворвался звон разбитых стекол, то опадающий, то возникающий клекот снарядов, проносившихся над крышей. Треск и грохот за стенами, зыбкие толчки пола, бледное, испуганное лицо Ремешкова, наклоненное к нему из полусумрака, мгновенно подняли его на ноги.

— Что?

— Товарищ капитан... Товарищ капитан!

— Что?

— Товарищ капитан... к орудиям!— захлебываясь, выговорил Ремешков и судорожно сглотнул.— Началось!.. Света не видать...

— Чего не видать?— Новиков раздраженно схватил ремень и кобуру с кресла.— Этот не видать, так, может, тот видно? Где Алешин? Почему сразу не разбудили?

— Младший лейтенант сказал, сам выяснит, пока не будить... Все у орудий...

— Эти мне сосунки! Командовать начали!— выругался Новиков.

Он уже не слушал, что говорил Ремешков; затягивая на шинели ремень, перекидывая через плечо планшетку, окинул взглядом невыспавшихся глаз эту опустевшую, с разбросанными постелями комнату. Сквозь щели штор розово дымились полосы зари. На столе, среди дребезжащих пустых бутылок, консервных банок, бессильно дергаясь пламенем, чадила лампа. Атласные карты, съезжая от толчков по скатерти, ссыпались на ковер. Никого не было. Лишь в темном углу связист Колокольчиков, встретив взгляд Новикова, проговорил тонким голосом:

— Вас... Алешин к орудиям! А мне... куда?

— Туда, к орудиям!

На ходу надевая фуражку, Новиков ударом ноги распахнул дверь, сбежал по лестнице в нижний этаж, весь холодно освещенный зарей. Полувыбитые стекла янтарно горели в рамах, утренний ветер ходил по этажу, хлопая дверями, надувая портьеры. Путаясь в них, бегали тут двое пожилых заспанных ездовых из хозвзвода, бестолково искали что-то; увидев Новикова, затоптались, поворачиваясь к нему, застыли, по-нестроевому потянули руки к пилоткам.

— Что за беготня?— спросил Новиков.— Всем по местам!— И выбежал через террасу по скрипящему стеклу в мокрый от росы парк.

Повозки хозвзвода, покрытые брезентом, стояли под оголенными липами. Сверкала в складках брезента влага, желтели вороха листьев, занесенные на повозки взрывной волной. Лиловый дым, не рассеиваясь в сыром воздухе, висел над дорожкой аллеи, над багровой гладью водоема.

Новиков быстро шел, почти бежал по главной аллее к воротам, смотрел сквозь ветви на высоту; трассы танковых болванок пролетали над ней, частые вспышки мин усеивали скаты.

Плотный гул, выделяясь особым сочным бомбовым хрустом дальнобойных снарядов, нарастал, накалялся слева, в стороне города, и волнами сливался с упругими ударами танковых выстрелов справа.

И Новиков понял — началось... Это должно было начаться.

Странная мысль о том, что началось слишком рано, что он не успел что-то доделать, продумать, скользнула в его сознании, но он никогда не мог вспомнить, что именно.

Когда по рыжей траве, облитой из-за спины зарей, Новиков взбегал по скату, справа взвизгнула светящаяся струя пулеметной очереди, пролетела перед грудью. Новиков, удивленный, посмотрел и сразу увидел далеко правее ущелья, в красных полосах соснового леса, черные тела трех танков, будто горевших в золотистом дыму.

«Что они, из ущелья вышли?» — мелькнуло у Новикова.

Ремешков упал, с одышкой пополз, припадая лицом к земле, вещевой мешок опять горбом колыхался на спине, и не то, что Ремешков упал и полз, а этот до от-

каза набитый его мешок внезапно вызвал в Новикове злость.

— Опять с землей целуетесь? Опять дурацкий мешок?

Ремешков вскочил, невнятно бормоча что-то, оскальзываясь по мокрой траве, бросился за Новиковым на вершину высоты. Здесь, на открытом месте, он чувствовал свое тело чудовищно огромным и пришел в себя только на огневой позиции, сел прямо на землю, как сквозь пелену различая лица людей, станины орудий, между станинами открытые в ящиках снаряды, фигуру Новикова.

— Если в другой раз будете по-глупому заботиться обо мне, я вам этого не прощу! — услышал он громкий голос Новикова и заметил виновато-растерянное лицо младшего лейтенанта Алешина рядом с ним.

— Товарищ капитан! Овчинников у телефона, ждет команды! — крикнул кто-то.

— Передать орудиям: приготовиться, но огня не открывать! — скомандовал Новиков и, слегка пригибаясь в ходе сообщения, спрыгнул в ровик НП.

Все, кто был в ровике,— невыспавшиеся, с помятыми лицами разведчики и связисты — сидели на корточках вокруг толстого бумажного немецкого мешка, доставали оттуда галеты, сонно жевали и посмеивались. Увидев Новикова, заторопились, начали отряхивать крошки с шинелей; кто-то сказал:

— Кончай дурачиться, Богатенков!

Заряжающий первого орудия Богатенков сидел по-турецки на бруствере, спиной к Новикову, откусывая галету и, не оборачиваясь, говорил со спокойной веселостью:

— Меня, Горбачев, ни одна пуля не возьмет. Я ж шахтер. Земля меня защищает. Это ты рыбачок, так тебе вода... Всю войну на передовой, в конце не убьет! Понял?

— А ну, слезь! Капитан пришел, слышишь, шахтер?

Командир отделения разведки старшина Горбачев, подбрасывая на ладони великолепный финский нож, блестя черно-золотистыми глазами, приветливо улыбнулся Новикову как бы одними густыми ресницами, подтолкнул плечом Богатенкова:

— А ну слезь! — и, посмеиваясь, заговорил: — Смотрите, что фрицы делают... Крепкую заваривают кашу. Пожрать не дали. Да еще пехота чехословацкая подошла, товарищ капитан. Впереди нас окапываются... Видали?

В расстегнутой на груди гимнастерке, небрежный, гибкий, стоял он перед пустым снарядным ящиком, доски

глубоко были исколоты финкой,— видимо, только что показывал мастерство каспийского рыбака: положив на ящик руку, быстро втыкал финку меж раздвинутых пальцев.

— Цирк устроили?— строго спросил Новиков, хорошо зная хвастливый нрав Горбачева.— Богатенков, вы что? Судьбу испытываете? А ну вниз! Еще увижу, обоим не поздоровится!

Богатенков повернул молодое, кареглазое, красивое ровной смуглотой лицо, при виде Новикова оробело крякнул, поспешно сполз в ровик и, так одергивая гимнастерку, что она натянулась на крепкой груди, забормотал:

— Да вот разговор всякий, товарищ капитан... Разрешите к орудию, товарищ капитан?

— Идите!

Старшина Горбачев, втолкнув нож в чехол на ремне, вразвалку подошел к двум ручным пулеметам ДП на бруствере, смахнул землю с дисков, сказал сожалеющим голосом:

— Эх, товарищ капитан, как же это Овчинников пулеметик забыл? Переправить бы надо.

— По места-ам!— скомандовал Новиков.

То, что увидел Новиков в стереотрубу, сначала ничего не объяснило ему толком. Весь берег озера и поле впереди и слева от высоты были усеяны вспышками танковых разрывов; неслись над полем, перекрещиваясь, трассы; пулеметы, не смолкая, дробили воздух. Со звоном хлопали немецкие противотанковые пушки.

Новиков увидел их в кустах на том берегу озера, метрах в двухстах от огневых позиций Овчинникова. Стреляли они правее высоты, туда, где были врыты в оборопе наши тяжелые танки пятого корпуса — правые соседи, о которых говорил Гулько. Но странно в первые секунды показалось Новикову: наши танки не отвечали пушкам огнем, их бронебойные трассы летели в сторону соснового леса, откуда давеча обстреляли Новикова три немецких танка. Теперь их не было — вошли в лес. И сейчас Новиков до отчетливости уже разглядел все. Левее леса из темного, глухо клубящегося туманом ущелья, будто прорубленного в горах, по шоссе муравьиной чернотой валил, двигался плотно слитый поток танков,

длинных тупорылых грузовиков, лилово сверкающих стеклами легковых машин, бронетранспортеров, людей; растекаясь, поток этот медленно раздвигался, как ножницы, в сторону леса, куда вошли три передовых танка, и влево, в сторону северной оконечности озера, где в трехстах метрах за разбитым мостом, в минном поле, стояли орудия Овчинникова.

То, что левая колонна, вырываясь из ущелья, неудержимым валом валила по шоссе, стиснутая, прикрытая бронированной стеной танков, расчищающих проход к озеру, было понятно Новикову: навести переправу, прорваться в Чехословакию. Но удивило то, что правая колонна скатывалась из ущелья прямо по долине к лесу, в направлении восточной окраины города, подходы к которому были заняты нашими танками и истребительной артиллерией,— этого он не ожидал.

Новиков на секунду оторвался от стереотрубы, огляделся. Дым застилал всю западную окраину Касно, ничего не видно было там, только острие костела багрово светилось в пепельной мгле. Гул непрерывной артиллерийской пальбы толчками доходил оттуда — немцы атаковали и там.

И Новиков понял: немцы снова пытались взять город с запада, рассчитывая этим облегчить прорыв всей или части вырвавшейся из окружения в Ривнах группировке на севере — к границе Чехословакии.

«Ах, так вот оно что!» — с чувством понятого им положения и даже с каким-то сладким облегчением подумал Новиков и подал команду:

— Приготовиться! Овчинникова к телефону!

С гулом, точно остановившись над высотой, треснул дальнобойный бризантный; из рваного облака, возникшего над орудием, ринулись осколки, зашлепали впереди ровика.

А старшина Горбачев, следя за продвижением левой колонны, окруженной танками, вроде бы улыбнулся одними трепещущими ресницами.

— Кончай ночевать!— и ногой задвинул мешок из-под галет в нишу, посмотрел на Новикова выжидательно. Телефонист Колокольчиков, пригнувшись к аппарату, беспрерывно, осиплым тенорком вызывал орудия Овчинникова. Орудия не отвечали.

— Ну? Что? — поторопил телефониста Новиков.— Связь!

Он глядел на бурые навалы позиции Овчинникова, на кусты возле нее, густо усеянные разрывами. От кустов этих бежала зигзагами человеческая фигурка, падала, ползла, вставала и вновь бежала сюда, к высоте. Колонна, все вытекая из ущелья на шоссе, толстым потоком неудержимо катилась на орудия Овчинникова. И, тускло отсвечивая красным, первые танки в голове колонны ударили из пулеметов по этой одиноко бегущей фигурке, трассы веером метнулись вокруг нее.

— Ну? — Новиков резко оторвался от стереотрубы.— Что там, Колокольчиков? Быстрей!..

Тот моргнул растерянно-беспомощными глазами, сказал шепотом:

— Не отвечают... Связь порвана... Перебили. Я сейчас, я сейчас... по связи,— и, опустив трубку, начал медленно подыматься в окопе, зачем-то старательно отряхивая землю с рукавов шинели.

— Бросьте свою чистоплотность! — крикнул Новиков и, теряя терпение, указал в поле: — Вон там идут по связи от Овчинникова! Видите? Давайте навстречу, по линии! Чего ждете?

— Разрешите, товарищ капитан! Как на ладони вижу. Я и пулеметик захвачу.— Покачивая плечами, пододвинулся к нему Горбачев, жгуче-золотистые глаза его спокойно и вовсе никак не прекословя блестели Новикову в лицо.— Оставайся у аппарата, парнишка,— и оттолкнул связиста в ровик.— Куда он в мины полезет? Я здесь всё как свои пять пальцев...

— Возьмите с собой Ремешкова,— приказал Новиков.— Возьмите его...

Колокольчиков, как если бы ноги сломались под ним, сел на дно ровика около аппарата, с ненужным усилием стал продувать трубку, а дыхания не хватало. Видно было: он только что — в одну секунду — мысленно пережил весь путь от высоты до орудий Овчинникова.

Новиков, соразмеряя расстояния между орудиями Овчинникова и катящейся массой колонны, понимал, что Овчинникову пора открывать огонь. Пора... Он думал: после того как передовые немецкие танки увязнут в перестрелке, натолкнувшись на орудия и на минное поле, он, Новиков, откроет огонь с высоты вторым взводом Алешина — во фланг им, сбоку.

Не слышал он за спиной невнятного бормотания Ремешкова, вызванного разведчиком Горбачевым. Всем телом гибко изогнувшись, неся ручной пулемет, выпрыгнул из окопа Горбачев, и вслед за ним выполз на животе Ремешков, елозя по брустверу ботинками, онемело открыв рот, и исчез, скатился по краю высоты вниз. Новиков поискал глазами человека, что бежал от Овчинникова,— маленькая фигурка распластанно лежала на поле, ткнувшись головой, разводя ногами, словно плыла, а струи пуль все неслись к ней, выбивая из земли пыль.

«Ну, огонь, огонь! Что там медлят! Пора! Открывай огонь, Овчинников!» — хотелось крикнуть Новикову, теперь уже не понимавшему, почему тот медлит. Это был предел, после которого была гибель.

Почти в ту же минуту рваное пламя вырвалось из земли, где темнели огневые позиции Овчинникова, мелькнули синие точки трасс, впились в черную массу колонны. Будто короткие вспышки магния чиркнули там.

Одновременно с орудиями Овчинникова справа загремели иптаповские батареи, врытые в землю танки.

— Начал!..— крикнул кто-то в окопе за спиной.— Начал! Овчинников начал, товарищ капитан! Соседи начали!..

«Теперь только беглый огонь, только беглый, ни секунды промедления! Ни секунды! Давай, Овчинников!» — с отчаянным чувством азарта и облегчения подумал Новиков. Он увидел, как низко над землей снова остро вылетело пламя из орудий Овчинникова, как в дыму засуетились на огневой позиции появившиеся люди, и Новиков чувствовал сладкие привычные уколы в горле — знакомое возбуждение начавшегося боя.

— Товарищ капитан! Начинать? Товарищ капитан, начинать?— услышал Новиков звенящий голос младшего лейтенанта Алешина, но не обернулся, не ответил.

Колонна, катившаяся по шоссе темной массой на орудия Овчинникова, замедлила движение, прикрывавшие ее танки с прерывистым ревом круто развернулись позади колонны, переваливаясь через шоссе, съехали на целину и, покачиваясь тяжело и рыхло, все увеличивая скорость, поползли к голове колонны. Там, обволакиваясь нефтяным дымом, горели три головных танка. Изгибаясь змейками, пульсировал в этой черноте огонь.

С чугунным гулом ползущие по целине танки, очевидно, издали засекли орудия Овчинникова. Высокие

столбы земли выросли вокруг позиций. Новиков приник к стереотрубе. Орудия исчезли в закипевшей мгле, длинные языки пламени лихорадочно и горизонтально вылетели оттуда: нет, Овчинников вел огонь.

Две приземистые, глянцевито-желтые легковые машины, что двигались в центре колонны под прикрытием четырех бронетранспортеров, ярко и розово сверкнув стеклами, плоскими жуками расползлись по шоссе, повернули на всей скорости назад, запрыгали на рытвинах, мчась по полю в сторону соснового урочища, к ущелью, откуда непрерывно вытекала колонна.

В середине колонны из крытых брезентом машин стали поспешно спрыгивать фигурки немцев, бросились в разные стороны, скачками побежали за танками, вся котловина засветилась автоматными трассами.

И Новиков, со злой досадой увидев, как умело ушли из-под огня офицерские легковые машины, видя, как тяжелые танки, непрерывно выплевывая огонь, упорно атаковали позиции Овчинникова, подумал: «Вот оно... пора!..» — и лишь тогда посмотрел в сторону орудий Алешина, на сутуло замершие фигуры солдат.

— Внимание-е! — подал он команду особенным, страстным, возбужденным голосом.— По головным танкам — бронебойным, прицел постоянный.— Он сделал короткую паузу и выдохнул: — Ого-онь!

Резкий грохот, сотрясший воздух на высоте, горячо и больно толкнул в уши, Новиков не расслышал команд Алешина на огневой — все звуки покрыл этот грохот.

Стремительные огни бронебойных снарядов мчались от высоты туда, в плотный жирный дым, затянувший орудия Овчинникова, голову колонны, танки в котловине. Дым сносило к тускло-багровому озеру, он недвижно встал, скопился меж кустов, как в чаще. В просветах возникали черные, низкие туловища танков: они как бы ускользали от бронебойных трасс, и Новиков с отчаянной решимостью, незавершенной злостью, которая горела в нем сейчас к тем людям, что защищенно сидели в недрах танков, готовые убить его, и которых обязательно должен был убить он, крикнул:

— Наводить точнее! Точнее! Куда, к дьяволу, стреляете?

И, выпрыгнув из окопа НП, побежал к огневой позиции.

Он увидел снующего возле орудия Алешина; напряженно двигающиеся локти наводчика Степанова; широ-

ние разводы пороховой гари на скулах Богатенкова; бросились в глаза большие, влажные пятна под мышками у него, огромные, дрожащие в ярой спешке руки рывком кидали снаряд в дымящийся казенник. Орудие откатывалось после выстрелов, брусья выбивало из-под сошников.

— Сто-ой! — скомандовал Новиков, переводя дыхание.— Младший лейтенант Алешин! Бегом ко второму орудию! Быть там! Самому следить за наводкой! Бегом! А ну от панорамы, Степанов! — властно крикнул он наводчику, непонимающе вскинувшему вверх мокрое, тревожное лицо.— Быстро! — И, взяв за плечо, оттолкнул его от прицела, приник к наглазнику, вращая маховики механизмов.

Перекрестие прицела стремительно ползло по черноте дыма, выхватывая путаницу трасс, оранжево-белые всплески огня, поймало, натолкнулось на темный бок танка. Он на миг вынырнул из дыма. Новиков сжал маховики до пота в ладонях, снизил перекрестие.

— Ог-го-онь! — и нажал ручной спуск.

Трасса скользнула наклонной молнией к танку, как бы уменьшаясь в дыму, врезалась в землю левее гусениц. Он ясно увидел этот впившийся в землю огонек, довернул маховик — пот сразу облил лицо, ожег глаза,— поднял перекрестие.

— Огонь!

Тонкая молния ударила в тело танка, искрой брызнул и исчез фиолетовый огонек — скорее не увидел, а почти физически ощутил это Новиков. И, не глядя больше на этот танк, не вытерев горячего пота со щек, снова ищуще-торопливо повел прицел. Вновь он выхватил в просвете дыма живое, шевелящееся туловище другого танка. Он шел к высоте, башня косо развернулась, тоже выискивая, длинный ствол орудия дрогнул, застыл неподвижно. Черный, пусто-круглый глаз дула зорко целился, казалось, остро глядел через панораму в зрачок Новикова, и в то же мгновение, считая секунды, он нажал спуск. Трасса досиня раскаленной проволокой вымахнулась навстречу круглой, нацеленной в него смертельной пустоте, и тут же тугой звон разрыва забил уши. Железно царапнули по стволу орудия осколки, желтый удушающий клубок сгоревшего тола вывалился из щита. И оглушенный Новиков успел заметить свежую воронку в четырех метрах перед левым колесом орудия.

Со странным чувством удивления, что этот снаряд не убил его, Новиков глянул на расчет — все целы?

Заряжающий Богатенков со снарядом наготове стоял в рост среди стреляных гильз, не нагнув головы, с упорной пристальностью смотрел на танки, точно как тогда, на бруствере, испытывал судьбу.

— Что стоите? На коленях заряжать! — крикнул Новиков и, крикнув, припал к прицелу, скрипнул зубами: сквозь дым четко чернел прицеленный в его зрачок пустой глаз танкового дула. «Он или я?..— мелькнуло у него в сознании.— Он или я?.. Не может быть, чтобы он! Он или...»

Новиков надавил спуск: слившись с выстрелом, два танковых снаряда ударили, взметнули землю впереди бруствера, на Новикова дохнуло волной тола, но он не отшатнулся, не потерял потного наглазника панорамы. В нем будто все звенело от нервного возбуждения. В мире уже ничего не существовало, ничего не было, кроме этого танка, этого немца, с зорко-быстрыми упреждениями крутящего маховики, наводящего на Новикова орудие... «Он или я?.. Он или?..»

Танк, ослепляя, полыхнул двойным оскалом пламени; одновременно с ним Новиков выстрелил два раза подряд; смутно унеслись вниз две трассы, фиолетово блеснули в дыму, и опять Новиков не увидел, а физически почувствовал, что не промахнулся. И, отирая пот онемевшими на маховике пальцами, стряхивая жаркие капли со лба, с бровей, он как бы вынырнул из противоестественного состояния нервного напряжения, когда всё в мире сузилось, собралось лишь в глазке панорамы.

— Товарищ капитан, товарищ капитан! — бился позади чей-то крик.— Товарищ капитан...

— Ложи-и-ись!..

Крик этот, выделившийся из всех других звуков, заставил Новикова поднять голову. В замутневшем небе впереди дугами сверкнули хвосты комет; грубый, воющий скрежет шестиствольных минометов заколыхал воздух, обрушился на высоту, и чем-то огромным, душным накрыло, придавило задергавшееся орудие.

Отплевывая землю, плохо слыша, со звенящим шумом в ушах, Новиков тревожными глазами оглянулся на расчет — люди лежали в дыму между станинами, лицом вниз. И в первую же минуту сдавило горло,— показалось, что на огневую прямое попадание. Темная, непо-

дюжная фигура Богатенкова, прижатая спиной к брустверу, выплыла из дыма в метре от Новикова, глаза закрыты, брови недоуменно нахмурены, рука его забыто придерживала на коленях снаряд.

— Богатенков!..

Богатенков приоткрыл глаза, особенно ясные, карие, изумленные чему-то, словно, не веря, прислушивался к самому себе. Не ответив на зов Новикова, он медленно убрал руку со снаряда, потом недоверчиво, наклоняя голову, пощупал живот, слабо развел пальцы и, со спокойно-хмурым удивлением глядя на измазанную кровью ладонь, сказал тихо, сожалеюще и просто:

— Напрасно это меня...

И с тем же изумленным лицом, будто прислушиваясь к тому, что уже не могли слышать другие, повалился набок, успокоенно и твердо приник щекой к земле, что-то беззвучно шепча ей.

Снаряд скатился по ногам от последнего его движения, ударил по сапогам Новикова, и Новиков мигом очнулся.

«Что это? Я не заметил, как его ранило? Это он звал меня «товарищ капитан»? Его был голос? Как это могло убить его, а не кого-нибудь другого, кто воевал и сделал меньше, чем он?..» И странно было, что уже нет живого дыхания, спокойной силы, смуглой красоты Богатенкова, а то, что называлось Богатенковым, было теперь не им — нечто непонятное, чужое, тихое лежало возле бруствера, прижимаясь к земле, и это чужое, казалось, мгновенно и навечно отдалилось от всех, но никто еще не хотел верить этому. «Зачем он стоял в рост? Верил, что его не убьют?»

— Перевязку! Быстро!..

Новиков крикнул это, понимая ненужность перевязки, и тотчас сквозь зубы подал другую команду: «К орудию!» — но скрежет, удары и треск, вновь покрывшие высоту, стерли его голос. Солдаты, поднявшие было головы, опять припали к земле — мины рассыпались вокруг огневой. И сейчас же все вскочили, поднятые вторичной командой Новикова,— он стоял на огневой, не пригибаясь, он знал: так надо...

— К орудию! Степанов, заряжай!

И только сейчас все поняли, почему Степанов должен заряжать. Наводчик Степанов, вздрогнув широким, конопатым лицом доброго деревенского парня, растерянно

озирался на тихо застывшего в неудобной позе Богатенкова, схватив снаряд, ожесточенно втолкнул его в казенник, выговорил грудью:

— Насмерть! Товарищ капитан, «ванюши» по нас бьют! Это они!..

«Товарищ капитан... Это был его голос, Богатенкова... Что он хотел мне сказать?»

— А-а!..— продохнул Новиков, стискивая зубы, ища панорамой то место, где как бы из разбухшей массы колонны с железным скрипом взметались в разные стороны длинные хвосты огня. Видел: прямо оттуда, из колонны, шестиствольные минометы обрушивали огонь на высоту, на берег озера, где затерялись в пепельной мгле орудия Овчинникова.

— Осколочными! По колонне!..

Он выпустил более пятидесяти снарядов по колонне. Там закрутился смерч — разлетались рваные куски, вставали факелы взрывов, несколько грузовых машин, дымясь брезентом, неуклюже разворачивались на обочине, выезжая из черно-красных вихрей. Фигурки немцев отбегали по шоссе, ползли в поле, строча из автоматов. Тонкие малиновые перья вырвались из кузовов трех сразу осевших грузовиков, беспорядочный треск, разбросанное щелканье донеслись оттуда,— видимо, рвались боеприпасы.

— Снаряды! Снаряды!..— раздался где-то в стороне, за спиной Новикова, крик, но этот крик скользнул мимо его сознания. Одновременно со взрывом боеприпасов ощутимо сотрясли высоту, ворвались в звуки боя два других полновесных взрыва. Сизые шапки дыма, колыхаясь, выплыли над мглой, в той стороне, где были орудия Овчинникова.

«Что это там? Это он?»

Новиков резким доворотом подвел панораму в сторону взрывов. Он всматривался сквозь обжигающий глаза пот, стараясь найти орудия Овчинникова. От мысли, что Овчинников, окруженный прорвавшимися танками, подорвал орудия, морозным холодом облило влажную спину Новикова. «Не может быть, чтобы он сделал это!» Но, не соглашаясь с тем, что там уже погибли люди, разбило орудия, он вдруг уловил в сумеречном дыму близ позиции Овчинникова проступивший силуэт танка и, как пьяный, обернулся, нетерпеливый, черный, страшный.

— Снаряд! Заряжай!

Степанов, грязно-потный, в размазанных пятнах гари, засучив по локоть рукава, один стоял на коленях среди груды гильз — широкое лицо растерянно, спекшиеся, в порохе, крупные губы силились улыбнуться Новикову и не улыбались — дергались уголки их судорожно.

— Товарищ капитан!.. Снаряды...— прохрипел Степанов.— Снаряды кончились. К передку расчет послал... За НЗ! И заодно Богатенкова взяли.

— Кой дьявол... помогут передки! Там двадцать снарядов! — выругался Новиков.— Во взвод боепитания! Передайте мой приказ: все снаряды, что есть, сюда! Немедленно! Подождите! Вода есть у вас?

И, рванув скользкий от пота ворот гимнастерки, облизнул шершавые губы — жажда жгла его сухим огнем.

Степанов, торопясь, отцепил с ремня флягу, вытер горлышко, охотно и услужливо протянул ее Новикову.

— Теплая только...— И, удержав дыхание, осторожно попросил: — Разрешите закурить на дорожку?

— Давай!

Тогда Степанов, вмиг обмякший, налитый усталостью — все время бросал снаряды в казенник орудия,— с красными после недавнего напряжения глазами, сел прямо на закопченные гильзы среди станин, одубелыми пальцами начал сворачивать самокрутку. Однако свернуть не смог — пальцы не гнулись. И тихим, застенчивым было у него лицо сейчас, когда смотрел он, как Новиков, запрокинув голову, жадно пил.

Но так он и не свернул самокрутку. Танковые снаряды вздыбили бруствер, и Степанов просыпал табак.

— Пойду я!..— подымаясь, прокричал он, беспокойно глядя на озеро, буйно взлохмаченное фонтанами мин.— Эх, рыбы-то попортили — ужас! — И взял карабин, пригнувшись, не спеша двинулся по высоте в крутую тьму разрывов.

Новиков пил из фляги, не ощущая вкуса теплой воды; она лилась на шею, на грудь его, не охлаждая, не могла утолить жажду.

«Были взрывы... Овчинников подорвал орудия? Там танки? — думал он, испытывая колющую тревогу, пытаясь взвесить положение батареи.— Но люди, как с людьми там?.. Не верю, что погибли все! Где Горбачев? Где Ромошков?»

— Когда будет связь? Почему так долго?

— Товарищ капитан, к телефону!

— Связь с Овчинниковым?

Новиков резким скачком перемахнул через бруствер, спрыгнул в ровик, почти вырвал трубку из рук связиста.

— Овчинников? — с надеждой спросил он, забыв в этот момент про номерное обозначение офицеров, и произнес живую фамилию. Но тотчас, в потрескиванье линии поймав голос майора Гулько, спрашивающего о потерях в батарее, он заговорил вдруг преувеличенно спокойным, сухим тоном: — Дайте огурцов. Беру последние огурцы для кухни, товарищ первый. Пришлите огурцов. Это все, что я прошу.

— Пришлю сколько есть. Дам огурцов,— выделяя слова, ответил Гулько и необычно, словно родственно был связан с Новиковым, добавил: — Обрати внимание на Овчинникова и на переправу, мой мальчик. Обрати внимание.

Он снова будто ненамеренно задел Новикова своей ненужной интеллигентной нежностью.

Новиков долго глядел перед высотой на слоистую мглу, закрывавшую орудия Овчинникова. В шевелящейся этой мути, полной вспышек выстрелов, тенями продвигались к озеру танки: железный, замирающий рев их, прерывистое завывание грузовых машин рождали у Новикова впечатление, что там сконцентрировалась ударная сила колонны. Остальная ее часть, не достигшая района озера, — отдельные разбросанные машины, орудийные упряжки, минометные установки на прицепах, группы людей — обтекала пылавшие обломки грузовиков на дороге, горящие танки, стремительно уходила, разворачивалась назад, к ущелью в лесу, откуда — очевидно, по внезапному приказу — перестал вытекать правый поток колонны. (Видно было, как горели справа наши танки, врытые в землю.) И только двигался левый рукав колонны к озеру, по направлению молчавших орудий Овчинникова.

«Прорвались к озеру? Смяли Овчинникова?» — мелькнуло у Новикова, и он, чувствуя горячее нетерпение, повернулся к орудию:

— Где снаряды? Скоро снаряды?

Почти слитный троекратный взрыв опять потряс высоту, аспидные шапки дыма упруго всплыли из месива

ония возле позиции Овчинникова. И вслед мигнул горизонтальный всплеск выстрела. Опять мигнул. И Новиков понял: танки, продвигаясь к озеру, вошли в минное поле, подрывались там, и там живой взвод Овчинникова все еще вел огонь по ним...

«Молодец Овчинников! Молодчина! — хотелось отчаянно крикнуть Новикову.— Молодец!..»

В то же мгновение скопище дыма растянулось над берегом, в просветах блеснула вода, и Новиков отчетливо увидел: озеро наполовину было замощено темными полосами понтонов, протянутых от левого и правого берега. Фигуры немцев бегали вокруг стоявших на берегу грузовых машин, снимали круглые тела понтонов. И стало ясно теперь: немцы обошли Овчинникова, прорвались к озеру.

— Второе орудие! Алешина! — не скомандовал, а скорое глазами приказал Новиков, и когда связист Колокольчиков вызвал второе орудие и когда зазвенел в трубке возбужденный голос Алешина: «Товарищ капитан! Четыре танка мои!» — Новиков оборвал его:

— Сколько на орудие снарядов?

— Одиннадцать! Сейчас подвезут еще!

— Посмотри внимательней на озеро. Видишь переправу?

— Вижу, товарищ капитан! — ответил Алешин и спросил быстро: — А как Овчинников?

— Наводить точнее, все одиннадцать снарядов по переправе, давай!

Снаряды Алешина вздыбили воду около понтонов, что-то смутное и длинное косо взвилось в воздух, упало в дым. Но две низкие грузовые машины не попятились, не отъехали от берега, стояли неподвижно, и фигуры немцев возились подле них, упорно стягивая, волоча грузное тело понтона.

«У них один выход — будут прорываться до последнего! Один выход!» — подумал Новиков и крикнул связисту:

— Долго будете налаживать связь? Когда вы мне дадите Овчинникова? Когда?

Телефонист Колокольчиков, весь хрупкий, беловолосый, светились капли пота на кончике вздернутого носа, дул в трубку, дергал с бессильным негодованием стержень заземления — делал все, что может делать связист в присутствии начальства, когда нет связи.

— Вот что! Делайте что угодно, хоть по воздуху прокладывайте линию. Но если через пять минут не будет связи с Овчинниковым, вы больше не связист! — сказал Новиков жестко.— Мне необходима связь! Зачем вы нужны, если там люди гибнут, а вы здесь стержень щупаете?

Жизнь человека на войне была для него тогда большой ценностью, когда эта жизнь не искала спасения за счет других, не хитрила, не увиливала, и хотя молоденький Колокольчиков не хитрил, а, лишь слабо надеясь, ждал, когда проложат связь телефонисты Овчинникова, жизнь его потеряла свою истинную цену для Новикова, и Колокольчиков сознавал это. Не сказав ни слова, приподнялся у аппарата, провел рукой по потному носу, расширяя вопросительные ясно-зеленые глаза, как бы навсегда вобравшие в себя мягкую зелень северных лесов, нестерпимую синь озер и весеннего неба.

Сразу с нескольких сторон ударили по высоте танки. Вслед за этим короткие слепящие всполохи вертикально выметнулись откуда-то из лесу, правее ущелья: отрывисто, преодолевая железную одышку, заскрипели шестиствольные минометы.

Все будто расплавилось в треске, в грохоте, высота стонала, ломалась, дрожала, выгибалась, как живое тело, ровик сдвинуло в сторону. Чернота с ревом падала на него. Новиков и связист упали рядом на дно окопа, дно ныряло под ними, уши забило жаркой ватой, голову чугунно налило огнем. Раскаленный осколками воздух проносился над ними. И навязчиво, неотступно билась мысль о непрочности человеческой жизни: «Сейчас, вот сейчас...»

— Неужели конец, товарищ капитан? А?.. Неужели? — не услышал, а угадал Новиков по серым губам Колокольчикова и увидел перед собой круглые, полные тоски и ужаса мальчишеские глаза. Этот ужас словно мерцал — мигали белые, в пыли ресницы паренька.

И Новиков, оглушенный, туманно вспомнил ночь в роскошном особняке, майора Гулько, спящих солдат, Богатенкова, пришивающего крючок, и этого молоденького Колокольчикова, с неумелой нежностью обнимающего аппарат, и сонное бормотание о каком-то колодце: ему снились колодцы в конце войны...

И, подавляя жалость к той ночи, Новиков взял связиста за плечо, с силой потряс его, прокричал сквозь грохот, накрывавший ровик:

— Мне нужна связь с Овчинниковым! Понимаешь? Связь! Иначе нельзя! Понимаешь? Мне нужно знать обстановку!

— Я сейчас... я сейчас... глаза только вот запорошило...— зашевелились губы связиста, детское лицо было все серо от пыли, казалось незащищенным, он торопливо потер кулаком глаза и, часто мигая, стал на колени, хрупкий, тоненький. Рукавом стряхнул пыль на запасном аппарате, перекинул ремень через плечо, вздохнул, вроде всхлипнул, по-мальчишески виновато сказал: — Если что, товарищ капитан, то у меня матери совсем нету... сестра у меня... А адрес в кармашке тут...

И, худенький, юный, неожиданно проворно, не глядя по сторонам, выпрыгнул из окопа и исчез, растаял, оставив после себя впечатление чего-то чистого, весеннезеленого (глаза, что ли?), легко и невесомо ходящего по земле.

И через минуту, как только выпрыгнул он, исчез в горячей мгле разрывов, крутившихся по высоте, сквозь грохот, как в щелочку, прорезался писк будто живого существа — призывно зазуммерил телефонный аппарат. Новиков схватил засыпанную землей трубку, в ухо его пробился лихорадочно частивший голос:

— Я от третьего, я от четвертого,— и, мгновенно поняв, что это от третьего и четвертого орудия, то есть связь с Овчинниковым, он, не выпуская из рук трубки, вскочил в рост, желая сейчас одного — остановить Колокольчикова, рванулся к стене окопа.

— Колокольчиков! Наза-ад!.. Наза-ад!..

Но команду его заглушило, подавило пронзительно брызгающим визгом осколков, огненно скачущими разрывами мин,— ничего не было видно перед высотой, да и голос его теперь не мог вернуть связиста. Новиков с тяжестью во всем теле — стояли перед глазами худенькие плечи Колокольчикова — присел подле аппарата, выдыхая в трубку:

— Овчинников? Овчинников? Да что там замолчали, дьяволы? Что замолчали? Отвечайте!

— Овчинникова нет, товарищ второй,— зашелестел в мембране незнакомый голос.— Четвертое орудие погибло, и все там убитые. Нас окружили. У нас Сапрыкин раненый. Я, связист Гусев, раненый. Еще Лягалов раненый. А с нами санинструктор. Я связист Гусев...

— Где Овчинников? — закричал Новиков, едва разбирая в шумах звук потухающего голоса.— Овчинникова! Слышите?

— Овчинникова нет, к вам пробивается, а мы трое раненые — связист Гусев, сержант Сапрыкин и замковый Лягалов. И еще санинструктор с нами,— однотонно шелестел бредовый, слабеющий голос,— а снарядов, говорят, ни одного нету... Пулемет только... Кончаю говорить... Я связист Гусев...

«Овчинникова нет, к вам пробивается!» Он ко мне пробивается? Один? Кто приказал ему? Он бросил орудия? — соображал Новиков.— Орудия Овчинникова не существуют?»

— Вы посмотрите, посмотрите, товарищ капитан, что творится перед пехотными траншеями... Наши бегут никак?

«Кто это сказал? Разведчик, дежуривший у ручного пулемета? Да, это он — стоит в конце ровика, расставив локти на бруствере, смотрит туда...»

— Товарищ капитан, видите? Наши?..

И все же Новиков не верил, не мог поверить, что Овчинников отходил.

— Товарищ капитан, снаряды! Снаряды есть! Снаряды принесли! — прокричал Степанов, вваливаясь в окоп, размазывая пот на грязном лице.— Мы снаряды несли, так они по нас чесанули! Эх, жаль стереотрубу,— сказал он, поднял пробитую осколками, упавшую на землю стереотрубу и хозяйственно, бережно положил ее на бруствер, спросил: — А как они там... живы?

— К орудию снаряды! — ответил Новиков.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Овчинников! Товарищ капитан! Овчинников!..— метнулся за спиной чей-то крик.

В ту же секунду на скате высоты выросли трое людей, без шинелей и пилоток, держа автоматы наперевес; они были метрах в пятнадцати от орудия, бежали, карабкались слепыми толчками на высоту,— наверно, ни у кого не было уже сил.

И Новиков увидел Овчинникова: в обожженной распахнутой телогрейке, с темным, как земля, лицом, волосы

слиплись на лбу, он зло махал пистолетом, кричал задушенным голосом:

— К орудию! Бего-ом! За мной!

И ненужная команда эта в нескольких метрах от орудия, приказывающий голос Овчинникова остро и жарко опалили Новикова — в горле давила, жгла металлическая горечь.

Они перескочили через бруствер, лейтенант Овчинников, Порохонько и Ремешков, задыхались, кашляли, ничего не могли выговорить, поводя мутными глазами. Порохонько повалился на землю, кусая сухие, обметанные копотью губы, просипел:

— Пи-ить, братцы, глоток воды!..— и все искал взглядом флягу, не выпуская как бы прикипевший к ладоням раскаленный автомат. Ремешков сел на станину, не было вещмешка, плечи ходили то вверх, то вниз, и он исступленно прижимал что-то под насквозь потной и грязной гимнастеркой, на выпукло-крепкой скуле кровоточила широкая ссадина, как от свежего удара железным. Он бормотал взахлеб:

— А Горбачев, Горбачев где? За нами шел он... прикрывал нас... Где он?

Лейтенант Овчинников не упал, не сел на землю, нетвердо стоял, пошатываясь на обессиленно дрожащих ногах, обросшие щеки за несколько часов глубоко ввалились, вся сильная, мускулистая фигура его ссутулилась, и сухим, диким блеском горели глаза.

— Прицелы,— прохрипел он и, ткнув в грудь Ремешкова зажатым в словно окоченевших пальцах пистолетом, подрубленно опустился на станину орудия, охватил голову руками.

— Орудие Ладьи с расчетом погибло. Танки...— негромко выговорил он, уставясь в землю налитыми болезненным блеском глазами.— Туча танков, бронетранспортеров... шли напролом, стеной... окружили нас... Расчет Сапрыкина стрелял до последнего... четверо убитых, трое раненых... там они... там,— повторил он и, зажмурясь так, что оттененные синевой веки его нервически задергались, выкрикнул с неистовством:

— Прицелы! Прицелы сюда, Ремешков!

Новиков шагнул к Овчинникову, взял его за подбородок, очень медленно сказал:

— Мне прицелы твои не нужны,— и спросил без намека на жалость: — Контужен?

— Вот здесь,— выговорил Овчинников, закрыв глаза, потирая под изодранной пулями телогрейкой левую часть груди.— Вот здесь крыса грызет, лапками копошится, раздирает... много крови, крови... Я все сделал, все... Понимаешь, Дима?

Он назвал Новикова по имени.

— Нет,— неверяще ответил Новиков.— Не понимаю. Где люди? Где люди, лейтенант Овчинников?

Он не испытывал жалости к Овчинникову, как не испытывал жалости к себе; то, что порой разрешалось солдату, не разрешалось офицеру: до последней минуты не мог он согласиться, что Овчинников даже в состоянии полного разгрома ушел от орудий, оставив там людей, которые жили еще...

— Так вон ка-ак,— опадающим голосом вдруг произнес Овчинников и открыл глаза, в упор встретясь с безжалостным, непрощающим взглядом Новикова.— Вон ка-ак? Арестуешь? Под суд отдашь? На, бери! Я готов! Я на все готов. Я десять танков сжег... а это не в счет! Не в сче-ет?..

С перекошенным лицом он бросил под ноги пистолет, рванул на себе офицерский пояс, пытаясь расстегнуть его, выкрикнул:

— Отдавай под суд!.. Отдавай!

— Прекрати истерику! Встань! — тихо приказал Новиков, и, когда Овчинников, как-то ослабнув, встал, весь растерзанный, опустошенный бессмысленным взрывом ярости, он опять приказал: — Подыми пистолет. Вон там, за ровиком, землянка. Даю тебе час. Выспись. Приди в себя. Марш!

— Товарищ капитан, гляньте-ка, что это они? А? — послышался сзади голос Степанова.

— Что там?

Нежаркое осеннее солнце поднялось в скопившейся хмари над грядой Карпат. Жидкие, косые полосы его лились в котловину, гремевшую боем. Она светилась автоматными трассами, вспышками выстрелов, густым пламенем горевших танков. Столбы разрывов сплошной стеной вырастали и там, где была позиция Овчинникова, и там, на блестевшем озере, где наводили переправу немцы: вела огонь наша артиллерия из города. Смутные квадраты танков, обтекая минное поле, отходили к лесу, в ущелье. Они отходили, это было ясно Новикову: может быть, утро мешало им. И внезапно там, со стороны орудий

Овчинникова, дважды мелькнуло горизонтальное пламя в направлении танков, и Новиков с дрогнувшим сердцем, не сомневаясь, что это стреляло еще какое-то живое орудие, быстро посмотрел на Овчинникова — землистая серость покрыла искаженное тиком лицо лейтенанта.

— Горба-ачев?! — прошептал Овчинников.— Вернулся?

Он дикими глазами взглянул на Новикова и, тогда окончательно поняв все, рванулся, гибко, по-кошачьи перескочил через бруствер, огромными, нечеловеческими скачками побежал вниз по скату в сторону орудий; неистовыми крыльями бились на ветру, мотались прожженные полы его распахнутой телогрейки.

— Наза-ад! Наза-ад! — закричал Новиков, бросаясь к брустверу.— Наза-ад! Овчинников!

Овчинников, не пригибаясь, в рост бежал уже по полю, миновал пехотные траншеи, падая, вставал и вновь огромными скачками бежал к орудиям.

Низкая автоматная очередь огненной струей полоснула по нему сбоку, затем спереди и слева, но он не изменил направления, даже головы не пригнул — видно было, как, цепляясь за кусты, карабкался по скату котловины к возвышенности, там в коричневом тумане темнели силуэты танков.

Он выбежал на возвышенность, на мгновение отчетливо видимый на голом месте, и тотчас справа, из дыма, где шевелились перед минным полем танки, вылетел длинный огонь, другой огонь взорвался под ногами Овчинникова.

Он, сделав еще два шага, заваливаясь назад, упал на колени, замедленным жестом провел пистолетом по голове, будто приглаживая волосы, и плоско упал грудью на то самое место, огнем пыхнувшее под ногами, и вытянул руки вперед. И неожиданно для Новикова, до физической боли стиснувшего зубы, распластанное тело Овчинникова задвигалось, извиваясь, поползло по возвышенности к кустам, к тому невидимому орудию, которое только что стреляло.

Двое людей в зеленом вышли справа из кустов, огляделись и, пригибаясь, зашагали к Овчинникову. Потом огненная точка коротко сверкнула там: это был выстрел из пистолета. Двое в зеленом одновременно легли. Один из них привстал, неприцельно пустил очередь над головой Овчинникова, и тот снова бегло выстрелил три раза.

— У пулемета! — Новиков с бешенством спрыгнул в ровик, кинулся к ручному пулемету, за которым, горбато согнув спину, ждал разведчик, вжимаясь щекой в ложу.

Ринувшись на бруствер, упав на него грудью возле разведчика, Новиков крикнул:

— Видишь фрицев? Отсекай их! Кор-роткими! Давай!

— Живым хотят взять. Ясно...— сквозь зубы сказал разведчик, и плечо его задрожало, сотрясаемое очередями пулемета.

Фонтанчики пыли взбились, замельтешили справа и выше немцев, перешли, заплясали на узком пространстве, отделявшем Овчинникова от них. Крупные капли пота выступили, выдавились на медно-красном напрягшемся лице разведчика. Диск кончился. Ударом выщелкнув его из зажимов, разведчик поспешно схватил новый диск, завозился с ним, никак не мог вставить в пулемет — потом с придыханием выговорил:

— А если убью лейтенанта?.. Товарищ капитан, если убью...

— А ну прочь,— шепотом, едва слышно сказал Новиков, ударил по диску, припал к пулеметной ложе, горячей, мокрой от ладоней разведчика, и выпустил две короткие очереди по отползавшим в кусты немцам и не поверил тому, что увидел.

Овчинников медленно, живуче вставал, опираясь пистолетом о землю; встал, пошатываясь, в распахнутой телогрейке и, клоня голову, сжав пистолет в опущенной руке, толчками пошел влево, к кустам, где было орудие. Двое немцев выскочили из кустов наперерез ему. И телом своим, тяжело ступая, он загородил их. Немцы по нему не стреляли.

«Что там? Где он? Что там?» — скользнуло с обжигающей болью в сознании Новикова, сдернувшего палец со спускового крючка. И в ту же минуту, поняв, почему не стреляли по Овчинникову немцы («Да, да, хотели взять живым, им нужен «язык»!»), он, еще не веря, что делает («Зачем? Я не имею права! Не имею!..»), нажал спусковой крючок — весь диск вылетел одной длинной строчкой.

Когда же он, придя в себя и как бы все видя через желтый песок в глазах, отпрянул от пулемета, ни немцев, ни Овчинникова около кустов не было. Никого не было...

Он зачем-то посмотрел на ручные часы и так, глядя на них, опустился на дно окопа, возле безмолвно глядев-

шего на него связиста. Потом туманно увидел что-то отвратительно длинное, белесое, ползущее по рукаву связиста, никак не мог вспомнить: «Что это? Мокрица?» — и хотел сказать, чтобы тот стряхнул ее, вызвал орудие Овчинникова, но лишь странный, захлебнувшийся звук вырвался из его горла.

Тогда он встал, двинулся к землянке, вырытой вплотную с огневой, перед входом обернулся ненужно, незащищенно, сказал с трудом:

— В горле что-то застряло... Воды бы... Орудие вызовите.

И вошел в землянку.

Когда минуты через две Новиков вышел, он казался спокойным, умытое лицо было бледно, сразу осунулось, снова сел к аппарату, взял трубку, которую, чудилось, испуганно протягивал ему связист, сказал хрипло:

— Гусев? Доложите обстановку...

— Ошибочка, я на связи, товарищ второй...

Ему отвечал не Гусев, а старшина Горбачев, и обычен был его голос, как всегда, самоуверенный, и, как всегда, слегка небрежно звучали его усмешливые нотки. Да, он здесь, Горбачев, цел, даже с ногами и руками, да, рядом сидит красивенький санинструктор, а остальные тут без пяти минут от бога, и вообще людей ноль целых хрен десятых, танки покалечили, вроде бог черепаху, снарядов не густо, пять штук, но целиться через ствол и лупасить по фрицам можно, передайте Овчинникову, что можно...

И хотя он докладывал, словно посмеиваясь над тем, над чем нельзя было смеяться, Новиков в эту минуту не осудил его, а наоборот, оттого что Горбачев был там, возле орудия, жил и смеялся, волна горькой нежности толкнулась в его сердце. Знал: в том состоянии, в котором находился Горбачев, позволено многое, как глоток воды перед смертью.

— Держитесь до вечера,— негромко проговорил Новиков, ничего не сказав об Овчинникове.— Потерпите. Вечером мы придем.

«Убил я его или не убил? — опять мучительно подумал Новиков.— Если убил, то имел ли я право распоряжаться его жизнью? Кто мне дал это право? Но если бы я был на месте Овчинникова, дал бы я право другому человеку застрелить меня?» И как-то легко и спокойно ответил сам за себя: «Да, дал бы... Но можно ли по себе мерить всех людей?»

Солдаты смотрели на него и молчали. Разведчик с хмурым лицом заправлял патроны в диски пулемета. И Новиков почувствовал: то, что он сделал сейчас, как будто ото всех отделило его, хотя он с какой-то особой определенностью и сознавал, что люди поняли — он распоряжается их жизнью, судьбой во имя общего, неизмеримо огромного того, что знал, чувствовал сам Новиков и все, кто был рядом с ним.

Новиков молча прошел к орудию.

Степанов робко улыбнулся ему своим добродушным круглым лицом; сворачивая цигарку, просыпал табак на колени, стал неловко смахивать крошки локтем.

Порохонько лежал на огневой позиции, вытянув длинное тело, сквозь гимнастерку белой солью проступал пот на его худых лопатках. Он вспоминающе рассматривал забытый здесь офицерский потертый планшет Овчинникова, колючие выгоревшие брови изгибались то вверх, то вниз, точно глаза слепило.

— Вот оно...— произнес он.— До Карпат дошел...

Ремешков сидел на снарядном ящике, где поблескивали две принесенные им от орудий панорамы, грязным носовым платком промокал кровоточащую ссадину на крепкой скуле, говорил с недоумением и тоской:

— А я бегу и вижу перед высотой — лежит этот связист Колокольчиков на боку, колени поджаты калачиком. Ну спит — и все. Тронул я его. А он — мертвый. В руках провод зажат. Ребенок... а глаза зеленые-зеленые. Эх, кто-нибудь и любил, должно, глаза-то его... Не поймешь — одних убило уже, а мы живы...

— И у Лягалова глаза зеленые,— шепотом проговорил Порохонько.

— Встаньте с земли,— тихо сказал Новиков, обращаясь к Порохонько.— Простудитесь. В госпиталь попадете.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Его вели по полю, изрытому воронками, мимо догоравших танков у леса. Он спотыкался, ступая на задетую осколком ногу, боль морозила его, обжигала, расползалась от предплечья руки к онемевшим пальцам. Он придерживал кисть левой руки, при каждом шаге чувствовал, как рот наполнялся соленой влагой, и сплевы-

вал жидкую кровь, не понимая, куда и зачем его ведут и почему торопят его.

Он понимал одно: непоправимое случилось. Жизнь, имевшая прежде тысячи выходов, мгновенно закрыла все, кроме единственного — смерть...

Он не верил в это, когда бежал к орудиям, когда лежал перед танками, когда люди, прижимая к бокам автоматы, вышли из кустов, когда он стрелял в них. Он не верил в это непоправимое и безвыходное даже тогда, когда у него кончились патроны. Тогда слева, сзади, впереди была своя земля со своими людьми, со своими орудиями. Он плохо сознавал, как они взяли его: была боль в голове, в груди, во всем теле, была его собственная кровь, которую он сплевывал и видел.

— Halt, рус, Еван! Ha-alt![1]

Ствол автомата остро и грубо ткнул его в левую лопатку, эта новая боль обожгла его, и он, еще лихорадочно цепляясь за надежду, еще сопротивляясь этой боли, подумал: «В рану целит, в рану? Лучше бы в здоровую. В плену ведь я...» Но тотчас, осознав, что теперь он не был хозяином своей жизни, боли, своих страданий, подумал другое: «Жалости хочу? Мягкости? Какой жалости?..»

— Ha-alt!

Дуло автомата твердо уперлось в его левое предплечье, раскаленным сверлом ввернулось в кость. Овчинников стиснул онемевшую кисть, остановился, пошатываясь, кривя усмешкой окровавленные, распухшие губы, оглянулся на конвоира. Был это молодой высокий немец, желтоволосый, лет двадцати, с худощавым бледным лицом, смотрел на него пристально, желваки играли на втянутых щеках. На немце этом был зеленый пятнистый маскхалат, штаны заправлены в сапоги, из раструбов голенищ рогами торчали автоматные магазины. Через плечо висела сумка Овчинникова. Лицо немца передернулось: держа в правой руке автомат, он поднял левую руку и сделал резкий жест в воздухе, словно сдирая застывшую усмешку с губ Овчинникова.

Повернулся чуть боком, расставил ноги, искоса следя за Овчинниковым, расстегнул маскхалат. Овчинников понял и отвернулся. Брызги летели на его сапоги. Он непроизвольно сделал шаг вперед, надавил на раненую ногу и тут же подумал: «Для чего? А не все ли равно?»

---

[1] Стой... Стой!

— Halt! — и сзади услышал громкий молодой смех — не догадался сразу, что смеялся немец.

Застегивая маскхалат, немец подошел, лицо уже не было злым, посмотрел на забрызганные сапоги Овчинникова, громче засмеялся, махнул рукой, провел пальцем по здоровой своей шее.

— Кап-пут, лейтенант! Капут!

И оттого, что он говорил эти слова не злым, а равнодушным человеческим голосом, оттого, что он, оправляясь, не стеснялся Овчинникова, как мертвеца, и рассмеялся, видя его стеснение,— все подтвердило то, что думал, знал Овчинников.

«Не может быть, чтобы я через час или два умер. Чтобы меня не стало совсем. Так просто? Так просто?» — отчаянно соображал, весь уже охолонутый мыслью, Овчинников и, опять ощутив боль в ноге, вдруг с обнажающей ясностью почувствовал, что это последние его шаги по земле, последние мысли, последняя боль, последняя кровь во рту, и почему-то подумал еще, что двадцать шесть лет никогда не сменятся двадцатью семью годами, что не будет именно его, Сергея Овчинникова, когда другие будут еще жить, смеяться, обнимать женщин, дышать...

И то, что его убьют не так, как убивают других на войне, что не станет известно, как он погиб, при каких обстоятельствах, вызывало в нем чувство черной тоски, изжигающей до слез. Его судьба по какому-то закону внезапно отделилась от тысячи других судеб оставшихся там, за этим дымом людей. Неужели именно он, Овчинников, должен был умереть? Должен умереть?

— Schneller![1]

Ствол автомата сверлом врезался в раненое предплечье. От боли, от этой команды он даже застопал, понял, что это «schneller» все убыстряло его путь к смерти, и неожиданно, сопротивляясь себе, своей послушности чужому голосу, будто вмиг налился огнем бешенства — оглянулся резко, хищно, как бы готовый броситься разом, выбить автомат у этого немца... «Кто взял меня? Птенец! Лет двадцать ему...» Но тут же, скрипнув зубами, задохнулся, едва сдерживая слезы. Выплюнул кровь. Не было силы твердо и прочно ступить на раненую

---

[1] Быстрей!

ногу, поднять руку. Тело его потеряло гибкую, мускулистую тяжесть, невесомым каким-то стало.

«Неужто не могу? Неужто? — как в бреду, спрашивал себя Овчинников и зло застонал сквозь зубы.— Неужто? Неужто? Значит, конец?»

Он смотрел на немца глазами, налитыми сухим, болезненным блеском, сплевывая одеревеневшими губами тягучую кровь; и ему хотелось сесть, в смертельной усталости упасть на землю, отдышаться.

Ствол автомата подтолкнул его, и снова за спиной крик:

— Schneller, schneller!

Миновали мазутный дым горевших танков, обломки разбитых грузовых машин на дороге, потом вошли в лес. Зашуршала жухлая трава, скипидарно запахла она, облитая бензином. И Овчинников вблизи увидел набитый людьми, машинами и фургонами лес — не тот лес, солнечный, чистый, летний, с парной духотой опутанного паутиной ельника, с сухим запахом дуба, какой видел в детстве на Урале, а другой — умирающий, осенний, желтый, заваленный поблекшими листьями, с ободранными осколками снарядов соснами, зияющий черными воронками на опушке; такой лес он видел сотни раз, но такой почему-то не оставался в его памяти.

Немцы в расстегнутых френчах повсюду окапывались на опушке, шлепала выбрасываемая из окопов земля, раздавались незнакомо чужие команды. Танки, тяжело лязгая гусеницами, пятясь, вползали в кусты, под тень деревьев; открывались башни, из люков машин, устало переговариваясь, вылезали танкисты, стягивали шлемы. Мимо — вдоль опушки — прошел тупоносый бронетранспортер, вдавливая листья в колеи. Солдаты в касках — у всех изможденные, небритые лица воскового оттенка — злобно или равнодушно смотрели на Овчинникова следящими глазами. Один, пожилой, с мясистым подбородком, до сизости набрякший багровостью, жадно сосал сигарету, внезапно перегнулся через борт толстым телом, выхватил сигарету изо рта, швырнул в Овчинникова, крикнул ломано:

— Рус Еван, плен нихт! — и издал звук языком, точно кость ломал.

Мокрый окурок попал в щеку Овчинникова, но не обжег его, только пеплом осыпал. Он вздрогнул, вытер щеку, его затрясло от бессилия и унижения, вскинул голову, затравленно озираясь. Жизнь его, имевшая

ценность еще час назад, стоила теперь не дороже втоптанного в землю листа. Видел он, немцы отходили в лес, бой затихал, а он, в эти минуты, единственный пленный,— не солдат, а офицер,— он, Овчинников, которого они, по-видимому, боялись, когда был он около орудий, сейчас шел здесь по чужому лесу, под этими чужими унижающими его или равнодушными взглядами, шел, утратив силу и ценность в глазах тех, кого он ненавидел...

— Куда идем?

Он приостановился, ссутулясь, покачнулся к немцу, упрямо нагнув шею. И тот, встретив глаза его, поднял белесые брови, произнес удивленно и кратко: «О!» Худощавое, мальчишески бледное, узкое книзу лицо стало беспощадным, жестким, готовым на все. На голову выше Овчинникова, он шагнул к нему, с точной силой ткнул дулом автомата в щеку. Этим ударом поворачивая его голову, скомандовал ожесточенно:

— Vorwärts![1]

А он стоял, дрожа в бессилии, не двигаясь, не выплюнул, а трудно сглотнул наполнившую рот кровь, сипло выговорил:

— Если бы не рука, я б тебя, фрицевская сволочь, одним ударом сломал... если бы не рука...— и выругался страшным, диким ругательством.

— Was ist das[2] твою матку? — крикнул немец, выкатив молодые, в коровьих ресницах глаза, и, напрягая вену на бледной, с острым кадыком шее, звонко скомандовал в лицо ему: — Vorwärts! — и озлобленно замахнулся автоматом.

— Что ж... пойдем, сволочь,— как-то согласно проговорил Овчинников и, спотыкаясь, зашагал быстрее по этой земле, по осенним листьям к своему концу.

Его привели на поляну в глубине леса. Бронетранспортеры, крытые штабные машины камуфляжной окраски стояли под соснами, в пятнистой тени. Люди в черном бесшумно ходили там. Посреди поляны зеленым лаком блестела приземистая легковая машина с открытыми дверцами, запыленными стеклами. Вокруг нее солнеч-

---

[1] Вперед!
[2] Что такое

ные косяки лежали на желтой траве, все здесь было обогрето теплым днем: и эта трава, и машины, и сосны, но от этого непривычно мирного тепла и покоя нервный озноб все сильнее охватывал Овчинникова.

Маленький, сухонький человек в черном плаще, в высокой фуражке, крутой козырек знойно сиял на солнце — лицо в тени,— сидел близ легковой машины на раскладном стуле перед низким раскладным столом, положив на него белую руку. Закинув ногу на ногу, он рассеянно слушал женственно-стройного немца, почтительно склонившегося к нему тонким, красивым лицом.

На краю поляны немца-разведчика, как определил Овчинников, окликнули люди в черном. Немец, вытянувшись, прижав ладони к бедрам и растопырив локти, что-то четко доложил им. Он разобрал выделенное слово — «лейтенант». Один из людей в черном, этот самый, красивый, с женственной талией, брезгливо взял у разведчика сумку, скомандовал Овчинникову знакомое «форвертс», и после этой команды немец-разведчик сделал непроницаемым лицо, щелкнул каблуками, повернулся круто, зашагал по дороге в лес, откуда пришли они, и Овчинников угадал, что его передали другой власти — власти людей в черном.

Двое немцев подвели его к легковой машине. Теперь знал он, зачем привели его сюда и почему прежде не убил его разведчик.

Он остановился, вызывающе расставив ноги, с кривой усмешкой, уже не придерживая раненую руку, не сплевывая кровь, заполнявшую рот.

Он готов был к тому, что его будут унижать, причинять боль, страдания, и единственно, чем мог защититься он, была эта деревянная усмешка. Немец с женственной талией начал что-то говорить, слегка кивая в сторону Овчинникова. Сухонький, в черном плаще, медлительно зашевелился, и Овчинников увидел под крутым козырьком сухое лицо, глубокие прямые морщины возле рта, по-стариковски выцветшие глаза. Немец смотрел внимательно, устало, смотрел только на стыло усмехающиеся губы Овчинникова, не отводя взгляда, и Овчинников чувствовал, как холодный пот обливает тело.

Тотчас этот сухонький утомленно, скрипуче сказал что-то красивому, стройному немцу, что держал наготове сумку Овчинникова. И тот покорно ответил, расстегнул сумку и по-прежнему брезгливо, будто прикасался к

вещам покойника, начал вынимать то, что было в ней, и Овчинников испытывал в эти секунды такое чувство, как если бы раздевали его догола.

«Там карта, карта с огневыми!»

Красивый немец вынул карту, потертую по краям, вежливо, осторожно отодвинул на столе бутылку с фарфоровой пробкой, переставил металлический стакан, разложил карту на столе. Затем выложил, держа кончиками пальцев, насквозь пропотевшую, выгоревшую на солнце летнюю пилотку («Там в ней иголка с ниткой»,— почему-то вспомнил Овчинников), и немец жестом гадливости смахнул ее на землю. Оттопырив мизинцы, развязал узелок — несвежий носовой платок, в котором были парадные, сделанные из фольги лейтенантские погоны, запасные никелированные звездочки (в госпитале лежал и сам отникелировал их Овчинников в соседней часовой мастерской). Немец бросил и это на землю. Порылся в сумке, достал офицерское удостоверение, замызганные треугольники (письма матери из Свердловска), оставил это на столе. Потом вынул испорченную зажигалку-пистолетик, немецкую зажигалку («К чему он взял ее, зачем?»), с интересом рассмотрел ее, вроде ища метку фирмы и, насмешливо улыбаясь, что-то сказал сухонькому немцу в черном плаще. Немец этот, не убрав старческую холеную кисть со стола, бесстрастно смотрел на разложенную карту Овчинникова, и Овчинников чувствовал, что может упасть — болезненные удары в сердце, в голове оглушали его. Не мог вспомнить, почему, почему положил он карту не в планшет, а в сумку. «Я не хотел этого, я не хотел! Не хотел! Что делать? Броситься, разорвать карту, успеть те места с отметками затолкать в рот... Спокойно, спокойно, не так... поближе к столу! Спокойно...»

Глухой от шума крови в висках, он сделал шаг к столу, но тут же кто-то цепко рванул его за плечи назад, а сухонький немец в черном плаще вновь перевел глаза на его губы, пузырившиеся кровью.

Невысокий, атлетически сложенный человек в зеленом френче, одергивая френч, поправляя парабеллум на боку, упругой походкой шел по поляне. Приблизился к столу, кинул руку к козырьку и заговорил по-немецки. Сухонький в черном плаще снял фуражку, обнажив редкие седые волосы, и, холодно глядя на карту Овчинникова, кратко и утомленно сказал что-то. Новый человек

развернул удостоверение Овчинникова, полистал. У человека этого были тонкие — полоской — усики на матовом лице, косые бачки вдоль вжатых, как у боксера, ушей, неизвестный Овчинникову немецкий орден мерцал на солнце эмалью, колыхаясь на его груди, выпукло обтянутой френчем.

Подвижные черные глаза ощупали Овчинникова, засветились настороженно-приветливо, и он, бросив удостоверение на стол, заговорил по-русски, чуть раздвинув губы улыбкой под тонкими усиками:

— Лейтенант Овчинников, Сергей Михайлович, командир огневого взвода первой батареи первого дивизиона двести девяносто пятого артполка?

Как от толчка Овчинников дернулся головой, услышав это чисто русское произношение, каким не мог владеть немец, и, удивленно впиваясь зрачками в матовое, гладко выбритое лицо человека, понял, кто этот переводчик.

И сквозь кривую, застывшую усмешку, с клекотом крови в горле спросил:

— Русский? Ты — русский?

— Лейтенант Овчинников, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Дело в том, что несколько слов могут спасти вам жизнь. Вы, я думаю, это поняли?..

Послышался звук над вершинами сосен — тяжелое шуршание приближалось издалека,— дальнобойный снаряд летел, тяжко посапывал, дышал, расталкивая воздух. И ударил по лесу оглушительным грохотом, разорвался в чаще, за поляной. А Овчинников, поглядев в ту сторону, охваченный дрожью, злобной радостью, бившей его, подумал с последней надеждой: «Сюда, сюда, братцы родные, прицел бы снизить на два деления. Давай, давай, братцы! Сюда!»

Все вопросительно повернули головы к немцу в плаще, тот не выразил старчески сухим лицом тревоги, слабо провел белым платком по гладким седым волосам, не без недовольства сказал переводчику какую-то фразу и холодно кивнул женственно-красивому немцу — адъютанту, по-видимому. Тот сейчас же откинул фарфоровую пробку горлышка бутылки, налил в металлический стакан сельтерской воды, и сухонький седой немец отпил несколько глотков, устремил раздраженный взгляд на переводчика. Тот, искательно играя глазами, заторопился, заговорил резче, но Овчинников не слушал его. Пристально, не мигая, смотрел он на бутылку с фарфоровой пробкой.

И он вдруг поразительно отчетливо вспомнил, как в Польше освободили концлагерь. Полусожженные трупы мужчин и женщин лежали там штабелями, с дырками в затылках: женщины в одном месте, мужчины — в другом. Оставшиеся живыми рассказывали, что немцы расстреливали их перед уходом, приказывали ложиться лицом вниз, и люди покорно ложились, живые на мертвых: женщины в одном месте, мужчины — в другом. Немецкая мораль не позволяла класть мужчин и женщин вместе, это считалось неприличным. И каждый академический час — сорок пять минут, устав от выстрелов, вспотев, немцы, не забывая пунктуальную точность, садились на траву, пили сельтерскую воду. Соломенные корзины с пустыми бутылками остались там же, около штабелей трупов, и эти корзины видел Овчинников. Тогда поразило его, почему люди покорно ложились под пули? Устали от страданий? Хотели покончить с этими страданиями? Люди ждали, а они пили сельтерскую воду...

Он стоял, смутно видя смуглое лицо переводчика, тонкие усики, белые зубы под ними, и уже не усмехался — не было сил усмехаться. Кусал губы в кровь — огромное, плотное и черное росло, душило его, захлестывало горло, точно нечеловеческий крик ненависти, бессилия, неистребимой злобы рвался из его горла, а он глотал этот крик, как кровь. «Что он спрашивает? Что они все спрашивают? О минных полях? Об орудиях? Карта на столе. Почему я не оставил ее в планшетке? Почему замолчала дальнобойная? Значит, конец... Конец?.. Неужели уйдут в Чехословакию? Карта на столе... Все время чего-то мне не хватало... Чего мне не хватало в жизни? Чего не хватало?..»

— Я все скажу, все скажу, вы не расстреляете меня... Я все скажу...

Он не услышал свой голос, хрип выталкивался из его горла. Он ступил к столу, увидел: переводчик с заигравшей под усиками улыбкой поспешно сделал какой-то знак. Сухонький немец, закинув ногу на ногу, выгнул брови. И цепкая сила не задержала Овчинникова, как прежде, не остановила его. Он видел одно — зеленый приближающийся квадрат карты на столе и повторял:

— Я все скажу... я все скажу...

Он ринулся к столу, протянул руку, с мгновенной радостью почувствовал глянец карты под пальцами, и в то же время страшный тупой удар в висок опрокинул его

на землю, зазвенело в ушах. Что-то тяжелое навалилось на него, сцепило горло, чьи-то голоса, как вспышки в черной мгле: «Вилли! Вилли!» — и на голову полилось жидкое, холодное. Его перевернули на спину. Он застонал, черная мгла исчезла, увидел небо — тоскливый, синий океан и среди синевы наклонившееся, заостренное лицо женоподобного адъютанта, прищуренные веки. Он лил ему на голову воду из сельтерской бутылки и, торопя, звал кого-то: «Вилли! Вилли!»

«Я еще жив? — вихрем пронеслось в мозгу у Овчинникова.— Я еще жив...»

Кто-то сильно рванул его от земли: подняли на ноги, заломив раненую руку, и от живой этой боли он пришел в ясное сознание, облизнул губы, судорожно усмехнулся. Он стоял на ногах, пошатываясь,— живучая сила держала его на земле. И вплотную придвинулась темная глубина стоячих, немигающих глаз переводчика, вонзилась острыми иголочками ему в зрачки, ноздри прямого носа раздувались.

— Последний раз спрашиваю, лейтенант Овчинников, последний раз... Слышите вы?

Потом вблизи лица переводчика появилось другое лицо, широкое, мясистое, багровое и вроде все потное и сытое, как после обеда. Оно сочувственно морщилось, покачивалось, толстые складки короткой красной шеи наплывали на воротник с черной окантовкой. И новое лицо это как-то подмигнуло Овчинникову, рыхлые губы расползлись в улыбке, показывая золотые, тусклые от еды зубы, и на мягкой, крупной ладони его взлетел парабеллум — человек играл им. «Вот этот новый убьет меня,— подумал Овчинников.— Это тот, кого звали Вилли...»

— В последний раз задаю вопрос... Слышишь?

«Теперь все, вот оно»,— подумал Овчинников и засмеялся диким, клокочущим смехом.

— Курва ты, сволочь! Родину за три сигареты продал! — крикнул он, оборвав смех, и правой рукой ударил переводчика в подбородок.— Проститутка! Шкуру с меня сдирайте, ни слова вам не скажу! Ни слова! Поняли? — и снова засмеялся хрипло и страшно, шагнув к немцам.— Думаете, в Чехословакию прорветесь? Не-ет! Вам коне-ец! Все-ем вам конец! Ни одна сволочь не уйдет! Ни одна... Вас, как крыс, душить надо, как крыс!.. Я сам десять танков ваших сжег! Вот они, в котловине горят! И если б...

Он задохнулся — не хватило дыхания, увидел: переводчик, вытирая платком щеку, быстро, подобострастно кланялся нахмурившемуся седому немцу, усмехался, словно оправдываясь, и просил о чем-то и в то же время вынимал из кобуры пистолет.

А толстое, мясистое лицо тоже нахмурилось и ждало. Спуская предохранитель, переводчик подошел к Овчинникову, глянул мерцающими щелками глаз, затем жалко, просительно закивал двум немцам, стоявшим за спиной Овчинникова, и его повели.

— Выслужиться хочешь, сволочь? — крикнул Овчинников.— Так ты увидишь, курва, как умрет лейтенант Овчинников!

Короткий возглас на немецком языке услышал он позади, невесомо-легко стало ему, никто не сжимал раненую руку, но он все-таки хотел повернуться, чтобы увидеть то, что ожидало его за спиной, прохрипел:

— Стреляй в лицо, курва предательская!..

И не успел повернуться, сзади с треском толкнуло, ударило его в бок, в грудь, и он еще почувствовал жесткий удар земли в щеку, а почувствовав это, он хотел вспомнить что-то ясное, чистое, синее, что было в его жизни, что должно было быть, но не мог вспомнить...

Он не знал и не мог уже видеть, и чувствовать, и знать, что в эту секунду к нему, улыбаясь золотой улыбкой, вразвалку подошел тот самый вызванный Вилли, нагнулся, потом, презрительно поморщась, взглянул на переводчика и спокойно, расчетливо выстрелил три раза в лицо Овчинникову, который в эти секунды еще жил...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Бой на северо-востоке от города Касно постепенно затихал. Как и предполагал Новиков, ударный кулак окруженной немецкой группировки, вырвавшись из кольца под Ривнами, не сумел с ходу пробить брешь к границе Чехословакии, потерял силу атаки под массивным огнем артиллерии, увяз в минном поле. Сохраняя силы, немцы отошли в лес, левее ущелья, окапывались на опушке. Подожженные танки перед высотой, бронетранспортеры, разбитые машины на шоссе неохотно и дымно горели до полудня. И как только начал затихать здесь бой, стала особенно слышна тяжеловесная канонада в

стороне Касно. Грифельная мгла косо шла над городом, занимая полнеба. Во мгле этой через каждые полчаса приходили с востока большие партии наших штурмовиков; разворачиваясь, ныряли над улицами, подолгу обстреливали и бомбили, казалось, центр города.

Новиков несколько раз вызывал по проводу КП майора Гулько, но связи не было. Солдаты, исступленные боем, вповалку лежали на огневой в неподвижном оцепенении тяжелой дремоты. Грело солнце. Даже во сне хотелось пить, кислая горечь была во рту.

В полдень принесли в термосах завтрак. Солдаты задвигались: нервно зевая, загремели котелками, ложками выскребывали из них землю. Но ели пшенную кашу устало, не жадно, запивая терпким трофейным вином, все косились на горевший город, недоверчиво взглядывали на удивительно чистый, солнечный, синий край неба над Карпатами.

В кристально студеной осенней высоте горного воздуха таяли нежнейшие, по-летнему белые облака, а внизу под ними дремотно, покойно желтели сосны, голубело, поблескивая, озеро, не по-осеннему обогретое солнцем. Туманный круг его стоял над вершинами лесов, над острыми пиками Карпат.

И в молчании мирно-тихой опушки леса, куда отошли немцы, была странность этой без единого выстрела тишины, этого солнечного блеска, тепла, установившегося перед высотой. Непрерывные раскаты боя в городе, появление самолетов создавало чувство неуспокоенности, упорно нацеленного в спину острия.

Это ощущал и Новиков. В течение пяти часов батарея потеряла двенадцать человек и два орудия. Кроме того, он понимал, что в зависимости от успеха боя на юго-западе немцы повторят удар с севера, решающий удар для той и другой стороны. Он знал это — и не повторение боя волновало Новикова. Он ждал снарядов, обещанных майором Гулько. Ни снарядов, ни связи с дивизионом не было, и возникло тревожное предположение: немцы прорвались к центру города, отрезали от дивизиона батарею, нарушили связь.

— Что ж... всем завтракать. Да как полагается. Не мусолить, а по-настоящему жрать! — сказал Новиков, сам чувствуя в своих словах фальшивую веселость.— Наминать кашу так, будто на три года в оборону здесь встали!

Ремешков, опустив глаза, поставил перед Новиковым полный котелок, нарезал тонкими ломтями душистый ржаной хлеб, старательно, долго вытирал ложку чистой паклей. Новиков, сидя на станине, взял ложку, зачерпнул из котелка и, поднеся к губам, сказал насмешливо:

— Вы становитесь образцовым солдатом, Ремешков. Только скатерти не хватает. Верно? И на кой... нарезали аристократическими ломтиками хлеб? Себе вон куснщи какие навалили! Вы за кого меня — за красную девицу принимаете? А как у вас аппетит, младший лейтенант?

И, сказав это, потянулся к большим ломтям хлеба, которые Ремешков положил отдельно для себя на расстеленную плащ-палатку.

Младший лейтенант Алешин ел не без аппетита, вдруг смешливо посмотрел ярко-синими глазами на замкнутое лицо Ремешкова, черенком ложки сдвинул на затылок фуражку, хотел спросить: «А где же ваш вещмешок?» — но поперхнулся, закашлялся и, прикрывая смущение, спросил, обращаясь к Новикову:

— Дернем, товарищ капитан? Я захватил ром,— и с видом пьющего, легкомысленного человека отстегнул фляжку на поясе.

— Пожалуй, дергать воздержусь,— ответил Новиков.— До завтрашнего утра пить не будем.

— Вот уж напрасно,— притворно-озадаченно вздохнул Алешин, разглядывая фляжку.— После такого боя стоило. А то каша в горло не идет! Нет, а я все же выпью! Можно? За подбитые танки, товарищ капитан! — И запрокинул голову, отхлебнул из горлышка несколько глотков, дружески, взволнованно сияя глазами, предложил фляжку солдатам: — Кто хочет, товарищи? Ну, орлы, что вы как мертвые? За подбитые танки! Всем по глотку!

Никто не поддержал его. Все лениво жевали, глядя в котелки.

— Эх вы, чудаки, за танки ведь! Что, плакать будем, что ли? — сказал Алешин, покраснел и так заскреб ложкой в котелке, что Новиков чуть улыбнулся.

Младший лейтенант Алешин был более других возбужден недавним боем, стрельбой по танкам, его неистребимо подмывало говорить об этом, вспоминать и удивляться той полноте ощущений, которые он пережил толь-

ко что. Однако солдаты не были расположены к этому разговору.

Порохонько не ел, даже не притронулся к котелку, лежал на спине, сунув руки под затылок, блуждающе глядел в небо желтоватыми воспаленными глазами; подбородок грязно оброс, галифе на длинных ногах порвались в коленях. Он сказал шепотом:

— Лопатками аж чую — земля гудит. Танки по городу идут, прорвались они...— И приподнялся, остановил тоскливый взгляд на Новикове.— Погибать тут, не в России,— все одно що мордой вишню давить. Двинут они — и конец хлопцам. Туда бы, к орудиям, ползком, та помаленьку на хребтине — раненых сюда. А, товарищ капитан?

Новиков молчал. Порохонько снова лег, вспоминающе следил за движением облаков в небе, губы его подрагивали.

— Если бы знал, где соломку подложить, с собой ворох бы и тягал, як Ремешков вещмешок. Да и тот вещмешок... Сбоку разрывной очередью полоснули, так оттуда белье, як кишки, полезло...

И угрюмо, исподлобья Порохонько покосился на молчавшего Новикова.

Ремешков сидел над пустым котелком, отламывал, бросал в рот кусочки хлеба, жевал осторожно.

Хотя приказ оставить орудия исходил от Овчинникова и они не могли не исполнить его, люди эти, бросившие раненых, понимали и чувствовали, что потеряли свою человеческую ценность и для Новикова, и для солдат: никто будто не замечал обоих.

Наводчик Порохонько воевал в батарее ровно год, пришел с пополнением из освобожденной Житомирской области. Необычно высокий, длиннорукий, длинноногий, бывший учитель арифметики в сельской школе, он не был, как иные из оккупированных областей, преувеличенно исполнительным, тихим — держался независимо, самолюбиво, спорить с ним опасались. Было в оккупации за его спиной нечто такое, чего он не стеснялся, но о чем не говорил никогда. Стрелял Порохонько выверенно и точно; постоянно возил в передке банку белил; после каждого подбитого танка кистью тщательно выводил кольцо на стволе орудия, затем, расставив циркулем ноги, подолгу любовался этим знаком, довольный, сообщал всем: «Ось так. Ясно, славно! Ось где нужна арифметика! За Петро, хлопчика-цыганка! Его медаль!»

Кто был, однако, этот Петро-цыганок — в батарее не знали, но, уже дважды награжденный, Порохонько ордена не надевал, а, деловито завернув их в чистую тряпочку, носил узелок в нагрудном кармане гимнастерки, как самую большую ценность.

— Нет, не могу ждать!— повторил Порохонько и с силой постучал щепоткой пальцев в неширокую грудь.— Я ж не можу ждать, товарищ капитан. Терпежу нет. Лягалов там. Я ползком... Ремешкова возьму...

— Помолчите, Порохонько!— сказал Новиков наконец.— Ешьте лучше кашу! Я не верю в это.

Порохонько побледнел, щетина стала чернее на щеках, подбородке, спросил нащупывающим голосом:

— Не верите? Что ж, может, и ордена задаром дали? Тогда возьмите. Я ж оккупированный!.. Может, так?

И он зло достал из кармана гимнастерки узелок с орденами, взвесил его на ладони, длинное мрачное лицо было решительным.

— Тогда возьмите ж, товарищ капитан!

— Давайте ордена,— сказал Новиков спокойно и протянул руку.— Значит, я ошибся...

Он много видел отчаяния на войне и знал: не надо жалеть людей, когда они теряли землю под ногами в минуту слабости, и, хотя сейчас видел в глазах младшего лейтенанта Алешина растерянность и осуждение, он сухо повторил:

— Давайте ордена. А так как я ошибся, а вы это поняли, то делать нам в одной батарее нечего. После боя я переведу вас в другую батарею. Ремешков, вы что хотите сказать?

Ремешков, безмолвно собиравший котелки, чтобы помыть их, с выражением застывшего недоумения обернулся к Новикову белобровым лицом своим, произнес тихо:

— А когда с лейтенантом Овчинниковым бежали, он приказал мне: если меня убьют, доложи, мол, капитану, что десять танков подбили. Порохонько, мол, четыре.— Ремешков, сглотнув, глянул в сторону Порохонько.— И прицелы, мол, отдай капитану.

— Це же не мои танки, це Петро, хлопчика-цыганка. И ордена его,— то ли обращаясь к Новикову, то ли к самому себе, шепотом проговорил Порохонько, стискивая в горсти узелок с орденами, моргая обожженными порохом ресницами.— Як быть, товарищ капитан?

— Спрячьте ордена, пока я не раздумал,— сказал Новиков холодно.— Батарея за несколько часов потеряла двенадцать человек. Я не хочу, чтобы было двадцать. Младший лейтенант Алешин, зайдите ко мне в землянку.

Вошли в землянку, прохладную, сыро пахнущую землей. Новиков приблизился к Алешину, посмотрел в его взволнованно засиневшие глаза, спросил:

— По лицу видел: все время хотел что-то сказать. Ну, слушаю.

— Зачем вы так, товарищ капитан? Вы же обидели его... Зачем? Замечательный ведь наводчик!— горячо заговорил Алешин.— Я за него ручаюсь! Товарищ капитан, я ведь верю вам!.. Но он прав. Разве можно ждать? Терпеть? Да что же это такое, товарищ капитан, мы оставили раненых?

Новиков сказал:

— Учти, Витя, на тот случай, если меня убьют, такие штуки, как с Порохонько,—это нервы. Началось с Овчинникова. Не смог, не сумел зажать душу в кулак, когда это нужно было. Ты понял, Витя?

— Вы убили его?— полуутвердительно сказал Алешин.— Я видел...

— Этого я не видел,— покачал головой Новиков.— Я чувствовал, они хотели взять его живым. И если он попал к ним, я бы хотел не промахнуться.

— Не верите ему?

— Не в этом дело.

— Вы вместо наводчика сами стреляете! Тоже не верите?

— Опять не в этом дело. На войне есть такие минуты, Витя, когда многое надо делать самому.

Алешин замялся, брови его хмурились, каштановые волосы наивно лежали на незащищенно чистом лбу, открытом сдвинутым назад козырьком фуражки. Но весь вид его не был беспечно лихим, как давеча, когда после боя пришел он от орудия весь налитый радостью молодого тщеславия,— расчет его подбил четыре танка. И Новиков подумал: они недалеко друг от друга по годам, но что-то резко отделяло их, просто он чувствовал себя гораздо старше Алешина, и странная, похожая на горечь нежность толкнулась в нем. «Он сохранил то, что потерял я,— способность жить по первому впечатлению. А это признак молодости. Как он это сохранил? Может быть, потому, что он год был рядом со мной и смог сохра-

нить то, что я терял?— подумал Новиков.— Неужели это так?»

— У них ведь снарядов нет, товарищ капитан!— заговорил, помолчав, Алешин.— Пять снарядов — почти ничего. А Лена там... С ранеными. Нажмут фрицы из ущелья, и не успеем!.. Страшно подумать, что они сделают с Леной. Я раз видел одну медсестру... И не понимаю, не понимаю... Почему вы медлите, товарищ капитан? Почему не отдаете приказ взять раненых?

Новиков курил, сквозь дым сигареты глядел на Алешина, не прерывал его.

«В отличие от меня он понимает только добро в чистом виде,— опять подумал Новиков, вспоминая недавний разговор с Гулько.— Он не умеет скрывать то, что надо иногда скрывать в себе, не научился ждать, терпеть. Он слишком поздно начал войну, чтобы понять: порой шаг к добру, стремление сейчас же прекратить страдания нескольких людей ведет к потерям, которым уже нет оправдания. Еще два года назад я думал иначе».

— Надо понять,— проговорил Новиков,— надо понять: нельзя показывать немцам, что орудия Овчинникова разбиты. А мы это сделаем, если начнем эвакуировать раненых днем, сейчас. Там есть люди — значит, орудия существуют. Пять снарядов — не один снаряд. Это пять выстрелов по переправе. По танкам. Чувствую, Витя, в этом польском городишке мы, кажется, завершаем войну. Нет такого ощущения? Если немцы прорвутся в Чехословакию, значит, война на два, на три часа, на сутки продлится дольше. Все ясно? Вечером решим с орудиями. Топай на огневую. Я полежу малость.

Он расстегнул пуговичку на воротнике гимнастерки, сбросил ремень, лег на солому, слыша, как в замешательстве вышел из землянки Алешин. И только сейчас почувствовал каменную усталость во всем теле. После нескольких часов напряжения до рези болели глаза, ныли мускулы, горели в хромовых сапогах ноги, но не было желания двинуться и, испытывая наслаждение, скинуть тесные сапоги. Он закрыл глаза — блеснули вспышки, ощутимо толкнуло в грудь душным воздухом, неясно и невесомо возник чей-то голос: «Там раненые возле орудий... Где Овчинников? Овчинников убит? Богатенков убит, Колокольчиков убит... Убит? А Лена? Она убита? Не может быть...»

Сквозь этот хаос вспышек, сквозь этот незнакомый голос он с чувством мучительного преодоления дремоты

пытался вспомнить, представить ее лицо, какое было оно у живой. Что это? Для чего она здесь? Он где-то стоял в тишине под фонарем у забора, падал снег, и она открыто, смело, готовая на все, шла к нему узкими шагами, стройно покачиваясь, и в такт шагам колыхалась ее шинель. Но когда это было? В детстве? Что за чепуха! Вот ее последнее письмо, которое он все время носил с собой. «Тебя уже не было в живых, ты был убит, а мы сидели с ним три года за одним столом в пятой аудитории, помнишь? Вместе готовились к зачетам, и я привыкла к нему. Дима, об этом надо было сказать сразу, ведь ты веришь...»

«Молодец! В первый раз сказала прямо, лучше всего ясность... Спасибо, милая Лена... Она убита? Не может быть! Кто это сказал? Младший лейтенант Алешин? Но он не знал никогда ту Лену, тот фонарь, тот снег... Я не говорил об этом. Откуда он знал?»

Вспышки исчезли, что-то глухое, вязкое душило его, навалясь на грудь, и Новиков, задыхаясь, чувствовал во сне это душное беспокойство, тоскливо тупую, непроходящую тревогу. Весь в испарине, он застонал, точно сдавленный в накаленном солнцем мешке, и от ощущения физического неудобства повернулся на бок. И, на минуту очнувшись от липкой дремоты, смутно понял, чтó физически беспокоило его,— жали тесно, колюче сапоги. Стараясь восстановить в памяти бредовую путаницу сна, он, упираясь носком одного сапога в каблук другого, хотел стащить их с ног, чтобы освободиться из этой горячей тесноты и наконец испытать ощущение отдыха. Но неясные отблески беспокойства оставались в сознании, не покидали его.

Громкие голоса, топот ног возле землянки заставили Новикова разомкнуть глаза.

Он сел, привычно потянулся за ремнем с пистолетом. Отдаленные удары толчками проходили по землянке.

— Что там?— крикнул он, уже машинальным движением стягивая ремень, оправляя кобуру. И, вскочив, шагнул к выходу, завешенному плащ-палаткой, отдернул ее, тревожно охваченный предчувствием: случилось что-то с орудиями, с Леной...

На пороге стоял младший лейтенант Алешин, трудно переводя дыхание: он, видимо, бежал от огневой.

— Что случилось? Орудия? Лена?— тотчас спросил Новиков, по какой-то внутренней связи соединяя все в одно.

Алешин, подавляя возбуждение, доложил:

— Петин, товарищ капитан... От Гулько... там черт те что... Танки прорвались. В центр. Обстреляли машины. Одну сожгли.

— Какие машины?

— Там Петин на огневой, товарищ капитан... Одну машину привел. Вас ждет. Осторожней, тут автоматчики и снайперы появились. Бьют по орудию, откуда — непонятно! Вот гады!

— Пошли!

Новиков вышел из полутьмы землянки в прозрачную чистоту осеннего воздуха, в ход сообщения, залитый солнцем, и здесь Алешин остановил его.

— Пригнитесь, товарищ капитан! Тут они пристреляли. По мне полоснули. Чуть фуражку не сбили. Вон, смотрите!

И указал на выщербленные белые отметинки — следы пуль на выступавших из земли торцах наката.

— Откуда обстреляли?

— Пригнитесь, прошу вас, товарищ капитан!

Но прежде чем пригнуться, Новиков скользнул взглядом по солнечному покойному озеру, по минному полю перед высотой. В глубокой низине струился дым догоравших угольно-черных танков, мирно желтели на солнце сосновый лес, бугры позиций Овчинникова,— настороженный, обогретый, странный покой был здесь. И только справа и за спиной, где был город, нарастали, смешивались звуки боя. В мрачно ползущей стене дыма над городом с рокотом мелькала партия наших штурмовиков, снижаясь над улицами, высекая пушечные вспышки, скачкообразные, покрывающие всё разрывы бомб потрясали землю.

— Пригнитесь же, товарищ капитан, прошу вас! Вы же...— Алешин не успел договорить: сухой щелчок выбил брызнувший осколок дерева из торца наката над головой Новикова. Оглянулся — пуля легла в пулю — и посмотрел туда, где в голубой солнечной тишине перед высотой мягко лопнул выстрел. Звук выстрела растаял бесследно, но показалось Новикову: стреляли недалеко.

— Надо бы выследить эту сволочь,— сказал Новиков и, все-таки пригнув голову, пошел по ходу сообщения.— Возьми на себя, Витя. Перещелкает людей поодиночке. Слышишь?

— Здесь не один,— ответил Алешин, вглядываясь в торцы наката.— Расползлись, как тараканы. Со всех сторон бьют!

На огневой позиции в окружении солдат сидел, изможденно привалясь широкой спиной к брустверу, ординарец Гулько Петин. Сидел он громоздкий, разбросав ноги в просторных запыленных сапогах, двумя руками держал котелок, пил жадными глотками, вздыхая через ноздри. Вода текла на разорванную гимнастерку, на грязные колодки медалей. Увидев Новикова, поставил на землю, расплескивая воду, котелок, попытался встать, заелозил ногами. Новиков сказал:

— Сидите! Что в городе? Рассказывайте. Подробнее... А это что у вас с глазом?

Правая сторона большого лица Петина безобразно, неузнаваемо распухла, кровоточила мелкими порезами, один глаз, весь красный, как от ушиба, слезился, заплыл. Вытерев слезы, Петин прижал к нему широкие пальцы, а здоровым, удивительно спокойным и ясным глазом нерешительно обводил солдат. И Новиков, поняв, поторопил его:

— Говорите при них. Они всё должны знать. Что, танки в городе?

— Прорвались... В центр,— рокотнул Петин и длинными громкими глотками отпил из котелка, вытер губы.— Связь перерезали... Майор Гулько в боепитание послал, чтобы дорогу я, значит, сюда, к вам, показал. Нагрузили снарядами машины. Выехали из улицы в центр на площадь, глядь, а у костела танки какие-то. Думал, наши, а они как махнут по нас из орудий! Я с шофером сидел, осколки — по стеклу, что-то в глаз отлетело. Не больно, слезы и режет только...

Петин замолчал, неловко почесал глаз, с досадой ощупал разорванную гимнастерку.

— А это за ручку задел. Одну машину подбили, на два ската сразу села. А мы как рванули в переулок, ну и к вам прилетели. Товарищ капитан, вам — от майора. Вот. Ответ пропишите.

Петин вынул из кармана кисет, из него — аккуратно свернутую записку, сдунул с нее табачную пыль и передал Новикову. Новиков развернул, увидел несколько фраз, написанных ровным, мелким почерком: «Посылаю с Петиным обещанные боеприпасы. Связи с вами нет. Позаботьтесь о круговой обороне. Берегите людей. Держитесь, мой мальчик. Обещаю вам — будет легче. Майор Гулько».

«Кому нужны сейчас эти сантименты?» — подумал Новиков и, хмурясь, сунул записку в карман. Сказал:

— Письма писать некогда. Передайте — батарея потеряла двенадцать человек и два орудия. Овчинников пропал без вести. О круговой обороне позаботимся. Спасибо за снаряды. Где машина?

— А там, внизу, под высотой,— полуобиженно мигнул заплывшей краснотой глаза Петин и спросил уже неспокойно и потерянно:— А как же с ответом-то, товарищ капитан? Пропишите. У меня карандашик найдется...

Новиков не смотрел на него.

— Всем — к машине, от огневой ползком, перебегать на открытых местах. Переносить снаряды к орудиям!— негромко скомандовал он, оглядев встрепенувшихся солдат.— А вам, Петин, в госпиталь бы надо. Не трите глаз. У вас не соринка. Жаль, санинструктора нашего нет. Перевязку бы вам...

И после этих слов совсем ненужно вспомнил близкие теплые зрачки в темной, втягивающей глубине Лениных глаз, вздрагивающие от смеха ресницы, легкое, прохладное прикосновение пальцев ко лбу. «Не смотрите на губы, там ничего нет, смотрите мне в глаза! Ну?»

Как-то месяц назад в глаз ему попала соринка во время стрельбы, и Лена вытаскивала ее. Она хорошо это сделала, но и тогда раздражила Новикова своей вызывающей нестеснительностью.

— Есть индивидуальный пакет? Дайте-ка. Снимите пилотку,— приказал Новиков Петину.

И, нетерпеливо обождав, пока тот искал, шарил по карманам, а потом вынул замусоленный, в крошках табака пакет, Новиков разорвал его, придвинулся к Петину, неумело, но быстро стал накладывать бинт, свежо и чисто забелевший на крупном, грубо выдубленном ветром лице солдата. Тот наклонял голову, вспотев, сопя, единственный глаз с опаской мигал в лицо Новикова.

— Да какой же госпиталь, товарищ капитан?— пытаясь улыбнуться, бормотал он.— Так, ерундовина. Проморгается. Зачем это вы? Мне к майору надо... Спасибо, товарищ капитан! Некстати это...

— Смерть и ранение всегда некстати,— сказал Новиков, завязал узел и легонько оттолкнул Петина.— Теперь двигайте к майору. Да только пригибаться и бегом.— И чуть-чуть усмехнулся:— Для снайперов вы мишень огромная. Ну, бегом марш!

— Счастливо вам...

Петин грузно встал, старательно одернул гимнастерку, перешагнул через бруствер и вдруг, неудобно пригнувшись, придерживая растопыренными пальцами медали на груди, тяжело порысил по высоте к скату, за которым только что скрылись посланные за снарядами солдаты.

— Ползком! — крикнул Новиков.— Гимнастерку жалеете? Ложись!

В солнечном пространстве перед высотой, где чадили танки, поспешно треснул выстрел, синий огонек разрывной пули высекся под ногами Петина. Он, как бы очень удивленный, выпрямился всей огромной своей фигурой, сияя чистым бинтом на голове, поглядел туда, где щелкнул выстрел, неуклюже махнул рукой и сбежал, скатился по скату.

«Задело его? Нет, не должно быть, не задело!» — подумал Новиков, давно уверенный, что на войне подряд два раза не ранят, второй раз — убивают.

И тогда громкий, отчетливый голос младшего лейтенанта Алешина заставил его обернуться.

— Товарищ капитан, вроде из-под танка подбитого лупят! Не видите?

Алешин без фуражки — каштановые волосы светились на солнце — лежал под бруствером, смотрел куда-то перед высотой, в белесую дымку, плавающую в котловине.

— Пошли к пулемету, покажешь! — сказал Новиков.

В ровике НП, перешагнув через дремлющих связистов, Новиков спросил у дежурившего около пулемета разведчика:

— Заметили, откуда бьют снайперы? — И, не дослушав его полусонного бормотания: «Да ведь солнце в глаза бьет»,— снял с бруствера ручной пулемет, перенес его, меняя позицию, в дальний конец хода сообщения, установил на бровке.

Алешин лег грудью на стену окопа, прошептал:

— Правее орудия Овчинникова, на минном поле — подбитый танк. Пушка к нам развернута, видите? Оттуда выстрелы.

Это было то место, где ранило Овчинникова.

— Прощупаем,— сказал Новиков.

И выпустил две короткие очереди, стремительно запылившие перед гусеницами подбитого танка. Тотчас он уловил двойной ослабленный звук выстрелов из-под

днища танка. Он быстро взглянул вправо и назад, на высоту, где обстреляли Петина, и увидел человека, низкого, плотного, коротконогого. Рыхло забирая сапогами, он бежал, заметный как в бинокль, к огневой позиции. Стреляли по нему. Новиков, не снимая пальца со спускового крючка, крикнул Алешину:

— Какого... там шляются? Кто это такой? А ну, наведи порядок! Может, опять от Гулько!

Он поставил удобнее локоть, прижал к плечу ложу пулемета, снова выпустил две короткие очереди под днище танка. Неясно услышал крики Алешина: «Ложитесь, ползите! Откуда вы?» Затем тонко, мстительно взвизгнуло над ухом несколько пуль. Понял: теперь стреляли по пулемету, и, загораясь знакомым чувством азарта, он крепче притиснул ложу, вторично прицелился. Весь диск вылетел туда, откуда стрелял немецкий снайпер, и только после этого Новиков сорвал пулемет с бровки окопа, переставил на другое место, бросил разведчику:

— Новый диск! Быстро!

От орудий по ходу сообщения в сопровождении младшего лейтенанта Алешина шел, нагнув голову, будто бодаясь, налитой и даже в талии толстый человек, квадратное лицо багрово, брови упрямо сдвинуты; и по этим бровям, по тучности, по багровости Новиков, удивленный, узнал того капитана-интенданта, с которым у него произошло столкновение в особняке.

— А-а, интендант! — воскликнул Новиков.— Это за каким же лешим на огневую вас занесло? Судьбу испытываете? По снайперам соскучились? — И улыбнулся нахмуренному Алешину.— Чуете, Витя?

Интендант подошел, спотыкаясь от поспешности, едва выговорил:

— Товарищ капитан, я пришел, чтобы получить свое оружие. Я прошу оружие, оно записано под номером,— повторил он, глядя Новикову в грудь.

— Присядьте,— посоветовал Новиков.

Интендант присел, отпыхиваясь, вытер платком толстую шею, пылавшее лицо, подбородок; делая это, поднимал и опускал руку, было видно, как тесный китель жестко давил ему под мышки. Новиков сказал полусерьезно:

— Ну вот что, если хотите, я могу извиниться. Что было, то прошло. Берите из особняка все, что необходимо для медсанбата: простыни, белье, вино, продукты,— и счастливого вам пути! От орудий, советую, ползком,

иначе не вы нас, а нам вас придется отправлять в медсанбат. Кажется, все.

Интендант справлялся с одышкой, пот струями катился по лицу его, подворотничок врезался в шею, влажно потемнел, веки набрякли.

— У вас мое... оружие. Системы «наган»,— сказал он упорно.— Прошу вас, мое оружие. Офицеру без оружия нельзя... Оно записано под номером. В документе...

— Младший лейтенант Алешин, отдайте оружие,— сказал Новиков.— Наган! Достали бы пистолет или парабеллум, наконец. Алешин, что вы медлите? Отдайте оружие...

Алешин, с неприязнью вперив взгляд в интенданта, нехотя вынул из сумки массивный наган, повертел его и, краснея, сказал презрительно:

— Товарищ капитан, если каждый тыловик...

— Отдайте,— оборвал его Новиков.

— Спасибо. Я сам погорячился,— сдерживая одышку, выговорил интендант.— Я рад, что познакомился с вами, капитан. Если что будет нужно...

— Я не умею говорить любезности,— вежливо ответил Новиков.

— Ладно, пусть так. Может, еще увидимся...

Вталкивая наган в кобуру, интендант сгорбил тучную спину, зашагал по окопу, косясь влево на поле, где вились дымки над танками.

— А по высоте — ползком! Ползком! — гневным голосом крикнул Алешин.— Быстро!.. Приласкали, товарищ капитан, дикобраза какого-то! — возмущенно сказал он.— Тыловой комод эдакий!

Новиков же в это время, сильным ударом вщелкнув полный диск в зажимы пулемета, внимательно глядел в сторону города. Там, пульсируя тяжким громом, росла огромная, зловещая, кипящая чернота, надвигалась, заслоняя небо, все приближаясь, повисла над высотой. И то, что было несколько минут назад, казалось ничтожно маленьким, ненужно пустячным, мелким по сравнению с тем, что надвигалось на них и что сознавал, чувствовал сейчас Новиков.

— Товарищ капитан, чеха ранило. В пехоту шел с термосом! Воп смотрите, в грудь его снайпер саданул!

— Где он?

— На огневой.

— Пошли.

Возле орудия сидел молоденький чех в новом, вроде еще хрустящем от свежести обмундировании, влажные, испуганные глаза старались улыбнуться Новикову, белый пушок, покрывавший верхнюю пухлую губу, в капельках пота; юношески худые пальцы сведены на груди, точно поймал и не выпускал что-то. Рядом у ног стоял термос. Ремешков, присев подле на корточках, разрывал индивидуальный пакет, жалостливо вглядывался в ребячье лицо чеха, вздыхая по-бабьи, спрашивал скороговоркой:

— Куда ж это тебя, куда? Эх, милый человек, неосторожно ты, они тут все пристреляли. В пехоту шел, землячок, к своим? Понимаешь, понимаешь по-русски?

— Добрий ден...— прошептал чех, закивал быстро-быстро, на секунду снял руки с груди и молитвенно сложил их.— Рота... обед... Я — тр-р, катушка, связист... Шеста рота...

Он ясно смотрел Ремешкову в лицо, глазами умоляя понять его. Темное пятно расплывалось на гимнастерке, окрашивало худые пальцы чеха.

— Снимайте с него гимнастерку! Быстро! — приказал Новиков Ремешкову, взял у него индивидуальный пакет, повернулся к молча глядевшему на чеха Степанову.— Отнесите термос в шестую роту чехов. И передайте — ранен связист.

— Марице, Марице, повстани,— серыми губами шептал чех, когда Новиков при помощи Ремешкова начал перебинтовывать его, и все смотрел туда, за озеро, где лежала Чехословакия.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

А вечером стало ясно, что немцы прочно заняли центр города. Никто из дивизиона не сообщил Новикову, что на улицах идут бои, связь была прервана, и телефонисты, раз восемь пытаясь восстановить линию, в сумерки вернулись из города с воспаленными лицами, опустошенными глазами, сообщили, что нарвались на немецкие танки, город горит, ничего не понять и нет возможности восстановить линию — она перерезана. Два часа спустя из парка, где стоял хозвзвод, прибежал, дрожа в возбуждении, ездовой, доложил, что особняк и парк обстреляли автоматчики неизвестно откуда, лошадь убита, один

повозочный ранен. А доложив это, спросил подавленно: «Может, место сменить куда подальше?» Новиков знал, что такого неопасного места, куда можно было передвинуть тыл, сейчас нет, и отдал приказ окопаться хозвзводу — всем, от повозочного до повара — на юго-западной окраине парка.

Мохнатое зарево, прорезав небо километра на два, раздвинулось над городом. Там, в накаленном тумане, светясь, проносились цепочки автоматных очередей, с длинным, воющим гулом били по окраине танковые болванки. Порой все эти звуки покрывали глухие и частые разрывы бомб — где-то в поднебесных этажах гудели наши тяжелые бомбардировщики. Ненужные осветительные «фонари» желтыми медузами покойно и плавно опускались с темных высот к горящему городу.

Отблеск зарева, как и в прошлую ночь, лежал на высоте, где стояли орудия, и слева на озере, на прибрежной полосе кустов, на обугленных остовах танков, сгоревших в котловине. Впереди из пехотных траншей чехословаков беспрестанно взлетали ракеты, освещая за котловиной минное поле,— за ним в лесу затаенно молчали немцы. Рассыпчатый свет ракет сникал, тускло мерк в отблесках зарева, и мерк в дыму далекий блеск раскаленно-красного месяца, восходившего над вершинами Лесистых Карпат. Горьким запахом пепла, нагретым воздухом несло от пожаров города, и Новиков, казалось, чувствовал на губах привкус горелого железа.

В девятом часу вечера он собрал людей на огневой позиции, сел на станину, держа в пальцах незажженную самокрутку. Курить было нельзя — снайперы били на огонек, даже на громкий звук голоса. Медленно оглядел медные в зареве, настороженные лица солдат. Безмолвно и неподвижно сидели они в ожидании приказа Новикова. Он сказал:

— Ждать нельзя, пора идти к орудиям Овчинникова.— Помедлил немного и повторил:— Идти к орудиям и вынести раненых. Там их трое: один ходячий — сержант Сапрыкин, двоих надо нести.— Он пососал незажженную самокрутку, сплюнул табак, попавший на губы.— Немцы ждут и наверняка предпримут последнюю атаку сегодня ночью, это ясно. Всем это ясно?— Он чуть поднял голос, снова оглядел неподвижные лица солдат.— Поэто-

му на всю операцию — час. Взять побольше запасных дисков. У тех, которые останутся здесь. Со мной пойдут Порохонько и Ремешков. Мы пойдем к орудиям по проходу в минном поле, по берегу озера. Вокруг огневых Овчинникова могут быть немцы. Но, какой бы перестрелки у нас ни случилось, ни орудийного, ни пулеметного огня не открывать! Чехословацкую пехоту я предупредил. Это все.— Новиков бросил под ноги незакуренную самокрутку, сказал Степанову:— Сержант, дайте-ка мне ваш автомат!

Молчаливый Степанов оборотил как-то очень уж поспешно круглое, как блин, задумчиво-доброе лицо свое, потом, насупясь, положил автомат на колени, тщательно проверил ход затвора, провел большой ладонью по стволу, похоже, пыль стирал; не сказав ничего, подал его Новикову.

Все молчали, освещенные заревом, глядя на розовеющее минное поле.

Новиков встал, повесил автомат на грудь, и это движение, которое словно отрезало его, Новикова, Порохонько и Ремешкова от солдат, кто оставался здесь, заставило всех непроизвольно вскочить с легким шумом.

Порохонько, пристегивая к ремню автоматные диски в чехлах, подошел к Новикову, в зрачках играли красноватые хмельные огоньки, произнес вдруг отчаянно-бесшабашно:

— Ну, покурим на дорожку, щоб дома не журылись. Кто, хлопцы, даст на закрутку, тому жменю табаку дам!— И спросил чрезмерно серьезно Новикова:— Разрешите, товарищ капитан?

Новиков разрешил. Кто-то из разведчиков сунул Порохонько тайно обсосанный в рукаве шинели недокурок. Порохонько, крякнув, спрятался за бруствером, торопливо, наслаждаясь, сделал несколько глубоких затяжек и сейчас же растоптал, растер окурок каблуком, выпрямился, говоря:

— Ось полегчало, аж продрало,— и, покончив с этим простым житейским удовольствием, чиркнул взглядом по фигуре Ремешкова.— А ты що ковыряешься, як дедок в подсолнухах? Ты-то некурящий?

— Я не... Я не курю, я ведь некурящий,— забормотал Ремешков заикающимся голосом.

Он суетливо вставлял диск в автомат, руки тряслись, напряженная шея наклонена, тень падала на лицо, и Но-

виков, вспомнив его вещмешок — горб на спине, недавний ужас в глазах, его унизительные жалобы на ногу, подумал, что в течение суток он беспощадно испытывал этого парня риском, близостью смерти, жестоко и сразу приучал к ощущению прочности человеческой жизни на войне, от которой Ремешков отвык за шесть тыловых месяцев, как, возможно, отвык бы и сам Новиков. И, подавляя в себе чувство жалости, Новиков спросил, готовый на мягкость:

— Нога болит?

Ремешков повесил автомат через шею, так же спеша скачущими пальцами застегивал шинель, оглядываясь на город, на близко фыркающие звуки танковых болванок. Он теперь знал, что никакая болезнь ноги в этой обстановке уже не поможет, как не помогла прежде, и онемело торопился, обрывая все, к тому страшному, что ждало его, что в течение суток видел, пережил несколько раз.

Новиков скомандовал вполголоса:

— Все по местам! Порохонько и Ремешков за мной,— и двинулся по ходу сообщения.

— Товарищ капитан!..

Его остановил неуверенный оклик Алешина. Пропуская вперед солдат, Новиков задержался, увидел в темноте неясно светлеющее лицо младшего лейтенанта, голос его зазвучал преувеличенно равнодушно:

— Голодные они там. Передайте, пожалуйста, Лене, раненым. Это у меня от трофеев осталось. Вот. Не от меня, конечно, а так... от всех. Передайте...— Он сунул Новикову три плитки шоколада, теплые, размякшие от долгого лежания в карманах, добавил одним дыханием: — Ни пуха ни пера,— и замер, опершись о стенку окопа.

— Посылать к черту не буду. Ты слишком хороший парень, Витя. Ну, смотри здесь. Остаешься за меня.

«Я второй раз передаю от него шоколад Лене,— думал Новиков, шагая по ходу сообщения и с твердой для себя определенностью чувствуя какую-то тайну их взаимоотношений, которую не замечал.— Что ж, так и должно быть. Но почему я не знал? Что, я считал, что на войне не может быть обыкновенного человеческого счастья?»

Они один за одним спустились по скату высоты к озеру. Здесь, перед черной полосой кустов, Новиков приказал остановиться.

— Я в пехоту, к чехам, ждать здесь,— сказал он шепотом и пропал в темноте.

Сухое шипение осенней травы, внезапный шелест и шум катящихся из-под ног камней, шорох одежды громом отдавались в ушах, когда они спускались сюда, и теперь Пороховько и Ремешков, присев, положив автоматы на колени, слышали гулкий, учащенный стук крови в висках. Одновременно взглянули на озеро, на высоту. Озеро все — до низкого противоположного берега — теплело лиловым отсветом; высота за спиной кругло и темно выгибалась среди кровавого зарева и так ясно была вычерчена, что четко вырисовывались острые стрелки травы над бруствером огневой. Канонада из города доносилась сюда приглушенно.

Справа, в стороне пехотных траншей, оглушила трескучим выстрелом, с дрожащим визгом взмыла ракета. Повисла, распалась зеленым оголяющим светом. Ремешков вздрогнул, съежился, сдерживая стук зубов, выговорил прыгающим шепотом:

— Там... рядом... за кустами... Колокольчиков убитый, связист. Я давеча наткнулся на него. Лежит...

— Ты чего это зубами стукаешь? Боишься, а?— спросил Пороховько, подозрительно-зорко вглядываясь в Ремешкова.— Чего тогда пошел? Для мебели? А ну замолчи! Идет кто-то...

Зрачки его зло вспыхнули, и Ремешков втянул шею, с покорностью замолк, наблюдая вдоль ската высоты. Там, едва слышно шелестя травой, шел, приближался к ним человек. Ремешков не выдержал, позвал сдавленным вскриком:

— Товарищ капитан!..— И, не получив ответа, шепотом выдавил:— Смотри, на связиста наткнулся... на этого...

— Цыть! Какие тут тебе капитаны! Молчи!— зашипел Пороховько, стискивая трясущееся колено Ремешкова.

...Когда Новиков спрыгнул в ход сообщения чехословацкой пехоты, его остановил голос из полутьмы:

— Гдо там? (Кто идет?)

— Русский капитан. Это шестая рота?

Месяц вставал над Лесистыми Карпатами; в тени, падавшей на южную сторону траншей, двое чехов дежурили у пулемета — курили на патронных ящиках спиной друг к другу, заученно при каждой затяжке пагибаясь ко дну окопа, у ног поблескивали металлические груды стреляных

гильз. Увидев Новикова, один вскочил, правой рукой, в которой была сигарета, козырнул, широко улыбаясь, как давнему знакомому, и сейчас же вскочил второй пулеметчик, тоже козырнул. Они узнали его — Новиков был здесь полчаса назад. Оба с любопытством, белея улыбками, рассматривали Новикова, заговорили вместе обрадованно, выделяя слова заметным акцентом:

— Товарищ кап-питанэ... О, русове... Хорошо! Разумитэ?

— Разумею,— сказал Новиков.— Здесь командир батальона?

— Ано, ано (да, да), просим... товарищ... товарищ капитанэ. Просим...

Они проводили его до землянки, услужливо распахнули дверь, и Новиков вошел.

Командир батальона, высокий, с прямой спиной чех, сидел за столом в накинутом на плечи френче, глядел на разложенную карту, освещенную «летучей мышью», задумчиво черкал по карте отточенным карандашом. Двое других офицеров, прикрыв ноги шинелями, спали на нарах — лиц не было видно в полусумраке. Фуражки, полевые сумки, ручные фонарики, новые ремни лежали на пустых патронных ящиках.

— Капитанэ?— вполголоса воскликнул командир батальона и с выправкой строевого офицера встал, надевая френч, запахивая его на груди.— Капитанэ, сосед, ано? Так по-руски? Сосед!..

Он протянул руку Новикову и, сильно сжав его пальцы, дважды тряхнул, не отпуская их, потянул книзу, этим движением приглашая сесть к столу. Лицо чеха не было молодым, однако не казалось старым,— он выглядел человеком неопределенного возраста: морщины прорезали выбритые щеки, старили высокий лоб, но из-под рыжеватых бровей живо светились карие глаза. Он почти силой усадил Новикова на ящик, затем, садясь напротив Новикова, предлагая ему сигареты, заговорил по-прежнему негромко,— видимо, чтобы не разбудить спящих офицеров:

— Просим, сигареты! Я хотел... очень сказать... кто жив... из пушек?.. Вы имеете связь? Сигареты, просим...

— Спасибо,— ответил Новиков, закуривая сигарету.— Я бы хотел еще раз предупредить, что мы выходим на нейтральную полосу. К орудиям. Будем там около часа. Можно вашу карту?

— Да, да, очень просим,— пододвинул карту чех.

— Мы пойдем вот сюда. За ранеными. Вы знаете эту позицию. Что бы там ни случилось, прошу вас огня не открывать. И в течение этого часа не надо освещать минное поле ракетами.

— Разумитэ. Очень понимаю,— подтвердил чех, кивая.— Мы можем помочь... Много раненых вояку? Я дам вам чехов...

— Пока этого не надо,— сказал Новиков.

Говоря это, он увидел на карте Карпатский кряж, озеро, извилистую границу Чехословакии, за ней в долине, на черной нити шоссе Ривны — Касно, жирно обведенный красным карандашом город Марице, возле — кружочки других городов, где партизаны начали восстание, ожидая наступления с востока. Чех заметил его взгляд, разгладил изгибы карты, мизинцем провел от ущелья по шоссе Ривны — Касно — Марице, сказал:

— Марице! Огромная война, капитанэ! Словацкие партизаны ждут русских. Боюеме сполу за свóбоду! (Вместе боремся за свободу!)

— Немцы не пройдут к Марице,— сказал Новиков, отодвигая карту.— Мы пройдем к Марице, к партизанам.— И пошутил:— Это, как говорят, не за горами! Ну, до встречи!

Он погасил сигарету в консервной банке, заменявшей пепельницу, прощаясь, улыбнулся.

— Желаю счастья,— сказал чех.— Вам стоит сказать йедно слово — и мы прийдем на помощь. Мы будем наблюдать.

— Спасибо. Значит, час без огня и ракет.

— Все будет так.

Командир батальона проводил его до конца траншеи.

После разговора с чехами Новиков, возвращаясь, метрах в двадцати от траншей наткнулся на тело убитого.

Лежал он на боку, в неудобной позе, застигнутый смертью, тонкая, белая, худенькая рука, неловко торчавшая из рукава гимнастерки, простерта к высоте, голова утомленно и наивно, как у спящей птицы, подогнута под эту руку. Сбитая смертью выгоревшая пилотка валялась тут же, облитая блестевшей ночной росой. Ноги убитого были поджаты к животу, будто холод смерти, который почувствовал он, заставил сжаться его и лечь так, сохраняя последнее тепло. И вдруг Новиков узнал своего связиста — не по лицу, а по худенькой руке и позе (тогда

ночью, в особняке, он спал, так же подогнув голову). Новиков повернул Колокольчикова лицом вверх, долго глядел на него. Лицо было неподвижным, мелово-бледным, мальчишески удивленным. («Зачем? Откуда по мне стреляли?») Оно запрокинулось на слабой, тонкой шее, тусклый синий свет месяца холодно стыл в полузакрытых глазах, которые всегда поражали Новикова своей ясной зеленью.

Новиков наклонился и, трогая пальцами мокрую от росы грудь Колокольчикова, достал потертый, перевязанный веревочкой кисет, в нем были документы — кисет по-живому еще пахнул табаком. Потом отцепил две медали «За отвагу», те медали, к которым представил Колокольчикова в прошлом году... и, почувствовав мертво холодную, гладкую их тяжесть, подумал, что теперь Колокольчикову ни документы, ни отвага не нужны.

Он вспомнил: «Если что, товарищ капитан, так у меня матери нет... сестра одна, адрес вот тут в кармашке». И обжигающая мысль о том, что, если бы он, Новиков, тогда не послал Колокольчикова по линии, тот бы не погиб. Сколько раз в силу жестоких обстоятельств посылал он людей туда, откуда никто не возвращался! Сколько раз мучился он один на один с бессонницей, узнав о гибели тех, кого посылал. Но где оно, добро в чистом виде? Где? Его не было на войне.

...Он услышал, как шепотом окликнул его Ремешков. Подняв голову, увидел выгнутый полукруг высоты среди красного зарева, недвижно сидевшие фигуры солдат и как бы сразу вернулся к действительности. Он, нахмуренный, подошел к солдатам, скомандовал:

— Вперед!

Порохонько, придерживая автомат на груди, вскинулся первым, за ним в нервном ознобе привстал коренастый Ремешков, раздувая ноздри, испуганно остановив глаза на лице Новикова. И тот понял, что все время, сидя здесь, Ремешков ожидал, что внезапно изменится что-то в пехоте и идти не нужно будет туда, вперед — в неизвестное. А поняв это, спросил дружелюбно:

— Что, не выветрилось еще тыловое настроение, Ремешков?

— Да разве к смерти привыкнешь, товарищ капитан? — ответил Ремешков слабым криком.— Разве я не понимаю?.. А совладать с собой не могу.

— Этого не хватило и Овчинникову,— сказал Новиков.— Возьмите себя в руки. Идите рядом со мной.

— Цыть ты, цуцик несуразный! — злобно и сильно дернул Ремешкова за хлястик Порохонько. — О смерти залопотал! Про себя соображай, цуцик!

Сразу же ступили в полосу кустов, и кусты поглотили их влажным тяжелым сумраком. Будто дымящийся месяц мертво обливал синевой пожухлые листья; немое движение месяца и это матовое сверкание листьев создавали острое чувство затерянности, неизбывного одиночества. Ракеты больше не взлетали над пехотными траншеями, затаенная глухота распростерлась перед высотой, и отдаленные проникали сюда раскаты боя в городе.

Новиков шел впереди, раздвигая студено-скользкие ветви, возникал и спадал шорох листвы над головой. Срываясь с ветвей, роса брызгала в лицо, слепила глаза, овлажняла рукава шинели; упруго цеплялся за ветви ствол автомата. Новикову не было известно, тщательно ли разминировано здесь, только наверняка знал он, что наше и немецкое минное поле начиналось вплотную за кустами. Однако он шел, не останавливаясь, не изменяя направления, упорно и заведенно продираясь через мокрую чащу. Он не считал себя, вернее, приучил не быть преувеличенно осторожным, но случайная смерть от зарытой мины, на которую можно наступить лишь потому, что человеку свойственно ходить по земле, казалась ему унизительной, бесцельно-глупой, и это ожидание взрыва под ногами раздражало его.

«Где начинаются и кончаются случайные немецкие мины? — думал он. — Где?»

Здесь, под прикрытием кустов, они двигались в рост по ничьей земле, и Новиков напряженно всматривался в холодный сумрак, в подстерегающе-металлический блеск росы на траве, на листьях, чувствовал в ногах, во всем теле знакомую настороженность, готовый мгновенно вскинуть автомат в тот последний момент, который решает все, — кто выстрелит первым. Он спешил и на ходу часто взглядывал на часы — отраженный месяц кошачьим глазом вспыхивал на стекле.

И все время, не угасая, его мучила мысль о том, что немецкая атака повторится этой ночью — через два часа, через час, через тридцать минут, но, что бы ни произошло, что бы ни случилось, они должны были успеть к орудиям до начала новой атаки, должны были успеть...

— Шире шаг, не отставать!— поторопил шепотом Новиков.— Идти точно за мной. Ни на метр в сторону.

И, подав команду, остановился внезапно, отводя и с осторожностью удерживая рукой отогнутые ветви, и сразу идущим сзади стало слышно, как зашлепала роса по палым листьям. Тишина — и лишь громкий стук капель.

Порохонько, втягивая воздух ртом, едва не натолкнулся на Новикова, зло обернулся к Ремешкову, шагавшему с низко нагнутой головой.

— Стой!— прошипел он сквозь зубы.

И Ремешков дрогнул бледно-зеленым лицом, замер, часто задышал, вытягивая губы,— хотел спросить что-то, но не спросил, только сглотнул, задохнувшись.

Новиков и Порохонько стояли перед ним.

По тому, как лунно и пустынно засинело впереди, по тому, как тихие квакающие звуки донеслись откуда-то слева, с озера, Ремешков понял, что кусты кончились и за ними голое чистое поле до самой возвышенности, где оставались орудия Овчинникова, откуда давеча бежали... Утром здесь были немцы.

Ремешков с морозящим его ужасом, с ожиданием смотрел на зашевелившиеся в кустах спины Новикова и Порохонько — они молча глядели из-за ветвей на синеющее впереди поле. И оттого, что его прерывистое, шумное дыхание, казалось, заглушало все и поэтому он плохо слышал, и оттого, что они непонятно молчали, а он не видел и боялся увидеть то, что видели они, Ремешков, сдерживая стук зубов, ощущая ознобное млеине под ложечкой, ожидал сейчас одного — резкой, беспощадной команды Новикова: «Вперед!» («Боже мой, неужто он не боится умереть?») Вот сейчас, сейчас «вперед!» — и оглушительный встречный треск пулеметных очередей, трассирующие пули, летящие в грудь... Они здесь были. Ведь здесь были немцы, танками окружили со всех сторон орудия, он сам видел их, когда отходили с Овчинниковым.

«Маманя, помоги, маманя, помоги, может, и не вернусь отсюда! Может, погибну. Маманя, помоги...» И хотя Ремешков никогда не верил в бога, ему хотелось страстно, горячо, исступленно молиться кому-то, кто распоряжался человеческой жизнью и его жизнью и судьбой. «Если ты есть, какая судьба, то помоги, не хочу умирать, ведь рано мне! Колокольчикова убили, так спаси меня...»

— Тихо!— еле различимым шепотом приказал Новиков.— Вы что, Ремешков! Тихо! Приготовиться! Прорываться будем!

И Ремешков, не замечая того, что делал, повалился, сел на землю, хватаясь за кусты,— ноги ослабли.

Но в эту минуту ни Новиков, ни Порохонько не заметили этого. Они следили за чем-то, отгибая ветви.

Каленый свет месяца мертвенно заливал полого подымавшееся к возвышенности бесприютное пустынное пространство поля, оно росно светилось, и влево от него, в неглубокой котловине, тянувшейся к ало-голубой глади озера, возникали и пропадали неясные, отрывистые металлические звуки, а справа среди обугленных силуэтов сожженных танков тревожно, однотонно кричала какая-то птица, и другая заглушенно, призывно отвечала ей дальше и правее, из минного поля.

— Что за черт! Слышите? И птицы... на кой здесь?— шепотом выругался Новиков, не спуская зарябивших в напряжении глаз с поблескивающей котловины; не понимал он, откуда шли эти близкие металлические звуки, зачем и откуда доносился этот ночной переклик птиц, похожий на зов журавлей.

— Побачьте-ка,— сжав, как клещами, локоть комбата, прошептал Порохонько, обдавая табачным перегаром.— Видите? Во-он двое пошли... Видение? Не?

Две темные человеческие фигуры бесшумно шли по дну котловины метрах в сорока от кустов, один нес что-то, потом оба согнулись, исчезли; и тут же с чувством нависшей беды увидел Новиков еще троих. Вернее, сначала уловил правее кустов неопределенное угасающее позвякивание, и выдвинулись из синего сумрака в котловине эти трое, остановились, поджидая. И как бы оторвавшись от земли, на которой он лежал, видимо, присоединился к ним еще один: встал на минуту против месяца, высокий, без каски, длинноголовый, на груди мотался автомат,— Новиков хорошо различил его,— и припал к земле, слился с ней.

«Разминируют поле? Значит, это саперы, немцы,— подумал Новиков, уже сознавая, что не ошибся, не мог ошибиться.— Так вот почему они прекратили атаку!»

— Що будем делать?— опять, обжигая табачным дыханием, прошептал Порохонько.— А, товарищ капитан? Подождем, пока утопают, а? Не?

Новиков сказал, отступив на шаг, продолжая глядеть в котловину:

— Ждать нельзя, будем прорываться к орудиям! Броском вперед, больше огня — прорвемся!

И сдернул с плеча автомат, перевел рычажок на очереди, совсем беззвучно проверил затвор, угадывающе посмотрел на Ремешкова. Ремешков вскочил, точно земля подбросила его. Цепляя ремнем за уши, за воротник шинели, стащил автомат, распрямился перед Новиковым как на ватных ногах.

«Вот оно, в конце войны, вот она, судьба! Да как же это?— мелькнуло у Ремешкова.— Господи, как же это?»

Рвущий воздух треск распорол и громом оттолкнул к небу тишину, слепящая быстрота огня колючей болью ударила по глазам Ремешкова, и, зажмурясь, затем разомкнув веки, увидел он, как сквозь синее стекло, впереди себя Новикова. Стреляя из автомата, разбрызгивая пучки очередей, он скачками бежал в котловину, что-то кричал не оглядываясь, а в нескольких метрах от него как бы прыгала над землей только одна спина Порохонько, без ног, без рук, из-за той спины рвалось нечто обжигающе-огненное. Спина близко повернулась на мгновение к Ремешкову, появился раскрытый криком рот. Тотчас мимо него наискось промчался сноп пулеметных трасс, другой, длинный, прерывистый, вихрь сверкнул мимо плеч Новикова — и все впереди, справа и слева заклокотало, опрокинулось, забилось, крутясь и качаясь в раскаленной карусели. И лишь сейчас понял Ремешков, что он не в кустах, а бежит вниз, в котловину. Задел ногой за кругло-мягкое, живое, и вдруг острое, мерцающее опрокинулось на него, твердо ударило в лицо. Он нащупал колючую траву, понял, что упал, что зацепился носком за это живое, мягкое, услышал рядом хрип, свистящее дыхание: разом надвинулся из темноты белый круг чьего-то лица с расширенной чернотой глазниц, жарко хрипящего рта.

Это лицо приблизилось, оно вставало, чужие потные руки скользнули по подбородку Ремешкова, стремясь к горлу, рванули кожу ногтями. Ремешков откинулся, закричал дурным голосом:

— А-а-а, га-ад!— Толчок неистребимой жизни влил в него упругую силу, бросил на ноги («Автомат, автомат скорей!»), и, торопясь, лихорадочно дергая спусковой

крючок, он всю очередь выпустил в это по-заячьи вскрикнувшее, отшатнувшееся лицо.

«Я убил его,— мутно скользнуло в сознании.— Сволочь, к горлу тянулся! Сволочь паршивая! К горлу...»

Весь опаленный злобой к этому человеку, который хотел его убить, для которого жизнь Ремешкова не имела значения, он, готовый защищаться, стрелять, дрожа от бешенства, незнакомо охватившего его, оглянулся, ища глазами Новикова: «Где капитан? Где он?..»

Огненная карусель свистела, трещала, крутилась уже на противоположном скате котловины, и Ремешков, не увидев вблизи Новикова, не найдя его, бросился туда, вверх, исступленно притиснув к груди автомат. Заметил впереди зазубренное клокочущее пламя, оно мигало, увеличивалось, выбрасывая пунктиры пуль по скату, и он, охваченный бешенством, обливаясь потом при мысли о тех руках, о перекошенном лице, которое только что хрипело, суетливо вскинул автомат, полоснул длинной очередью. С наслаждением, со злобной радостью дергая спусковой крючок, запомнил, как оборвался клекот там, в траве. «Задушить, сволочь паршивая, хотел, задушить!..»

А ноги несли его туда, на скат, где, перемещаясь, дробилось пламя, сталкивались, взвивались нити трасс. И оттуда, из этого бушующего круговорота огня, автоматного треска, доносились до слуха Ремешкова знакомые громкие окрики, а он не мог сразу ответить, не мог разглядеть того, кто звал его.

— Ремешков! Сюда! Ко мне!

«Это капитан Новиков, его голос, он кричит! Да что же я молчу? Ранен он, может?..» И он выдавил из себя шепотом:

— Я здесь...

Задыхаясь, он увидел в свете пуль неправдоподобно высокую фигуру Новикова — он почему-то не бежал вверх по скату, а опускался, пьяно покачиваясь, в котловину; отчетливо бросилось в глаза до фиолетового свечения накаленный ствол автомата и то, что на капитане не было фуражки; трассы летели над его головой, и его рост уменьшался по мере того, как он сбегал в котловину.

— Ремешков? Вы это? Быстрей! — крикнул Новиков не то радостным, не то полувопросительным голосом.— За мной! За мной!.. Ремешков!..

И, выкрикнув это, задержался на секунду, рывком поднял раскаленный автомат, выплеснул куда-то вправо

очередь, прикрывая огнем подбегавшего Ремешкова, снова спросил резко:

— Не ранены?

— Нет,— просипел Ремешков.

— Ввере-ед! К Порохонько! Вверх, ввере-ед!..

«Это он за мной вернулся, за мной?» — пронеслось в голове у Ремешкова, и, видя, как Новиков вновь подкинул сверкнувший ствол автомата, он всем телом рванулся к Новикову, навстречу сухому, захлебывающемуся треску очередей, обессиленно прохрипел со слезами, душившими его:

— Товарищ капитан... бегите... Я здесь, я... вас прикрою... товарищ капитан... бегите...

Ядовито светясь, обгоняя друг друга, трассы с визгом махнули над головой Новикова.

— Вперед!..

— Товарищ капитан!..

— Вперед!— крикнул Новиков и круто выругался.

И, ничего не поняв, глотая слезы, Ремешков побежал вверх по пологому скату.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Тишина, душная, неспокойная, распростершаяся от ущелья и леса к высоте, где стояли орудия Алешина, мертвым пространством окружала позиции Овчинникова. А они не могли уже называться позициями. Там не раздавались голоса, не вспыхивал огонек зажигалки, прикрытый полой шинели, не звучали шаги в ходах сообщения, не сменялись часовые. Там, в пятидесяти метрах за блиндажом, лежали те, кто еще утром откликался на фамилии, чиркал зажигалками, ходил по ходу сообщения, наполняя позицию живым дыханием, крепким запахом табака, солдатской одежды. Эти люди приняли первый танковый удар и умерли.

А в блиндаже еще были живые.

В теплом воздухе, плотно напитанном запахом пота и бинтов, не колебались язычки немецких свечей — тянулись вертикально, фитили в плошках горели слабым огнем.

Ночь вползла на огневую, и в блиндаже все прислушивались, застывшими глазами глядели на языки свечей, ожидая, когда вздрогнут они от разрывов,— понимали:

это вздрагивание плошек будет последним, что смогут увидеть они.

Все знали: одно лишь живое дыхание было там, наверху — в четырех шагах от блиндажа дежурил у пулемета разведчик Горбачев. Он курил (слышно было, как кресал зажигалкой), звучно сплевывал, ругаясь («Гады, что задумали? Куда расползлись все?»), иногда, громко кусая, принимался жевать галету, беззлобно ворча («Обман серый, солому прессуют!»), порой, постукивая каблуком, вполголоса напевал нечто длинное, бесшабашное, вызывавшее у Лены чувство пустоты и обреченности:

Ты не стой, не стой
На горе крутой,
Не целуй меня,
Хулиган такой.
Рыбачок милой,
Дурачок ты мой,
Эх, трим-би-би, эх, трим-би-би...

И когда, оборвав нелепую эту песню, перестав курить, ругаться и сплевывать, он замолкал, сырая гнетущая пустота шуршала в ходе сообщения, глухо обволакивала огневую, блиндаж. Тогда затихал, переставал стонать раненный в бедро связист Гусев и, поворачивая голову, удивленно слушал, как всхлипывал, несвязно бормотал в бреду Лягалов подле него.

— Что это он, Лена?

Сержант Сапрыкин, перебинтованный от груди до живота, весь неузнаваемо белый, без кровинки в лице, пытался приподняться, опираясь двумя руками, переводил взгляд с огоньков плошек на Лену, сидевшую на снарядном ящике, вслушивался в безмолвие наверху.

— Заснул? Вроде петь перестал... Заснет он, возьмут нас тут, как кур... Вот парнишку жалко,— и сожалеюще кивал в сторону Гусева.

— Вам не нужно беспокоиться, милый, лежите, ни о чем не думайте,— говорила Лена ласково-успокаивающим шепотом.— Все будет хорошо, милый...

Но она не верила в то, что говорила. Слишком хорошо понимала, что орудия отрезаны, окружены, что она и Горбачев не смогут долго выдержать здесь. И эти наплывы тишины на блиндаж почему-то связывались с бесшумно, как из земли, возникшими фигурами немцев на бруствере. Горбачев не успеет дать очередь, крикнуть...

Маленький пистолет, вынутый из кобуры, лежал, поблескивая, на столе — то ли оставленный с целью, то ли забытый лейтенантом Овчинниковым. То, что было сделано лейтенантом Овчинниковым, что произошло после его ухода, виделось как сквозь серую, знойную пыль. Не было сил восстановить в памяти все: были бесконечные пороховые удары в уши, чесночно-ядовитый запах гильз, запах пота, крови, влажных, теплых бинтов. И все время хотелось пить, а потом назойливо, липко, как желание вспомнить что-то, преследовало ощущение вязкой тишины, чего-то неясного, незавершенного, тягостной необлегченности.

— Водицы бы, Леночка, глоточек бы... Жжет все...

Лена встала, подошла к нарам.

Лягалов уже не всхлипывал, не стонал в бреду, открыл глаза, почти белые от боли; некрасивое, как-то сразу обросшее лицо его было синей бледности, обметанные, уже тронутые смертью губы почернели, выделялись четко. Он шептал просительно:

— Водицы бы, Леночка... холодной.— И сморщился виновато и жалко.— Или кваску бы... со льда. Газировку бы... тоже...

— Потерпите немножко... нельзя вам, нельзя. Немножко потерпеть, несколько минут. Несколько минут... Скоро в медсанбат, там врачи, всё,— убеждающе заговорила Лена, поправляя под головой его сложенную, пропахшую порохом шинель.— Нельзя вам воды, нельзя.

Лягалов облизывал губы, не понимая, остановив углубившиеся глаза на наклоненном лице ее. Как бы пересиливая себя, он особо внимательно слушал ее голос и что-то еще другое, что было слышно только ему за этим голосом, то, что происходило, казалось, за спиной Лены. И как-то уж очень покорно, согласно он перевалил на шинели голову вправо и влево и, глядя в потолок блиндажа, сказал осмысленно:

— До медсанбата... не дотерплю.

— Вы будете жить, врачи сделают операцию. Обязательно сделают. Нужно потерпеть... Потерпеть...

Она зашептала эти вынужденные и нежно-обманчивые слова, что всегда зачем-то говорят умирающим с надеждой зацепить их за жизнь, что не раз она говорила и другим, смутно чувствуя — эти ложные слова приносят умирающему последние муки. Но она ничего не могла сказать иначе.

Он был тяжело ранен в живот осколками сбоку. Она, перевязывая его, видела страшную рану, знала, что перевязка безнадежна, не нужна, что ни медсанбат, ни лучший госпиталь не помогут. А он, не видя своей раны, вероятно, тоже чувствовал это непоправимо надвигающееся на него, но гораздо глубже, мучительнее, сильнее, чем она и все остальные, кто еще жил хотя бы маленькой надеждой... Ее не было у него, этой надежды.

И она поняла это.

Лягалов пытался не то улыбнуться, не то объяснить что-то, может быть, что ни она, ни все окружающие не могли знать, чувствовать, понимать, но ничего не объяснил, лишь посмотрел на нее, горько, умоляюще задрожали веки.

— Воды, Леночка... Холодной бы... Поспешать мне... не дотерплю...

— Хорошо,— беззвучным движением губ проговорила Лена.— Хорошо.

И чуть прикоснулась, провела ладонью по его липкому, жаркому лбу и отошла. Некоторое время с закрытыми глазами, не шевелясь, стояла спиной к Лягалову возле снарядного ящика, чувствовала, что он осмысленно ждет, потом неуверенно достала чайную ложечку из сумки. То, что она делала, преодолевая сопротивление в себе, не было жестоким обманом ни его, ни себя. Это было последнее, что она могла сделать для него.

«Кажется, это он сказал, что готов воевать двести раз, чтоб только не было женщин на войне,— почему-то подумала она, отвинчивая пробку фляжки.— Да, это он сказал тогда ночью».

— Только спокойно, милый... Не двигайтесь, глотайте,— заговорила Лена ласково чужим голосом, садясь у изголовья Лягалова, и налила в ложечку воды.— Сейчас не будет жечь, пройдет... Все пройдет...

Лягалов пил из ложечки, глотая и всхлипывая, тянулся к ней, как ребенок, и она, тихо гладя его покрывшийся испариной лоб, с ужасом думала, что эти ложечки вливали в него глотки смерти. Но все же наполнила последнюю ложечку, зная, что жажда при ранении в живот страшна, люди, мучаясь мыслью о воде, умирают тяжело и медленно.

Она дала ему четыре ложечки, сидела, охлаждая ладонью влажный лоб его, сама чувствовала, как горячи, трепетны стали пальцы, и она сняла руку. Лягалов за-

стонал, глаза закрыты, словно тени неясных мыслей бродили по его прозрачному лицу.

— Знал я,— прошептал он.

— Что?— спросила Лена.— Что?

— Как будто знал я...— Он слабо поднял безжизненную руку на грудь, обессиленно пошевелил пальцами.— Здесь вот... В сердце было...

— Что было? Что?

— Приснилось... вчера...— выговорил Лягалов, открывая глаза, полные слез.— Вернулся я... После войны... Ребятишки вокруг. А жена отвернулась, поцеловать... не захотела... А я ведь души не чаял. Красивая... а за меня, урода, пошла... И ребятишки, четверо. Как же это, а? Разве я виноват, что меня... убило? Разве виноват?..

И вдруг беззвучные рыдания искривили некрасивое лицо Лягалова, сотрясли все его тело, и он, замычав, отвернулся к стене, как-то стыдливо замолк, будто захлебнулся внутренними слезами, шепча:

— Это я так... это ничего... Ты меня не слушай, Леночка... Пройдет... мне бы Порохонько еще увидеть... Я ведь любил его... уважал...

Лена молчала.

— Вот тебе и герцогиня польская, шут ее возьми,— закряхтев, произнес Сапрыкин.

Он слушал Лягалова, приподнявшись на локтях, свет падал на седые виски; когда же донеслись звуки, похожие на сдавленные стоны, опустил перебинтованное свое тело на солому, проговорил успокоительно:

— Порохонько тоже любил тебя, Лягалов... Только остер на язык... А так добрый он человек.— И хмуро покосился в сторону Гусева.— Вон и Гусев чего-то заговариваться стал. Плохо, что ль, ему, Елена? Лопочет чегой-то мальчонка.

Гусев лежал, укрытый шинелью до подбородка, молоденькое, почти ребячье лицо его заострилось, моталось из стороны в сторону. Он бормотал, задыхаясь:

— Я связист Гусев, а остальные тут одни... убитые. Овчинникова нет, одни убитые... Снарядов пять штук... А мне постели на диване, мама... В шкафу простыни-то... в шкафу...

Осторожно положив флягу и ложечку на стол, Лена отогнула воротник шинели, корябавший Гусеву подбородок, некоторое время ожидая, задумчиво смотрела то на Гусева, то на этого пожилого, спокойного, все

понимающего Сапрыкина. Сапрыкин глядел на нее устало, сочувственно, и что-то догадливое замечала она в глазах его. Было тихо. Давящее безмолвие висело над блиндажом. И сквозь это безмолвие вполз в блиндаж громкий шепот от входа:

— Лена, ко мне! Сюда!..

Лена не вздрогнула, но сразу очень уж решительно схватила пистолет на столе, сказала:

— Это меня. Поглядите здесь.

Сапрыкин сел.

— Сперва, Лена, подала бы мне автоматик,— медлительно сказал он.— Вот сюда, под руку мне.— И заговорил, хмурясь на огни плошек:— Я свое пожил. И в ту войну Советскую власть защищал, и в эту пошел. Два сына взрослые у меня, оболтусы здоровые.— Усмехнулся одними глазами.— Недаром прожил. Так вот что...— Он передохнул, глянул на дверь — из тишины вторично и громче донесся голос Горбачева:

— Лена, сюда!..

И Лена, надевая на ремень игрушечно-маленькую лакированную кобуру, потрогала пистолет, внезапно вспомнила недавние слова Овчинникова: «Убить из него нельзя, а так, поранить можно»,— и, быстро застегнув ремень, чувствуя неудобное прикосновение кобуры к бедру, она качнулась к Сапрыкину, поторопила его взглядом: «Говорите, я слушаю».

А он с трудом сидел на нарах, опираясь двумя руками, неглубоким дыханием подымал всю в бинтах грудь; густая седина светилась в его волосах.

— Так вот что, Елена... Запомни и с своей совести это возьми... Меня и их,— проговорил твердо Сапрыкин и моргнул в сторону Гусева и Лягалова,— на себя возьму. Мои солдаты, мне и отвечать. На том свете разберемся... Живьем не отдам — не-ет! Только когда невтерпеж станет там, наверху, ты сообщи: мол, давай, Сапрыкин, мол, последний звоночек с того света... Ну, иди, иди!.. Да больше о себе помни да о Горбачеве, вам жить да жить. А война-то вон к концу... Детей еще народишь...

Лег он, постепенно опускаясь на дрожавших, напряженных руках, влажно заблестело немолодое грубоватое лицо, неожиданно улыбнулся, обнажая щербинку в передних зубах. Никогда не видела Лена, как улыбался он, и никогда не замечала эту щербинку у сержанта.

— Детей еще народишь,— повторил он и обессиленно отвернулся.— Только не перечь мне, ради бога... Иди!..

И она не сумела ни сказать, ни возразить ему ничего. Он понимал и чувствовал то, о чем порой в эти часы ожидания и затишья думала она. В разведке она давно привыкла к тому, что тяжелораненые на нейтральной полосе почти никогда не попадали в плен. За два года она и себя приучила к этому, но ни Сапрыкин, ни Лягалов, ни Гусев не были разведчиками. И, поднимаясь по земляным ступеням из блиндажа, Лена все же повернулась около двери, ища в себе ту надежду, которая должна была быть в ней, сестре милосердия, и которая еще тлела в ослабевшем от страданий Сапрыкине, сказала не то, что хотела сказать:

— У нас еще пять снарядов. И пулемет. Я ведь тоже умею стрелять.

И с решимостью толкнула коленкой дверь, вышла в лунную свежесть ночи.

Горбачев лежал на брезенте справа от орудия; расставив локти перед ручным пулеметом, он глядел вперед, наблюдая за чем-то; не поворачивая головы, позвал шепотом:

— Лена, давай сюда. Что-то в башке все спуталось.— Отодвинул диски, освобождая место.— Ложись, не стесняйся...

Она легла рядом на холодный сыроватый брезент, посмотрела на лицо Горбачева, в упор освещенное месяцем.

— Устали? Дайте-ка я подежурю. Можете идти в землянку,— сказала и смело прикоснулась к его руке, охватившей спусковую скобу.

Он пошевелился, но руку свою со скобы не убрал, только подмигнул утомленно, дружелюбно, лицо было неестественно зеленым, щеки втянулись, черные волосы упали на черные с блеском глаза, из широко расстегнутого ворота виднелась сильная ключица. Прошептал полушутливо:

— Мне эти санитарные жалости до феньки! Ясно, Леночка? Хоть и люблю вашего брата, за эти пальчики жизнь бы отдал, а сними их. Чуешь — обалдел? В глазах кровавые танки мерещатся. Зрение у тебя хорошее? Слух?

— Подите к черту,— сердито сказала Лена, не принимая полушутливого тона его.

— Ясно. Посмотри-ка сюда, вперед,— зашептал Горбачев,— вон туда, на танки. Видишь что-нибудь? Поближе ложись, так виднее...

Не ответив, она легла поближе, узким плечом касаясь каменно-устойчивого плеча Горбачева, маленькая чужая кобура сползла по ремню, жестко впилась в бок. И это беспокоило ее, как и огненный зрачок месяца над высотами Карпат, светивший навстречу, в глаза. Вокруг синел лунный сумрак. Поле вокруг огневой было полно черных кривых силуэтов сожженных танков. Тошнотворно пахло горелой броней. Метрах в пятидесяти впереди мутно серебрились редкие кустики, справа широкими застывшими пятнами обрисовывались два тяжелых танка. Косые тени густо падали перед ними. А между этими тенями сквозил, лежал на траве светло-лиловый коридор лунного света. И что-то еле заметно, осторожно передвигалось там, заслоняя светлый коридор. Одинокий зовущий крик птицы отделился у танков, прозвучал в зыбком воздухе, смолк, и вскоре другой крик прерывисто, громко отозвался с минного поля, правее танков, и тоже умолк. Неясно различимое движение в светлой полосе возникло отчетливее. Двое людей привстали с земли, ясно проступили темные фигуры, тени на траве, перебежали, низко пригибаясь, несколько метров по скату и растаяли в сумраке котловины.

— Это немцы,— сказала Лена и откинула волосы со щеки.— А эти птичьи крики — сигнал. Я знаю по разведке. Что ж вы, Горбачев, смотрите? Патронов нет?— спросила она быстро.— Они же идут по проходу в минном поле. Нашли проход... Разве вы не видите?

Горбачев прислонился переносицей к прикладу пулемета, молчал так томительные секунды, и вдруг, очнувшись, сбоку прищурился на тонкий профиль Лены — она чувствовала его взгляд,— сказал:

— Думал, мерещится. Мозга с мозгой в прятки играют! Вот гадюки! Значит, или разведка, или поле разминируют? Так? Готовятся?— И, ожесточаясь разом, подтвердил:— Или разведка! Или саперы!

— И то и другое может быть,— ответила Лена, стараясь говорить спокойно.— Стреляйте, не ждите. Когда они пройдут по проходу, поздно будет. Тогда будет поздно!

— Эх и умна ты, девка, ох умна-а!— с восхищенным вздохом произнес Горбачев, посовываясь к пулемету.— Эх, не будь этой катавасии, раскинул бы я сети, зацеловал бы, заласкал насмерть! Рядом с тобой умирать страшно: кто тебя целовать будет — наши или чужие?

— Не беспокойтесь. Никто.

— А чья ты? А, Леночка? Алешина? Капитана Новикова? Что-то не пойму...

Сказал это уже серьезно, удобнее раздвинул локти и, прижимая к ключице приклад пулемета, он ждал длительную минуту, остро прицеливаясь. Она успела заметить бесшумное перемещение теней в лунном коридоре, внезапно над ухом очередь прорезала тишину, эхо гулкой волной ударило по котловине. Возле самого лица забилось, дробясь, пламя пулемета. В всплесках его мелькали стиснутые зубы Горбачева, прыгали черные волосы на лбу. И все смолкло так же внезапно. Горбачев, не спуская черно-золотистых глаз с лунного коридора, крикнул Лене, еще полностью не ощутив после стрельбы тишину:

— Давай в блиндаж! Сейчас начнут!— И добавил непредвиденно злобно:— Не могу я видеть рядом женщину, тебя не могу! Матерюсь я, как зверь! Слышь!

Она не встала, не ушла, улыбнулась ему понимающе-мягко, взглянула из-за светлых волос, упавших на щеку, потянулась к автомату Горбачева, взвела затвор, спросила:

— Полный диск?— И отвела пальцами волосы со щеки.— Я ведь тоже умею стрелять.

Она выпустила две длинные очереди туда, в светло-дымную полосу между танками, где сникло, прекратилось движение, и снова отвела волосы со щеки. И больше ничего не сказала ему, лишь по-прежнему улыбнулась мягко.

Он смотрел на нее сбоку, снизу вверх, скользнул черными прищуренными дерзкими глазами по ее нежно округлой шее, подбородку, губам, лбу, коротким волосам. Потом пододвинулся, сказал уверенным шепотом:

— Если что случится такое, Леночка, я расцелую тебя. Так я с этим светом не прощусь!

— Глупый,— сказала она снисходительно-ласково.— Тогда я сама поцелую тебя...

Они замолчали. Смотрели вперед на залитую месяцем дорожку между танками. Молчали и немцы. И было

непонятно: почему не отвечали они огнем, ни одним выстрелом, будто не было их там. Отдаленный крик птицы донесся теперь снизу, с минного поля, никто не ответил ему. Все стихло. Было в этом затишье что-то необычное, подозрительно-тайное, отзывалось тревожно-ноющим ощущением в груди.

— Слышите?— шепотом спросила Лена.

Едва уловимые тонкие звуки возникали за спиной на той стороне озера, они плыли оттуда прозрачным, знойным облачком, зыбко стонали в синеве ночи. Они пели, эти звуки, о самом сокровенном, несбыточном. Саксофон звучал целлулоидной вибрацией, перламутровая россыпь аккордеона, женский голос на чужом языке томительно и бесстыдно убеждали кого-то, что мир прекрасен, влюблен, что где-то за тридевять земель есть электрические огни, блеск зеркал и люстр, рестораны, хорошее вино, не забытый запах женских духов, чистое белье, запретные наслаждения: «Потерпи, солдат, пройди сквозь грязь, нечистое белье, кровь, и ты обретешь все это».

— Успокаивают себя,— сказала Лена задумчиво.

— Похоже, и нас. На психику нажимают,— ответил Горбачев и почесал переносицу о приклад пулемета.— Патефон крутят. Как вчера ночью. Джаз. Эх, Леночка, и давал я прежде стружку, на всю железку!— Горбачев вздохнул.— Рестораны любил, музыку, девушек, жизнь любил до невероятия! Да и она любила меня! У нас, у рыбаков, деньги были легкие. Сотни шуршали в карманах. Официанты всей Астрахани знали: Григорий Горбачев с бригадой гуляет. По этому делу на собраниях чесу нагоняли, а сейчас приятно вспомнить! А у меня бригада была — орлы парни, девчатки — красавицы. По две, три нормы давали. Портреты, слава! Потом — земля на опрокид! Поняла юмор этого дела? Знаешь песню?

Стели, мать, постелюшку
Последнюю неделюшку,
А на той неделюшке
Расстелем мы шинелюшки.

Лежа с автоматом, Лена улыбнулась все так же задумчиво. Патефон в немецких окопах стих — исчезло над озером плавающее звуковое облачко, этот далекий раздражающий отсвет чужой несбыточной жизни. Месяц переместился — лунный коридор сдвинулся по траве между угольными тенями танков, сузился, сквозил тоненькой

щелью. И ничего не было видно там. Стояла в котловине тишина. Только со стороны зарева, встававшего справа за котловиной, над высотой, долетали перекаты боя. Лена сказала полувопросительно:

— Если они прощупали проход в минном поле, то они будут продвигаться здесь. Другого прохода нет?

— Нет.

— Тогда не надо беречь патроны...

Она не договорила, удобнее положила автомат на бруствер, выстрелила торопливыми очередями по тихосветлой щели между танками. Сделала паузу, ожидая ответного огня. Оттолкнула волосы со щеки, возбужденно сказала Горбачеву:

— Если это разведка, то их немного. Они могли уже пройти.

Немцы молчали. Снова поплыло звуковое облачко с той стороны озера, сосредоточенно и исступленно выбивал синкопы барабан, китайскими колокольчиками звенели тарелки...

И тут порывистый грубый треск автоматных очередей разорвал, затряс воздух справа от орудия. Потом неясный, какой-то заячий вскрик донесся оттуда, и сейчас же впереди заливисто зашили немецкие автоматы — на слух можно было угадать. Пучки трасс выметнулись из котловины в сторону высоты и зарева. Лена села, поправила кобуру.

— Они прошли! — сказала она.— Это они...

Горбачев вскочил, сдернул с бруствера пулемет, рванулся к правой стороне огневой, крикнул:

— Диски неси! Началось! Быстрее!..

И, упав на колени возле бруствера, глядя на мерцающие вспышки в котловине, на спутанные трассы, изо всей силы втиснул пулеметные сошки в землю, лег, раскинув ноги. Взглядом ловил основание трасс, они возникали вблизи огневой светящимися веерами, резали по кустам по ту сторону котловины. Это стреляли немцы.

— А, гады!

И тут он понял, что от орудий Новикова прорывались сюда, что немцы все же прошли через минное поле в котловину, что наши столкнулись с ними. И когда Лена поднесла запасные диски, перекошенное злобой лицо Горбачева тряслось, щекой прижавшись к ложе, опаленное красными выплесками пулемета.

— А, гады! Прошли-таки, прошли! — И, быстро повернув голову, крикнул Лене, прицельно подымавшей над бруствером ствол автомата: — В землянку! К раненым! Да нагнись ты! Ухлопают дуриком!

И почти ударил ее по плечу, пригнул ее, припал к пулемету. А она не почувствовала боли от удара его руки, с тихим упорством слегка отодвинулась, нашла бившееся в траве пламя немецкого автомата, выстрелила длинной очередью. Колючие живые толчки приклада прекратились, они еще горели на плече, когда заметила она, что пламя в траве сникло. Диск был пуст. Она прислонила автомат к брустверу, сказала громко, удерживая дрожь в голосе:

— Нас все же двое, слышишь? Я умею стрелять, ты это видел,— и пошла к блиндажу.

Она остановилась в ходе сообщения, стараясь делать все расчетливо-спокойно, и здесь, испытывая ненависть к себе, почувствовала, что не слушаются пальцы рук, горит плечо и что-то горькое, острое стоит в горле, трудно дышать. Она вспомнила: «...звоночек с того света»,— и торопливо закрыла дверь в нагретый полусумрак блиндажа, ощупью спустилась по трем земляным ступеням. Запахло теплыми бинтами.

Слабо стонал, всхлипывая, Гусев, неподвижно-плоско лежал Лягалов лицом к стене. Огоньки плошек чуть приседали, чуть змеились. И Сапрыкин уже не лежал — сидел на нарах, столкнув шинель на пол, держал автомат на коленях, с вниманием глядел на неспокойные язычки свечей. Вздрогнул головой, услышав шаги Лены, обратил взгляд, догадливый, умный, на ее лицо; судорога, похожая на улыбку, тронула его губы, показывая щербинку меж зубов. Спросил:

— Началось?

— Все скоро решится,— ответила Лена.— Ложитесь, Сапрыкин, поставьте автомат. И успокойтесь. Что Лягалов? Ничего не просил?

— Уснул. Все про детишек бредил, про жену. Прощения у кого-то просил. А потом уснул.

— Бедный,— сказала она с состраданием.

Она наклонилась над Лягаловым, посмотрела и сейчас же выпрямилась, брови задрожали, подошла к двери блиндажа, затем к столу, где покойно, напоминая о мирном уюте, блестела в свете колеблющихся плошек чайная серебряная ложечка, после снова вернулась к двери и

снова к столу. И, глядя сухими темными глазами, присела на ящик.

— Что? — спросил Сапрыкин обеспокоенно.— Спит? Что молчишь, Елена?

А она, закрыв глаза — синие тени легли под ними,— отрицательно покачивала головой с выражением страдания.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Распахнув дверь в блиндаж, он быстро вошел, повесил еще горячий автомат на грудь, пошатываясь, сбежал по земляным ступеням, на ходу вытирая рукавом пот с лица. Тонкое шитье автоматов, не смолкая, доносилось сверху. Горела лишь одна плошка, тускло освещая нары блиндажа. Он огляделся в полутьме, окликнул хриплым, сорванным голосом:

— Лена!..

Она сразу не узнала его, не узнала голоса, не увидела лица — поднялась от стола, движением головы откинула волосы и некоторое время стояла, опустив руки, глядя на него с неверием, даже испугом, а он стоял в нескольких шагах от нее, в тени, не двигался. Она хотела произнести: «Новиков?» — но не сумела, не могла понять, почему он сам здесь.

— Лена, все живы? Здесь раненые? — спросил он уже громко, и это был его голос, Новикова.

Он шагнул из тени на свет, к столу, прямо к ней, и тут же она ясно увидела его лицо: незнакомо худое, осунувшееся, в потеках пота на щеках, темнели разводы крови на виске, на влажно слипшихся волосах. Был он без фуражки, на обнаженной шее — ремень автомата, непривычно распахнута шинель и вольно расстегнут был ворот гимнастерки с оторванной с мясом пуговицей. И все это как-то меняло его, приближало к ней неузнаваемо, сокровенно, родственно. Она молчала, глядя на его лоб взглядом, готовым к ужасу.

— Лена! Ну что это вы? — Он взял ее за плечи, легонько встряхнул, не улыбаясь, не говоря ласково, чего так ждала она.

Уголки ее губ жалко и мелко задергались, мелко и горько вздрогнули брови, и бледное лицо стало некрасивым, беспомощным. И, сдерживая себя, потянулась к нему со страхом боли, сильно припала лбом к его пахну-

щей порохом и потом влажно-горячей шее, чувствуя, что руки Новикова не отпускают, скользят по спине, по затылку, прижимают ее голову и автомат больно впивается ей в грудь. И эта боль отрезвила ее. Она сказала наконец:

— Лягалов умер... С Гусевым нужно торопиться. Немедленно в госпиталь. Немедленно...

Он, все держа ее за плечи, со смущенной неловкостью, неудобством отстранил, спросил, хмурясь:

— Только зачем слезы?

— Нет, это не слезы, я не умею плакать! — зло, ожесточенно прошептала Лена, блестя сухими глазами ему в лицо.

И, вся вытянувшись на цыпочках, отвела мокрые, слипшиеся волосы на его виске, поспешно отошла к столу, выдергивая вату из сумки.

— Ранило, да? Подождите, посмотрю...

— Царапнуло. Сбоку, — ответил он, бегло оглядывая блиндаж. — Вот что. Немедленно выносить раненых на огневую. Порохонько и Ремешков уже делают из плащ-палатки носилки. На сборы — пять минут. Перевязку потом. Сапрыкин! — непривычно тихо позвал он, разглядев его. — А вы чего же, сержант, как вы? Дойдете — или на носилках? Вытерпите? — И добавил серьезно-грустно: — Эх, парторг, парторг, что же вы на Овчинникова не нажали? Вы ведь знали, что не было приказа об отходе.

Сапрыкин, вконец ослабленный, лежал, не подымая головы, перебинтованная его грудь ходила тяжело; посмотрел на Новикова чистым от боли, через силу спокойным взглядом, ответил еле:

— Что было — не вернешь. Меня в то время уже с ног сбило. Что ж, может, вина моя и тут. Не поправишь. Обо мне беспокоиться нечего. Вон мальчонку выносить надо.

Новиков сказал:

— Я сейчас вернусь. Собирайтесь.

— Куда вы? Зачем? — спросила Лена, смачивая вату из пузырька со спиртом.

— К орудию Ладьи. Мне надо посмотреть.

— Там все убиты, товарищ капитан, — остановила его Лена. — Все. Я была там утром. Даже некому было сделать перевязку. Вы разве не верите?

— Мне надо увидеть самому, — ответил Новиков. — Самому.

Он вышел. Было тихо. Автоматная стрельба прекратилась. Воздух стал жидким, сине-фиолетовым — месяц

набрал высоту, далеко светил над проступившими вершинами Карпат, выше от зарева.

На огневой, переругиваясь наспех, задевая сапогами за станины, громко дыша, возились с плащ-палатками согнутые фигуры Порохонько и Ремешкова. Горбачев лежал, дежурил у пулемета, звучно сплевывая через бруствер; он казался равнодушно-спокойным. Увидев Новикова, спросил безразличным тоном:

— Этим же путем прорываться будем? Ползают они тут в котловине, как клопы. А?

Новиков надел фуражку, которую засунул в карман, когда прорывались к орудиям, ответил:

— Этим же путем. Вы вот что: в крайнем случае прикройте меня огнем. Пойду к четвертому орудию.

Орудие старшего сержанта Ладьи стояло в сорока метрах левее орудия Сапрыкина. С ощущением пустоты и безлюдья перешагнул он через полусметенный осколками бруствер — страшная, развороченная воронками яма открылась перед ним, бледно озаренная месяцем. Орудие косо чернело в этой яме, щит пробит, накатник снесен. Затвор открыт, повис, круглое отверстие казенника зияло, как кричащий о помощи рот. Запах немецкого тола еще не выветрился за день и ночь, сгущенно держался здесь, будто в чаше.

Новиков огляделся, пытаясь найти то, зачем шел сюда, что было его людьми, расчетом орудия, но не нашел того, что было людьми, а то, что увидел, было страшно, кроваво, безобразно, и он никого не мог отличить, узнать по лицу, по одежде. Осколки разбитых пустых ящиков из-под снарядов валялись тут же, мешаясь с клочками шинелей, обмоток, разбросанными, втиснутыми в землю гильзами, а он все искал среди этих обломков ящиков, среди гильз, отбрасывая их в стороны, искал то, что объяснило бы ему, как погибли его люди.

Он не нашел ни одного целого снаряда даже в нишах, стало ясно: они расстреляли все. Потом шагнул к сошникам: что-то холодно переливалось под месяцем, отблескивало там в воронке. Он нагнулся, поднял влажный от росы кусок гимнастерки, на нем — колючий, исковерканный, без эмали орден Красной Звезды. Он смотрел на него, никак не мог вспомнить, чей это был орден, и, не вспомнив, сунул в карман шинели.

Он знал, что надо уходить, но почему-то не было сил уйти отсюда, горькая неудовлетворенность притягивала его сюда,— он должен был понять все.

Он обошел вокруг бруствера огневой позиции, рассматривая воронки перед орудием, и здесь, в трех шагах, увидел слева от позиции, в командирском ровике нечто круглое, неподвижное, темнеющее у бруствера. Он спрыгнул в мелкий ровик и только теперь близко различил человека, грудью лежащего на бруствере. Лежал он в одной гимнастерке, сгорбившийся, лицом вниз, уткнув лоб в накрепко сжатые кулаки, словно думал; темный, замасленный погон вертикально торчал, на нем слабо светились вырезанные из консервной банки орудийные стволы, аккуратной полоской белел воротничок, который, вероятно, был пришит перед боем. Бинокль валялся рядом.

Это был старший сержант Ладья.

Новиков осторожно опустил Ладью в ровик — плечи сузились, он стал совсем маленьким, голова Ладьи откинулась назад, странное выражение торопливости, невысказанного отчаяния застыло на лице его. Все шесть орденов справа и слева на его неширокой груди были залиты чем-то темным. Видимо, в последнюю минуту подавал он последнюю команду, но она не достигла орудия,— может быть, не было уже никого там в живых.

Он погиб в отчаянии, уткнувшись лицом в руки.

И тогда понял Новиков, как погиб Ладья, весь расчет. Очевидно, в тот момент, когда кончились снаряды, три танка зашли слева, стали бить прямой наводкой. Они и сейчас чернели, эти танки. Но кто подбил, сжег их — сам ли он, Новиков, Алешин или Сапрыкин,— ни Ладья и никто из расчета рассказать не могли.

С тяжестью в душе шел Новиков назад, будто часть себя оставил возле орудия Ладьи. Этого он никогда так остро раньше не испытывал, когда наступали по своей территории, когда не было этих мрачных, неприютных Карпат и этого незримого дуновения конца войны.

— Кто идет? — шепотом окликнули из темноты.

— Свои.

На огневой позиции все было готово к отходу, ждали сейчас его. Молча подойдя к орудию, услышал глухие, лающие звуки и заметил между станинами Порохонько. Он выкладывал из ящика снаряды, отворачивая лицо,

спина его тряслась, он мычал, давился, а Ремешков с удивленным видом глядел на него, ерзая на коленях рядом.

— Что? — спросил Новиков.

— Не надо его,— ответил негромкий, успокаивающий голос Лены.— Он Лягалова похоронил.

Беспокойно метаясь в жару, прерывисто всхлипывая, Гусев лежал на плащ-палатке; Лена что-то бесшумно делала около его ног, белели бинты. Сапрыкин, уже одетый в шинель, сидел на снарядном ящике, глубоко и хрипло дышал. Сбоку придерживал его обнимкой Горбачев, из-за широкого плеча старшины торчал ручной пулемет, на шее висел автомат; ласково похлопывая Сапрыкина по локтю, он говорил убеждающим тоном:

— Ты, парторг, на меня опирайся, понял? Цепляйся, как к буксиру, понял? Ты, папаша, тяжел, а я тяжелее тебя. Все будет в порядочке. Понял?

— Эх, графиня польская, полюбовница... не уберег друга,— проговорил сквозь стон Сапрыкин.— Чего же надрываться, Порохонько? Мертвых не воскресишь...

— Приготовиться! — скомандовал Новиков и спросил: — Сколько осталось снарядов, Сапрыкин?

— Пять.— Сапрыкин качнулся вперед, силясь встать.— Пять. Два бронебойных. Три осколочных. Сам считал.

— Порохонько и Ремешков, ко мне! — позвал Новиков.— Готовы снаряды? Зарядить! И слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена.— Он впервые назвал ее при солдатах по имени.— Есть автомат? Горбачев, дайте ей свой автомат. За ними Порохонько и Ремешков с Гусевым. Замыкаю я... Направление не терять. Прорваться через котловину к кустам — на высоту!

...В звенящей пустоте после пяти выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой. Быстро вынул затвор, столкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол. Потом, передвигая автомат на грудь, перескочил через бруствер — последний взрыв гранаты волной толкнул его сзади. Люди теперь отошли по скату, спускались в котловину, удаляясь, и он плохо видел их после слепящих выстрелов орудия. Вскоре впереди зачерпели, заколыхались согнутые спины Порохонько и Ремешкова. Он увидел их среди сплошной огненной полосы —

она неслась вдоль котловины; дробно забил немецкий крупнокалиберный пулемет на берегу озера. Пули летели в двух метрах над землей, не повышаясь, не понижаясь.

— По котловине — ползком! — крикнул Новиков.— Лена и Горбачев, вперед!

Он упал на скате, головой к озеру, ему хорошо был виден этот клокочущий пулемет.— «А,— сообразил он,— ждали, значит? Догадывались?» И тотчас выпалил очередью, рассчитывая патроны по нажиму пальца.

Шагах в трех позади него кто-то вел огонь короткими, экономичными очередями, и он сейчас же подумал: «Горбачев!» Но невольно повернулся на миг: там появлялось и пропадало в оранжевых всполохах близкое лицо Лены, она стояла на коленях, целясь из автомата, стреляла туда по берегу озера, куда стрелял и он. Вспомнилось, как несколько минут назад она в непонятном порыве страстно, неуклюже приникла лбом к его шее и как неожиданно смутился он,— может быть, оттого, что крепко пахло от него потом и порохом, а, вспомнив, даже задохнулся от внезапной ее нежности, оттого, что она сейчас стреляла рядом, эта женщина, которая неспокойно, колюче жила в нем, как он ни сопротивлялся этому. Он подполз к ней, приказал, выговаривая с трудом·

— Ползком вперед! Вперед, слышите, Лена?

Она посмотрела на него, послушно опустила автомат, не ответив, продвинулась вперед по скату ко дну котловины — светящаяся полоса пуль стремительно потекла над ней. Он видел ее пилотку. «Ее могут убить, могут убить! — пронеслось в сознании Новикова.— Нет, нет, ее — нет!»

Не перебегая, Новиков уже длинно стрелял по крупнокалиберному пулемету, в секундных промежутках между очередями глядел в ту сторону, куда продвинулась Лена, где, сгибаясь, бежали и шли Порохонько и Ремешков, неся Гусева на плащ-палатке. Пулемет замолк. Слева чиркнули немецкие автоматы, прочесывая дно котловины.

Впереди с противоположного ската ответно и отрывисто зачастил ручной пулемет Горбачева и тоже смолк. Синие огоньки разрывных пуль искристо лопались в траве, в том месте, где захлебнулся пулемет Горбачева,— пули резали по скату.

«Почему он замолчал? Что там? Что они? Где Лена?» — подумал Новиков, не понимая, и вскочил, побе-

жал вниз, в котловину. Он пробежал по дну ее, стал взбираться на противоположный скат, в это время химический, желтый свет с шипением вырос над берегом, озарил весь скат до отчетливой выпуклости бугорков, рыхлую пахоту глубоких старых воронок. Над головой широко распалась ракета. Одновременно с этим светом в небе, внизу, на земле, блеснул другой свет — остро, низко резанула по скату рябящая полоса пуль. Снова четко заработал крупнокалиберный пулемет. Вслед за ним звенящей квадратной россыпью распустились тяжелые мины впереди.

При опадающем свете ракеты Новиков успел заметить на скате Лену и Горбачева; Лена полулежа наклонялась над Сапрыкиным, приподнимала его голову, кладя к себе на колени, другой отстегивала фляжку и что-то говорила Горбачеву. А тот бешено бил ладонью по диску пулемета.

— Что у вас? Почему остановились? — крикнул Новиков, подбегая.— Почему остановились?

— Заело, сволочь! — разгоряченно выругался Горбачев и изо всей силы ударил по диску.— Перекос, как на счастье! Сволочь!

— Вперед! К кустам! — скомандовал Новиков.— Последний бросок! Черт с ним, с пулеметом! Бросьте его! Берите Сапрыкина, вперед! К кустам!

Лена отняла фляжку от губ Сапрыкина, обернулась к Новикову, сказала еле слышно:

— Он умер.

— Я говорю — вперед! Сапрыкина не бросать! С собой взять,— повторил Новиков и махнул автоматом.— К кустам! Ну?..

Горбачев с матерной руганью далеко в сторону отшвырнул пулемет и, отстранив Лену, склонился к Сапрыкину, говоря с решимостью:

— Дай-ка я его возьму, папашу. Эх, не дошел, парторг! Ведь шагал, ничего не говорил. Вон губы в крови. Губы кусал...

— Я помогу,— сказала Лена прежним, непротестующим голосом.

И, помогая Горбачеву поднять тяжелое, обмякшее тело Сапрыкина, она встала. В новом свете ракеты появилось ее лицо, фигура, обтянутая шинелью, блеснула маленькая лаковая кобура на боку. В ту же секунду их всех троих багрово ослепило пламенем, окатило

раскаленным воздухом. Новиков не услышал приближающегося свиста, сразу не понял, что рядом разорвались мины, только как бы из-за тридевяти земель пробился к нему тихий, удивленный, неузнаваемый голос: «Ой!» — и сквозь дым увидел, как Лена осторожно села на землю, свесив голову, слабо потирая грудь.

— Лена! Что? — с тоской и бессилием крикнул он, подползая к ней, и, встав на колени, взял ее за плечи, почему-то чувствуя, что вот оно случилось рядом, возле него, случилось то страшное, неожиданное, чего он не хотел, что не должно было случиться, но что случилось.

— Лена! Что? Ну говори!.. Ранило? Куда?..

Он не говорил, а кричал и нежно, исступленно, требовательно встряхивал ее за плечи, впервые с ужасом перед случившимся видел, как моталась ее голова, ее упавшие на лицо волосы.

— Куда? Куда ранило?..

— Кажется... кажется... нога.

Он разобрал ее невнятный шепот, выдавленный белыми при свете ракеты, виновато улыбающимися губами, и с жарким облегчением, окатившим его потом,— мгновенно гимнастерка прилипла к спине — рывком закинул автомат за плечи, сказал незнакомым себе, чужим голосом: «Держись за шею»,— поднял ее на руки и понес, шагая вверх по скату, первый раз в жизни чувствуя плотное, весомое прикосновение женского тела.

Охватив его шею, она говорила покорно:

— Только в госпиталь не отправляй меня. Я потерплю немного. Я умею терпеть...

В кустах он собрал людей — Порохонько, Ремешкова и Горбачева, приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Ты сейчас не уходи к орудиям. Когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в медсанбат. Но ведь медсанбат в городе. А город, кажется, в окружении. Никогда не думала, что в конце войны придется попасть в окружение.

— Дорога на восток уже перерезана. А впрочем, это не важно. Тебя я переправлю, как и Гусева. Горбачев переправит. Он сумеет.

— Завтра. Ранение совсем не страшное. Ничего не будет. Я знаю. Сядь, пожалуйста. Хорошо? Ты сядешь со мной?

Он присел возле нар на снарядный ящик, долго и молча искал по карманам папиросы. Блиндаж туго встряхивало близкими разрывами, земля с мышиным шорохом осыпалась в углах.

— Совсем прекрасно,— сказал Новиков,— кончились папиросы. Что ж, будем курить махорку.

Он досадливо вытряхнул из портсигара табачную пыль, как-то смешно почесал нос, по-мальчишески улыбнулся — она редко видела его таким, затем полез в планшет, достал остатки старой махорки. И сейчас же, сгоняя с усталого лица эту мальчишески досадливую улыбку, озадаченно хмурясь, вынул три плитки шоколада, которые давеча передал ему для Лены младший лейтенант Алешин.

— Ну вот, совсем забыл,— пробормотал он.— Для тебя. Алешин передал. Все время помнил — и забыл. Вылетело из головы. Со всей этой кутерьмой. Прошу прощения.

— Алешин? — полуудивленно спросила она.— Мне? Шоколад?

— Да. Хороший он малый. И, наверно, в тебя влюблен. Это очень похоже,— сказал Новиков спокойно, как умел говорить.

— В меня? — Лена села на нары, тряхнула волосами и засмеялась серебристым, легким смехом.— Он ведь ребенок,— договорила она.— Он думает, что я люблю шоколад. Овчинников думал, что я люблю духи, губную помаду, черт знает что!

Посмотрела на Новикова пристально внимательными глазами, в них теплился смех, потом попросила мягко:

— Дай мне газету и табак. Я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я тысячу раз делала это раненым. А то ты устал, вон руки дрожат. Устал ведь?

Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему; и он особенно близко вдруг увидел ее несмелую, ждущую улыбку.

— Послюни здесь. И все будет готово,— попросила она шепотом.

— Ты сама,— сказал Новиков.— Это у тебя лучше получится.

Он чувствовал: что-то нежное и горькое овеивало его, это ощущение жило, не пропадало у него после того, как она в блиндаже прислонилась лбом к его шее, после того разрыва мины, когда она осторожно села на траву, слабо потирая грудь, и эта горькая незнакомая нежность необоримо подымалась в нем к ее ласковому смеху, к этой маленькой цигарке, умело свернутой для него, к ее светлым коротким волосам — они, падая, мешали ей, заслоняли щеку.

Все три года войны он, слишком рано ставший офицером, рано начавший командовать людьми, думал больше о других, чем о себе, жил чужой жизнью, отказывал себе в том, что порой разрешал другим, и не привык и не хотел, чтобы о нем открыто заботился кто-то. Он видел, как она задумчиво-медлительно узким кончиком языка провела по краю самокрутки и тут же отстранила от губ, проговорила решительно:

— Нет, ты сам.

И когда он взял папиросу, по его руке легко скользнули ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно-ласкающую черноту, увидел черноту замерших ресниц, спросил неловко:

— Ты что, Лена?

— Свертываю тебе папиросу... Но ты ведь не ранен. Не могу представить, чтобы тебя ранило.— И заговорила быстро, глядя, как он прикуривает, по привычке загородив ладонями огонек зажигалки: — Я замечала, больше убивают и ранят молодых. Почему? Зачем их? Опыта у них, осторожности меньше? А вот ты неосторожен, я замечала... Ты действительно не дорожишь жизнью?

— По-настоящему я не жил,— откровенно сказал Новиков.— Нет, нарочно я под пули не лезу. Просто иначе нельзя. Всю жизнь, иногда кажется, воевал. Где-то там, в бездне лет, один курс горного института, книги, настольная лампа. Прошлое можно уложить в одну строчку. В настоящем — одни подбитые танки. Не уложишь в страницу. Может быть, поэтому так кажется? — И тотчас поправил себя с прежней и неожиданной для нее откровенностью: — А может быть, и по-другому...

— Почему «другому»?

— В сорок первом году пошел в ополчение. Нас окружили под Смоленском, согнали на шоссе тысяч десять. Были с нами, мальчишками-студентами, и пожилые про-

фессора. Некоторые из них не верили в жестокость, даже в последнюю минуту рассуждали о немецкой культуре, о Бахе, о Гейне... А немцы подтянули танки к шоссе, расставили зенитные пулеметы на обочинах. Аккуратно выстроили нас. И расстреляли, наверно, половину. Остальных — тысяч пять — сбили в колонну, погнали на запад, мимо Смоленска.

— И что?

— В Смоленске я бежал с тремя однокурсниками, перешел фронт. Но всю войну до сих пор помню об этой «гуманности».

— Я знаю их, — сказала Лена, ненавидяще сузив глаза.— Я знаю, как и ты! Они влезли в нашу жизнь! Но ты береги себя... Разве нельзя как-нибудь... беречь себя?

— Но я берегу,— проговорил он и улыбнулся.— Я это знаю.

За эти часы, пока они были вместе, она несколько раз видела, как улыбался он; улыбка эта казалась случайной, беглой, но в ту минуту, когда она появлялась, сдержанное выражение на лице Новикова пропадало, оно становилось мальчишески добрым, веселым, как бы ожидающим; и проглядывал внезапно тот Новиков, который был незнаком ей, которого она не знала и никогда не узнает,— было в этой короткой улыбке то прошлое, довоенное, школьное, неизвестное ей.

Двойной разрыв возле блиндажа тяжко сдвинул, колыхнул нагретый воздух. В углах посыпались комья земли на солому, со звоном упала гильза на столе, дребезжа, скатилась на пол и там погасла, точно придушило огонь. Стало очень темно. Шуршала земля. Было слышно, как за высотой рассыпалась длинная дробь пулемета.

— Это танки,— сказал Новиков и встал.

— Новиков! — замирающим шепотом позвала Лена.— Только не зажигай гильзу, скажи... Я знаю, что ты не любил меня, когда я пришла в батарею. И знаю, что ты думал. Слушай... ты, конечно, знаешь адъютанта Синькова из восемьдесят пятого. В общем, он слишком надеялся на свою силу. Он ударил меня, я ударила его. И ушла из разведки. Потом обо мне стали распространяться слухи...

Он молчал.

— Ты верил этим слухам? — спросила она не шевелясь.

В темноте он не видел ее лица, бровей, губ, слышал только шелестящий, тающий шепот; часто, с щемящей нежной болью, оглушавшей его, сдваивало сердце. Он ощупью приблизился, наклонился к ней — она лежала,— руки неуверенно нашли ее теплое, гибкое, сразу податливо потянувшееся к нему тело, ее влажные пальцы скользили по его шее, по погонам, воротнику шинели, дыхание ветерком ожгло щеку Новикова. Она крепко, исступленно обняла его, и по этому дыханию, по ее шепоту он так порывисто нашел нежно-упругие, отдающиеся губы, что они оба задохнулись.

Спаренные разрывы толкнули, затрясли накаты, рассыпчатый шорох земли потек по стенам, и опять вверху простучала пулеметная очередь. Новиков поднял голову.

— Мне надо посты проверить, посмотреть,— тихо, незнакомым голосом сказал он, оторвался от теплоты ее груди, рук и, не находя в этой полублизости, что сказать ей, договорил с хрипотцой: — Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку... Зажечь лампу?..

— Нет,— ответила она и заплакала...— Не зажигай, не надо. Иди... Я жду...

После плотной темноты землянки было в ходе сообщения почти светло. Зарево высоко и огромно, километра на три в ширину, лохмато полыхало за высотой над городом; и показалось сейчас Новикову, что горели все кварталы его и окраины. Слитные звуки боя гремели оттуда приближеннее, четче — придвинулись с запада к высоте вплотную. Выгибаясь фантастическими рыбами, скользили там, среди огненного моря, выгнутые хвосты реактивных мин; нагоняющие один другой разрывы все ощутимее, все полнозвучнее, все тяжеловеснее отдавались на высоте.

Новиков долго смотрел туда — на яркое мигание сигнальных ракет над берегом озера, на низкие траектории танковых снарядов на окраине, улавливал скрежет, отдаленное гудение моторов; и то, что испытывал он сейчас в землянке, обнимая горячие, покорные плечи Лены, еще ощутимо, пьяно жило в нем: близость ее тела, влажные пальцы на шее, ее податливые, отдающиеся губы. И не верил, что только что по-мужски впервые целовал женщину там, в землянке, и она целовала его с исступленной решимостью, готовая отдать ему себя.

Он пошел по траншее. Около огневой позиции вполголоса окликнул часового. Никто не отозвался. Перешагнул через бруствер, увидел часового — Ремешкова — и весь расчет: сидели на расстеленном между станинами брезенте, разговаривали шепотом, курили. Спал один Горбачев. Лежал на снарядных ящиках, накрыв голову плащ-палаткой, шумно посапывал, ворочался неспокойно во сне, двигал кирзовыми сапогами, из голенищ забыто торчали автоматные магазины,— наверно, давили ноги.

Заслышав Новикова, все разом повернули головы, пристально, выжидающе посмотрели на него. Ремешков вытер ладонью рот, сморгнул, крепкие молодые скулы отсвечивали на зареве розовым.

— Почему не спите?— спросил Новиков.— Бой начнется, носом клевать будете?

И сел на бруствер. Порохонько вдавил окурок в землю, мрачно, с перерывами вздохнул. Потом охватил худые свои колени, уперся в них черным небритым подбородком, узкое лицо передернулось вспоминающей усмешкой.

— Эх, товарищ капитан...

— Танки спать не дают,— пробормотал наводчик Степанов.

Застенчиво, тихонько он поерзал на станине, короткий, толстоватый в теле, расставив ноги, туго обвитые обмотками. Ответил и кашлянул, потер, потеребил широкое, как блин, лицо свое, точно очищая его, зачем-то глянул на руку — пальцы дрожали.

— На окраину танки вышли. Лупят по высоте прямой наводкой,— проговорил он виновато.— Видать, сильно жиманули наших в городе? Драпанули там... Может, наш фланг только и стоит?

— Жиманули?— переспросил Новиков.

— Может, этой ночью и в живых нас не будет, товарищ капитан,— робко проговорил Степанов, опять потирая, теребя свои круглые мягкие щеки.

— Еще на вашей свадьбе после войны водку будем пить,— сказал убежденно Новиков.— Невеста есть у вас? Ждет, наверно.

Степанов натужно улыбнулся.

— Да женат я, товарищ капитан. Как раз после школы вышло.

— Терпежу, значит, никакого,— ядовито вставил Порохонько, по-прежнему вжимаясь подбородком в коле-

ни.— Будь ты, малец, в моей школе, посоветовал бы я твоей мамке спять с тебя штанишки да налатать по вопросительному знаку, щоб знал, яка она, алгебра жизни. С жинкой спать — нехитрое дело.— И с обычной своей независимостью обратился к Новикову:— Правильно чи неправильно, товарищ капитан?

Однако то, что Степанов, парень неповоротливый, добрый, застенчивый, был женат, вызвало в Новикове странное чувство, похожее на удивление и любопытство к нему,— оказывается, этот парень испытал то, что не суждено было испытать самому Новикову.

— Это вы, Степанов, хорошо сделали,— заметил Новиков.— И дети есть?

— Не успели мы,— пробормотал Степанов.

— А это плохо,— сказал Новиков, как будто сам имел семью.— После войны солдата должны ждать дети.

Близкий выстрел выделился из звуков боя, раскатисто ударил по высоте со стороны города, разрыв вырос шагах в тридцати правее орудия. Опадала земля. Осколки, прерывисто фырча, прошли над огневой, увесисто зашлепали у бруствера. И сейчас же за высотой отчетливо простучал пулемет — пули пронеслись левее орудия.

Все смотрели на город.

— Здоровая жаба плюхнула, всамделе танки прорвались к окраинам,— произнес Ремешков, покосившись туда, где упали осколки, но голову не пригнул, только слегка подался книзу.

— Товарищ капитан, видели? Где они, фрицы? — встрепенувшись, с хрипотцой заговорил Степанов.— Под нос зашли. Не выдержали там, а мы стоим...

Теперь все вопросительно глядели на Новикова. Солдаты вроде бы ждали от него подтверждения, что немцы действительно прорвались к окраинам города, что на пространстве между окраиной и высотой, по-видимому, мало пехоты или вовсе нет ее.

Новиков знал: могло быть то и другое, но, что бы ни говорил он сейчас успокоительное, обнадеживающее, лживо-бодрое, это не рассеяло бы тупой тревоги, и понимал, что успокаивать солдат не имело смысла. И Новиков сказал резко:

— Убедить себя в том, что немцы захватят город и прорвутся в Чехословакию, легче всего. Но если они прорвутся, а мы их пропустим, считайте, что кровь здесь проливали мы даром. Хотите этого? Я — нет. А мы можем

их пропустить, и они уйдут без боя. Спокойно уйдут, подавят восстание словаков, чтобы воевать потом. Вы поняли? На какой черт тогда положили здесь половину батареи? Да и не только мы!.. Что молчите, Степанов?

— Да что вы, товарищ капитан? Да я же просто...— забормотал тот в замешательстве, все щупая, дергая мясистые щеки.

— Ладно, бывает. Будем считать, что этого разговора не было,— уже дружески сказал Новиков и чуть-чуть улыбнулся.— Ремешков, что вы это тут рассказывали? Не секрет — послушаю, секрет — уйду.

— Тоже чушь плел про якусь старушку,— насмешливо-мрачно проговорил Порохонько и отмахнулся.— Лягалов был, тот рассказывал про мирную жизнь. Як писал. А это так — баланда, рвет с нее... Брешет лучше, чем конь бегает!

Ремешков помялся, заморгал белыми ресницами.

— Нет, серьезно, не врал я, честное слово, товарищ капитан,— заговорил он с запинкой, казалось, оправдываясь.— Пошла у нас одна старушка в лес за ежевикой. Нет, ты, Порохонько, рукой не махай, это правда, честное слово. Ну вот, пошла... и упала. А у нас много колодцев высохших в лесу, и змей там всяких по-олно. Ну, нашли эту старушку соседние колхозники дней через пять всю в змеях — мертвая...

И Ремешков таинственно, вприщур последил за полетом реактивных мин среди зарева. Он, похоже было, ждал, что его будут просить рассказать дальше и подробнее, но солдаты молчали.

— Змеи?— скрипучим баритоном спросил старшина Горбачев, завозившись под плащ-палаткой: видимо, проснулся только что.

Ремешков взглянул в сторону ящиков, подтвердил:

— Ну да, гадюки и всякие там...

— Ни одна бы не ушла!— заспанно рокотнул из-под плащ-палатки Горбачев и, сладко зевнув, крякнул.

— Как это так? Кто?— не понял Ремешков.

— Всех бы передушил!— сказал Горбачев, поворачиваясь на ящиках.— Нашел чем пугать.

— Так же змей много. Ну, уж брось ты!

— А-а! Чепуха гороховая! Всех бы передавил! Чего бросать? Ни одной не осталось бы. А ты бы нет?

— О себе не думал,— ответил Ремешков обиженно.

— Это кто ж тебя так учил? В каких школах?

Горбачев, сонно крякая, нажимом ног немного стянул сапоги, потом, не дождавшись ответа, затих на боку, задышал спокойно и ровно — так мог спать лишь физически крепкий, здоровый человек.

— Странная история,— сказал Новиков без улыбки; он помнил, как прорывался вместе с Ремешковым к орудиям Овчинникова, и ему не хотелось обижать его.— Очень странная, но довольно интересная.— И, вставая, добавил:— Будет связь — вызвать. Я — ко второму орудию.

Справа ударил танк по высоте.

Только сейчас, наедине с собой, шагая к орудию Алешина, он мог тщательно взвесить всю серьезность создавшегося положения. Было ясно: бой в городе, длившийся вторые сутки, достиг того предела, когда достаточно малого перевеса сил немцев — и судьба города будет решена: его сдадут. И этот перевес был у немцев. Это была та прорвавшаяся из Ривн группировка, что после утреннего боя отошла в лес, сохраняя танки, и прекратила атаки перед высотой. Все, что видел Новиков в котловине, когда шли к орудиям Овчинникова, убеждало: немцы разминируют поле, открывая проходы к озеру, к переправе мимо высоты. Но медлительность их была загадочна, до конца непонятна ему. Он хотел и не мог точно предугадать, что случится этой ночью, через минуту, через час или к утру, и все же не верил, что сдадут этот город, что немцы уйдут через границу в Чехословакию. В этом была бо́льшая невозможность, чем потерять все, что связывало его с людьми, с которыми он дошел до Карпат.

Второе орудие стояло на правом краю высоты.

— Стой! Кто топает?

— Капитан Новиков.

Человеческий силуэт в плащ-палатке затемнел возле низкого щита орудия; лунный свет полосами серебрился на плечах часового. Он шагнул навстречу Новикову, и тот спросил не без удивления:

— Кто это — Але́шин? Что за новость? Ты часовой?

— Я, товарищ капитан,— возбужденно ответил Алешин.— Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прямо зло берет. Пусть успокоятся.

Новиков невольно усмехнулся:

— Сегодня, Витя, сами солдаты решают — спать им или не спать. А уж если офицер часового изображает,

тут не успокоишь. Ясно, Витя? Поставь солдата, не трепи им нервы.

— Слушаюсь,— охотно ответил Алешин, сдвинул козырек со лба, сбросил плащ-палатку, будто жарко было, заговорил с оживлением:— Что они молчат? Надоело ждать! Скорей бы, товарищ капитан!..

Впереди, над пехотными траншеями, встала ракета. Повисла в тихом синем воздухе, потухая, скатилась в минное поле. Новиков и Алешин присели на станины. Но немецкие и наши пулеметы молчали. В розовом сумраке зарева Новиков видел, что Алешин смотрит на него прямо, не мигая, увеличенными, возбужденными глазами — резких весенних веснушек не было видно. И пахло от него не шинелью, не табаком, а каким-то приятным запахом: то ли шоколадом, то ли мятными галетами, то ли сладковатым мальчишеским потом. Этот запах был мягок, домашен, тепел, никак не вязался он ни с чем, о чем думал Новиков, идя сюда, и лишь до ясной ощутимости вдруг приблизил, напомнил Лену, недавнее тепло ее вздрагивающих пальцев.

Алешин произнес с горячей досадой:

— Только ракеты кидают, надоело ждать! Даю слово, начнется бой, еще пять танков на мой счет запишете! Верите?

— Верю, верю...

Смешанное чувство нежности и жалости к Алешину ветерком прошло в душе Новикова. Он, Алешин, не утратил непосредственности молодости и торопил то, что не осознавал или эгоистично не хотел осознать, но что хорошо понимал Новиков. Сам Новиков не смог бы точно определить, где было начало и конец тому, что произошло, что могло произойти с ним, с его людьми, с батареей, с Леной.

— Вот что, Витя, шоколад я твой передал,— сказал Новиков.— Тебе — спасибо. Она сказала, что очень любит шоколад.

— Да? Мне спасибо? От Лены?— переспросил Алешин, не сдерживая волнения, и звонко, обрадованно засмеялся.— Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше? Отказалась в медсанбат? Молодец!

— Да. Но завтра я все же отправлю ее в медсанбат. Или сегодня ночью. В зависимости от обстановки.

Наступило короткое молчание. Снова взошла ракета над минным полем, источая бледный свет. Медленно

угасла, и тень скользнула по щеке, по напряженным губам Алешина.

— Не отправляйте, товарищ капитан! Если легкое ранение, не отправляйте! Она же сама почти врач, в медицинском институте училась, понимает: перевязку там и... все,— захлебываясь, заговорил Алешин и умоляюще подался к Новикову.— Уедет она — и не вернется. В другую часть пошлют, вы же знаете. Простите, товарищ капитан, думаете, я от себя шоколад посылал? Она просто со мной иногда откровенничала, как с другом... или как там? Я за вас посылал. Она мне сказала о вас, что может или возненавидеть, или уйти из батареи. Честное слово! Возненавидеть — это ерунда, конечно. Это так, со зла, вы тогда с ней не разговаривали.

— Поставь часового и иди в землянку,— с прежней строгостью сказал Новиков, подымаясь, заученным жестом поправляя кобуру.— Часовые пусть меняются через два часа.

— Слушаюсь, все ясно,— опадающим голосом ответил Алешин.

И тоже поспешно встал, поправляя пистолет тем же жестом, как делал это Новиков. И Новиков заметил это, как раньше иногда замечал даже свою интонацию команд в голосе Алешина. И внезапно, чувствуя неудобство, подумал, что он, Витя, по-мальчишески влюблен в него, видя в нем, Новикове, то внешнее, бросающееся в глаза, что почему-то всегда притягивает к себе людей и что притягивало прежде Новикова в других. Но ведь все это годами вырабатывалось независимо от его воли,— просто он слишком рано стал командовать людьми, рано носить оружие, в то время как Витя Алешин не знал ничего этого.

«Он подражает мне, как старшему по годам и опыту, видит во мне идеал офицера,— подумал Новиков почти с нежностью.— Но он не знает, что мы с ним едва ли не одногодки. Не знает, что мы иногда думаем об одном и том же, что у меня никакого опыта, кроме военного, что мне тоже хочется жрать шоколад, стоять часовым, откровенно хвастаться подбитыми танками. Но я не могу, не имею права. Наверно, и моя храбрость кажется ему какой-то храбростью высшего порядка. Эх, Витька, Витька, когда-нибудь после войны, если живы будем, расскажу я тебе все, и ты наверняка удивишься, скажешь: «Не мо-

жет быть». А оказывается, может быть. Ты просто остался моложе меня, а я ведь за людей отвечаю».

— Спокойной ночи, Витя,— сказал Новиков и против обыкновения сильно пожал руку Алешина.— Впрочем, спокойной ночи не будет. А что будет — посмотрим.

— Черт с ним, товарищ капитан!— ответил Алешин, улыбаясь, и щелкнул пальцами по сдвинутому со лба козырьку.— Оборона хуже всего! Леночке привет!

Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал ему приказ пройти в город, связаться с дивизионом, при любых обстоятельствах выяснить обстановку. Солдаты по-прежнему не спали. Ни слова не говоря, лежали на брезенте между станинами и слушали приказ. Оранжевые полосы все шире расползались из города, освещали всю высоту, лица, орудие, снарядные ящики. В тылу отдаленно рокотал бой, изредка сотрясая брустверы позиции. Разноцветные сигнальные ракеты, подавая неизвестные знаки, появлялись среди зарева. А перед фронтом батареи, за минным полем, немцы молчали, и чудилось: высота тесно сжата — сзади заревом, спереди — выжидательной тишиной. Там были немцы, танки, и кто-то думал, рассчитывал, определял время удара, время, о котором не мог знать Новиков.

— Пойду отдохну,— буднично сказал Новиков, чтобы как-нибудь ослабить напряжение на огневой, и обратился к Ремешкову:— Изменится что-нибудь — разбудите.

— Слушаюсь,— вскриком ответил Ремешков и сморгнул, привставая.— Да разве тут заснешь?

Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоисто, как в крепко зажмуренных глазах, зашевелилась перед ним, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял у входа, прислушиваясь к своему дыханию, к крупным сдвоенным ударам сердца, потом позвал негромко:

— Лена, ты спишь?

— Я жду тебя... Иди сюда. Что там, наверху?

Едва слышный мягкий шепот повеял на него из непроницаемой глубины блиндажа, и он шагнул навстречу ему, как в теплый, качающий его ветерок.

— Окружение, да? Только лампу не зажигай...

— Лена, тебе находиться здесь нельзя,— сказал Но-

виков.— Тебе нужно куда-нибудь в тихое место. Хотя бы в особняк. Около высоты. Я сам тебя отнесу. Оставаться здесь нет смысла.

— Ну вот, по голосу чувствую — нахмурился. Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее.

— Но мне — наоборот.

— Странно, но я понимаю. Слушай, что ты стоишь? Я ведь знаю, что мы как на вокзальном положении. Ну и что же? Пусть... Сними шинель, ты ведь устал, так будет лучше. Когда ты ушел, я подумала: вернется нахмуренный или совсем не придет. Но если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня.

Она тихо засмеялась счастливым, теплым смехом, который так по-новому чувствовал сейчас Новиков, но который раньше казался порочным, нарочитым, противоестественным в обстановке окружавшей их грязи, нечистоты, запаха пороха, крови и пота. И то, что, дерзкая с ним прежде, она неожиданно сказала о любви к нему и засмеялась ласково, и то, что его самого непреодолимо тянуло к ней, и, может быть, давно,— не было той далекой любовью, светившей ему из бездны лет. Запах сыроватых аллей парка культуры, желтый песок под белыми босоножками, мелькание за кустами загорелых ног под ситцевым платьицем, велосипед, прислоненный к забору, неожиданная встреча возле будочки с газированной водой, ясно-серые, улыбающиеся ему глаза над стаканом пузырящейся шипучки и снег, бесшумно падающий вокруг фонарей.

Все оставшееся от того, прежнего, детского, полузабытого, было в кармане его гимнастерки — четыре письма, фотокарточки не было. И, снимая шинель, он на минуту приостановил движение свое, услышав хруст писем в кармане. Он почувствовал, что предает, разрушает то прежнее, детское, это настоящее было важнее, сильнее, нужнее ему, дороже и взрослее — он испытал это впервые.

— Никогда я... такого не чувствовал, как к тебе,— сказал он глухо и сел на нары, где лежала она, тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках.— Ты веришь?.. Никогда!..

Он обнял ее. Она не поднялась, снизу руками обвила его шею, притянула к себе, и с замирающим стуком сердца он ощутил под гимнастеркой округлость ее груди,

гибкий шепот дыханием коснулся его подбородка, тонкие пальцы исступленно ласкали его волосы на затылке, гладили его шею, скользили по плечам...

— Ты не жалей меня, не жалей. Делай со мной что хочешь. Разве ты не понимаешь, что завтра меня не будет с тобой!..

— Теперь ты можешь отправить меня в госпиталь... Что бы ни было — ты мой!..

Она лежала вся теплая, расслабленная, утомленно обнимая его, целовала легкими прикосновениями. Тихий, обволакивающий шепот будто черными шерстинками стоял перед глазами Новикова, был бесплотен, тающ, беззвучен; и в том, как она прижималась к нему, пальцами проводила по лбу, по волосам его, была сейчас усталая нежность, готовность на все, что могло еще случиться с ними. Но после того, что впервые почувствовал он,—это короткое, казалось, неповторимое бредовое счастье обладания женщиной,— он не хотел верить в ее слова о госпитале и не верил в то, что завтра или сегодня ночью Лены не будет с ним. Была ошеломляющая его, непонятная, страшная ненужность в ее ранении, в их запоздалом сближении, в этой кажущейся случайности их близости.

В потемках, стараясь разглядеть ее белеющее лицо, Новиков слушал ее шепот и молчал,— он никогда не испытывал такого горького, обжигающего чувства утраты, внезапно случившейся с ним непоправимой жизненной несправедливости. Приподнявшись, он вдруг стал целовать ее слабо шевелящиеся губы, мягкие брови, мохнатую колючесть ресниц и заговорил решительно, преувеличенно бодро:

— Ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу. Только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена. И все будут относиться к тебе как к моей жене. Не говори больше о госпитале.

— Жена...— повторила Лена медленно.— Как это ты хорошо сказал: жена...— Помолчала и договорила со злой горечью:— Но здесь не может быть ни жены, ни мужа.

— Я не хочу ждать. Я с трудом находил людей, которые уезжали из батареи. Даже своих офицеров. Из тех, кто шел из Сталинграда, ни одного не осталось.

Лена не ответила, уткнувшись лицом ему под мышку, нагревая дыханием, вдыхая запах его здорового, молодо-

го тела; так пахло от него тогда в блиндаже,— терпкий знакомый запах пороха, он был еще весь пропитан им после утреннего боя. Долго лежала не шевелясь, и он понимал по ее молчанию, что она не хотела, не могла сказать ему то, что он бы отверг, не признал, не принял. Тогда он сказал отрывистым голосом:

— Ты молчишь, Лена? А мне все ясно.

— Все может измениться, пойми меня! — ответила она серьезно и страстно.— Все... Слишком хорошо с тобой и неспокойно. Ты послушай меня, я, наверное, чепуху говорю. Но бывает так: когда очень хорошо — начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?

Он не выдержал, обнял ее.

— Ты действительно чепуху говоришь, Лена,— сказал Новиков спокойно.— Со мной ничего не случится. Об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен.

Она осторожно гладила его шею, его грудь.

— Обними меня крепче. Очень крепко,— неожиданно попросила она шепотом.— Чтоб больно было.

Треск, пронесшийся над накатами блиндажа, короткий крик возле орудия, топот бегущих ног в траншее заставили Новикова вскочить, в темноте одеться с привычной поспешностью. Затягивая на шинели ремень, ощутимый знакомой тяжестью пистолета, услышал он, как после беглых разрывов на высоте заструилась по стенам земля, застучала по плечам дробным, усиливающимся ливнем.

Сдавленный голос — не то Ремешкова, не то Степанова — толкнулся в дверь блиндажа:

— Товарищ капитан!.. Немцы!

И, услышав это «немцы», он, мгновенно охлажденный, понял все.

Он быстро подошел к безмолвно севшей на нарах Лене и не поцеловал ее, только сказал:

— Ну вот, началось! Пошел!..

И вышел из блиндажа, застегивая шинель.

Побледневшее к утру зарево, холодно тлеющий над туманными изгибами Карпат лиловый восток, пронизывающая ранняя свежесть земли, влажные от росы погоны и желтое, круглое, заспанное лицо Степанова, месяц, прозрачной льдинкой тающий среди позеленевшего пе-

ба,— ничто детально и точно не было сразу замечено и выделено сознанием Новикова. Все это даже не могло интересовать его, выделиться, остановить внимание, кроме одного, что в ту минуту реально увидел он.

Вся мрачно-теневая, темная еще, покрытая остатком ночи опушка соснового леса, куда днем отошли немцы, как бы раздвигалась, оскаливаясь огнем,— черные тела танков, тяжело переваливаясь через лесной кювет, уверенно расползались в две стороны: в направлении свинцово поблескивающего озера, мимо бывших позиций Овчинникова, и через минное поле — в направлении высоты, где стояли орудия Новикова. Все, что мог увидеть в первое мгновение он, удивило его не тем, что запоздало началась атака, а тем, что незнакомое и новое что-то было в атаке немцев, в продвижении их.

Ночь, еще непрочно тронутая зарей, заливала темнотой низину, услужливо скрывала начавшееся движение танков к высоте. Только по чугунному гулу, по длинно вырывавшимся искрам из выхлопных труб, по красным оскалам огня, по железному скрежету будто гигантски сжатой, а теперь разворачиваемой, упруго шевелящейся, дрожащей от напряжения стальной пружины Новиков точно и безошибочно определил это новое направление на высоту.

Пышно и ярко встала над разными концами леса россыпь двух сигнальных ракет. Как отсвет их, ответно взмыли две высокие ракеты на окраине горящего города, в том месте, откуда ночью с тыла высоты стреляли по орудиям прорвавшиеся из Касно танки, и Новиков, заметив эти сигналы, понял их: «Мы идем на прорыв, соединимся в городе».

Плохо видимые танки, разворачиваясь фронтом, подминая кусты, траками жадно, хищно пожирая их, уже вползали в район минного поля перед высотой,— тогда стало ясно Новикову, что немцы успели за ночь разминировать полосу низины.

— Что стоите, Степанов? К орудию! Бегом!— скомандовал Новиков, вдруг увидев, как нервно мял, тискал свои мясистые щеки Степанов.

Стоял он рядом в ходе сообщения, грузно приседая, оглядываясь на кипящую разрывами высоту, крупные губы прыгали, растягивались, он медлил с желанием выдавить из себя какие-то слова; слов Новиков не разобрал.

— Бегом!

«Что это с ним? Спокойный ведь был парень! Нервы сдали, что ли?» — подумал Новиков досадливо и удивленно, видя, как побежал к орудию толстоватый в пояснице Степанов, как при разрывах нырял он большой головой, так что уши врезались в воротник шинели.

Новиков два раза пригнулся, когда бежал следом за Степановым к орудию. Осколки рваными даже на слух краями резали воздух над бруствером, звенели тонко и нежно, и этот противоестественно ласкающий звук смерти по-новому, до отвращения ощущал Новиков.

На огневой позиции, неистово торопясь вокруг орудия, солдаты с помятыми, серо-землистыми от бессонницы лицами суетливо подправляли брусья под сошники. Порохонько сидел на земле без шинели, сильно и жестко обрубал топором края канавки в конце станин; нетерпеливо перекашивая злые губы, кричал что-то Ремешкову, вталкивающему брус под сошники. У мигом повернувшего лицо Порохонько острые глаза налиты жгучей радостью мстительного облегчения. Взгляд его острием скользнул навстречу Новикову — будто он, Порохонько, ждал своего часа и дождался. Вмиг стало горячо Новикову от этого взгляда, и, рывком сбрасывая, кинув на бруствер отяжелевшую шинель, он крикнул:

— По места-ам! Заряжа-ай!

Заметил у бросившегося к казеннику Ремешкова следы снарядной смазки на небритых скулах, на подбородке, а в полуоткрытых губах выражение слепой торопливости, скользкий снаряд колыхнулся в руках его, сочно вщелкнулся в казенник, мгновенно закрытый затвором. И снова волчком метнулся Ремешков к спасительному ящику, выхватил оттуда, родственно прижал к груди снаряд, переступая крепкими ногами, вроде земля жгла его.

«С этим парнем кончено,— удовлетворенно мелькнуло у Новикова.— Кажется, солдат родился». И не осудил себя за ту жестокость, которую проявлял в эти дни к Ремешкову.

— Вы к панораме или я? Вы или я, товарищ капитан? Может, Порохонько?.. Товарищ капитан!..— не говорил, а просяще выкрикивал Степанов, крадучись, боком пятясь к панораме.

Досиня бледный, весь огрузший, потеряв прежнюю деловитую степенность, был он, похоже, смят чем-то, подавлен, разбит, неприятно отталкивали Новикова его опу-

стошенно-светлые дергавшиеся глаза — в них исчезло внимание, появилась бессмысленная рыскающая быстрота. И Новиков понял: это была подавленность страхом, рожденная после нестерпимого ожидания ночью тем чувством самосохранения, что, как болезнь, возникло у некоторых солдат в конце войны.

— Вы что раскисли? — Новиков взял за плечо Степанова, повернул к себе.— Возьмите себя в руки! Выбросьте блажь из головы! Забьете чушь в голову — убьет первым же снарядом! К панораме!

И уже с непрекословной силой подтолкнул наводчика к щиту орудия.

Степанов присел к панораме, потянулся судорожно-спешно к маховикам механизмов, а они, чудилось, ускользали из рук его. Схватил их, широкая ссутуленная спина напружилась, по этой спине чувствовал Новиков дрожащее в наводчике напряжение, неточно рыскающие сдвиги прицела.

— Мне бы к прицелу, товарищ капитан! Разрешите? — выплыл из-за спины голос Порохонько и исчез, стертый, раздробленный вздыбившими высоту позади орудия танковыми разрывами.

Живая танковая дуга, все увеличиваясь, все разгибаясь по фронту, охватывала высоту, левый край дуги накатывался к озеру, но не туда, где вчера немцы наводили переправу, а мимо бывших позиций Овчинникова — в направлении котловины, через которую ночью прорывался Новиков к орудиям за ранеными и где встретил немцев. Орудия Овчинникова не задерживали теперь танки на нейтральной полосе. Центр дуги, приближаясь, вытягивался к высоте, а правый край дуги пересекал прямую линию шоссе,— было видно, как танки угрюмо-черными тенями переползали через нее, двигались фланговым обходом на город.

Перемигиваясь, вспыхивали и затухали ракеты на разных концах дуги.

Низина наливалась катящимся гулом, но мутно различимые квадраты танков еще не вели массированный огонь — стреляли по флангам, как бы ещё выжидательно нащупывая цели, и это тоже казалось необычным Новикову.

— К телефону Алешина! Быстро! — приказал он телефонисту и спрыгнул в ровик,— белое лицо связиста засновало у аппарата.

«Если бы были орудия Овчинникова, если бы... — подумал Новиков, в эту минуту ничего не прощая Овчинникову.— Там, у озера, свободный, не прикрытый ничем проход...»

— Алешин, ты?— Он подул в трубку. — Алешин!..

Ответа не расслышал — тотчас ворвался в ровик гром артиллерийской стрельбы: выстрелы — разрывы, разрывы — выстрелы. На миг поднял голову: справа от высоты взлетало и падало рваное зарево. С неуловимой частотой сплетались там багровые выплески — открыли огонь по танкам соседние батареи. Рядом бегло гремели врытые в землю тяжелые самоходки. У Новикова не было связи с соседями, он не знал об их потерях в утреннем бою, и внезапная радость от того, что соседние орудия жили, зажглась в нем пьянящим азартом. Он улыбнулся жаркой улыбкой, испугавшей и удивившей связиста, крикнул в трубку, прикрывая ее ладонью:

— Видишь, Алешин, справа огонь? Соседи живут! По правым танкам не стреляй! Огонь по левым. Не подпускай к озеру! Снаряды не жалей! Все!

И, бросив трубку, повернулся к орудиям, высоким, звонким голосом подал команду:

— Внимание!.. Наводить по левым танкам... по головному!

Ракеты уже не сигналили больше, танки подтянулись из леса, атака началась одновременно на всем протяжении вытянутой дуги, и Новиков видел это без бинокля.

Левая оконечность дуги резко закруглилась — три крайних танка, набирая скорость, с вибрирующим воем моторов вырвались вперед, тяжело катились по возвышенности, где низкими буграми лиловели бывшие позиции Овчинникова. Передний танк взрыл широкими гусеницами бруствер, смело вполз на огневую, железно взревев мотором, развернулся там, давя остатки орудия, и, когда кроваво мелькнул его бок, тронутый зарей, Новиков успел выкрикнуть первую команду:

— По левому... огонь!

Но как только, взорвав воздух на высоте, ударило орудие и вслед, почти слитно, ударило орудие Алешина, что-то высокое и огненное взвилось перед глазами Новикова, земля упала под ногами, острой болью кольнуло в ушах. Его смяло, притиснуло в окопе, душным ветром сорвало фуражку, бросило волосы на глаза. Не подымая фуражки (едва заметил: как будто иззябшими руками

потянулся к ней на дне окопа связист с мертвенно-стылым лицом), Новиков тряхнул как-то сразу заболевшей головой, встал. Дымились воронки на бруствере, тягуче звенело в ушах, частые рывки огня скачуще сверкали в глаза Новикову над приближающейся танковой дугой,— непрерывно били танки.

А высота уже перестала быть возвышенностью. Дым, вставший над ней, казалось, сровнял ее. Смутные очертания орудия проступали и тотчас тонули во мгле. И не увидел Новиков ни фигур снующих там солдат, ни Степанова у прицела — ничего не было, кроме этой клубами валящей темноты, пронизанной трассами танковых снарядов.

— Степанов! — позвал Новиков так нетерпеливо и громко, что болью отдалось в висках, но ответа не было.

Когда подбежал он к орудию, то увидел расширенные, мутные глаза Ремешкова, упорно ползущего к орудию между станинами со снарядом, одной рукой объятым на груди. Он задыхался от гари, указывал взглядом на Степанова, стоящего на коленях перед щитом, а его тормошил, дергал за хлястик, кричал что-то весь закопченный дымом Порохонько.

— Что? Почему прекратили огонь?— крикнул Новиков.— Степанов!..

Но никто не ответил. Он наклонился, и кинулось в глаза: Степанов стоял на коленях, ткнувшись лбом в щит орудия, съеженным плечом упираясь в казенник. Пилотка держалась на его большой голове, прижатая ко лбу щитом, складка шеи с еще не исчезнувшим загаром, как у живого, лежала на воротнике, но то липкое, густое на вид, что выползало из-под разорванной пилотки, объяснило Новикову это странное несоответствие позы с тем, что случилось. Воронки зияли слева и чуть позади Степанова — следы снарядов на бруствере, убивших его.

— Отнесите в нишу, похороним потом,— сказал Новиков, почти не слыша своего голоса, и, задохнувшись, вспомнил, что как-то не так говорил он со Степановым в его последние часы. Но не было времени, душевных сил возобновить в памяти, где был прав и виноват он: Новиков чувствовал темное кружение в голове, позывало на тошноту,— видимо, контузило его в ровике.

— Отнесите в нишу, похороним потом,— повторил Новиков глухо и сейчас же поднял голос до командных, отрезвляющих нот:— По места-ам!..

И тотчас исчезло, ушло из сознания все, что было несколько секунд назад. Веря в свою прежнюю счастливую звезду, он стал на колени к прицелу, припал к резиновой наглазнице панорамы — резина хранила еще живую теплоту и скользкость пота Степанова.

Он увидел в панораме не целую, а разжатую и разбившуюся на две части дугу атаки: тяжелые танки с ходу вели огонь, сползались с центра к левому и правому краям поля, скапливались черными косяками. Три первых танка миновали позицию Овчинникова, неуклюже и круто ныряя, катились в котловину.

— А-а,— только и произнес Новиков, машинально тиснув ладонью ручной спуск. Его била внутренняя дрожь нетерпения, азарта и злобы, и то, что делали его руки, глаза, будто отделилось от сознания, а оно говорило ему: «Не торопись, не торопись, ты никогда не торопился!» И все мигом исчезло: на перекрестие прицела в упор надвинулся широкий, подымающийся из котловины покатый лоб танка, качнулся, дрогнул его длинный ствол, слепя, заслонил огнем прицел и выпал из перекрестия — с громом рвануло землю слева от Новикова. И в то же мгновение, чувствуя солоноватый привкус крови на закушенной губе, Новиков поймал его опять, выстрелил и уже не смотрел, куда впилась трасса. Лишь синяя точка спичкой чиркнула там по широкой груди танка.

— Товарищ капитан! Быстрей! Быстрей!.. «Мессера» идут! Товарищ капитан, миленький!.. Быстрей!..

«Чей это голос, Ремешкова? Где он кричит? Не кричать, спокойно, Ремешков! Ни одного звука. Я не тороплюсь потому, что так надо, так вернее...»

Сколько он сделал выстрелов? Шесть? Десять? Двадцать? Нет, только девять... Но дуга все распрямлялась — где следы выстрелов? Танки идут... Снова крик разбух за спиной его, накаленный опасностью, а может быть, бешеной радостью, животный крик, он никогда не слышал такой дикий, такой неестественный голос Ремешкова:

— Тринадцать штук горят! Горят! Нет, четырнадцать! Алешин три смазал! Мы — шесть!..— И крик этот точно скосило: — Пикируют! Сюда!.. Вот они! Товарищ капитан!..

Тонкий, режущий свист возник в небе; в грохоте, в треске разрывов он начал увеличиваться, расти над самой головой — наклонно к земле скользили в дыму узкие, как

бритвенные лезвия, вытянутые тела «мессершмиттов». Они пикировали прямо на высоту, выбрасывая колючее пламя пулеметных очередей. Взрывы бомб ударили в землю, вскинулось косматое и высокое там, где были пехотные траншеи, толчки передались к высоте, сдвинули орудие. С пронзительным звоном истребители вынырнули из дыма, выходя из пике, стремительным полукругом взмыли ввысь, серебристо засверкали в утреннем небе, а оттуда косо понеслись, стали падать на высоту, вытянув черные жала пулеметов. Отчетливо и низко мелькнули кресты на узких плоскостях, прямо в глаза забились пулеметные вспышки. По лицу Новикова пронесся металлический ветер, фонтанчики очередей зацокали по брустверам, зазвенела пробитая пустая гильза. Знойным ветром толкнуло в спину, в затылок — разрывы бомб встали вокруг орудия. Новиков, ощутив эти жаркие удары волн в спину, не почувствовал большой опасности, не лег, лишь инстинктивно прикрыл рукой головку панорамы; как во сне, просочился захлебывающийся голос Ремешкова:

— Товарищ капитан, ложитесь... ложитесь, разве не видите? Осатанели они! По головам ходят!.. Убьют вас... Пропадем без вас, товарищ капитан!..

Но слова эти не задели Новикова, прошли стороной, как дуновение ветра, как неточные удары бомбовой волны. Он верил в прочность земли и не верил в прямое попадание. Выжидая, смотрел, как осиные тела истребителей падали в дыму над высотой на орудия.

А непрерывный писк, едва пробившийся сквозь окруживший огневую грохот, назойливо, требовательно звучал за спиной. Кажется, зуммерил телефон.

— Аппарат! — крикнул Новиков, ничего не видя в дыму, и сейчас же к нему пробился прыгающий от волнения голос связиста:

— Товарищ капитан! Алешин у телефона! Докладывает! Справа танки через минное поле прошли!

— Где прошли? Где?

Новиков, опираясь на казенник, привстал над щитом и тогда увидел справа и впереди перед высотой, там, где было боевое хранение пехоты, немецкие танки. Несколько человек, отстреливаясь из автоматов, зигзагами бежали оттуда по полю к высоте перед ползущими танками, падали, вскакивали, тонули в полосах мглы.

В эту секунду понял Новиков, что боевое охранение смято.

— Связист! Ясно видит Алешин эти танки? Ясно видит? Передайте мой приказ Алешину!.. — скомандовал Новиков, пересиливая нарастающий свист моторов, прерывистый клекот пулеметов. — Прекратить огонь по левым танкам! Огонь по правым! Поддержи пехоту! Огонь туда! Туда! Сначала несколько фугасных!

И, скомандовав, с ощущением нависшей беды посмотрел перед высотой, где разбросанно бежали к чехословацким траншеям несколько человек. Снаряды Алешина взорвались позади человеческих фигурок, земляная стена встала перед танками, и, словно бы очнувшись, люди неуверенно повернули назад, к траншеям боевого охранения.

— Товарищ капитан! Да что вы? Ложитесь! — снова раздались дикие умоляющие вскрики Ремешкова. — Пикируют!

Новикова резко дернули за рукав гимнастерки: Ремешков, весь засыпанный землей, не в силах передохнуть, сидел против, вскинув серое лицо, в застывших от надвигающейся опасности глазах светилась, вспыхивала зеркальная точка. А эта точка падала с неба. Металлический рев оглушил Новикова, пули звеняще прошлись по огневой, запылили, зыбко задвигались брустверы. Низкая тень пронеслась над ними — и хвост истребителя стал взмывать над высотой, врезаясь в небо.

— Не ранило, товарищ капитан? Не ранило? — говорил лихорадочно и сипло Ремешков, размазывая пот по лицу. — Что же вы так? Что же вы так?.. Товарищ капитан!..

Совсем не слыша его, Новиков стоял у щита, отчетливо видел, как впереди, мимо занявшихся дымом машин, медленно вползали в котловину танки,— вытекали они к берегу озера, и самолеты прикрывали их атаку. Странно, напряженно дрожали брови Новикова, и Ремешков, который не видел эти танки, не мог знать, что чувствовал Новиков, судорожно кашляя, вытягивая молодое обескровленное лицо, спросил:

— Худо вам, товарищ капитан? Ранило, а?

— К орудию! — сквозь зубы подал команду Новиков. — Заряжай, Ремешков! Где Порохонько? Заряжай! — И, садясь к прицелу, обернулся: — Порохонько, жив?

Порохонько лежал на спине среди станин, со злым любопытством следил за разворотом истребителей, крепкими зубами покусывая соломинку, смеялся беззвучно, захлебываясь этим жутким, душащим его смехом.

— Огонь! — скомандовал Новиков.

Сгущенный дым, закрывая все, как и вчера утром, кипел над полем перед высотой. И теперь лишь по быстрым молниям выстрелов, по железному шевелению, реву моторов в дыму Новиков ощупью угадывал продвижение левых танков по берегу озера.

Пронзительный свист истребителей носился над высотой, пулеметы пороли воздух, но все это как будто уже не существовало для Новикова. Нажимая спуск, он чувствовал: горло жгло сухой краской орудия, он заметил — раскаленный ствол покрылся искристой синевой, но ни о чем не думал, кроме того, что, обходя высоту, шли танки, пытаясь прорваться в город, ни одна мысль не была логичной, кроме одной: они прорывались к озеру.

— Уходят! — возник крик за спиной, и он смутно ощутил: случилось что-то в воздухе.

Сверкающий на солнце клубок вьющихся в выси самолетов проносился над высотой. Трассы перекрестились от самолета к самолету, наискось — к земле и в высь утреннего неба, клубок мчался на запад все ниже и ниже. И тогда по этому сверканию, по извилистому ручью дыма, вытекавшего от тонкого тела «мессера», стремительно уходившего от другого истребителя, догадался Новиков, что там воздушный бой, как всегда непонятный с земли.

— Заряжай!

И он опять нащупывал прицелом шевелящуюся массу танков на краю котловины, выстрелил два раза подряд, обессиленно и машинально вытер с глаз разъедающий пот, и в эту минуту низкий гул моторов повис над землей, давя на голову, раздражающе заполнил уши. Но этот новый гул был другой, бомбардировочный, тяжелый, ровно и туго катящийся по небу. И прежде чем Новиков, готовый выругаться, увидел самолеты, крик Ремешкова захлестнул все:

— ИЛы! Товарищ капитан! Наши штурмовички! Раз, два... Гляньте-ка! Вон выровнялись! Миленькие!

Ремешков, насквозь промокший от пота, бегал между станинами среди куч пустых гильз, забыто обнимая на груди снаряд, смеялся радостным, всхлипывающим смехом, задрав голову, пот тек по крепкой шее его. Порохонько, без пилотки, со спутанными волосами, глядел в небо, прищурясь, шарил вокруг по земле, ища соломинку, что ли, запекшийся в гари рот усмехался ядовито, недоверчиво.

Большая партия ИЛов низко шла над Карпатами на запад, заслоняя солнце, выстраивалась в боевой порядок.

И слева над пехотными траншеями, предупреждающе сигналя, выгнулись в сторону немцев красные ракеты. Штурмовики, разворачиваясь, пошли на круг, и сразу бой глухо затих, замер на земле.

«Это передышка, вот она, передышка! Может быть, больше ее не будет! — подумал Новиков, видя, как первый штурмовик клюнул в воздухе, стал пикировать над немецкими танками. — Лена в десяти шагах отсюда, Лена... Я успею снести ее в тихое место, в особняк. Что она там, ждет меня? Я не имею права забывать о ней... Нет, я не забывал о ней...»

— Останьтесь за меня, — хрипло крикнул он Пороxонько. — Я сейчас вернусь.

Он пошел к блиндажу по осколкам, шагал, пошатываясь, как в знойном тумане. Он совсем не замечал, что прежней огневой позиции, хода сообщения, ровиков почти не существовало, — все было изрыто танковыми снарядами, зияло уродливыми оспинами воронок, глубоко взрыхленной, вывернутой землей, брустверы наполовину стесаны, точно бы огромные лопаты, железные метлы сровняли их.

Он распахнул дверь в блиндаж.

Он вошел разгоряченный, весь черный, потный и на пороге в раскрытых дверях не мог ничего сказать — удушье сжимало его горло.

Лена сидела на нарах одетая, даже ремень с маленькой кобурой узко стягивал ее в поясе, свежеперебинтованная нога свешивалась с нар, будто она готовилась встать, смотрела на эту ногу, наклонившись слегка; светлые волосы заслоняли щеку.

— Лена... Я пришел за тобой, — глухо и хрипло выговорил он и шагнул к ней. — Лена, тебе пора...

Не вздрогнула она, ничего не спросила, а подняла, задержала взгляд на его лице, долго снизу вверх разглядывала, улыбаясь, лаская теплой глубиной глаз, потянулась, нежно и осторожно поцеловала его в шершавые, горькие от пороха губы, сказала шепотом:

— Вот и все. Теперь я в госпиталь, в медсанбат — куда лучше и быстрей. Подожди. Ты потный весь. Жарко было?

Достала из санитарной сумки кусочек ваты и, как делала это раненым, промокнула ему лоб, подбородок, шею, чуть касаясь, вытерла то место выше правой брови, где вчера играючи царапнула пуля. А он стоял возле, чувствуя эти легкие, родственные прикосновения, ее близость, и ничего не мог ответить, боялся — слова остановятся, застрянут в горле, он знал: голос его был сдавлен, хрипл, неузнаваемо чужой после команд, и было странно, чудовищно странно для самого себя — он не смог бы объяснить этим голосом все, что испытывал к ней.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В особняке Новиков нашел ездового и немедленно верхом послал его найти медсанбат во что бы то ни стало. Потом они сели на плащ-палатку, расстеленную на груде смоченных росой листьев, зная, что это их последние минуты.

Они оба молчали; сюда доносились нарастающие звуки бомбежки, накаленные очереди пулеметов за высотой; штурмовики боком выворачивали на солнце плоскости, повторно заходили на круг, поочередно снижаясь над парком, наполняя его, сотрясая гулом усыпанные листьями аллеи.

Новиков задумчиво смотрел на высоту, на видимые сквозь прозрачные липы недалекие орудия: там оставались солдаты, мимо них он только что пронес на руках Лену, а она покорно обнимала его. Он тогда всем телом почувствовал их удивленно-понимающие взгляды, когда сказал Ремешков: «Выздоравливайте, сестренка, мы вас очень уважали», — и затем Порохонько добавил: «Живы будем — побачимось». Никто не имел права осудить его и Лену, и никто не осуждал их, узнав теперь все. И это была доброта, та доброта, которую он часто скрывал в себе к Ремешкову, к Порохонько, к людям, которых он любил. Он часто не признавал ничего нарочито ласкового: был слишком молод и слишком много видел недоброго на войне, человеческих страданий, отпущенных судьбой его поколению. Он никогда не задумывался, любили ли его солдаты и за что, и порой был недобр к ним и недобр к себе: все, что могло быть прекрасным в мирной человеческой жизни — чистая доброта, любовь, солнце,— он оставлял на после войны, на будущее, которое должно

было быть,— и то, что сейчас он не в силах был найти другого выхода, то есть не отправить Лену в медсанбат, не потерять ее, как будто случайно найденную, казалось ему жестокостью, которой не было оправдания. Он знал, что у нее нетяжелое ранение, но понимал также, что нельзя было задерживать Лену даже на несколько часов вблизи орудий, — неизвестно было, чем кончится этот бой.

— Я найду тебя, — твердо сказал Новиков, веря в то, что он говорит.— Я найду тебя во что бы то ни было, чего бы это ни стоило. В госпитале, в тылу, но я тебя найду. Ты веришь? Ты должна верить, что мы прощаемся с тобой на время.

— Нет, — сказала Лена и улыбнулась грустно, потянулась к нему, волосами скользнула по щеке. — Нет... ты меня не найдешь, Дима.

— Я найду тебя... И я люблю тебя. Я поздно это понял...

Она с осторожностью, взглядом запоминая, погладила его брови, его лоб и, вдруг клоня лицо, нахмурилась, уголки губ, нежный овал подбородка мелко задрожали, тонко дрогнули поздри, но тут же, сдерживая рыдания, сотрясавшие ее плечи, сказала тихо:

— У тебя еще много будет женщин...

— Но ты уже есть! Какие женщины, когда есть ты?— заговорил он, сильно обнимая ее, прощально и горько целуя ее слабо отвечающий рот. — Мне пора. Ты слышишь? — И легонько потряс ее за плечи. — Прощай! Мне пора. Ты слышишь? Я тебя найду... Я тебя найду...

Новиков встал. Она смотрела на него как бы сквозными невидящими глазами, безмолвно кусая губы. И он не мог уйти сразу. Ее шея, окаймленная воротом гимнастерки, волосы, погоны на узких плечах, край щеки — все было неспокойно-розовым в свете сочившейся в парк зари, и все, что было рядом и позади ее беспомощно сжатой фигуры, стыло в полном и тревожном наливе зябкого утра осени. И показалось на миг, точно на этом кусочке земли не было войны, а была просто осень и розовый холодный воздух без выстрелов, без гудения танков за высотой.

В мокрых коридорах аллей столетних лип косо лежали красные полосы, отсвечивали влажные кучи листьев, золотом горели уцелевшие стекла в особняке, а перед террасой, над безмятежной утренней гладью бассейна,

поднимался зыбкий пар. Здесь были покой, осенняя сырость, запах обмытых росой листьев, холодная и чистая крепость зари — все говорило о мире вечном, естественном.

— Лена, я пойду, Лена, я пойду, — глухо повторял Новиков, уже зная, что он сейчас уйдет, но не веря, что она останется здесь одна, в этом страшно отделившемся от него мире.

— Сейчас, — окрепшим голосом проговорила Лена. — Вот сейчас. У тебя рукав порванный... Сейчас... Что это, осколком, пулей? Не видел? Дай я зашью. Сними... Это одна минута. Я быстро... — И, вздрогнув, испуганно расширила глаза, посмотрела на высоту. — Это за тобой. За тобой... Я зашью, Дима, а ездовой тебе передаст. Я зашью... Дима. Я зашью...

Человек бежал по высоте от орудий и, размахивая над головой пилоткой, кричал что-то, звал оттуда. Частые разрывы, поднявшиеся по всей высоте, задавили его крик; дым оползал по скату, застилая орудия.

— Это за мной!

Он не помнил, как снял порванную на локте гимнастерку, как она положила ее рядом под руки себе. Ясно одно помнил, что не в силах был сказать ничего, еще раз прощально поцеловать ее — этого невозможно было сейчас сделать.

Он несколько шагов шел от нее спиной вперед, потом повернулся, побежал по аллее, по хрустящим листьям, морщась, стараясь проглотить горячий комок в горле — и не мог.

Тот человек, кричавший Новикову с высоты, был младший лейтенант Алешин. Когда Новиков, задыхаясь, вбежал по скату, то вроде бы не узнал его: весь потный, с мелово-прозрачным лицом, на котором нестерпимой синью светились глаза, в грязной, прожженной на полах шинели, Алешин, рванувшись навстречу, закричал надорванным тенором:

— Прицел разбило! Товарищ капитан! У меня! Двоих ранило! Танки опять на мины нарвались... Вправо обходят! Бронетранспортеры подошли! Как без прицела? Товарищ капитан!.. Как назло, разбило... Ну что делать?.. Бросился за прицелами Овчинникова, а их раскокошило!

И, перекосив по-мальчишески лицо, скрипнув зубами, едва не зарыдал в бессилии и резко мазнул рукавом ши-

нели по глазам, закачался на тонких ногах, обтянутых хромовыми сапожками.

— Через ствол, Витя! Наводи через ствол! Без прицела! К орудию! Ну, Витенька, давай! — крикнул Новиков и подтолкнул Алешина в плечо. — Давай, Витя, милый!..

Автоматные очереди хлестали по высоте, сплетаясь в сеть.

Он прыжком перескочил через бруствер, за ним в дыму мелькнула перед глазами прочно стоящая на коленях между станинами длинная фигура Порохонько со снарядом в руках, мелькнул страшный оскал зубов Ремешкова, лежащего на бруствере за ручным пулеметом. Стреляя, он крутил головой, тряслась спина, колыхалась пилотка, сползшая на шею, и не то плакал он в голос от злобы, не то смеялся:

— Не-ет!.. Не-ет!..

Все горело там, перед высотой, и густо чадило сплошной мутью, располосованной трассами снарядов. Впереди несколько тяжелых танков сгрудились на краю котловины; застигнутые бомбежкой, — видимо, уже подожженные, — они столкнулись вслепую, сцепившись гусеницами, и так пылали. Дуга распалась, ее не было, были смерчи пожаров, скопища мазутного дыма, только справа несколько танков шли толчками, обтекая высоту; слева же в котловину скатывались тупорылые пятнистые бронетранспортеры, фигурки немцев в рост бежали к кустам, не останавливаясь, не падая, расплескивая струи автоматных очередей. Нет, они хотели жить, эти немцы, что сидели и стреляли в бронетранспортерах и танках, и те, что бежали по полю, хотели убить тех, кто сдерживал их, хотели любой ценой прорваться в город, перешагнуть, миновать невозможное, что не должно было случиться, и Новиков почему-то подумал, что это невозможное было он, Новиков, и его люди на высоте.

— Не-ет! Не-ет! Не-ет!

...По звукам танковой и автоматной стрельбы за высотой, по беглым, учащенным ударам орудий на высоте, по стене разрывов, выраставших вокруг позиций Новикова, по наискось в небе летящим пулям Лена точно ощутила, что бой вовсе не ослаб после налета штурмовиков, но усилился, что он достиг того предела, когда

исчезает небо, солнце, когда есть лишь одна прочность земли.

«Дима, Дима, Дима... Что он?.. Что с ним?.. Его не убьют... таких нельзя убивать... его не убьют. Я знаю. Он умеет стрелять, как не умеют другие... Что же это? Опять?»

Иголка прыгала в ее пальцах, она отложила гимнастерку, кусая губы, неотрывно пристально смотрела туда, на высоту, жадно искала орудие, тонувшее во мгле, в фонтанах земли: что-то белое то появлялось, то пропадало в дыму. Или это казалось ей?

«Это он, он возле орудия. Он... Я вижу его... Скорей, скорей, пусть скорей конец боя!.. Только скорее конец боя. Это же должно кончиться!.. Должно кончиться... Скорее, скорее!»

Черное, огромное и железное с треском, с хрустом обрушилось из мутного неба на высоту, перевернутым конусом взлетело оранжево-слепящее. Высота будто расплавилась и исчезла. Дым застлал всю ее, загородив, кипя клубами, сдвигаясь, стекал по скатам, опал быстро, разнесенный утренним ветром, и, дрожа в мгновенном ознобе, стиснувшем дыхание, неясно увидела она что-то белое, ничком лежащее на бруствере.

«Что это? Что это?» — удивленно задержалось в сознании Лены. В ту минуту она еще не могла определить все, почувствовать, она не только не могла осознать, что это мог быть он ранен или убит, а, наоборот, подумала, что это был не он.

Возникли какие-то новые звуки, скрипящие, воющие, нарастая, распространились слева, со стороны города, над вершинами лип, оглушая ревом, сверкнули раскаленные хвосты, широкими молниями сотрясли, впились в высоту, закрутились раскаленные змеи на всем протяжении ее, и опять дым загородил небо и высоту и то белое на бруствере.

«Что это? Наши «катюши»? Зачем они стреляют? Они думают, что он погиб. Он не мог погибнуть. Что они делают? Стреляют по нему! Сюда не прошли танки. Он жив! Он жив! А как же я? Одна? Нет, он не погиб... А как же я?»

Дым снова разодрало ветром, а что-то белое по-прежнему ничком неподвижно лежало на бруствере. И тогда, переводя взгляд на гимнастерку, пусто лежавшую у ее ног, разглаженную ее пальцами там, где был разорван,

не зашит рукав, она вдруг поняла все. И, с ужасом схватив гимнастерку, пахнущую им, прижимая ее к лицу, комкая ее, зарыдала жаркими, обжигающими слезами, вся вздрагивая, крича что-то, моля о справедливости.

Когда майор Гулько узнал о гибели Новикова, в городе был мягкий осенний полдень, с нежарким блеском солнца на каменных мостовых, потертых гусеницами танков, усыпанных битым стеклом, за железными оградами тихо дымили, догорали дома, чернели обугленные сады, летели над ними, таяли пронизанные солнцем неосенние облака. И то, что Гулько сидел на КП в шлепанцах и без гимнастерки, и то, что спали у телефонов связисты,— все говорило о жизни будничной, а младшему лейтенанту Алешину хотелось плакать.

Младший лейтенант Алешин, то ли выбритый, то ли умытый, с чистым подворотничком, в новой шинели, стоял перед Гулько, худой, осунувшийся, бледный, — резко проступали веснушки его — и ровным голосом, не стесняясь слез, бегущих по щекам, рассказывал о гибели Новикова. И вытирал рукавом щеки. И странно было видеть его чистый подворотничок, детские веснушки на ошеломленном недетском лице и видеть его слезы и этот мальчишеский жест, которым он вытирал их.

— Капитан Новиков? Новиков!.. Тот мальчик? Не верю! Не верю! Не может быть! — почти крикнул Гулько, ударил кулаком по столу так, что подскочили карандаши на карте, и отвернулся к стене, моргая красными, воспаленными глазами. Кашляющий звук вырвался из его горла, длинный нос некрасиво, толсто набух, майор сглотнул, потер горло, пробормотал хрипло: — Идите и принимайте батарею. Идите... Через полчаса мы снимемся. Наши танки уже в Марице. Слышите — в Марице!

Младший лейтенант Алешин вышел и двинулся по городу к медсанбату. На углу его ждал Горбачев.

Была властная тишина в городе. И «катюши» в чехлах под уцелевшими домами, и санитарные машины, замаскированные под кленами улиц, спокойно залитых солнцем, и кухня, дымившая в соседнем дворе, и голоса солдат вокруг нее — все по-прежнему говорило о жизни будничной. Но младшему лейтенанту Алешину никогда не было так одиноко, так пусто в этом огромном, чудовищно тихом мире.

В медсанбат Лену привезли ездовые. Войдя во двор, а потом в сад, уставленный санитарными повозками, носилками, Алешин не сразу увидел ее. Она лежала на носилках, тоненькая, прозрачная, как осенний луч, прижавшись щекой к подмятой под голову шинели, ровные брови, страдальчески сдвинутые, оттеняли белизну лба, иногда они вздрагивали, словно по лицу проходили отблески того, что было в ней. Она смутно услышала голос Алешина — очень близким, знакомым повеяло на нее,— открыла глаза, но не ответила ни голосом, ни взглядом, только прощально пошевелила рукой — одними пальцами.

— Леночка... прощай... Леночка, мы тебя не забудем... Леночка, прощай...

Она не слышала, как ушли Алешин и Горбачев, лежала тихо, в тяжелом забытьи, будто погружаясь в теплую воду, с одним желанием, чтобы никто не прикасался к ней.

До нее слабо доносились звуки из внешнего мира: шаги в саду, шорох шинелей, мимо тенями проходили санитары, перешагивая через нее, шелестела трава; сухие листья, слетая с яблонь, невесомо падали на грудь ее, путались в волосах, и кто-то рядом протяжно стонал, просил воды, звал кого-то захлебывающимся шепотом.

«Кто это стонет? Неужели он не может сдерживать боль? Разве он знает, что такое настоящая боль?» — думала она, и лицо ее дергалось, и брови дрожали, и, кусая губы, вся сжимаясь, она старалась найти в своей памяти то, что было до его смерти, — его голос, его привычку поправлять пистолет, его взгляд, его улыбку.

Раз открыла глаза. Голые ветви яблонь уходили в низкое, кипевшее облаками небо, там выгнутыми фиолетовыми полосами сиял непонятный мягкий свет, плыл, переливаясь, под холодным осенним солнцем. «Откуда этот свет? И зачем он? — подумала она. — Зачем все это? И небо, и воздух, когда его нет... Зачем все это?..»

— Ишь ты, солнце разыгралось. Красота какая! Экая тишина в мире — не поверишь! — донесся до нее крутой прокуренный голос, и это земное жестоким рывком вытолкнуло ее из полузабытья, краем сознания поняла, о чем так красиво говорил этот неизвестный, почему-то окрашенный в серый цвет голос, и, повернув голову, почти с ненавистью увидела на крыльце дома седого человека в белом халате, с темными пятнами на рукавах. При-

слонясь спиной к косяку двери, он медленно, утомленно курил, глядел в небо над садом.

Лена отвернулась, как бы защищаясь, приникла щекой к колючему ворсу шинели и, плача, смотрела на соседние носилки, откуда все время слышала стоны. Молоденький белокурый чех тоскливо бредил, пытаясь сорвать бинты на груди, капельки пота выступили над верхней губой, покрытой детским пушком, чех шептал, торопясь, какие-то непонятные отрывистые слова, и она с трудом разобрала:

— Во́ду... во́ду...

Она нащупала фляжку, приподнялась, долго, точно неумело, отвинчивала пробку потерявшими жизнь пальцами, а когда, сдерживая рыдания, прислонила фляжку к губам чеха, увидела сквозь слезы, как он, всхлипывая от облегчения, глотает воду, прошептала:

— Боль пройдет, боль пройдет...

И легла на левую сторону груди, где была тоска, снова прижимаясь щекой к колючему ворсу, прикусив зубами воротник шинели, чтобы не закричать от боли.

1959

ТИШИНА

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1945

ГЛАВА ПЕРВАЯ

...Выбиваясь из сил, он бежал посреди лунной мостовой, мимо зияющих подъездов, разбитых фонарей, поваленных заборов. Он видел: черные, лохматые, как пауки, самолеты с хищно вытянутыми лапами беззвучно кружили над ним, широкими тенями проплывали меж заводских труб, снижаясь над ущельем улицы. Он ясно видел, что это были не самолеты, а угрюмые гигантские пауки, но в то же время это были самолеты, и они сверху выследили его, одного среди развалин погибшего города.

Он бежал к окраине, там, на высоте — хорошо помнил,— стояла единственная неразбитая пушка его батареи, а солдат в живых уже не было никого.

Задыхаясь, он выбежал на каменную площадь, и вдруг впереди, в освещенном луной пролете улицы, возникли новые самолеты. Они вывернулись из-за угла, неслись навстречу ему в двух метрах над булыжником мостовой.

Это были черные кресты с воронеными пулеметами на плоскостях.

Он ворвался в подъезд какого-то дома — все пусто, темно, вымерло. Все квартиры на этажах закрыты. Лифтовая решетка затянута паутиной. Не оборачиваясь, спиной ощутил ледяной сквозняк распахнувшейся двери и понял: позади — смерть.

Хватая кобуру на бедре непослушными пальцами, с тщетной попыткой дотянуться к ТТ, он, мертвея от своего бессилия, обернулся. В проеме парадного горбато стоял

плоский крест самолета, щупающими человеческими зрачками глядел на него, и этот крест из досок должен был сделать с ним что-то ужасное. Тогда, всем телом прижимаясь к стене, напрягаясь в последнем усилии, он ватной рукой охватил ускользающую рукоятку пистолета, лихорадочно торопясь, поднял онемелую руку и выстрелил. Но выстрела не было...

— А-а!.. Где патроны?..

Сергей закричал и, сквозь сон услышав задушенный, рвущийся крик, вскочил на диване, сел на смятой простыне, потный, с изумлением озираясь: где он находится?

— Черт! — сказал он и облегченно, хрипло рассмеялся. — Вот черт возьми!..

И сразу почувствовал сухую теплоту комнаты.

Было морозное декабрьское утро. На полу, на занавесках, на диване — везде солнечный снежный свет, везде блеск ясного белого утра. Толсто заиндевевшие, ослепляли белизной окна с узорчатой чеканкой пальм по стеклу; на столе мирно сиял бок электрического чайника. И в комнате пахло дымком, свежим горьковатым запахом березовых поленьев.

Жарко и ровно гудело пламя в голландке. Старая Мурка лежала возле печи в коробке из-под торта, купленного Сергеем в день приезда в коммерческом магазине; кошка, жмурясь, старательно облизывала беспомощно пищащие серые тельца котят, тыкавшихся слепыми мордочками ей в живот.

Сергей увидел и солнечный свет, и Мурку, и новорожденных котят и с радостным приливом свободы улыбнулся оттого, что он в это декабрьское утро проснулся у себя дома, в Москве, что только что ощущаемая им опасность была сном, а действительность — это уютное солнце, мороз, запах потрескивающих в голландке поленьев.

В квартире тихо по-утреннему. Он, испытывая наслаждение, услышал в коридоре серебристый голосок сестры; затем мерзло хлопнула наружная дверь, проскрипел снег на крыльце.

— Сережка, спишь? Газеты!

Вошла Ася, худенький подросток в стареньком отцовском джемпере, посмотрела живо и чуть заспанно на Сергея, весело заулыбалась, кинула газету ему на грудь.

— Проснулись, ваше благородие? Лучше вот... почитай. Наверно, от жизни совсем отстал?

Сергей потянулся на постели в благостном оцепенении покоя, развернул газету, свежую, холодную с улицы — она пахла краской, инеем, — и тотчас отложил: читать не хотелось. Он лежал и курил. И так лежа, с особым удовольствием видел, как Ася, присев перед печью, раскрыла дверцу, обожгла пальцы, смешно поморщилась, лицо было розовым от огня. Потом подула на пальцы и засмеялась, косясь на Мурку, лениво и безостановочно лижущую своих котят.

— Знаешь, я стала затапливать печку, наложила дров, зажгла, вдруг — раз! — кто-то как метнется из печки, только дрова полетели! Смотрю — Мурка, глаза дикие, в зубах котенок пищит. Оказывается, она хотела детенышей в печь перенести, устроить их потеплее. Вот дура-дура! Дурища, а не мамаша!

Ася со смехом погладила утомленно мурлыкающую кошку, одним пальцем нежно провела по головам ее мокрых, жалко некрасивых котят.

— Не такая уж она дура, — улыбнулся Сергей. — По крайней мере, шла на риск.

«Ведь все это мне тоже снилось,— подумал Сергей,— и морозное утро, и кошка с котятами, и печь, и Ася...»

Он сказал:

— Ася, брось папироску в печку. Я встаю.

— Интересно, это приятно? — Ася взяла папиросу, покраснев, поднесла к губам, вобрала дым и закашлялась. — Ужасно! Как ты куришь?

— Ты это зачем?

— У нас в школе некоторые девочки пробуют. Ты знаешь, я два раза вино пила.

— Это такие соплячки, как ты? Бить вас некому. Марш в другую комнату! Я оденусь.

— Подумаешь! — Ася дернула плечами, вышла в другую комнату, оттуда сказала обиженным голосом: — Ты грубый. В тебе осталось благородного только твои ордена и довоенная фотокарточка.

— Ладно, Аська, — миролюбиво сказал Сергей и потянул со стула обмундирование.

В этот час утра кухня, залитая морозным светом, была пустынной. Солнце ярко сияло и на цементном полу в ванной, колючие веселые лучики играли, искрились на инее окна, на пожелтевшем глянце раковины. Старое, еще довоенное зеркало над ней отражало потрескавшуюся стену, облупленную штукатурку этой старой маленькой

комнаты, в которой летом всегда было прохладно, зимой — тепло.

Он мечтал об этой ванной в те дни, когда думать о доме было невозможным.

Сергей брился, радуясь переливу солнца на пузырях в мыльнице, легкой пене мыла, щекочущей подбородок, мягкой и острой безопасной бритве. Впервые за этот месяц он ощущал, что обыкновенный процесс бритья — разведение душистой пены, намыливание горячей пеной щек, прикосновение лезвия к распаренной коже лица, которая становится чистой, молодой,— приносит несказанное удовольствие.

После бритья он по обыкновению вставал под душ в ванной, ровный шум прохладной воды, теплые иголочки по всему телу, махровое полотенце — и Сергей чувствовал себя в отличном настроении, когда казалось, что все прекрасное в жизни он бесповоротно и счастливо понял и оно никогда не должно исчезнуть.

Он знал, что это ощущение до сумерек.

Вечером или особенно декабрьскими мглистыми сумерками, когда фонари горели в туманных кольцах, это чувство полноты жизни исчезало, и боль, странная, почти физическая боль и тоска охватывали Сергея. В доме и во дворе, где он вырос, его окружала пустота погибших и пропавших без вести: из всех довоенных друзей в живых остались двое.

Когда он уже стоял под душем, оживленно растираясь под колючими струями, послышались быстрые шаги из коридора, стукнула дверь на кухне, потом возле ванной раздался голосок Аси:

— Сережка, к тебе Константин. Что ему сказать?

— Пусть подождет. Без штанов я к нему не выйду.

— Фу, какой грубиян! — сказала Ася за дверью.

Минут через пять он вышел, надевая на ходу китель, — мокрые волосы были зачесаны назад,— спокойно, насмешливо и твердо поглядел на сестру. И Ася, будто не узнавая, с удивлением и восторгом мизинцем провела по длинному ряду зазвеневших орденов, по кружочкам медалей, спросила то, что спрашивала уже не раз:

— Сережка, за что ты получил все это?

— За грубость.

— Пожалуйста, ты не городи, а скажи серьезно. Опять какую-то чепуху отвечаешь!

— За грубость, честное слово, Аська.

Он вошел в комнату, чувствуя, как после душа горячо звенит все тело, сел к столу, не здороваясь, сказал шутливо:

— Давай, Костька, завтракать. Вот этот омлет из яичного порошка жарила моя сестра. Проникся, какие у нас сестры? Ася, раздели нам это пополам.

Константин, высокий, худощавый, с узким лицом, с темными усиками, докуривая сигарету, сидел на маленькой скамеечке подле печки, брезгливо и заинтересованно разглядывал тоненько пищащих котят. С хрипотцой в голосе он говорил сквозь затяжку сигаретой:

— Красивое создание кошка, а? Что-то есть от женщины. Или, наоборот, в женщине — от кошки. — Он покосился на Асю. — Ася, вы меня не слушайте, я по утрам болтаю чушь, когда не высплюсь. А, черт, трещит башка после вчерашнего!

— Не потрясай болезнями,— сказал Сергей.

— Оставьте в покое котят! — сердито проговорила Ася. — Я просто не знаю, чем я буду теперь кормить их — молока нет, ничего нет...

— Ася, у меня остаются иногда талоны на хлеб. Будете менять на какой-нибудь кошачий продукт.

— Вы просто богач.

— Иногда.— Константин по-военному одернул кремового цвета пиджак с щегольским разрезом сзади, потер двумя руками голову, коротко засмеялся, показывая из-под усиков великолепные белые зубы. Вышел в коридор и тотчас вернулся, подбросил на ладони бутылку, всю залепленную цветной этикеткой.

— Под твой омлет с салом или наоборот — ямайский ром!

Вынул из кармана немецкий ножичек, отделанный перламутром, ногтем подцепил штопор. Не спеша вытащил пробку, разлил по стаканам, приготовленным для чая, подмигнул Асе.

— Вам бы рюмочку, а? — И тут же продекламировал: — О донна Ася, донна Ася, как я люблю твои глаза, когда глаза твои большие ты подымаешь на меня.

— Пошлость! — заявила Ася. — И никакой рифмы!

— Нет, за твои параллели я тебе сегодня накостыляю по шее,— сказал Сергей прежним тоном и посмотрел стакан на свет. — Неужели ты, Костька, обыкновенную род-

пую водку можешь променять на какой-то паршивый ром?

— После войны решил попробовать все вина мира — своего рода идея фикс!

— Аська, ты слышала? — спросил Сергей. — Он тебя не поражает идеями?

— Давайте рюмку, Асенька,— сощурясь, предложил Константин.— Вы единственная женщина среди нас. Правда ведь?

Немного подумав, Ася достала из буфета рюмку, поставила ее на стол, сказала с виноватым выражением:

— Немножечко... капельку... — И взглянула на удивленного Сергея протестующе.— Не воспитывай меня, пожалуйста!

— Видишь? — Константин поощрительно и щедро налил Асе полную рюмку. — Какого лешего лезешь в личную жизнь сестры?

Сергей молча вылил из ее рюмки себе в стакан, взял бутылку из рук Константина, накапал в рюмку несколько капель, точно лекарство, сказал тоном, не терпящим возражений:

— Одному из вас я в самом деле нахлопаю по шее, другую, соплячку, выставлю за дверь!

— Где нет доказательств — там сила! — Константин захохотал, чокнулся с рюмкой Аси, выпил, крякнул ожесточенно. Опять подмигнул сердито нахмурившейся Асе, поймал вилкой ускользающий на сковородке кусочек сала, зажевал с аппетитом.

— Аська, выйди, — приказал Сергей. — У нас мужской разговор.

— Нет, Сергей, ты... невозможный! — Ася, краснея, швырнула полотенце на стул. — Просто ужасный грубиян!

— Так ты можешь продать часы? — спросил Сергей после того, как она вышла.

— Подожди, — сказал Константин. — Твои часы? Какая марка?

Сергей снял часы — черный с фосфорической синевой циферблат, тоненькая, как волосок, пульсирующая секундная стрелка — отличные швейцарские часы, которые носили немецкие офицеры, положил их на скатерть.

— Трофейные. Взял в Праге. Лежали в ящиках. В немецкой комендатуре.

Константин взвесил часы на ладони.

— На фронте я никогда не брал часы. Часы напоминают человеку, что он смертен. Полторы косых дадут за эти часы. Повезет — две. Постараюсь.

Сергей разлил ром в стаканы, поинтересовался:

— Что это за «полторы косых»?

— Полторы тысячи рублей. О наивняк! Привыкай к понятиям «карточки», «лимит», «коммерческий магазин», «Тишинский рынок».

Константин, еще жуя, достал коробку «Казбека», придвинул Сергею, чиркнул зажигалкой-пистолетиком, закуривая, договорил по-домашнему:

— К вечеру у меня будет солидная пачка купюр. Вернут долг. Можешь часы не продавать. На шнапс бумаг хватит. Оставь часы для худших времен. Зачем тебе деньги, когда у меня есть?

— Надо купить костюм. Отцовский не лезет.

— Купим! Деньги — это парашют, дьявол бы их драл! — сказал Константин.— Пустота под ногами — и тогда открываешь парашют! — От выпитого вина смуглое лицо его стало дерзко-отчаянным. — На Тишинку поедем хоть сейчас. К спекулянтским мордам визит сделаем.

В его манере говорить, в его движениях ничего сходного не было с прежним аккуратным Костей — всегда умытым, застегнутым на все пуговички сшитой из теткиной юбки курточки, всегда приготовившим уроки, всегда детски красивеньким, чинно и пряменько сидевшим за партой. Был он робок перед учителями, жаден той особой жадностью прилежного ученика («свою резинку надо иметь», «задачу списывать не дам — сам решай»), которая постоянно раздражала Сергея. Они жили в одном доме, но прежде не были друзьями. Даже в десятом классе Константин ходил в своей аккуратной курточке, был замкнут, тих, нелюдим.

Они встретились полмесяца назад, и было странно видеть на Константине офицерскую шинель, спортивный пиджак с двумя нашивками ранений, с тремя орденами под лацканами и гвардейским значком, и странными казались как бы чужие темные усики. Он изменился так, как будто ничего, даже смутных воспоминаний, не оставалось от прежнего.

— Наш план на сегодня? — спросил Сергей, испытывая знакомое по утрам чувство легкости, оттого что жизнь вроде бы только начиналась.

— Рынок и танцы с девочками,— ответил Константин беспечно, спрятал часы в карман и тут же пропел задумчиво: — «О поле, поле! А что растет на поле? Одна трава — не боле. Одна трава — не боле...» Пошли... Асенька, привет! — крикнул он из коридора в кухню, когда, надев шинели, они вышли.— Плюньте на мелочи и берегите нервы! Сережка — известный бурбон!

Ася выглянула из кухни, озабоченно стягивая тонкой тесемочкой передник на муравьиной талии; темные длинные глаза скользнули по лицу Сергея беспокойно.

— Опять до ночи, Сережа?

— Как получится,— ответил он с нарочитой грубостью и поцеловал ее в лоб.— Я позвоню.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Двор без заборов (сожгли в войну) и весь маленький тихий переулок Замоскворечья были завалены огромными сугробами — всю ночь густо метелило, а утром прочно ударил скрипучий декабрьский мороз. Он ударил вместе с тишиной, инеем и солнцем, все будто сковал в тугой железный обруч. Ожигающий воздух застекленел, все жестко, до боли в глазах сверкало чистейшей белизной. Снег скрипел, визжал под ногами; звук свежести и крепости холода был особенно приятен после теплой комнаты, гудевшей печи.

Этот жестокий мороз с солнцем, режущий глаза сухой блеск были знакомы Сергею по сталинградским степям — наступали на Котельниково; звон орудийных колес по ледяной дороге, воспаленные лица солдат, едва видимые из примерзших к щекам подшлемников, деревянные, негнущиеся пальцы в продутых стужей рукавицах; и снова скрип шагов, и звон колес, и беспредельное сверкание шершавого пространства... Хотелось пить — обдирая губы, ели крупчатый снег. Где же конец этой степи? Где? Он шагал как в полуяви, и представлялась ему парная духота метро, шумящие эскалаторы, лица, смех, а он ест размякшее эскимо, пахнущее теплым шоколадом... Очнулся от глухих, сдавленных звуков, вскинул голову, не понимая: рядом, держась за обледенелый щит орудия, толчками двигался заряжающий Капустин, сморщив обморо-

женное лицо, тихо стонал, всхлипывая: слезы сосульками замерзали на подшлемнике: «Не могу... не могу... Умереть лучше, под пули лучше, чем мороз».

Ничего этого не было сейчас. Вспомнилось же неожиданно — просто вдохнул запах холода, и все возникло перед глазами. Вспомнилось тогда, когда он шел по улице бодрый, сытый, шинель, облегавшая его, хранила домашнее тепло, руки мягко грелись в меховых перчатках.

Дыша паром, плотнее натягивая перчатки, Сергей сказал:

— На фронте ненавидел зиму. После Сталинграда на передке возил с собой железную печку даже летом.

— «Мороз и солнце — день чудесный», — поглядывая по сторонам, пробормотал Константин. — Какую-нибудь машину бы, дьявола, поймать. Хорошо было дворянам раскатывать на тройках, под волчьей полстью! — Он похлопал себя по бокам, говоря быстро: — Я тоже под разрывными вспоминал милую старину. Тепло, настольная лампа, вьюга за окном, папироса и томик Пушкина... Сто-ой! — заорал он и махнул рукой. — Стой, бродяга!

«Эмка», плотно заиндевевшая от радиатора до крыльев, пронеслась мимо, покатила в глубину белого провала — улицы. Там, в конце этого провала, над снежной мглистостью, над мохнатыми трамвайными проводами висело оловянное декабрьское солнце.

— На кой тебе машина? — сказал Сергей. — Доберемся пешком. Потопаем по морозцу, Костька.

— В такую погоду хорошо ослам топать, — захохотал Константин, усики его поседели от инея, лицо, ошпаренное холодом, стало красным. — Идет себе и занимается гимнастикой ушей. Я, к сожалению, двигать ушами не в силах.

— Опусти ушанку. Не на полковом смотру.

— Иди ты... знаешь куда? Видишь, попадаются хорошенькие женщины. После войны стало больше красивых женщин... Я прав, девушка?

Константин ласково подмигнул бегущей навстречу по тротуару высокой девушке — полы длинного пальто колыхались, мелькали узкие валенки, под шерстяным платком — бело опушенные инеем ресницы, нажженные морозом щеки. Она не ответила, только улыбнулась и пробежала мимо.

Константин заинтересованно оглянулся, потирая ухо кожаной перчаткой.

— Природа иногда создает, а, Сережка? Иногда смотрю, и грустновато становится, ей-богу. Меня хватило бы на всех. — Он взглянул на Сергея оживленно. — Ладно, заскочим в забегаловку. Симпатичный павильончик. Тут, недалеко. Погреемся.

Деревянный павильончик, синея крышей, виднелся в аллее заваленного метелью бульвара. На пышных от вчерашнего снегопада липах каркали вороны, сбивали снег — белые струи стекали по ветвям. Забегаловка в этот утренний час была свободной, разрисованные морозом стекла сумеречно ее затемняли; кисло пахло устоявшимся табачным перегаром, холодным пивом. За стойкой, опершись локтями, в халате поверх пальто стояла широкая в плечах продавщица, игривым голосом разговаривала с молодым парнем, пьющим пиво,— шинель без погон горбилась на его спине, к столику прислонен костыль.

— Привет, Шурочка! — воскликнул Константин на пороге.— Холодище адово, а вроде посетителей нема! Один Павел тебя, что ль, тут веселит? А ну-ка налей нам по сто граммов коньячку для приличия!

— Здравствуй, Костя! На работку собрался с самого ранья? Мороз-то надерет сегодня...

Женщина, не без кокетства улыбаясь подкрашенными губами, зазвенела на мокрой стойке стаканами, повернувшись толстым телом, погрела ладони над огненной электрической плиткой, красными пальцами взяла коньячную бутылку. Парень поставил недопитую кружку, детски светлые глаза настороженно обежали фигуру Сергея, задержались на его погонах.

— Познакомьтесь — мой школьный друг Сергей! Капитан артиллерии, весь в орденах, хлебнул дыма через край,— представил Константин, перчаткой смахивая крошки со стола.— Шурочка, мы торопимся!

Парень подхватил костыль, ковыльнул к Сергею, протянул жилистую руку, сказал:

— Павел. Сержант. Бывший шофер. При «катюшах».— И озадаченно спросил: — А ты капитан? Когда же успел? С какого года? Лицо-то у тебя...

— С двадцать четвертого,— ответил Сергей.

— Счастли-и-вец! — протянул Павел и повторил с завистью: — Счастливец... Повезло.

— Почему счастливец?

— Я, брат, по этим врачам да комиссиям натаскался,— заговорил Павел с хмурой веселостью.— «С двадцать четвертого года? — спрашивают. Счастливец вы. К нам, говорят, с двадцать четвертого и двадцать третьего года редко кто приходит». А я с двадцать третьего... Ранен был, капитан, нет?

— Три раза.

— Все равно счастливец,— упрямо повторил Павел.— Только оно, капитан, счастье-то, по-разному выходит...

— Эй, хватит там про счастье! Его как подарки на елке не раздают! — крикнул Константин, раскладывая на тарелке бутерброды.— Садись, Сережка! А ты, Павел?

— Нет, не буду я. Пива можно,— ответил Павел, садясь против Сергея, и вытянул левую ногу.— Нельзя мне с градусами пить. Спотыкнешься еще. Я ногу лечу. По утрам часа два гимнастику ей делаю.

— А что с ногой? — спросил Сергей.

— Так. Ничего. Осколком под Кенигсбергом. А работать надо?..— вдруг спросил он высоким голосом.— Работать-то надо? Как же жить? И вот тебе оно, капитан, мое счастье... Куда ни кинь — везде клин. Ни в грузовые, ни в такси не берут. Кому нужен я? Нога... Как жить? Вот и говорю: счастливец ты, капитан,— проговорил Павел, жадно осушил кружку, перевел дух, раздувая ноздри коротенького носа.

— Завидовать мне нечего,— сказал Сергей.— Профессии никакой. Десять классов и четыре года войны.

— Ты бы, дорогой Павлик, на курсы бухгалтеров поступал. Сам читал объявления,— сказал Константин.— Милая, тихая профессия. Счеты, накладные, толстая жена. У бухгалтеров всегда уютные жены, много детей. Верно, Шурочка? — Он подошел к стойке, бросил новенькую, шуршащую сотню перед улыбающейся продавщицей, ласково потрепал ее по розовой щеке.— Сдачу потом, Шурочка.

— Счастливцы,— упорно бормотал Павел, глядя в пол.— Эх, счастливцы вы...

— Ты хочешь сказать — ни пуха ни пера? — спросил Константин.— Тогда — к черту!

Они вышли на морозный воздух, на яркое зимнее солнце.

Рынок этот был не что иное, как горькое порождение войны, с ее нехватками, дороговизной, бедностью, продук-

товой неустроенностью. Здесь шла своя особая жизнь. Разбитные, небритые, ловкие парни, носившие солдатские шинели с чужого плеча, могли сбыть и перепродать что угодно. Здесь из-под полы торговали хлебом и водкой, полученными по норме в магазине, ворованным на базах пенициллином и отрезами, американскими пиджаками и презервативами, трофейными велосипедами и мотоциклами, привезенными из Германии. Здесь торговали модными макинтошами, зажигалками иностранных марок, лавровым листом, кустарными на каучуковой подошве полуботинками, немецким средством для ращения волос, часами и поддельными бриллиантами, старыми мехами и фальшивыми справками и дипломами об окончании института любого профиля. Здесь торговали всем, чем можно было торговать, что можно было купить, за что можно было получить деньги, терявшие свою цену. И рассчитывались разно — от замусоленных, бедных на вид червонцев и красных тридцаток до солидно хрустящих сотен. В узких закоулках огромного рынка с бойкостью угрей скользили, шныряли люди, выделявшиеся нервными лицами, быстрым мутно-хмельным взглядом, блестели кольцами на грязных пальцах, хрипло бормотали, секретно предлагая тайный товар; при виде милиции стремительно исчезали, рассасывались в толпе и вновь появлялись в пахнущих мочой подворотнях, озираясь по сторонам, шепотом зазывая покупателей в глубину прирыночных дворов. Там, около мусорных ящиков, собираясь группами, коротко, из-под полы, показывали свой товар, азартно ругались.

Рынок был наводнен неизвестно откуда всплывшими спекулянтами, кустарями, недавно демобилизованными солдатами, пригородными колхозниками, московскими ворами, командированными, людьми, покупающими кусок хлеба, и людьми, торгующими, чтобы вечером после горячего плотного обеда и выпитой водки (целый день был на холоде) со сладким чувством спрятать, пересчитав, пачку денег.

Морозный пар, пронизанный солнцем, колыхался над черной толпой, все гудело, сновало, двигалось, выкрики, довольный смех, скрип вытоптанного снега, крутая ругань, звонки продаваемых велосипедов, звуки аккордеонов, возбужденные, багровые от холода лица, мелькание

на озябших руках коверкотовых отрезов, пуховых платков — все это, непривычное и незнакомое, ослепило, оглушило Сергея, и он выругался сквозь зубы. На какое-то мгновение он почувствовал растерянность.

Тотчас его сжала и понесла толпа в своем бешеном круговороте, чужие локти, плечи, оттеснив, оторвали Константина, уволокли вперед, голоса гудели в уши назойливо и тошно:

— Коверкот, шевиот, бостон, сделайте костюмчик — танцуйте чарльстон! Даю пощупать, попробовать на спичку!

— Кто забыл купить пальто? Граждане! Сорок восьмой размер!

— Полуботинки, не будет им износу! Эй, солдат! Не натерли те холку сапоги? Бросай их к хрену! Наряжайся в полуботинки! Гарантирую пять лет!..

— Что-о? Это кто спекулянтская морда? Сволочь!.. Я Сталинград защищал — вон смотри: двух пальцев нет! Осколком... Я тебе дам «спекулянт»! Так морду и перекосорылю!

— Штаны, уважаемые граждане, кому теплые ватные женские штаны? Прекрасны в холодную погоду!.. Я, гражданочка, вполне русским языком ответил: за вашу цену я их сам сношу! Все! Закон!

— Вы, товарищ капитан, на костюмчик, вижу, смотрите? Глядите, пожалуйста. Модные плечи. Двубортный, на шелку. Прошу вас... Я дешево...

Стиснутый кипевшей сутолокой, криками людей, Сергей очнулся от искательного простуженного голоса, увидел перед собой морщинистое, виноватое лицо, красноватые веки, несвежее кашне, торчащее к подбородку из облезлого воротника; через руку как-то робко был перекинут темно-серый костюм. Сергей резким движением освободился от сковавшей его тесноты, продвинулся ближе к этому человеку, сказал:

— Да, мне нужен костюм. Вы, кажется, продаете?

— Очень дешево,— забормотал человек,— именно вам, товарищ капитан... Именно вам...

— Почему именно?

— Костюм носил сын... Лейтенант... Два раза надел перед фронтом... Не вернулся...

— Нет,— сказал Сергей.

— Что вы?

— Костюм не возьму.

— Товарищ... Я прошу. Вы посмотрите костюм! — заговорил человек с мольбой.— Мне нужны деньги... Я прошу очень маленькую цену. Я даже ее не прошу. Вы назначьте...

— Костюм я не возьму,— повторил Сергей.

Он ничего не сумел объяснить этому человеку. Он никогда не брал и не носил вещей убитых. Преодолевая брезгливость, мог снять оружие с трупа немецкого офицера, просмотреть документы, записные книжки — это было чужое. Но особенно после боя под Боромлей он не испытывал любопытства к непрожитой жизни своих солдат. Убитый под станцией Боромля лежал лицом вверх в смятой пшенице, все тело, лицо были неправдоподобно раздуты от жары, будто туго налиты лиловой водой, вздыбленная грудь покрыта коркой засохшей крови — следы пулеметной очереди,— и трудно узнать возраст погибшего. Сергей достал из кармана его гимнастерки слипшуюся красноармейскую книжку и тотчас почувствовал, что задыхается... «Сержант Аксенов Владимир Иванович... 1923 год рождения... Домашний адрес: Москва, Новокузнецкая улица, дом 16, кв. 33...»

Он, Сергей, жил рядом. В переулке. Пять минут ходьбы. Может быть, они встречались на улице. Может быть, учились в одной школе... И в том, что убитый был москвич, жил совсем рядом, но они не знали друг друга, было нечто противоестественное, разрушающее веру Сергея в то, что его не убьют.

— Товарищ... Товарищ... вы посмотрите, вы осмотрите со всех сторон... костюм... Я не спекулянт. Вы лучшего не найдете. Это довоенный материал,— лихорадочно убеждал человек и все виновато, робко, теснимый толпой, совал костюм в руки Сергея.— Вы отказываетесь не глядя. Так нельзя. Это костюм сына...

— Эй, чего прилип к человеку? — хрипло крикнул кто-то за спиной, протискиваясь к Сергею.— «Костюм, костюм»! Может, военному брючки надо. Есть. Стальные. Двадцать девять сантиметров! Ну? По рукам? Твой рост! Проваливай, папаша!

Он локтем оттолкнул человека с костюмом.

— К черту! — сквозь зубы сказал Сергей, увидев перед собой сизое хмельное лицо.— Я сказал — мотай со своими брюками!

— Но, но! Здесь не армия, а рынок.., Не чертй! Сам умею!

— Я сказал — к черту!

Впереди, в гудении голосов, послышался возбужденный оклик Константина; он бесцеремонно — против крутого движения людей — проталкивался к Сергею; шарф на шее развязан, меховая шапка сдвинута со лба: казалось, было ему жарко. И, сразу все поняв, оценивающе окинув взглядом робкого человека, затем нагловатого торговца брюками, он сказал усмехаясь:

— Уже атаковали? Я сам тебе выберу роскошный костюм. Пошли!

Место, куда вывел он Сергея, было тихое — в стороне от орущей толпы, закоулок за галантерейными палатками, где начинался забор. Несколько человек с поднятыми воротниками топтались около забора, перед ними на зимнем солнце блестели кожей чемоданчики. Эти люди были похожи на приезжих. Двое в армейских телогрейках сидели, как на вокзале, на чемоданах, от нечего делать лениво играли в карты.

— Подожди здесь,— сказал Константин.— Твои офицерские погоны могут навести панику. Там иногда ходят патрули. Я сейчас.

Он подошел к забору, сейчас же двое в телогрейках поднялись и не без уважения пожали руку Константину. Тот, прищурясь, оглянулся на Сергея, по сторонам, потом все трое полезли через дыру в заборе — на пустырь. Люди возле чемоданчиков не обратили на них никакого внимания: притопывали сапогами, хлопали рукавицами, крякая от мороза, солидно переговаривались простуженными голосами.

«Черт его знает какая таинственность»,— подумал Сергей.

Рынок своей пестротой, своей накаленной возбужденностью вызывал в нем раздражение и одновременно острое любопытство к этому пестрому скопищу народа.

Рядом с галантерейными палатками, за которыми непрерывно валила, текла толпа, метрах в тридцати от забора заметен был высокий, узкоплечий человек в солдатской шинели; он потирал руки над многочисленными ящичками с блюдечками и подставкой, похожей на мольберт, обращаясь к смеющейся толпе, зазывно-бойко выкрикивал:

— Граждане, не что иное, как эврика! Послевоенное

открытие! Мыльный корень очищает все пятна, кроме черных пятен в биографии!

В двух метрах от него на раскладном стульчике за разостланным на снегу брезентом сидел парень-инвалид (рядом лежал костылек), ловко и быстро трещал колодой карт, перебирал ее пальцами, метал карты на брезент, приглашая к себе хрипловатой скороговоркой и нагловатыми черными глазами:

— Моя бабка Алена подарила мне три миллиона, два однополчанам раздать, один — в карты проиграть! Подходи, однополчане, фокусом удивлю, много не возьму! Подходи, друга не подводи! Туз, валет, девятка... По картам угадываю срок жизни!

В редкой толпе, сгрудившейся вокруг парня, ответно посмеивались, вытягивали шеи, все любопытно следили за картами, однако никто не просил показать фокус: видимо, не доверяли.

Со смешанным чувством грусти и любопытства к этому зарабатывающему на хлеб инвалиду Сергей долго глядел на худое зазывающее лицо парня, наконец сказал:

— Что ж... покажи фокус.

— Трояк будет стоить, товарищ капитан. Загадывайте карту! — обрадованно воскликнул парень.— Враз назову невесту!

— Загадал.

Сергей знал нехитрый госпитальный фокус, но виду не подал, когда проворный парень этот стремительно выщелкнул из колоды карту на брезент; под его распахнутой телогрейкой зазвенели медали на засаленных колодках.

— Дама! — сказал парень.— Червонная. Ваша невеста.

— Дама-то дама. Да не моя невеста. Давай следующий фокус.

— На десятой карте угадываю срок жизни.

— Угадывай.

Парень выложил карту с неуверенным азартом.

— Три года!

— Ва-атюшки светы, такой молодой! — ахнул в толпе голос.— Грехи наши тяжкие!..

Сергей невольно оглянулся, увидел в черном пуховом платке сморщенное старушечье личико, жалостливо мигающие веки, ему стало смешно.

— Не беспокойтесь, бабушка. Я сто лет проживу. Сто лет и три года.

— Сдается мне, товарищ капитан...— неожиданно проговорил парень и наморщил лоб.— Мы с вами нигде не встречались? Голос и лицо вроде знакомы... А?

— Слушай, и мне кажется, я тоже тебя где-то...— вполголоса ответил Сергей, вглядываясь в дрогнувшее лицо парня.— Ты был на переправе в Залещиках? На Днестре? Был?

Бросив колоду карт, тот медленно привстал, не отрывая от Сергея растерянного взгляда. По толпе прошелостел шумок удивления; кто-то прерывисто-длинно вздохнул, старушка в пуховом платке набожно зашевелила губами, мелко перекрестилась; засуетившись, локтем пощупала, прижала к боку свою кошелку, и тотчас начали расходиться люди, улыбаясь с сомнением,— все могло быть здесь разыграно: рынок не вызывал доверия.

— Не был я на Днестре,— выговорил парень.— Может, на Одере, на Первом Белорусском. В разведке. Я в полковой разведке...

— Мы шли через Карпаты, в Чехословакию,— ответил Сергей, еще минуту назад веря, что они где-то встречались.

— Обознались! — засмеялся парень и разочарованно повторил: — Обознались, значит! Эх, елки-палки!..

Сергей смотрел на его узкий, решительный, с горбинкой нос, на его медали под распахнутой телогрейкой — был он похож на тот заметный на войне тип людей, о которых говорят: такой не пропадет.

— Сколько зарабатываешь тут в день?

— Полсотни.— Парень запахнул телогрейку.— Инвалид второй группы. Пенсия — с воробьиный нос. Чихнуть дороже!

— У меня только тридцатка. Возьми,—проговорил Сергей.— На кой тебе этот цирк! Придумать что-то нужно.

— Ежели бы эту тридцатку па год! — едко хохотнул парень.— С тебя, капитан, денег не возьму. С тыловиков беру.

— Сергей, давай сюда!

От забора к палаткам быстро шел Константин, с веселым видом призывно помахивал снятыми перчатками.

— Ну как? — спросил Сергей.

— Все в порядке. Можешь швырять чепчик в воздух. Не полторы, а две косых дали за твои часики.— Констан-

тин перчатками похлопал по боковым карманам.— Здесь твои — две, здесь мои — пять. Вернули долг.

— Кто вернул? — Сергей взглянул на забор, где стояли люди возле чемоданчиков.— Те двое, в телогрейках?

— Долго объяснять. Не все ли равно? Пошли, выберу костюм. Только прошу — в торговлю не лезь. Все испортишь. Кстати, тебе пойдет строгий цвет. Ну, темно-серый. Верно?

— Не знаю.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В комнате Константина было жарко натоплено.

Сергею нравилась хаотичная теснота этой комнаты с ее холостяцкой безалаберностью, старой мебелью: громоздкий книжный шкаф, широкий диван, на котором валялись кипы английских и американских военных журналов, голливудских выпусков с фотографиями снежнозубых кинозвезд, и везде были беспорядочно разбросаны книги, на креслах, на спинках стульев висели галстуки, раскрытый патефон стоял на тумбочке, заваленной пластинками,— веяло от всего чем-то полузабытым, мирным, довоенным.

Сергей лежал на диване, распустив узел нового галстука, рассеянно листал затрепанный иллюстрированный журнал сорок второго года. Константин в белейшей, свежей майке брился перед зеркалом, задирая намыленный подбородок, говорил, указывая глазами на книги:

— Все это покупал на Центральном рынке, когда вернулся. Два месяца лежал на этом диване и читал как с цепи сорвался. Хотелось копнуть жизнь по книгам. Запутался к дьяволу — и пошел в шоферы. То, что говорили нам в школе о жизни,— примитивная ерунда. Помнишь, только думали о подвигах на пулеметной тачанке. «Если завтра война...» Красиво несешься на тачанке в чапаевской папахе и полосуешь из пулемета. «Полетит самолет, застрочит пулемет, и помчатся лихие тачанки...»

Константин усмехнулся, сделал жест бритвой, изображая пулеметные очереди.

— Какими романтичными сопляками мы были! — снова заговорил он, разбалтывая кисточкой пушистую, лезущую из стаканчика пену.— Сейчас мне ясно почему. Вспомни: везде побеждали — челюскинцы, рекорды летчиков, Стаханов. В этом-то и дело. О, все легко, все до-

ступно! И наше школьное поколение жило, как на зеленой лужайке стадионов. Нас приучали к легкой победе. Но зачем? А, бродяга! — Константин наклонился к зеркалу, пощупал щеку.— Режется, кочерга несчастная! Выпускают лезвия как для лошадей. А войну выиграли, леший бы драл, большой кровью. Не дай бог нам этих зеленых лужаек!

— Противоречишь сам себе,— сказал Сергей, рассматривая на обложке молодого светловолосого оберста[1], из бронетранспортера глядящего в бинокль на солнечно-снежный пик Эльбруса.— Мне хочется, чтобы вернулось то время. Но без криков «ура». По каждому поводу. Я хотел бы еще пожить в то время, среди ребят...

Он отбросил журнал, заложил руки под голову и стал глядеть в потолок на абажур, наполненный зеленым огнем. Было тихо, тепло. Сквозь зашторенное окно отдаленно, слабо донесся шум и звон трамвая. Сергей с размягченным задумчивым лицом прислушался к этому зимнему стихшему шуму, долетевшему сюда, во двор, через вечерние заснеженные крыши замоскворецких переулков, сказал:

— Иногда вот так, как сейчас, лежишь ночью, а на улице где-то прозвенел трамвай, и вдруг вспомнишь школу, метель, сидишь у окна, дребезжит стекло, последний урок... Витька Мукомолов сидит рядом, рисует яхты. Хотели пойти в мореходку, в торговый флот... Черт знает о чем только мы с ним не мечтали.

Константин в зеркале посмотрел на Сергея, двумя пальцами погладил выбритый подбородок.

— Я понял так: ты хотел, чтобы то вернулось?

— Может быть,— ответил Сергей.

— А мне кажется — только начинаю жить. Понял, Сережа? Только начинаю!

Рывком Константин стянул майку, перекинул полотенце через плечо, вышел на кухню. Было слышно в тишине, как зашепелявила вода в кране, звонко полилась, заплескала в раковину, как принялся фыркать, звучно шлепать себя ладонями по телу Константин, восклицая: «Ах, хорошо, дьявол! Отлично! Превосходная штука — вода!» Видимо, он испытывал возбуждение и удовольствие не только потому, что был здоров, крепок, но и оттого, что многое было отчетливо ясно ему, раз и навсегда

---

[1] Полковника.

понято в жизни, точно все знал, что надо делать,— и Сергей подумал с удивлением: Константин в чем-то опытнее его, может быть, потому, что вернулся с войны сроком раньше. И от этой его обретенной уверенности возникало ощущение покоя, не хотелось думать о том, что не было решено и было туманно, непонято.

— Долго будешь плескаться? — сказал Сергей задумчиво, хотя сам все время чувствовал странную тягу к воде, как будто хотелось смыть прошлую окопную грязь, пот, едкую гарь — порой даже мнилось, что от рук все еще дымно пахнет порохом.

— Ах, дьявол! Ах, здорово, ах, вундершен[1]! — ахал Константин, умываясь, и крикнул из кухни: — Я тебе покажу сегодня, Серега, роскошную жизнь! Завалимся в ресторан. В «Асторию»! Будем жить по коммерческим ценам!

Сергей снял со спинки стула, надел легкий, шелестящий серебристой подкладкой пиджак и, затягивая галстук, подошел к зеркалу. Он разглядывал себя внимательно: костюм шел ему, был лишь немного тесен в плечах, облегал фигуру, как китель; это ощущение (не хватало тяжести пистолета на боку) было ему знакомо.

Было незнакомо лицо — сильно обветренное, с новым, чуть смягченным выражением, от которого за четыре года он, пожалуй, отвык, белая сорочка подчеркивала грубую темноту лба, шеи, темноту глаз.

— Комильфо, вернувшийся в свет,— сказал Сергей, с грустным интересом узнавая и не узнавая себя.

Никогда в жизни он не носил ни галстуков, ни хороших костюмов, вернее, не успел до войны, и сейчас в этом шелковом галстуке, модном костюме, чудилось ему, было нечто полузабытое, далекое, когда-то вычитанное из книг.

— Костя! — позвал Сергей неуверенно.— Оценивай и рявкай «ура».— И рукой провел по поясу, будто машинально поправлял на ремне кобуру пистолета.— Ну как?

Причесывая мокрые волосы, вошел Константин, весь обновленный, свежий, смуглый румянец проступал на скулах, очень серьезно осмотрел Сергея, дунул на расческу, сказал:

— Наверно, и перед свадьбой,— если когда-нибудь

[1] Замечательно.

женимся, то, целуя невесту, будем хвататься за пистолет на заду... А костюм великолепный. И сидит здорово. Ты в нем красив. Девочки будут падать направо и налево. Только галстук, галстук! — воскликнул Константин и захохотал.— Нелепость в квадрате! Не то коровий хвост намотал на шею, не то шею на коровий хвост. Дай-ка завяжу.

— Ладно, действуй,— согласился Сергей, подставляя шею.

Константин ловко завязал Сергею галстук, застегнул пуговицы на его костюме и посоветовал:

— Ты не скромничай. Надень ордена. Все, до последней медали. Сейчас их носят все.

— Обязательно портить костюм?

— Это принципиально добровольно.

— Хорошо. Надену все — те, что дороги, и те, что не дороги!

Константин пожал плечами.

— У тебя есть такие?

— Трудно заработать первый орден.

Они вышли на улицу. К вечеру замételило. Снег порывисто вместе с дымом сметало с крыш, густой наволочью стремительно несло вдоль домов, заметенных подъездов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Огромный зал «Астории» встретил их нетрезвым шумом, жужжанием голосов, суетливой беготней официантов между столиками — той обстановкой зимнего вечера, когда ресторан полон, оркестр устал и музыканты, неслышно переговариваясь, курят, сидя за инструментами на эстраде.

Они, скинув шинели в вестибюле, вошли после холода улицы в теплое сверкание люстр и зеркал, в папиросный дым, и эта обстановка гудящего под блеском огней зала оглушила, ослепила в первую минуту Сергея, как и утром сегодня хаотичная толпа Тишинского рынка.

Стоя среди прохода, он оглядывал столики, эту пестроту ресторана с чувством ожидания и растерянности. Здесь было много военных всех званий — от лейтенанта до генерала, были здесь и безденежные штатские в потер-

тых, но отглаженных костюмах, и полуголодные студенты, получившие стипендию и скромно делящие один салат на четверых, и темные личности в широких клетчатых пиджаках, шумно пьющие водку и шампанское в компании медлительных девушек с подведенными бровями.

Свободных мест не было. Константин, слегка прищурясь, скользнул взглядом по залу, сейчас же уверенной походкой подошел к наблюдавшему у крайнего столика седому метрдотелю и тихо и внушительно сказал что-то. Метрдотель как бы проснувшимися глазами скосился из-за плеча в направлении Сергея, кивнул издали и, солидно откинув голову, повел их в глубину зала.

— Прошу вас сюда,— сказал он бархатным баритоном, передвигая чистый прибор.— Единственный столик. У нас в эти часы очень много посетителей. Кондеев!— строго окликнул он пробегавшего мимо сухопарого официанта.— Обслужите, будьте любезны, фронтовиков... Располагайтесь.

— Прекрасно,— сказал Константин.— Благодарю вас.

Они сели.

— Как тебе удалось в такой толкучке?— спросил Сергей, когда метрдотель с достоинством занятого человека отошел к своему месту.

Константин развернул меню, ответил улыбаясь:

— Иногда не нужно умирать от скромности. Я сказал, что ты только что из Берлина. И как видишь, твой иконостас произвел впечатление. Результат — вот он. Как говорится, шерсти клок.

— И это неплохо,— сказал Сергей.

Он посмотрел на ближние столики. Багровый, потный человек с налитой шеей (на лацкане нового пиджака — орденские колодки) быстро жевал, одновременно разговаривая, наклонялся к двум молоденьким, вероятно только что из училища, младшим лейтенантам. Младшие лейтенанты, явно смущенные бедностью своего заказа, отхлебывали из бокалов пиво, растерянно хрустели убогой соломкой; сосед их, этот багровый человек, пил водку, аппетитно закусывал ножкой курицы и, доказывая что-то, дирижировал ею.

Сергей перевел взгляд, мелькнули лица в дыму, и ему показалось — недалеко от эстрады девушка в сером костюме поглядела в его сторону с чуть заметной улыбкой и тут же снова заговорила о чем-то с молодыми людь-

ми и полной белокурой девушкой, сидевшими рядом за столиком возле колонны. Сергей сказал серьезно:

— Посмотри, Костя, у меня слишком пресная вывеска? Или идиотское выражение?

— Не нахожу,— произнес Константин, деловито занятый изучением меню.— А что? Обращают внимание? Пожинай славу. Молодой, красивый, весь в орденах. И с руками и ногами.— Он проследил за взглядом Сергея, спросил вскользь:— Вон та, что ли, со вздернутым носиком? Ничего особенного, середняк. Впрочем, не теряйся, Серега.

— Циник чертов.

Лавируя между столиками, подошел сухопарый официант, озабоченно махнул салфеткой по скатерти, сказал с приятностью в голосе:

— Слушаю, товарищи фронтовики...

— Бутылку коньяку — это во-первых... Какой у вас — «старший лейтенант», «капитан»?

— Есть и «генерал»,— ухмыльнулся официант, вынимая книжочку для записи заказов.— Все сделаем.

— Тащите сюда «генерала». И сочините что-нибудь соответствующее. От вашей расторопности зависит все дальнейшее.

— Одну минутку.— И официант понесся в тесном проходе среди столиков.

— У меня такое впечатление, что ты целыми днями торчишь в ресторанах,— сказал Сергей.— Пускаешь пыль в глаза, как миллионер!

— А, гульнем, Сережка, на всю катушку, чтоб дым коромыслом. Не заслужили, что ли?

— Когда ехал от границы по России,— проговорил Сергей,— почти везде керосиновые лампы, разрушенные станции, сожженные города — страшно становилось.

— Мы победили, Сережка, и это главное. Что ж, придется несколько лет пожить, подтянув ремень.

— Несколько лет?..

Внезапно заиграла музыка, зазвучали скрипки, говоря о печали мерзлых военных полей; в тени эстрады стояла певица с худеньким, бледным и стертым лицом, ее руки были подняты к груди.

Я кручину никому не расскажу,
В чистом поле на дорогу упаду.
Буду плакать, буду суженого звать,
Буду слезы на дорогу проливать,

В зале нервно покашливали. «Что это? Кажется, еще и война не кончилась?» — подумал Сергей, сжатый волнением, видя, как внимательно вглядывались в эстраду молоденькие младшие лейтенанты и, уставясь в одну точку, размеренно жевал багровый человек.

— «Буду плакать, буду суженого звать». Ничего гениального. А просто нервы у нас никуда,— услышал он голос Константина.

Тот разливал коньяк в рюмки, покусывая усики, поставил преувеличенно твердо бутылку на середину стола.

— Я понял одно: прошли всю войну, сквозь осколки, пули, сквозь все. И остались живы. Наверно, это счастье, а мы его не ценим. Так, может быть, сейчас, когда мы, счастливцы, остались живы, она нас подстерегает, глупая случайность подстерегает. На улице, за углом, на самолете, в какой-нибудь неожиданной встрече ночью. Остерегайся случайностей. Не летай на самолетах — бывают аварии. Не рискуй. Только не рискуй. Мы всю войну рисковали. Только не рискуй по-глупому.

Сергей, нахмурясь, выпил коньяк, сказал:

— Если бы я понял, что должен сейчас делать! На войне я рисковал, и в этом была цель. Я часто иду по улицам и завидую дворникам, убирающим снег. Уберет снег во дворе и войдет в свою жарко натопленную комнату, к семье. Что ж, пойти в институт? В какой? Да мне кажется, я не смогу учиться. Я завидую людям с профессией, каждому освещенному окну по вечерам. У тебя бывает такое?

— У меня?— Константин засмеялся.— Ты счастливец. Остался жив. Вся грудь в орденах. В двадцать два года — капитан. Перед тобой все двери распахнуты! У меня!— повторил он, хмыкнув.— Я, очевидно, не обладаю тем, чем обладаешь ты. Мы живы. Разве это не счастье, Сережка? Слушай, ну ее к дьяволу, болтовню. Пойдем танцевать. Танго. Здесь вперемежку — военные песни и танго. Выбирай любую, кто понравится. Кого бы мне выбрать на сегодня?

Константин подтянул спущенный узел галстука, загадочно оглядел соседние столики. Сергей видел его гибкую походку, его небрежную беспечность, когда он приблизился к выбранному столику, и то, как наклоном головы он смело пригласил тонкую темноволосую женщину, и она охотно пошла с ним. «Он живет ясно и просто,— подумал Сергей.— Он понял то, чего не понял я. Да, мы оста-

лись живы,— это, вероятно, счастье. Странно, я об этом не думал даже после боя. А вот когда нет опасности, мы думаем об этом. Случайность?.. Какая случайность? Ерунда! Вся жизнь впереди, что бы со мной ни было. Мне только двадцать два...»

И он с острым, пронзительным сквознячком ожидания взглянул на женщин, которые еще не танцевали.

Девушка в узком сером костюме сидела спиной к эстраде, говорила что-то, пальцами поглаживая высокую ножку бокала, молодые люди слушали молча, глядели на ее оживленное лицо.

«Я сейчас приглашу ее...» — подумал Сергей и, когда решительно подошел к столику, произнес негромко: «Разрешите?» — она повернулась, со вниманием посмотрела снизу вверх прозрачно-зелеными глазами, спросила мягким голосом, обращаясь к молодым людям:

— Вы мне разрешаете?

Они, не отвечая, натянуто-вежливо разглядывали Сергея, и он, понимая, что помешал им, все же сказал самоуверенно:

— Простите, но, думаю, они разрешат.

— Тогда танцуем все,— проговорил один из молодых людей.— Если уж...

— Правда, я плохо танцую,— с улыбкой сказала она Сергею и встала.

Когда она, положив руку ему на плечо, пошла с ним, подчиняясь ему, слабо прижавшись грудью, задевая его коленями, он удивился условности людских взаимоотношений,— эти когда-то выдуманные людьми танцы неуловимо разрушали человеческую разъединенность; он чувствовал ее сильные пальцы, сжимавшие его руку, будто была она давно знакомой, близкой ему, и вместе с тем чувствовал некоторую ее и свою неловкость от этих движений близости. Он видел морщинку на ее лбу, глаза чуть-чуть настороженно смотрели ему на грудь.

— Странно...— проговорил он.

— Что же странно?

Она вопросительно подняла взгляд. «Может быть, это и есть то, чего я хотел?— подумал он, увидев ее зрачки.— Ничего не надо. Только это. Только вот так...»

И вдруг все исчезло. Это было мгновение, которое он не уловил. Он только посмотрел в зал, желтый от дыма, и тотчас же, как от удара, оборвалась, смолкла музыка, и он словно мгновенно опустился в вязкую глухоту, чув-

ствуя, как пальцы в его руке шевельнулись, мягкий голос спрашивал о чем-то. Он даже улыбнулся этому голосу, что-то сказал, не понимая слов, и когда говорил и улыбался, то подумал: «Еще раз повернуться... возле крайних столиков, посмотреть. Я не мог ошибиться...»

Около крайних столиков он повернулся.

К этим столикам левее колонны шел человек в кителе без погон, белело при свете люстр холеное полное лицо, гладко зачесанные светлые волосы, ранние залысины над высоким лбом. Человек сел к столику, с краю женская сумочка блестела лаком на скатерти, и Сергея удивило то, что столик этот был вблизи стола, за которым только что сидели молодые люди, а он раньше не заметил такое знакомое лицо. И сейчас, облокотившись, человек этот, казалось, в рассеянности подносил папиросу ко рту, следил за танцующими.

Нет, он не мог ошибиться, не мог. Это — командир батареи капитан Уваров. Это он...

«Я сейчас подойду к нему, сейчас все кончится — и я подойду к нему,— вспышкой мелькнуло у Сергея.— Я подойду, как если бы...»

— Что вы?

И он очнулся, будто вынырнул из горячей пустоты, ощутил нажатие чужих пальцев на своем плече, и опять его словно обдуло ветерком — ее смеющийся голос:

— Вы перестали танцевать. Мы ведь стоим. Это что — новый стиль?

— Да, да...— машинально выговорил он, так же машинально отпустил девушку, договорил почти беззвучно: — Простите...— И не увидел, а почувствовал, как кто-то пригласил ее тотчас.

Всего пять метров, несколько шагов было до того столика, где сидел человек с полным белым лицом, было несколько шагов осенней карпатской грязи, засосавшей орудия, тела убитых, сброшенные в воду лотки со снарядами. Там среди убитых лежал на станинах раненый лейтенант Василенко...

Крупная рука этого человека поднесла папиросу ко рту, потом он, раздумчиво сдвинув брови, налил в бокал боржом. Не отводя глаз от танцующих, выпил, медленно вытер губы салфеткой. Помнил ли он сожженную деревню Жуковцы? Ночь в окружении и страшное серое октябрьское утро в Карпатах, когда орудия увязли на лугу и немецкие танки расстреливали их?..

Он курил и отхлебывал боржом, лицо исчезало в дыму, малюсенькая лаковая сумочка лежала на краю стола рядом с его локтем. Чья это сумка — жены, знакомой? Она, наверное, танцевала с кем-то.

— Капитан Уваров!..

Сергей не услышал своего голоса, только понял, что сказал это после того, как человек, вскинувшись, двинул локтем по столу, от нерассчитанного движения бокал с боржомом опрокинулся на скатерти.

— А, ч-черт! — выругался он и, перекосив губы, закрыл мокрое пятно салфеткой.— Что вам? — спросил громко, обтирая сумочку.— В чем дело?

— Не узнаете? — сказал Сергей чрезмерно спокойно.— Правда, я не в военной форме. Трудно узнать.

— Подожди... Подожди, что-то я припоминаю... что-то в тебе знакомое... — заговорил Уваров, голубые его, покрасневшие глаза сверху вниз метнулись по лицу Сергея, и что-то дрогнуло в них.— Капитан Вохминцев? Ты?! — налитым изумлением голосом воскликнул Уваров, вставая, и раскатисто захохотал, протянул через стол руку.— Ты — здесь? Демобилизовался? Из Германии?..

Сергей стоял не шевелясь, глядел на уверенно протянутую ему широкую кисть, и в ту же минуту в его сознании мелькнула мысль, что Уваров все забыл, и, чувствуя холодный, колющий озноб на щеках, стянувший кожу, сказал тихо:

— Сядем. Поговорим. Я демобилизовался,— хрипло добавил он.— Из Германии.

И Уваров, отдернув руку, опустился на стул, сказал резким, командным голосом:

— Что за чепуха, хотел бы я знать! Ты это что? Контужен?

— Мы никогда не были на «ты»,— сказал Сергей, напряженно, неторопливо закуривая, с удивлением видя, что пальцы его дрожат.— Мы не были друзьями.

— Ах, дьявол! — качнув головой, преувеличенно весело засмеялся Уваров и откинулся на стуле.— Обиделся? Все ерунда это! Давай выпьем за встречу, за то, чтобы на «ты». А? И не будем показывать свою интеллигентность!

Уваров поставил перед Сергеем рюмку, потянулся за графинчиком, добродушно морщась, но в то же время голубизна глаз стала жаркой, мутноватой, и по тому, как он внезапно захохотал и потянулся за графинчиком, угадывалось в нем настороженное беспокойство.

— Не пью,— проговорил Сергей, отодвинув рюмку.

— Да ты что? Трезвенник? Нич-чево не понимаю!— огорчился Уваров.— Встречаются два фронтовика, один не пьет, другой обижается, у третьего печенки, селезенки. Что происходит с фронтовиками?— Он накрыл своей рукой руку Сергея, спросил с доверительным простодушием: — Может, перехватил уже? Давно здесь веселишься?

— Брось, Уваров! Ты все помнишь!— сухо произнес Сергей и высвободил руку из горячей тесноты его ладони.

Уваров с судорожной усмешкой медлительно спросил:

— Ты пьян?

— Помнишь, на станинах лежал Василенко, когда я со взводом вытаскивал орудия из окружения? Помнишь?

— Ты пьян,— через зубы выговорил Уваров и, оглядываясь, позвал зычно:— Метрдотель, подойдите ко мне!

Он встал, застегивая китель.

За соседними столиками посмотрели в их сторону. Сергей твердо сказал:

— Если ты позовешь метрдотеля, я выйду на эстраду и скажу, что ты убийца. Я это сделаю.

— Ты это что?— злым шепотом спросил Уваров, опять тяжело садясь.— Будешь вспоминать Жуковцы? Будешь перечислять фамилии убитых? Обвинять меня? Нет, милый, надо обвинять войну. Так ты можешь обвинить половину строевых офицеров, в том числе и себя. У тебя гибли солдаты? А? Гибли?

— В одну могилу врагов и друзей не положишь,— ответил Сергей с трудом.— Братской могилы не получится.— Он глубоко затянулся дымом, чтобы перевести дыхание, договорил отчетливее:— Ты сам взялся поставить батарею на прямую наводку, не зная, где немцы. Когда Василенко сказал тебе в глаза, что ты дуб и ни хрена не смыслишь, ты пригрозил ему трибуналом...

— Не было этого! Вранье!

— Вспомни еще — утром танки окружили Жуковцы и прямой наводкой расстреляли людей и орудия. Всех — двадцать семь человек и четыре орудия. Но Василенко даже в болоте стрелял. А ты притворился больным и как последняя шкура просидел сутки в блиндаже. Бросил людей... А потом? Все свалил на Василенко — под трибунал его! Мол, он, командир первого взвода, погубил батарею,

В штрафной его! Ты, конечно, знаешь, что Василенко погиб в штрафном.

— Вранье!

— Ты отправил Василенко в штрафной. А в штрафной должен был пойти ты.

— Вранье!

Уваров стукнул кулаком по столу, лицо его туго набрякло, точно постарело мгновенно, потемнели мешки под веками, лоб и залысины облило потом; голубые, с красными прожилками глаза скользили то по груди Сергея, то по залу, и затем он качнулся вперед, кулаком потирая крутой подбородок, неожиданно со сдержанной досадой заговорил:

— Ну чудак ты, ей-богу! Если была какая неразбериха — на то война. Не косись, брат, на меня; я не хуже и не лучше других. Ты считаешь меня своим врагом, я тебя — нет. Просто думаю: ты хороший парень. Только мнительный. Выпьем, Вохминцев, за примирение, за то, чтобы... ко всем матерям это!.. Глупых смертей было много. Война кончилась — бог с ним, с прошлым. Предлагаю выпить за новую дружбу и все забыть!

Он повторил «все забыть», и в последней фразе голос набрал осторожную фамильярную мягкость, ладонь его быстро вправо-влево погладила скатерть, и эти движения будто хотели пригладить, сравнять все, что было осенью сорок четвертого года в Карпатах. Будто не было того октябрьского рассвета, залитого дождями луга, неудобно и страшно затонувших в грязи трупов солдат, четырех орудий, в упор разбитых танками. Василенко корчился на станинах, одной рукой прижимая скомканную, потемневшую пятнами шинель к плечу, в другой судорожно со всей силы стискивал масленый ТТ, дико выкрикивал: «Где он?.. Я прикончу эту шкуру... В штрафной пойду, а прикончу!..» — и плакал по-детски беспомощно.

Была тишина. Она пульсировала в ушах. Сергей почти физически почувствовал сырой запах гнилой воды луга, гнилого тумана, размокших шинелей, крови и чесночный запах немецкого тола... Тишина оборвалась.

Играл оркестр оглушающе беспрерывно, бил очередями барабан, вибрировала труба.

— Тебя не судили потому,— как сквозь ледяную стену, пробился к Сергею собственный голос,— что меня ранило на второй день на перевале. Я знал цену Василенко

и цену тебе. Ты всегда боялся меня, когда стал командовать батареей.

— Я? Боялся тебя? Я тебя никогда не боялся и сейчас не боюсь, сопляк! — не сдержался Уваров, и щеки его стали молочно-бледными.— Все понял? Или не понял?

— Нет. Теперь я тебя нашел.

Молчание. Оркестр не играл. Как из-за тридевяти земель, просачивались ватные голоса. Мимо столика тенями шли люди. Говорили... Отодвигались стулья... Что это, кончился танец? Скорее... Сейчас подойдет эта женщина, чья сумочка блестела лаком на столе. Скорее... Это мужское, не женское дело. Здесь никто не должен вмешиваться...

— Теперь я тебя нашел,— повторил Сергей, разделяя слова.— Я ничего не забыл.

Тогда Уваров вдруг навалился грудью на стол, глаза сузились озлобленно.

— Если ты... если ты встанешь... поперек моей дороги... Я тебя сотру! Понял, Вохминцев? Понял? Ты меня знаешь!

Сергей видел, как совсем немо шевелились узкие губы Уварова и крупная его рука нервно соскользнула со стола, потянулась к заднему карману. «Что ж, у него может быть оружие... он мог не сдать оружия»,— мелькнуло в сознании Сергея, и с какой-то возникшей ненавистью к шевелению этих узких губ, к его полным щекам он сказал тихо, презрительно:

— Для этого... ты трус.— И добавил еще тише:— Встань!

— Что-о?

— Встань!

Уваров поднялся, и в то же мгновение Сергей резко и коротко, снизу вверх, ударил его по лицу, вкладывая всю силу в удар, ощутив на миг мясистое и скользкое, тотчас увидел отшатнувшееся мелово-бледное лицо, запрыгавший подбородок Уварова. С треском отлетел из-под его большого тела стул к соседней колонне, от толчка со звоном опрокинулись рюмки на столе. Уваров, охнув, хватая руками воздух, упал на ковер в проходе, ошеломленно провел пальцами по носу, глянул на них бессмысленным, тупым взглядом и, переводя глаза на Сергея, издав горлом захлебнувшийся звук, прохрипел рыдающе:

— Держите его... Держите его...

Сергей стоял подле столика не отходя. Он стоял, как в пустоте, и лишь видел в этой туманной пустоте круглые глаза Уварова, ожидая, когда он встанет. Уваров не вставал. Размазывая кровь по трясущимся щекам, он лежал на боку на ковре и, раскачиваясь, повторял задыхающимся слабым криком:

— Он меня изуродовал... Держите его!.. Он меня изуродовал! Держите его!..

— Подлец и сволочь! — отчетливо проговорил Сергей, повернулся и спокойными, очень спокойными шагами пошел к своему столику.

Он смутно различал чернеющую толпу перед собой, какое-то движение, крики, возмущенные взгляды, обращенные на него. Кто-то с багрово-красным лбом цепко охватил его локоть, старательно повис сбоку, засопел в ухо. Сергей вырвал локоть, взглянул в пьяные зрачки этого негодующего багрового человека, сказал: «Не лезьте не в свое дело, разберется милиция»,— и тотчас услышал за спиной женский плач, оглянулся: толстая белокурая девушка, исказив сдерживаемым плачем губы, наклонилась над Уваровым, что-то спрашивала его, смятым платочком вытирала ему щеки. И с неприятным ощущением увидел он в толпе возле нее ту, с которой только что танцевал. Уваров замедленно поднялся. Тут же кто-то схватил Сергея за плечо, послышался голос Константина: протиснувшись сквозь толпу, он, потный, стал перед ним; в лице его, в блестящих глазах — волнение, готовое мигом обернуться помощью.

— Что случилось? Ты кого или кто тебя?

— Ничего,— сказал Сергей.— Пошли.

— Хулиган! — крикнул кто-то в спину ему.— Орденов полна грудь, а хулиганит! Безобразие! Позовите милицию! Убил человека... Здесь не фронт — кулаками махать! Фронтовиков позоришь!

Он увидел багрово-коньячное лицо того человека, который минуту назад цепко удерживал его за локоть; багровый кричал басом, бровки гневно взлетали — он забегал вперед, толкаясь, сновал среди людей, жаждал деятельности, возмущения, наказания. Сергей со злостью оглядел его рыхлую фигуру — от новеньких тупых полуботинок до фальшивой рубиновой булавки в немецком галстуке,— молча оттолкнул его.

Они сели за свой столик. Сергей был бледен, внешне

спокоен, только горячие струйки пота скатывались из-под мышек, он подтянул галстук и, чтобы не вздрагивали пальцы, выдернул папиросу из коробки, сильно сжал ее. Константин, как бы все поняв, чиркнул спичкой, дал прикурить, проговорил с успокаивающей невозмутимостью:

— Потом все расскажешь. Вытри пот с висков. Полное спокойствие. Придется иметь дело с милицией.

— Я этого и хочу,— сказал Сергей.

Он жадно выпил бокал ледяной фруктовой воды и снова отчетливо представил лежащего на ковре Уварова, искривленные плачем губы толстой некрасивой девушки — вспомнил и чуть поморщился. «Кто она ему — сестра, жена?» — подумал он без жалости к Уварову, с болезненной жалостью к ней, к ее некрасивому, искаженному болью лицу. «Что это я?— спросил себя Сергей.— Нервы размотались? Я готов пойти ее успокаивать, просить извинения?» И, помедлив, он ответил самому себе: «Нет. Она ничего не знает».

— Закажи еще фруктовой,— сказал Сергей.

Зал гудел голосами, возникло какое-то движение в проходе слева и около вестибюля; оркестр не играл, музыканты, переговариваясь, с любопытством поглядывали на столик, за которым сидел Сергей; донесся сзади чей-то крутой голос:

— Куда смотрит милиция?

«Почему люди осуждают по внешним признакам?— подумал Сергей.— Конечно, не он, а я ударил... Значит, ясно: виноват я... Видели кровь на его лице, его беспомощность, слышали его крик. Люди иногда судят просто: ударил человека — ты подлец, а не он; есть внешний факт, этого достаточно...»

— Почему вы его ударили, вы можете это объяснить? Что такое? Вы ведь фронтовик? И тот человек тоже фронтовик, судя по наградам!

Подошли двое к столику — молодой сухощавый подполковник, рядом — майор лет сорока, квадратный в плечах, неприязненно насупленный.

— Вы можете объяснить?— потребовал подполковник.— В чем дело?

— Нет. Это не объяснишь так просто. Если вы встречали на фронте подлецов, все станет ясным.

— Но драться в общественном месте...— строевым басом пророкотал майор, разводя руками; белый подворот-

ничок врезался в его налитую шею.— Нашли бы другие меры...

— Побить морду — не самое страшное,— вежливо заметил Константин.

— Другая мера — суд,— вполголоса ответил Сергей и, ответив так, на какое-то мгновение подумал, что страстно хотел бы этого суда, где мог сказать то, что знал. И добавил, подняв глаза на майора:— Собственно говоря, разговор произойти у нас не может. Смешно объяснять здесь причины.

— Леший ногу сломит!— сказал подполковник недоуменно.— Идите в вестибюль, здесь неудобно. Как я понял, вызвали милицию. Идемте, кажется, вы не пьяны?

— Думаю, нет. Пошли. Так будет удобнее.

Он привычно, как китель, одернул пиджак.

В холодноватом вестибюле с натасканным снегом на коврах полулежал на диване под тусклой пальмой Уваров: лицо умыто, бледно, чистым батистовым платком зажимал нос, веки полузакрыты, как у больной птицы. Некрасивая белокурая девушка — глаза красные, запухшие — что-то сбивчиво объясняла всхлипывающим голосом низкорослому капитану милиции, стоявшему посреди вестибюля с сизым, нахлестанным метелью лицом. Шинель была густо завьюжена, на плечах — пласт сухого снега. От него несло стужей улицы. Здесь же стоял с солидно-удрученным видом седой метрдотель, вокруг него в распахнутом пальто, в сбитой на ухо каракулевой шапке суетился возбужденно багровый человек, басовито выкрикивал:

— Это что же, а? Изуродовали человека!

Сергей, увидев столпившихся вокруг Уварова людей, капитана милиции, молчаливо расстегивающего забитую колючим снегом сумку, шагнул к нему, сказал:

— Вот документы.— Вынул и показал офицерское удостоверение.— Это я ударил.

Капитан милиции мрачно повел на него мокрыми бровями, полистал удостоверение, недобро глянул в лицо Сергея, затем — попросил Уварова:

— Ваши документы, гражданин.

Уваров, все так же придерживая одной рукой скомканный платок на носу, другой достал из кармана кителя

удостоверение. Капитан развернул его, посмотрел неторопливо.

— Понятно. Студент...

— Слушайте, капитан,— глухо сказал Уваров.— Произошло недоразумение. Я не вызывал милицию. Мы фронтовые друзья. Повздорили, и только.— Помолчал и повторил спокойно:— Это недоразумение.

В вестибюле студено дуло от дверей, широкие стекла окон искрились от уличного фонаря. Метрдотель покосился в сторону багрового человека, а тот рванулся к капитану милиции, вскрикивая с одышкой:

— Без-зобразие, фронтовиков поз-зорят!..

— Я вас дружески предупреждаю: лечиться надо от глупости, у вас серьезный недуг,— ровно и ласково отозвался Константин.— Поверьте уж мне...

— Разойдитесь, граждане, по своим местам!— скомандовал капитан, пряча документы в сумку.— Прошу!

Сергей смотрел на Уварова; Уваров как бы не замечал его, не повернул головы — сел на диван, со злой брезгливостью наблюдая за зыбким покачиванием на холодном сквозняке жестких пальмовых листьев; нервный румянец пятнами заливал молочно-белые его щеки. «Кто он сейчас — студент? Он — студент?» — почему-то не веря, соображал Сергей и отчетливо подумал, что ничего между ними не кончено, не может быть кончено, и сказал, обращаясь к капитану:

— Я могу быть свободным?

— Н-да,— неохотно взмахнул перчаткой капитан милиции.— Однако разберемся. Мы вызовем обоих.

— Пожалуйста. Я могу хоть сейчас...

— Нет, особо, гражданин, особо.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Кто этот хмырь?

— Капитан Уваров. Я тебе о нем рассказывал. Командовал батареей в Карпатах. Не думал встретить его здесь. Испортил весь вечер. Ну где твои левые машины?

— Метель, наверно, разогнала. Все «эмки» на вокзалах, ждут ночных поездов. А ты все же молодец, Сережка.

— Поди к черту! Идиотство все это!

Они стояли возле подъезда ресторана, возле высоких,

ярко освещенных окон, проступавших среди темной улицы Горького. Около фонарей тротуары плотно завалило снегом, снежный дым несло вдоль огрузших в ночи домов. Сергей поднял воротник, сунул руки в карманы шинели, сказал:

— Пойдем к Охотному ряду. Метро до часу.

— Глупо, но истина.— Константин затоптался, щурясь от снега, летящего в лицо.— Мне, Сережка, мешают деньги. Две тысячи. Их хочется вышвырнуть, иначе сожгут карман. К тому же я ничего не сказал Зоечке. Танцевал, раскидывал сети... Предлагаю: втроем завалиться куда-нибудь...

— Езжайте куда хотите!— сказал Сергей раздраженно.— Мне осталось пятнадцать минут — закроют метро.

— А может?

— Ничего не может. Пока!

— Физкультпривет! До завтра!

Константин стряхнул кожаной перчаткой белые пласты с груди и, оставляя следы на снегу, быстро зашагал к подъезду ресторана; завизжала промерзшая дверь, со стеклянным звуком захлопнулась.

Сергей шел вниз по улице Горького, чувствуя упругие толчки метели в спину; справа, мутно темнея, медленно проплыло здание Центрального телеграфа. Улица спускалась к Манежной площади, и впереди в мелькании, в движении снега кругло засветились электрические часы на углу — без десяти час. Под часами бесшумно проскользил оранжевыми окнами поздний пустой троллейбус.

Были прожиты сутки и пятьдесят минут новых суток. В этот день он не чувствовал одиночества. Он почувствовал его лишь тогда, когда встретился с Уваровым,— люди, о которых помнил он и которых не было в живых, были, казалось, ближе, дороже, роднее ему, чем отец и сестра...

Да, вот он дома: зима, снег, фонари, тихие замоскворецкие переулки, свободные утра, горячая голландка, улица Горького, довоенный телеграф, метро — ночное; заваленные снегом подъезды. Он все время ждал прежней мальчишеской легкости, теплых июльских дней, всплеска весел и фонариков на Москве-реке в сумерках, спорящего голоса Витьки Мукомолова, который любил носить белую майку, обтягивающую сильные плечи. И была Надя в летнем платьице, с загорелыми коленками. Это было. Витька Мукомолов пропал без вести. И Нади нет. Погибли почти

все, кого он знал в девятом и десятом классах. Жизнь сделала крутой поворот, как машина, на этом крутом повороте многие, почти все, вылетели из машины, и он остался один. Только он и Константин...

Сунув руки в карманы, Сергей шел по улице, порывы метели пронизывающим холодом хлестали по груди, по лицу, и он невольно опять вспомнил о сталинградских степях, о тех дьявольских морозах сорок второго года.

Потом близко зажелтел сквозь снег освещенный изнутри вход в метро на другой стороне.

Он перешел улицу, услышал впереди женский смех и поднял голову. Перед входом в метро, под широкими окнами, двое мужчин с веселым оживлением придерживали за локти тонкую высокую девушку; она, смеясь, прокатилась по зеркально-черной, продутой ветром ледяной дорожке на тротуаре, и они стали прощаться. Девушка в мужской меховой шапке, размахивая планшеткой на ремешке, кивнула этим двум, провожавшим ее, исчезла в вестибюле метро. Морозный пар вылетел из махнувших дверей.

Сергей отогнул жесткий от инея воротник шинели, вошел в электрический свет пустынного вестибюля, машинально поглядел на часы — без пяти час. Вчера он вернулся в три часа ночи. На какую-то долю минуты он увидел себя как бы со стороны — человек, ведущий ночную жизнь, после четырех лет разлуки редко бывающий дома,— и, чувствуя внезапную жалость к Асе, к отцу, распахнул дверцу в крайнюю автоматную будку с запотевшими стеклами, поискал гривенник в кармане. Дома, конечно, могли не спать — ждали его.

— Досада какая... Разъединили. У вас не будет десяти копеек?— послышался звучный голос, и он взглянул, проталкивая гривенник в гнездо,— девушка в мужской меховой шапке, выставив одну ногу в белом ботинке из соседней будочки, рассматривала на кожаной перчатке мелочь; офицерская планшетка на ремешке свешивалась через ее плечо.

Он опустил трубку, монета звонко ударилась в коробке возврата. Он сказал полусерьезно:

— Пожалуйста. Рад, что могу вам помочь.

— Спасибо.

Она задержала на его лице взгляд, и он узнал ее. Но не было уже той странной близости, рожденной ее по-

слушными движениями, сильным пожатием руки при поворотах, когда они танцевали. Они были чужими, не знающими друг друга людьми, разделенными этим вестибюлем, этими автоматными будочками и намерениями, с которыми они подошли к телефонам. «Кому она звонила?— подумал он.—Кто были те двое, что были с ней? И, кажется, Уваров сел около них за соседний столик?.. Но, может быть, это показалось?»

Она улыбнулась несмело.

— Я вас не ограбила?

— Звоните, я найду еще гривенник,— сухо сказал Сергей и снова вошел в будку.

Она вошла в свою, однако не закрыла плотно дверь, оставив щелочку, как бы не стесняясь Сергея,— он видел меховую шапку, белую от снега, по-мальчишески сдвинутую со лба, край глаза, пар дыхания. Она набрала номер привычно, быстро, послушала и, задумчиво водя пальцем в перчатке по стеклу, повесила трубку. Он заметил это.

— Вам нужен еще гривенник?

— Нет. Никто не подходит.

В его трубке были длинные гудки.

— У меня тоже. Нам, кажется, не везет сегодня обоим.

Не ответив, она вышла, начала застегивать расстегнувшуюся планшетку, никак не могла справиться с кнопками, он тоже вышел из своей будки и усмехнулся:

— Разрешите, я помогу? Здесь нужно уметь. Я четыре года носил эту штуку. Может быть, что-нибудь получится.

И преувеличенно развязно взял планшетку, новенькую, гладкую,— такие новые, неисцарапанные, не потертые в траншеях никогда не носил он. Легко застегнул кнопки, с четкостью услышав в пустом вестибюле резкие щелчки в тишине, и выпрямился — она неспокойно и вопросительно глядела на него. Он спросил:

— Вы что, боитесь меня?

— Нисколько. Но зачем это? Я сама сумею щелкнуть кнопками. Спасибо.

— Пожалуйста.

Он надел перчатки, небрежно козырнул, пошел по гулкому безлюдному вестибюлю к лестнице, ведущей вниз, в теплоту огней подземного коридора метро. И тотчас приостановился на повороте, задержанный простуженным окриком:

— Гражданин, придется вернуться, последний поезд отошел!

Навстречу, покашливая, шмыгая валенками, шел милиционер вместе с усталой курносенькой девушкой в форме.

— Черт! — сказал Сергей.

— Без всяких чертей, товарищ,— наставительно произнес милиционер.— Ничего не поделаешь. По рельсам домой не потопаете. Вертайтесь.

— Черт! — повторил Сергей.— Не повезло!

Он начал подыматься по лестнице назад, заметил бегущие по ступеням вниз белые боты, полы расклешенного пальто, с досадой сказал:

— Возвращайтесь назад. Могу вас обрадовать. Метро закрыто.

— Как закрыто?

— Закрыто, закрыто! — на весь вестибюль начальственно крикнула курносенькая девушка в форме.— Освобождайте, граждане! Не задерживайте, я закрываю.

Возле метро снег закрутился на тротуаре, ожег кипящим холодом, ветер ударил Сергея в бок, подхватил, замотал планшетку девушки. Она, щурясь на Манежную площадь, придерживая пальто у сдвинутых колен, проговорила беспомощно:

— Хоть бы одна машина!..

Он увидел ее белое лицо, покрасневший нос, зажмуренные от ударов снега глаза, и это лицо показалось ему тусклым и жалким.

— Вы далеко живете? — отрывисто спросил Сергей, но ответа не последовало.— Я спрашиваю: далеко живете? Где ваш дом?

— Вам-то что? — Она из-за воротника прижмурилась на него.— Вам-то что до этого?

— Бросьте! — проговорил Сергей почти грубо.— Замерзнете к черту в своих ботиках, в этих перчатках. Где вы живете? Чего вы боитесь? Говорите...

Она молчала, сжав губы. Он сказал по-прежнему грубовато:

— Ну? Вы думаете, провожать вас мне доставляет колоссальное удовольствие?

Стоя боком, она засмеялась и вдруг повернулась к нему:

— Ну, положим, я живу на Ордынке. Это вам что-нибудь говорит?

— Говорит: полчаса ходьбы. Вам повезло. Нам почти по дороге. Идемте!

— Спасибо!— Она с насмешливой гримасой наклонилась, поправила застежку бота, потом сказала:— Ну что ж...

— Тогда пошли!

Когда миновали Исторический музей, чернеющий мрачной громадой, и когда зачернел угрюмо-пустой храм Василия Блаженного на краю Красной площади, по которой катились волны метели, оба замедлили шаги — ветер здесь, на открытом пространстве, наваливался со злой неистовостью; над головой в стремительных токах сухого снега гремели, дергались вдоль тротуара обмерзлые ветви деревьев. Полы ее пальто, планшетка, подхваченные ветром, жестко хлестали Сергея по затвердевшей шинели.

— Идемте быстрей!— поторопил он.

Оттого, что он говорил с ней дерзко, как с мужчиной, и оттого, что она, сопротивляясь, пошла за ним, он почувствовал какое-то грубое превосходство над ней, но одновременно возникала и неловкость.

— Не торопите меня, пожалуйста!— невнятно проговорила она в воротник, остановилась и опять поправила бот уже раздраженно.— Я не хочу бежать, это мое дело! Мне вовсе не холодно, а жарко!

На мосту окатило их жгучим пронзительным паром, несло снизу запахом ледяной стужи — стало невозможно дышать. Они ускорили шаги — была видна через накаленные ветром перила черная вода незамерзших закраин у берегов. Но когда, минуя поток стужи на мосту, вышли по сугробам на угол Ордынки, Сергей почувствовал, что она споткнулась, и механически, непроизвольно, взял ее за рукав, покрытый наростом снега.

— Ну что?

— Ничего,— ответила она.

И, задыхаясь, сняла его руку с локтя. Спросила:

— Просто интересно — сколько сейчас градусов мороза?

— Двадцать пять, по крайней мере.

Метель с гулом ударила по крыше дома, загремело железо, в снежном воздухе пронеслось гудение проводов.

— Придется подождать. На правой ноге жмет туф-

ля...— Она пошевелила ногой в ботике.— Господи, кажется, онемела нога. Это просто анекдот,— сказала она, стараясь улыбаться.— Бывают в жизни глупые вещи. Можно не обморозиться в Сибири и обморозиться в Москве. Что вы так смотрите? Смешно?

— Не вижу ничего смешного. Заходите в какой-нибудь подъезд. И ототрите ногу! Иначе вам долго не придется носить туфельки. Идите сюда!— приказал Сергей.— Слышите? Идите сюда!

Он подошел в первому подъезду, рванул заваленную сугробами дверь. Дверь подалась, завизжала, и, еще держась за обледенелую ручку, он оглянулся. Она, хромая, с напряжением улыбаясь, все-таки вошла в подъезд, а он, пропустив ее вперед, крепко захлопнул дверь и, очутившись в настуженной темноте, отвернул жестяную от мороза полу шинели, принялся шарить спички.

— Ищите место, садитесь,— снова приказал он и едва зажег спичку окоченевшими пальцами.

Она посмотрела на него настороженно, дунула на огонек, сказала:

— И так видно. Не мешайте своими спичками...

Подъезд был темен, грязен, с сизо искрящимися от инея стенами, пахнущий подвалом и кошками; обшарпанная лестница уходила наверх, в черноту этажей, безмолвных, мрачно ночных.

Сергей, отвернувшись, нетерпеливо ждал. Он слышал, как она щелкнула застежкой бота, стукнула о лестницу туфлей, стала что-то делать, и тотчас словно увидел, как, неловко сидя на ступенях, она озябшими руками осторожно растирает пальцы на онемевшей ноге, держа ее на весу,— и с мгновенной жалостью сел рядом с ней на ступеньку.

— Кладите ногу ко мне на колено!— сказал он тихо.— Давайте я разотру. Мне приходилось это делать.

— Я закричу,— сказала она неуверенно.— Слышите, закричу! И разбужу весь дом...

— Кричите,— ответил он.— Сколько хотите.

И уже совсем решительно откинул полу шинели, положил ее ногу на колено — ладонями почувствовал тонкий шелковый чулок, скользкий, ледяной от холода, твердую и крепкую икру. Он ровно, сильными движениями начал растирать ей ступню, все время ощущая в потемках настороженный взгляд на своем лице.

— Ну как, лучше?— выговорил Сергей.

— Мне... неудобно сидеть,— прошептала она.

— Потерпите,— сказал он.— Еще немного.

— Порвете чулок,— выдохнула она жалобно и замолчала.

Тогда он спросил, задохнувшись:

— Что ж вы не кричите?

Она прошептала:

— Мне больно... хватит...

Было какое-то движение: искала рукой бот или туфлю, вплотную подвинулась к Сергею — он неожиданно ощутил своей щекой холодную влагу меха воротника, смешанную с теплотой дыхания, почувствовал на плече тяжесть ее опершейся руки и, чувствуя этот сырой, слабо пахнувший морозом мех, видя ее мокрое лицо, порывисто и неуклюже поцеловал ее в дышащий теплом рот.

Она тряхнула головой, отстранилась изумленно.

— Ого! Салют! Вы это что — в армии так?

— Именно...— пробормотал Сергей растерянно и встал, от внезапного волнения, от неловкости этой злясь на себя, уже плохо слыша, как рядом скрипнула застежка ее надетого бота, но, когда она ветерком прошла мимо, задев его полой пальто, снова в сумеречном воздухе подъезда его коснулся запах сырого меха.

— Как вас звать?— негромко спросил Сергей.— Я с вами почти целый вечер... и не знаю.

Прислонясь к перилам, она ответила насмешливо:

— Вы всегда так знакомитесь?

Он плечом толкнул дверь парадного.

Преодолевая порывы метели, шли по сугробам. Она шагала, наклоняясь, смотрела под ноги, дыша в мех воротника, и Сергей спрашивал себя: «Зачем? Что это я?»

На углу он приостановился, молча закурил, прикрыв ладонями огонек спички.

Она тоже молча подняла голову, зажмурилась, на лицо тенями мелькало отражение снега. Вверху, окутанный метелью, в белом кольцевом сиянии горел фонарь. Она спросила:

— Что вы остановились?

— Далеко ваш дом?— спросил Сергей.

— Можете злиться, но не надо курить на морозе,— сказала она, вытянула из его пальцев папиросу, бросила в снег, затоптала каблуком.— Во-первых, меня зовут Ни-

на. Надо было раньше спросить. Ну ладно! — Она засмеялась и своей снятой перчаткой стряхнула снег с его шапки и плеч.— Посмотрели бы на себя — весь в снегу, как индюк в муке! Называется — допровожались! Идемте ко мне, погреетесь. Я отряхну вас веником. Так и быть.

Он только еле кивнул.

Вошли во двор, тихий, весь заваленный сугробами.

— Вот здесь,— сказала Нина, взглядом показав на окна, темнеющие над крышами сараев.

Она открыла забухшую на морозе, обитую войлоком дверь, и оба вошли в темноту парадного.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Сергей проснулся от странного безмолвия в незнакомой комнате, лежал в постели с тревожным, замирающим ощущением, не мог сразу понять, где он.

Стекла окон золотисто горели. Была тишина утра. За стеной в соседней квартире передвигали стулья, слабо доносились голоса. Над головой звеняще тикал будильник. И он вдруг все вспомнил до ясности отчетливо, все то, что было вчера.

Он помнил, как они поднялись на второй этаж и она ввела его в свою комнату. Метель обдувала дом, ударяла по крыше, свистела в чердачных щелях, но ветер не проникал сюда, в тишину, в ночной уют, в запах чистоты, покоя, где веяло теплом, домашней устроенностью и зеленым куполом в полумраке светилась настольная лампа.

Потом они сидели подле открытой дверцы печи, в которой неистово кипело, трещало пламя, было паляще-жарко коленям, сидели без единого слова, и он украдкой смотрел на Нину, а она смотрела на огонь... После того как он вел себя с ней нарочито грубо, после того как он вошел в эту маленькую, незнакомую комнату, ему трудно было нащупать нить разговора, преодолеть неловкость, быть прежним, каким недавно был на улице и в том подъезде; он еще чувствовал на спине холод озноба, боялся — голос его будет вздрагивать.

— Кто вы?— наконец спросил он.— Военная медсестра, врач? Как вы очутились в ресторане?

— Закройте дверцу. Так лучше,— попросила она, а когда он закрыл, взглянула с шутливой благодарностью.— А то сгорят мои шелковые чулки. То есть как — кто я?

Она, смеясь, откинула волосы.

— Да нет,— сказал он, усмехнувшись.— Кто вы вообще?

— Ну, положим, я геолог. И вернулась с Севера. И очутилась в ресторане. Отмечали мой приезд. А вы как там очутились?— Она поставила ногу на полено, глядя на огненное поддувало.

— Просто так,— сдерживая голос, сказал Сергей. И договорил:— Просто так. Без всякой цели.

Она спросила минуту спустя:

— Зачем вы его ударили? Мстили за кого-то? Мне показалось...

— Не будем об этом говорить,— сказал он.

— Но я хорошо знаю Таню.

— Какую Таню?

Засунув руки в карманы, он с хмурым лицом прошелся по комнате, прохладной после колючего жара печи, постоял у окна, прижался лбом к веющему острым холодом стеклу, повторил:

— Сейчас не хочется говорить.

Он опять присел к печке, раскрыл дверцу, выбрал самое большое полено и, взвесив его на ладони, положил в огонь. Полено захрустело, горячо и буйно закипело в пламени, выделяя пузырящиеся капли сока на торце, и в этот миг охватившего его тепла и тишины он заметил сбоку двери свою шинель, висевшую рядом с ее пальто, заметил мокрый мех воротника и тогда особенно стыдно вспомнил, как неуклюже поцеловал ее в подъезде. И, вспомнив ее изумленно отклонившееся лицо, быстро сказал, пытаясь шутить:

— Кажется, я выполнил свою миссию. Простите. Мне пора.

Было тихо в комнате; ветер с гудением проносился за стенами дома.

Она не ответила. Только повернулась и посмотрела как бы просящими помощи глазами, и он совсем близко увидел виновато подрагивающие уголки ее губ.

— Нина, что ты хотела сказать? Что ты хотела сказать?..— вдруг с трудом, вполголоса заговорил он, видя виновато и робко вздрагивающие губы, и не договорил,

и так порывисто и неловко обнял за плечи, целуя ее — стукнулся зубами о ее зубы.

«Кто она? Как это получилось?»

Он оделся, и тут ему бросилось в глаза: прижатая ножками будильника на тумбочке белела записка.

Он осторожно взял ее — мелкий круглый почерк, бисерные буквы:

«Сережа! Я ушла. Всё на столе. Делай что хочешь. До вечера. Нина».

Звонко тикал будильник, и этот единственный звук подчеркивал безмолвную пустоту квартиры.

Сергей ходил по комнате, в смолистом свете утра теплел воздух, становился розовым, и вещи Нины — ее серый свитер на спинке стула, ее узкие туфли под тахтой — тоже мягко теплели от зари. Это были ее вещи, которые она носила, надевала, которые прикасались к ее телу.

«Кто она? Как это получилось?»

Он долго глядел в окно.

После вчерашней метели двор, крыши сараев были наглухо завалены розовеющим свежим снегом, на крышах четкими крестиками чернели по чистой пелене следы ворон... И эти следы на утреннем снегу тихим и сладким толчком тревоги стискивали горло.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Он вернулся домой в десятом часу утра.

Сквозь сон смутно донесся возмущенный шепот Аси, ворчливое бормотание отца — голоса жужжали, колыхались где-то рядом, а он в полудреме старался вспомнить, что было вчера — неожиданное, оглушающее, счастливое,— все, что случилось с ним.

И, уже очнувшись от сна, Сергей с минуту еще лежал, не размыкая глаз, слыша около себя голос Аси, и почему-то хотелось улыбнуться от звенящего и горячего чувства радости.

— Папа, он сопьется — каждый день возвращается на рассвете! Уверена, ходит к каким-то гадким женщинам. Его пиджак пахнет отвратительными духами. Ты чувствуешь? Именно не одеколоном, а духами...

— Не замечаю,— скрипуче отвечал отец.— Вообще,

скажи, пожалуйста, откуда это у тебя — «гадкие женщины»? В твои годы странные познания! Духи... какие духи?

— У тебя нет нюха,— со слезами в голосе выговорила Ася.— Я давно говорила. Тебе что керосин, что духи — одно и то же!— И с негодованием воскликнула:— Ужас какой!

Сергей вздохнул, как будто только сейчас просыпаясь, громко затрещав пружинами, повернулся от стены — и снова, как вчера, светло ударило по глазам уютным солнцем морозного утра, ослепительной белизной окна.

В комнате топилась печь, попискивали котята в коробке, отодвинутой от багровеющего поддувала. Ася, заспанная, аккуратный передник повязан на талии, стояла посреди комнаты, зеркально-черные глаза возмущенно смотрели на пиджак Сергея, висевший на стуле.

— Ах, ты проснулся!— воскликнула она даже испуганно как-то.— Здравствуйте, донжуан несчастный!

Отец, в очках, с сосредоточенным выражением занятого человека, ползал на четвереньках перед дверью, держал галошу в руке и, нацеливаясь, щелкал этой галошей по полу, по солнечным полосам, кряхтел от усилий.

— Э, паршивцы! Пошла прочь!

Исхудавшая кошка зевала, следила за взмахами галоши, изредка мягко вытягивала лапу, лениво играя.

И Сергей, не поняв, в чем дело, засмеялся беззаботно, откинул одеяло, сказал с счастливой веселостью:

— Что у вас здесь? Клопов щелкаете? А ну, Аська, марш в другую комнату, одеваться буду!

— Он еще командует! Лучше бы молчал!— Ася вспыхнула, выбежала, мелькнув передником, в другую комнату, крикнула за дверью:— Просто какой-то кошмар!

Отец, нацелясь, хлопнул галошей, досадливо забормотал, обращаясь не к Сергею, а вроде бы к кошке:

— Мураши. Откуда эти мураши зимой? Брысь, окаянная, все б тебе играть, а котята голодные. А ну — геть! Лезь к своим чадам.— Он подтолкнул кошку к коробке, где возились котята, потом снял очки, взглянул на Сергея близорукими глазами.— Доброе утро, сын...

— Доброе утро... Николай Григорьевич!..— живо ответил Сергей и запнулся с неловкостью человека, заговорившего фальшивым тоном.

Он часто ловил себя на этой фальшиво-фамильярной интонации в разговоре с отцом, которая не позволяла на-

звать его ни «отцом», ни «папой», создавала некоторую натянутость в их взаимоотношениях, заметную обоим.

Отец смущенно бросил галошу к двери, сел на стул, на спинке которого висел пиджак Сергея, протер, повертел в пальцах очки. Густая серебристость светилась в его волосах; и было почему-то нечто жалкое в том, как он протирал и вертел очки, в том, что его вылинявшая, довоенная пижама была не застегнута, открывала неширокую грудь, поросшую седым волосом.

Был он до войны статен, темноволос, удачлив во всем; поздним вечером приходил с работы, кидал портфель на диван, целовал мать — красивую, сияющую весело-приветливыми глазами; маленькие сережки, как две капли росы, сверкали в ее ушах; затем отец садился за стол, часто рассказывая о разных смешных случаях на комбинате, которым руководил, при этом хохотал заразительно, молодо.

Во время войны сразу и навсегда кончилась молодость отца, и возник новый его облик, в который Сергей не мог поверить. Из писем знакомых стало известно, что на фронте отец сошелся с какой-то женщиной — медсестрой из полевого госпиталя, и тогда Сергей, ошеломленный, с бешеной злостью написал ему, что не считает его больше своим отцом и что между ними все кончено.

Он узнал, что отец, комиссар полка, выводил два батальона из танкового окружения под Копытцами, прорвался к Вязьме, был тяжело ранен в грудь и позже тыловым госпиталем направлен на окончательное излечение в Москву. Николай Григорьевич застал Асю одну в полупустом, эвакуированном доме, мать умерла. Отец неузнаваемо постарел, обмяк и как бы опустился: лежал целыми днями на диване в своей комнате, плохо выбритый, безразличный ко всему, не ходил на перевязки, с утра до вечера читал старые письма матери, но не говорил ничего. После излечения его уволили в запас.

Он долго не работал. У Николая Григорьевича были серьезные неприятности, осенью его вызывали несколько раз в высокие инстанции — всплыло дело о потере сейфа с партийными документами полка во время прорыва из окружения, отец жил в состоянии равнодушия и беспокойства одновременно и наконец устроился на тихую, совершенно не соответствующую его прежнему характеру работу — бухгалтером на заводе «Диафото», объясняя это своим нездоровьем.

Третьего дня вечером Сергей, вернувшись от Константина, вошел к себе и, раздеваясь, услышал из другой комнаты раздраженные голоса — отца и соседа по квартире Быкова. Он прислушался, удивленный.

— Никакой рекомендации я тебе не дам, никогда не дам! — говорил отец, взволнованно покашливая. — Я отлично помню шестнадцатое октября. Ты сказал мне: «Конец! Погубили страну, дотанцевались!» И посоветовал порвать партийный билет, бросить в уборную! Так это было? Так! Мол, революция погибла! Так и расскажи в партбюро своей текстильной фабрики: был момент, когда не верил ни во что!

— Ты болен!.. — донесся надтреснутый голос Быкова. — Ты болен тогда был, болен! В бреду все привиделось. И ты не чистенький, Николай Григорьевич! Я твою коммунистическую совесть наизнанку знаю, как вот пять пальцев. На фронте с бабой спутался, может, из-за этого и жена твоя умерла, а? По себе о людях судишь?

— Вон отсюда... вон! — шепотом выговорил отец.

Дверь распахнулась — Быков толкнул ее плотной, обтянутой кителем спиной, вышел, пятясь, щеки розовые, глаза неподвижно остекленели, остановились на сжатых кулаках отца, наступавшего из комнаты.

— Ты... ты убил свою жену, вот где твоя совесть старого коммуниста... — бормотал Быков и, перекатив глаза на Сергея, возвысил голос, замахал перед грудью отца пальцем. — Во-от каков твой отец, коммунист, во-от, смотри на него!..

— Вы что, с ума сошли? — спросил Сергей, видя болезненное лицо отца и багровое лицо Быкова, озлобленно махавшего пальцем в воздухе.

Сергей, едва сдерживая себя, двинулся к Быкову, взял его за ворот, коснувшись толстой шеи, и, тряхнув так, что затрещал китель, вывел его, грузного, потного, в коридор и тут предупредил:

— Еще одно слово — и я вас вытряхну из кителя. Поняли?

— Пусти! Рукам воли не давай! — удушливо выкрикнул Быков и, одергивая китель, оглядываясь зло, засеменил новыми, обшитыми красной кожей бурками по коридору к своей двери.

— Ты все слышал? — спросил потом отец, осторожно поглаживая левую сторону груди. — Все?

— Нет. Но я понял.

После Николай Григорьевич, казалось, все время испытывая неловкость и неудобство, помнил эту сцену, и сейчас, в это солнечное морозное утро, присев возле быстро одевавшегося Сергея, он спросил с некоторой заминкой:

— Как дела, сын? Настроение как?

— Настроение великолепное. Перспективы шоферские. Умею водить «виллис», «студебеккер», «бээмвэ»,— ответил Сергей.— Вчера слышал по радио — набирают на курсы шоферов; Шаболовка, пятнадцать. И говорил об этом с Костей, он старый шофер. Подучусь, буду водить легковую или грузовую, все равно. Аська, входи, я уже в штанах!— крикнул он, перекинув мохнатое полотенце через плечо.

— Это, конечно, перл остроумия!— отозвалась из-за двери Ася.— Просто все падают от смеха! Ха-ха!

Она вошла, худенькая фигурка очерчена солнцем, взгляд немигающий, ядовитый.

— Ты прожигаешь жизнь! Поздравляю! Ты вращаешься в светском обществе! Поздравляю! Твой новый костюм пахнет отвратительными духами. На нем был женский волос — отвратительный, золотистого цвета. Покрашенный, конечно.

— Не думаю,— сказал Сергей.— Что касается волоса, то это наверняка Костькин. Вчера он щеголял по Москве без шапки. Был ветер, волосы летели с него, как с одуванчика. Он страшно лысеет.

Ася презрительно возразила:

— С каких пор Константин стал золотистый? Оставь, пожалуйста! Я не дальтоник. Не морочь мне голову. Все очень остроумно. Были пострадавшие от смеха.

— Мороз. Потрясающе действует мороз.

Он звучно поцеловал ее в щеку, Ася отстранилась, произнесла неприступно:

— Я не люблю эти неестественные нежности. Обращай их, пожалуйста, к... своему пиджаку.

— Ася, при чем здесь пиджак?— вмешался Николай Григорьевич.— Что это такое? Хватит, пожалуйста.

— Ничего не хватит, папа!— ревниво перебила Ася, блестя глазами.— Он нас не видит и не хочет видеть. Он, видите ли, скуча-ает!..

— Аська, только не молоти чертовщину,— сказал Сергей.— Не хочу ссориться, честное слово. Когда двое ссо-

рится по мелочам, оба виноваты. Я хочу быть правым.

Николай Григорьевич в раздумье потер о колено дужки очков.

— Значит, в шоферскую школу? Н-да. Ничего советовать не могу, ты взрослый человек. Только одно: у тебя ведь десять классов, капитан артиллерии. Доволен будешь? В институт не тянет?

— Все забыл, что учил в школе. Таблица Менделеева, бином Ньютона — тень в безумном сне. Не хочется начинать все сначала, с детских штанишек. Не усижу за партой.

— Зато усидишь в грузчиках,— вступила Ася.— Это ужасно находчиво и современно!

— Когда меня оскорбляют родные сестры, я ухожу в ванную.

Сергей засмеялся, приподнял Асю, опустил на стул и вышел в коридор коммунальной квартиры.

Ванная была занята, ровный плеск воды, кашель, кряхтение доносились оттуда. Сергей, не задумываясь, постучал, узнав по сопению и вздохам соседа Быкова.

— Здесь очередь, уважаемый товарищ!

Из кухни, освещенной солнцем сквозь замерзшее окно, пахнуло теплом — духом соленой поджаренной рыбы, картошки и жирным ароматом тушенки, кофе,— запахами недавних квартирных завтраков. Около плиты с обычным запозданием (вставали поздно) шумно и бестолково возились со сковородкой соседи по квартире: художник Федор Феодосьевич Мукомолов, высокий человек с бородкой клинышком, и его жена — художница Эльга Борисовна, женщина худенькая, спокойная, поблекшая, совсем седая уже. Мукомолов дымил торчащей в сторону набивной папиросой, держал за ручку шипящую сковородку, Эльга Борисовна сыпала из пакета яичный порошок в баночку, говорила усталым голосом:

— Ты ничего не понимаешь, Федя, ты на редкость бестолков в этих делах. Надо сначала маргарин. Все сгорит. Отпусти, пожалуйста, сковородку. И вынь папиросу. Ты сыплешь пепел в разные стороны.

— Не может быть! — Мукомолов согнулся к плите, затряс бородкой над сковородой.— Надо искать, Эленька, искать. Вода заменит маргарин. Я утверждаю. Маргарин — это каноны. Надо ломать каноны. Совершенно верно.

Он постоянно придумывал новшества в кулинарном искусстве, потрясая и убеждая всю квартиру: мясо надо жарить на воде, можно жарить и варить маринованную селедку, поджаривать овес и грызть его, как семечки,— великолепное средство от гипертонии, укрепляет физические силы, удлиняет жизнь.

С вечной папиросой в зубах, он при встречах старомодно снимал шляпу, раскланивался, зимой и летом носил демисезонное пальто, никогда не болел, по утрам гремел в своей комнате гантелями и гирями; порой, идя в ванную или уборную, появлялся на пороге кухни в галошах на босу ногу и в трусах, а вслед ему несся оклик Эльги Борисовны:

— Федя, Федя, ты меня удивляешь! Вернись! Оденься приличнее!

Считали его безвредным человеком, с чудинкой, что и должно быть, разумеется, свойственно художнику, и тем более бросалось в глаза, что Мукомолов-отец ничем не был похож на своего сына Виктора, довоенного друга Сергея.

— Добрый день, здравствуйте, Сергей Николаевич!— воскликнул радостно Мукомолов, не выпуская из левой руки держак дымящейся сковородки и выкидывая Сергею правую руку, будто даря ее.— Гимнастику делали? Нет? Плюньте на ванную. М-м... Петр Иванович Быков подолгу, знаете... Слабость. Идемте ко мне. Нет, нет, идемте ко мне! У меня гири, гантели. Эля, держи сковородку. Я убегаю. Прошу вас, Сергей Николаевич.

Он выпустил сковородку, подхватил Сергея под локоть, потащил по коридору к своей двери, провожаемый упрекающим взором Эльги Борисовны.

Комната Мукомолова, большая, очень светлая от снега и солнца, с кучей дров подле голландки, была увешана и заставлена картинами: портрет беловолосой веснушчатой девочки — губы изогнуты наивной улыбкой полумесяцем; крымские пейзажи; летнее росистое утро на лугу; глубинный мрак чащи с редкими пятнами на листьях; застывшая осенняя вода, затянутая туманцем в ожидании дождя. Сергей провел взглядом по стенам — и внезапно повеяло жарой, палящим солнцем у белых стен крымских домиков, до ощутимости запаха понесло прохладой из мрачной чащи близ тусклой осенней воды,— спросил удивленно:

— Это все ваше?

— Вот великолепные гири, вы только обратите внимание, разного достоинства — от килограмма до пуда, вот вам! — торопливо говорил Мукомолов, сбрасывая со стула измазанные красками потрепанные штаны, и показал стоявшие здесь гири.— Берите и занимайтесь. Я — каждое утро и даже вечером.— И, смеясь глазами, погладил бородку.— Видите ли, чтобы сделать что-нибудь полезное на этом свете, надо колоссальное здоровье иметь. Особенно в искусстве. Титаническое здоровье Льва Толстого. Несокрушимое здоровье.

— Это все ваше?— опять спросил Сергей, оглядывая картины, и улыбнулся.— Кажется, я все это видел. Через такой луг шли под Лисками. Здесь нас бомбили. В этом урочище под Боромлей... Орудия стояли на опушке.

— Вы ошибаетесь, это... это не Лиски и не... как это, Боромля,— оживляясь, шаря по карманам спички, заговорил Мукомолов.— Но это так, так... ассоциации. Так, так... Вы правы. Садитесь, садитесь.

Торопясь, зажег спичку, прикурил, помахал спичкой, гася, бросил на пол, будто стряхнул нечто, обжегшее пальцы. В волнении начал искать свободный стул — свободных не было: два около мольбертов неряшливо завалены тюбиками красок, кусками пестро заляпанного картона, заставлены чашечками с мутной водой. Мукомолов фыркнул дымом в бородку, сказал виновато-весело:

— Простите, все стулья сожгли в войну. Сухие венские стулья отлично разжигали печь. Пустяки. Минуточку, минуточку. Вот сюда. Вот сюда, сюда зайдите. Как это вам? А?

Взяв за локоть Сергея, завел его за мольберт, повернул спиной к окнам и, скрестив на груди свои большие руки, склонил голову набок, словно бы прицеливаясь.

На мольберте на холсте — задавленный сугробами московский двор без забора, часть улицы, снег на мостовой; солдат, опустив вещмешок, растерянно стоит у двух столбов, где прежде были ворота, в нерешительности ищет глазами номер дома, мальчишка с санками, задрав голову, впился в молодое лицо солдата, рот приоткрыт.

Мукомолов сжал локоть Сергея и тотчас замахал погасшей папиросой, рассыпая в разные стороны пепел, бросил ее в чашечку с водой.

— Нет, нет, мальчишка не его сын! Нет, нет! Это еще до конца не выражено. Нет,

Он снова схватил толстую папиросу из коробки на стуле и заходил по комнате чуть прыгающей, возбужденной походкой.

— Мне один критик говорит: у вас серая гамма! Нет света оптимизма. Вы понимаете? Но чувства, чувства, человеческие эмоции! «Серая гамма»! Все люди делятся на две половины: больных и здоровых. Для одних — диета, для других — нет. Так вот этот критик относится к тем, кто кушает только белый хлеб. Черный несъедобен для него: боится, расстроится желудок! Он бы уничтожил Левитана, растряс бы Саврасова в клочья! Вот вам!

Мукомолов трескуче закашлялся, глянул на Сергея, слушавшего и не совсем его понимавшего, лицо неожиданно подобрело, засветилось беззащитно, мелкие морщинки звездочками собрались на висках.

— Простите, Сергей Николаевич, меня ужасно кусают эти критики.— И сейчас же спохватился, вскричал: — А гири? Возьмите себе пудовую! Прекрасно по утрам. Вы молоды, но молодость проходит — не успеешь по сторонам посмотреть. А как нужно здоровье! Для того чтобы кое-что сделать в искусстве, титаническое здоровье надо иметь. Да, да! Хотя бы чтоб доказать, что ты недаром жил, недаром!

Раздался громкий стук из коридора. Дверь приоткрылась, в щель просунулся Быков, весь распаренный, младенчески-розовый после ванны, пророкотал жирным баритоном:

— Ванна свободна. Эльга Борисовна сказала: тут вы. Пожалуйста.— Он улыбнулся одной щекой Мукомолову.— Молодость, Федор Феодосьевич. Не терпится. Очередь, говорит, собралась...

— Входите, входите, Петр Иванович,— пригласил Мукомолов широким жестом.— Что вы в дверях?

— А, показываете новенькое что?

Быков солидно внес свое небольшое упитанное тело, был по-воскресному — в полосатой пижаме, чисто выбритые щеки лоснились, запахло цветочным одеколоном.

— Всё рисуете, всё образы рисуете,— заговорил Быков, туманным, как бы размякшим после ванны взором глядя не на Мукомолова, а на Сергея, и приблизился к мольберту, расставил ноги в широких штанах пижамы.— Н-да... Так... Хм, н-да... Нравится вам, Сергей Николаевич?

Сергей промолчал — общество Быкова было неприятно ему.

— Вы отойдите, отойдите от картины, Петр Иванович.— Мукомолов смущенно потеребил бородку.— Так нельзя... Когда Рембрандт показывал своего «Блудного сына», все подошли близко и ничего не увидели. Рембрандт сказал, чтобы отошли от картины — краски дурно пахнут. Все отошли и изумились. Я не прошу, разумеется, изумляться, но нужно уметь смотреть картины.

Быков насмешливо обежал глазами комнату, поинтересовался:

— А для кого же картины эти рисуете, Федор Феодосьевич? Для музея иль для себя... так, для удовольствия? Деньги-то платят? Ну вот этот солдат сколько стóит?

— Я не оцениваю своих картин! Я не продаю их даже в музеи, как вы говорите! Их не покупают! Сейчас не покупают. Но я не гонюсь за деньгами, нет, нет! Я очень давно не продавал... не выставлялся! Но у меня около тысячи законченных акварелей, и, если каждую оценят минимум по две тысячи рублей, это два миллиона. Вот вам! Съели? — Мукомолов едко засмеялся.

— Эт ты, ого!— выговорил Быков и хлопнул себя по ляжкам.— Выходит, с миллионщиком в квартире живем! Лады, лады... Разбогатеете — миллион займу.

Быков понимающе поглядывал на Мукомолова, на скупую обстановку комнаты, будто снисходительно сочувствуя, жалея и этого неудачника Мукомолова, и эту обстановку, и картины его. И Сергею стало неприятно, зло на душе.

— Вы знаете, что такое реле?— спросил он.

— Что? Какой реле?

— В машине есть реле, которое должно срабатывать.

— Хм,— произнес Быков, настораживаясь.— Как так?

— Оно у вас не срабатывает!

Мукомолов ходил, почти бегал по комнате, наталкиваясь на разбросанный багет в углах.

— Да, да, у меня, может быть, тысяча акварелей!

Вошла Эльга Борисовна, неся сковородку, поставила на маленький столик и, раскрасневшаяся от жара плиты, пальцами отвела волосы со лба, проговорила упрекающе:

— Федя! Ты всех заговорил. Ты просто удивляешь,

Как не стыдно! Человек шел в ванную, ты затащил его... Человек стоит с полотенцем. Петра Ивановича тоже задержал.

— Я зайду к вам позже,— сказал Сергей и пошел к двери.

Мукомолов бросился за ним, на пороге схватил за руку, заговорил с веселой доказательностью:

— Сергей Николаевич, мы должны с вами по утрам рубить дрова, пилить дрова в сарае. На свежем воздухе. Это лучшая гимнастика. Если вы составите компанию...

— Сережа,— тихо позвала Эльга Борисовна,— зайди к нам вечером. Я прошу тебя, очень прошу.

— Да, я зайду обязательно,— ответил Сергей.— Я зайду обязательно,— повторил он.

— Я никакие секреты не слушаю,— ухмыльнулся Быков значительно.— Валяйте, валяйте, я ухожу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

До войны Быков с женой вселился в девятиметровую комнату в конце коридора, затем, в сорок первом году, в «клетушку» эту, как называли ее жильцы, въехал инженер-холостяк. Работавший тогда в московском интендантстве, Быков по ордеру райисполкома занял большую светлую комнату, принадлежавшую прежде Мукомоловым. Она пустовала. Мукомоловы не входили в нее, точно пугало их пыльное безмолвие пежилья, школьные дневники на столе, книги Паустовского и Грина в шкафу, запыленные гири и гантели возле дивана. До вселения Быкова все здесь оставалось так, как в тот день, когда Витька Мукомолов уходил в ополчение. Были только вынуты из ящиков стола школьные дневники, и стояла на подоконнике чернильница-непроливайка, покрытая пылью, с засохшими по краям чернилами. И тишина в этой комнате не стирала, не притупляла боль Мукомоловых. Боль была тем сильнее, что никто не сообщил, не написал, не рассказал, где и когда погиб сын. Эльга Борисовна была уверена дикой, не соглашающейся ни с чем верой, что погиб сын в плену осенью сорок второго года, что прошел он и окончил свой путь той ночью, физически ощутимой ею.

В ту октябрьскую ночь мокро шлепал, шумел по крыше дождь, ветер пищал, гудел, проникая в ходы голланд-

ки, и в мрачно-холодной темноте комнаты было слышно, как старая липа во дворе, наваливаясь, корябала стены дома.

Ей казалось, кто-то рядом, знакомый и незнакомый, приходил и уходил из зеленого мира, из шума деревьев, улыбался ей, смотрел в глаза, а она сквозь мучительную тяжесть полусна старалась вспомнить: чей это такой знакомый, такой родной облик, и не могла вспомнить, ощутить его. И вдруг отчетливо и вместе бестелесно выплыл из темноты внятный голос: «Мама!..» Она очнулась — перехватило судорожно горло, села на постели, пальцами вцепилась в подбородок, лихорадочно вспоминая: «Боже мой, кто это? Кто это?..»

Она дрожала, озираясь на черные стекла.

Влажно плескал, стучал дождь, мокро шуршало в углах, скребло и ходило за стеной дома, будто шаги хлюпали в грязи, по лужам, широко и фиолетово вспыхивали окна, и она внезапно увидела среди этого света очертания человеческой головы, прильнувшей к стеклу.

— Мама!..— послышалось ей.

— Витя?!

Она вскочила с постели, упала, больно ушибла ногу, босая выбежала в коридор, в пронизанный сыростью тамбур, плача, распахнула дверь в темноту ночи, хлюпающую, двигающуюся, крикнула с мольбой:

— Витя!.. Витя!..

С плеском лил дождь, ветер резко, сильно ударял дверью о стену тамбура. Никто не подходил к ней. Ей стало страшно.

— Витя, Витя,— шепотом звала она, трясясь от рыданий.

Федор Феодосьевич, перепуганный ее криком, ничего не понимая, выскочил следом за ней в одном белье, едва увел в комнату, кашляя, тяжело дыша, зажигал спички — никак не мог прикурить,— спрашивал только:

— Что? Что?

— Витя... Витя... Заглянул в окно. Я... слышала его голос...

Мукомолов говорил растерянно:

— Что ты, Эля, что ты! Это же листья, смотри, прилипли к стеклам. Листья... Эля, успокойся. Где у нас валерьянка?.. Что с тобой?

— Это он... он, я слышала,— повторяла она.— Я видела его... Он звал меня...

— Что ты, Эля, что ты!.. Это осенняя гроза...

Потом, уже в постели, она проговорила тихо:

— Он погиб.— И, как бы прося пощады, уткнулась в худую волосатую грудь мужа.— Он погиб сегодня... в плену...

На фронте странно было читать Сергею в письмах Аси, что Витька Мукомолов пропал без вести. И, сопротивляясь этому, не верил, не хотел верить в его смерть.

С гибелью Витьки уходило что-то, отрывалось навсегда — и исчезал прежний зеленый и летний мир школы.

Вечером Сергей пришел.

Сидели, пили чай с конфетами «драже», полученными по карточкам; абажур низко светился над столом, покрытым старенькой скатертью.

Мукомолов молчаливо отхлебывал чай и после каждого глотка набивал над табачной коробкой толстые гильзы, шумно сопел, двигал под столом ногами. Эльга Борисовна маленькой сухой рукой все время распрямляла уголок скатерти, взглядывая на Сергея беспомощно спрашивающими глазами, говорила ровным голосом:

— Я помню его в последний раз... прислал нам письмо, мы совершенно не знали, где он находится. Просил сухарей, папирос. Совершенно случайно на открытке мы прочли штамп: «Бутово». Я пошла пешком до Красной Пахры. А там — леса... Я искала целый день. Везде солдаты... Не знаю, как меня не задержали. Я его нашла. Он был в какой-то грязной майке и очень бледный. Как он был удивлен! «Мама, как ты меня нашла?— спросил он.— Ты ходила, искала в лесах?» Ты знаешь Витю! Я спросила: «Почему ты грязный?» Он ответил: «Учимся стрелять».— «А почему ты такой бледный?» — «Мама, ты знаешь, какое время...» Он отпросился от вечерней поверки и пошел меня провожать — я торопилась в Москву. Я помню, он шел со мной слева, на голову выше меня, и грыз орехи. Я привезла ему орехи. А вечер был хороший такой, тихий... Витя смотрел куда-то, и глаза его были одинакового цвета с небом. Он уже смотрел по ту сторону мира. Он попрощался со мной, поцеловал меня в щеку, я и сейчас ощущаю... «Ничего, мама, все пройдет...» Это было последний раз, когда я его видела. На следующий день поехал Федор Феодосьевич, там уже никого не было. Валялись консервные банки, одежда, их там переодели...

Эльга Борисовна погладила чайную ложечку, перело-

жила ее, переставила сахарницу и по тому месту, где была сахарница, провела пальцами.

— Он погиб в сорок втором году, в плену. Двадцать седьмого октября.

— Эля! — Мукомолов задвигался на стуле, поднял бородку, нацелясь на синее окно.— Нам никто не сообщил, что Витя погиб в плену. По всей вероятности, из-под Бутова их направили под Ельню. Да, да, видимо, так. Там были страшные бои, самолеты ходили по головам, танки. А они, ополченцы — мальчишки, художники, профессора,— с винтовкой на двоих... против этих танков. Вот как было. Их окружили, несколько тысяч... Художник Севастьянов был в ополчении, бежал из плена, из Норвегии, Эля. Жив сейчас. Если Витя в плену...

— Если бы он был жив, он бы вернулся. Нет, теперь я ничему не верю. Я помню его глаза, когда он поцеловал меня.

Наклонив голову, Эльга Борисовна осторожно тронула правую бледную щеку, где будто жил не тронутый временем тот поцелуй в Бутове, скорбно улыбнулась Сергею влажными глазами. Сергей с хмурым вниманием помешивал ложечкой в стакане.

Он знал, что говорить сейчас о том, что пропавшие без вести возвращаются, как говорил об этом неловкими намеками Федор Феодосьевич, убеждать, что Витька жив и может вернуться,— значило лгать.

Мукомолов закашлялся, не вынимая папиросы из зубов, и, задохнувшись кашлем, заходил по комнате мимо синевших окон, стиснул до хруста руки за спиной.

— Ополчение...— заговорил он вскрикивающим шепотом, оглядываясь на дверь.— О, это московское ополчение! Школьники, студенты, профессора. Там погибли — я уверен, да, да! — Лев Толстой, Репин, Эйнштейн...

Эльга Борисовна заплакала, по-детски закрыв узенькими ладонями лицо.

— Простите, Сережа, простите! Федя, прошу тебя, не кричи,— умоляюще, сквозь слезы попросила она, поднялась, плотнее закрыла дверь, постояла у двери, вытирая глаза, стараясь через силу улыбнуться Сергею.— У нас Быков, когда поругается на кухне, то всегда кричит: «Я тебя посажу!» Странно как-то... Ведь коммерческий директор большой фабрики... Все же он был майор, воевал...

— Быков? — проговорил Сергей.— Какой он майор!

Заведующий складом в Германии. Возле складов не воюют!

— Эля! — вскрикнул Мукомолов.— Не переводи разговор, мне нечего бояться. Я пуганый воробей, старый, поживший пес. Я хочу знать. Я хочу спросить у Сергея Николаевича. Он был другом моего сына, и я спрашиваю его как сына, да, да... Сережа, как вы думаете, знал ли это Сталин?

— Не знаю,— ответил Сергей.

Мукомолов, сконфуженный, пробормотал вроде про себя: «Да, да,— ткнул недокуренную папиросу в пепельницу на столе, в несколько глотков жадно допил остывший чай и после молчания, продолжая набивать гильзы табаком, снова пробормотал: — Непонятно это, да, да». Эльга Борисовна по-прежнему гладила, теребила уголок скатерти, голубые жилки выделялись на ее маленькой руке. Сергей взглянул на грустное лицо Мукомолова, спросил:

— Вы не договорили, Федор Феодосьевич?

Мукомолов в задумчивости не отводил глаз от коробки с табаком, ноздри широкого носа раздувались.

— Ваше поколение было прекрасно и благородно воспитано. Вы ни в чем не сомневались, вы верили — и это отлично. Ваши прекрасные школьные учителя вас прекрасно воспитали.— Мукомолов покашлял, нервно подергал бородку.— Странно... Странно и страшно получилось... Дети умерли, погибли в бою, в плену, а родители живут... Это непонятная, чудовищная несправедливость — старшее поколение не должно переживать молодое, никогда!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Час спустя Сергей лежал на диване в своей комнате, погасив свет,— был лимит на электроэнергию. Топилась на ночь голландка.

Разнеженная теплом кошка дремала возле постреливающей печи, блаженно вытянувшись, мурлыкая. Котята, вылизанные ее языком, с мокрой шерсткой, жалобно пищали, искали ее открытый мягкий живот, нажимали лапами вокруг сосков.

Сергей взял одного из котят, влажного, теплого, растопырившего лапы, пустил его себе на грудь: существо это

беспомощно зашевелилось, дрожа слепой мордочкой, оскальзываясь лапами, заползло к горлу, тоненько пища, тыкалось дрожаще-нежно мокрым носом в шею и подбородок Сергея.

Он погладил его по шершаво-слипшейся спине.

— Дурак ты, дурак.

В слоистых потемках однотонно щелкали костяшки отцовских счетов в соседней комнате.

Сергей, лаская, гладил котенка, и было ему неспокойно, грустно, как ни разу не было с тех пор, как он вернулся. Лежа на спине, он вспоминал встречу с капитаном Уваровым в «Астории», Нину, вечер у Мукомоловых — и чувствовал, что был растерян и не хватало ему ясности и простоты; не было того, что представлялось месяц назад в гремящем прокуренном вагоне, мчавшемся домой, чего ожидал и хотел он.

— Ну что пищишь, дурак ты, дурак? — шепотом сказал Сергей и положил в коробку растопырившего лапы котенка.

Вечерняя тишина стояла в квартире. Розовое пятно — отсвет печи — суживалось и расширялось на стене, еле слышно щелкали в тишине счеты, шуршала бумага, и как сквозь теплую толщь слабо пробивалась едва уловимая музыка — то ли радио, то ли заводил кто-то патефон. Константин?.. Он дома?

«Жить как Константин? — спрашивал себя Сергей.— А что потом? А дальше как? А завтра, а через год? Да что задавать вопросы? Видно будет... Все будет видно... Главное, я дома... Но почему именно мне повезло, Константину, двум из школы — случайность?»

Звонок в прихожей. Три раза. Движение в глубине квартиры, шаги в коридоре, туго бухнула замерзшая дверь, голоса. Опять бухнула дверь, зазвенела пружиной. Тишина. Щелкнул выключатель, вкрадчиво постучали — и голос:

— Сергей Николаевич!

— Войдите! — Сергей скинул ноги с дивана.

Желтая полоса света из коридора легла на пол комнаты. В дверь протиснулась освещенная сзади фигура Быкова, голос сытый, после ужина, он еще жевал что-то.

— Темнотища-то, ба-атюшки! Вам письмо или повесточка, шут разберет. Что же свет не зажигаете? Экономите?

— Давайте сюда,— сказал Сергей грубовато и при

свете из коридора прочитал — это была повестка из милиции, уведомляющая его явиться завтра в одиннадцать часов утра к майору Стрешнекову.— Вы мне что-то хотите сказать?— спросил он Быкова, заглядывающего умиленно-ласково в коробку с котятами.

— К счастью, говорят, котята-то. Одного бы у вас взял,— сказал Быков.— Люблю малышей, даже детеныши безобразного бегемота — прелесть симпатичны. Видели? Я в Лейпцигском зоопарке видел.

— Слушайте, милый Петр Иванович, это вы, кажется, грозитесь тут пересажать всю квартиру?— Сергей посмотрел на него с неприязнью.— Вы? Интересно, как вы это сможете сделать?

Быков, возмущенный, выпрямил свое короткое, плотное тело.

— Глупости, какие глупости люди собирают! Я понимаю, я погорячился, ваш отец погорячился, но зачем глупости собирать? Вы меня еще не знаете, Сергей Николаевич, что ж, вы до войны вот как этот котенок были. Поживем —притремся, делить нам нечего. Нечего нам делить-то. В одной квартире.

— Будьте любезны...— сказал Сергей сдержанно.— Будьте любезны, прикройте дверь с другой стороны.

— Кто там у тебя?— послышался голос отца из смежной комнаты.

— Напрасно вы, напрасно. Покойной ночи, Сергей Николаевич,— заспешил, с озабоченностью наклоняя голову, Быков, затем деликатно закрыл дверь; заглохли шаги в коридоре.

Сергей при свете печи вторично прочитал веющую морозной улицей повестку.

В другой комнате загремел отодвигаемый стул, зашмыгали тапочки.

— С кем ты разговаривал?— спросил отец на пороге, устало снимая очки.— Кто заходил? Можно с тобой посидеть? Мы с тобой почти не видимся, сын.

— Заходил Быков. Передал повестку.

— Какую повестку? Опять в военкомат?

— Нет. Меня вызывают в милицию. Тебя это пугает?

— Но зачем в милицию?

— Вчера я ударил одну сволочь.

— Был пьян?

— Нет.

— Бить по физиономии — не так уж действенно, сын,

— Ты так думаешь? — усмехнулся Сергей.

Отец протер очки, спрятал их в карман пижамы, жесты были спокойно-заученными, а глаза близоруко и утомленно приглядывались к полутемноте в комнате, озаренной гудящими вихрями огня в голландке. И все это раздражало Сергея своей добротой, домашностью, какой-то слабостью даже, которую он не хотел видеть в отце; и, не в силах подавить возникшее раздражение, Сергей заговорил неожиданно для себя:

— Вот ты, старый коммунист, даже старый чекист, скажи: почему ты терпишь Быкова? Не думал ли ты, что мы даем всяким хмырям взятки, именно взятки, чтобы они не беспокоили нас,— улыбаемся им, молчим, здороваемся, хотя знаем все? Так, что ли?

— Почему ты о Быкове?

— Ты знаешь, что он орет на кухне? Он что, пугает вас всех — и вы лапки кверху?

— Его не подведешь под статью Уголовного кодекса, Сергей. Он никого не убил,— ответил, опираясь на колени локтями, отец.— К сожалению, бывают вещи труднодоказуемые, сын. В августе сорок первого года я выводил полк из окружения, и мой растяпа политрук потерял сейф с партийными документами. Политрук погиб, а я едва не поплатился партбилетом. И хожу с выговором до сих пор. И ничего не сделаешь. Вот так, сын: не было четких доказательств. Не было. И ответил я как комиссар полка. А пятно трудно смыть.

— Что же тогда делать? — спросил Сергей вызывающе.— Терпеть, молчать? Так? Не-ет! Лучше ходить с выговорами! Может быть, ты вину политрука тоже по доброте душевной взял на себя? Ты что — добр ко всем?

— Во-первых, Сережа, на мертвых свалить легко. Во-вторых, я не советую тебе связываться необдуманно.— Николай Григорьевич неуверенно коснулся рукой колена Сергея.— Только терпение и факты. Мерзавцев надо уничтожать фактами, доказательствами, а не эмоциями. Эмоции не докажут состава преступления. У тебя есть какие-нибудь доказательства против того, кого ты ударил?

— Доказательства для военного трибунала.

— А свидетели есть у тебя, сын?

— Только один свидетель — это я...

— Тогда этот человек может обвинить тебя в клевете.

И легко привлечь тебя к суду за физическое оскорбление, за хулиганство. Здесь закон оборачивается против тебя.

Сергей встал, раздраженный.

— Ты, кажется, трусишь? Или чересчур осторожничаешь?

Отец тоже встал, сожалеюще-печально взглянул в лицо Сергея, сказал вполголоса:

— После смерти матери мне уже ничего не страшно. Страшно только за тебя. И то после того, как ты вернулся и живешь непонятной мне жизнью.

И пошел в свою комнату, шлепая стоптанными тапочками, горбясь, перед дверью задержался, смутно видимый в темноте, договорил:

— Вот уже месяц ты никак не называешь меня. Слово «папа» ты перерос, я понимаю. Называй меня «отец». Так легче будет и тебе и мне.

«Зачем я говорил так с ним? Он не заслужил этого! — несколько позже думал Сергей, уже на улице, вдыхая щекочущие горло иголочки морозного воздуха.— Я не имел права так говорить. Я раздражен все время... Почему я раздражен против него?»

На углу он зашел в автоматную будочку, насквозь промерзшую, до скрипа накаленную стужей, снял скользкую от инея трубку; подышав на пальцы, набрал номер Нины. Долго не подходили, и неопределенно длинные гудки в пространстве вызывали у него тревогу.

Когда щелкнуло в трубке и женский прокуренный голос пропел «алю-у», он попросил:

— Мне Нину Александровну.

— Нету ее, голубчик, нету.— Голос этот нехорошо фыркнул.— Ушла Нина Александровна.

Сергей резко повесил трубку. Некоторое время стоял в нерешительности — в раздумье глядел, как пар дыхания ползет по обледенелой стене, испещренной номерами телефонов, по инею на стекле, на котором кто-то гривенником вычертил рожицу с выпяченными губами, с комично длинным носом.

Стиснув зубы, он набрал номер Константина, и сразу же отозвался приятно-веселый голос: «На проводе»,— потом громкое чавканье; тоненькой струйкой влился фокстрот, как из другого мира.

— Пошел... со своим проводом,— проговорил Сергей.— Что у тебя там — патефон, компания?

— Прошу государственную тайну не разглашать! — Константин преспокойно жевал.— Никакой компании, за исключением патефона и бутербродов на столе. Ты что звонишь, а не зашел? Подняться на второй этаж — дороже плюнуть.

— Ты мне нужен. Приходи к метро «Павелецкая».

— Что стряслось? Деньги? Женщина? — Константин перестал жевать.— Мгновенно надеваю штаны. Нет таких крепостей, которые...

Возле метро в морозном пару, вылетающем из дверей,— беспрестанное движение толпы. Подземные скоростные поезда приносили людей из теплых недр туннелей; толпа спеша растекалась от метро, металлический скрип снега раздавался в студеном воздухе; поднятые воротники, голоса, огоньки зажигаемых спичек, простуженно-бодрые выкрики продавцов папирос около входа — развязных парней в телогрейках:

— «Казбек», «Казбек», покупай с разбегу! Запасайся к Новому году! — И бормотание озябшими губами: — Штучный «Беломор», штучный «Беломор»!

Сергей всматривался в растекающуюся от дверей толпу, искал на лицах мужчин, даже в походке женщин каких-то особых примет взаимного понимания. Он заметил вдруг немолодого мужчину, несущего елку, завернутую в мешковину, и рядом с ним женщину, молодую, живо говорившую ему что-то, и тогда вспомнил о близком Новом годе, но без праздничного ожидания, а с холодком неопределенного беспокойства.

— Категорический привет! Ты давно?

Подошел Константин в роскошной пыжиковой шапке, в кожанке на меху, красный шерстяной шарф по-модному подпирал подбородок. Сказал, протягивая руку, нагретую меховой перчаткой:

— Э-э, мордализация нахмуренная, решаешь мировые проблемы? Плюнь, не решишь. Пойдем куда-нибудь пиво пить.

— Подышим свежим воздухом,— хмуро сказал Сергей.

Когда отошли на сотню шагов от метро, уже не дуло банным воздухом из дверей вестибюля, острые лезвия мороза резали по лицу, иней оседал на воротнике.

— Американские миллиардеры для сохранения здо-

ровья придерживаются гимнастики дыхания,— не выдержал молчания Константин.— На счет «четыре» — вдох, на счет «четыре» выдох. Делай, братцы, вдох с левой ноги... Сделаем, братцы, по-армейски. Не желаете, товарищ Вохминцев, изображать миллионера? Напрасно.

— Помолчи, Костька...

— Ясно. Готов слушать. Что стряслось?

— Ничего. Иди и молчи.

— Не могу! — взмолился Константин плачущим голосом и перчаткою остервенело потеребил ухо.— Приятно прогуливаться весной с хорошенькой девочкой под крендель, а у меня обморожены руки и уши — нахватался сталинградских морозов, хватит! Зайдем куда-нибудь! Хоть в этот знакомый павильончик.

В закусочной, кивая на все стороны знакомым, Константин бесцеремонно-вежливо растолкал стоявших и сидевших за стойками, потеснил кого-то шутя («Братцы, всем место под солнцем»), очистил край столика в углу, крикнул через головы:

— Шурочка, принимай гостей — две кружки!

Пили из толстых кружек, залитых пеной, подогретое пиво; Константин густо посыпал края кружки солью, отхлебывал, вздыхая через ноздри, испытывая явное удовольствие.

— Ей-богу, Сережка, здесь клуб фронтовиков!

Было здесь многолюдно, тесно, накурено. Задушенная сизым дымом лампочка мутно горела под потолком. Голоса гудели, сталкивались в спертом пивном воздухе, пахло селедкой, оттаявшей в тепле одеждой, и перемешивались разговоры, смех, крики, не прекращающиеся среди серых шинелей; и лишь уловить можно было недавнее, военное, знакомое: «Плацдарм на Одере...», «Под Житомиром двинул танки Манштейна...», «В сорок третьем стояли на Букринском плацдарме, через каждые пять минут играли «ванюши»...», «Бомбежка — чепуха, самое, брат, неприятное — мины...» Мужские голоса накалялись, гул становился густым, хлопали промерзшие двери, впуская морозный пар, он мешался с дымом над головами людей; из-за столпившихся перед стойкой спин появлялось игривое, румяное лицо Шурочки, звенящей кружками.

— Клуб,— повторил Константин, подул на шапку белой пены, спросил наконец: — Что все-таки случилось? Чего ощетинился?

— Ерундовое настроение.

— Почему «ерундовое»? Может быть, угрызения совести, что морду набил вчера этому... в «Астории»?.. Плюнь! Но должен тебя предупредить: ты тактически вел себя неосторожно — на рожон лез, пер грудью, как паровоз.— Константин отпил глоток пива, покрутил пальцами в воздухе.

Сергей поморщился, расстегнул на груди шинель (здесь было душно, жарко), сдвинул назад шапку, вынул папиросу и, прикуривая, чиркая зажигалкой, с ощущением раздражения против Константина, против этой опытной его осмотрительности, сказал:

— Ну а дальше?

Константин возвел глаза к потолку.

— Мы еще не живем при коммунизме, и в наше время, как это ни горько, еще волшебно действуют справки и прочие свидетельства. У тебя их нет. Бумажных доказательств. Чем ты можешь козырнуть против него, Сережка? Сейчас орут: все воевали! Докажешь, что не все воевали честно? Не докажешь! Хорошо, что все хорошо кончилось. Плюнь на все это!..

— Еще ничего не кончилось,— перебил Сергей.— Меня вызывают в милицию. Завтра. Я постараюсь доказать.

Гул голосов все нарастал, двери закусочной беспрестанно хлопали, впуская и выпуская людей, пар, желтея, вздымался от порога, обволакивал лампочку.

— Не советую! Вот этого не советую! — убежденно произнес Константин.— Ни хрена не докажешь. Мы победили, война кончилась, ну кто будет разбираться в перипетиях? Тебе ответят: война — на войне убивают. Кто прав, кто виноват — разбираться поздно. Поверь, Сережка, просто я вернулся на год раньше тебя, пообтерся. Ты еще не обгорел. Этот хмырь не так прост. И на кой он тебе?

— Иногда мне хочется послать тебя подальше со всей твоей опытностью! — сказал зло Сергей.— И уж совсем мне непонятна твоя дружба с нашим милым соседом Быковым!

— Напомню: я работаю у него шофером на фабрике. Следовательно, он — мое начальство. С начальством ссориться — плевать против ветра.

— Идиотство!

Константин с грустным выражением посыпал солью на край кружки.

— Ничего не навязываю. Сказал, что думал. Знаю, знаю,— несколько ревниво проговорил он.— Если бы тебе посоветовал Витька Мукомолов, ты бы с ним согласился. Я для тебя друг второго сорта. Со штампом — «второй сорт». Так ведь? — Константин разминал на пальцах соль.

— Пошли отсюда,—сказал Сергей с неприятным и едким чувством к себе, к Константину.— Надоело.

Они вышли на улицу, изморозь мельчайшей слюдой роилась, сверкала в ночном воздухе.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Я пришел вот по этой повестке. Мой военный билет у вас.

— Так. Вохминцев Сергей Николаевич, одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года рождения... Капитан запаса. Так. Ну что ж... За нарушение порядка в общественном месте вы оштрафовываетесь на двадцать пять рублей.

— И только-то? За этим вы меня и вызвали?

— Вас не устраивает, гражданин Вохминцев? Та-ак! Может быть, вас устроит письмо в военкомат, в партийную организацию, где вы работаете? Произвели безобразие, скандал, избили человека — за это по статье привлекают, судят! Ваше счастье, что человек, ваш товарищ, которому вы нанесли физические увечья, не возбуждает дело. Вы это сознаете?

Майор милиции был молод, пухлощек, холоден, на ранней лысине ровно и гладко начесаны волосы; сидел он, углами расставив локти на столе, отгороженном от Сергея деревянным барьером. Непроницаемый голос, отчужденно-официальное лицо его не вызывали острого желания доказывать свою правоту: видимо, дежурный майор этот выполнял свои обязанности, верил одним фактам, а не словам, как верит большинство людей, и Сергей сказал сухо:

— Как раз я хотел бы суда. И не хотел бы никакого прощения со стороны этого человека.

— Так, значит? — Майор в некотором недоумении вложил пальцы меж пальцев.— Так... Не больны, гражда-

ции? Или думаете: милиция — игрушечка? Можно говорить, что в голову лезет? Ты посмотри, Михайлов, какие фронтовики приехали! — крикнул он милиционеру, молчаливо стоявшему сбоку дверей.— Ему штрафа мало, ему суд подавай! Да вы понимаете, гражданин, что говорите? Отдаете отчет?

— Я понимаю, что говорю,— ответил Сергей.— Очевидно, вам кажется, что я ударил этого человека, потому что был пьян или мне просто хотелось ударить...

— Факт есть факт. Не он вас ударил. Простите, гражданин. У меня нет времени... Кажется, все ясно,— служебным тоном прервал майор и положил на барьер военный билет Сергея.— Благодарите судьбу за счастливую звезду. Этакую несерьезность наворотили и оправдываетесь. Неприлично. Вы свободны, гражданин Вохминцев. Я вас не задерживаю. И советую быть разумнее. Не советую портить репутацию офицера.

В интонации майора, в скучном туманном взгляде его появилось сожаление, усталость от этого надоевшего дела, похожего, вероятно, на десятки других дел; и Сергей уже понял это — и все стало мелким, унизительным и неприятным.

— Хотел бы вам напомнить, товарищ майор, что дерутся не только по пьянке,— совсем нехотя сказал Сергей.— И тут никакая милиция, никакие штрафы не помогут!

Он вышел на улицу, зашагал по тротуару, вдыхая после кислого канцелярского запаха крепкую свежесть морозного воздуха. Звенели трамваи, и снег, и белизна солнечных сугробов, и толкотня, и пар на троллейбусных остановках, и новогодние игрушки в палатках, и маленькие пахучие елки, которыми везде бойко торговали на углах,— все было предпраздничным на улицах. «Что ж,— думал он неуспокоенно, вспоминая разговор с майором.— У меня свои счеты с Уваровым. Это мои личные счеты! Нет, еще ничего не кончено...»

Он сел в автобус и поехал на Шаболовку, в шоферскую школу, куда по рекомендации Константина несколько дней назад подал документы.

Когда ему сказали, что его приняли на курсы, что вечерние занятия начнутся со второго января, он не испытал радости, какой ожидал, только облегчение возник-

ло на минуту. Но едва вышел он из одноэтажного — в конце двора — домика школы, ощущение это утратилось, и было такое чувство, что он обманул самого себя.

Он доехал на автобусе до Серпуховки, слез и пешком пошел до Зацепы по каким-то не известным ему тихим переулочкам. В безветренном воздухе декабрьских сумерек падал редкий снежок, легко и щекотно скользил по лицу, остужал. Под отблеском холодного заката розовели вечерние дворы, грустно заваленные снегом до окон, за воротами виднелись тропки меж сугробов; дворники свозили на волокушах снег.

Мальчишки в глубине темнеющих переулков бегали на коньках, крича, стучали клюшками по заледенелой мостовой. Не зажигались еще огни, был тот покойный час зимнего вечера, когда далекие звонки трамваев долетают в замоскворецкие переулки как из-за тридевяти земель.

Сергей остановился на углу против витрины фотографии.

Фотографии незнакомых людей тянули его, как чужая и неразгаданная жизнь. Долго рассматривал улыбающиеся в объектив и вполоборота девичьи лица, грубоватые лица солдат, каменное рукопожатие вечной дружбы — онемело стоят, сжав друг другу руки.

Задумчивое лицо молодого капитана, рядом наклонена к его плечу завитая, в мелких колечках голова девушки, светлые брови, невинно застывший взгляд — и Сергей с ощущением какой-то томительной тайны начал угадывать по фотографии характеры этих людей, их судьбы... Кто они? Где они? Кого они любили или любят?

«Что же я, несчастлив? — думал он.— Не то слово — несчастлив... Работать шофером, жить покойно, тихо, жениться — счастье ли это? Вот этот капитан счастлив?»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Заходи, раздевайся. Я рада, что ты пришел!

Она стала поспешно расстегивать холодные пуговицы его пахнущей зимней улицей шинели.

— Только я не одна. Ты не обращай внимания, заходи.

— Кто же у тебя? — обняв и не отпуская ее, спросил он.— Кто у тебя?

— Идем,— поторопила Нина,— в комнату. Ты меня заморозишь. Шинель повесишь там...

Она раскрыла дверь, и он шагнул через порог в теплый после холода запах чистоты, уюта и покоя, тотчас увидел в углу комнаты зеленоватое от света настольной лампы женское лицо с опущенными на щеку волосами. Она сидела на тахте, и Сергей быстро обернулся к Нине, спросил шепотом:

— Кто это?

— Сережа!..— испуганно-сниженным голосом воскликнула Нина.— Это Таня, познакомься, пожалуйста,— уже в полный голос сказала она и быстро подошла к женщине, выпрямившейся на тахте.— Это Сергей!

— Мы знакомы, кажется,— сказал Сергей.

Он сразу узнал ее: белокурые волосы, выпуклый лоб, полные руки; отчетливо вспомнил ее метнувшееся в толпе, искаженное плачем лицо, скомканный платочек, которым она тогда в ресторане, всхлипывая, вытирала щеки Уварова, полулежащего на полу, и вспомнил то ощущение виноватости перед ней, какое появилось у него при виде ее заплаканного лица.

— Здравствуйте,— официальным тоном произнес Сергей.— Я не хотел бы...

Она дернулась на тахте, губы ее перекосились.

— Не надо! Не надо! Не говорите, пожалуйста... Я не могу! Не могу слышать...

— Я извиняюсь не перед ним, а перед вами,— сказал Сергей, хмурясь.

— Вы... вы молчите лучше!..

Она вскочила, полная в талии и почему-то жалкая в этой полноте, и, кусая губы, бросилась к вешалке, срывая пальто, пуховый платок. Она протолкнула руки в рукава, накинула платок, оглянулась затравленно.

— Удивляюсь тебе, Нина!

И выбежала, стукнув дверью в передней.

— О господи! — со вздохом проговорила Нина и сжала ладонями виски.— Как странно все, господи!

Сергей стоял посреди комнаты, не снимая шинели.

— Что это значит? — спросил он.—Ты можешь объяснить?

Нина подняла глаза умоляюще, по лбу пошли морщинки, сейчас же щелкнула ключом в двери, сказала виновато:

— Не дуйся, слышишь?

Потом, не приближаясь к нему, подошла к зеркалу, передразнивая его, нахмурила брови и, надув щеки, сделала смешное лицо, показала язык, затем, исподлобья глядя в зеркало, сказала тихонько:

— Ну посмотри... Ну иди и посмотри на себя... Какое у тебя холодное лицо! Ну подожди. Я тебе объясню. Таня — моя подруга еще с института. Это тебе ясно?

И тут же с улыбкой сняла с него шапку, бросила ее на полочку, после этого стянула шинель, посадила Сергея на тахту подле себя.

— Ну что тут особенного? Вообще, я не люблю объясняться, доказывать то, что ясно и не докажешь. Это напрасная трата душевных сил. Таня ушла, и все. Ну? Ясно? Да?

Он сказал:

— Я хотел спросить: Уваров тоже заходит к тебе?

— Нет! — решительно ответила она.— Почему Уваров? Мы отмечали мой приезд в Москву, Таня привела его в ресторан — так это было. И больше ничего... Ну хватит, пожалуйста! Я ведь не задаю тебе никаких вопросов о твоих знакомых.

— Я хочу, чтобы все было ясно.

— Для чего?

— Потому что просто хочу ясности.

— Какой ясности, Сережа?

— Ты понимаешь, о чем я говорю.

— Не совсем, Сережа. Неужели война делает людей жестокими?

— Нина, кто были те, в ресторане... с тобой?..

— Это были мальчики, Сережа,— сказала она протяжно,— мои знакомые по экспедиции. Геологи. Они не такие, как ты... Просто не такие. Они не воевали...

— Но ты ведь меня не знаешь.

— Я догадываюсь. А разве ты меня знаешь, Сережа?

Они помолчали.

— Ты всегда такая? — спросил он неловко.— Не представляю тебя где-нибудь в Сибири, в телогрейке. Наверно, рабочие только тем и занимались, что пялили на тебя глаза.

Она опять с улыбкой посмотрела ему в лицо.

— Ну нет! Ошибаешься! Разве можно пялить глаза вот на такую женщину? — Нина строго свела брови над переносицей, сказала притворным хрипловатым голосом: — «У вас, товарищ Сидоркин, опять лоток не в порядке? Где

ваши образцы? Почему не промыли?» Ну как? Интересная женщина? Не очень!

Она засмеялась, наклонясь к нему, отвела за ухо завиток каштановых волос, и он, с любопытством наблюдая за непостижимым изменением ее лица, засмеялся тоже, привлек ее за плечи, сказал:

— Услышишь твой голос — и хочется встать «смирно». Еще не хватает: «Вы что, первый день в армии, устава не знаете?» Хотел бы быть под твоей командой.

— Как иногда мы все ошибаемся! — растягивая слоги, проговорила Нина.— Нет, ты меня знаешь чуть-чуть, капельку.

— Я просто подумал: что ты любишь и что ненавидишь? Подумал — не знаю почему.

— Я ненавижу то, что и ты.

— Нина, я не имею права задавать вопросы. И этого не надо.

— Да. Я до сих пор ненавижу ночной стук в дверь, Сережа. И голос: «Откройте, почта...» Самые жуткие слова в мире.

— Почему?

— В войну мне принесли две похоронки. И обе — ночью. На отца и старшего брата. Мать умерла в Ленинграде. Это тебе понятно?

— Да.

— Что же ты еще не понимаешь во мне? — спросила Нина и, помолчав, сама ответила: — Когда вижу почтальонов, я обхожу их. Я ненавижу ночь, я боюсь войны. И то, что многие женщины еще носят телогрейки и сапоги, а я платья и туфли,— это тебе понятно? Мне не так легко жилось... И живется. Как хочется тишины, Сережа!..

— Как ты могла подумать, что я осуждаю тебя? За что? — Он обнял ее, увидел на ее плече, на сером свитере темное пятнышко грубой штопки, выговорил шепотом, задохнувшись от нежной жалости к ней: — Я не осуждаю тебя. Ты так подумала?..

Она потерлась щекой о его подбородок и молчала, закрыв глаза.

Потом он услышал ровные и отстукивающие звуки, они казались все отчетливее, громче, и Сергей невнятно понял — тикал на тумбочке будильник. Будильник шел, спокойно и четко отсчитывая секунды, как в то утро. И, на миг пронзительно ясно ощутив оглушительную тиши-

ну в комнате, Сергей подумал, что нечто важное вот придвинулось и происходит в его жизни, чего он хотел и ждал,— и, подумав об этом, почувствовал дыхание Нины на своей шее, и ослабленно прозвучал ее голос:

— Но ведь тебя могли убить на войне, и ты бы никогда...

— Нет...— сказал он.

— Нет?

— Меня не могли убить на войне.

Она прижалась к нему и замерла так, глядя через его плечо на черное занавешенное окно.

— Подожди. Ох, иногда как страшно подумать...

— Но видишь, со мной ничего не случилось. Я не верил, что меня убьют.

— Как ты думаешь теперь жить, Сережа?

— Я тебе говорил — шоферская школа. Буду шофером, плохо? Мне кажется, это тебе не особенно нравится.

— Ты можешь быть и шофером,— сказала Нина.— Но я знаю, в Горно-металлургическом институте открылось подготовительное отделение. Охотно принимают фронтовиков. У меня есть знакомые в этом институте.

— Нина, я забыл таблицу умножения, пятью пять для меня сорок. Забыл все к чертям. Не усижу за партой. А что это — шахты?

— И шахты.

— Понятия не имею. В шахтах добывают уголь, так?

— Просто блестящие знания, тебя примут без экзаменов. Но я сужу, конечно, только со своей колокольни. Ты подумай. Я не могу тебе ничего советовать.

— Я сейчас не хочу об этом думать... Я просто не могу.

Он нетерпеливо притянул ее к себе, чувствуя горячую колючесть ее свитера и почему-то видя все время то пятнышко грубой штопки на плече, осторожно поцеловал ее в теплые волосы.

— Не знаю, что же это...— проговорил он неровным голосом.— Кто ты такая? Зачем я к тебе пришел? Ты это знаешь? Понятия не имею, кто ты такая. И вообще — что происходит?

— Обыкновенная и некрасивая женщина, Сережа. Восемнадцать лет уже миновало, как говорят теперь мужчины. И больше ничего.

— Ты этого, конечно, не понимаешь, и я сам не понимаю,— сказал Сергей намеренно шутливым тоном.— Но я

бы все понял, если бы ты пошла за меня замуж. Пойдешь?

— Нет.— Она, смеясь, провела пальцем по его груди.— А кто ты такой?

— Кто я? Бывший командир батареи, а сейчас человек без определенных занятий. Беден. Холост. Но без памяти тянет меня к одной женщине. И сам не знаю почему. Вот и все. Кратчайшая биография. Не нужно анкеты.

Она, не смеясь уже, проговорила полусерьезно:

— Это я знаю. А дальше?

— Что ж... Значит, ты сама не знаешь, что это такое...

— А если это нельзя?

«Что я говорю? Зачем я стал говорить об этом?» — подумал он с мгновенно кольнувшей тревогой, однако преувеличенно спокойно договорил:

— Значит, ты меня не очень любишь, а?

— Сережа-а,— шепотом сказала Нина, снизу взглядывая ему в глаза.— Я тебя вот так...— И наклонилась, чуть прикоснулась губами к своей руке.— Не понял?

— Нет.

— Хорошо. Ты хочешь, я тебе скажу?..— проговорила она, легонько дернув за борт его пиджака.— Хочешь?

— Я этого хочу.

— У меня есть муж, Сергей. Геолог. Он в Казахстане. В Бет-Пак-Дале. Но я ушла...

— Муж? И ты ушла? — спросил Сергей, следя за тем, как она все распрямляла, теребила борт его пиджака.

— Не будем портить друг другу настроение.— Ее ладонь уместилась на его рукаве, погладила ласково.— Не будем думать об этом, Сережа. Разве тебе не все равно?

— Я просто этого не знал,— сказал Сергей вполголоса.

Два часа спустя он возвращался домой; он быстро шел один по улице, ночной, снежной, безмолвной, ледяными вспышками сверкал иней на карнизах, на ручках парадных; лунный свет накалял воздух синим холодом.

«Мне все равно, был у нее муж или не был и есть ли он сейчас,— думал он.— Я люблю ее. Да, я люблю ее. И больше ничего не надо... Я хочу, чтобы мне везло. Во всем везло. Как везло на войне...»

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Константин увидел его на трамвайной остановке, затормозил машину и, опустив стекло, замахал ему из кабины со свистом и криком:

— Серега! Куда тебя несет? Садись! Тысячу лет тебя не видел!

— А ты куда? Привет шоферам! — Сергей залез в кабину, приятно пахнущую теплым маслом, вопросительно глянул на Константина.— Кажется, не виделись неделю? Как жизнь?

— Кой там неделю? Куда исчез? Заходил раз десять. Ася в расстроенных чувствах: дома нет. В чем дело? Женщина?

— Чувствуется служба в разведке.

— Кто она?

— Если помнишь ту, с которой я танцевал в «Астории»...

— Ох ты!.. Вздернутый носик? Неужто она? Когда представишь?

— Когда захочешь.

— Принято. Так слушай сюда, Серега. Тут в Новый год я собираю в одном интеллигентном месте теплую компанию. Дым коромыслом, милые люди. Приходи с ней. Но ты все же меня забыл, бродяга! Забыл вдрызг! Неужели мужская дружба вдребезги, когда появляется женщина?

Он со скрежетом передвинул рычаг, насупленно покусал усики; машина, набирая скорость, неслась по снежной улице, вдоль трамвайных рельсов; подскакивая, трясся, гремел кузов, на стекло сыпалась изморозь. Откинувшись на спинку сиденья, Сергей смотрел на торопливо щелкающий по стеклу «дворник». Константин бешено засигналил на перекрестке, не поворачивая головы, крикнул высоким голосом:

— А, Сережка? Вдребезги?.. Все вниз макушкой? Стойка на лысине?

— Если есть время, давай на Большую Московскую. Мне туда,— ответил Сергей.— Есть время?

— Вот ты уже и откололся! — заключил Константин, всматриваясь в дорогу через стекло.— Ты уже... А все же старых друзей не забывай. Друзей не так много. Их почти нет! Сейчас к ней?

Сергей хорошо знал: все, что он должен был и мог ответить, будет обидным для Константина; и также

знал — особенно обидным могло быть то, что он бросил шоферские курсы и что этот новый толчок в его жизни исходил от Нины. Однако ему самому еще не представлялось ясным, что такое подготовительное отделение загадочного и смутно воображаемого Горно-металлургического института, о котором все время напоминала она. Это неизвестное и новое вызывало лишь беспокоящее любопытство, поэтому Сергей ответил наконец:

— Сейчас на Большой Московской ты пойдешь со мной, и мы посмотрим. Вместе, понял, Костька? Ты куда едешь, на базу?

— Что посмотрим? Что ты из меня лепишь? — Константин с сомнением хохотнул.— Куда вместе? Я зачем?

— Останови у бульвара. Там видно будет.

— Не понял. Я зачем?

— Стоп здесь,— нетвердо приказал Сергей.— Зайдем в одно заведение. Посмотрим.

На худощавых щеках Константина набухли желваки, но все же с видом независимости он затормозил машину в конце бульвара, выжидающе спросил:

— Ну? Без пол-литра не разберешься? А теперь что?

— Пошли.

Это была тихая улица Москвы с домами, обшарпанными войной. Огромное серое здание возвышалось за бульваром.

Длинные коридоры института были пустынны, солнечны, синеватый папиросный дымок плавал в плоских лучах света. Они поднялись на второй этаж, наугад пошли по коридору, мимо дверей аудиторий, одна из которых была приоткрыта, в щелку тек красиво-бархатистый размеренный голос, виднелся глянцевитый край доски, испещренный формулами,— и повеяло на Сергея чем-то далеким, давно знакомым, как четыре года назад в полузабытой школе перед экзаменами.

Константин, пожевывая незакуренную папиросу, заглянул в аудиторию, сказал с ядовитым недоумением:

— Синусы, косинусы, тангенсы. Боже мой, убийство ночного сторожа днем! А что, из них можно сшить костюм? Ты меня не пуж-жай, а скажи — я уважаю образованность.

— Прекрати к черту! Скажите, где здесь... подготовительное?

Навстречу по коридору бежал выряющей походкой чрезвычайно высокий, худой, в длинном пиджаке, в помятых брюках человек, сутулясь, как все высокие люди; лицо молодое, нервное, маленькие зоркие глаза его светились строгостью.

— Направо. За угол. Вторая дверь,— ответил он, уставив подбородок на Константина.— Это что, папироса? Вы кто такой? Студент? Рано изображаете из себя горняка! Бросьте папиросу! Не курить! Зарубите на носу: здесь не фронт, не атаки, не «ура!», а Горно-металлургический институт... Шагом марш! Вторая дверь!

— В детстве, надо полагать, его мышеловкой напугали,— заметил Константин после того, как человек этот исчез в солнечных полосах нескончаемого коридора.— Куда попали, бож-же мой! В филиал зоопарка?

В небольшой комнате деканата — сдержанный говор, смех и теснота. Здесь сидели на диванах, толпились грубоватые на вид парни в шинелях, в старых, с чужого плеча пальто, в армейских кирзовых сапогах, очередью стояли у столика. За столиком — свежее взволнованное личико белокурой девушки-секретаря; тонкий ее голос звучал с выражением неуверенности и испуга:

— Товарищи, товарищи, всех декан не примет! Вы понимаете? Не примет! Я вам сказала: подготовительное отделение переполнено! Ну что вы, товарищи, все в этот институт бросились? Мало институтов? Приходите завтра с документами: аттестат или справка об образовании, биография... Ну и все остальное.

Тогда Сергей спросил излишне громко:

— Кто последний к декану?

На него оглянулись. Толстоватый, как бы весь круглый паренек в кургузой шинели с нелепо пришитым заячьим воротником подвинулся на диване, сияя широким лицом, выкрикнул приветливо:

— Я крайний. За мной, кажись, никого.

— Дерёвня! — сказал Константин.— А ну еще подвинься, «крайний»! Еще в институт, как паровоз, прешь! Сэло, сэло!

— А я тебе что? — забормотал круглолицый, подвигаясь к самому краю.— А ты зачем ругаешься?

И тут секретарша с вытянутым растерянным личиком уже обратилась к Константину, как за помощью:

— Я предупредила товарищей. Всех декан не примет.

Сдайте документы и приходите завтра с утра. Вот вы, новенькие... Вы тоже слышали?

— Милая девушка, мы подождем,— ответил игриво Константин.— Как видите, нас — рота.

— Вперед! Пополнение прибыло! Давай вливайся в нашу роту, братцы!

Вокруг засмеялись охотно.

Высокий парень в танкистской куртке, распираемой налитыми плечами, повернулся от стола; смелые его золотистые глаза глядели прямо, дружески, в зубах — пустая трубка с железной крышечкой; парень этот спросил Сергея не без любопытства:

— Из каких родов?

— Семидесятишестимиллиметровая. Дивизионка.

— Тю, земляк!

На трубке вырезана голова Мефистофеля — змеистые волосы, зловещие брови, узкая бородка; трубка была трофейная; такие не раз попадались Сергею на фронте.

— С Первого Украинского,— сказал Сергей и также не без любопытства показал взглядом на трубку.— Дейтчланд, Дейтчланд юбер аллес?[1]

— Яволь[2].— Танкист расплылся в улыбке.— Где закончил? В каком звании?

— В Праге. Капитан.

— Ого! — Танкист одобрительно крякнул.— Нахватал чинов! Лейтенант Подгорный, командир тридцатьчетверки. В Карпатах под Санком вам прокладывали дорогу. Як стеклышко...

— Кто кому прокладывал, не будем уточнять. Особенно в Карпатах,— сказал Сергей.— Если помнишь Санок, то не будем.

— Не будем! —блеснул глазами Подгорный.

— Земляки-и! — усмешливо протянул Константин, ревниво наблюдая за Сергеем и танкистом.— Дело доходит до лобызания. Братцы! — в полный голос сказал он.— Кто хочет лобызаться, ко мне! Я тоже с Первого Украинского!

На него не обратили внимания; вокруг Сергея и танкиста сгрудилось несколько человек в шинелях; кто-то крикнул оживленно:

— Кто сказал с Первого Украинского, тому жменю табаку дам!

---

[1] Германия, Германия превыше всего?

[2] Конечно.

— А с Третьего Белорусского? Есть?

К ним бесцеремонно заковылял маленького роста морячок в распахнутом черном бушлате, под бушлатом на выпуклой груди разрезом фланельки открыт малиново накаленный морозом треугольник кожи. Весь этот слитый из мускулов, в огромных клешах паренек очень заметно выделялся среди армейских шинелей, и выделялся особенно своими пронзительно яркими синими глазами:

— Из Австрии есть кто? Признавайся, братва, ищу земляков! Ну кто? Или ни одного?

— Морячков как будто нема,— сказал танкист и усмехнулся.— Сплошь пехота, танки и артиллерия. Сушь и земля.

— Вижу,— согласился морячок.— Ориентиров нет.— И без стеснения уставился светлыми глазами на трубку танкиста.— У тебя много таких дьяволов, лейтенант?

— Пара.

Переваляясь с ноги на ногу, морячок сунул руку в карман бушлата, на миг лицо его стало загадочным.

— Махнем, как после войны на голубом Дунае? Есть?

— Махнем, как в Праге.

Морячок, не раздумывая, вынул блестящий никелевый портсигар-зажигалку, протянул его танкисту, танкист с веселым видом отдал ему трубку. И вдруг таким знакомым, теплым маем конца войны, паркóм над голубыми лужами на мостовых Праги, тишиной без выстрелов повеяло на Сергея, что он задохнулся от волнения, от того недавнего, незабытого, что не исчезало из памяти каждого.

— Накурили! Дым коромыслом! Кто курил? Это почему у вас трубка? Людмила Анатольевна, почему разрешили? Это все ко мне?

— К вам, Игорь Витальевич... Я предупреждала... Здесь просто какой-то базар образовался!

На пороге деканата стоял, почти касаясь головой притолоки, чрезвычайно высокий человек в длинном пиджаке, тот самый, с нервным молодым лицом, которого встретили в коридоре; он, принюхиваясь, оглядел комнату, ткнул пальцем по направлению морячка в бушлате.

— Почему дымите как труба? Вы кто — журналист, корреспондент, художник? Кто разрешил? Если пытаетесь поступить на горный факультет, запомните: курить

бросать! Горняк — это жизнь под землей. Сколько вас тут? Взвод? — И, не ожидая ответа, с неуклюжей стремительностью махнул длинной рукой.— А ну заходите в кабинет. Все! До одного! Выясним отношения!

В кабинет, располосованный лучами солнца, с высоким окном на бульвар, вошли осторожно, не шаркая сапогами, без шума расселись в кожаных креслах, на стульях вокруг письменного стола. Все озирались на стены, завешанные разрезами шахт, чертежами врубовых машин, глядели на модель отбойного молотка на стенде — многое здесь отдаленно напоминало кабинет матчасти военного училища. Константин мигнул Сергею, смешно скривив щеку, будто зуб болел, прошептал:

— Разумеется, занятные игрушки, а я без дыма горю. Мне на базе в два часа быть, как часы. Закон. А я тут болван болваном. Ужасаюсь твоей наивности.

— Езжай,— сказал Сергей.

— Нет уж! — Константин скривил другую щеку.— Страдаю. За друга готов я хоть в воду...

Декан между тем потрогал пресс-папье на чистеньком столе, пощупал стекло, изучающе посмотрел на пальцы, есть ли пыль, после чего внушительно повернул ко всем табличку на чернильном приборе: «Курение для шахтера — вред».

— Вы что там кривитесь, товарищ в кожаной куртке? Мух отгоняете? — четко спросил он, вытянув худощавую шею с заметным кадыком.— Это что ж, по-фронтовому?

— Совершенно верно,— смиренно ответил Константин.

Засмеялись, но декан, не улыбнувшись даже, сцепил на столе руки, уперся в них подбородком, заговорил:

— Так вот. Подготовительное отделение заполнено, забито, мест нет. Нет их. И не понимаю, почему вы атаковали наш институт. Во имя чего? Профессия горного инженера тяжелейшая. Это всем понятно? Половина жизни эксплуатационников проходит под землей — каменноугольная пыль, мокрые забои, газ метан. Грохот. Все время грохот, шум конвейера, машин. Частенько — жизнь в медвежьих уголках. За тридевять земель. И все время опасность, риск — бывают завалы и подземные пожары. Есть из вас такие, которые хотят рисковать жизнью после войны? Есть? Молчите? Так вот...

Декан отнял руки от подбородка, торопливыми щелч-

ками сбил пылинки мела с бортов пиджака, продолжал тем же тоном:

— Так вот. Другое дело — бухгалтер. Отработал восемь часов — портфель под мышку, а дома жена, горячие щи и не потрескивающая кровля, а крыша над головой. Хочешь — жену под руку и в кино, хочешь — валяйся на диване с газеткой, слушай радио. Заманчиво? Весьма! — Декан одернул галстук, рывком привалился грудью к столу.— А куда рветесь вы? Ни сна, ни покоя! Только насел на щи, тут тебе звонок: бросай щи, беги в шахту — конвейер остановился.. Только жену собрался поцеловать, ан нет — стук в дверь, телефонные звонки, паника: завал! Ну как, радостно? Оптимистично? Нравится? Вот вы, например, товарищ в кожаной куртке, что вас манит именно в этот институт, что греет? Какое солнышко?

Константин вздохнул, заложил ногу за ногу, рассматривая кончик покачивающегося сапога, невинно поинтересовался:

— Меня лично, товарищ декан?

— Вас лично. Именно вас. Меня зовут Игорь Витальевич. Фамилия Морозов. Вот так вот.

— Очень приятно, Игорь Витальевич,— вежливо склонил голову Константин.— Моя фамилия Корабельников. Меня лично ничто не манит.

— Не манит? Вас? Лично? Не манит? — переспросил Морозов и стремительно выкинул свою длинную руку в сторону двери: — Тогда прошу вас выйти вон немедленно! И взять у секретаря документы. Если вы их сдали!

— Спасибо. Но я не сдал документы. — Константин воспитанно, невозмутимо поклонился, шепнул Сергею на ухо: — Веселенькое дело... Я все же подожду тебя. Пропадай база!.. Прошу прощения, Игорь Витальевич. Меня ждут производственные показатели.

И не спеша вышел, поскрипывая кожаной курткой, самоуверенно покачивая широкой спиной.

Танкист, сидевший справа, взглянул на Сергея, в золотистых зрачках заиграл отчаянный огонек, коленом толкнул морячка. Морячок полировал рукавом бушлата трубку: открыл крышечку, щелкнул ею и снова закрыл раздумчиво. Парнишка в кургузой шинели, заметной нелепым заячьим воротником — белесое круглое лицо было влажно, — глядел на декана с испуганным и уважитель-

ным заискиванием. И в эту минуту Сергей понял, что все они пришли сюда с такой же неясностью и неопределенностью, как и он сам.

А Морозов говорил, кулаком отстукивая по краю стола:

— Смею заметить, профессию выбирают, как жену, один раз. И на всю жизнь. В вашем возрасте это следует зарубить на носу. Вариант случайности отпадает. Добавлю к этому: открываются подготовительные отделения в Строительном и Авиационно-технологическом институтах. Тем более, повторяю, что подготовительное отделение нашего института переполнено. И тем более что на ваших лицах я вижу вариант случайности. С удовольствием выслушаю вопросы. На вашем лице я вижу вопрос, товарищ в бушлате. Ваша фамилия?

— Косов. Григорий. Разрешите вопрос?

Морячок, оттолкнувшись от кресла, прочно расставил ноги — носки ботинок накрывали огромные клеши,— и когда заговорил, казалось, напряглась грудь под расстегнутым бушлатом, синие глаза вспыхнули усмешливой недобротой:

— Конечно, я извиняюсь, но вы воевали, товарищ декан?

— Мое имя-отчество Игорь Витальевич. Декан не военное звание. Я воевал две недели под Смоленском. Остальное время воевал с породой, с водой, с углем. В Караганде. Вопрос неисчерпывающ. Но добавлю: в этой войне, Косов, воевали все, и я не разрешу прикрываться шинелью, как броней. Так-то. И никаких поблажек. И никакого размахивания фронтовыми заслугами. Для меня все равны. Все!

— Значит, все равны? А вас не хоронили, товарищ декан, в день вашего рождения? — низким баском спросил Косов.— Ваша мать не получала на вас похоронку? И после войны грузчиком и носильщиком вы не работали?

— Конкретнее! — оборвал Морозов. — Вас устраивает профессия горняка, уважаемый товарищ Косов?

— Конкретнее, при всем к вам уважении я могу трахнуть кулаком по столу! — договорил Косов и сел плотно на свое место, откинул борт бушлата.

— Благодарю вас. Вы можете идти, Косов, — сказал Морозов.

Косов пососал трубку, ответил независимо:

— Я посижу.

— Ну что ж? — Морозов обежал взглядом комнату.— Все разделяют точку зрения Косова? Все будут стучать кулаком по столу? Все будут требовать? И звенеть медалями? Может быть, кто-нибудь скажет о «тыловых крысах», о «тыловых бюрократах»? Вот вы, что думаете вы? Вот вы, в офицерской шинели. Ну, ну! Давайте!

Было декану лет за тридцать, на бледном лице морщинки утомленности; его колючая манера говорить и неприязненно отталкивала, и в то же время притягивала: все менял взгляд — подчас иронически-умный, живой, подчас усталый, как у человека, хронически страдающего бессонницей. И Сергей, увидев жест Морозова в свою сторону, ответил:

— Наши медали здесь ни при чем. Хотя мы можем требовать.

— Вы тоже будете требовать?

— Я — нет, — сказал Сергей уже спокойнее.— Если у вас в институте все переполнено, зачем сюда рваться? Нет смысла. Вы сказали: есть другие подготовительные отделения. Мне все равно.

Он не лгал ни самому себе, ни Морозову, но, сказав это, заметил повернувшиеся к нему удивленные лица и вдруг почувствовал, что ответом своим разрушил сейчас что-то.

Морозов быстро спросил:

— Зачем же вы пришли сюда? Ваша фамилия?

— Пришел из любопытства. Узнать. Моя фамилия Вохминцев.

— Адрес подготовительного отделения Авиационно-технологического института: Москва, Земляной вал. Запомнили? Впрочем, разговор идет к концу. Можете посидеть, Вохминцев. Многое проясняется. Так. Прекрасно. Великолепно,— заговорил он размышляюще. — Так, прекрасно, — повторил он, барабаня пальцами по столу. — Просто великолепно.

— Я говорил только о себе, — сказал Сергей.

В комнате — молчание; потоки солнца лились в окна, и белым потоком сыпались пылинки, струились в световых столбах над плечами Морозова, а пальцы его все барабанили по краю стола — всем слышен был их стук.

— Нет, нет, не слушайте их! — раздался из глубины комнаты похожий на петушиный вскрик голос, и вскочил

в углу парнишка с заячьим воротником на шинели, и, вскочив, рукой махнул по сразу вспотевшему носу, растерянно вытаращил глаза.— Это что же? Все тут говорят?.. Героев из себя ставят! А сами небось... Кулаками ишь будут трахать! Знаю таких! А я из Калуги... Пусть они не хотят. А я хочу! У меня отец на шахте...

И, оборвав бестолковую свою речь, парнишка утер влажные округлые щеки, исчез в углу, представился оттуда:

— Морковин моя фамилия.

— А я бы с тобой, мальчик, в разведку вдвоем не пошел! — внятно, однако не вынимая трубку изо рта, произнес Косов.

— Та у него ж мыслей гора,— сказал Подгорный.

— А я — с тобой! Пусть я не воевал! — по-петушиному колюче выкрикнул из угла Морковин.— Вы здесь не командуйте! Думаете, только вы воевали!

Морозов краем пластмассового пресс-папье звонко постучал по железному стаканчику для карандашей. С лица его сошла усталость, оно оживилось.

— Так! Все ясно. Все хотят курить? Озлобились, не куривши? Вынимайте папиросы. С вами бросишь курить — голова распухнет! А ну, у кого табак?

Он неуклюже выдвинулся из-за стола, вытянув длинную шею, выискивая, у кого бы взять папиросу, тут же перевернул объявленьице перед чернильным прибором — вместо «Курение для шахтера — вред» появилась надпись «Можно курить»,— достал у кого-то из пачки дешевую папиросу, веселея, сказал:

— Гвоздики курите? Небогато, но зло!.. Можете сдавать документы. Все. До свидания. Ничего не обещаю. До свидания. Зайдите послезавтра.

И, закашлявшись, с отвращением смял папиросу, бросил ее в чистейшую пепельницу, скомандовал:

— А ну курить в коридор! Марш!

Сергей вышел. В приемной Константин, по-хозяйски разместившись на диване перед столом секретарши, поигрывая линейкой, таинственно рассказывал ей что-то, видимо, «выдавал светский анекдот». От улыбки полукруглые бровки секретарши наползали на лоб, но тотчас, заметив выходивших из кабинета, она сделала строгое лицо, сказала Константину:

— Оставьте меня смешить. — И отобрала у него линейку. — Вы меня заговорили.

— Я вас оставляю и приветствую, Людочка! До встречи!

Константин запахнул куртку, победно щелкнул «молнией».

«Очередной флирт», — подумал Сергей и сказал:

— Поехали, Костька. Все.

Когда вновь прошли пустые, пахнущие табачным перегаром институтские коридоры и вышли из подъезда на студеный декабрьский воздух, Константин сплюнул, хохотнул:

— Ну цирк! И что ж ты решил?

— Это сложное дело.

— А именно?

— Посмотрим.

— Запутал ты все, Сережка, — сказал Константин, залезая в кабину, — то, се, пятое, десятое. Сам запутался и меня вдрызг запутал. Куда тебя прет? Что тебе, шофером денег не хватило бы?

— Хватит убеждать! Как-нибудь сам разберусь!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Тебя к телефону. Женский голос. Это та твоя... фифочка.

— Нужно говорить сразу, а не расспрашивать, кто и что.

— Возьми трубку, а то брошу.

Ася недовольно передернула плечами, а он стал к ней спиной, тихо сказал в трубку «да», и в спине его, в слегка оттопыренных светлых волосах на затылке и в голосе было что-то настораживающее, новое, чужое, незнакомое ей, будто Сергей обманывал всех и обманывать заставлял его этот мягкий голос в трубке, ласково попросивший: «Пожалуйста, Сергея».

— Его спрашивает женщина, радуйтесь! — Ася закрыла дверь в другую комнату, сердито оправила джемпер. — Вы ее знаете?

— Асенька, посидите со мной. Несмотря на каникулы, я вам устрою новогодние экзамены, есть? — сказал Константин, небрежно полистав толстый учебник по литературе. — А ну, Евгений Онегин — продукт какой эпохи?

Ася, точно не замечая Константина, переступила через коробку с игрушками, подумала, вытащила огромный серебряный шар, отразивший на блестящей поверхности ее лицо, и держала шар на весу двумя пальцами, ища на елке место.

— Какой еще экзамен? — спросила она.

Был праздничный вечер, морозно пахло в комнате хвоей — свежим негородским духом леса, наступающего Нового года.

Константин сидел на диване, костюм тщательно выглажен; новый галстук, тупые полуботинки, носки в полоску — весь модный, выбритый, — и, положив ногу на ногу, раскрыв на колене учебник, взглядывал на Асю загадочно.

— Значит, продукт какой эпохи? А, Ася Вохминцева? Продукт кр-репостничества... Не знаете? Садитесь, Ася, вкатываю двойку в дневник за нерадивость.

В этот новогодний вечер был он в отличном расположении духа, говорил шутливо, с игривой веселостью, и Ася обернулась от елки, разглядывая его непонимающими глазами.

— Сами фронтовики, а разоделись, галстуки заграничные, надушились одеколоном... Евгении Онегины какие нашлись — рестораны, компании, дома не бываете! Куда вы идете встречать Новый год? И откуда у вас деньги? Говорят, вы их очень любите? Халтурите на машине? У вас какие-то делишки с Быковым? — строго спросила она. — Это правда?

Константин отложил учебник, несколько удивленный, хмыкнул.

— Ненавижу деньги, Ася... Но без денег — пропасть. Галстук действительно заграничный. Куплен на Тишинке. Ничего особенного, обыкновенная тряпка, украшающая мою довольно некрасивую рожу. Вообще, Ася, разве вы не знаете, почему некоторых фронтовиков потянуло к костюмам и галстукам?

— Захотелось необыкновенного, захотелось форсить, вот что.— Ася с настороженностью покосилась на дверь, из-за которой слышался голос Сергея. — И он разрядился, без конца носит новый костюм. Это вы влияете?

— О Ася, нет! — Константин покачал головой. — На Сергея не повлияешь, вы ошибаетесь. Просто фронтовиков потянуло к тряпкам для придания огрубевшим мордасам интеллигентности, которую они потеряли за четыре года.

Но хорошие ребята, понюхавшие пороху, знают недорогую цену этим тряпкам. Не уверены? Ах, Асенька, вы другое поколение. Мы — отцы, вы — дети. Вечный конфликт. Вы в восьмом классе учитесь?

— Вы всегда шутите, всегда цинично говорите! И распускаете хвост, как павлин! — заговорила Ася быстро.— Вон усики какие-то противные отпустили, для цинизма, да? Фу, противно смотреть, и бакенбарды косые — все как у парикмахера! Это все вы сделали, чтобы легче быть наглым, да?

Он на мгновение встретился с ее огромными, нелгущими, черными, чуть раскосыми глазами, подпер подбородок, некоторое время грустным спрашивающим взглядом смотрел на нее, наконец сказал:

— За что же вы меня так ненавидите, Асенька? Вы меня очень ненавидите? За что?

Она молчала с независимой строгостью и ходила вокруг елки, все еще держа двумя пальцами блестящий шар, привставала на носках, напрягая ноги, решительно отводила ветви локтем, угловатая, неловкая в этом широком зеленом джемпере. И Константин, вздохнув, поднялся с дивана, подавляя в себе растерянность оттого, что она молчала, затем дружески заулыбался, желая смягчить ее непонятную неприязнь к нему.

— Давайте я повешу, Асенька, у меня длиннущие руки. И улыбнитесь, пожалуйста. Девочкам не идет хмуриться, ей-богу!

— Уйдите! Я вас не просила!

Она отдернула руку, спрятала шар за спину, и Константин, словно натолкнувшись на что-то острое и жесткое, помолчал в озадаченности, опять вздохнул.

— Что ж, Асенька... У вас такое лицо, что вы можете меня побить. Ну что я должен сделать, чтобы заслужить ваше расположение?

— Как вам не стыдно! Не думайте, что я девочка, ничего не понимаю! — торопливо заговорила она. — Мы получаем хлеб по карточкам. Все получают, а вы мандарины приносите! Откуда они у вас? Быков дал? Я видела... видела, Быков утром мандарины на кухне мыл! Вы у него взяли?

Константин посмотрел на маленький чемодан, на мандарины возле елки — мандарины эти он принес вместо новогоднего подарка — и воздел руки, блеснули запонки на манжетах.

— Ася, у меня достаточно денег, чтобы купить на Тишинке мандарины. Боже, за что вы меня упрекаете?

Она перебила его:

— Тогда откуда у вас деньги? Я знаю, как плохо живут люди, а у вас откуда? Значит, вы нечестно живете! Разве шофер столько денег получает? Нет, нет, я знаю! Если бы папа узнал, что вы принесли эти ужасные мандарины! Он бы вас выгнал!..

Все лицо ее источало брезгливость, презрительно опустились края рта; она мотнула косой по спине и, вешая шар на елку, договорила через плечо стеклянным голосом:

— Не ходите к нам больше! Поняли?

— А-ася, — жалобно сказал Константин. — Зачем резкости?

Нарочито громко вздыхая, он стоял позади нее и, пытаясь нащупать путь примирения, обескураженный ее злой прямотой, не знал, что говорить этой девочке.

Когда он услышал голос вошедшего в комнату Сергея: «Н-да, черт побери!» — и увидел, как тот рассеянно, хмуро зачем-то похлопал себя по карманам, Константин вторично попробовал растопить ледок неприязни, повеевшей от Аси, засмеялся:

— Твой разговор по телефону напоминал доклад. Ася, его часто рвут и терзают по телефону? — спросил он, снова обращаясь к Асе, еще не в силах преодолеть инерцию трудного разговора с ней, и тут же понял — говорить этого не стоило.

— Ася, выйди в другую комнату, — сухим тоном приказал Сергей. — Ну что ты стоишь? Выйди. У нас мужской разговор, — повторил он резче, и Константин заметил, как при каждом слове Сергея замирала худенькая, в широком джемпере спина не отвечавшей ему Аси, как все ниже наклонялась ее тонкая шея.

— Давай мы оба выйдем, погутарим в коридоре, — миролюбиво предложил Константин. — Не будем мешать.

И вихрем мимо него мелькнул зеленый джемпер Аси — подбородок прижат к груди, глаза опущены, — и дверь в другую комнату хлопнула, потом донесся ее непримиримый голос:

— Папа сказал, чтобы ты был сегодня дома, а не в компании с Константином! Понятно тебе?

Они переглянулись.

Досадливо пожав плечами, Сергей в новой белоснежной сорочке, с новым галстуком, съехавшим набок, про-

шелся по комнате, сказал прежним резковатым тоном:

— Все не так, как задумано! Едем через полтора часа к Нине. Она не может приехать. Потом, кто-то там хочет видеть меня. Люди, в чьих руках моя судьба. Понял? Это даже интересно! — Сергей заложил руки в карманы, круто повернулся на каблуках к Константину. — Ну? Ясно? Звони в свою компанию, скажи — не сможем, не будем. Поедем к Нине. Ну что задумался? Давай к телефону!

— Решил, Серега, за меня? Как в армии?

— А что тут решать!

— Не считаешь ли ты, Серега, меня за мумию? — поинтересовался Константин. — Спросил бы, куда моя душа тянет — в ту компанию или в эту? Или эгоизм разъел уже и твою душу? А, Серега?

— Хватит, еще будем разводить нежности! Решай по-мужски: туда или сюда?

— Сюда. Конечно, сюда. — Константин с заалевшими скулами пощипал усики. — Поедем. Только вот хлопцев обидим. Хорошие ребята собираются на Метростроевской. Ладно. Снимаю предложение. Согласен к Нине.

— Другое дело. Звони!

Когда на Ордынке вышли из троллейбуса и, как бы освобожденные, вырвались из тесноты, запаха морозных пальто, из толчеи новогодних разговоров, из окружения уже оживленных и красных лиц, вся улица была в плывущей карусели снегопада.

На троллейбусной остановке свежая пороша была вытоптана — здесь чернела длинная очередь, загорались огоньки папирос; компания молодых людей с патефоном, будто завернутым в белый чехол, весело топталась под фонарем: наперебой острили, хохотали. Был канун 1946 года. И везде — в скользящих под снегопадом огнях троллейбуса, в окнах домов, в красновато-зеленоватом мерцании зажженных елок — была особая предновогодняя легкость, чистота, ожидание. Это чувствовалось и в запахе холода, и в фигурах редких прохожих, которые бежали навстречу, завьюженные, в побеленных шапках, все несли авоськи со свертками, с торчащими из газетных кульков бутылками полученного по карточкам вина — и сейчас хотелось верить в долгие дни этой праздничной возбужденности и доброты.

— «Мне-е в холо-одно-ой земля-нке-е тепло-о», — затянул Константин глубоким басом.

— «От твоей негасимо-ой любви-и...» — подхватил Сергей.

Огромные окна аптеки на углу были пустынно-желтыми; снежные бугры перед подъездами темнели следами.

Переходили улицу: около тротуара завиднелась какая-то изгородь, сплошь забитая снегом, там мутно блестел красный фонарь, и фигура, укутанная в тулуп, в женском, намотанном на голове платке двигалась возле фонаря, лопатой расчищала горбатый навал сугроба, наметаемого к изгороди: видимо, замерзли водопроводные трубы, и шли тут работы в эту новогоднюю ночь.

— С Новым годом, мамаша! — сказал Сергей, шутливо козырнув с чувством освобожденной доброты ко всем.

— Какая т-те, к шуту, мамаша? — густо прохрипела фигура, закутанная в тулуп, выпрямилась, мужское лицо недовольно глядело из-под платка. — Глаза разуй, поллитру хватил?

— А платок, платок зачем? — захохотал Константин. — У жены напрокат взял? Тебя, дядя, в упор в бинокль не различишь!

— Ладно, ладно! — обиженно загудел тулуп. — Давай дуй, справляй! К девкам небось бежите? Чего хохочете-то, ровно двугривенный нашли? — И, сплюнув себе под валенки, с сердцем метнул облако снега в сторону тротуара, под длинные полосы электрического света, разлитые из мерзлых окон.

Оба снова засмеялись, овеянные на тротуаре колючей снежной пылью, и Константин, с улыбкой удовольствия стряхнув налипший пласт на рукава кожанки, посмотрел на часы.

— «Уж полночь близится, а Германа...» — И, ударив Сергея по плечу, фальшиво пропел: — Мы рано премся! Не люблю приходить до разгара!

Когда через темную арку ворот, дующую сквозным холодом, вошли в маленький двор и остановились под шумевшими на ветру липами, когда Сергей нашел над дымящимися крышами сараев ярко-красное окно в стареньком трехэтажном домике Нины, он с внезапной остротой почувствовал сладкое, тревожное и горькое давление в горле, как в первое утро после проведенной ночи у Нины,

когда, проснувшись в ее комнате, он увидел четкие крестики вороньих следов на розовой крыше сарая. И то, что Константин вошел в этот обычный замоскворецкий дворик лишь с некоторой заинтересованностью гостя, не зная того, что помнил, ощущал сейчас Сергей, будничнo отдаляло его и принижало его чем-то.

— Куда идти? Какой этаж? Однако твоя Ниночка живет не в хоромах...— Константин, задрав голову, прижмурясь от снега, летящего ему в глаза, оглядывал горевшие во дворике окна.— Не вижу карет и швейцара у подъезда.

И Сергей ответил:

— За мной! Не упади на лестнице, наступив на кошку. Лифта не будет!

По полутемной лестнице поднялись на второй этаж, позвонили и, стоя в ожидании под тусклой лампочкой на площадке, услышали из-за обитой клеенкой двери смешанное гудение голосов, смех, потом возглас: «Ниночка, звонят!» — и затем побежал к двери перестук каблуков вместе со знакомым голосом:

— Сейчас открою!

Щелчок замка, свет неестественно яркой передней, из квартиры на лестничную площадку вырвались звуки патефона, в проеме двери вырисовывались узкие плечи Нины.

— Вы просто молодцы!

Весело улыбаясь, она воскликнула: «Быстрей, быстрей!..» — и втащила Сергея в переднюю, и уже в передней, заставленной галошами, женскими ботами, заваленной пальто, он заметил в открытую дверь за ее спиной незнакомые ему мужские и женские лица и, оглушенный хаосом смешанных голосов, на какое-то мгновение почувствовал растерянность оттого, что в этой комнате с ее обычной зимней тишиной было нечто непривычное. И он, пересиливая себя, улыбнулся Нине.

— Ну раздевайтесь, быстро! Хотя есть время... Сами знаете, мужчины не умеют терпеть, когда стоит вино на столе! Быстро, быстро! — Она засмеялась, протянула Константину руку.— Мы еще незнакомы. Нина. Я, кажется, чуть-чуть вас знаю со слов Сергея...

— Костя... Константин. Я тоже чуть-чуть,— попав в луч ее взгляда, произнес Константин, бережно сжал ее пальцы и тотчас вынул из карманов две бутылки вина, поставил их на тумбочку, меж валявшихся кучей муж-

ских шапок, договорил шутливо-галантно: — Прошу вас, Нина, без ненужных слов. Живем в тяжелое время карточек, лимитов и прочее... А кажется, — он моргнул на дверь, — мужчин здесь хватит. Простите, вы на меня не сердитесь?

— Нет, нет, что вы! — воскликнула Нина. — Хорошо, идемте. Я вас сейчас познакомлю со всеми.

— Только ни с кем нас не знакомь, — остановил ее Сергей. — Мы сами познакомимся.

Их встретили оживленным гулом, обрадованными возгласами полушутливых приветствий, как встречают даже в незнакомой компании новых гостей; в плавающем папиросном дыму лица повернулись к ним; и тут молоденький паренек в очках, как-то неудобно сидя у края стола, неизвестно зачем зааплодировал, глядя на Нину, заорал ожесточенно:

— Горько!

И в полутени абажура пара, топтавшаяся в углу комнаты под звуки патефона, обернулась с любопытством; и кто-то приподнялся с дивана, помахал им в знак приветствия. Стоя среди говора, смеха, шума, Сергей мгновенно понял, что их ждали здесь, в этой, видимо, давно знавшей друг друга компании; и он, неприятно оглушенный, скованный и шумом и многолюдством, не очень ловко представился всем сразу вместе с Константином:

— Сергей.

— Костя, он же Константин.

И Нина, встав между ними, спросила: «Все познакомились?» — после чего взяла обоих под руки, подвела к столу, поворачивая голову то к одному, то к другому, сказала ласково:

— Мы сядем здесь. Я — посредине. Будете за мной ухаживать оба. — И добавила шепотом: — Видите, я уже многих посадила за стол: негде танцевать. Пусть сидят. Я сейчас. Садитесь! — Она посадила их и, улыбаясь, скользнула глазами по толкотне в комнате. — Товарищи геологи и горняки, прошу всех к столу! Мальчики, посмотрите на часы. Свиридов, оставьте патефон и включите радио!

Патефон заклебнулся и смолк, перестала шипеть пластинка, потом загремели стулья, пододвигаемые к столу, послышались со всех сторон возгласы:

— Пора, пора, терпежу нет! Включить радио!

И сейчас же за столом стало теснее, заколыхались незнакомые лица, девушки со смехом стали разбирать разномастные, собранные, по-видимому, у всех соседей тарелки, парни с бывалым видом пьющих людей взялись за бутылки, изучающе рассматривая этикетки; кто-то потребовал рокочущим басом:

— Штопор мне, Ниночка, штопор! Дайте мне орудие производства!

— В углу! Сдерживайте Володьку и отберите у него селедку! Сожрет все в новогоднем восторге! — крикнули в конце стола.

Возникло то оживление, когда садятся за стол, и прежней растерянности, появившейся вначале у Сергея при виде этой толчеи совсем незнакомых людей, уже не было. Он закурил, поискал глазами пепельницу, не нашел ее поблизости, но сосед справа, паренек в очках, некстати заоравший давеча «горько», пододвинул к нему чистое блюдечко, сказал с нетрезвой вескостью:

— Сойдет! В этой компании сойдет, верно, Сергей?

Был он возбужден; похоже, выпил перед тем, как идти сюда, выглядел смешно, наивно, неряшливо, очки странно увеличивали его по-мальчишески косящие глаза, и лицо, худое, остроносое, имело обалделое выражение.

— Я вас знаю и понимаю! — сказал он с категоричной хмельной прямотой. — Огонь, дым, смерть... и студенческая скамья, карточки и профессора в пальто на кафедре. Поколение, выросшее на войне, и поколение, выросшее в тылу. Вы воевали, мы учились. Два разных поколения, хотя разница в годах... с воробьиный нос. Вы презираете наше поколение за то, что оно не воевало?

— Пожалуй, нет,— сказал Сергей. — А к чему этот вопрос?

Локоть паренька, как по льду, оскальзывался на краю стола, стекла его очков ядовито сверкали.

— Бросьте! — Паренек в очках взъерошился, хлопнул несильным кулачком по столу.— Поколение, испытавшее дыхание смерти, не может быть объективным к тем, кто не воевал! А я не воевал!

— И что же?

— Откровенность за откровенность. Отвечайте мне!

— Только на равных началах. Вы уже громите стол кулаком. Равенства нет,— ответил Сергей.— Вы меня запугиваете.

Взрыв смеха раздался за дальним концом стола — разговор, вероятно, был услышан там. И, удивленный вниманием к себе, Сергей поднял голову и неясно увидел в полутени абажура, среди молодых возбужденных и смеющихся лиц, чье-то очень знакомое лицо — оно, чудилось, ободряло и кивало ему, а рядом было женское лицо, которое искоса смотрело в направлении Сергея, кривилось вымученной гримасой.

«Уваров?.. Он здесь?» — мелькнуло у Сергея, и его словно обдало горячим парным воздухом. Было нелепо и противоестественно, что, войдя в эту комнату, он в первую минуту не заметил их — Уварова и его девушку, кажется, ее звали Таня... Но вдвойне бóльшая противоестественность была в том, что, зная друг о друге то, чего не знали другие, они сидели за одним столом, и Уваров, как если бы между ними ничего не было, даже ободряя, кивал ему сейчас, а он, нахмурясь, еще не знал, чтó надо было ответить и делать на это участие.

— Тиш-ше!

— Радио, радио включите!

— Петька, поставь бутылку, кто открывает вилкой?

— Ша, пижоны, как говорят в Одессе!

Крики эти, смех, толчея в комнате уже проходили мимо, не касались сознания Сергея, и он, соображая, что ему делать, видел, как Уваров ножом, с настойчивой требовательностью стучал по бутылке. Он устанавливал порядок на своем конце стола, и две девушки, сидя напротив Уварова, что-то весело говорили через стол, а он отрицательно качал головой.

«Что это? Зачем это? Как он здесь?..— спрашивал себя Сергей.— Его знают здесь?» — соображал он, ища решения, и тут же услышал удивленный шепот Константина над ухом:

— Ты ничего не видишь? Куда мы попали, маэстро? Ты видишь того хмыря, ресторанного? Твой фронтовой дружок? Что происходит?..

— Сиди и молчи, Костя, посмотрим, что будет дальше,— вполголоса ответил Сергей.

— Так что ж вы замолчали? — просочился сбоку из папиросного дыма нетерпеливо задиристый тенорок, и придвинулось к Сергею ядовитое сверканье очков.

— Мы разве с вами не доспорили? — плохо вникая в смысл своих слов, ответил Сергей.— Кажется, все ясно.

В это время прозвучал за спиной жестковатый голос:

— Прошу прощения, разрешите с вами лично познакомиться?

Сергей обернулся: позади него стоял невысокий старший лейтенант средних лет, лицо сухое, болезненно желтое, с глубоко впалыми щеками. Новый китель аккуратно застегнут на все пуговицы, свежий подворотничок педантично чист, темные цепкие глаза глядели в упор; левой рукой старший лейтенант опирался на костылек.

— Свиридов. Рад познакомиться с фронтовиком. Тем более — со своим будущим студентом.

— Не понимаю.— Сергей почувствовал, как плотно и сильно сжал его плечо Свиридов, и вместе с тем, слыша смутный шум за столом, там, где сидел Уваров, спросил:— Но почему «студентом»?

Губы Свиридова немного раздвинулись, улыбался он неумело, некрасиво, и, выговаривая фразы прочно, округляя их, он сказал:

— Вы подавали документы в Горно-металлургический институт и разговаривали с доцентом Морозовым. Вчера списки утверждались. Я присутствовал от партбюро и отстаивал фронтовиков. Я преподаю в институте военное дело. Вас отстояли. Поздравляю. Списки сегодня утром вывешены.

— Отстояли? Меня? От кого отстояли?

Свиридов скупо улыбнулся изгибами рта, взгляд был немигающ, внимателен, голос, отделенный от улыбки, звучал по-прежнему увесисто:

— Это неважно сейчас.

— Что ж... Спасибо, если отстояли, — сказал Сергей.

И через минуту, когда он сел, чья-то рука мягко легла сзади на его плечо,— Нина наклонилась над ним и, заглядывая ему в глаза, сказала тихонько:

— С тобой хочет поговорить один человек. Иди сюда, пересядь на тахту. Он хочет... Здесь никто не будет мешать.

— Кто он?

— Узнаешь...

Сергей пересел на тахту с неприятным чувством перед вовсе ненужным новым знакомством — не хотелось сейчас отвечать кому-то на вопросы или спрашивать, желая казаться вежливым, общительным человеком, как это надо было делать в гостях.

— Здорово, Сергей! Очень рад тебя встретить здесь!

Этот знакомый рокочущий басок будто толкнул Сер-

гея, и, еще не веря, он увидел: рядом опустился на тахту Уваров в очень просторном клетчатом, с толстыми плечами пиджаке, синего цвета галстук выделялся на свежей полосатой сорочке, на тесном воротничке, сжимавшем крепкую шею.

Сергей быстро взглянул на неопределенно улыбающееся лицо Нины, на излишне веселое лицо Уварова и, криво усмехнувшись, выдавил:

— Ну?

Уваров, наморщив брови, бодро заговорил примирительным тоном:

— Ну как, Сережа? Будем физиономию друг другу бить или брататься? Ну... здорово, что ли? Ниночка, вы можете нас не знакомить. Мы знакомы. Верно?

Он со скрытым напряжением, с нарочитой уверенностью засмеялся, а Сергей все смотрел в его лицо, как бы отыскивая следы после той встречи в ресторане, вспомнил его вскрик: «Он изуродовал меня!» — поморщился, ответил сдержанно:

— Однажды я тебе сказал... я не люблю братских могил. Это, наверно, ты помнишь!

— Так.— Уваров вроде бы в раздумье потер лоб длинными пальцами; вдруг, обращаясь к Нине, проговорил: — Мира не получается. Что ж будем делать? Может быть, кому-нибудь из нас нужно умереть, чтобы другому было свободнее? Остроумнее не придумаешь!

Нина взяла Сергея за локоть, вздыхая просительно и затем взяла за локоть пожавшего плечами Уварова легонько толкнула их друг к другу, прошептала обоим:

— Ну, мир? Перемирие? Сядьте.

— Я готов, — принужденно сказал Уваров. — Но перемирие может состояться тогда, когда его хотят обе стороны.

— Он прав, — ответил Сергей, в то же время думая: «Мелодрама! Чем кончится эта мелодрама? Зачем он хочет говорить со мной? И зачем вмешивается Нина?..»

Он договорил:

— Братание вряд ли у нас получится.

— Нет, нет, только мир,— уверительно повторила Нина. — Мир, мир. Прошу вас обоих, Сережа.

Уваров расстегнул пиджак, удобнее развалился на тахте, полное лицо его выражало добродушную обезоруженность.

— Боюсь наболтать банальщины, Ниночка, но один в поле не воин.

Сильный, голубоглазый, в своем клетчатом, сшитом, видимо, в Германии костюме, Уваров бесцеремонно начал разглядывать полочки сбоку тахты, стал трогать фигурки тунгусских богов, образцы кварца, говоря своим рокочущим баском:

— Геологи, в особенности женщины,— удивительные люди. Стоит им хотя бы на полгода обосноваться в городе, как окружают себя тысячами вещей. Это что же — тяга к уюту? А, Ниночка? Или — ха-ха! — геологическое мещанство? Хм, что это за сопливый слон? Не положено. Мещанство. На партийное собрание вас.

— Я беспартийная, Аркадий.

— На суд общественности вас. Экую настольную лампу в комиссионном оторвали! Мещанство высшей марки!.. Да, да, Ниночка! Верно, Сергей? — обратился он к Сергею дружелюбно и просто, как к близкому знакомому, от его манеры гладко говорить повеяло чем-то новым. Этот Уваров не был похож на того капитана Уварова, который три месяца командовал батареей и которого он встретил в ресторане недавно.

Широкая фигура Уварова в просторном немецком костюме раздражающе лезла в глаза, и какая-то непонятная сила сдерживала Сергея, заставляла сидеть, наблюдать за ним с особым едким интересом. «Нет, в ресторане он был другим. Тогда в нем было то, фронтовое: взгляд, осанка, тогда он был в кителе...» И чувствуя неприятную испарину на висках, Сергей не вытирал ее — не хотел выказывать скрытого волнения.

— Мещанство надо понимать иначе, — когда человек трясется только за свою шкуру, — сказал Сергей. — Это известная истина.

— Сережа, — робко остановила его Нина и вздохнула. — Ну я прошу... Я не буду мешать. Я лучше уйду.

Уваров, однако, со спокойным видом покатал на ладони кусочек кварца, спросил:

— Не остыл еще? Ну скажи, Сергей, признаешь объективный и субъективный подход к вещам? Мы с тобой оба воевали, но некоторые штуки оцениваем по-разному.

— Ты воевал? — Сергей раздавил окурок в пепельнице на тумбочке. — Правда одна. Ты хочешь две!..

— Значит...

— Значит, братская могила?

— Какая могила?

— Вали все в одну яму? Все, кто был там, воевали?

— Вот что, Сережа... — медленно проговорил Уваров, положив кусочек кварца на полочку, и, так же медленно и вроде без охоты шутя, вынул военный билет.— Может, ты посмотришь мой послужной список?

— Я знаю его, — сказал Сергей. — Ты пришел к нам из запасного полка и ушел в запасной полк.

— У каждого судьба складывается по-своему. В войну — особенно.

Слыша голос Уварова, Сергей опять потянулся за сигаретами — было горько, сухо во рту, но сигарету не достал, рука осталась в кармане пиджака, и, сидя так, в полутени, в этом неудобном положении, ощущая возникшую тяжесть во всем теле, он думал с раздражением на самого себя: «Не так, не так говорю с ним! Он уверен, спокоен... И мне надо говорить... Только спокойно!..» С коротким усилием он изменил неловкую позу, посмотрел неприязненно в ждущие глаза Уварова.

— Не забыл лейтенанта Василенко? Надеюсь, ты помнишь его?

— Но откуда ты все можешь знать? — Уваров сделал изумленное лицо, шумно выдохнул из себя воздух, как спортсмен после длительного бега. — Тебя ведь увезли в госпиталь, насколько я помню?

— Я встретил в госпитале писаря из трибунала. Это тебе ничего не говорит?

— Ох, Сережа, Сережа, — сказал Уваров с выражением тяжелейшего утомления. — Ниночка, — позвал он расслабленно,— я уже бессилен... Я уже не могу!..

Сергея особенно злило, что Уваров обращался к Нине, точно в верном поиске у нее поддержки и точно заранее зная, что эта поддержка будет. Она подошла, осторожно улыбаясь обоим, и Сергей, нахмуренный, отвернулся, подумал: «Почему она вмешивается в то, во что не должна вмешиваться?»

За столом хаотично шумели, кричали, крики, смех смешивались в оживленный гул, заглушая разговор на тахте, но ожидаемого мира не было в этой комнате. Он был и не был. Мир был фальшив.

— Мальчики, садитесь за стол! — поспешно сказала Нина и погладила обоих по плечам. — Хотите — для вас я найду водку? Старую бутылку. Привезла из Сибири. С довоенной маркой!

— Подождите, Ниночка! — мягким баском произнес Уваров, взглядом задерживая Сергея. — Мы не договорили.

— Мы договорили, — сказал Сергей.

— Нет, Сережа, — перебил Уваров все так же мягко. — Простите, Ниночка, можно нам еще минутку один на один?

— Да, да, я ухожу, говорите.

Сергей сознавал всю глупость, всю неестественность своего положения и хорошо понимал, что не может, не имеет права быть сейчас здесь, сидеть на одной тахте с Уваровым, но что-то сдерживало его, и он, как бы помимо воли своей, старался дать себе отчет, чего же он не понимал в этом новом, все забывшем, казалось, Уварове; а знакомое и незнакомое его лицо было потно, голубые глаза чуть покраснели, в них по-прежнему искрилось добродушие, веселое желание мира.

— У тебя, Сергей, странные подозрения. Основанные на слухах. У тебя нет никаких доказательств. Остынь и рассуди трезво. Я не хочу с тобой ссориться, честное слово. То, что было, — черт с ним, забудем. Я не навязываю тебе дружбу, хотя был бы рад... Пойми, Сережа, нам учиться в одном институте, только на разных курсах. Я стою за то, чтобы фронтовики объединялись, а не разъединялись. Нас не так много осталось. Ей-богу, ты во мне видишь другого человека. Хотя, я понимаю, это бывает... Я хочу, чтобы ты объективно понял... Я сам себя часто ловил на том, что сужу о людях не так, как надо.

— Товарищи фронтовики, прекращайте секреты! — крикнул Свиридов из-за стола, изображая на худом своем лице неумело-комическое нетерпение. — Занимайте места!

И в эту минуту Сергей понял, что надо прекращать этот разговор. Слова, которые говорил сейчас Уваров, и то, что они сидели сейчас здесь, на тахте, близко друг к другу, — все с противоестественной нелепостью соединяло, сближало их, и Сергей резко поднялся, сказал:

— Значит, дело в психологии? А я-то не знал!

Уваров встал следом за ним, вроде бы нисколько не задетый открытой этой насмешкой, проговорил тоном серьезного и дружеского убеждения:

— Подумай обо всем трезво, честное слово, ты не прав. Ну подумай. — И бодрым голосом ответил Свиридову, глядевшему на них: — Иду, иду, Павел! Нам необходимо было поговорить!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

«Я знал, что надо делать тогда, в ресторане, но что делать сейчас? Улыбаться, разговаривать с соседями, с парнем в очках? Развлекать девушек, как это делает Константин, показывая какой-то фокус с рюмкой и вилкой? Новый год — я разве забыл об этом? Тогда зачем я пришел сюда? Что я делаю? Знаю, что нельзя прощать, но сижу здесь, за одним столом с ним?.. Значит, прощаю?»

Уваров сел справа от Свиридова, закурил, потом с почти обрадованной улыбкой кивнул Сергею, и тот, испытывая вязкий холодок отвращения к самому себе, внезапно подумал, что после ресторана, после этого разговора он почему-то не ощущал прежней ненависти к Уварову, а оставалось в душе чувство усталости, неудовлетворения и горечи.

Он искал в себе прежней острой ненависти к Уварову — и не находил. Он не мог определить, понять точно, почему так произошло, почему это недавнее, жгучее незаметно перегорело в нем, как будто тогда, встретив Уварова впервые после фронта, он вылил и исчерпал всю ненависть, и постепенно ее острота притуплялась, чудилось, против его желания. Но, может быть, это и произошло потому, что никто не хотел верить, не хотел возвращаться назад, к прошлому, которое было так близко, — ни Константин, ни майор милиции, ни те люди в ресторане, ни все те, кто смеялся, разговаривал теперь в этой комнате с Уваровым; они не поверили бы в то, что произошло в Карпатах. Он спрашивал себя: что же изменилось — время или наша победа отдаляла войну? Или желание плюнуть на все, что не давало покоя ему, мешало жить? Он еще сопротивлялся, не соглашался с этим, но замечал, как люди уже неохотно оглядывались назад, пытаясь жить только в настоящем, как вот и сейчас здесь... Если бы каждый из сидящих за этим столом помнил о погибших — о разорванных животах, о предсмертном хрипе на бруствере окопа, о фотокарточках, залитых кровью, которые он после боя вместе с документами доставал из карманов убитых, — кто бы смеялся, улыбался сейчас? Но улыбаются, острят, смеются... И он тоже четыре года так жадно мечтал о какой-то новой жизни, полновесной, праздничной, которая в тысячу раз окупила бы прошлое... Уваров... Разве дело только в Уварове? Никто не хочет

копаться в прошлом, и нет у него доказательств... Но есть настоящее, есть жизнь, есть будущее, а прошлое в памяти людей стиралось...

— Ты что хмуришься? Перестань курить.

Легкие Нинины пальцы легли на руку, потянули из его пальцев сигарету, бросили в блюдечко — и она повторила шепотом:

— Ну? Будем сидеть букой?

— Нет, — сказал Сергей.

И она на миг благодарно прижалась к нему плечом.

— Ты посмотри на Костю. Он молодчина.

Константин в это время, взяв на себя команду на своем конце стола, возбужденный новой компанией, вниманием девушек, которые уже называли его Костенькой, подмигнул, как давнему приятелю, пареньку в очках, налил в его рюмку водки, после чего весело прищурился на Нину.

— Вам? — И спросил так галантно, что Нина засмеялась.

— Конечно, водку, Костя. Пожалуйста.

— Нина — не женский монастырь, нет! — пробормотал паренек в очках.— Не монастырь кармелиток!

— Пе-етень-ка-а, — протяжно сказала Нина и ласково взъерошила ему волосы. — Петенька, ты пьян немножко? Да, милый?

Тот мотнул головой, угрюмо отшатнулся на стуле.

— Не надо... не хочу... ты не надо... так... Не люблю...

— Братцы! Разговорчики! Внимание, даю площадь!..

Все замолчали. В тишине комнаты возник приближенный, отчетливый шум Красной площади: гудки автомобилей в снегопаде, шорох шин — звуки новогодней ночи, знакомые с детства, и там, в метели, рождаясь из снежного шелеста, из гула пространства, мощным великолепием раскатился, упал первый бой курантов.

— Тише приемник! У всех налито? Сергей, у тебя налито? Приготовиться, братцы!.. Сережа, налито у тебя? Ухаживайте за фронтовиками там, на том конце! Первый тост фронтовикам!

И неожиданно командный голос Уварова, перекрикивая мощность приемника, опять будто окунул Сергея в ледяной сумрак октябрьского рассвета в тусклых Карпатах — этот командный голос был связан только с тем, в нем было только то...

«Нет! Не хочу думать о том! Все — новое, надо жить новым»,— стал убеждать себя Сергей, и, стараясь найти это непостижимо новое, он с надеждой посмотрел на праздничное последнее приготовление, вызванное командой Уварова.

А Уваров стоял за противоположным концом стола, держал, сосредоточенно серьезный, стакан, наполненный водкой; снизу поднял к Уварову цепкий взгляд Свиридов; глядела в ожидании, подперев пальцем щеку, белокурая девушка, которую, кажется, звали Таня...

Лицо Уварова изменилось — губы его на секунду каменно сомкнулись.

— Я предлагаю тост... Первый тост...

Губы Уварова разжались, слова, тяжелые и железные, срывались с них, падали в тишину. Все напряженно молчали, лишь посапывал досадливо, гася папиросу в блюдечке, парень в очках.

— Я предлагаю тост... как бывший солдат. Тост за того... с именем которого мы ходили в атаку... стреляли по танкам, умирали... С именем которого мы защищали Родину и победили... — Уваров помедлил, из-за плеча остро глянул на Свиридова, закончил страстно зазвеневшим голосом: — За великого Сталина!

И в следующий момент, скрипнув палочкой, распрямился над столом обтянутый новым кителем худощавый Свиридов, без улыбки, безмолвно чокнулся с Уваровым. Все неловко вставали, отодвигая стулья; потянулись друг к другу стаканы,— и Сергея вдруг хлестнуло едкое чувство чего-то фальшивого, неестественного, исходящего от Уварова; он тоже встал со всеми, сжимая в пальцах рюмку, — стекло ее стало скользким. Рядом — сдержанное шевеление голосов, шорох одежды, потом еле различимый шепот и прикосновение Нининых теплых волос к его щеке:

— Сережа... Я с тобой чокнусь, милый...

И стакан Константина ударился об его рюмку.

— Старик, давай... Что думаешь?

Он ясно увидел под светом абажура потный лоб Уварова, строгий взор, впалые щеки Свиридова, опущенные глаза белокурой девушки и подумал со злым ожесточением к себе: «Зачем я шел сюда? Зачем мне нужно было приходить сюда?»

— Я хотел сказать... — внезапно проговорил Сергей, едва узнавая свой голос, отдаленный, чужой, отдававший-

ся в ушах, и, глядя на Уварова, на его крепкое лицо, от которого словно пахнуло болотной сыростью карпатского рассвета, договорил глухо: — Я с тобой пить не буду! Не тебе говорить от имени солдат!

Была плотная тишина, неясно желтели лица в оранжевом свете абажура, и лицо Уварова сейчас же отклонилось за круг абажура, потеряв резкость черт, лишь были очень ясно видны в одну полоску собранные губы.

— Послушайте, послушайте, что он говорит!.. Вы все слышали? Он преследует Аркадия! Он сводит свои счеты, — с отчаянием, рыдающим взвизгом выкрикнула полная белокурая девушка. — Он ненавидит Аркадия!..

— Товарищи дорогие, прекратите свои распри! — умиротворяюще громко сказал кто-то. — Новый год! Портите всем настроение.

— Браво! — пьяно воскликнул парень в очках и зааплодировал. — Это я люблю! Драма в благородном семействе!

— А может, помолчишь ты, друг любезный в благородных очках! — выплыл вежливо-недобрый голос Константина, и его локоть толкнул локоть Сергея. — Садись, Сережа, посидим и выпьем ради приличия...

Сергей, не двигаясь, сказал только:

— Подожди, Костя.

— Все это оч-чень странно! — донесся от того конца стола скованный и тяжелый голос Уварова. — Особенно для фронтовиков... Но если, друзья, у кого-то не в порядке нервы... Я здесь не несу никакой ответственности и объясняю все только непонятной подозрительностью и неприязнью Сергея ко мне. — Голос его перестал быть тяжелым, зазвучал тише, и, пытаясь улыбаться, он закончил со снисходительным спокойствием человека, не желающего обострять случайное недоразумение. — Я не буду сейчас выяснять наши фронтовые отношения. Не стоит портить праздник, друзья. Понимаю: бывает неосознанная неприязнь...

Увидев эту улыбку, Сергей вспомнил, ощутил знакомое чувство, испытанное им тогда в ресторане, когда он ударил Уварова и когда люди позже осуждали его, а не Уварова, и, подумав: «Ему стоит позавидовать — умеет себя держать в руках...» — и, напряженным усилием сдерживаясь, сказал тем же тоном, каким говорил сейчас Уваров:

— Да, конечно, не стоит портить праздник. Но я не буду мешать всем.

Он повернулся, увидел перед собой увеличенные глаза Нины и крупными шагами вышел в переднюю, решительно перешагнул через кучу галош, женских бот, сорвал с вешалки шапку; в этот миг оклик из комнаты остановил его:

— Сергей, подожди! Подожди, я говорю!

Нина выхватила у него шапку, спрятала за спину и вся подалась к нему, загораживая путь к двери.

— Подожди, подожди! Ты только подожди...

— Ты хочешь помирить меня с ним? — грубо выговорил Сергей.— Зачем? Для чего, я спрашиваю?

— Я ничего не хочу,— сказала она.

— У нас с тобой прелестные общие знакомые! Но тебе придется выбирать.

— Что выбирать?

— Знакомых.

— Но ты не должен...

— Ты не должна! Но тебе придется выбирать. Не хочу понимать твоей доброты ко всякой сволочи, — жестко сказал он, выделяя слово «доброты», и рывком потянул шинель со спинки стула, заваленного грудой пальто.

Она по-прежнему держала шапку за спиной и, теперь не останавливая, удивленно глядела на него, покусывая губы.

Он повторил:

— Тебе все ясно?

Она молчала.

— Дай, пожалуйста, шапку,— сказал он и неожиданно для себя сделал шаг к ней, сразу отдалившейся, как бы ставшей чужой, с силой притянул ее к себе.— Пойдем со мной или оставайся! Слышишь? Не хочу, чтобы ты оставалась здесь. Ты это понимаешь?

— Ничего не слышу, ничего не вижу, где мои галоши? — раздался предупреждающий голос, и Сергей, недовольный, обернулся к вышедшему в переднюю Константину.— Я с тобой, Сережка,— пробормотал он, деликатно вперив взор в потолок.— Потопали. Разбит вдребезги вдрызг.

— Костька, подожди там! Если нетрудно — выйди!

— Ясно, — с огорчением щипнул усики Константин и, насвистывая, поспешно прошел в комнату, тщательно закрыл за собой дверь.

— Ты будешь раздумывать? — И Сергей резко притянул ее за плечи.— Ну?

— Это все? — спросила она.

— Где твое пальто?

— Вон там...

Отпустив ее, он с непонятной самому себе грубой уверенностью начал снимать, кидать на тумбочку, на спинку стула холодноватые чужие пальто, и в этот момент послышался сзади сдавленный смех — Нина, прислонясь затылком к стене, уронив руки, странно, почти беззвучно смеялась, говорила шепотом:

— Они останутся здесь, а я... Просто девятнадцатый век! Тройка, снег, новогодняя ночь... Ты понимаешь, что делаешь? Вон там мое пальто, Сережа...

Он выдернул из тесноты одежды на вешалке ее пальто и, помогая одеться, увидел на ее шее, над шерстяным воротом свитера, светлые завитки волос и, до спазмы в горле весь овеянный всепрощающей мучительной нежностью, прижался к ним губами.

— Нина, быстрей!

— Хорошо. Иди вперед, я закрою...

Она с таинственным видом пошла на цыпочках, щелкнула замком, пропустила Сергея вперед на лестничную площадку, и здесь, исступленно обнявшись, они несколько секунд стояли и целовались в тишине под неяркой, запыленной лампочкой перед дверью. Дом праздновал; где-то на нижнем этаже приглушенно звучала музыка.

— Идем...

— Быстрей! Внизу тройка, медвежья полсть и бубенцы!

Тихо смеясь, она схватила его за руку, они ринулись вниз, перепрыгивая через обшарпанные ступени лестницы, наполняя лестницу гулом, и только на первом этаже, не освещенном лампочкой, Нина, переводя дыхание, едва выговорила, наклоняя голову Сергея к своему лицу:

— Куда ты хочешь меня вести?

— А ты куда хочешь?

— Куда ты.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Константин вернулся на рассвете, уже серели окна,— пошатываясь, ощупью поднялся по лестнице спящей квартиры, с пьяной осторожностью открыл дверь в комнату и, не зажигая света, долго пил из графина воду жадными глотками. Затем упал на диван, не сняв костюма, лежал неподвижно в темноте, его отвратительно подташнивало, и он не скоро уснул.

Проснулся поздним утром — болело, ломило в висках, мерзкий, пороховой вкус был во рту.

— Э-э, идиот! — сказал он вслух, застонав, будто в чем-то был смертельно виноват.

Угнетало его, не давало покоя то, что остаток ночи провел в совершенно незнакомой компании — возвращались после встречи Нового года домой, неожиданно вспомнил адрес Зои, с которой познакомился недавно, поехал на окраину Москвы. Там, в чужой компании, много пил, ругался с хмельными крикливыми парнями, потом вывел робко отталкивающую его Зою в переднюю, целовал ее шею, грудь сквозь расстегнутую кофточку, она говорила ему, что сейчас не нужно, что сюда войдут, а он убеждал ее куда-то вместе поехать.

«Что я там наделал? Что я там натворил?» — ворочаясь на диване, стал вспоминать Константин, но помнил лишь смутные лица этой чужой компании, крик, хохот, ощущение своих плоских, тогда казавшихся блистательными острот, и эту переднюю, испуганно сопротивляющиеся глаза Зои, ее испуганный шепот: «Костенька, потом, потом...»

«Что я наделал, что наговорил, идиот в квадрате! Зачем? — подумал он, испытывая брезгливость к себе, ко всему тому, что было в конце ночи. — Зачем я живу на свете таким непроходимым ослом? Именно ослом, животным!..»

С наслаждением уничтожая себя, он сам казался себе глупым, плоским, ничтожным и не искал, не находил оправдания тому, что было вчера. В его памяти одним ясным пятном задерживалось начало вечера: елка, Ася, мандарины, снегопад на улице, приход в студенческую компанию. Но все это затмевалось, все было убито поодним, черным, ядовито-черным, уже пьяным, бессмысленным.

Хотелось пить. Он потянулся к графину, который по-

чему-то стоял на полу, начал пить, разливая воду на грудь, глотками сбивая дыхание, обессиленно поставил графин на пол. Не вставая, долго искал по карманам папиросы, пачка оказалась разорванной, смятой, пустой. Он швырнул ее без облегчения, вспоминая, где можно найти окурок. «Бычки» могли быть на книжных полках, где-нибудь в уголке: читая перед сном, загасил папиросу, оставил на всякий случай.

Константин приподнялся, пошарил на полках над диваном и не нашел «бычка». Потом, расслабленный, он лежал в утренней тишине дома, слушал его звуки с болезненной отчетливостью, силясь понять смысл вчерашней пьянки, этого утра, тишины и этой омерзительной минуты похмельного лежания на диване.

«Что делать? Что делать?» — думал он, глядя в потолок, на однообразную простоту электрического шнура, на сеть извилистых трещинок, освещенных тихим зимним солнцем.

Внизу, в безмолвии дома, на кухне глухо, как из-под воды, загремела кастрюля или сковорода, донеслись голоса: должно быть, художник Мукомолов жарил обычную свою утреннюю яичницу из американского порошка, нежно ссорился с женой. Константин представил запах подгоревшей яичницы, и его затошнило.

Он застонал, озирая комнату: громоздкий книжный шкаф, пожелтевшие от табачного дыма шторы, разбросанные американские и английские журналы на стульях, увидел валявшиеся на полу окурки, обугленные спички и тоскливо потер лицо, обросшее, несвежее. «Побриться бы, помолодеть, почувствовать надо уверенность. Надеть свежую сорочку, галстук...»

С трудом встал, покачиваясь, отыскивал на подоконнике бритвенный прибор, налил в мыльницу холодной воды из графина (в кухню за горячей не было сил идти). Подошел к зеркалу, вгляделся: непонятно чужое, непрезнанное, с тонкими усиками и косыми бачками лицо глядело на него неприязненно, мутно.

«Зачем? Для чего я живу? Что делать?» — опять спросил он себя и бросил бритву на подоконник, упал грудью на диван, мысленно повторяя в пыльную духоту валика: «Зоенька, не ломайтесь, не надо осложнять, дорогуша!» «Дорогуша? Как я сказал: не надо осложнять? Пошляк, глупец! «Зоенька, не ломайтесь!..»

Не сразу расслышал — не то поскреблись, не то слабо

толкнулся кто-то в дверь из коридора. Затем преувеличенно громко постучали, и он, даже вздрогнув, крикнул:

— Не заперта! Вваливайтесь! — И, вскочив на диване, проговорил осевшим, фальшивым голосом: — Ася? Зачем вы ко мне?..

Ася вошла боком, каблучком решительно закрыла дверь, молча повернулась к нему.

И, ощутив ее внимательное молчание, он на миг с ненавистью снова почувствовал свое лицо, вспомнил ее слова о парикмахерских бачках, растерянно метнул взгляд по беспорядочно разбросанным вещам в комнате, наступил ногой на окурок около дивана. Сказал отрывисто:

— Уходите, Ася! Закройте дверь с той стороны! («И сейчас острю с плоскостью болвана!») Уходите! — попросил он. — Пожалуйста!

Она не уходила, смотрела, нахмурив брови.

— Где Сергей? — спросила она.

— Не знаю. А что стряслось? Пожар? Потоп?

— Он опять не ночевал дома,— сказала она подозрительно. — Я не знаю, что... происходит, не понимаю... Где вы с ним были вчера? Ответьте, пожалуйста, Константин. Где Сергей? Может быть, случилось что?.. Пожалуйста, ответьте прямо! Отец послал меня к вам... Я и сама хочу знать! Почему вы дома, а его нет?

— Случилось? Ну что с ним может случиться, Ася?— сказал Константин наигранно-смешливым тоном, однако ощущая все время, как он противен, неприятен ей, в этой неприбранной комнате, сидящий на диване с помятым лицом.— Ну, может, он влюбился, Ася. Вероятно? Вполне. Какие могут быть тут испуги, опасения и прочая дребедень? Асенька, не надо волноваться. Может быть, он встретил такую женщину... девушку, с которой можно броситься куда угодно очертя голову! И если такую встретил — его счастье. Вы должны просто радоваться, в воздух чепчики бросать...

— Влюбился?

Она приблизилась к дивану, худенькая ее фигурка ожидающе напряглась, а он, проклиная себя, понял, что его защита Сергея была неловка, неубедительна, и, прикрыв руками небритые щеки, проговорил почти беспомощно в ладони:

— Асенька, родная, вы ведь знаете, что я крупный осел и остряк-самоучка. Ничего не знаю, наболтал не ду-

мая. Но только с Сергеем все в порядке. Это я знаю.

— До свидания! — Она отошла и через плечо высокомерно сказала ему: — И побрейтесь хоть! И не обманывайте меня. Я люблю правду, а вы всё врете! Почему вы врете?

Константин отнял ладони от лица, вытянул окурок из переполненной пепельницы, но курить его уже было нельзя — раскрошился в пальцах.

И он вдруг почувствовал пустоту оттого, что она уйдет сейчас.

— Ася, подождите, — тыча окурок в пепельницу, хрипло проговорил Константин. — Посидите, а? Ну посидите просто, и все. Не глядите на мою противную рожу, я сам готов по своей витрине трахнуть кулаком, поверьте, я отношусь к ней без удовольствия. А вы просто посидите, полистайте журналы, ведь никогда у меня не были. А я побреюсь, и — хотите? — эти баки к черту! Вы ведь ненавидите эти гвардейские баки. Посидите. Хотите, я эти баки... Посидите, Ася...

Слова привычно подбирал полусерьезные, ернические, но голос звучал просительно-мальчишески: нет, ему нужно было живое дыхание в комнате. Он боялся одиночества, боялся остаться сейчас один, казнясь воспоминаниями вчерашней липкой нечистоты, которую хотелось содрать с себя.

Ася независимо отвернулась, разглядывая полки, заставленные пыльными книгами, тихонько, настороженно шевелилась темная коса за спиной.

— Как вы живете странно! Как будто вы здесь не живете! Поставьте графин на тумбочку, ему не место на полу. Возьмите и поставьте! — приказала она. — Это ведь ужас какой-то!

Он поставил. И она спросила так же строго:

— У вас есть какой-нибудь тазик, тряпка, швабра? Ну какие-нибудь орудия производства? — прибавила она тем тоном, который не разрешал ему улыбнуться.

— Ася, ничего не надо!

— Это мое дело. Не командуйте.

— Там, в коридоре, под столом, кажется.

— Я сейчас. А вы брейтесь хоть. У вас ужасно неприятное лицо. Наверно, так и думаете, что вы нравитесь женщинам? — спросила она дерзко и покраснела.

— Асенька, мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, — ответил Константин, привычно пытаясь обратить все в шутку.

Но она пошла к двери, покачивая за плечами косой, стукнула дверью, и наступила тишина.

— Неприятное лицо...— бормотал он, делая злые гримасы в зеркале, намыливая щеки.— Пакостная физиономища... Парикмахерская вывеска... О, как я тебя ненавижу! Баки косые отпустил, болван!

Когда послышался скрип двери, он даже задержал дыхание — увидел в зеркале Асю: она внесла ведро, швабру, милое лицо неприступно хмурилось, и Константин готов был на то, чтобы она хмурилась, презирала, ненавидела его, но только была бы, двигалась, что-то делала здесь. Он смотрел на нее в зеркало, все медленнее водя бритвой по щекам,— и неожиданно ее голос:

— Думаете, я все делаю это с удовольствием? Нет! Мне просто жаль вас — погрязли, утонули в окурках!

— Ася, я сбрил баки, видите, я вас послушался, — с грустным весельем проговорил Константин. — Я не такой уж пропащий человек.

— Поздравляю! Бурные аплодисменты, все встают. Кстати, у вас есть какие-нибудь тапочки? Вы думаете, я буду портить свои единственные туфли?

С намыленной щекой он чрезвычайно поспешно кинулся к дивану, вытащил из-под него стоптанные тапочки, неуверенно покрутил их в руках. Ася, стоя возле ведра, поторопила его:

— Ну давайте! Что вы их разглядываете? Брейтесь!

Он с непривычным замешательством покорно подошел к зеркалу; в глубине его было видно: она, опираясь на швабру, быстро сняла туфли, надела тапочки; потом подтянула юбку, заправила ее за поясок. Он заметил, ноги у нее были прямые, высокие, с сильным подъемом, — и тотчас узкие черные глаза испуганно-гневно скользнули по его лицу в зеркале. Она крикнула, одергивая юбку:

— А ну отвернитесь! Как вам не стыдно!

— Ася, милая...— сказал Константин.

— Какая я вам еще «милая»?

— Ну хорошо, просто Ася, почему вы меня так терпеть не можете? — спросил Константин, уставясь мимо зеркала в стену, с опасением ожидая треск двери позади.

Она помолчала. Она как будто замерла, всматриваясь в его спину.

— Вот что. Идите к окну и добривайтесь наизусть! — подумав, по-взрослому опытно приказала Ася.— И не

смейте смотреть в зеркало, что я буду делать! Я не люблю, когда за мной наблюдают.

— Я буду так... как приказано... Только приказывайте.

Он послушно двинулся к окну, сияющему морозно-солнечной насечкой на стекле, вздохнул облегченно, стал добриваться «наизусть», ощупью, слыша ее несильные шаги, плеск воды, мокрый шорох швабры по полу; ее возмущенный голос звучал в его комнате:

— Понимаю: у вас пол заменял пепельницу! Журналы — половую тряпку. А это что за бутылки у стены? Это вы всё выпили? К вам что — приходили всякие женщины?

— Ася!.. — взмолился Константин, делая попытку обернуться.

— Пожалуйста, молчите! Я вас не спрашиваю, я все знаю. Если бы я была вашей сестрой, я бы всех ваших знакомых разогнала на четыре стороны. Не разрешила бы гадостей!

«Она девочка! — подумал он с тоской. — Сколько лет мне и сколько ей? Страшная разница!»

— Если бы вы были моей сестрой, Ася!

— Я не хочу быть вашей сестрой!

Она отодвинула с грохотом стул, швабра стукнула о плинтус возле ног Константина, зловеще зашуршала бумага в углу, снова стукнула швабра о плинтус — и сейчас же удивленный голос Аси заставил его обернуться от окна:

— Кто это?

Прислонив швабру к подоконнику, Ася бережно, кончиками пальцев сняла с этажерки маленькую пожелтевшую фотокарточку.

— Ваша мама? Я ее не знала такой... Это ваша мама?

— Мама. Тоже не помню ее такой. Фотокарточку отодрал от какого-то старого документа,— сказал Константин.— Двадцать шестого года.

— Где ваши отец и мать?

— Исчезли.

— Куда исчезли? — еле внятно спросила Ася, не отрывая взгляда от молодой женщины с оживленным лицом, коротко подстриженной под мальчика. — Она очень красивая, мама ваша... Куда они исчезли?

— Люди исчезают тогда, когда умирают или когда их заставляют умирать,— сказал Константин.

— Костя, Костя, Костя, здесь что-то не так, вы что-то

но говорите, вы что-то скрываете! — заговорила торопливо Ася. — Пожалуйста, объясните, слышите? Это секрет? Секрет? Я — никому...

— Ася, спасибо за полы,— вдруг тихо, преодолевая хрипотцу, выговорил Константин, несмело взял ее руку, смуглую, худенькую, прижал к губам, повторил: — Спасибо. С Новым годом, Асенька!..

— Зачем? — задохнувшись, прошептала Ася. — Вы... зачем? — И, краснея, крикнула уничтожающе: — Никогда этого не делайте! Не смейте!

Он молчал, глядя в пол. Она выбежала, не закрыв дверь.

Он проверил все карманы старых брюк в шкафу — в это утро у него не было денег.

Так начинались все утра после праздников.

Спустя полчаса он надел чистую сорочку, галстук, насвистывая, небрежной походкой сошел по узкой лестнице на первый этаж.

Было одиннадцать часов. Было солнечное утро нового года. На кухне около крана стоял художник Мукомолов в стареньком халате, испачканном красками, скреб ложкой по сковородке. Вода хлестала в раковину, брызгала на халат. Пахло жареной селедкой, от этого запаха Константина чуть подташнивало.

— А-а! — воскликнул Мукомолов, улыбаясь как бы одними заспанными, припухшими веками.— Добрый день, здравствуйте! С Новым годом! С Новым годом, Костя! Как праздновали?

— Все так как-то,— ответил Константин и повернул в коридор, полутемный, теплый, пахнущий пальто и галошами, постучал к Быковым.

Быковы еще завтракали. Сам Петр Иванович, красный, распаренный, в не застегнутой на волосатой груди полосатой пижаме, пил, отдуваясь, короткими глотками крепкой заварки чай и одновременно заглядывал в газету. Жена, Серафима Игнатьевна, женщина довольно полная, не первой молодости, намазывала сливочное масло на край пирога, умытое лицо было умиротворенно-добрым, благостным. На столе — графинчик с водкой, колбаса, сыр, раскрытые банки консервов, начатое рыбное заливное — остатки вчерашнего новогоднего вечера.

— Костенька!— певуче сказала Серафима Игнатьевна. — Родной вы наш, голубчик, я вас таким холодцом

угощу, вы что-то к нам не заходите! Забыли нас совсем?

Быков поверх газеты глянул на Константина, поставил стакан на блюдце, значительно подвигал кустистыми бровями.

— Немчишки-то опять шевелятся. Нда-а! А, Константин, голова-то небось трещит? Перегулял, что ли? Не за холодцом он, мать, знать надо,— с пониманием добавил Быков. — Завтракал? Дай-ка, мать, чистую рюмку. У добра молодца глаза красные.

— При виде водки я говорю «нет», — сказал Константин. — Чаю выпью. Пришел за папиросами. Знаю, у вас где-то были папиросы.

Быков почесал бровь, крякнул с укоряющим удивлением.

— Значит, прогорел, деньги в трубу пустил? Эх, легкая твоя жизнь! Была бы мать, конечно, жива — деньги-то для нее бы берег. Ну ладно, ладно, ничего, я тоже в молодости на боку дырку крутил! Кури, дыми на здоровье!

Быков обтер салфеткой пот с красного лица, шумно отпыхиваясь, вытащил плотное тело из-за стола, склонился к этажерке, достал откуда-то из-под книг коробку папирос, раскрыл ее перед Константином.

— Кури, дыми, «Северная Пальмира». Что, неужто денег-то на папиросы нет? Это как же ты ухитрился деньги-то прогудеть? Эх, беззаботность, беззаботность, Константин! Пей, да голову имей. Налить, что ли? Чтоб хмельная дурь прошла...

Закуривая душистую папиросу, Константин только промычал отрицательно, с отвращением сморщившись при мысли о водке, кивнул рассеянно Серафиме Игнатьевне (она налила ему в огромную чашку горячего крутого чая, придвинула сахарницу).

В комнате Быковых было ощущение тепла, довольства, недавнего праздника, по-зимнему пахло хвоей, серебрилась густой мишурой елка в углу меж окнами; вокруг, теснясь, сияла под солнцем старинная полированная мебель. На полу — толстый и пушистый немецкий ковер зеленел травой, цветистый и тоже немецкий ковер — на диване, повсюду антикварные фарфоровые статуэтки, хрустальные вазы на буфете, бронзовая, комиссионного вида настольная лампа: немецкая овчарка задранным вверх носом поддерживает голубой купол абажура —

безвкусица и неумелое стремление к крепкой и прочной красоте создавали этот странный добротный уют.

— А где ж твой приятель, неразлейвода, Сергей-то твой? — спрашивал Быков, истово прихлебывая из стакана.— Или врозь?

— Сегодня — да. Сегодня я в одиночестве, — сказал Константин, положил папиросу на край блюдечка, стал размешивать сахар в чашке.

Быков между тем аккуратно взял папиросу, переложил ее с той же аккуратностью в пепельницу, благодушно закряхтел.

— Оно, приятели-то, конечно, хорошо, да семья лучше. Жениться бы тебе надо. А то деньги туда-сюда мотаешь, а цели нет. Когда жена в доме, есть куда деньги-то нести. Помочь, что ли, жениться-то? — Быков, весь вспотев, промокнул багровый лоб салфеткой. — Я тебе на фабрике кралю такую подыщу — пальчики пообкусишь. У нас девчат хороших — табунами ходят. Комната у тебя есть. Да вот глаза родительского на тебя нет. А я родителев твоих прекрасно знал. (Серафима Игнатьевна вздохом подняла, опустила над краем стола полную грудь.) Знал, м-да... Интеллигентные были люди...

— Превосходно, благодетель вы мой! — воскликнул Константин, делая вид, что от радости захлебнулся чаем.— Как это прелестно — коммерческий директор сват у своего шофера! Это демократично. Я заранее троекратно благодарю вас!

И, сдерживая подмывающую веселую злость, притворяясь через меру растроганным, пустил папиросный дым кольцами к потолку; разговор этот занимал его.

— Смеешься, никак? Или в себя не пришел после похмелья-то? — сурово спросил Быков. — У меня образование не такое, как у тебя, классов, институтов не кончал. У меня опыт вот где! — Он похлопал звучно по своей толстой короткой шее.— Все из практической жизни, из уважения к хорошим людям, к государству. Вот как оно складывалось. Большого не достиг, в министры не вышел, а по хозяйственной части, сам знаешь, конкурентов у меня мало. У меня фабрика ни разу без материалов, сырья не простаивала. Нету у меня на поприще снабжения конкурентов. А все от опыта. Так или не так? Так что ж ты дураком лыбишься? Мало я тебе добра сделал? Только все ведь в трубу пускаешь! Денег огребаешь кучу! Левачить разрешаю... И все в трубу.

Константин притворным ужасом округлил глаза.

— Да что вы, Петр Иванович! Какие тут улыбки? Смех сквозь слезы. «Над кем смеетесь?» Мне хочется хохотать над собой до слез. Добра вы мне сделали много. Действительно. Соглашаюсь. Но, как говорят одесситы, разрешите мне посмотреть в ваше доброе, честное, открытое лицо и, вы меня очень простите, спросить: а вы плохо живете, голодаете?

Серафима Игнатьевна прекратила грызть чайный сухарик, заморгала веками на Константина, на медленно багровеющего Быкова, вмешалась обеспокоенно:

— Петя... Костя... поговорили бы о чем-нибудь другом. Костя, вы всегда интересно рассказываете... Где вы праздник встречали? Мы вчера хотели вас пригласить. Петя подниялся к вам, постучал — вас не оказалось. Мы были одни. Дочь обещала на праздники из Ленинграда приехать — не приехала...

— Эх, шелапут ты, шелапут! Ты посмотри на него! Полюбуйся нахальством, — укоризненно покрутил головой Быков.— Я тебе ль добра не желаю? Вот она, благодарность! Спасибо. Я, значит, плох? С фронта без профессии вернулся, я тебя в шоферы устроил. На машине на своей, как на собственной, ездишь. Левача зарабатываешь — разрешаю, а? Потому что я тебе заместо отца. Или этот,— он неприязненно пошевелил в воздухе пальцами,— Сергеев папаша помогал тебе? Ведь этому дай волю, с дерьмом меня съедят и фамилию не спросят. А все от зависти: мол, честно, хорошо живу. И ты туда же... Смешочки!

— Бывает прорыв юмора... Психология — вещь тонкая, не будем бросаться в дебри, заплутаемся в трех соснах,— вежливо возразил Константин. — Я слегка заплутался и — упаси боже — никого не вывожу на чистую воду. Знаком с человеческими слабостями. Благодарю за папиросы. Мне очень было приятно...

Он чрезмерно ласково улыбнулся.

— Запутался? У тебя что — машину задержали? — Быков не без тревоги посмотрел Константину в усики, под которыми блестели ровные зубы. — ОБХСС?

— О нет, не это!

— Смеешься, значит, щенок эдакий,— обозлился Быков. — А ты запомни — даю жить всем. А на ногу наступишь — меня не узнаешь. Клевету не прощаю.

— О Петр Иванович! Я ведь люблю жизнь. Я ведь

три года мерз в окопах! — засмеялся Константин. — А с вами — как за каменной стеной!

Он вышел от Быковых с ненавистью к своей наигранной веселости и вместе чувствуя облегчение оттого, что не попросил денег, за которыми шел.

Был первый день тысяча девятьсот сорок шестого, уже невоенного, года.

Вечером он зашел к Сергею.

— Слушай, осточертело мне все. Обрыдло, плешь переело. Может быть, рвануть в твое высшее учебное заведение? А как там отношение к фронтовикам? Соответствующее?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1949

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На углу под фонарем Константин прочитал название улицы, потом уверенно подошел к низкому забору; за ним одноэтажный домик смутно белел в зарослях акаций, желтоватый свет едва просачивался сквозь листву. Здесь, на Островидова, пахло сладковатым теплом, как пахло на всех ночных улицах Одессы, когда он от вокзала шел в лунной тени безлюдных тротуаров, нагруженный двумя чемоданами.

Он приехал из Москвы, бросив все, приехал загореть на южном солнце, забыв обо всем, поваляться на прокаленном песке пляжей и, обсыпаясь горячим песком, глядеть на постоянно меняющееся под светоносным небом теплое море, а вечером, надев белую сорочку, подчеркивающую черноту лица, фланировать по знаменитой Дерибасовской, знакомясь с темноволосыми одесситками, и пить холодное вино, и есть мороженое на террасах летних, увитых плющом кафе.

Он приехал сюда, думая об этой беспечной курортной жизни, которую во всей полноте своей представлял в раскисшей дождями Москве. Его потянуло сюда потому, что был в Одессе однажды после войны, и еще потому, что Быков в разговоре с ним настоятельно посоветовал поехать именно в Одессу, поселиться у хорошо знакомых людей, дальних родственников, и сам помог Константину добиться скорого получения плацкартного билета — в московских кассах стояли нескончаемые очереди.

Константин нашел этот домик на Островидова, 19, во

втором часу ночи и, потный, уставший от дорожных разговоров, от длительной ходьбы по городу, от тяжести чемоданов, свистнул с облегчением, ногой пнул провинциально скрипнувшую калитку, вошел во двор. Внятно потянуло сыростью деревянных сараев, этот запах тотчас смыло влажно-теплой струей воздуха — мягко и душисто дуло из глубины черного сада.

В тишине, гремя цепью по проволоке, огромная собака выскочила из-за сарая, начала прыгать, яростно вставать на задние лапы, залилась хриплым лаем.

— Ах ты, милая моя, сволочь ты эдакая! Брысь отсюда! — Константин угрожающе махнул чемоданами, шагая по тропке меж кустов.

— Томи, цыц! На место! — крикнул голос от крыльца, и оборвался лай, тише зазвенела цепь; и этот же голос спросил: — Кто там?

— Я не ошибся — Островидова, девятнадцать? Что у вас за город? Сплошной кошмар — ни одного такси! — сказал фамильярно Константин. — Пер от вокзала пешком. Здравствуйте. Будем знакомы. Константин,— прибавил он, завидев фигуру человека на крыльце: забелела в темноте рубашка.

— Прошу. — Человек сошел со ступенек; разгорелся, погас уголек папиросы, осветив мясистый нос. — Заходите! Я вас давно жду.

— Спасибо за гостеприимство. Одесса всегда славилась... Благодарю!

Человек этот пропустил Константина на террасу, закрыл на ключ дверь, затем сказал: «Идите прямо», —и через закоулок коридора ввел его в низкую, неярко освещенную запыленной люстрой комнатку со старым письменным столом, потертым диваном, на котором лежали свернутая простыня и подушка. Константин, испытывая удовлетворение, бросил в угол чемоданы, с полуулыбкой поклонился хозяину.

— Как разрешите вас?..

Высокого роста, в несвежей сатиновой рубашке, висевшей па худых плечах, хозяин дома был медлителен, стоял у двери, заложив одну руку за подтяжку, на угрюмо-небритом лице его было выражение терпения. Он сказал наконец прокуренным голосом:

— Аверьянов. Это ваша комната. Устраивайтесь. Получил телеграмму днем. Я к вашим услугам.

Константин сел на диван, закинул ногу на ногу,

— Ну прекрасно! Эта комнатка мне подойдет. Насчет платы договоримся. Далеко отсюда море?

Аверьянов мимолетно покосился на Константина.

— Море вы найдете. — И остановил внимание на чемоданах. — Петр Иванович писал мне...

— Ах да! Вот этот чемоданчик в чехле прислал Быков,— спохватился Константин. — Кажется, здесь консервы, масло... Что-то в этом роде. У вас тут плохо с продуктами? Просто цирк — ведь в Одессе никогда плохо не жили! Кошмары!

— А я думал, балагуры только у нас в Одессе...

Аверьянов угрюмо скомкал улыбку, поставил чемодан в сером зашитом чехле на письменный стол и, вынув из кармана перочинный ножичек, ловким движением полоснул лезвием по швам чехла. Спросил:

— А ключ позвольте?

— Его у меня нет. Я не открываю чужие чемоданы,— ответил Константин, засмеявшись, и порылся в кармане. — Попробуйте. Может, мой подойдет. Ключи — стандарт. Жалкий примитив.

— Попробуем.— Аверьянов взял у Константина ключик, не торопясь примерил его к замочкам — они щелкнули,— откинул крышку, заглянул с мрачным интересом.

— Фу-ты ну-ты... — выдохнул он, роясь в чемодане.— Все не то, все не то... Как нельзя понять, что Одесса — южный город? — Он еще раз ковырнул пальцем внутри чемодана, захлопнул крышку, недовольный. — Петр Иванович живет как на Марсе. Не догадывается, как трудно! Чесуча, чесуча идет!

Аверьянов со сдержанным раздражением выговорил это, и Константин, несколько озадаченный, спросил:

— Что трудно? Какая чесуча?

— Совсем обыкновенная. На нее спрос. — Аверьянов, казалось, усиленно соображая что-то, заскреб щетину на подбородке. — А что прикажете мне делать с бостоном? Не сезон, совсем не сезон!

— Каким еще бостоном? — спросил Константин. — Что вы меня, как лопуха, за нос тянете?

— Э-э, подождите,— пробормотал Аверьянов. — Я сейчас.

Он приоткрыл дверь, на цыпочках вышел, унося чемодан, и Константин, весь напрягаясь от охватившего его беспокойства, уловил ватные шаги в тишине дома, вязкий шепот, мышиную возню за стеной и потом, чувствуя хо-

лодок по спине от мысли, мелькнувшей в его голове, оцепенело сидел на диване — веселое ощущение приезда мгновенно стерлось, давило мертвенное безмолвие дома. «Значит, чесуча, чесуча? Ах, чесуча!..» — подумал он, ужасаясь острой своей догадке; и здесь без стука вошел на носках Аверьянов, протянул толстый пакет — сверток в газете,— сказал своим прокуренным голосом:

— Это Петру Ивановичу. У вас есть надежный карман?

— Карманы как карманы. Давайте!

Константин пощупал плотный пакет, кинул его на крышку чемодана и спросил с усмешкой:

— Надеюсь, это не бриллианты, не золото ацтеков? Если бриллианты по два карата, то завтра впломбируйте их мне в зубы. Так делают международные контрабандисты-спекулянты. Что в этом пакете?

Аверьянов выкатил выцветшие стоячие глаза, лицо его стало подозрительным, обрюзгшим.

— Вы шутник.— Вытянул из шкафчика на стол початую четвертинку, хлеб, тарелочку с нарезанной колбасой.— Десять тысяч. Это мало, считаете?

— Что-о? — Константин встал. — А ну принесите сюда чемодан!

Во дворе залаяла собака. Под окном, в саду, прозвенела, заскользила по проволоке цепь, донесся близкий топот собачьих лап. Аверьянов, прислушиваясь к лаю во дворе, тяжело задышал носом: было слышно, как кто-то завозился, по-женски протяжно вздохнул за деревянной стеной.

Собачий лай смолк. Звенели цикады в саду.

Аверьянов поправил занавеску на окне, засипел шепотом:

— Вы что, маленький? Сорок девятый год — не сорок шестой. Не понимаете? Опасно! Вчера взяли с бостоном Кузнецова... На вокзале взяли...

— Я сказал: принесите сюда чемодан!— уже бешено крикнул Константин и нечетко, как сквозь дым, увидел сгорбленную и боком семенящую к двери узкоплечую фигуру Аверьянова — и сразу сомкнулась тишина, будто дом опустился в глубокую, сдавившую дыхание воду. «Чесуча и бостон — ах, как здорово!»

Затем шорох шагов за стеной, и так же боком протиснулся в дверь Аверьянов, без уверенности поставил чемодан перед Константином, зашептал:

— Вы что, сумасшедший? Кто считает копейка в копейку до реализации?

— Идите к... — грубо выругался Константин.

И ударом ноги раскрыл крышку чемодана, увидел на дне его, за смещенными банками консервов, свернутые отрезы черной материи и сейчас же вспомнил, как Быков при нем, аккуратно укладывая эти банки, говорил ворчливо, что дальний родственник его рад будет этому продуктовому подарочку из столичных магазинов.

— Так! — сказал Константин и, подхватив с крышки чемодана плотный пакет, втиснул его в боковой карман.— Все ясно. Ну что ж, прекрасно живем. Может быть, вы мне объясните, далеко ли мне топать до ОБХСС?

— Шутите, шутите, да знайте меру! — Аверьянов судорожно попытался улыбнуться. — Вы шутите, как сумасшедший...

— Я был идиот, когда считал, что везу продукты голодающему родственничку, — произнес Константин, чувствуя, как все тело его окатило нервным знобящим холодком. — Не думал, что буду сбывать нецензурный товарик. Вот так, господин Аверьянов. Наивняков нет. ОБХСС оплакивает вас и толстячка Быкова. Куда денешься — закон!

Аверьянов в растерянности жевал губами, машинально оттягивал подтяжки, внезапно небритое морщинистое лицо его задергалось, запрыгал подбородок, — и он бессильно, напрягая жилистое горло, заплакал; слезы потекли по щекам, застревая в щетине. Он умоляюще и жалко глядел на Константина сквозь влагу, наползающую на глаза.

— Что? Что с вами такое? — крикнул Константин.

— Я прошу, прошу, — кусая пальцы, придушенно стал вскрикивать Аверьянов, отклоняясь к стене. — Я прошу... Прошу... У меня жена, семья...

Константин поднял свой чемодан, скомандовал Аверьянову:

— А ну откройте дверь! Куда выйти?

— Я прошу вас... У меня жена, дети... не хватает на жизнь, поймите!..

— Ваня! Ванечка! — взвизгнул пронзительный голос за стеной.

— Это жена... Я прошу вас, прошу...

Аверьянов порывисто впился как бы закостеневшими пальцами в рукав Константина, потянул его к двери, во

тьму сыро пахнущего плесенью коридора, говоря с задышкой:

— Я умоляю, не надо, не надо... Я сейчас выведу вас... я сейчас...

Наступая в проходе на заскрипевшие корзины, задев плащом за что-то тупое на стене, Константин ринулся за ним по коридору, ослепнув в потемках; потом спереди хлынул из раскрытой двери серый свет, мелькнули там искаженные щека, губы Аверьянова, и Константин вывалился в мокрые кусты у крыльца, захлеставшие по голове, по плечам ледяным ливнем росы.

Он кинулся по саду напрямик, к забору, утопая в рыхлых клумбах, плохо видя в кустах; заросли проволокой цеплялись за ноги, влажные ветви били по коленям, хватали, отбрасывали назад чемодан, ставший стопудовым.

«Неужели так глупо, так глупо? Нет, нет! Не может быть, чтобы все так глупо!.. Что же это я?» — задыхаясь, думал Константин и почти наткнулся на штакетник, затемневший за акациями, различил деревянную калитку и ударил по ней носком ботинка. Крик Аверьянова толкнул его в затылок:

— Я умоляю, прошу!..

— Черт с вами... Живите... — ответил со злостью Константин, не оборачиваясь.— Черт с вами...

И вышел на сумеречную перед рассветом улицу, темно заросшую каштанами, зашагал по пустынному тротуару под чужими окнами, оглушая себя стуком своих шагов; и только когда впереди заблестел росой незнакомый, сплошь заросший травой пустырь, каркас разрушенного дома, тут только он остановился, обливаясь потом, не зная, куда пойти.

«Куда? Где переночевать? Куда теперь?..» — соображал он и, поспешно отряхнув мокрые, облепленные лепестками брюки, двинулся торопливыми шагами наугад — к вокзалу.

Когда он подходил к вокзалу, небо над домами краснело, нежно золотились кроны каштанов вдоль улицы, заспанные дворники звучно шаркали метлами по брусчатке мостовых.

И это тихое летнее утро с легчайшей розоватостью прозрачного воздуха немного освежило Константина.

Среди толчеи, смешанных звуков и запахов утреннего

вокзала Константин окончательно пришел в себя — длинная очередь шумно толпилась у кассы на Москву; окошечко было наглухо закрыто, висело объявление: «Касса справок не дает». В очереди ему сказали, что билетов на сегодня нет, что стоят за семь суток, что, возможно, будет на сегодня лишь несколько мест за час до отхода ночного поезда. А он твердо знал, что должен был уехать отсюда, уехать сегодня, чего бы это ни стоило, уехать хоть в тамбуре, хоть на крыше, хоть на тормозной площадке товарного вагона.

Четверть часа спустя он сдал чемодан в камеру хранения и теперь со спокойным лицом вышел на привокзальную площадь, уже людную, уже южно блестевшую солнцем, жарким лаком вымытых такси, стеклами ранних и еще свободных автобусов, и некоторое время постоял на площади, окаймленной кипевшей зеленью.

Еще не зная, что делать, он перешел площадь, затем на привокзальной улице сел в маленький полупустой трамвай, поехал к морю, в Аркадию. Трамвайчик, гремя, проворно катился в утренне-прохладном зеленом туннеле каштанов, из открытых окон упруго дул в лицо легкий душистый ветер, и Константин думал: «Убить время до вечера»...

Он заплыл далеко от берега в теплой полуденной воде.

Впереди на море серебрились солнечные поля, темные и сияющие косяки уходили до туго натянутой нити горизонта; там шел, дымил в синей бесконечности белейший пароход, постепенно опускался за край знойной синевы.

Константин плыл не спеша, наслаждаясь запахом воды, движением своего сильного тела, своим дыханием; зеркальное сверкание солнца на мелких волнах щекочуще ослепляло его. Он с фырканьем окунался в это игривое сверкание, в эту свежесть и влагу; лицо, волосы были мокрыми, мокрыми были ресницы, и все сияло вокруг, расплывалось в мягкой радуге. Он увидел, как зеленая вода обтекала его покрасневшие от долгого лежания на песке плечи, и вдруг задохнулся от полновесного ощущения молодого здоровья, от удовольствия жить, дышать, чувствовать свое послушное тело.

«Неужели все так могло кончиться?» — подумал он, и на секунду исчез радужный блеск волн, сразу почувствовал под собой черную, холодную толщу глубины. Тогда он перевернулся на спину, отдыхая, и его охватило

безграничное летнее небо с белыми дымками облаков в выси.

«Что я хочу и что я вообще хочу?» — спросил он себя и, вспомнив ночь, озяб в воде и злыми рывками, шумно выплевывая воду, поплыл к берегу в неосознанном порыве к людям.

Толчок необъяснимого одиночества гнал его к берегу — он плыл все быстрее, потеряв ровное дыхание; приближались ажурные здания санаториев, белизна тентов на пляже, накатывало оттуда теплым ароматом зеленых парков, а он, отплевываясь, чувствовал только рвотный вкус воды во рту и лихорадочно торопился ощутить твердое дно под ногами.

Когда, обессилев, пошатываясь, выходил из моря, здесь на мели пестрела, переливаясь под зеленой водой, галька, шуршала и звенела, перекатываемая волной, ударяла по ногам. А он лег животом на горячий песок, думая: «Мне бы еще раз встретиться с Быковым! Доехать до Москвы!..»

Он минут пять полежал так лицом вниз и повернулся на бок.

Стало немного легче. Вокруг гудение пляжа, прокаленные солнцем теневые зонтики, нагие шоколадные тела, смех девушек в купальных костюмах и резиновых шапочках, играющих в волейбол на песке, визг детей, барахтающихся в воде, знойное море, запах мокрых топчанов, на которых сидели во влажных плавках парни, стучали костяшками домино, из репродуктора над санаторием лились песенки джаза — все говорило о жизни праздной, курортной, южной.

В репродукторе защелкало, кашлянуло, ломкий голос заговорил солидно и бесстрастно:

— Внимание! Алик из Москвы, у входа на пляж вас ждет Надя с улицы Горького.

— Гражданка Желтоногова, у входа в санаторий вас ожидают муж и товарищ. Повторяю...

«Одесса», — подумал Константин.

Тогда он встал, поправил облепленные песком плавки, подошел к загорелым девушкам в купальных шапочках, обвораживающе усмехнулся:

— Среди вас нет гражданки Желтоноговой? Ах нет! Тогда разрешите постучать с вами в волейбол?

Ему не удалось достать билет, но удалось сесть на ночной поезд — его улыбка, вид разбитного парня, его ордена смягчили неприступную суровость проводницы. Его даже впустили в купированный вагон, на сидячее место, и он, довольный, радостный, потом уже, далеко за Одессой, сидя в купе этой молодой проводницы, сказал с иронически игравшей под усиками улыбкой:

— Не имей сто рублей, не имей сто друзей, а имей одну нахальную морду. Как вы считаете, дорогуша, у меня крупно наглая морда?

— Ну что вы! — Она прыснула стыдливым и намекающим смехом. — Вы очень интересный мужчина!..

Поезд несся сквозь ночную тьму; тьма эта густо шла за черными стеклами, в ярко освещенном спальном вагоне было комфортабельно, чисто, тепло, стрекотал вентилятор, вбирая папиросный дым, цветной коврик вдоль всего вагона мягко и приятно пружинил, из открытых купе уютно, сонно зеленели настольные лампы, дребезжали там ложечки в пустых стаканах, шуршали газеты, в одном играли в преферанс, звучали голоса, смех, а непроглядная темнота мчалась и мчалась мимо света окон, и шевелились от дрожания вагона белые занавески.

Константин, заглядывая в купе, улыбаясь, прошел до конца коридора и здесь, в туалетной с качающимся от скорости полом, плечом опершись о зыбкую стену, зло вынул толстый пакет из внутреннего кармана пиджака — он точно жег все время ему грудь, этот пакет.

Он нетерпеливо разорвал газету, увидел пачку сотен, тут же проверил замок в туалетной и бегло сосчитал деньги. Здесь было десять тысяч.

— Так, — сказал он, — все точно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В Москве хлестал по улицам дождь, сильный, грозовой, неистово-летний, свинцово кипела вода на тротуарах, буйно плескала в канализационные колодцы. Потоки, бурля, катились по мостовой, мутными реками залили трамвайные рельсы, и трамваи, потонувшие колесами в наводнении, остановились на перекрестках; гроза согнала людей в ворота, к подъездам, прижала к витринам магазинов.

Константин, не доехав остановку, сошел с троллейбуса на Зацепе и целый квартал бежал под дождем, не раз-

бирая луж, проваливаясь по щиколотку в дождевые озера, но, когда, до нитки промокший, вбежал в свой переулок, тяжко отпыхиваясь, насильно замедлил шаги, повторяя мысленно: «Привет, привет, Петр Иванович! Вот я, кажется, и вернулся».

Он был рад, что маленький их двор, весь в пелене лотящей сверху воды, был пуст,— никто не стоял, не прятался от дождя под навесом крылец и никто не видел его, он был рад, что дверь парадного была открыта, не надо было звонить. Он шагнул через порог в полутемный коридор, стремительно прошел мимо двери кухни и, не постучав, пошел к Быковым, на пороге выговорил, раздувая ноздри:

— Где Петр Иванович? Где он?

Серафима Игнатьевна в ситцевом переднике сидела около обеденного стола, грустно, медленно протирала полотенцем посуду. В комнате было сумрачно, и сумрачно было на улице; быстрые струи барабанили, стекали по стеклу; бурлило, шепелявило в водосточной трубе под окном.

Увидев в дверях Константина, промокшего, в помятом, облепленном влажными пятнами грязи плаще, увидев его набухшие грязные ботинки, набрякшие водой брюки, она ахнула, уронила полотенце на посуду, зашевелила мягким ртом:

— Костенька... Костя... Что это?.. Что это?

— К дьяволу «Костенька»! — крикнул он, швыряя заляпанный грязью чемодан на ковер.— Где этот паук? Я спрашиваю — где? Где эта харя?

— Костя... Костенька, что ты? Что ты... на работе он... — поднеся к подбородку пухлые руки, как бы защищаясь, выговорила Серафима Игнатьевна. — Что, что ты?.. Разденься! Мокрый весь, господи!

— Ладно, — сказал Константин, посмотрел на свои ноги и вытер один ботинок о ковер на полу.— Ладно,— обещающе повторил он и вытер о ковер другую ногу. — Эта тряпка, кажется, стоит тысяч пять. Все равно — ворованная. Ясно? Дошло? А я подожду вашего супруга! — Он схватил чемодан, оглянулся бешеными глазами.— У меня есть время, милая Серафима Игнатьевна. Я подожду!

В коридоре он тоскливо замялся против двери Вохминцевых, не решаясь войти, пытаясь успокоиться, потом все же постучал несильно.

— Можно?

— Войдите.

Сергей лежал на диване, листал толстый учебник по горным машинам и одновременно, наматывая волосы на палец, сбоку заглядывал в тетрадь. Константин сначала, чуть-чуть приоткрыв дверь, увидел его утомленное лицо и пепельницу на стуле, заваленную окурками, вошел совсем бесшумно, спросил шепотом:

— Здорово. Ты один?.. Один?..

Отбросив книгу, Сергей пристально взглянул на Константина, опустил ноги с дивана, изумленный.

— Подожди, насколько я понимаю, ты удрал в Одессу? Ты откуда? Ну и видик у тебя, хоть выжимай! Что там, землетрясение? Раздевайся!

— Один? Больше... никого?.. — переспросил шепотом Константин, скашивая брови на дверь в другую комнату. — Аси и отца нет?

— Никого. Да раздевайся! Чихать начнешь завтра, как лошадь. Вон влезай в отцовскую пижаму! — грубовато приказал Сергей. — Ну что случилось? И вообще, что напорол с институтом?

— Плащ сниму, пижаму не надо, а под копыта дай старую газету — твоя Ася насмерть убьет за лужи! — И Константина передернуло. — Вот, Серега! Если я сегодня не изобью Быкова, — понял? — буду последняя сволочь. Я влип, как цыпленок...

— Что? Куда влип? — Сергей нахмурился. — Говори яснее!

— Чемоданчик, который он мне сунул для дальнего родственничка, был не с маслом, не с хлебом — с отрезами бостона! И этот домик, куда я приехал,— спекулянтский. Удрал, как заяц, фамилию свою забыв!

— Дурак ты чертов! — выругался Сергей. — Совсем ошалел, милый? Чемодан чужой повез... Ты что, не знал, что такое Быков?

— Пойдем, — попросил Константин, пощипывая усики. — Пойдем в павильон к Шурочке. Пообедаем. И поговорим...

— Никуда не пойдем!

Сгущались в комнате сумерки, дождь перестал, и лужи во дворе, влажный асфальт, мокрые крыши домов блестели, отражая после грозы тихое вечереющее небо.

Сергей открыл форточку, свежо потянуло речной сыростью, звучно шлепались об асфальт редкие капли, обрываясь с карнизов. Он повторил:

— Никуда не пойдем. Пообедаем здесь. И поговорим здесь. Ты мне еще ни черта не объяснил, почему удрал из института. Завтра сдавать горные машины. Знаешь это? Или спятил?

Константин с ироническим выражением полистал толстый учебник, насмешливо заглянул в записи Сергея, сделал движение головой, будто кланяясь в порыве светской благодарности.

— Целую ручки, пан студент, целую ручки... Вечер добрый. Желаю пятерку. Что ж, — он вежливо улыбнулся, — каждый умирает в одиночку. Но если уж ты стал равнодушным — наступил конец света. Целую ручки. — И, почтительно кланяясь, потоптался на газете, зашуршавшей под его грязными ботинками.

Сергей, не расположенный к шуткам, ударил его по плечу, заставил сесть на стул.

— Иди... знаешь куда? Гарольд Ллойд, юморист копеечный! Сиди, никуда не уйдешь. Пока сам не выгоню, понял? Будем обедать.

Но он не прогнал Константина ни через час, ни через два — сидели после обеда и разговаривали уже при электрическом свете, когда вспыхнули первые фонари на улице и во дворе зажглись в лужах оранжевые квадраты окон.

— Так где эти деньги? — спросил Сергей.

— Вот. Десять тысяч. — Константин достал из внутреннего кармана пачку, положил на стол.— Вот они, десять косых.

— Спрячь, — быстро приказал Сергей. — Кажется, отец!..

Хлопнула дверь парадного, шаги послышались в коридоре, потом — покашливание за стеной, стук снимаемых галош подле вешалки.

— Отцу ни слова, — предупредил Сергей. — Ясно?

— А! Знакомые все лица, и Костя у нас! — сказал Николай Григорьевич, входя с потертым портфелем и газетой в руке и близоруко приглядываясь. — Что-то ты редкий у нас гость! Обедаете? Отлично. Я перекусил в заводской столовой.

— Что значит «перекусил»? — возразил Сергей. — Когда?

Николай Григорьевич как-то постарел, и особенно заметна была после работы болезненная бледность, тени усталости вокруг глаз, и густо серебрились виски,

сединой были тронуты волосы. В последние дни был он молчалив, рассеян, замкнут, тайно пил утром и перед сном какие-то ядовито пахнущие капли (пузырек с лекарством прятал за книгами в шкафу). По вечерам подолгу читал газеты, а ночью, ворочаясь, скрипел пружинами, при свете настольной лампы все листал красные тома Ленина, делал на страницах отметки ногтем, засыпал поздно.

— Ты сел бы с нами, отец,— сказал Сергей недовольно. — Я сам готовил обед. Консервированный борщ.

— И я вас давно не видел, — сказал Константин.

— Не стоит, я сыт. Не буду мешать. — Николай Григорьевич с предупредительностью кивнул обоим, прошел в другую комнату, за дверью тихо скрипнул стул, зашелестели листы газеты.

— Старик, кажется, болен, но виду не подает, — сказал Сергей вполголоса. — Все время молчит.

— Так, может, для старика схлопотать профессора?— предложил Константин. — Завозил одному дрова в сорок пятом. Телефон есть. Терапевт. Из поликлиники Семашко. Блат. А-а, вот и мой шеф! С фабрики приперся. Наконец-то!..— вдруг сказал он и, привставая, словно бы поставил кулаком печать на столе.

Донеслись бухание парадной двери, громкое перхание, топот ног, с которых сбивали грязь, грузные шаги по коридору — и тотчас медленный темный румянец пятнами пошел по скулам Константина.

— Это он. Я пошел!

— Подожди! — задержал его Сергей и вылез из-за стола.— Что ему скажешь? Что будешь делать? Бить морду?

— Н-не знаю!.. Может быть. Здесь я не ручаюсь! — Константин блеснул заострившимися глазами на Сергея. — Что это за осторожность, Сереженька? Кажется, тогда, в «Астории», этой осторожности не было?

— Подожди! Вместе пойдем!..

В это время раздался басовитый, раскатистый голос из коридора: «Костя, Константин!» — затем вибрирующий стук в дверь, и в комнату суетливо втиснулся в неснятом, защитного цвета полурасстегнутом пальто Быков; от свежего уличного воздуха квадратное лицо розово; брови расползались в настороженно-радостном удивлении; развязанный шарф болтался, свисал с короткой его шеи.

— Константин, вернулся, шут тебя возьми? Ты чего же от Серафимы Игнатьевны удрал, шалопай эдакий? — вскричал Быков, весь излучая добродушие, приятность, одни складки морщин неспокойно затрепетали над бровями. — А ну идем, идем! Обедать идем!

Он схватил Константина за локоть, потащил к двери, возбужденно посмеиваясь, и тогда Константин высвободился сильным рывком и, загораживая дверь, стал перед Быковым.

— Я пообедал, благодарю вас, — выговорил он. — Вам привет от Аверьянова. И благодарность... За подарочек. Просил передать вам, что Кутепов засыпался с бостоном. А мне позвольте доложить: чесуча, чесуча идет! А не ваш бостончик!

— Что? Ты зачем?.. Зачем?.. Что такое? — задыхающимся басом проговорил Быков, дернул Константина за лацкан пиджака и начал багроветь — с полнокровного лица багровость эта переползла на глаза, на белках проступили жилки.— Какую ты глупость говоришь! О чем болтаешь?..

— Спокойно, Петр Иванович, без нервов! — Константин стряхнул руку Быкова с лацкана пиджака, нежно-фамильярно потрепал его по чугунно напряженному плечу.— Я хочу вас спросить: значит, вы хотели, чтобы я транспортировал в Одессу ворованный вами бостон в чемоданчике и привозил вам денежки? И сдавал в сберкассу? Или вам лично? Вы хотели сделать меня коммивояжером?

— Какая сволочь, какая паршивая сволочь! — с презрительным изумлением выдавил Быков и засмеялся.— Вы посмотрите на него — какая сволочь!— выдохнул он, обращаясь не к Константину, а к Сергею.— Вытащил его из дерьма, устроил... поил, кормил, как сына... Сволочь паршивая!.. Клевещешь? Клеветой занялся? А, Сергей? Послушай только!

— Когда моих друзей называют сволочью, я даю в морду! — резко сказал Сергей. — Это обещаю...

— Та-ак! — протянул Быков, опустив сжатые кулаки; щеки его затряслись от возбуждения. — Оклеветать захотели? Грязью облить? Сговорились? Вы в свидетели не подойдете, не-ет!.. Со мной — не-ет! Оклеветать?

— Вот свидетель! Вот ворованный бостончик! Держи-и... десять тысяч!

Константин выхватил из кармана пачку денег, со всей

силой швырнул ее в грудь Быкову, пачка разлетелась, сотенные ассигнации посыпались на пол; Быков попятился, делая отряхивающие жесты руками, прохрипел горлом:

— Подлог? Деньги? Подкладываете? Ах вы гниды! Оклеветать?.. Оклеветать?

Константин, надвигаясь на Быкова, топча грязными ботинками деньги на полу, выругался сквозь зубы:

— Я... могу... попортить вывеску!.. Не шутя! Заткнись, идиот! Думаешь, не кумекаю, как делаются эти отрезики? Объясню!..

— Костя, подождите! Не троньте его!..

Они оба оглянулись. Николай Григорьевич стоял в дверях, лицо было бледно. Он серыми губами выговорил:

— Не надо, Костя, не марайте рук! С этим человеком надо говорить не так. Не здесь... В прокуратуре. Оставьте его.

— Та-ак! Оклеветать?.. Меня?.. — задохнулся Быков, выкатив белки, и потряс в воздухе пальцем.— Поймать! Свидетелей сфабриковали? Не-ет! Деньги не мои! Номерок не пройде-ет, Николай Григорьевич!.. Я вам... вы меня семьдесят лет помнить будете! Я вас всех за клевету потяну, коммунистов липовых! Вы меня запомните... На коленях будете!.. Я законы знаю!

Он попятился к двери, распахнул ее спиной, задыхаясь, крикнул на весь коридор накаленным голосом злобы:

— Клеветники! За клевету — под суд! Под суд!.. Честного человека опорочить? Я законы знаю!..

И все стихло. Тишина была в квартире.

Константин со смуглым румянцем на скулах закрыл дверь, посмотрел на Сергея, на Николая Григорьевича. Тот, по-прежнему бледный до серизны губ, проговорил шепотом:

— Этот Быков... дай волю — разграбит половину России, наплевав на Советскую власть. Когда же придет конец человеческой подлости?

— Ты ждешь указа, который сразу отменит всю человеческую подлость? — спросил Сергей едко.— Такого указа не будет. Ну что, что ты будешь делать, когда тебя оплевали с ног до головы? Утрешься?

— Не говори со мной, как с мальчишкой. — Николай Григорьевич слабо потер левую сторону груди, сказал Константину обычным своим негромким голосом: — Соберите деньги, Костя. Ах, Костя, Костя, не подумали? Не

надо было объясняться с Быковым, выкладывать ему карты, это все напрасно. Это мальчишество. Соберите деньги и немедленно отнесите их в ОБХСС или в прокуратуру. Это нужно сделать. Иначе к вам прилипнет грязь, не отмоетесь. Вы меня поняли, Костя?

— Я идиот! — яростно заговорил Константин, собирая с пола деньги, и постучал себя кулаком по лбу. — Экспонат из зоопарка! Слон без хобота! Зебра с плавниками!

— Хватит! Началось самоедство! — прервал Сергей раздраженно. — Будем кричать «караул»? Действуй, и все! Это отец, старый коммунист, боится, что к нему прилипнет грязь.

— Сергей! — с упреком произнес отец, и лицо его дернулось. — Замолчи! — И очень тихо, виновато добавил: — Пожалуйста, замолчи...

Сергей увидел седину в его волосах, землистое, дернувшееся лицо и оторванную пуговичку на его поношенной и застиранной пижаме, сказал отворачиваясь:

— Прости, если это тебя...

И Николай Григорьевич стесненно и грустно улыбнулся:

— Когда-нибудь ты поймешь, что значит для коммуниста душевная чистота.

Дверь захлопнулась — исходило безмолвие из другой комнаты, не доносилось шуршания газеты, лишь скрипнули пружины: должно быть, он лег.

И этот звук пружин, и нахмуренное лицо Сергея, и видимое нездоровье Николая Григорьевича, и отвратительная сцена с деньгами, и ощущение своей легкомысленности и глупости — все это вызвало в Константине чувство стыда, неприязни к себе, будто пришел и грубо разрушил здесь хрупкий мир.

— Наворотил я тут у вас! — проговорил он. — Гнал бы ты меня к такой хорошей бабушке. Сам виноват — какая тут... философия? По уши в дерьмо провалился, так самому и расхлебывать это дерьмо! Не невинная девочка. Ладно, пойду.

— Подожди! — остановил Сергей. — Подожди меня. Накурился и вазубрился до тошноты. Ночь не спал над конспектами. Пойдем подышим воздухом... Отец! — позвал он, подойдя к двери.— Мы пошли. Слышишь?

Было молчание.

— Отец! — снова позвал Сергей и уже обеспокоенно распахнул дверь в другую комнату.

Отец сутулился возле письменного стола, позванивала ложечка о пузырек, в комнате пахло ландышевыми каплями.

— Иди, иди, я слышу.

— Тебе бы полежать надо, отец. Вот что!

— Оставь меня.

Сергей вышел.

Прижатая к крышам чернотой туч узкая полоса неба просвечивалась водянистым закатом. Было зябко, мокро, от влажных заборов несло запахом летнего ливня.

Они шли по тротуару под темными и тяжелыми после дождя липами.

— Ну, что думаешь делать? — спросил Сергей.— Как дальше?

— Не знаю. В наш железный двадцатый век длинные диалоги не помогают.

— Понимаешь, что ты наерундил? Решил бросить институт? Три года — и все зачеркнул?

— Сам, Серега, не знаю! Сяду опять за баранку. Надоело мне все! Вот та́к надоело!

Константин провел пальцем по горлу, оступился в лужу, выскочил из нее, потряс ногой с остервенением.

— Везет! Все лужи — мои. Есть счастливцы, которым вся пыль — в глаза! Не проморгаешься... Ну а ты... Ты институтом доволен? Только откровенно. Или так — не чихай в обществе? Привычка?

— Привык. Уже привык. Даже больше, чем привык. Что морщишься?

— Ну?

— Что ну?

— Размышляю. Туды бросишь, сюды. Куда? Куда бедному мушкетеру податься? Откровенно? Баранку крутить — убей, надоело! Тоска берет, хочется лаять, как вспомнишь! Институт? Конспекты, учебнички — жуткое дело вроде разведки днем. Сидеть за партой — седина в волосах. Денег была куча, сейчас одна стипендия в кармане. Идиллия! А хочется какой-то невероятной жизни.

— Какой жизни?

— Вон, читай — дешево, выгодно, удобно! Это относится к таким, как я...

Константин рассмеялся, моргнул на рекламу авиаци-

онного агентства — неоновые буквы над корпусом электрического самолета вспыхивали, перебегали по высоте восьмиэтажного дома.

Они шли безлюдным переулком, в сыром воздухе отдавались шаги.

— Тогда что тебя тянет? — спросил Сергей. — Что тебя тянет в конце концов?

Константин сплюнул под ноги, ответил полувесело:

— Ничего, Серега, ничего. Я как-нибудь... Я как-нибудь... Не в таких переплетах бывал. Было шоферство. Хотел создать эту, как ее, независимость. Деньги — они дают независимость. А денег больших не скопил. А что было — вроде швырнул в уборную. Четвертый год в институте — и не могу зубрить, не могу сидеть с умным видом за столом и изображать будущего инженера. Мне чего-то хочется, Сережка, сам не пойму — чего? Ладно, кончено! Давай в кино рванем, что ли. Или куда-нибудь выпить!

— Ты как ребенок, Костька,— сказал Сергей.— Брось сантименты, не сорок пятый год. Мы только начинаем жить. Это после войны все было как в тумане. Пойдем пошляемся по Серпуховке, может, что-нибудь придумаем.

— Да, Серега, сорок девятый — не сорок пятый...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Они оба сдавали экзамены последними.

В опустевшей лаборатории горных машин было горячо и тесно от ярого солнца: блестели на столах металлические детали разобранных врубовых машин, маслено отливала новая модель горного комбайна; чертежи на стенах ослепляли сияющими световыми пятнами.

Доцент Морозов в белых брюках, в белой, распахнутой на шее рубашке сидел поодаль экзаменационного стола, на подоконнике, со скрещенными на груди руками и не глядел ни на Сергея, ни на Константина — заинтересованно следил за игрой бликов на потолке, был, казалось, полностью занят этим.

Здесь была тишина, и в лабораторию отчетливо доносился крик воробьев среди листвы бульвара, звон трамваев, за дверью гудели голоса, колыхался тот особый неспокойный шум, который всегда связан с летними экзаменами.

На столах перед Константином и Сергеем лежали билеты.

— Ну, — сказал Морозов,— кто готов? Кто первый ринется в атаку? Кстати, подготовка по билету — фактор чисто психологический. Это не ответ по истории, по литературе, представьте. Там требуется оседлать мысль, влить в железную форму логики. Я признаю даже косноязычное бормотание. Без риторических жестов, без ораторских красот. Горные машины — это практика. Рефлекс. Привычка, как застегивание пуговиц. Знание, знание, а не ораторская бархатистость голоса. Ну, полустуденты, полуинженеры, кто ринется первый? Вы, Корабельников? Вы, Вохминцев?

— Разрешите немного подумать? — сказал Сергей, набрасывая на бумаге ответы по билету, и усмехнулся: — У меня нет желания очертя голову идти в атаку, Игорь Витальевич.

После вчерашней сцены с Быковым, после долгого разговора с Константином он сел за конспекты и учебник поздно ночью, когда уже все спали, лег в четвертом часу, совершенно не выспался, встал, чувствуя тяжелую голову, и не было в сознании той утренней ясности перед экзаменом, когда накануне пролистан учебник и прочитаны конспекты.

Однако ему, наверное, повезло: неисправности угольного комбайна, металлические крепления, область применения их — он это помнил, но не в силах был нащупать точной и прямой последовательности, записывал на бумагу ответы, знал: Морозов по предмету своему ставил только или двойку, или пятерку.

— Может быть, вы, Корабельников, решитесь?

Морозов, продолжая с любопытством следить за бликами на потолке, помял пальцами тщательно выбритый подбородок, внезапно крикнул, словно бы обращаясь к матовой люстре над головой:

— Будьте любезны, Корабельников, выньте книгу из стола, не шуршите страницами! Не нарушайте академическую тишину! Вы где служили, в разведке? Плохо конспирируете! Я не признаю такой конспирации! Позор! Что, времени не хватило? Зуб болел? Или вечером кого-нибудь провожали? Кладите учебник на стол и читайте в открытую! Это меня не пугает!

Морозов оттолкнулся от подоконника, прошагал длинными ногами мимо Константина в конец лаборатории,

задержался перед дверью, зачем-то послушал гудение голосов в коридоре, и Сергей, не закончив писать ответы, посмотрел на Константина с беспокойством.

С потным лицом, покрытым смуглыми пятнами, Константин сидел, устремив взгляд на билет, одна рука лежала на столе, другая была искательно опущена. По всей его позе, по опущенной этой руке было видно: он «велико горел без дыма». Затем Константин быстро вынул учебник из стола, положил поверх билета, решительно встал.

— Нет смысла, Игорь Витальевич.

По тому, как сказал это он, но более по тому, как проследовал по аудитории к Морозову и подал ему зачетную книжку, чувствовалась готовность на все.

— Ставьте двойку. По билету на пятерку не знаю.

Морозов сунул зачетную книжку в карман брюк, прочитал вопросы в билете Константина, бесстрастно спросил:

— Значит, по билету на пятерку не знаете? Ну что ж, я вам поставлю двойку, и вас снимут со стипендии. Это знаете?

Константин сделал неопределенный жест, и Морозов с убийственным спокойствием поинтересовался:

— Как будете жить? Что будете есть?

— Сапоги, — проговорил Константин. — Они помогут.

— Что-о?

— Продам великолепные яловые армейские сапоги. Разрешите идти?

— Вот как? Сапоги? И портянки тоже?

Морозов размашистой походкой зашагал по лаборатории, пересекая солнечные столбы; он шагал и при этом нервно ударял ладонью по тупому корпусу комбайна, по столам, по деталям врубовой машины, говоря вспыльчиво:

— Какой из вас, к друзьям собачьим, инженер, если вы свое... свое... не знаете? Стыд и позор! Конец света! Буссоль небось знали? Знали! Иначе бы какой разведчик! Как вы приедете на шахту без знания техники? Стыд! Как? Что? Можете мне не знать ни искусство, ни литературу, но техника... техника! Что будете делать? Как уголь рубать — ручками, кайлом, топором, зубами? Великолепно! Просто великолепно! Милейший студент, слов не нахожу от восторга!

Морозов сел к столу, выкинул перед собой зачетку Константина.

— Значит, двойку хотите или кол вам влепить за легкомысленность? И по всей справедливости... Учитывая ваше пролетарское происхождение и фронтовые заслуги!

— Как хотите, Игорь Витальевич,— равнодушно произнес Константин.

Морозов забарабанил пальцем по билету, заговорил внятно:

— Вот, вот, у вас первый вопрос — крепления в лаве! Что ж, не знаете? Значит, что же? Поставите крепления, на них кто-нибудь из шахтеров плюнет, харкнет, высморкается с чувством — и рассыплются ваши крепления в пыль! Завал! Людей погубите? Нет, убийц я из института не выпущу! Нет! Это уже за гранью! Нет и нет! Таких инженеров в нашем государстве не надобно! Может быть, вы не хотите учиться в институте? Вам надоело?

Стало тихо. Слышно было жужжание голосов из коридора; сквозь листву бульвара пробился в лабораторию весенней трелью трамвайный звонок.

— Игорь Витальевич! — громко сказал Сергей. — Разрешите отвечать? Я готов.

Он не был готов, но уже не вникал в смысл билетных вопросов,— смотрел на смугло-красное лицо Константина, на раздраженное лицо Морозова, хорошо помня вспыльчивость и небыструю отходчивость доцента, который жестоко не прощал незнания системы креплений; был в связи с этим известен всему институту случай, когда он добился исключения студента на середине четвертого курса.

— Вы хотите отвечать? — отделяя слова, спросил Морозов. — Прекрасно! Давайте ваш билет. Корабельников, подойдите ко мне, не изображайте недвижимое имущество! Вы, Корабельников, и вы, Вохминцев, будете отвечать без билетов. Все вопросы в билете можете забыть. Вот так-то! Жалуйтесь хоть самому министру высшего образования, хоть богу, хоть дьяволу!

Морозов засунул билеты под экзаменационный лист, обвел Константина колющими зрачками, показал подбородком в сторону металлических стоек — креплений для угольного комбайна.

— Будьте любезны, подойдите к этим штуковинам, Корабельников. Що цэ такэ? Як цэ называется? Зачем вона, цэ гарна овощь? Ась?

Константин подошел к стойкам.

Сергею была знакома эта манера Морозова в моменты неудовольствия и раздражения коверкать язык, «гонять» по всему курсу, недослушивать, перебивать ответы, понял, что Константин сейчас «поплывет», и, чувствуя в себе какую-то злую, подмывающую уверенность, опять сказал настойчиво:

— Игорь Витальевич, разрешите мне.

Морозов откинулся на спинку стула не без интереса.

— Прекрасно! Значит, хотите своим телом закрыть амбразуру? Ну что ж, это даже любопытно. Посмотрим, широка ли у вас грудь. Корабельников, походите возле креплений, пощупайте болты и подумайте. Вохминцев, прошу вас. Представьте такую петрушку. Вообразите на мгновение: вы — главный инженер шахты. Сняли трубку, звоните в лаву. Спрашиваете: «Как комбайн, сколько заходов?» Бригадир гундит, он всегда будет гундеть в таких случаях: «Стоит, хоть черта дай, проверяем».— «Как стоит?» Вы каскетку на макушку, напяливаете робу — и в лаву. Там возня и кутерьма возле комбайна. Машинист сопит и, как всегда, лезет ключом в редуктор. В это время рабочие лавы, вполне возможно, могут в десять этажей материться и сыпать неприличные выражения на голову бригадира. А бригадир гундит: «Ребята молодые, неопытные», туда, сюда и всякие лирические слова... Ваше решение? Без развернутого ответа. Без подлежащих и сказуемых. Конкретнее! Работа остановилась, вся лава стоит!

Вот она, излюбленная манера Морозова предлагать вольный вопрос. Сказав это, довольно ухмыльнулся, мелькнула лихая щербинка меж передних зубов, и Сергей на мгновение почему-то подумал, что вот так он, Морозов, бегал в войну по лавам Караганды, и, уже точнее подбирая слова, внутренне готовясь к следующему вопросу, ответил намеренно неторопливо:

— Проверить цепь, нужный для нового пласта наклон зубков. Возможна заштыбовка. Это первое... Самое же примитивное — соседняя лава перебивает напряжение. А второе...

— Стоп, стоп! — не утверждая, не отрицая, оборвал Морозов и остро уколол зрачками Константина.— А вы как думаете-полагаете?

Константин затоптался около стоек, покусал усики.

— Вполне возможно...

Морозов хмыкнул, не дал договорить:

— Почему этак неуверенно? Вохминцев, покажите, как это делается. Детально покажите. И быстро. На вас глазеют рабочие лавы. Ошибетесь — ваш инженерский авторитет превратится в пшик! В мыльный шарик!

Сергей ожидал иного каверзного вопроса, однако ему вторично повезло. Но теперь, сознавая, что он, не ошибаясь, объяснит все детально и точно, Сергей нарочито замедлил движение, прокручивая цепь комбайна, не спеша отвечал и одновременно надеялся, что эта его неторопливость поможет Константину сосредоточиться, но вместе с тем вдруг показалось ему, что после невезения с билетом было уже Константину все равно.

— Стоп, стоп! — Морозов опять перебил Сергея.— Медленно! Медленно закрываете грудью амбразуру. Все, все! С вами все! Где ваша зачетная книжка! Дайте ее сюда. Оставьте ее здесь. И прошу вас выйти из аудитории!

Сергей не ожидал этого.

— Я думал, вы зададите третий вопрос,— проговорил он, невольно уже испытывая раздражение к декану, к его нервному тону, будто Морозов намеренно взвинчивал, дергал и его и Константина.— Вы не даете сосредоточиться, Игорь Витальевич. Дайте Корабельникову подумать. Сколько он хочет. Здесь не мотоциклетные гонки.

— Вон ка-ак! — Морозов привстал, вытянул шею из воротника апаш.— Гонки? Я иного мнения. Противоположного. Чушь ерундите! В жизни вам некогда быть тугодумом! Двадцатый век с его планами стремителен. Инженер-эксплуатационник должен с быстротой молнии принимать решения. Должен знать производство, как родинки на лице жены. Возражаете, нет? Наши недостатки идут от тугодумства, из негибкости, из незнания! Больше поворотливости, больше инициативы, находчивости — вот основное для инженера! Покиньте аудиторию, Вохминцев! Немедленно! И в болото ваш либерализм! Не ожидал от вас!.. Выйдите!

— Выйди,— попросил Константин и азартно и зло обернулся к Морозову.— Что ж, спрашивайте, Игорь Витальевич, задавайте вопросы. Хуже чем на тройку не отвечу. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей... Задавайте вопросы.

— Боитесь потерять стипендию?

— Я не миллионер, Игорь Витальевич.

— Ну что ж, попробуем! Слова не мальчика, но мужа! Готовьте боеприпасы к контратаке!

Сергей, удивленный внезапной решимостью Константина, положил в молчании на стол перед Морозовым зачетную книжку, увидел какое-то отрешенное, улыбающееся лицо друга и вышел из лаборатории.

В коридоре шумно, сильно накурено.

Уже сдавшие экзамен студенты толпились возле окон, сидели на подоконниках, залитых солнцем, ходили по коридору компаниями, ожидая последних, кто еще мучился над билетами в опустевших аудиториях, договаривались, всем вместе, собравшись, пойти в ближний прохладный бар в подвале, с чувством сброшенного груза и обретенной свободы выпить, закусывая сосисками, по кружке холодного пива,— так обычно завершались экзамены.

Как только Сергей вышел, к нему, спрыгнув с подоконника, вразвалку подошел низкорослый Косов, в морской фланельке, тесной на крутых плечах, и следом Подгорный, небритый, добродушно суживая золотистые глаза; спросили почти одновременно:

— Ну как? Порядок, Сережка? Или нулевая позиция?

— Пока не знаю. Кажется, Костя сыплется с великим треском. Морозов вскипел, когда Костя добровольно согласился на двойку. У него — система креплений. Морозов больше читал нотаций, чем спрашивал.

— Признак не шибко.— Подгорный озадаченно почесал редкую щетину на щеках.— Влепит чи не влепит двойку?

— Возможно,— ответил Косов.— Обрати, Сергей, на этого танкиста внимание. За бритву не брался все экзамены. Под Льва Толстого работает. Эпигон.

— Та я ж и на фронте перед боем не брился,— не сердясь, сказал Подгорный.— Такая привычка. Не можу! Уверенность должна быть. Як же Костька-то, поплыл?

— Подождем.

Косов протянул Сергею пачку «Беломора», дорогую, но по студенческим деньгам, купленную, видимо, в честь завершения последнего экзамена. Закурили около распахнутого окна, на теплом ветерке, рядом с тяжелой дверью лаборатории — оттуда не доносилось ни бегло спрашивающего голоса Морозова, ни ответов Константина, а тут в коридоре гудели голоса, солнце по-летнему припекало подоконники, открывались и закрывались двери аудиторий, потные, счастливые, сдавшие экзамен студенты по-

бедно потрясали зачетками, хлопали друг друга по плечам, облегченно хохотали. И тогда Сергей с отчетливой ясностью подумал: если Константин сейчас не сдаст Морозову горные машины, то немедленно, не раздумывая ни минуты, бросит институт.

— Братцы, пончики! В буфет привезли, горячие! Рубль штука. Расхватывают!

Подошли — весь круглый, с белесым лицом и желтыми островками конопушек на лбу Морковин, за ним Лидочка Алексеева, высокая, темноволосая. Оба они в бумажках держали поджаристые пончики; Морковин жевал, двигая набитыми щеками, моргал светлыми коровьими ресницами.

— Сдал? — спросила Лидочка, смело приблизилась к Сергею, улыбаясь, поднесла к его губам пончик.— Подкрепись, бедненький... Голодный, наверно?

— Не видишь разве, я курю? — сказал Сергей, отводя лицо.

— О боже мой, когда ты перестанешь хмуриться, ужасно надоело! — сказала со вздохом Лидочка и дернула плечиками.— Кого вы ждете? Все сдали или кто-нибудь плывет?

Сергей не ответил.

— Наш Морозец сегодня ужасно не в духе, наверно, с женой поссорился,— весело сказала Лидочка Сергею.— Заставлял меня раз десять включать врубовку и все называл «уважаемая». А Володьку, милого нашего Морковина, совершенно замучил художественным описанием завала. «Ваши действия?»

Морковин, возбужденный, уселся на подоконнике; несмотря на жару, был он одет в полную студенческую форму, украшенную горными погончиками, сообщил, радостно ужасаясь:

— А знаете, братцы, когда пятерку ставил, такое лицо стало! Ну ровно тысячу рублей одалживал! Свирепствует!

— Не надо сдавать, кореш, экзамен вместе с женщиной,— наставительно заметил Косов, снизу вверх взглядывая на высокую Лидочку ясно-синими глазами.— Морозов не терпит женщин-горнячек. Нервы не те, писк, визг, батистовые платочки, а тут тебе — грубый уголь. Дошло?

— Что это? Что это у тебя за мозаика? — Лидочка стремительно отогнула край тельника, выглядывавшего

из раздвинутого ворота косовской рубашки, и оттопырила губы, читая синюю татуировку на выпуклой его груди: — «Не забудь мать свою». Ха-ха! Кто это тебя разукрасил? Мне казалось, ты парень из интеллигентной семьи.

— О, женщина! — Косов взглянул снизу вверх — она была на голову выше его.— Женщина, тебе известно, что я командовал взводом морской разведки? А во взводе у меня были и блатники. А я был мальчишкой, салагой, ходил, путаясь в соплях.

— Ну и что? И разрешил себя расписать? Какое художество!

— Женщина, мне нужно было держать их в руках. И я ходил на голове.

— Та що ты ей объясняешь? — заторопился Подгорный и, ухмыляясь, поднял лицо к лучам солнца.— Та я знаешь що в танке возил, Лидочка? О, скажу — и не поверишь! В сорок первом. Я возил четыре мешка денег. Две недели я был миллионер. Похоже?

— А деньги куда же? — спросил Морковин, перестав жевать.

— Как куда? В какой-то штаб сдал. Выкинул из танка, и все.

— Фронтовые воспоминания в перерыве между экзаменами,— засмеялась Лидочка.— Чудные вы, мальчики.

В это время дверь лаборатории распахнулась, в коридор шумно вышел Морозов с кожаной папкой под мышкой, следом Константин — смуглый румянец горел на скулах, темные волосы прилипли к потному лбу; его пухлая полевая сумка не застегнута, распирая ее, открыто торчали оттуда конспекты.

— Вохминцев, возьмите зачетку! — громко сказал Морозов.— Вы свободны, можете пить пиво и досыта наслаждаться жизнью. Ваша же зачетка, дорогой товарищ Корабельников, останется у меня как моральный задаток. Завтра в половине третьего зайдете ко мне домой. Предварительно позвоните. Все. Будьте здоровы.

И, раскланиваясь, зашагал по солнечному коридору, сквозь голубые полосы дыма, мимо группок толпившихся студентов, неуклюже рослый, в белой рубашке апаш, как бы смешно подчеркивающей его неловко длинную шею.

— Боже мой, какое все же золотце Морозов! — восхищенно воскликнула Лидочка, вытерла пальцы о бумаж-

ку, но никто не обратил на ее слова внимания — все окружили Константина.

Тот стоял несколько взволнованный, блестели капельки пота на запачканном маслом лбу, говорил, посмеиваясь, охрипшим голосом:

— Братцы, это был грандиозный кошмар! Лобное место времен Ивана Грозного! Гонял по всему курсу, не давая отдышаться. «Почему это? Для чего это? Зачем это?», «Представьте такое положение», «Вообразите следующее обстоятельство». Лазил на карачках возле комбайна и врубовки, нащупался болтов на всю жизнь.— Посмотрел на свои руки, темные от смазки, с изумлением.— В годы своего шоферства никогда так лапы не замазывал. Ну и Морозец! Он, ребята, одержимый. Он в темечко контуженный техникой. Фу-у, дьявол! Чуть живьем не съел.

Он, отдуваясь, все посмеивался, все разглядывал свои руки, и ясно было, что он зол, с трудом скрывает неприятное ему волнение; и Сергей сказал, оживленно хлопнув Константина по плечу:

— Пошли на бульвар. Выпьем газированной воды. Идемте, я угощаю,— предложил он, подмигивая Косову и Подгорному.

— Меня ты, кажется, не приглашаешь? — спросила Лидочка безразличным тоном.— Как это благородно!

— Даже учитывая эмансипацию, у нас мужской разговор,— сказал Сергей.— Фракция женщин может оставаться на месте.

— Не лезь к ним, Лидка. У них фракция фронтовиков,— проговорил Морковин, сидя на подоконнике.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Бульвар был полон студентами всех курсов, успевших и еще не успевших сдать экзамены: везде сидели на скамьях, разложив конспекты на коленях, лихорадочно долистывали недочитанные учебники, и везде ходили группами посреди аллей, загораживая путь прохожим, разговаривали взбудораженными голосами, охотно смеялись, радуясь тому, что «свалили экзамен», что уже было лето.

Возле тележки с газированной водой в пятнистой тени лип вытянулась очередь, звенела мокрая монета, шипела, била струя воды в пузырящиеся газом стаканы. И от мок-

рых двугривенных, от этого освежающего шипения, от прозрачного вишневого сиропа в стеклянных сосудах веяло совсем летним: знойным и прохладным.

С удовольствием и расстановками выпили по два стакана чистой, режущей горло газировки; Константин, раздувая ноздри, вылил второй стакан на испачканные в машинном масле руки, вымыл их, вытер о молодую траву, сказал превесело:

— Так что, в Химки, братва, купаться поедем? Или куда-нибудь в Кунцево?

— Пока сядем здесь,— предложил Сергей.— Позагораем.

Сели на горячую скамью, и Константин освобожденно расстегнул на груди ковбойку, отвалился, глядя на испещренную слепящими бликами листву над головой, дыша глубоко, с медленным наслаждением.

— Братцы, а жизнь-то все-таки хороша,— сказал Косов. Он подкидывал в воздух влажный двугривенный и ловил его.

— Особенно потому, что райской не будет,— пробормотал Константин.

Подгорный, нежась на солнце, весь обмякший от жары, размягченный, хитро и благостно зажмуривался, наверно хотел сказать что-то и не говорил.

— Оптимисты, дьяволы, — опять пробормотал Константин.— Жертвы суеверия.

— Нет, хлопцы, я вам должен сказать,— заговорил Подгорный с блаженной ленцой.— Скоро планета Юпитер вспыхнет солнцем, научно доказано, много водороду. Появятся над нами два солнца — вот тогда будет жизнь!

— Деваться будет некуда,— сказал Косов.

— Да вы что, температурите? — спросил зло Константин.— Градусники купили в аптеке?

— Вот что, Костька,— проговорил Сергей,— Морозову ты должен сдать. Что бы это ни стоило. Беру на себя всю теорию. Буду гонять тебя по системе креплений весь вечер. Завтра утром ты, Костька, приедешь в институт, запрешься с Косовым в лаборатории, и он погоняет тебя по деталям и неисправностям. Он запарится, поможет Подгорный. Приемлем план?

— Куда же денешься,— сказал Подгорный, сладостно, лениво позевывая.— Таки дела в танковых частях...

— Ну, устроим утром аврал? — Косов поймал в воз-

духе монету, зажал ее в кулаке, прицелился на Константина жарко-синим глазом: — Ну, орел или решка?

— Вы что меня атаковали? — произнес Константин, все наблюдая пеструю путаницу солнца и теней на листве.— Нажим партийной группы на беспартийного большевика? Но таким образом я превращусь в фикус с желтыми листьями. Плюньте на все — поедем в Химки!

— Брось,— сказал Сергей.— Поехали домой. Поехали, Костька.

— А ну, р-раз — майна, вира! От-торвем от предмета!

Косов захохотал, сильным локтем сдвигая со скамьи разомлевшего на солнцепеке Константина, и тотчас Подгорный с другой стороны начал подталкивать его в бок, заговорил убедительно:

— Та шо мы тебе, подъемные краны? Соображаешь чи не?..

— Хватит тут меня щупать, я вам не болт крепления. Уцепились — в рукавицах не оттащишь! Вы что, святые?

Константин поднялся в расстегнутой до пояса ковбойке, с видом плюнувшего на все человека засвистел сентиментальный мотивчик, но сейчас и этот свист, и обычная его полусерьезность раздражали его самого, как раздражали слова Сергея, лениво-добродушные взгляды Подгорного, и низкорослая фигура Косова, и эта их вынужденная уверенность в том, что с ним будет, как надо.

И вдруг Константин особенно почувствовал, что у него пропал, стерся интерес к завалам, креплениям, комбайнам, штрекам, лавам, циклам — ко всему тому, к чему был интерес у них. «Что же делать? Что делать тогда?»

— Что ж, Сережка, приду домой, включу радиолку, и все будет в ромашках и одуванчиках,— с обычной своей беспечностью сказал Константин.— И все великолепно.

— Это как раз не удастся,— ответил Сергей.— Поехали.

— Привет коллегам! Как дела? Свалили?

От группы студентов, идущих навстречу по аллее, отделился Уваров. Его синяя шелковая тенниска облегала чуть покатые плечи; его мускулистые, со светлым волосом руки, крепкое лицо были тронуты первым загаром — вид спортсмена, приехавшего с юга.

— Свалили машины, гордость третьего курса? — спросил он приветливо обоих.— Все в полном порядке или не хватило одной ночи? Ты, я слышал, Сергей, сразу поста-

вил Морозова в нулевую позицию — пять с плюсом отхватил? Ходят слухи в кулуарах.

— Миф,— ответил Сергей.— Нулевых позиций и плюсов не было. Ну а на четвертом курсе?

— Все в кармане.— Уваров, улыбаясь, похлопал себя по карману тенниски, где лежала зачетная книжка; был он, видимо, в отличном, как всегда, настроении, доволен этими экзаменами, своим здоровьем, прочным душевным равновесием.— Вы куда спешите, хлопцы?

— По хатам.

— Да вы что? — весело поразился Уваров.— Мы собрались отпраздновать это дело, присоединяйтесь! Пойдем в бар: здесь жарища, а там свежее пиво, раки, сосиски, а? Третьекурсники! Я против всяческой субординации. Даже Павел Свиридов пойдет. Как говорят, глава партийной организации будет держать на пределе, все будет в норме. Объединим два курса — ваш и наш — и тихо, мирно атакуем бар. Павел! — крикнул он.— Присоединяем к себе третьекурсников?

— Я не пью пиво.— Константин брезгливо провел ребром ладони по горлу.— Меня тошнит от пива. Отрыжка. Икота.

— К сожалению, привет,— сказал Сергей.— Спешим домой. Обед стынет.

— Вы меня удивляете! Просто гранитные скалы! — захохотал Уваров.— Значит, тренируете силу воли?

— Что поделаешь — воспитываемся,— вздохнул Константин дурашливо.— Режим. Экзамены. Соседи по квартире.

— Жаль, хлопцы, просто на глазах гибнут лучшие люди,— сказал Уваров и тут же вновь шутя крикнул в сторону группы студентов, стоявших сбоку аллеи: — Слушай, Павел, выяснилось: в нашем институте есть студенты, нарушающие обычаи экзаменов! Предлагаю разобрать на партбюро со всей строгостью! Жаль, хлопцы!

Свиридов, отрывистым своим голосом разговаривавший в группе студентов, сухощавый, прямой, в очень плотно застегнутом новом кителе без погон, с нездорово желтым лицом, приблизился к Сергею, опираясь на палку-костылек.

— Куда вы, Вохминцев? Подождите минутку. Такой день... Разрешается пятерки отпраздновать. Что уж там!

— Ждут дома,— сказал Сергей.— Это невозможно.

Прежде, когда Свиридов преподавал военное дело, он

но всегда носил китель, изредка появлялся на занятиях в черном, нелепо сшитом и неудобно сидевшем на нем гражданском костюме, но после того, как ушел по болезни в запас и стал освобожденным секретарем партийной организации, военную форму носил постоянно, именно это его упрямство нравилось Сергею: вероятно, Свиридов не мог забыть армию, в которой ему не повезло. Ему было тридцать два года, а внешне он выглядел гораздо старше — давняя желудочная болезнь высушила, источила его.

— Есть люди,— сказал Константин уже на автобусной остановке,— есть люди, которые утром вместе с костюмом надевают на себя лицо. Не замечал?

— Ты о ком?

— Вообще. Некоторые всю жизнь носят маски. Цирк! Скрывают застенчивость — развязностью, наглость — смущением, эгоизм — ложным альтруизмом... А нужно ли вообще сдирать эти маски, Сережка? Зло сразу выскочит, как поплавок из воды. А?

— Не пожалел бы половины жизни, чтобы содрать эти маски.

— Тогда в первую очередь, Сережка, сдери эту маску с себя.

— Не понял. Какого черта!

— Часто тебе приходится терпеть? Или вы уже друзья с Уваровым?

— Ты весьма наблюдателен, Костенька!

— Но вы уже два года улыбаетесь друг другу. Философия случайности? Впрочем, Уваров — первостатейный малый: пятерочник, член партийного бюро, общественник, со Свиридовым — неразлейвода. Не кажется ли тебе, что этот парень вместе с костюмом надевает на лицо улыбку? — Константин щелкнул пальцами, подыскивая слова.— Улыбочка душевного парня — одежда! Ни с кем не хочет ссориться — мил всем! Голову наотрез — идет верным путем. На улыбочки и общительность клюют все! И ты клюнул.

— Хватит.

— А что хватит? Полагаешь, он забыл, как ты ему набил харю?

— Ерунда. Не хочу сейчас об этом!.. Давай садись в автобус, едем!

...Он каждый день встречался с Уваровым в институтских коридорах, вместе сидел на партийных собраниях,

вместе в перерывах курили около подоконников, и Сергей вроде бы привык к нему, смирился с этим, и уже не хотелось думать о прошлом — мысль об Уварове всегда вызывала тупую усталость, и каждый раз, когда он начинал думать о нем, появлялось злое ощущение недовольства собой. При встречах Уваров был простодушно-приветлив, подчеркивал свою особую расположенность и, открыто выказывая радость, улыбался ему: «Привет, старик!» Был он неузнаваемо другим, выглядел, казалось, моложе, чем пять лет назад, на фронте,— похудели щеки, отчего обострилось, но помягчело лицо. И Сергей уже постепенно погас, притерпелся к этому новому, непохожему на того, встреченного после фронта Уварова, не было желания и сил возвращаться к прежнему, и не было той непримиримости, которую он чувствовал в себе три года назад.

Только раз прошлой зимой на студенческом собрании он, сидя позади Уварова, увидел вблизи его сильную, упрямо неподвижную шею, край пристального, в задумчивости устремленного глаза — и тогда что-то оборвалось, сместилось в душе. И вновь кольнула прежняя ненависть. Тот, видно, ощутил это внимание — шея ослабла, край голубого глаза стал покойно-улыбчив, Уваров оглянулся назад, сказал доверительно: «Старик, не болит у тебя башка от этих бесконечных собраний? Я уже готов». Сергей молча и твердо смотрел на него, и было такое чувство, точно замешан был в чем-то отвратительном и противоестественном.

Через несколько дней это ощущение прошло.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Конец, Сережка, конец! — сказал Константин и, перегибаясь через подоконник, вылил из графина воду на голову.— Перестарались. Я уже перенасыщенный раствор, из меня сейчас начнут выделяться кристаллы. Я на пределе.

— Абсолютно?

— Окончательно. Нет, Сережка, хорошо все-таки поживали в каменном веке — никаких тебе шахт, никаких машин, сиди, оттачивай дубину и поплевывай на папоротники.

— Кончаем.— Сергей развалился в старом кресле,

устало и не без удовольствия вытянул ноги.— Да, Костька, неплохо было в эпоху первобытного коммунизма. Мечтай только об окороке мамонта — прекрасная жизнь. И все ясно. Ну и духота...

Все окна и двери были раскрыты, но вечерний сквозняк слабо тянул по комнате, папиросный туман вяло шевелился под потолком.

— Все ясно! Где вы, мамонты?— Константин, дурачась, ударил учебником по столу.— Все! С этим все! Перерыв, перекур, проветривание помещения. Виват и ура! Как будем разлагаться — радиолу крутанем и по случаю жары тяпнем жигулевского пива? Или наоборот?

— Сначала к Мукомоловым — на нас обида. Встретил утром. Приглашал обязательно зайти. Ясно?

— Согласен на все.

В комнате-мастерской Мукомолова по-прежнему пахло сухими красками, холстами, табачным перегаром, по-прежнему возле груды картин, накрытых газетами, белели стойками два мольберта перед окнами (к свету), бедно жались по углам старые, покорябанные стулья, на заляпанных сиденьях повсюду валялись тюбики красок, стояли баночки для мытья кистей; была все та же аскетическая обстановка в комнате. Но странно, она не казалась пустой — со стен внимательно и отрадно смотрела иная жизнь: наивное лицо беловолосой некрасивой девочки с большим ртом и удивительно умными, мягкими глазами; рядом — знойный лесной свет солнца сквозь листву берез; первый снег в московском переулке, на снегу грязный след проехавшей машины; луговая даль после дождя. Сергея поражало это противоречие, несоответствие запущенности мукомоловской мастерской с полнозвучной жизнью картин; неужели здесь, в комнате, жили лишь начерно, а на стенах — набело, ярко, счастливо?

Когда они вошли, Мукомоловы сидели при свете настольной лампы на диване, Федор Феодосьевич занимался тем, чем обычно занимался по вечерам,— сопя, подобрав под себя ногу, набивал табаком папиросные гильзы; Эльга Борисовна вслух, ровным голосом читала газету, то и дело поправляла черные, с проседью волосы, падавшие на висок.

— Эля! Кто к нам пришел! Ты посмотри — Сережа, Костя! Эля, Эля, давай нам чай!— Мукомолов вскочил, смеясь, долго двумя руками тряс руки Сергею, Констан-

тину.— Эля, Эля, Эля, посмотри, кто к нам пришел! Ты посмотри на них!

— Очень рада вас видеть, Сережа и Костя,— со слабой улыбкой проговорила Эльга Борисовна, свернула газету, сунула ее куда-то на полочку; смущенно запахнула мужскую, очень широкую на ее маленькой девичьей фигурке рабочую куртку, запачканную старой краской на рукавах.— Я одну секундочку... Только поставлю чай.

— Ну зачем беспокоиться,— сказал Сергей.

— Садитесь, садитесь на диван, садитесь! Вот коробка с папиросами, это крепкий табак!— вскрикивающим голосом заговорил Мукомолов и забегал подле дивана, спотыкаясь, задевая за подвернувшиеся края коврика на полу, и вдруг сильно закашлялся, сотрясаясь телом, прикурил папиросу, с жадностью вобрал дым.— Да, да, да! Ничего, ничего. Главное — вы пришли. Спасибо. Я рад. Это главное... Это большая радость!

Мукомолов задержался около дивана, тоскливыми глазами обежал лица Сергея и Константина, сконфуженный, вытер носовым платком пот со лба и выдавленные кашлем слезы в уголках век.

— Фу, жарко... Вы чувствуете — ужасно душные вечера,— проговорил он извиняющимся тоном и сел, сгорбясь, теребя бородку.— Ну как вы поживаете? Что новенького у молодежи? Как успехи?

— Все по-старенькому, если не считать экзамены и всякую мелочь,— сказал Константин.

— А как вы?— спросил Сергей.— Что у вас нового, Федор Феодосьевич?

Мукомолов подергал бородку, рассеянно разглядывая стершийся коврик под ногами, и как будто не расслышал вопроса.

— Простите, Сережа. Что у меня? Что у меня, вы спрашиваете? Дайте-ка мне газету, Костя!— встрепенувшись, воскликнул Мукомолов с деланной, вызывающей веселостью.— Там, на полочке, куда положила Эля! Вы читали газеты? Нет? Вот послушайте, что пишется. Вы только послушайте.

Он, торопясь, развернул газету, оглянулся на дверь, помолчал некоторое время, пробегая по строчкам.

— Ну вот, пожалуйста! Вот что говорит один наш деятельный художник: «Космополитам от живописи, людям без роду и племени, эстетствующим выродкам нет места в рядах советских художников. Нельзя спокойно говорить

о том, как глумились, иезуитски издевались эти антипатриоты, эти гнилые ликвидаторы над выдающимися произведениями нашего времени. Мы выкурим из всех щелей людей, мешающих развитию нашего искусства... Странно прозвучало адвокатское выступление художника Мукомолова, пейзажики и портреты которого напоминают, мягко говоря, вкус раскусанного гнилого ореха, завезенного с Запада. Однако Мукомолов с издевкой пытался...» Ну, дальше этот отчет читать не нужно, дальше идут просто неприличные слова в мой семейный адрес... Во как здорово! А вы как думали!

— Не понимаю. Это... о вас? — проговорил Сергей.— Я читал зимой о космополитах. Но при чем здесь вы?

— При чем здесь я, Сережа? Меня просто обвиняют в космополитизме, в отщепенстве. В чуждых народу взглядах... Вот и все.

Мукомолов быстро стал зажигать спички, ломая их, глубоко затянулся, выдохнул дым, вместе с дымом выталкивая слова:

— Началось с того, что я пытался защитить одного критика-искусствоведа, его обливали грязью. Но я его знаю. Все неправда. Этому нельзя поверить. Шум, свист, топанье — ему не давали говорить. Ему кричали из зала: «Ваши статьи — это плевок в лицо русского народа!» А это культурный, честный, с тонким вкусом человек, коммунист, уважаемый настоящими художниками, смею сказать. Кстати, он тяжело заболел после этого полупочтенного собрания. И что, вы думали, было сказано после этого? — Мукомолов отсекающе махнул зажатой в пальцах папиросой.— Один наш монументалист на это сказал: «Нас инфарктами не запугаешь». Вот вам!..

Константин, с грустным вниманием слушая Мукомолова, положил ногу на ногу, слегка покачивал носком ботинка.

Сергей, хмурясь, спросил:

— Но почему... в чем обвиняют вас? Именно — в чем?

— Не знаю, не могу понять! Чудовищно все это! Мне кричат, что мои пейзажи — идеологическая диверсия. Что я преклоняюсь перед западным искусством, что я эпигон Клода Монэ! Но где, в чем влияние Запада? — Мукомолов недоуменно повел бородкой по картинам на стенах.— Не знаю, не понимаю. Ничего не понимаю.

Мукомолов сказал это уже с тихим отчаянием и тотчас, спрятав газету на полочке, преобразился весь: че-

рез порог, поправляя одной рукой волосы, мелким шагом переступила Эльга Борисовна, неся чайник. Мукомолов кинулся к ней, неловкий в своей старой расстегнутой куртке, подхватил чайник, с излишним стуком поставил на стол — тень Мукомолова качнулась на стене, по картине,— воскликнул с оживлением:

— Спасибо, Эленька! Будем чаевничать напропалую. Чай великолепно действует против склероза и, несомненно, омолаживает организм.

И тут же, энергично опережая жену, начал молодо бегать от низкой застекленной тумбочки, заменявшей буфет, к столу, ставя чашки, бросая ложечки на старенькую скатерть, а Эльга Борисовна, все прикасаясь к волосам, как бы прикрывая седые пряди, сказала смущенно:

— Почему вы сидите без света? Со светом веселее и лучше.

И повернула выключатель — оранжевый, еще довоенный абажур над столом наполнился огнем. В комнате стало теснее: портреты, лесные и полевые пейзажи, чудилось, придвинулись со стен, раскрытые окна превратились в черные провалы.

Сергей смотрел на Мукомолова, вытирал пот на висках. Теплые струи воздуха, запах нагретого асфальта вливались в духоту комнаты. Мукомолов наклонился к столу, нацеливая дрожащий носик чайника в чашку. Было тихо, жарко, все молчали. Крутой чай с паром лился в чашку. От пара, ползшего по скатерти, от молчания, от застенчивой улыбки Эльги Борисовны было еще жарче, теснее, неудобнее, и еще более неудобно было Сергею оттого, что он не понимал до конца злой смысл того, о чем говорил сейчас Мукомолов, лишь чувствовал, что где-то рядом совершалось противоестественное, неоправданное, ненужное. Ради чего?.. Зачем?

— Идеологическая диверсия...— вспоминающим голосом заговорил Мукомолов, наливая чай в другую чашку.

— Федя!— с испуганной мольбой проговорила Эльга Борисовна и прикрыла глаза сухонькой ладонью.— Умоляю, оставь эту тему... Федя, я тебя прошу...

— Эленька, я старый человек, и мне нечего бояться,— рассерженно фыркнул носом Мукомолов.— О, наше молчание, равнодушие не приводят к добру! Ну хорошо, я не скажу ни слова. Я буду молчать, как старый шкаф!

И Мукомолов неуспокоенно засопел.

— Я знаю, что с тобой будет,— чуть слышно сказала Эльга Борисовна.— За вчерашнее выступление, Федя, тебя исключат... выгонят из Союза художников. Что мы будем делать? Что?

В голосе ее внезапно зазвенели слезы, и сейчас же Мукомолов трескуче закашлялся, преувеличенно живо, бодро заходил вокруг стола; наконец, преодолев приступ кашля, он забежал в угол, где лежали гантели и гири, там вытянул руку, согнул в локте и, сощурясь, с детской наивностью пощупал свои мускулы.

— Ну и что? У меня хватит силы! Пойду в декораторы. Нам много не надо — проживем!

— Вы видели этого сумасшедшего?— тихо спросила Эльга Борисовна.

Мукомолов присел к столу, покрутил ложечкой в стакане, потом благодарно покивал Эльге Борисовне и, видимо утоляя жажду, выпил в несколько глотков весь стакан, сказал:

— Ах, как хорош космополитский чай!

— Все это пройдет,— неотрывно глядя на чашку, к которой не притронулась, произнесла Эльга Борисовна.— И не надо портить настроение мальчикам. Витя бы тебя тоже не понял... Просто, Федя, произошла ошибка... Все пройдет, все успокоится.

— Ошибка, Эленька? Может быть! Но никто не хочет таких ошибок!— воскликнул Мукомолов и протестующе отодвинул стакан.— Чудовищно все! Чудовищно, потому что несправедливо!

Громко закашлявшись, Мукомолов вскочил, подошел к окну и, сгорбясь, закинул руки за спину, но вдруг сутулые плечи его поежились, он плечом неловко стер что-то со щеки и снова, решительно распрямив спину, сцепил пальцы на пояснице.

Сергей и Константин переглянулись; этот жест Мукомолова, это движение плеча к щеке и неуверенные слова Эльги Борисовны «все пройдет» неприятно и остро ожгли Сергея, и он сказал вполголоса:

— Что бы ни было, Федор Феодосьевич, я бы боролся... Здесь какая-то ерунда и ошибка.

Он произнес это, злясь на себя за чужие, ненужно бодряческие слова, за то, что ничем не мог помочь и еще не мог полностью осознать все. Он знал только одно — была открытая и жестокая несправедливость в отношении безобидно тихой семьи Мукомоловых, всегда связанной в

его памяти с именем Витьки. И, сказав об ошибке, он верил, что это не может быть не ошибкой.

— Я не такими представлял космополитов, как вы, Федор Феодосьевич,— добавил он.— Ерунда ведь это.

— И на этом спасибо, Сережа,— пробормотал Мукомолов.

Но он не отошел, не повернулся от окна, все сильнее сцепливая за спиной пальцы. Эльга Борисовна, опустив глаза, трогала морщинки скатерти на углу стола, Константин ложечкой рисовал вензеля по блюдечку.

Молчали. Они поняли, что им нужно уходить.

— Спокойной ночи, Федор Феодосьевич.

— Спокойной ночи, Эльга Борисовна.

Когда несколько минут спустя они поднялись на второй этаж в комнату Константина, Сергей упал в кресло, вздохнул через ноздри и грубо выругался; Константин извлек откуда-то из недр буфета две бутылки пива, заговорил с усмешкой:

— Н-да, успокоили, называется, старика... Ему наши жалости — до лампочки. Нет, у нас не соскучишься!— И он поставил бутылки на стол, отчаянно щелкнул пальцами.— Все равно жизнь продолжается. Выпьем, Сережа? Остались две последние. Из энзэ. Остатки студенческой роскоши.

— Давай выпьем. Что происходит, Костька?

— Обычный перегиб палки! Подожди. А что от Нины? Письма, телеграммы? Мне хотелось бы ее сейчас увидеть. Улыбка женщины успокаивает. А, чушь говорю, из какой-то оперетты.

— Нина на Урале, Костька.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В конце июня Сергей шел один из института к метро.

В глубине узких темнеющих переулков особенно чувствовался летний вечер с жарковатым запахом пыли.

Он шел мимо высокого забора, над которым в зеленеющем небе висел среди верхушек лип острый, как волосок, молодой месяц; доносились из-за деревьев крики задержавшейся волейбольной игры, удары мяча. Возле одного крыльца вспыхивал огонек, темнели силуэты: де-

вушка в белых босоножках сидела на раме прислоненного к перилам велосипеда, парень, обнимая ее, зажигал и гасил ручной фонарик; девушка взглянула на Сергея, помотала ногой, отвернулась с улыбкой.

Ему некуда было торопиться. Он любил в поздние сумерки бродить по москворецким переулкам.

Он вышел к метро, долго стоял перед витриной «Вечерки», потом долго читал объявления на афишной будке: не хотелось домой, не хотелось спускаться в метро, в сквозняковый подземный воздух, уходить сейчас от этих тихих летних сумерек, от пыльного заката, угасающего за площадью.

В институте было собрание перед каникулами и практикой, длинная речь директора, студенческий капустник, танцы, буфет, дешевые бутерброды, суета, разговоры. Он устал, и после разговоров, и после духоты институтского зала было приятно ощущать будоражащий воздух вечера, и была свобода и совсем неожиданное одиночество. Он испытывал неясное удовлетворение — все кончилось, цель достигнута, экзамены сданы. «А дальше? А дальше что? Летняя практика на шахтах? Да, практика. А дальше? А Нина? Когда я ее увижу?»

Он знал, что скоро увидит ее.

И ему хотелось побыть здесь, близ метро, читать заголовки газет вперемежку со свежими афишами: об испытании американцами атомной бомбы на островах Тихого океана, о солдатских сборах западногерманского «Стального шлема», о начавшихся концертах Московской филармонии, о летних гастролях Аркадия Райкина в саду «Эрмитаж» — заголовки газет кричали, рекламы концертов успокаивали, возвращали к жизни обычной, мирной. К этому теплому вечеру лета, к прозрачному умиротворению, покою во всем.

Нина должна была приехать в начале июля. Он знал, что скоро ее увидит.

В конце марта ранним утром он проводил Нину до такси и, не стесняясь шофера, поцеловал ее.

— Это вообще какая-то глупость: ты должна уезжать каждый год? И всегда к черту на кулички — Урал, Сибирь, Бет-Пак-Дала.

— На вокзал не провожай. За минуту на вокзале можно возненавидеть друг друга. В Бет-Пак-Далу еду

первый раз — ты это знаешь. После Урала заеду туда на неделю. Меня посылают. Вот и все.

— Кажется, твой муж там? — спросил Сергей излишне спокойно.

— Его снимают и переводят.

В уголках ее губ проступили морщинки, и эти морщинки, впервые увиденные им, были сейчас неприятны ему, но он ответил с нежностью:

— Мне не важно это. Я жду тебя, Нина. Счастливо, в общем.

Когда она поцеловала его, села в такси и машина, завывая мотором, свернула за угол, улица стала неправдоподобно пустынной, серой, на подсыхающих мостовых стояла ранняя мартовская тишина. В этой тишине белым, усталым за ночь светом горели фонари, и далеко на вокзалах перекликались гудки паровозов. Он представил: где-то на окраинах Москвы начиналось полное утро, мокрые от тумана поезда пришли на рассвете, ожидая, шипели на путях; и крыши вагонов, и платформы холодны, влажны по-весеннему.

И он представил, как она вошла в теплое купе вагона Москва — Свердловск, уже вся отдалившись от него, от прошедшей ночи, когда они оба ни часу не спали,— и безнадежно опустошенный зашагал по гулкому тротуару Ордынки.

«Его снимают и переводят». Раз — прошлой осенью — муж ее прислал непонятную срочную телеграмму, состоявшую из трех слов: «Поздравь счастливой охотой»,— и Нина, прочитав вслух ее и обратный адрес: «Почтовое отделение Жумбек»,— сказала:

— Значит, у него не ладится с экспедицией. Тогда — страшная, истребительная охота. А потом плов и водка... Я ненавидела эту охоту. Но он там полный хозяин и это ценит больше всего. Набрал себе в экспедицию каких-то головорезов. А ведь, знаешь, он способный геолог, только разбросанный, несдержанный человек.

Он молчал, делая вид, что это не касается его.

Три года продолжалась их связь, и он хорошо знал Нину, но порой она казалась старше, опытнее его, и он чувствовал едва заметную настороженность по ее чересчур внимательному взгляду в упор; по тому, как иногда звонила вечером из геологического управления, робко объясняя усталым голосом, что задержится сегодня и нет смысла ему приходить, только не нужно обижаться; по тому,

как, идя с ним по улице, она задерживала глаза на лицах детей, мальчиков — и он видел, как становилось беззащитно-нежным ее лицо.

Однажды он спросил ее:

— Что с тобой, Нина?

— Ты действительно меня любишь? Ты никого не сможешь любить так, как меня?

— Я люблю тебя. Я не представляю, что бы со мной было, если бы я не встретил тебя тогда. Я прихожу к тебе и забываю все.

— И только-то, Сережа?

— Нина, мне даже приятно, когда ты молчишь. Наверное, такое бывает... к жене.

— И ты ни разу не сомневался, Сережа?

— В чем?

— Ну, в том, что я нужна тебе? Именно я...

— Ты спрашиваешь это?

Поднявшись на тахте, чуть наклонясь вбок, подобрав ноги, она пальцем кругообразно водила по стеклу звонко стучащего на тумбочке будильника и наконец сказала полусонным голосом:

— Как-то не так у нас, Сережа.

— Что же не так?— спросил он.

— Пойми меня только правильно, я никогда не говорила об этом,— начала она с неуверенностью.— Нам нужно что-то делать, Сережа, что-то решать окончательно. Меня иногда унижает... вот это... то, что между нами три года уже. Я сама себе кажусь седьмым днем недели. Я хочу, чтобы ты понял меня... Я устала жить как на перекрестке, Сережа.

Он понял, о чем говорила она, и понял, что никогда серьезно не задумывался над этим. Он привык к тем отношениям, которые сложились между ними за эти годы. Нина сказала:

— Сережа, я иногда думаю, что тебе просто так удобно: приходить ко мне, когда тебе нужно. А я уже так не могу.

В то раннее мартовское утро, когда он провожал Нину в экспедицию, когда она сказала, что ненавидит последние минуты на вокзале, Сергей возвращался с чувством внезапной и мучительной пустоты, он сознавал: все, что было связано с Ниной, должно быть решено им, а не ею.

Сергей вошел в вестибюль метро, постоял в очереди у кассы.

Впереди тоненькая, с выгоревшими волосами девушка звенела мелочью на вытянутой ладошке, и паренек в тенниске отсчитывал, застенчиво перебирал деньги, отсчитал и просунулся к кассе:

— Два билета, пожалуйста.

Лето в полную силу чувствовалось и под землей: рокот эскалатора, летящий сквозняк, пестрые платья, белые брюки, панамы, спортивные майки, молодые лица, кофейно покрытые загаром,— все напоминало о золотистом песке дачных пляжей, о водной станции, накаленной солнцем, о взмахах весел, прохладном дуновении свежести по реке.

Эскалатор равномерно опускал Сергея, и он наслаждался механической плавностью движения.

Он стоял рядом с тоненькой девушкой: у нее были теплые, без блеска глаза, с нижней ступеньки она неподвижно смотрела на парня в тенниске, а он, облокотившись на поручень, смотрел на нее таким же долгим, размягченным взглядом, медленно краснея.

И Сергей невольно отодвинулся, как бы не замечая их робкой близости, которой они еще стеснялись: им, видимо, было по восемнадцати...

Полз, стрекотал эскалатор, сзади шуршал «Вечеркой», по-домашнему зевал в газету дачный мужчина в соломенной шляпе и, зевая, толкал в ноги Сергея сеткой, набитой консервными банками; спеша подымались, плыли навстречу, перемещались лица на соседнем эскалаторе, веяло струей подземной прохлады, и Сергей думал: «Им по восемнадцати, а мне уже двадцать пять...»

— Простите, молодой человек! Вы что, не спешите?

Тугая сетка, набитая консервными банками, жестко нажала в бок, прошуршала, задев его, соломенная шляпа, и Сергей посторонился, навалясь на поручни. И в ту же секунду что-то знакомое, светлое мелькнуло среди лиц на соседнем эскалаторе — он не ясно увидел, а почувствовал это знакомое, мелькнувшее там,— обернулся. Но тут ступеньки эскалатора ушли из-под ног, кончились, и силой движения вниз его толкнуло на каменный пол.

Вырвавшись, он протиснулся сквозь хаос бегущих от перрона к соседнему эскалатору толп, еще не совсем веря, скользя глазами по быстро подымающемуся потоку людей на ступенях, увидел удаляющийся вверх белый плащик, повернутое в профиль загорелое лицо, рванулся к перилам.

— Нина!..

«Она вернулась?!»

Он крикнул, она не услышала его — эскалатор заглушил голос,— она только сняла серенький берет, тряхнула головой — волосы рассыпались по плечам. И улыбнулась стоявшему слева человеку в кожаной куртке — была видна спина его, прямая шея. Он склонился к ней, и Сергей успел заметить незнакомое, дочерна выдубленное солнцем большое лицо, крупный и твердый подбородок... И Нина и лицо это поплыли вверх, смешались в сплошном черно-белом потоке.

Сергей, с двух сторон стиснутый текущими к эскалатору людьми, уже чувствовал, что не мог обмануться, хотя увидел их так коротко, нереально, как будто их и не было.

— Гражданин, не мешайте!

— Вы что... заснули? Растопырился!

Его толкали к эскалатору, его повлекло, как в водовороте. Он плечами попытался высвободиться из этой потянувшей его вперед тесноты, сделал несколько шагов вперед, и тугой людской поток понес его за собой на ползущие вверх ступени, и он стал подыматься, соображая: «Кто это, ее муж? Это он? Она вернулась с ним?..»

В вестибюле он сбежал с эскалатора, вглядываясь в толпу, в движущиеся лица, но здесь их не было. Он вышел из метро, торопливо достал сигареты, оглядываясь, сдерживая сбившееся дыхание. Площадь кипела легковыми машинами, переполненными троллейбусами, чернеющими около остановок пешеходами, неоновый свет лился на асфальт, на головы людей.

И он увидел их. Они ждали на переходе через площадь, пропуская вереницу машин,— Нина без берета, в коротком плащике, широкоплечий, даже грузный, человек в куртке, держа чемодан, уверенно охватив ее плечо, что-то говорил ей, а она чуть-чуть кивала.

«Значит, она вернулась с ним? Но она дала телеграмму: «Выезжаю днями»... Почему она дала неточную телеграмму? Значит, он вернулся?..»

Он уже твердо знал, что этот человек с дочерна загорелым лицом — ее муж, что она вернулась из экспедиции не одна. Он теперь увидел его и против желания чувствовал, что грубовато-резкая внешность этого незнакомого человека не вызывала в нем неприязни, и первое его не-

осознанное решение — подойти сейчас к Нине — мгновенно показалось ему непростительным мальчишеством.

Вереница машин пронеслась, и он видел, как они перешли площадь, как человек в куртке поддерживал Нину под локоть, как в такт шагам волновался ее плащик, потерялся в сумраке вечера на той стороне площади.

Только тогда он двинулся по улице, и словно бы из пелены доходили до него гудки автомобилей, шум троллейбуса, кипение вечернего города, и возникала мысль, что вот здесь все кончилось: неужели три года он подымался по лестнице, счастливо торопился, затем с размаху открыл последнюю дверь, а за ней — провал, мертвенная пустота внизу?..

«Нет! Не может быть! Не может быть!..»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Я, ей-богу, умею держать утюг в руках, я не такой уж негодный парень, Асенька. И не пижон, поверьте. Наглаживал себе брюки с юных лет, научился этому мастерству в совершенстве.

— Ну что вы врете, Костя! — сказала Ася строго.— Ясно по вашим брюкам: вы их на ночь кладете под матрас. Не пускайте пыль в глаза. Вот пепельница. Можете сидеть, и курить, и наблюдать молча. Вы поняли?

Было десять часов вечера.

В комнате тихо, по-домашнему пахло снежной свежестью выглаженного белья, белейшей стопкой сложенного на краю стола. Ася в ситцевом сарафанчике, в тапочках на босу ногу — смуглые плечи обнажены — послюнила палец, осторожно потрогала закипевший на подставке утюг, помотала пальцами, стала гладить, от старательности высунув кончик языка; лицо озабоченное, капельки пота выступили над верхней губой.

— Ах, Ася, как вы жестоки ко мне! Ни в чем не доверяете. Вы смотрите на меня как на не приспособленного ни к чему балбеса. Прошу вас, не надо.

Константин ходил вокруг стола, смешливо косил брови, говорил жалобно, полусерьезно, однако не пытаясь, как обычно, вызвать у нее улыбку, смотрел на ее движения утюгом, на разгоряченное лицо, видел дрожащие ро-

синки пота на верхней губе, втайне наслаждаясь нежностью к этим чистым капелькам и легкостью ее жестов — она не прогоняла его, как прежде, а снисходительно разрешала быть здесь, и он был рад этому.

— Ася, ей-богу, очень жарко сегодня, и еще ваш утюг... Дайте же мне. Я помогу. Я умру от безделья.

— Да, давайте говорить о погоде. Какой душный вечер! — смеясь, сказала Ася и сдунула волосы со щеки.— Действительно: просто какая-то Сахара! Я, например, чувствую себя бедуинкой.

Она постриглась недавно, и как-то незнакомо, без кос, обнажилась ее шея, от этого Ася казалась выше ростом, и было что-то новое, взрослое в ее плечах, спине, голых руках, даже в интонации голоса.

Ася вопросительно посмотрела на Константина, опять сдунула волосы со щеки — наверно, не привыкла к новой прическе, короткие волосы мешали ей,— потом спросила с легкой насмешкой:

— Лучше скажите, как вы там сдали свои горные машины? Всякие свои штреки, копры? Наверно, было бормотание, а не ответ?

— Крупно плавал, но потом прибило к берегу. Сдал. Не будем касаться грустных воспоминаний.

— Теперь, конечно, на практику?

— Ох, придется, Ася.

— А я так похудела за экзамены, даже тапочки сваливаются. Чертовски трудный был первый курс. В медицинском вообще трудно учиться. Впрочем, это не жалобы, а факт. Я довольна.

И Ася набрала в рот воды из стакана, надув щеки, брызнула на белье, спросила неожиданно:

— Вы, кажется, хотели удирать из института?

— Была чудовищная попытка, Ася.

— «Попытка»! Вы просто патологический тип,— сказала Ася с осуждением и блеснула на Константина глазами.— Сами не знаете, чего хотите! Ну чего вы хотите вообще?

— Ася, есть вещи, которые долго объяснять. Просто у меня сохранились животные признаки. Иногда сам себя не понимаю. Потом — я ведь чуточку старше вас.

— Не козыряйте старостью. Как можно не понимать себя? Просто не Костя, а Гамлет, принц датский!

— Ася!

— Тише, не кричите, как в гараже, папа спит! Будете кричать тут, я вас прогоню немедленно.

Он увидел на спинке стула пижаму Николая Григорьевича и понял — его нет дома, она обманывала.

— Ася, я шепотом...

— Ну?

— Ася...

— Я знаю, что я Ася. Уже девятнадцать лет знаю. Ну что вы, честное слово! — Она настороженно поглядела на него.

— Ася... Я... буду брызгать вам... водой. Клянусь, сумею, вы будете довольны. Вот через неделю уеду на практику, и такого усердного дурака не найдете, который будет вам брызгать водой. Я сделаю это талантливо.

Константин с дурашливой и умоляющей гримасой потянулся к стакану, но тотчас Ася проворно повернулась к нему, выхватила стакан, гладкое стекло скользнуло в ее пальцах, и Константин торопливым движением подхватил стакан на лету, расплескивая воду на ее сарафанчик. От неожиданности Ася ахнула, поспешно двумя руками отряхивая намокший подол, взглянула быстро — чернота глаз будто от головы до ног уничтожающе перечеркнула Константина.

— Терпеть не могу, когда мужчина лезет в женские дела! Ну что с вами делать? Облили меня талантливо, вот что! Уходите сейчас же, вы мне не нужны со своей помощью!

Она наклонилась, сдвинув колени, начала выжимать намокший подол, лицо стало сердитым, а когда она наклонилась, Константин увидел трогательную нежную округлость ее груди в разрезе сарафанчика и сейчас же отвел глаза, растерянный, боясь, как бы она не перехватила его случайный взгляд, боясь ее стыда и гнева. Ему хотелось поцеловать ее в худенькую склоненную шею.

— Ася, я сейчас на кухню... я сейчас воды...— пробормотал Константин, с неуклюжей осторожностью поставил стакан на стол и, не решаясь оглянуться на нее, почему-то на цыпочках подошел к раскрытому окну. В черноте двора сопело, хлюпало, шелестело, точно ломали веточки на кустах: сквозь световой конус сыпались капли дождя, свежего, обильного, летнего.— Ася, я сейчас...,— повторил он виновато.— Я сейчас...

И с решимостью подставил голову быстрым теплым струям, покрутил головой в этой льющейся сверху влаге, сдавленно говоря туда, в дождь, точно убеждая и казня себя:

— Мне на кухню... мне на кухню... О болван!

— Что вы там делаете?— крикнул Асин голос за его спиной.— Купаетесь? Тогда идите в ванную!— И она, не сдержавшись, засмеялась.— У вас такой вид, будто вас из бочки с водой вынули! Возьмите мой зонтик!

Он, чувствуя на своем лице глупую улыбку, сказал:

— Ваш зонтик, Ася, нужен мне как рыбе галоши. Просто мне хочется набить себе физиономию, глупую, развратную физиономию. Не смейтесь, я себя знаю! Великолепно знаю!

— Что, что?— шепотом спросила Ася и, покраснев, машинально провела руками по влажному сарафану.— Что вы так смотрите? Вы совершенно мне гладить не даете. Вы что это сказали?

И она, вроде рассерженная его словами и тем, что он мешал ей, задернула на окне половину занавески, заявила уже полуснисходительно:

— Когда вы начинаете говорить, всегда что-нибудь ужасное ляпнете.

— Ася, я сам знаю, что я не ангел, но вы обо мне думаете очень уж плохо,— глухо сказал Константин.— Вы почему-то все что угодно можете мне говорить. А я ведь не мумия.

— Лжете, в глаза лжете! Вы сами какую-то глупость сказали!

Из темноты окна наносило плеск дождя, стук капель о подоконник, брызги летели на худенькие плечи Аси, они были неподвижны, она смотрела, замерев, только покусывала нижнюю губу,— и снова его охватило желание поцеловать ее в подбородок, в тонкую обнаженную шею.

И, боясь этого, боясь и себя и ее, он сделал веселое выражение, по-дурацки бодро, как показалось ему, выговорил:

— Я ухожу, Ася.

— Уходите!— сказала она.— Буду рада!

Когда несколько дней он не видел ее, ему тревожно было на душе, и он ждал спешащий стук Асиных каблуков по коридору, звук ее голоса заставлял его вздрагивать, он даже на слух определял, когда она набирала

воду из крана — создавая на кухне хозяйственный шум, зачем-то отворачивая кран до отказа. Порой ему хотелось встретить Асю не дома, не в коридоре, а одну на улице, серьезно, отчаянно сказать ей: «Ася, если бы вы меня знали, все было бы иначе. Я могу быть другим... Просто была война. Я могу все забыть... Я даже могу быть серьезным, только поверьте мне. Только поверьте».

И по вечерам, лежа на диване, он думал об этом: то, что она была моложе его на шесть лет, жила, думала иначе, чем он, не знала всего, что знал он, и то, что она была сестрой Сергея, очерчивало нечто непреодолимое между ним и ею.

Он повторил отрывисто:

— Я ухожу, Ася... Вы только на меня не сердитесь.

— Уходите, пожалуйста! Я не задерживаю! Буду очень рада!

Он подошел к двери и, пересиливая себя, спросил грустно:

— Вам со своей холодностью легко жить на свете? Почему вы такая холодная, Ася?

— Холодная? Пусть я лед, снег, камень! Не читайте мне нотации. Лучше быть холодным, злым, чем легкомысленным, пустым! — заговорила Ася с непонятной мстительностью.— Вы себя достаточно показали! Терпеть не могу грязных людей!

Ее голос толкнул его в спину, и он не сказал ни слова, распахнул дверь и, торопясь, закрыл ее, вышел в коридор.

— Костя!

Он услышал, как сильным толчком раскрылась дверь, сразу же обернулся — в проеме двери стояла Ася, вся напряженная, глаза встревоженно увеличены, и он видел одни глаза, огромные, блестящие сплошной чернотой.

— Костя, Костя,— прошептала она.— Подождите! Идите сюда, в комнату, в комнату!.. Костя, Костя!

И втянула его в комнату, схватив за руку, дрожь сухих пальцев передалась ему, он непроизвольно порывисто сжал их с нерассчитанной нежностью, и внезапно она испуганно выдернула кисть и стала перед ним, почти касаясь его груди, опустив голову,— он чувствовал чистый запах ее волос,— теребила на узенькой талии поясок сарафанчика, как бы опасаясь посмотреть ему в лицо. Потом

тихонько отошла от Константина в угол комнаты, оттуда поглядела пристальным взглядом, вдруг, зажмурясь, ладонью шлепнула себя по одной щеке, затем по другой, говоря:

— Вот тебе, вот тебе!

— Ася...— только произнес Константин.

— Костя, вы ничего не спрашивайте. Хорошо? Хорошо? Дайте слово ничего не спрашивать!— ожесточенно, едва не плача, проговорила Ася и топнула ногой.— Ах, какая я дура! Сама себя ненавижу! Это ужасно! Мне надо было мужчиной родиться, брюки носить! Просто ошиблась природа... Ненавижу себя!

И резко отвернулась, беспомощно и косо глядя на темное, сыплющее дождем окно. Константин на цыпочках приблизился к ней, помолчав, сказал шепотом:

— Если бы вы были мужчиной, я бы умер, Ася...

— Что?— с ужасом спросила она.— Что?

— Я бы умер, Ася...

В двенадцатом часу вечера пришел Сергей.

Во второй комнате молча сбросил намокшие ботинки, надел старые тапочки и, выйдя к Асе и Константину, спросил угрюмо:

— Где отец? Опять торчит в своей бухгалтерии? Великий бухгалтер наших дней!— добавил он раздраженно.— У самого сердце ни к черту, а сидит до двенадцати часов. Наверно, думает, без его подсчетов весь мир перевернется. Государственный деятель!

— Не смей так говорить об отце!— сказала Ася сердито.— Ты очень грубо говоришь об отце. И грубо разговариваешь с ним всегда! В тебе жестокость какая-то! Прекрати, пожалуйста, эти глупости!

Морщась, Сергей лег на диван, закрыл глаза; лицо было осунувшимся, отчетливо проступала морщинка на переносице, и Константин спросил медлительно:

— Что у тебя, Серега?

— Так. Ничего. Дождь идет. Ладно. Я спать хочу. Пошли все к черту!

Он чуть покривился, подбил под голову маленькую диванную подушку, уже стараясь не слушать ни голоса Константина, ни Аси, ни плеска дождя, усилием воли заставляя себя заснуть.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В его сознание, замутненное сном, тупо ворвалось мгновенно возникшее движение — как будто рев танкового мотора за окном, как будто голоса людей, шаги, дребезжание стекол над самым ухом,— и, ничего не понимая, он открыл глаза, вскочил на диване.

Темнота недвижно стояла в комнате, глухо, с сопением, с бульканьем хлестал дождь, звенел по стеклам, бил по железному козырьку парадного.

«Фу ты черт!— подумал он облегченно.— Откуда танки? Что за чушь лезет в голову! Который час? Рассветает?»

Он потер кисть, замлевшую от неудобного лежания во сне, потянулся за часами на столе, но тотчас отдернул руку, словно ударили по ней: сильное дребезжание стекол над головой заставило его разом повернуться к темному окну, плотно слившемуся со стенами.

— Кто там?— крикнул Сергей.

— Быстро, откройте!

Кто-то стучал, по-чужому настойчиво, было слышно хлюпание ног по лужам во дворе, но странно: в коридоре не звонил звонок, чужой голос не повторил «откройте» — все стихло. Сергей соскочил с дивана, на бегу зажег электричество и, открывая дверь в коридор, на какую-то долю секунды замедлил поворот ключа — внезапно пронеслась мысль о воровской банде «Черная кошка»: ходили слухи, что она появилась в Москве. Но сейчас же, почему-то сомневаясь в этом, вышел в коридор, и здесь, перед дверью, переспросил громко и недовольно:

— Кто там? К кому?

— Откройте! Проверка документов!

— Попытаюсь.

Он щелкнул замком, отступил в сторону.

Ворвалась дождевая свежесть, облила холодом грудь Сергея. Шаги по ступеням, топот ног, приглушенный голос: «Мамонтов, вперед!» — и, еще не увидев людей, их лиц, Сергей понял, что это не то, о чем подумал он. Слепящий свет карманного фонарика полоснул его по лицу, по глазам, скакнул вперед, в коридор, выхватил мокрый воротник плаща, погон, лакированный козырек фуражки мягко прошедшего вперед человека, и другой человек, остановившийся возле Сергея, посветил фонариком, спросил:

— Вы кто? Фамилия?

— Вам кого нужно? Вы кто? Из милиции? Уберите фонарик, что вы светите мне в лицо? — нахмурясь, сказал Сергей, невольно подумав, что это могли прийти за Быковым, и повторил: — К кому?

— Я спрашиваю вашу фамилию! — властно произнес голос.— Фамилия?

— Положим, Вохминцев.

— Идите вперед, Вохминцев. Зажгите свет в коридоре. Вперед, вперед. В комнату, гражданин Вохминцев! — скомандовал начальственный голос, и до Сергея ясно донеслись из комнаты тревожные голоса Аси, отца, и он увидел: вспыхнул свет в коридоре, в комнате, к настежь раскрытой двери, стуча каблуками, подошел, сделав поворот кругом, застыл с белобровым негородским лицом солдат в шинели, по-уставному поставил винтовку у ног.

Увидев все это, он вошел в комнату, еще полностью не сознавая, убеждая себя, что происходит, произошла страшная ошибка, невероятная обжигающая нелепость, и, еще не веря в это, остановился, вздрогнув от голоса,— низенького роста сухощавый капитан в плаще с погонами государственной безопасности (на погонах блестели капли дождя) держал в желтых пальцах какую-то бумагу, говорил спокойно, тусклым, гриппозным голосом:

— Вохминцев Николай Григорьевич? Вот ордер на арест. Собирайтесь.

Отец в нижнем белье, только пиджак накинут на плечи,— все это делало его жалким, незащищенным, лицо болезненно-небритое, будто в одну минуту постаревшее на десять лет,— мелко подрагивая бровями, даже не взглянул на бумагу, взгляд перескочил через голову капитана, встретился с глазами Сергея и непонимающе погас. Он мелкими глотками два раза втянул воздух, согнулся и сразу ставшей незнакомой, старческой походкой, не говоря ни слова, вышел в другую комнату. Капитан двинулся за ним, оттуда, из второй комнаты, донесся его носовой голос:

— Быстро, гражданин Вохминцев. Прошу быстро!

Было видно в открытую дверь, как он, оставляя следы грязи на полу, прошел к письменному столу, вприщур окинул стол, стены, потолок, неторопливо набрал номер телефона, сказал в трубку негромко:

— Да. Мамонтов. Мы здесь. Да. Слушаюсь. Хорошо. Слушаюсь.

В комнату из коридора испуганно выдвинулась толстая, укутанная в платок дворничиха Фатыма — понятая, как догадался Сергей. Второй офицер, старший лейтенант, ручным фонариком указал ей на стул, Фатыма села, робко озираясь. Старший лейтенант, с круглым деревенским лицом, тонкогубый, со светлыми степными глазами, глядел на Сергея в упор, расставив ноги.

«Отец вернулся поздно ночью. Я не слышал, когда он вернулся»,— мелькнуло у Сергея, и приглушенные голоса в коридоре, и чужие голоса в квартире, и Фатыма, и следы на полу, и разнесшийся запах армейских сапог, мокрых плащей, наклоненная к телефону худая и чужая шея низенького капитана, и его слова, произнесенные в трубку, и эта вся грубо заработавшая машина вдруг вызвали в нем бессилие, злость и страх перед страшным, неотвратимым, беспощадно что-то ломающим в жизни его, отца, Аси. И в то же время не исчезала мысль о том, что все это нелепое недоразумение, что сейчас капитан, разговаривавший по телефону, положит трубку, извинится, объявит, что произошла ошибка... Но капитан положил трубку, потом, внимательно разглядывая стол, бумаги на нем, скомандовал, не поворачивая головы:

— Поторопитесь, поторопитесь, гражданин Вохминцев! Быстро! Прошу.

И Сергей бросился в другую комнату, туда, к отцу, которого торопил, подхлестывал этот чужой голос. Отец не спеша одевался, но никогда так неловко, угловато не двигались его локти, его руки искали и сомневались, словно бы вспоминали те движения, которые нужны были, когда человек одевается. И то, что он стал повязывать галстук, как всегда, задрав подбородок, опустив веки,— и этот задранный подбородок, опущенные веки бросились в глаза Сергею своей жалкой, унижающей ненужностью. И его снежно-седые виски, крепко сжатые губы, небритые щеки показались Сергею такими родными, своими, что, задохнувшись, он выговорил хрипло:

— Отец...

— Что, сын?— спросил отец, и непонятно затеплились его глаза. И повторил:— Что, сын?

Ася лежала на постели, судорожно натягивая одеяло до подбородка, в огромных блестящих зрачках ее плавал ужас, и в шевелящихся бледных губах был тоже ужас. Она повторяла, вздрагивая:

— Папа, папа, папа... Что ж это такое? Папа...

— Э-э, интеллихенция, халстуки завязывает. Хватит! — раздался сзади приказывающий голос — старший лейтенант с деревенским лицом, со светлым пронзительным взглядом проследовал к отцу, выхватил из его рук галстук, швырнул на стул. — А ну кончай, давай выходи. Давай прощайся.

— Ваша работа не исключает вежливости, — сухо сказал отец.

— Папа! — вскрикнула Ася, дрожа, вся потянувшись к отцу с постели так, что одеяло сползло, открыло голые руки, и отец с каким-то новым, незащищенным выражением наклонился к ней, поцеловал в лоб, сказал едва слышно:

— До свидания, дочь... Обо мне плохого не думай... Прости... Вот оставляю вас одних...

А когда обернулся к Сергею в своем старом, потертом пиджаке, не успев застегнуть воротник сорочки — на сорочке нелепо блестела запонка, — когда в глазах его будто толкнулась виноватая улыбка, Сергей сильно обнял отца, ткнулся виском в колючую щеку, выговорил с ожесточением и надеждой:

— Отец, это ошибка! Все выяснится. Ошибка, я уверен — ошибка, я уверен, уверен, отец...

— Знаю, ты не любил меня, сын, — серым голосом проговорил отец. — Я для тебя был чужой... Почти чужой...

И отец как-то странно, болезненно обняв Сергея, беспомощно поглядел на с ужасом прижавшую ко рту одеяло Асю, на стены комнаты, на письменный стол, проговорил:

— Живите как надо.

— Давай, пошли! — прервал старший лейтенант, нетерпеливо кивая на дверь, и отец быстро пошел и только задержался на пороге, на секунду дрогнув плечами, точно еще хотел повернуться, и не повернулся, исчез в коридоре, в его сумрачном колодце.

Все было унижающим, противоестественно оголенным в присутствии этих людей в защитных плащах: и прощание отца, слова его, и то, что Сергей, глотая спазму, застрявшую в горле, не крикнул в эту минуту ему: «До свидания, папа!..»

— Ася... — зачем-то тихо позвал Сергей и не договорил.

В это время низенький капитан, аккуратно расстеги-

вая плащ, подошел к книжному шкафу, растворил дверцы, вынул книгу, потряс, полистал ее, бросил на стул, гриппозно хлюпнув остреньким носом, достал другую... Ася, бледная, комкая на груди одеяло, со страхом смотрела на книжный шкаф, на листающего без стеснения страницы капитана, и Сергей заметил: бескровные губы, брови ее вдруг задрожали, она придавила одеяло к подбородку и сжалась, застонала, подавляя рыдания.

— Ася... я прошу тебя... Оденься,— глухим голосом проговорил Сергей.

И в тот момент, когда в другой комнате он сдернул с вешалки летнее Асино пальто, зычный окрик остановил его:

— Ку-уда?

Старший лейтенант, прочно загородив дорогу, рванул из его рук Асино пальто, торопливо начал ощупывать карманы, подкладку, и Сергей почувствовал чужую силу, чужие пальцы, хватающие карманы, и внезапно, стиснув зубы, выговорил:

— Уберите руки!

Старший лейтенант изо всей силы держал пальто, Сергей видел, как упруго набухли желваки, стали мучными скулы старшего лейтенанта, твердо впились ему в лицо светлые глаза. Со сжавшей его злобой Сергей упорно смотрел в побелевшие, жесткие, готовые на все глаза, и в его сознании скользнула мысль, что он никогда еще не видел такое мучное, видимо, жившее ночной жизнью лицо. Сергей произнес с трудом:

— Отпустите пальто! Я пока не арестован!

— Сидеть! В комнате сидеть! Никуда не выходить! Вот здесь сидеть!— яростным шепотом крикнул старший лейтенант.— Ясно?

— Князев!— окликнул капитан невнятно.

Видимо, тот вынужден был сдержаться: не отводя от Сергея белого взгляда, отпустил пальто, узловатой кистью привычно провел по боку, где под плащом оттопыривалось, мотнул головой:

— А ну на место! Скаж-жи, быстряк!

Потом с ощущением бессилия Сергей сидел на диване, чувствовал: рядом ознобно вздрагивала Ася, укутанная в пальто, полулежала, прислонясь затылком к стене, мертво вцепившись пальцами в его руку. Он не знал уже, сколько времени шелестели страницы книг, выбрасывае-

мых из шкафа, сколько времени ходили по комнатам чужие люди, упорно отодвигая шкафы от стен, заглядывая в щели; не знал, зачем трясли книги над полом, ища в них что-то.

Ему хотелось курить, непреодолимо хотелось втянуть в себя горький ожигающий дым, помнил, что сигареты в правом кармане пиджака, оставленного в другой комнате на спинке стула перед диваном, но не вставал, не желая выказать волнения, которое унизило бы его, лишь успокаивающе стискивал ледяные пальцы Аси и слегка отпускал, гладил их.

А они делали, видимо, привычную свою работу, не снимая плащей, фуражек, не разговаривая. Капитан сидел на краешке стула, по-птичьему согнувшись, опустив острый носик, желтыми, прокуренными пальцами шевелил страницы книг, тряс их, кидал на пол, изредка лез за скомканным платком, трубно сморкался, промокал носик, вытирал губы, глаза, покраснев, гриппозно слезились. И Сергею казалось, что его желтые пальцы оставляют следы гриппа на книгах, на стекле шкафа, на вещах, к которым он прикасался.

Дождь плескал по асфальту двора, и было чудовищно странно, что в окне, как всегда, жидко светился дворовый фонарь, трясущийся от дождевых струй.

Старший лейтенант, широко, по-деревенски хозяйственно раздвинув ноги в хромовых, слегка собранных в гармошку сапогах, обрызганных грязью, в сдвинутой на затылок фуражке, сидел за письменным столом, порой настороженно косясь на Сергея, читал бумаги отца, листал их, послюнив палец; с излишним стуком выдвигал ящики, в которых лежали письма, документы, ордена, конспекты Сергея, недоверчиво нахмуриваясь, выкладывал ордена, документы, письма перед собой. И были ненавистны Сергею его цепкие руки, плоская спина, плоская широкая шея, светлые степные волосы, заляпанные сапоги, собранные щеголеватой гармошкой. Старший лейтенант тщательно и подробно просмотрел документы, сложил их стопкой отдельно, хмыкнув, достал из ящика какую-то бумагу.

— А ну... иди-ка сюда!

С усмешкой держа в одной руке исписанный листок бумаги, он поднял другую руку, из-за плеча поманил Сергея.

— А ну-ка сюда иди! Это твое?— И локтем толкнул

документы, ордена в сторону, установил локоть на столе, читая про себя, шевеля губами.— Твое, а?

По медлительности, нехорошей усмешке его, с какой он мог глядеть на непристойность, по мелкому почерку на тетрадном листке бумаги Сергей сейчас же догадался, что, очевидно, у него письмо Нины, и, испытывая желание встать, выхватить письмо из этой цепкой узловатой кисти, сидел на диване, стиснув зубы,— заболело в висках.

— А? Как же? Любовью занимаешься? Кто она?— различил он негромкий голос.— А?

Сергей проговорил:

— Прошу не тыкать! Кто она — не ваше дело! Идите руки вымойте с мылом, протрите спиртом, прежде чем касаться чужих писем!

— Как не стыдно! Как вам не стыдно!— сдерживая плач, крикнула Ася, вонзив пальцы в ладонь Сергея.— Вы ведь советский человек!

— Встать!

— Вот как? А дальше что?— спросил Сергей и, как в темной дымке, встал, смутно видя перед собой посветлевшие добела глаза, готовый при первом движении этого человека сделать что-то страшное, готовый ударить его, уже не сознавая последствий, уже не думая, чем это кончится. И он снова спросил:— Ну? Дальше что?

— Князев!— простуженным голосом позвал капитан и поднес платок ко рту, гриппозно чихнул, утомленно, с выражением страдания склонился над книгой.

— Освободить диван! Что тут в диване?— тише, подчеркивая в голосе злую вежливость, проговорил старший лейтенант.— Ну-ка, посмотрим!..

И Ася, не понимая, пошатываясь, испуганно поднялась, прижимая к груди полу пальто, и старший лейтенант тотчас сдернул одеяло, простыню, отбросил ногой матрас, стал выкидывать из ящика пересыпанную нафталином зимнюю одежду. Потом выпрямился, обратил набрякшее краснотой широкое лицо и вдруг, даже с видом странного заискивания, сбоку заглянул в глаза Сергея.

— Так где же хранится троцкистская литература, а?

— Что?

— А ну оденьтесь-ка, покажите, где у вас сарай! Пройдемте,— неестественно улыбаясь, приказал старший лейтенант.

И когда Сергей прошел мимо неподвижно сидевшей с положенными на коленях руками Фатымы, мимо застывшего солдата в коридоре, когда толкнул дверь из парадного на улицу, старший лейтенант включил карманный фонарик, ободряя заискивающе-вежливо:

— Прошу, прошу...

Лил дождь, но темнота ночи поредела, в водянисто посеревшем воздухе чувствовался близкий рассвет, проступали силуэты домов, мокрый асфальт, мокрые крыши. Из водосточных труб хлестали потоки воды, дождь глухо шумел в черных, едва различимых вдоль забора липах, когда шли к ним по лужам от крыльца, и затем мягко застучал, забарабанил над головой по толю сараев, после того как Сергей резко, с каким-то мстительным щелчком откинул мокрую холодную щеколду, и оба — он и старший лейтенант — вошли в горько пахнущую березовыми поленьями тьму.

— Вот наш сарай,— сказал Сергей.— Ищите!

Капли, просачиваясь сквозь дырявый толь, с тяжелым однообразным звуком падали в щепу.

Желтый луч фонарика пробежал по белым торцам поленьев, сложенных штабелем, скакнул вниз, вверх; вспыхнула влажная щепа на полу, изморосно замерцала отсыревшая стена за штабелем поленьев, свет прямым коридорчиком уперся в стену, настойчиво поискал по углам.

— А ну отбрасывайте поленья от стены!— скомандовал лейтенант.— В угол — дрова!

— Что-о?— спросил Сергей.— Дрова перекидывать? Хотите искать — перекидывайте! Нашли идиота! Ищите!

Старший лейтенант круто выругался, откинул несколько поленьев в угол, внезапно луч фонарика впился в пол возле заляпанных грязью сапог, Сергей увидел перед собой ртутно скользнувшие глаза, едкий табачный перегар коснулся губ.

— О себе не думаешь, ох, много болтаешь, парень. Ты институт кончаешь, Сергей... Видишь, имя даже твое знаю. Давай по-простому, я тоже воевал,— с неумелой мягкостью заговорил он.— О себе подумай, тебе институт закончить надо, инженером стать. А можешь его и не закончить... Я воевал, и ты воевал. Я коммунист, и ты коммунист. Жизнь свою не порть. Я в лагерях видел всяких. Где у отца троцкистская литература?

Сергей молчал; крупные капли шлепались в щепу, одна остро и неприятно попала ему за ворот, ледяным холодом поползла по спине. Он проговорил насмешливо:

— Вот здесь, за дровами, в подвале с подземным ходом. Ну ищи, откидывай дрова! Найдешь!

— Смеешься, Сергей?

— Плачу, а не смеюсь.

— Та-ак.

Старший лейтенант вплотную приблизил белеющее свое лицо к лицу Сергея, заговорил, тяжеловесно разделяя слова:

— Смотри... другими... слезами... умоешься.— И жестко возвысил голос:— А ну выходи из сарая!

В комнатах все носило следы чужого прикосновения — валялись книги на стульях, на диване, на полу; настежь были открыты дверцы буфета, книжного шкафа, шифоньера, выдвинуты ящики стола — все как будто насильственно сместилось, сдвинулось, зияло неопрятно обнаженным нутром.

Капитан, обтирая покрасневший носик, уже устало ссутулился за обеденным столом, писал что-то автоматической ручкой, слезящиеся глаза его на сером немолодом лице моргали страдальчески — он дышал ртом, лоб морщился, короткие брови изредка вздымались, как у человека, готового чихнуть и сдерживающего себя.

Перед ним на скатерти блестели на свету два обручальных кольца — отца и матери, хранимых почему-то отцом, наивно светились позолоченные старинные серьги матери, кажется, подарённые ей молодым Николаем Григорьевичем еще в годы нэпа, слева стопкой лежали телефонная книжка, документы, бумаги, старые письма.

— Есть еще золотые вещи и драгоценности?— спросил капитан, обращаясь к Асе утомленно.

— Нет,— шепотом ответила Ася.— Нет, нет...

Капитан склонился над бумагой — светлая капелька собралась на кончике носа, звучно упала на бумагу. Он через силу сделал нахмуренное лицо, вместе с кашлем продолжительно высморкался — вся маленькая сухая фигурка заерзала, зашевелилась, скулы покраснели, и было жалко, неприятно видеть его старательно скрываемое смущение. По-прежнему хмурясь, он смял платок, сунул его в карман, сказал тихим голосом старшему лейтенанту:

— Кончайте.

Тот, упершись кулаками в стол, напружив плоскую шею, медлительно, вроде не слыша капитана, читал то, что было написано на бумаге, облизывал губы, думал сосредоточенно.

— Буфет,— наконец сказал он и показал бровями на буфет.— Входит в опись?

— Пожалуй.

Капитан опустил матового оттенка веки, взял ручку; терпеливо проследив за движением сухонькой кисти капитана, старший лейтенант, крепко ступая, вышел в другую комнату, споро собрал на письменном столе бумаги Сергея — записную книжку, письма,— вернулся, положил все это перед капитаном, сказал что-то коротко ему на ухо.

— Пожалуй,— ответил капитан, помедлив и маленькой желтой рукой стал складывать бумаги в кожаный портфель.

Он встал.

И Сергей понял, что, несмотря на свое звание, капитан этот тайно побаивается старшего лейтенанта, его наглой решительности и что вследствие этого старший лейтенант, несмотря на низшее свое звание, имеет бóльшую власть, что они оба, делая одно дело, остерегаются, не любят друг друга. И, поняв это, чувствуя злое отвращение к ним обоим, сказал:

— Вы взяли мою записную книжку, мои письма. Они не имеют никакого отношения к отцу.

Старший лейтенант поиграл желваками, глянул на ручные часы; капитан застегнул плащ, надвинул фуражку так, что выпукло выделился бугорок затылка, и первый последовал к двери, неся портфель.

— Выходи,— махнул пальцем старший лейтенант Фатыме, и она, чудилось, все время ареста и обыска дремавшая на стуле, в углу комнаты, взметнулась в полусне, заспешила, переваливаясь толстым телом, в коридор.

Выходя последним, старший лейтенант распрямил грудь, задержав воздух в легких, зорко прицелился зрачками на Сергея, затем проговорил обещающе:

— Еще встретимся, Сергей Николаевич.

И перешагнул порог, не закрыв двери.

Все было кончено. Даже в коридоре потушили свет. Все неожиданное и насильственное ушло с ними, исчезло вместе с затихшими шагами на крыльце. Все смолкло, только дверь еще была открыта в темноту коридора.

Сергей вскочил с дивана и так бешено, изо всей силы хлопнул дверью, что посыпалась от косяков штукатурка, зазвенели стекла в окнах. Он заходил по комнатам, наступая на книги, на разбросанную по полу бумагу, будто жадно искал выхода и не находил, потом бросился к окнам, распахнул рамы в серую муть утра, глотнул сырой воздух, как воду.

— Проветрить, проветрить! Проветрить, к чертовой матери! — говорил он.— Всё к чертовой матери! Ася, Ася, дай мне папиросы, у меня в кармане!.. Или есть у нас водка, есть водка? Что-нибудь выпить...— заговорил он срывающимся голосом, глотая воздух около окна.

Ася крикнула со слезами:

— Сергей, что с тобой?.. Сережа!

Она шарила в его пиджаке, висящем на стуле, не попадая в карманы; ее расширенные глаза, налитые ужасом, не отрывались от спины Сергея.

— Сережа, миленький...

Она приблизилась к нему, протягивая папиросы, стуча в нервном ознобе зубами.

— Сережа, миленький... Что же это? Как же теперь?

Горячий колючий комок унижения и бессилия застрял в горле, и он не мог проглотить этот комок, и слезы душили, не давали дышать, мешали ему улыбнуться Асе — губы были как каменные. Он потер горло, точно сдирая на нем что-то липкое, проговорил с усилием:

— Ничего... Я с тобой. Я буду с тобой...

И обнял ее за худенькие трясущиеся плечи.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Не раздеваясь, уже в конце ночи он задремал на диване, неудобно прикорнув на боку, и в дреме не покидало его острое, тоскливое ощущение неудобства, какое-то беспокойство, как будто воровски спал на краю вокзальной лавки среди беззвучно кричащих вокруг людей.

— Сергей, Сережа!..

Он рывком сел на диване — и сразу почувствовал свинцовую тяжесть в болевшей голове.

Было утро, солнце висело над мокрыми крышами.

Ася, собравшись комочком, лежала на своей кровати, укрывшись не одеялом, а пальто, дышала часто, жалобно всхлипывая во сне; синие тени проступили в подглазье.

И Сергей, вспомнив все, подумал, что она звала его во сне, что он очнулся от ее голоса, позвал шепотом:

— Ася!..

Она не ответила. И тотчас громкий стук в дверь повторился, и вместе с ним — громкий голос Константина в коридоре:

— Сергей, открой! Открой!

С тошнотворным отвращением к этому стуку Сергей встал, медленно повернул ключ, увидел на пороге Константина, заспанного, в расстегнутой на груди ковбойке, молча потянул из пачки сигарету, зажал ее зубами.

— Сережка! Отца? Ночью? — Константин обежал взглядом комнату со следами беспорядка — книги, бумаги еще валялись на полу.— Сережка... ночью взяли... отца? Я слышал возню — ни дьявола не понял! Что молчишь, т-ты?..

— Да,— сказал Сергей.— Не все ли равно когда.

— И Ася?..— Константин на цыпочках подошел к кровати, где, свернувшись калачиком, лежала она под пальто, наклонился с желанием помощи, прошептал:— Асенька...

Она на секунду посмотрела на него со страхом и повернула голову к стене, застонав, как от боли.

— Быков!— вдруг охрипшим голосом проговорил Константин.— Сволочь Быков!— крикнул он.

И рванул дверь, выскочил в коридор, и тут же Сергей услышал грохот его бега, бешеное хлопанье дверью в глубине квартиры и следом бросился за Константином в конец темного коридора, где была комната Быкова.

— Костя! Сто-ой!..

Он не успел догнать его — увидел в распахнутую дверь стол, белую скатерть, чайную посуду и куда-то в потолок обращенное страшное, налитое лицо Быкова. Константин, вцепившись в его шелковую пижаму, подняв его со стула, яростно тряс его так, что рыхло колыхалось короткое плотное тело, а тот, не отбиваясь, только толстыми складками съежив шею, багровый, вздымал голову к потолку, хрип вырывался из его трубкой вытянутых губ.

— Па-аскуда! Сволочь!.. Это ты... это ты, б... доносы строчишь? Ты людей мараешь?.. Чай пьешь, сволочь, когда тебе каяться нужно! На коленях ползать!— Константин, крича, перекосив неузнаваемое лицо, сумасшедше

дернул Быкова к себе, затрещала, лопнула, расползлась пижама на нем, обнажила пухлую волосатую грудь. И в это же мгновение Сергей, напрягая мускулы, со всей силы оторвал их друг от друга. Быков в расползшейся до живота пижаме отлетел к этажерке, ударился о нее спиной, от удара полетели на ковер фарфоровые слоники. Он тяжело сполз на пол, рыская по лицам обоих глазами загнанного зверя.

— Костя, подожди! Костя, стой!— крикнул Сергей, став между Быковым и Константином.— Подожди, я тебе говорю!

— Живет мразь на земле: ест, спит, ворует, ходит в сортир!— задыхаясь, еле выговорил Константин.— Ну что с ним делать? Что с ним делать? Убить, чтоб не вонял! За такую сволочь отсидеть не жалко! Подумать только, человеческим голосом говорит! А? Все берет от жизни, а сам копейки не стоит! Гроша не стоит!

— Ответите... за все ответите... я вас всех... ответите... истязание...— судорожным горлом выдавливал Быков и зло заплакал, слезы побежали по щекам, он рванулся, пошарил вокруг по полу, потом лихорадочно схватился по-бабьи за щеки, закричал удушливым шепотом:— Лююди! Люди-и! На помощь, на помощь!

— Люди, помогите этой мрази, поверьте этой шкуре! Люди-и! — передразнил Константин.— А ведь этой проститутке кто-то верит, а? Верят, а?

А Быков, все покачиваясь из стороны в сторону, сдавливал щеки ладонями, с одышкой выталкивал сиплый крик:

— Люди, люди-и!..

Моргали влажные пухлые веки, выражение злости в его лице не соответствовало жалкой бабьей позе, неуверенному крику, разорванной на волосатой груди пижаме, и Сергей, испытывая отвращение к его голосу, грузному телу, к его хриплому дыханию, ко всему тому, что он знал о нем и не знал, спросил самого себя: «Мог ли он оклеветать отца?— И ответил почти твердо:— Мог...»

Он ответил сам себе «мог», но все же не поверил так, как без колебаний поверил этому Константин, и, чувствуя боль в голове, не оставлявшую его после ночи, сказал:

— Пошли, Костя.

— Я еще доберусь до тебя, паук!— выговорил Констан-

тин с ненавистью и пинком отшвырнул валявшегося на полу фарфорового слоника.— Заткнись, самоварная харя!..

— Петя, что ты? Что они с тобой сделали?— взвизгнула жена Быкова на пороге комнаты.

— Люди-и!.. Люди-и!.. На помощь!— все нарастая, все накаляясь, переходя в сиплый рев, неслось из комнаты Быкова.

— Ты встанешь завтракать, Ася?

— Мне не хочется, Сережа. Я полежу.

— Что у тебя болит?

— Ничего.

— Ну что-нибудь болит?

— Нет.

— Ну что-нибудь?

— Нет. Немножко озноб. Это грипп. Дай градусник. Пожалуйста...

— Ася, я принесу тебе в постель завтрак. Или, может быть, ты встанешь?

— Я не хочу есть. Возьми градусник. У меня просто грипп.

Он взял градусник, влажный, согретый ее подмышкой, долго всматривался в деления: температура была пониженной — тридцать пять и четыре. Ася лежала, укрытая одеялом, голова повернута к стене, освещенной низким ранним солнцем; белизна ее лба, в ознобе посиневшие веки, худенькая, жалкая шея вызывали в Сергее чувство опасности. Никогда он не испытывал такого страха за нее, такой близости к ней, к ее ставшему беспомощным голосу, будто только сейчас понял, осознал, что это единственно родной человек, которому был нужен он. «Я любил ее всегда, но не замечал ее жизни, не видел ее, был груб, равнодушен...» — подумал он, ни в чем не прощая себе, и проговорил вполголоса, нежно, как никогда не говорил с ней:

— Сестренка, не хочу слышать слово «не хочу». Ты должна позавтракать. Я сделал великолепную яичницу. Попробуй. Армейскую яичницу.

— Я спать... Больше ничего. Спать...— прошептала Ася, не поворачиваясь от стены, и, когда говорила это, край рта ее начал вздрагивать и сквозь сжатые веки медленно стали просачиваться слезы. Потом с закрытыми

глазами кончиком одеяла она вытерла щеку, спросила по-прежнему шепотом:— Костя здесь? Пусть уходит, пусть уходит! И ты уйди... Я одна. Мне одной...

Сергей посмотрел на Константина. Тот стоял у двери, плечом к косяку, тоскливо покусывая усики, и, разобрав ее шепот, мрачно, с крипотцой сказал:

— Асенька, я ухожу. Да, мы уходим, Асенька.

Они оба вышли в соседнюю комнату, Константин после тягостного молчания спросил:

— Она видела все?

— Да.

— Ну что мы стоим как идиоты?— непонимающе воздел руки Константин.— Ну что, чем, как лечить ее? Что ты думаешь?

— Не надо орать.— Лицо Сергея было серо-бледным, заострившимся, как от болезни.— Я попросил бы тебя,— добавил он мягче,— говорить потише.

В другой комнате была полная тишина.

— Жизнь бьет ключом,— произнес Константин ядовито.— И все по головке. Все норовит по головке. Н-да, стальную головенку нужно иметь. Ну что мы стоим дураками?

Сергей не узнавал его — шла от Константина какая-то непривычная для него и раздражающе нетерпеливая сила, когда он спросил опять:

— Слушай, ответь мне одно: ты хоть знаешь — он на Лубянке?

Сергей был разбит, опустошен ночью, не было сейчас желания говорить о том, что было несколько часов назад, в ушах, как во сне, звучал стук в дверь, чужие голоса, шаги — и горькое удушье подступало к горлу; хотелось лечь, закрыть глаза.

— Костька, уйди, я полежу немного,— проговорил он и лег на диван, стараясь забыться.

И тотчас нечто скользкое, вызывающее тошноту заколыхалось перед ним, и среди этого скользкого, неприятного мелькала не то пола плаща, намокшая от дождя, не то козырек фуражки, лакированно блестевший за мутной тьмой, в которой почему-то пахло мокрыми березовыми поленьями, и звонко стучали капли, били в висок металлическими молоточками, и оттуда черное, бесформенное непреодолимо надвигалось на него. И, пытаясь уйти от этого, что вбирало, всасывало его всего, пытаясь не видеть козырек фуражки среди удушающего запаха березо-

вых поленьев, он, глотая слезы, застонал и сам, как сквозь железную толщу, услышал свой стон...

«Что это? Что это со мной?»

Он судорожно вскинулся на диване,— слепило в окно солнце, под его пронзительной яркостью четко зеленела листва лип. Был полдень, тишина, жара на улице.

— Что это я?— вслух сказал Сергей, чувствуя мокрые щеки, вспоминая, что он сейчас плакал во сне, и стыдясь себя.— Что это я?— повторил он с ощущением беды, и тут только дошли до него голоса из глубины комнаты.

В углу комнаты на краю стула сидел Мукомолов, против него — сумрачный Константин; Мукомолов подергивал, пощипывал бородку, смотрел в пол, говорил с возбужденным покашливанием:

— Это ужасно, чудовищно! Зачем это, зачем это, кому это нужно? Ужасно! Николай Григорьевич — честный коммунист. Я верю, я знаю. Кому нужен его арест?

— Таким сволочам, как Быков,— ответил Константин.— Вот вам ответ на все ваши вопросительные знаки. Чему вы удивляетесь? Подлецам верят! Верят их словам, доносам! А вам — нет!

— Не делайте обобщений, Костя! Стыдно!— шепотом вскричал Мукомолов.— Что значит верят? Ложь, цинизм! Я живу, вы живете, живут другие люди, миллионы советских людей. Подлецы — накипь! Именно — грязная накипь! Мы должны счистить эту грязь, да, да! Так, чтобы от нее брызги полетели, брызги! Это жаль, это горько! Но не все подлецы! Нельзя! Кроме того, эти органы — да, да!— контролирует Берия!..

— А кто его знает?— неохотно проговорил Константин.— Я с ним чай не пил.

Сергей, закрыв глаза, слушал голос Константина и думал, что все это было: его, Сергея, грубовато-ядовитые разговоры с отцом, и открытая насмешка, и грустные, что-то особо знающие глаза отца — сознавал теперь, что не мог ему простить усталости после войны, после смерти матери, его замкнутости, похожей на равнодушие, его ранней седины. Он не мог простить ему старости.

«Болен... Он был уже болен, болен!— подумал он и даже замычал, стискивая зубы,— вспомнил долгие лежания отца на диване по вечерам, тишину, шуршание газеты, молчаливую возню с позванивающими пузырьками за дверью и запах лекарств из другой комнаты.— У него все

время болело сердце! Что я сделал? Как помог? Раздражался, злился!.. Один вид отца раздражал меня...»

Он пошевелился, весь в поту, прежнее удушье в горле, что было во сне, не отпускало его. «Что мне делать?» — подумал он, глубоко глотнул воздух и, преодолевая это незнакомое оцепенение тела, спросил:

— Как Ася?

Мукомолов, с яркими пятнами на щеках, сутулый, в своем длиннополом пиджаке, нелепой прыгающей походкой приблизился к дивану, бородкой повел на дверь в другую комнату.

— Там Эльга Борисовна. Ничего, ничего... Это, как говорится...— забормотал он неопределенно и чуть исподлобья посмотрел выцветшими глазами как бы сквозь Сергея, точно видел особое, свое.— Там они, да, да, женщины...— все бормотал он и вынул чистый клетчатый платок, высморкался и, вроде не зная, что сказать, долго вытирал мясистый нос, бородку, покашливая.— Вам, Сережа... это полагается, да, да, члену партии... Это необходимо... здесь никого не обманешь... и нет смысла... Заявление в партком... Поверьте... так лучше... В партком института вам надо...

Мукомолов жадно закурил папиросу; казалось, задымилась вся голова.

— Николай Григорьевич арестован органами МГБ, и в этих случаях... да, да...

Сергей проговорил отчужденно:

— Это ошибка, Федор Феодосьевич. Отец будет дома. Зачем мне заявление?

— Да, да, да,— согласился грустно Мукомолов и подергал бородку так, что папироса затряслась в зубах.

— Никаких заявлений, пока своими ушами не услышу правду!— сказал Сергей, вставая с дивана.— Пока все не узнаю об отце. Я на Лубянку пойду, к министру пойду — все узнаю. Заявление! Зачем? Какое заявление?

— Сережка-а,— протянул Константин,— не будь наивняком. До министра ты не дойдешь. А осторожность — часть мужества, как сказал один умный человек. Не лезь напролом, Сережа... Напиши. Бумаги не жалко. На всякий случай.

Сергей проговорил:

— Такая осторожность — это мужество для сволочей. «Знать ничего не знаю, отца арестовали, я к этому отношения не имею». А я знаю, что отец не виноват,

Мукомолов рассеянно глядел в окно, на солнце, которое в оранжевой пыли садилось за крыши домов, Константин угрюмо рассматривал ногти, и Сергею было сейчас больно оттого, что они слушали его невнимательно.

— Фамилия министра МГБ Абакумов,— напомнил Константин.— Рад, если ты дойдешь до него.

— Я все узнаю. Я потрачу на это все время, но узнаю все,— повторил Сергей.— Я все узнаю!.. Иначе не может быть.

— Действуйте, действуйте, Сережа, дорогой!— Мукомолов рывками заходил по комнате, рассыпая вокруг себя пепел от папиросы.— Нужно бороться, нужно не опускать голову! Простите, Сережа, мы здесь мешаем, мешаем!.. Вам надо побыть одному, обдумать все! Эля!— окликнул Мукомолов, замявшись перед дверью.— Эля, Эля!

Дверь приоткрылась, и бесшумно вышла Эльга Борисовна, маленькая, хрупкая, тихая; темные близорукие глаза озабоченно прищурены; вечернее солнце красновато озаряло ее лицо.

— У нее не грипп, никаких признаков,— шепотом сказала она.— У нее нервы, Сережа... Она бредит, плачет, бедная девочка. Ее преследуют какие-то ужасы... О, как это понятно, как понятно... Я позвоню на Петровку, у нас знакомый врач... Федя, перестань курить, пожалуйста, и не кричи! Девочке нужны покой, тишина... Сережа, если ты позволишь, я буду с Асей. Бедная девочка сжимала мне руку, когда я сидела рядом... Боже мой, боже мой...

— Это... это серьезно?— спросил Сергей, желая сейчас только одного — чтобы с Асей не было серьезно.— Это... быстро проходит?

— Как я могу знать, Сережа? Надо вызвать хорошего врача.

— Уже,— мрачновато вмешался Константин.— Я вызвал профессора из Семашко. Этому профессору в тяжелые времена завозил дрова. Это не забывают. Будет через час.

— Спасибо, Костя,— сказал Сергей.

— Пошел... со своим спасибо!— ответил Константин, отмахиваясь.— Еще лобызаться, может, полезешь с благодарностью?

Мукомолов и Эльга Борисовна посмотрели на них удивленно и не проронили ни слова.

В комнате пронзительно затрещал телефонный звонок. Сергей, вздрогнув, сорвал трубку, сказал «да»,— и мягкий, чудовищно знакомый теплый голос прозвучал в мембране, как будто из другого, несуществующего мира:

— Сере-ежа...

— Его нет дома.— Он опустил трубку, слыша удары сердца.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Справочная МГБ находилась на Кузнецком мосту — Сергей точно узнал адрес и быстро нашел ее.

После жары полуденной улицы, запаха бензина, гудения машин, горячего света стекол, после душного асфальта тревожно было войти в пахнущий холодным бетоном подъезд, в полутемную от запыленных окон приемную с кабинетно-темными дубовыми панелями, с застывшей здесь больничной тишиной. Люди сидели возле стен молча, не выказывая друг к другу любопытства, подобрав ноги под стулья, лица выделялись тусклыми пятнами.

Когда Сергей вошел сюда, охваченный преувеличенной решимостью, неисчезающим желанием действовать, и спросил громко: «Кто последний?» — и когда послышался бесцветный ответ: «Я», он почувствовал ненужность своего громкого голоса — сидящие на крайних стульях взглянули на него не без опасливого недоверия. Женщина в белом пыльнике, с усталым красивым лицом вздохнула; беззвучно захныкала у нее на коленях, кривя большой рот, девочка лет пяти, придавливая к груди соломенную корзиночку; лысый, начальственного вида мужчина, бесцветно ответивший «я», помял кепку в руках и замер, держа ее меж колен.

— Я за вами,— уже вполголоса проговорил Сергей, и этот кисловатый казенный запах приемной, этот чужой запах неизвестности сразу обострил ощущение беспокойства.

Лампочка сигналом зажглась, погасла над дверью, обитой кожей, и человек в углу растерянно вскочил, лихорадочно-спешно засовывая газету в карман пиджака, и мимо него из серых тайных глубин комнаты одиноко простучала каблуками к выходу высокая женщина, непослушными пальцами скомкала на лице носовой платок, высморкалась, всхлипывая. Человек с газетой оглянулся

на нее, оробело ссутуленный, открыл дверь, обитую кожей, и тихая, словно бы пустая, без людей, комната поглотила его.

Все молчали, прислушиваясь к слабо возникшим, зашуршавшим голосам за толстой дверью. Лысый мужчина начальственного вида тискал кепку, глядел в пол. С улицы, залитой солнцем, глухо — сквозь двойные пыльные стекла — доносились гудки автомобилей на Кузнецком мосту. Девочка стеснительно завозилась на коленях красивой женщины, растянула губы, крохотные сандалики ее, белые носочки задвигались над полом.

— Тетя, пи-ить,— захныкала она тоненько и жалобно.— Тетя Катя, я хочу пи-ить. Я хочу-у...

— Подожди, родная, потерпи, деточка,— заговорила женщина, обняв худенькое тельце девочки, просительно посмотрела на соседей.— Сейчас наша очередь, и мы пойдем домой. Потерпи, потерпи, маленькая...

Все отчужденно молчали, не обращая внимания на красивую женщину и девочку в новеньких сандаликах. Лысый мужчина, неотрывно, тупо уставясь себе под ноги, мял кепку. Мальчик лет пятнадцати, в футбольной безрукавке, испуганно расширенными глазами следил за лампочкой над дверью, ерзал на стуле, весь напряженный, пунцовый. Рядом с женщиной старуха в темном платке, в новых сапогах, около которых темнел узел, старательно жевавшая из кулечка, заморгала на девочку красными веками, вынула из кулечка деревенский пирожок, бормоча тихонько:

— Покушай, покушай, милая. Ить я тут третий раз... Из Бирюлева... Вот зятю велели одежу привезти. И двести рублей... Две сотельных можно. В дорогу-то... О господи, грехи наши...

«Все они... так же, как я?— подумал Сергей, оглядывая сидящих в приемной, угадывая в них то, что было в нем самом.— Кто они? Как у них случилось это? Когда?»

Вспыхнула лампочка. Немой свет, сигналя, потух над дверью; вышел тот человек с газетой, торчащей из кармана, сутуло зашагал к выходу, обтирая ладонью взмокший лоб.

— Валенька, пошли, Валенька... Бабушка, она не голодная... Спасибо...

Красивая женщина, бледнея, суетливо встала, потащила девочку за руку к двери, девочка протянула другую

руку к пирожку, косо, нетвердо переступая сандаликами, и ее маленькое тельце оказалось точно распятым между дверью и этим пирожком. Девочка в голос заплакала, упираясь сандаликами в каменный пол, и женщина, с рассерженным лицом, силой втащила ее за дверь.

— О господи, грехи...— всхлипывающе забормотала старуха, аккуратно завернула пирожок в газету, по-мужски сложила на коленях большие темные руки.

«Они ведь узнают так же, как я...— думал Сергей, остро чувствуя эту появившуюся нить, которая связывала его и с лысым мужчиной, и со старухой, и с красивой женщиной, и с девочкой, ушедшими за толстую дверь.— Как у них случилось это? Так же, как с отцом? Или, может быть, муж этой красивой женщины или отец девочки в сандалиях — враг?»

Он мог и хотел поговорить со старухой, с лысым мужчиной и беспомощным подростком в безрукавке, выяснить обстоятельства ареста, сравнить их и обстоятельства ареста отца. Но отчужденно разъединяющее людей молчание давяще стояло в этой тусклой от пыльных стекол приемной.

В дверь входили и выходили люди — пустела приемная. Она теперь гулко и каменно отдавала шаги. Никто не задерживался там, за обитой кожей дверью, более пяти минут. Время продвигало Сергея все ближе к сигналам лампочки, и со все возрастающим ожиданием он пересаживался на опустевшие стулья. И вдруг свет коротко зажегся вверху, словно резанул по зрачкам, но что-то, казалось, темно и душно надвинулось из безмолвия таинственной комнаты; широкой фигурой, шумно сопя, тенью прошел мимо лысый мужчина, расправляя смятую кепку на голове; и Сергей, как через очерченную границу, перешагнул за этот свет лампочки в чрезвычайно узкую, тесную, освещенную сбоку окном, похожую на коридор комнату.

За огромным — на половину кабинета — письменным столом, лишь с двумя тоненькими папками на углу, выпрямившись, сидел средних лет, уже полнеющий майор МГБ, ранние залысины были заметны над высоким лбом, он небрежно держал папиросу у полных, с поднятыми уголками губ, близко поставленные к переносице карие глаза весельчака глядели сейчас заученно-покойно. Эту бесстрастность, как показалось Сергею, немолодой майор

умел терпеливо сохранять в течение дежурства, потом, видимо, взгляд его мигом менял выражение, тотчас веселел, готовый к своей и чужой остроте.

— Слушаю, слушаю,— сказал он приятным бархатистым голосом с выражением официальной заинтересованности.— Садитесь, молодой человек. Слева от вас стул.

— Я пришел выяснить насчет отца,— сказал Сергей, не садясь.— Я хотел бы узнать...

— Фамилия?

— Вохминцев.

— Имя и отчество?

— Николай Григорьевич.

Майор потянул папку с угла стола, раскрыл ее бледными интеллигентными пальцами, полистал, обволакиваясь дымом папиросы. И хотя в эту минуту ничего не выражающий взгляд его пробежал по бумаге и он все выше подымал брови, листая, щелкая страницами в папке, Сергей стоял перед столом, с задержанным дыханием ожидая внезапной виноватой улыбки на полукруглых губах майора, его вежливого извиняющегося голоса: «Простите, произошла ошибка, ваш отец уже освобожден. Он, возможно, ждет уже вас дома. Так что, молодой человек, простите за ошибку...»

— Вохминцев Николай Григорьевич?.. Ваш отец, Вохминцев Николай Григорьевич, одна тысяча восемьсот девяносто седьмого года рождения, находится под следствием.

— Под следствием?

Этот спокойный голос майора вдруг сдвинул, смял все в Сергее — все еще живущую в нем надежду, и тоскливая, сосущая пустота холодком озноба охватила его. Он сказал через силу:

— Мой отец не может находиться под следствием, он не виноват ни в чем. Его арестовали по ошибке...

— Следствие все покажет, гражданин Вохминцев. По ошибке никого не арестовывают в Советском государстве, смею заметить. Заходите. Узнавайте.

Светлые волосы над залысинами были успокоительно влажны, гладко блестели после утреннего умывания и причесывания, лицо мучнисто-белое, холеное, только темнота заметна была под близко поставленными к переносице глазами весельчака,— похоже, он плохо спал ночь. И голос его прозвучал слегка заспанно:

— Я вас не задерживаю, гражданин Вохминцев.

Рука майора заученно потянулась к кнопке. И на миг, приостанавливая это движение, Сергей подался к краю стола, где чернела маленькая кнопка сигнализации, проговорил голосом, заставившим майора взглянуть любопытно-зорко:

— Объясните, пожалуйста, в чем его обвиняют?

Майор безмолвно разглядывал Сергея.

— Где он находится? В тюрьме? Можете ответить? Почему отца арестовали — я могу знать?

Майор не нажал кнопку и, выждав, сказал официально,— в голосе прозвучал оттенок раздражения:

— Ваш отец находится под следствием. Повторяю.

— Долго оно будет продолжаться... это следствие?— проговорил Сергей не в меру громко.

Он испытывал то прежнее ощущение непроницаемой стальной стены, притиснувшей его, то бессилие и отчаяние от противоестественной человеческой несправедливости, которую почувствовал тогда в сарае один на один со старшим лейтенантом, и, уже не веря даже в уклончивый ответ майора, спросил еще:

— Вы что-нибудь знаете о деле моего отца?

Голос майора был чрезвычайно сух, вежлив:

— Ничего не могу ответить вам положительного, гражданин Вохминцев.

И Сергей почувствовал, будто летит в черный провал каменного колодца без дна, сдавленный подступившими со всех сторон душными стенами, нескончаемо уходящими вверх,— он падал в эту неправдоподобную глубину, цепляясь за стены, срывая ногти, и с оборвавшимся сердцем он закричал в бездну колодца: «В чем обвиняют отца? В чем?» Потом из глубины проступило покойное лицо, близко поставленные к носу карие глаза человека веселого нрава; человек этот, вероятно, привык здесь ко многому. Он торопился покончить с этим неожиданно затянувшимся посещением. Его рука лежала на кнопке сигнала.

— Ваш отец находится под следствием. Я вам сказал об этом русским и ясным языком. Больше ничего не могу добавить. Вы задерживаете посетителей, гражданин Вохминцев.

— Тогда разрешите все же спросить, зачем... на кой черт ходить к вам? Ходить для того, чтобы ничего не узнать?

— Вы, кажется, забываетесь,— внезапно откинувшись, не без любопытства во всей позе полнеющего сорокалетнего человека произнес майор и, обежав глазами лицо Сергея, добавил с выражением улыбки: — Иногда легко войти, трудно выйти. Не будьте чересчур уж смелым, бывает это очень опасно. Это абсолютно ваше личное дело — ходить или не ходить,— увидев вошедшую посетительницу, корректно проговорил майор и привычным жестом отодвинул папку на угол стола.— Вы ко мне? Прошу вас. Садитесь. Слева от вас стул.

— Спасибо за откровенность,— сказал Сергей.

Он вышел на улицу; везде был пестрый хаос толпы, поток машин стекал по Кузнецкому, была парная духота, и Сергей пошел по тротуару, как в жаркой печи, не ощущая внешних толчков жизни.

То, что он говорил майору в справочной МГБ, представлялось теперь глупым мальчишеством, ненужным вызовом, не имеющим никакого смысла. Все шло от растерянности перед страшной, где-то вблизи неумолимо заработавшей машиной, той машиной, о существовании которой он изредка слышал, но работу которой не видел раньше. Железные шестерни с хрустом прошлись рядом, задели, смяли его, и прежняя уверенность в себе, что была так необходима ему, оборачивалась теперь беспомощной наивностью. Он с жадной надеждой еще искал точку опоры и, не находя ее, чувствовал, что, вот-вот переломав кости, насмерть разобьется; и все колебалось, рушилось, ускользало из-под ног.

«...Мы еще встретимся, Сергей Николаевич...», «Иногда легко войти, трудно выйти...». Нескрытый намек, предупреждение звучали в этом. Только наивной своей смелостью он заставил их говорить так. Кому нужна его смелость? Или что-то произошло, изменилось — и нет доверия, никому не нужна откровенность? Не лучше ли молчать и терпеть — это выход? Это выход? Но зачем тогда жить? «Не будьте чересчур уж смелым, бывает это очень опасно». Если б в войну кто-нибудь сказал так, он набил бы морду. Что ж, мера человеческой ценности изменилась? Кто мог это сделать? Кому нужно было арестовать отца? Зачем? Где истина? Кто ее знает? Знает и терпит? Во имя чего? В чем тогда смысл?

«Что я должен делать? Что делать?»

«Измениться. Взять себя в руки. Надеть маску милого, доброго парня. Со всем соглашаться».

«Не могу! Не могу!»

«Тогда тебе сломают судьбу, дурак! Не будь чересчур смелым. Будешь искать истину? Она давно найдена».

«Не могу, не могу, не могу! Не могу быть камуфляжным. Есть вещи, понятые раз и навсегда. С детства. С войны».

«Можешь, можешь! Должен. Иначе гибель!»

«Не могу, не могу!»

«Можешь! Сначала заставь себя, потом привыкнешь!»

«Не могу!»

«Можешь!»

Он приостановился на тротуаре, мокрый от пота, в ноги дышало жарой асфальта, пекло голову, и улица, оглушая визгом тормозов, гудками, летела, неслась перед ним — мимо сквера, мимо Большого театра, и от этого гула, блеска солнца стучало, колотило в висках.

«Под следствием... Я должен сейчас же поехать в институт. Я должен сегодня отказаться от практики. Что я должен еще сделать?»

...Теплые сквозняки продували троллейбус, охлаждая лицо, пестрота улиц скользила сбоку, пропеченное зноем кожаное сиденье пружинило, кидало Сергея вниз-вверх, а позади шевелился в тесноте, в ровном шуме мотора, пробивался чей-то дребезжащий голос:

— Не смотрите, что я деревенская женщина, говорю, а я за вас, дохторов, ухвачусь. Что хотите делайте, а его не упустите. А он все на фронте животом мучился. А как вернулся, поест — схватится за живот. «Ой, мама, пропадаю!» Я говорю: «На фронте самые главные врачи были, чего ж ты у них не полечился?» — «Был я у профессора, говорит, мама, сказал: «Неизлечимо».— «Врешь, говорю, не был».— «Нет, говорит, не был. Я, говорит, как они зашуршат это, сердце рвется. Ничего, я вином вылечусь». Три раза раненый он был, весь фронт провоевал. Ну вот, поехал он в аккурат перед Октябрьскими к дяде, чистое белье надел, гимнастерку новую, медали надел, а назад его мертвого привезли. Когда, значит, у него случилось, его сразу в больницу, а у них чего-то неправильно перед самой операцией. Его на самолет — и в Куйбышев. А летчик молоденький, в пути сбился да вместо Куйбышева в Кинели сел. А когда в Куйбышев прилетели, рассвет уже. Семь минут он пожил... и рвало все... лучше б на фронте его убило! Как вспомню я...

Сергей услышал хрипловатый визгливый плач и оглянулся: темное морщинистое лицо пожилой женщины, сидевшей сзади, было искажено судорогой, слезы ползли по трясущимся морщинам; грубые, с рабочими буграми пальцы прижимали кончик черного головного платка к распухшему носу. Вся в черном, эта женщина деревенски и траурно выделялась здесь.

И Сергей почувствовал жгучую жалость к ее морщинистому лицу, к ее изуродованным работой рукам: эта женщина, выделявшаяся черным платком, грубыми руками, была ненужной, чужой в этом городском троллейбусе, было чужим, некрасивым ее горе, и возникла вдруг связь, как из колючей проволоки сплетенная связь между ним и ею — и как будто опаляющим зноем повеяло ему в глаза...

Если на фронте солдат был убит не в бою, а возле окопа, выйдя по своей нужде, то даже тогда он погибал для родных героически; но вот сейчас солдат умер в тылу обычной смертью, от болезни, и смерть его была ничтожной, никому не заметной, кроме матери его. Нет, он не хотел такой смерти спустя четыре года после войны — смерти от случайности...

— Лучше бы на фронте его убило. Знала бы я...— не смолкали визгливые рыдания женщины, и ее вскрики резко подняли его с сиденья, подтолкнули вперед, к выходу, и он спросил кого-то:

— Простите, вы не сходите?

И испугался звука своего голоса.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Секретарь деканата сказала ему, что в кабинете у Морозова идет партбюро, он нахмурился, постоял в нерешительности перед дверью, спросил:

— Это долго будет?

— Не знаю. А что вы такой бледный, Сережа? Какая-нибудь любовная история?

— Почему, Иннеса? И почему — любовная?

Секретарь деканата, испанка, была чрезвычайно подвижна, худа, наркотически блестящие, с черным отливом, яркие, во все лицо глаза; на ней была всегда клетчатая юбка, спортивная блузка с кармашками; она курила, пачка сигарет постоянно лежала в черной ее сумочке. Инне-

са была из Каталонии, ее привезли в тридцать седьмом году в Россию, и говорила она с какой-то наивной, замедленной интонацией, выделяя слова довольно заметным акцентом.

Сергей сказал:

— Худеют разве только от любовных историй?

— Конеч-но. Но я шучу! — Иннеса взглянула на него живо.— Вы говорили, у вас жена. Жена? У вас дети, ребенки? — Она подмигнула.— Сколько?

— У меня много детей, Иннеса,— усмехнулся Сергей.— Один в Рязани, другие в Казани.

— Молодец! Это хорошо!

Смеясь, Иннеса стала перед ним, расставив крепкие ноги, узкая юбка натянулась на коленях, туфли на каблучках носками врозь, весело показала от пола воображаемый рост детей.

— Так, так и так? О, я люблю детей. У меня будет много детей. Так, так и так. Когда я выйду замуж за большого, сильного русского парня. Вот с такими плечами, с такими мускулами! А зачем нахмурился, Сережа?

Она, вглядываясь в лицо Сергея, смешно сморщилась, с ласковостью провела мизинцем по его бровям, разглаживая их, сказала:

— У мужчины должны быть прямые брови. Он мужчина. Надо всегда быть веселым.

— Мне очень весело, Иннеса,— ответил Сергей.

Он особенно, как никогда раньше, ощущал летнюю пустоту института, везде на этажах безлюдные аудитории, накаленные глянцем доски — и одновременно слышал голоса из-за двери кабинета, неясные, беспокоящие его чем-то. Он смотрел на Иннесу и чувствовал в естественной интонации ее голоса, в смешно наморщенных губах, во всей ее мальчишеской фигуре легкую непосредственность, которой не было у него сейчас. И, слыша голоса за дверью и ее голос с милым акцентом, он неожиданно подумал, что хорошо было бы уехать с ней, бросив все, в какой-нибудь тихий приречный городок на горе, работать и ждать, как праздника, вечера, чтобы в каком-нибудь деревянном домике, затененном деревьями, чувствовать ее нежность и доброту к нему...

Он вспомнил о Нине, и ему стало душно. «Я устал?» — подумал он, и тотчас — стук открываемой двери, приблизился говор голосов, шарканье отодвигаемых стульев, и он понял: там кончилось.

Тут же из кабинета Морозова начали выходить члены партбюро, знакомые и малознакомые лица, кивали бегло, закуривали в приемной, и почудилось Сергею нечто настороженное, отталкивающее в их кивках, в коротком рукопожатии, в повернутых равнодушно спинах. Косов, с красной, сожженной, видимо, в Химках шеей, открытой распахнутым воротом, вплотную подошел к нему, переваливаясь по-морскому, железно стиснул локоть:

— Слушай, старик...

Сергей заметил, как пронзительно засинели его глаза, и, ни слова не отвечая Косову, шагнул в кабинет, готовый к тому, что могло быть, и не желая этого.

— Я к вам, Игорь Витальевич,— сказал он ровным голосом.

Морозов в комнате был не один. Он неуклюже возвышался над столом, собирая бумаги в портфель, полы чесучового помятого пиджака задевали разбросанные листки, узкое книзу лицо было угрюмо-сосредоточенно. Возле стоял Уваров, в расстегнутой белой тенниске, с сильной, покрытой золотистым волосом грудью, подавал бумаги и объяснял что-то сдержанным тоном, декан слушал его.

В дальнем конце стола замкнуто сидел Свиридов, болезненно желтый, с провалившимися щеками, подбородок упирался в кулаки, положенные на палку-костылек.

Все это успел заметить Сергей, от всего этого дохнуло холодом, повеяло подсознательно ощутимой опасностью, увидел, как при его словах: «Я к вам»,— Морозов резче стал защелкивать и никак не мог защелкнуть замочки портфеля, как приветливо и широко, как всегда при встречах, заулыбался Уваров и затем вскинул голову Свиридов, оторвав подбородок от палки. «Что ж,— успокаивая себя, подумал Сергей,— он улыбнулся мне как равный равному».

— Знаю, что вы устали, но мне обязательно надо с вами поговорить, Игорь Витальевич,— выговорил Сергей, подчеркивая «с вами», давая понять, что хочет остаться один на один.

— А-а, так-так,— суховато произнес Морозов.— Поговорить? Ну что ж. Садитесь. Здесь два члена партбюро, секретарь партбюро.— Он глянул на Свиридова и, садясь, вроде обвалился на кресло, глубоко запустил пальцы в волосы.— Ну что ж. Говорите.

Была минута замешательства — и в эту минуту Уваров, улыбаясь с какой-то особой значимостью, пожал Сергею руку, сказал:

— Садись. Все свои. Поговорим, если ты не возражаешь.

— Спасибо. Я сяду.

И непонятная чужая сила заставила Сергея улыбнуться ему, когда он произнес это «спасибо», когда ощутил почти неподчиненное движение своих пальцев в ответном рукопожатии — и, готовый ударить себя, содрать свою улыбку с губ, заговорил, обращаясь к Морозову:

— Я не могу поехать на практику, Игорь Витальевич. У меня сложились тяжелые семейные обстоятельства. Я не могу... Как бы я ни хотел, я не могу.— Голос его ссыхался, спадал, он договорил: — Не могу...

— Какие же семейные обстоятельства, Сергей? Если это не секрет? — спросил Уваров тихим и сочувствующим тоном.— Говори откровенно, здесь все коммунисты. Говори, если можно.

— У меня тяжело больна сестра.

Морозов встрепенулся, привскочил в кресле, взгляд, исподлобья устремленный на Сергея, загорелся гневом. Он звонко шлепнул линейкой по столу и, вытянув длинную шею, крикнул:

— Стыд и позор! Стыд и позор! С нашими студентами не умрешь от скуки, не позагораешь — цепь новостей! Сложные семейные обстоятельства, больна сестра — грандиозная причина, чтобы отказаться от главного! Вы, фронтовик, ответьте мне: в бой тоже не ходили, когда заболевал ваш друг? А? Что? Не объясняйте, я сам за вас объясню. Знаете, что такое для инженера практика? Хлеб, воздух, жизнь! Ясно? Рассиропились, опустили руки, не нашли выхода! Безобразие, женское решение. Не узнаю, не узнаю, не хочу узнавать вас, Вохминцев!

— У меня больна сестра,— сказал Сергей, находя только эту причину, понимая, что она зыбка, недоказательна, но упорно ее повторяя, потому что это была правда.

— А, Вохминцев! — произнес Морозов, досадливо теребя взлохмаченные волосы.— Что же вы?..

— У тебя, кажется, семья состоит из трех человек: ты, отец и сестра,— сказал Свиридов своим обычным, округляющим слова голосом, упираясь подбородком в на-

балдашник палки, зажатой коленями.— Так, может, отец побыл бы с сестрой? Возможно это?

«Вот оно, главное, вот оно»,— проскользнуло в сознании Сергея, и лицо Свиридова как бы приблизилось к нему, и ввалившиеся щеки Свиридова сдвинулись, точно его пытала изжога,— он отставил палку, налил из графина в стакан воды, потом послышались жадные щелчки глотков. Морозов, приложив ладонь ко лбу, из-под этого козырька наблюдал за Сергеем, а ему нужно было вытереть пот на висках, но он не делал этого, с усилием не меняя прежнего выражения лица.

— Отец не может быть с сестрой.

— Отец в Москве, Сергей? — спросил тихо Уваров.

— Да. Но какое это имеет значение? — возразил Сергей и тотчас увидел, как Уваров, удивленно улыбаясь, развел загорелыми руками.

— Я имею право поинтересоваться как коммунист у коммуниста.

— Имеешь.

Морозов, заслоняя ладонью глаза, из стороны в сторону качал головой и уже гневно не смотрел на Сергея, а словно бы страдальчески прислушивался к его голосу.

— Ах, Вохминцев, Вохминцев! — проговорил он.— Что же вы, что же вы!..

— Вот, Игорь Витальевич! Вот работа нашего партийного бюро, вот он — наш либерализм!

Свиридов с треском оттолкнул стул и, опираясь на палку, восково-желтый, двигая прямыми плечами, быстро захромал по кабинету.

— Вот, Игорь Витальевич! — Он выкинул сухой, подобно пистолету, палец в направлении Сергея.— Вот они, ваши коммунисты! Ложь! Эт-то же страшно, коли есть такие коммунисты и иже с ними! Страшно! Ты знаешь? Знаешь?..— И порывисто перегнулся через стол.— Вчера ночью был арестован студент первого курса Холмин. За стишки, за антисоветские стишки, которые строчил под нашей крышей! Вот они, смотри,— сочинения! — Он застучал ребром ладони по листу бумаги на столе.— Вот они. «А там, в Кремле, в пучине славы, хотел познать двадцатый век великий, но и полуслабый, сухой и черствый человек!» Понимаешь, что мог... мог написать этот... этот гад, который учился с нами!

— Я бы и не читал эту подлость вслух,— заметил Уваров.— Противно...

— При чем здесь я? — спросил Сергей с сопротивлением.— Знать не знаю никакого Холмина! Какое это имеет отношение ко мне?

— Отношение? Нужно отношение? Хорошо! — Свиридов съежил плечи, опершись на палку, и плечи его превратились в острые углы.— Ты врешь нам, врешь недостойно коммуниста!

— Прошу поосторожней со словами...

— Брось! Ты не женщина! Слушай правду. Она без дипломатии! Ты врешь нам, трем членам партийного бюро, коммунистам, врешь! Не так? Твой отец арестован органами МГБ! И ты приходишь сюда и начинаешь врать, выкручиваться, загибать салазки! Как ты дошел до жизни такой, фронтовик, орденоносец! Кому ты врешь? Партии врешь! Партию не обманешь! Не-ет! — Он затряс пальцем перед подбородком.— Не обманешь!

Морозов перебил его:

— Павел Михайлович! — И добавил несколько тише: — Прошу, не горячитесь.

— Я говорю правду, Игорь Витальевич! Я не перестану бороться с гнилым либерализмом, который развели в институте! Мы коммунисты и должны говорить правду в глаза! — не так накаленно, но жестко выговорил Свиридов и заковылял к Сергею.— Ты знал, что, как коммунист, обязан был написать в партбюро о том, что отец арестован? Или ты первый день в партии?

— Мой отец невиновен. Произошла ошибка.

— Ты что — гарантируешь? Подумай трезво — органы ошибочно не арестовывают. Может быть, гарантируешь невиновность Холмина, а? Давай не будем разговаривать по-детски. Факты — упрямая вещь. Ты что же — органам МГБ не доверяешь?

Сергей встал, и что-то горячо повернулось в нем, как в самые ожесточенные минуты боя, он уже не хотел оценивать отдельные слова Свиридова, бьющие в лицо сухой пылью, он только твердо понимал общий смысл близкой опасности. Он еще ждал, что Морозов вступит в разговор, но тот, заслонив глаза рукою, молча глядел в окно.

— Может быть, ты скажешь, что и Холмина арестовали по ошибке? — цепко и зло спросил Свиридов.— Вот наш коммунист, твой товарищ Аркадий Уваров, сам нашел эти поганые стишки в его столе. Ты понял, чем пахнут эти стишки?

— Нехорошо, Сережа, нехорошо,— мягким голосом заговорил Уваров.— Сын за отца, конечно, не отвечает. Но ведь были у тебя, Сережа, личные контакты с отцом, разговоры откровенные были. Чего уж скрывать. И если ты замечал что-либо — надо быть бдительным... И тем более ты обязан был сообщить об аресте отца в партбюро.

Все время, пока говорил Свиридов, он сидел, опустив веки, лишь при словах его о найденных в столе стихах он глянул из-под век на Свиридова с короткой ненавистью, но, заговорив, сейчас же перевел взгляд на Сергея — голубизна глаз была непроницаемо улыбчивой.

— В этом случае коммунист должен быть выше личного, Сережа. Отец это или жена... Знаешь, наверно: в гражданскую войну бывало — сын против отца воевал. Классовая борьба не кончена еще. Наоборот, она обостряется. Если поколебался — моральная гибель, конец...

И Сергей понял: это была тихая, но беспощадная атака на уничтожение — Свиридов верил каждому слову Уварова. Было четыре года затишья, звучали случайные редкие выстрелы, устойчивая оборона, белый флаг висел над окопами — расчетливый Уваров выждал удобные обстоятельства, и силы, которым Сергей теперь не мог сопротивляться, окружали его, охватывали тисками, как бывало во сне, когда один, без оружия попадаешь в плен,— немцы тенями касок вырастают на бруствере, врываются в блиндаж, связывают, и нет возможности даже пошевельнуться...

В эту секунду он осознал все — он в бессилии отступал. И вдруг его недавняя унизительная улыбка, фальшивое, непроизвольное рукопожатие показались ему взяткой, которую он, растерянный, впервые за все эти годы дал Уварову за лживый между ними мир.

— Не знал,— проговорил Сергей хрипло.— Не знал... Почему я не знал? А что я должен говорить об отце? Подозревать отца? За что? В чем? Отец делал революцию... Он старый коммунист... Подозревать отца? Ты что говоришь? Что ты мне советуешь? Так только фашистские молодчики могли...

Он взглянул на Уварова, на его мужественный, крутой подбородок — стол разделял их, Уваров сидел неподвижно, полуприкрыв глаза, и утомленно-сожалеющим было его лицо.

— Вохминцев! — крикнул Свиридов, хромая к столу.— Молчи! За эти слова — знаешь? Гонят из партии! Ты... коммунист коммуниста! Как смеешь?

— Он уже не коммунист,— печальным голосом произнес Уваров.— Жаль, но он в душе уже не коммунист. Разложился... Очень жаль! Хороший был парень.

— Я плевать хотел на то, что ты думаешь обо мне. И не вам, Свиридов, судить. Потому что вы верите не себе, а ему, вот этому «принципиальному» парню... с душой предателя! — проговорил Сергей, как в холодном тумане.— Вы верите ему, я буду верить себе!

— Достаточно! Прекратите! Можете идти, Вохминцев. Когда будет нужно, вам сообщат. Идите, идите...

Был это голос Морозова, и Сергей, все время ожидавший вмешательства, искоса посмотрел на него: то, что Морозов в течение этих минут как бы не участвовал и не замечал боя, который шел рядом, и то, что он сейчас неуклюже и не вовремя оборвал этот бой, уже ничего не решало.

— Вам, Вохминцев, необходимо в партбюро заявление... в связи с отцом. Все, что нужно. Можете завтра принести. Это вам ясно?

И Сергей нехотя и упрямо ответил:

— Заявление, Игорь Витальевич, я писать не буду. Отец не осужден. А то, что он арестован, знаете сами.

— Идите! — Морозов полоснул глазами в сторону двери.— Слышите вы? Идите! Немедленно!

— Жаль. Очень жаль,— сказал Уваров задумчиво.

Он вышел из кабинета, в горле жгла металлическая сухость, ломило в висках, головные боли в последние дни стали повторяться,— и все туманилось в сером песочном свете: приемная, солнце на паркете, кожаный диван, столик с телефоном; и голос Иннесы тоже был вроде бы соткан из серого цвета:

— Как, Сергей?..

Он машинально посмотрел на ручные часы, хотя безразлично было, сколько прошло времени, и машинально улыбнулся Иннесе.

— Вам не хочется холодного пива или мороженого? В жару это идея, правда?

Не разобрал, что ответила она, помешал звук открываемой двери — Уваров со Свиридовым выходили из каби-

нета Морозова,— и, повернувшись к ним спиной, Сергей договорил нарочито спокойно:

— Вам не хочется выпить, Иннеса? Закатиться куда-нибудь в ресторан — великолепная идея! Разлагаться так разлагаться.

Он затылком почувствовал, как, замедлив шаги, они проследовали в коридор, он был рад, что они услышали его. В конце концов было ему все равно.

— Серьезно, Иннеса,— сказал он иным тоном, через силу естественно.— Не хотите ли вы куда-нибудь пойти со мной? Ну в ресторан, в кафе, в бар — куда хотите. Мне хотелось бы...

— Я не могу. На работе, Сережа.

— Какие формальности, Иннеса! Институт пуст, никого нет, одни уже на практике, другие на каникулах, черт бы их драл. Морозов сейчас уйдет. Что ему тут делать? Идемте, Иннеса! Вы ведь говорили, мужчина должен все время улыбаться.

— Потом. Ладно? Завтра. Ладно? Но завтра ты не захочешь.— И, заглядывая ему в глаза, спросила: — Замучился... Плохо тебе?

Она сильно, по-мужски взяла его за шею и слегка прикоснулась губами к щеке — это был особый дружественный знак понимания,— снова спросила:

— Замучился, Сережа?

Она больше ни о чем не спрашивала.

— Нет,— сказал он и зачем-то тронул щеку, где коснулись ее губы, усмехнулся: — Нет. Счастливо, Иннеса.

— Сч-частливо-о! — ответила она.— Завтра ты не придешь, нет?

— Я не знаю, что будет завтра.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Он вернулся домой поздно.

Долго не попадал ключом в отверстие замка, а когда открыл дверь, в первой комнате был полумрак, светил над диваном зеленый ночник, и прямо перед порогом стоял Константин, покусывая усики.

— Ты? — спросил Сергей, пошатываясь.

— Я.

— Как Ася?

— Ты готов? — спросил Константин серьезно.

— Я спрашиваю, как Ася? Какого... ты еще?

— Все так же. Был профессор и врач из районной. У нее что-то нервное. Нужен покой. Ты где надрался? И в честь какого торжества?

— Ася, Ася...—сказал Сергей, нетвердыми шагами прошел к дивану, сел, сутуло наклонился, расшнуровывая полуботинки.— Пьют от слабости,— заговорил он шепотом.— Я понимаю. Я не от слабости... Я никогда ничего не боялся... даже смерти... Ни-че-го...

Сергей ниже склонился к ботинкам, дергая шнурки, и вдруг согнутая, обтянутая рубашкой спина его затряслась, и неожиданно было слышать Константину глухие, сдавленные звуки, похожие на проглатываемый стон. Он будто давился, расшнуровывая ботинки, все не разгибаясь, и Константин, в первый раз увидев его таким, заторопился с неистовой энергией:

— Сережка, идем в ванную, старина! Надевай тапочки. Пошли! Душ — великолепная штука. По себе знаю. Надирался как змей. Обдает свежестью — и ты как огурчик. Ко всем дьяволам философию! Истина в душе, за это ручаюсь! Где эти тапочки? Сейчас ты узнаешь, что человечество недаром выдумало душ!

— Не зажигай света,— шепотом попросил Сергей.— Я сейчас... подожди.

— Пошли, Серега. Поверь мне. Примешь душ — увидишь небо в алмазах. Пошли! Жизнь не так плоха, когда в квартире есть цивилизация.

Он обнял его, осторожно довел до ванной, задевая за развешанное в кухне белье, пахнущее сыростью, сказал:

— Давай! Выход из всех положений.

Этот благостный душ был ожигающе свеж, колкие струи ударяли по плечам, по груди: сразу озябнув, Сергей подставил лицо, крепко зажмурясь, навстречу льющемуся холодному дождю, и в этом водяном плену, перехватывающем дыхание, вспомнил, трезвея, о тех солнечно-морозных утрах зимы сорок пятого года, когда после пота, грязи передовой он был влюблен в эту воду, в эту ванну — ни с чем не сравнимое чудо человечества, как тогда счастливо казалось ему.

— Теперь растирайся до боли! Почувствуешь себя младенцем! — Константин приоткрыл дверь, подал мохнатое полотенце, затем крикнул из кухни: — Я сейчас крепкий чай сочиню. И все будет хенде хох!

Сергей не отвечал, растираясь колючим полотенцем,— тишина была в доме, как на степном полустанке, и шагов Константина на кухне не было слышно.

В распахнутое окошечко ванной прохладно тянуло ветерком летней ночи, чернело звездное небо за близкими силуэтами лип, и слабо доносились далекие паровозные гудки с московских вокзалов.

Когда Сергей вышел из ванной, Константин курил около плиты, незнакомо застывшими глазами смотрел на закипавший чайник, на тоненько дребезжащую крышечку.

— Я тебя ждал сегодня,— сказал он.

— Дай сигарету.

— Я тебя ждал. Хотел поговорить. Очень...

— Сейчас ничего не буду рассказывать. До смерти устал. Дай сигарету и спички.— Сергей ногой подволок к столу табуретку.— Ася меня ждала?

— Сначала была Эльга Борисовна, потом я. Ты ничего не знаешь?

— Я многого не знаю, Костька...— вяло сказал Сергей.— Но меня ничем уже не удивишь.

— Н-да...

Константин полотенцем снял крышку чайника, прищурился на булькающий кипяток, проговорил непрочным голосом:

— Трудно мне сказать это тебе...

— Тогда не говори.

Было молчание. В ванне щелкали, отрывались от душа капли.

Константин, по-прежнему глядя на бурлящую воду, на пар, с тихой решимостью сказал:

— Слушай, Серега... Вот что. Я люблю Асю. Я хотел, чтобы ты... Я люблю ее. И вообще...

Константин со всхлипом затянулся дымом сигареты так, что колыхнулась грудь под полосатой ковбойкой, и договорил с длинным выдохом:

— Я должен был тебе сказать. Я люблю Асю. С сорок пятого. Когда ты был еще в армии.

— На кой черт ты мне говоришь это? — Сергей хмуро посмотрел на Константина.— То есть как любишь? В каком смысле?

Никогда он всерьез не думал об этом, но порой все же появлялась мысль, что, наверное, когда-нибудь вечером зайдет за Асей совсем незнакомый парень, лица которого

он не мог представить, ее однокурсник, наделенный теми качествами, что могли бы понравиться в семье; он всегда был спокоен за нее, ибо была непоколебимая уверенность, что не мягкий отец, а он спустит с крыльца любого, кто попытается хотя бы намеком оскорбить его сестру. Он считал, что обладает силой покровительства старшего брата в семье, и то, что Константин нежданно открылся ему, вызвало в нем не удивление, а чувство чего-то неестественного, не имевшего права быть. Он знал Константина со всеми его слабостями, и если бы он сказал сейчас о некоем очередном увлечении своем, только не о любви к Асе, это было бы вполне естественно и закономерно.

— Вот что,— проговорил Сергей,— с меня хватит всего... Я всем сыт по горло. Не понимаю тебя. Ты прошел огонь, и воды, и черт те что, а Ася святая. Ей нужен парень... ее поколения. Что у вас общего? На кой черт ты говоришь это? Я хочу спать. Мне надо выспаться. Основательно выспаться, Костька. У меня что-то часто стала болеть башка. Я устал.

— Все-таки выпей чаю,— посоветовал Константин и замолчал с мрачным, замкнутым лицом; смуглые пятна проступили на скулах, в темно-карих глазах пригасло обычное выражение иронически настроенного ко всему человека, раз и навсегда осознавшего опытом зыбкость истины.

— Считай, что этого разговора не было,— сказал он, и, показалось Сергею, голос его чуть дрогнул.— Кстати, тебе... звонили... Звонила Нина. В десять вечера. Забыл передать. Я с ней очень мило поговорил. Возьми чайник.

Ручка чайника была невыносимо горячей, Сергей ощутил его ошпаривающую тяжесть и мгновенно перебросил чайник на подставку.

— Спасибо. Уже не нужно.

— Что?

— Спасибо. Уже не нужно. Будем чай пить?

— Я ужинал. Пойду к себе. На верхотуру. Сверху, как говорят, виднее. Завтра утром — тю-тю! — уезжаю на практику. Под Тулу,— сказал Константин.— А все же, Серега, ты считал и считаешь меня за пижона. Так? Откровенно...

— Брось! Ты знаешь, как я к тебе отношусь!

— Нет! Но ведь кто понимал друг друга, как не мы с тобой, кто? И уж если откровенно... ты всегда был серьезный малый, и меня тянуло к тебе, а не тебя ко мне. И я у тебя кое-чему научился, а не ты у меня. Так?

— Брось сантименты, Костька. Я просто был «чересчур смелым человеком» и ничему не научился. А жаль.

— Будь здоров! И не городи ерундовину перед сном — вредно.

Константин взбежал по лестнице на второй этаж.

Здесь, наверху, он прошел сквозь темноту коридора в свою комнату, ощупью нашел выключатель, зажег свет, и его окружил давно привычный ему хаос холостяцкой обстановки — пыльные книги в громоздком шкафу, иллюстрированные, затрепанные донельзя журналы, повсюду раскиданные на стульях, порожние бутылки из-под пива на подоконнике, кинофотография Дины Дурбин над письменным столом, пепельница-раковина, переполненная окурками; на тумбочке — портативная с пластинками мировой «джазяги» радиола, по случаю купленная в сорок пятом году у летчика, приехавшего из Венгрии. Но чего-то не хватало здесь. Он не находил себе места. Ему не хотелось спать.

Он включил радиолу на тихий звук, полулег в мягкое облезлое кресло, вытянулся в нем — пластинка раскручивалась, шипела, возникли точно отдаленные пространством звуки джаза,— и он, слушая хрипловатый низкий женский голос, потирая лицо и горло, морщась, напевал шепотом: «О Сан-Луи, ты горишь вдали...»

•

Ночью Сергея разбудил телефонный звонок.

Минут сорок назад, чтобы уснуть, он принял люминал, найдя снотворное в аптечке отца, и сон тяжело потянул его во тьму. Он чувствовал, как засыпал, и чувствовал, как нарастает что-то неспокойное, смутное, то приближаясь, то удаляясь,— как человек, как летящее тело между небом и землей. Но это не было ни человеком, ни телом. Что это было, он не мог понять.

...Потом появились какие-то темные, как туннель, ворота, а позади — он видел — под луной блестела каменная площадь. И он вбежал под арку — преследовал его, настигал, бил остро в спину грохот подкованных сапог.

Этот грохот раздавался на весь город, а людей нигде не было на пустынно мертвенных улицах. Только стучали, приближаясь, железные подковы сапог, отдаваясь тоской в сердце.

Он бежал через арку, через черный туннель, он заметил впереди светящееся под луной отверстие выхода, но

мысль о том, что он совсем один в городе, что у него нет оружия, кидала его как сумасшедшего из стороны в сторону. Хватая пустую кобуру, выбившись из сил, он домчался до выхода. Как спасение, как передышка, открылся этот выход... Четыре силуэта вышли навстречу ему, загородив проход из туннеля. Он не видел их лиц, не видел их мундиров, но знал, что это немцы, и в то же время его настигал металлически ударяющий цокот подков за спиной. И он понял, что пропал, что его окружили и нет выхода из смертельной ловушки,— это конец, его предали...

Отступая, он еще напрасно рванул пустую кобуру на боку,— и тут жестокое, душное, цепкое навалилось на него, ломая тело, выкручивая руки. Вырываясь из тисков, он осознавал, что это последнее в его жизни, что он погибнет сейчас, и почему-то особенно ясно успел заметить за спинами людей в черном чье-то очень знакомое огромное лицо с усиками, но кто это был — никак не мог вспомнить. И вдруг узнал это лицо по крутому подбородку, по улыбающимся губам и, узнав, крикнул, задохнувшись: «Уваров? Уваров!.. Где, сволочь, твой партбилет? Сжег?» И, от удара падая под сапоги, уловил радостный знакомый рев: «В сердце! Бейте его в сердце! В сердце... Он сейчас умрет!»

Сергей очнулся от этого крика, от назойливого постороннего звука.

Открыл глаза — огромная, тяжелая, раскаленная, во все окно луна светила низко, душно, нацеленно прямо в зрачки ему. Он лежал, боясь оторвать взгляд от нее, боясь пошевелиться, скачущими рывками билось сердце; казалось — оно разорвется. «Это сон, неужели сон?» — спросил он себя и приподнялся: настойчиво звонил телефон, накрытый подушкой.

И этот придавленный настойчивый звук стряхнул с него одурманивающий кошмар забытья.

Он вскочил с постели, снял трубку.

— Да,— сказал он хрипло, глядя на отсвечивающие под луной часы на столе. Шел второй час ночи.

— Прости, пожалуйста, я разбудила тебя? Ты спал? Сережа, я хочу тебя увидеть! Обязательно! Сегодня, сейчас!

— Кто это? — Он еще плохо соображал; колотилось сердце и после сна, и после торопливого этого голоса: — Кто?

— Не узнаешь? Это я... Я тебе звонила! Я тебе вчера звонила, сегодня звонила...

— Кто это? Ты мне звонила? — переспросил он.— Нина?..

— Да, да! Я вчера вернулась, я тебе звонила. Послушай... Я звоню из автомата. Я сейчас приеду к тебе... Ты слышишь, Сережа?

— Я не могу сейчас,— выговорил он.— Я не могу... И не надо мне звонить.

— Сере-ежа!..

Он прервал разговор и, накрыв подушкой телефон, с тоской почувствовал, что не так говорил, не так ответил, что не думал все это время о ней, о ее муже, который вернулся в Москву. И как только опять лег и увидел висевшую в квадрате окна чудовищно красную душную луну, почудилось — оборвались все реальные нити с миром.

Снова затрещал под подушкой телефонный звонок, похожий на задушенный крик. Он оглянулся на дверь в комнату Аси, затем схватил свою подушку и накрыл ею телефон — так было легче.

Телефон трещал слабым, жалобным звонком, задавленный подушками. Его звук походил на прерывистый комариный писк. Потом он замолк. С ударами крови в висках Сергей лежал, не испытывая облегчения. Предметы в комнате сместились, потонули в тени — луна заметно сдвинулась над железными крышами к краю окна, был виден из-за рамы багровый раскаленный кусочек ее. И стояло в мире такое безмолвие, какое бывает, когда в лунную ночь переползает через бруствер на нейтралку разведка — туда, в сторону немого гребня немецких окопов...

Он услышал с улицы легкий шум подвывающего мотора, потом четкий и сильный щелчок дверцы, и сейчас же побежал стук каблуков во дворе.

«Неужели она? Не может быть»,— подумал, еще сомневаясь, Сергей и потянул со стула брюки, от волнения не попадая ногами в штанины; робкий, просящий звонок забулькал в коридоре.

Он бросился к двери по темному коридору, нажал, открыл замок и, не говоря ни слова, быстро вернулся в комнату, оставив дверь открытой.

— Сергей!

— Здесь спят.

— Сергей!

В сумраке забелел плащ — она вошла, затихла, остановилась за порогом комнаты.

— Зачем ты приехала? — спросил он нерассчитанно громким голосом.

— Сережа,— сказала она и с робостью выступила из сумрака на лунный свет.— Я не могла ждать. Ты послушай...

— Зачем ты приехала? Для чего? — спросил он холодно.

— Сере-ежа-а, я ничего не понимаю...

Она как-то неумело, не по-женски заплакала, приложив руки к груди, и, плача, опустилась на стул, сжавшись, локтями доставая колени. Он смотрел на нее растерянно.

— Идем,— сказал он.— Разбудим Асю. Идем. Я провожу тебя.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Я сегодня узнала все...

— Что ты узнала?

— От Аркадия... от Уварова. Он не был два года и зашел сегодня...

— Ну и что? Что ты узнала?

— Послушай, Сергей, я жалею, что хотела помирить тебя с ним! Жалею! Думала, все проще... Я просто верила Тане. А он притворялся, ждал. И дождался.

— Ты это хотела мне сказать?

— Послушай, Сережка, перестань! Как все мелко, ужасно мелко по сравнению... что случилось с твоим отцом! Это самое страшное, что может быть. И еще смерть.

— Это он рассказал?

— Будь осторожен! Пойми, он не шутит, он пойдет на все. Не горячись на партбюро, будь доказателен. И взвесь все — это главное. Уваров не так прост! Знаешь, что он сказал? «Ну все, конец, ваш Вохминцев испекся!» И какое было лицо — спокойное, лицо победителя! Сережа, послушай... Он сказал: завтра или послезавтра будет партбюро. У тебя есть время. Если оно тебе нужно. Знаю, ты можешь быть сильным, но ты... Пойми, они не шутят! Они не шутят!

— Что ж, спасибо... Я проводил тебя до Серпуховки.

— Подожди! — попросила она.

Они стояли на углу, в густой тени каменного дома, возле наглухо закрытого подъезда.

— Еще...— сказала она.

— Что «еще»?

— Еще проводи. Мне страшно.— Опа поежилась.

Пустынная Серпуховская площадь с темным прямоугольником универмага, низким зданием шахты строящегося метро была огромной, безжизненно-синей; металлически блестели под луной дальние крыши, и маленькая фигурка постового милиционера посреди пустой площади казалась неподвижной, неживой. Луна будто умертвила город, и даже не было ночных такси, обычно стоявших на углу.

— Сергей...

— Пойдем,— прервал он.

Она замолчала. Он не смотрел на нее.

Но когда свернули на узкую Ордынку, стало темнее па тротуаре от застывших теней лип, тихая мостовая за ними лежала мертвенно-гладкая, полированная под лунным светом. Он взглянул на Нину сбоку, и она чуть подалась к нему, словно хотела взять под руку, но не взяла, застегнула пуговичку плаща, опустила подбородок. Они молчали.

Она шла, двигалась рядом, изредка касаясь его плащом, и он видел ее всю — от этих стучащих по асфальту каблуков, этого коротенького старого плаща до молчаливо сжатых губ,— и все было знакомо, тепло, нежно, но одновременно не исчезала ревнивая горькая неприязнь к ней после того, как в этом же плащике он встретил ее с мужем возле метро, и муж, самодовольный, уверенно и нестеснительно обнимал ее за плечи. Он хотел спросить просто: зачем он приехал, почему она не сказала об этом, но боялся сейчас снова сбиться на тот отвратительный самому себе, неприятный тон, каким разговаривал, когда она вошла в его комнату: что бы ни было между ними, он не имел права унижать ее.

Ее каблуки стучали медленнее. Затихли.

— Мы почти дома,— послышался ее осторожный голос, и он увидел: она повернулась грудью, руки засунуты в карманы плащика, в глазах — ждущее выражение.— Спасибо. Ты меня проводил.

Он уловил этот взгляд и хмуро посмотрел вверх. Над аркой ворот, под тополем эмалированная дощечка с номером дома была, как прежде, мирно освещена запы-

ленной лампочкой. Вокруг желтого огня хаотично мелькали ночные мотыльки, стукались, трещали о стекло, роились легким шорохом в листве.

— Я не имел права,— сказал он,— разговаривать так с тобой...

— Еще,— попросила она, несмело улыбаясь, и робко сняла мотылька, упавшего ему на плечо.— Упал к тебе,— сказала она,— прости...

— Что, Нина?..

— Скажи что-нибудь еще. Я прошу...

Она раскрыла ладонь, поднесла к глазам, внимательно рассматривая белого мотылька, который полз по ее пальцам, и Сергей видел ее наклоненный лоб, брови, и в эту минуту ненужное внимание к этому мотыльку вдруг показалось ее правдой, ее естественностью.

— Ну, теперь все,— сказала она и стряхнула мотылька.

— Что «все»? О чем ты говоришь? — спросил он и так порывисто обнял ее за плечи, что у нее безвольно-жалко откинулась голова.— Я не понял, что «все»?

— Я люблю тебя, Сере-ежа... А ты? Ты?

Она качнулась к нему, повторяя: «А ты? Ты?» — и он, чувствуя близко ее почти родные губы, неистово прижался к ним, как будто хотел ей сделать больно.

— Я хочу тебе объяснить. Да, мой муж был в Москве. Ты знаешь, что с ним случилось?

— Нет.

— У него неудача с экспедицией. Его отзывали в Москву, а он не ехал. Он боялся встречи с московским начальством. Ему могут больше не дать экспедицию.

— Он воевал?

— Да. Он майор, командовал саперной ротой.

— Ну и любил тебя?

— На второй месяц сказал, чтобы я не ограничивала его свободу. Потом узнала, что он ездил в районный городок к одной женщине. Я собрала чемодан и перевелась в другую экспедицию. Потом — в Москву. Не будем говорить об этом...

Они помолчали.

— Я только сейчас вспомнила... Знаешь, что он сказал? «Сергей — декабрист, а наше время не для декабристов».

— Кто это сказал?

— Уваров. Ты понимаешь, что это значит?

— То, что сволочь, для меня не открытие. Но он забыл, что наше время не для таких подлецов, как он.

— Он сказал, что ты уже не коммунист, что тебя выгонят из института, Сережа. Но я не хочу верить...

— Если даже со мной что-нибудь случится, я пойду работать шахтером, забойщиком, я могу носить мешки, грузить вагоны. Я все могу... Только... Только бы...

— Что, Сережа?

— Только... Я хотел бы, чтобы никто не брал чемодан и не переводился в другую экспедицию.

— Сере-ежа-а, ты не должен об этом... Ты никогда не думай, что я могу... Я могу бросить все, понимаешь? И пойти с тобой уголь грузить, что угодно! Я не знаю, как это передать — что я чувствую к тебе... Как это передать?

— Этого не будет, чтобы ты грузила со мной уголь, этого никогда не будет...— говорил он с нежностью и отчаянием, исступленно обнимая и целуя ее в ледяные губы.— Ты увидишь, этого никогда не будет...

В тишине тоненько и звеняще тикали часы на стене.

Константин, уже одетый, сидел в кресле, растирая рукой грудь,— зябкость утра, вливающаяся через открытое окно, щекотно касалась кожи лица,— и прислушивался к ранней возне воробьев в дворовых липах. Потом воробьи с резким шумом брызнули под окнами из розовеющих ветвей: стукнула форточка на нижнем этаже — одинокий звук эхом раздался в пустоте спящего двора. Ему представилось отчетливо, что форточку закрыли в комнате Аси, и Константин, вмиг очнувшись, вспомнил о времени своего отъезда.

«У меня есть четыре часа,— думал он.— Я сначала зайду к ней, потом я пойду *туда*... Успею ли я все сделать, все как нужно, все как надо? А что раньше, коленки дрожали — не мог отнести эти деньги? Вот они, быковские десять тысяч. Что ж, деньги лежали у меня две недели. Долго собирался. Будет вопрос: «А чемоданчик-то с бостоном в Одессу вы привезли?..» Что докажешь? А может, сказать — нашел деньги?.. К черту их! Смотреть на них не могу! Так что же, Костенька, действуй, вперед, милый, подан свисток атаки, хватит лежать в око-

нах, в тебя стреляют, в Сережу, в Асю... и не холостыми патронами, а бьют наповал, в голову целят!..»

Константин, охваченный холодком, раскрыл чемодан и, раскидав белье, достал со дна завернутую в газету пачку денег, вложил ее, туго надавившую на грудь, во внутренний карман.

Сделав это, он начал бросать в чемодан белье и ковбойки и, захлопнув крышку, щелкнул никелированными замками — все было готово. Он знал, что не вернется сюда до осени: практика на шахтах длилась два месяца. Он оглядел комнату без сожаления — этот когда-то уютный и привычный ему беспорядок — и ничего не тронул, ни к чему не прикоснулся, только накрыл старой газетой ящик радиолы. «Оревуар, старина!»

«Вот и все, Костенька,— сказал он себе,— вперед, милый!»

Когда, заперев комнату, он быстро спустился по лестнице на первый этаж и тут, стараясь не натолкнуться на вешалки, прошел тихий коридор, нигде не было ни звука — дом еще спал. Константин задержался перед дверью Вохминцевых с желанием постучать, разбудить и Сергея и Асю, но, так и не решившись, подсунул под дверь записку в конверте, написанную ночью.

Старый и чистый асфальт двора предстал в этот час зари огромным, пустынным, и было странно видеть в окнах неподвижные алеющие занавески и закрытые двери парадных — везде покой, сон, и лишь одна стая проспувшихся на рассвете воробьев все сновала, чирикала, возилась в липах над окнами Вохминцевых, и от этой возни дрожала, покачивалась там багровая листва.

Он стоял и смотрел на окна в комнате Аси: в тени они отливали скользким мазутным светом.

Потом, переборов себя, озябнув весь, он подошел и едва внятно, ногтем тихонько притронулся к стеклу три раза.

И с замиранием в горле глядел вверх, ждал.

Он постучал еще — тихонько отдернулась занавеска, за стеклом мелькнуло плечо Аси, распахнулась форточка над его головой, и он расслышал ее голос:

— Костя, Костя, это ты, да?

И Константин, увидев в это мгновение ее лицо в форточке, упавшие на глаза короткие волосы, сказал глухо:

— Я уезжаю в Тулу, Ася. На практику. До свидания. Я уезжаю...

— Костя, Костя, я слышала твои шаги. Ты ходил у себя в комнате. Ты разве не спал, Костя?— проговорила она шепотом в форточку, взобравшись на стул, и глаза ее испуганно увеличились.— Чемодан... Ты с чемоданом?

— Я уезжаю в Тулу, Ася,— повторил он.— Записка Сережке под дверью. Для него. До свидания, Ася, не болей... Ну его к черту — болеть!— Он улыбнулся.— До свидания! До осени!

— Костя, Костя, что же будет?

— Прекрасно будет.

Он прощально поднял руку, пошевелил пальцами, все стараясь улыбаться ей, и тогда увидел, как она прижалась лбом к стеклу и заплакала, со страхом глядя на него сквозь свесившиеся волосы, и стала кивать ему и тоже подняла руку, приложила ее к стеклу.

И он отошел от окна, не поворачиваясь, пошел спиной вперед по асфальту пустынного двора.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Ася, я в институте задерживаться не буду. Тебе полежать надо. Зачем ты вставала к телефону?

— Ты спал. А из партбюро звонили два раза.— Она перевела на него темные на бледном лице глаза: сидела на кровати, в накинутом на плечи халатике, в тапочках на босу ногу, отвечала слабым шепотом:— Ты ничего не слышал? Приходил Константин прощаться. Он уехал на практику. Оставил тебе письмо. Сережа, ты не вызывай больше врачей. Мне лучше.— Она отвернулась к стене.— Бедный папа, где он сейчас? Как мы будем без него? И как он без нас? Как он?

— Ася, позавтракай и ложись. Я не буду задерживаться. Я уверен: ошибки потому ошибки, что их исправляют.

Он спал всего часа три (вернулся домой на заре), а когда вышел на крыльцо, на утреннее слепящее солнце, все было, казалось, в песочной дымке, что-то мешало глазам, резало веки, и болели мускулы. Он чувствовал усталость, и долгое, намеренно тщательное бритье и горсть колючего одеколона не освежили его полностью.

— Добрый день, здравствуйте, Сергей Николаевич!— раздался из этого неясного, как бы суженного мира кашляющий голос.— Добрый день!

Возле крыльца, в жидкой тени, Мукомолов в нижней рубахе щеткой буйно чистил, махал по рукавам висевшего на сучке липы старенького пиджачка, в зубах торчала погасшая папироса. Завидев Сергея, он с лихостью потряс щеткой в знак приветствия.

— А вы знаете, она права! — воскликнул он, смеясь одними глазами.— Да, да, женщины часто бывают правы! Могу сообщить вам — меня разбирали!

— Где разбирали? — спросил Сергей, не сообразив еще, и, хмурясь, зажег спичку, поднес к потухшей папиросе Мукомолова.

— В Союзе художников! — Мукомолов заперхал от дыма.— Нацепили столько ярлыков, что будь они ордена — груди не хватило бы! Так и обклеили всего, как афишную будку.— Он закашлялся, щеки стали дряблыми.— Простите, Сергей, я несколько... очень устал, выдохся вчера. На это наплевать. Это все чепуха, мелочи, дрязги... Да, да. Это чепуха! Ниоткуда меня не выгонят, я зубастый!

Он согнал с лица возбужденное выражение — и сразу потух, морщины обозначились вокруг глаз его.

— Простите меня, как с Николаем Григорьевичем? Что известно? А все остальное — чепуха, чепуха. Не обращайте внимания.

— Пока ничего.

— Н-да! А как Асенька?

— Кажется, лучше.

— Это уже хорошо. Заходите вечерком. Буду очень рад, очень рад.

Эта оживленность Мукомолова не была естественной, он за этот месяц постарел, бородка островками заблестела сединой и словно бы согнулась спина, ослабла походка — все это видел Сергей, но в то же время не видел, все это смутно проходило мимо его сознания.

Только на троллейбусной остановке он понял, что торопился, хотя знал: торопиться было бессмысленно.

Он несколько удивился тому, что заседание партбюро проходило в директорском кабинете.

Слои дыма замедленно переваливались в солнечных этажах над столом, и кожаные кресла в кабинете, зеленое сукно стола, графин с водой, белеющие листки бумаги, карандаши на них были неистово накалены июль-

ским зноем. Уличный асфальтовый жар душно и маслено входил в окно, лица лоснились потом.

Сергей сидел в стороне от окна, около тумбочки, вентилятор, звеня тонким комариным зудом, вращался за его спиной. Прохладный ветер от шуршащих лопастей немного освежал его: он то видел все реально, то темная пелена нависала над глазами, и тогда лица Свиридова, Уварова, Морозова за столом не были видны отчетливо. И в эти минуты он пытался всмотреться в насупленное лицо Косова и в не очень хорошо знакомые лица остальных членов партбюро, в углубленном молчании чертивших карандашами по листкам.

— Если он не понял этого, то должен понять. Я говорю прямо, в глаза ему. Обман партии — преступление. Понял ли он? Нет, как видно, не понял...

Сергея удивляло и то, что сейчас он был спокоен, он даже усмехнулся чуть-чуть, разобрав этот сухой голос Свиридова. Тот стоял очень прямой — прямые узкие плечи, ввалившиеся лимонные щеки задвигались, когда, выталкивая изо рта жесткие, бьющие слова, поправил желтыми пальцами толстый узел галстука, застегнул среднюю пуговицу на пиджаке.

«Зачем он поправляет галстук, для кого это? Почему он не снял пиджак — для официальности? Или торжественной строгости? Почему он? Почему именно он?.. У него гастрит или язва? И больная нога... был ранен? Верит ли он в то, что говорит?»

— Я изложил членам партбюро подробно все как было, когда Вохминцев пришел отказываться от практики. Это только факты.

Сбоку взглянув на Сергея, Косов, мрачно-замкнутый, медленно вынул из кармана брюк трубочку с вырезанной головой Мефистофеля, с железной крышечкой, сосредоточенно начал набивать ее табаком.

«Кто подарил ему эту трубку? Кажется, Подгорный... На подготовительном еще, в сорок пятом...»

— Вохминцев, возьмите пепельницу,— ровным голосом сказал Морозов.

«Он что, успокаивает меня?»

Сергей встал, подошел к столу, взял одну из расставленных на зеленом сукне металлических пепельниц, сел на место. И спокойно поставил пепельницу на подлокотник кресла. Все посмотрели на него: внимательно — Свиридов, мельком, как бы хмуро осуждая,— Уваров, вопро-

сительно, из-под собранного складками лба,— Морозов. Директор института, весь сахарно-седой, подтянув заметное брюшко, этот постоянно веселый профессор Луковский, в чистой крахмальной сорочке, натянутой на округлых мягких плечах, с засученными до полных локтей манжетами (горный мундир висел на спинке стула), молча поерзал на кожаном сиденье кресла в глубине кабинета, тоже достал папиросу, проговорил: «Хм» — и опустил белые брови.

«О чем они думают сейчас все? Они. Все... О том, что я обманул партию? О чем думает Луковский? И он, кажется, неплохо относился ко мне... О чем думает Косов?»

— Я хочу добавить еще к этому следующее, и мне не даст соврать Аркадий Уваров. Однажды во время встречи Нового года — и я и Аркадий Уваров были в одной компании — Вохминцев демонстративно пытался сорвать тост за Иосифа Виссарионовича Сталина. Да, это было. И видимо, это, мягко выражаясь, не случайно...

Желтые щеки Свиридова сжимались и проваливались, сухие губы выбрасывали, как ржавые режущие куски железа, слова, и Сергей, глядя на высушенное лицо его, почему-то некстати подумал, что ему вредно есть мясо, и представил, как он брезгливо ест, двигая провалами щек, и как жена его (какая она могла быть?) и дети (у него, говорили, было двое детей) глядят на его щеки. О чем он говорит дома? И как? Или ложится на койку с грелкой и жалко стонет, страдая от болезни?

— И последнее...— Свиридов сухощавой, будто из одной кости, рукой налил себе из графина воды, выпил залпом — заползал кадык над толстым узлом галстука.— И последнее...— Он наклонил сурово окаменевшее лицо, нашел на столе листок бумаги, после чего значительно оглядел всех.— Последнее... Это заявление в партбюро от члена партии и члена нашего партбюро Аркадия Уварова. Я его прочитаю...

С однотонным шуршанием вентилятор вращался на тумбочке, дуя на волосы Сергея теплым ветром, из окна отдаленно доносились шум улицы, гудки автомобилей, крики детей на бульваре, а рядом, здесь, в папиросном дыму, в душной от толстого ковра под ногами, от нагретых кожаных кресел комнате — здесь настойчиво металлически звучал голос:

— «...назвал меня фашистом. Я считаю, что это самое низкое, самое грязное политическое оскорбление. И я как коммунист прошу партийное бюро разобраться в этом. Член ВКП(б) с 1945 года Уваров».

«В сорок пятом году, значит... Где он вступил в партию, в запасном полку? Конечно, так. На фронте его не могли принять. И впрочем, в запасном полку, если бы знали... Но он знал, где вступать».

— Перед тем как перейти к обсуждению дела члена партии Вохминцева, перед тем как спросить его, как он дошел до жизни такой, хочу добавить: мы, члены партбюро, авангард, мы в первую голову несем ответственность за высокую идейность членов партии и беспартийных, мы виноваты в том, что развели гнилое болото в институте. Заявляю со всей ответственностью: спустя рукава, нечетко работали, без огонька и потеряли принципиальную партийную бдительность! Арест первокурсника Холмина и... это позорное дело члена партии Вохминцева должны быть суровым уроком для всех нас. Прошу высказаться. Думаю, регламент устанавливать не стоит, поскольку дело слишком серьезное.

В тот момент, когда Свиридов произнес «развели гнилое болото в институте», Уваров подтверждающе закивал с серьезным лицом, директор института профессор Луковский опять неудобно, грузно зашевелился в кожаном кресле, строго воздел и опустил седые брови. Весь институт знал: этими косматыми бровями профессор Луковский в официальных разговорах скрывал доброту свою, веселую подвижность маленьких живых глаз, и Сергей не видел сейчас их — брови низко опущены, косматились белыми гусеницами, и лишь дедовское брюшко профессора, округлые плечи говорили о прежней его домашности. Было тихо, карандаши членов партбюро чертили по листкам.

«Кто будет сейчас выступать? Уваров, Луковский? Ах, Морозов...»

Морозов погладил лоб, бегло глянул на Свиридова, произнес с грустной шутливостью:

— В порядке реплики, Павел Михайлович. Вы уж, думаю, чересчур смело заострили...

Он улыбнулся, обнажая щербинку меж передних зубов, и подумал Сергей, что реплика эта была подана только для того, чтобы как-нибудь разрядить обстановку.

— Гнилой либерализм никогда, Игорь Витальевич, до хорошего не доводит,— жестко отрезал Свиридов.— Мы перед лицом фактов. А факты — упрямая вещь. Когда я шел работать к вам в партийную организацию, надеялся: преподаватели, опытные коммунисты, будут помогать мне. Не всегда помогают. Студенты больше помогают — это тоже факт. Да, факт! Я прямо скажу — могу гордиться Уваровым как коммунистом, который помогал больше всех. И об этом я буду докладывать в райкоме.

— Хм,— полукашлянул, полупромычал профессор Луковский, завозившись в кресле, по-прежнему скрывая глаза косматым навесом бровей.— Мм... Хм...

Все посмотрели на Луковского, но тот молчал, сопел недовольно, скрестив пухлые руки на животе.

— Прошу высказываться коммунистов.

Снова было тихо. Морозов посмотрел вокруг, начал задумчиво водить карандашом по бумаге, и то, что он никак не ответил Свиридову, то, что Свиридов заговорил о помощи Уварова, то, что его слова о беспомощности преподавателей невольно прозвучали как угроза и предупреждение, вызвало в Сергее не злость, не гнев, а какое-то насмешливое чувство к Свиридову и к замолчавшему Морозову.

— Прошу высказываться, время идет, товарищи члены партбюро.

— Что ж вы, дорогой мой, а? Как же это? Не понимаю, голубчик!

Заговорил профессор Луковский, телом наклонясь вперед, к стулу перед креслом, где висел его директорский мундир, с недоумением взглядывая из-под бровей на Сергея, и его голос зазвучал распекающим тенорком:

— Что ж это вы, а? Солгали партбюро... мм... скрыли... о своем отце... и потом отфордыбачили еще такое, что ни в какие уклады не лезет, голубчик. Обругали хорошего студента, партийца, своего однокашника, фашистом. Вы же сами отлично воевали, знаете, что такое фашизм. Вы что же, позвольте спросить... мм... кхм... убежденно оскорбили его этаким политическим обвинением? Или вгорячах, так сказать, ляпнули: на, мол, тебе, ешь!

— Абсолютно убежденно! — ответил Сергей, и при этих словах обмякло, вмиг растерялось лицо Луковского, разом повернулись головы, и Сергей увидел: плечи атлетически сложенного Уварова как-то бугристо напряглись, обтянутые тенниской, но он не обернулся, не

изменил позы, продолжал спокойно рисовать на бумаге.

— Этим словом не ляпают, Вячеслав Владимирович, я хорошо знаю ему цену, с войны!— сказал Сергей.

— Тогда извольте доказательства, дорогой вы мой... доказательства, если уж... хм!

— Пусть он расскажет вам, за что я бил ему морду однажды в ресторане, в сорок пятом году. Думаю, он это честно не расскажет!

— Да, пусть объяснит. Пусть объяснит Уваров!— на все стороны оглядываясь, вставил малознакомый парень в синей футболке.— Все надо выяснить, товарищи. А как же?..

И только сейчас Уваров оторвался от бумаги, проговорил устало, покойно:

— Почему же ты так уверен, Вохминцев? Я расскажу. Почему же... Что ж, разрешите мне, уж коли так далеко зашло.

Он кивнул Свиридову, аккуратно положил карандаш на расчерченный листок бумаги и, не спеша поднимаясь, печально улыбнулся всем голубыми, покрасневшими глазами.

— Вот видите, получается странно,— заговорил он с мягким удивлением и как бы смущенно пробежал пальцами по светлым волосам.— Я не хотел даже здесь выступать. Почему — я объяснял это Свиридову перед партбюро. Ну что ж, если уж так, я должен объяснить. Хорошо. Коротко расскажу по порядку. Мы знакомы с фронта. Здесь Вохминцев напомнил о ресторане, видите ли, о нашей встрече в сорок пятом году.— Он в раздумье перекатил карандаш на сукне, уперся в стол кулаком.— Право, не знаю, мне очень бы не хотелось вспоминать одну трагическую историю и... ну... косвенно, что ли, утяжелять вину Вохминцева. И так достаточно. Но уж если он сам затронул, я вынужден рассказать. В сорок четвертом году, да, осенью сорок четвертого года, мы служили в Карпатах, я командовал второй батареей, Вохминцев — третьей. Да, я, кажется, не ошибаюсь — третьей. Ночью нас вызвали в штаб дивизиона, и Вохминцеву был отдан приказ немедленно выдвинуться вперед на танкоопасное направление, мне — прикрывать его орудиями с фланга. Ну, получилось, говоря вкратце, вот что: Вохминцев, то ли не разобравшись в обстановке, то ли еще почему — не буду додумывать,— завел батарею в расположение немцев, в болота, так что орудия нельзя было развернуть,

а утром немецкие танки в лоб расстреляли батарею. Да, погибли все, исключая вот...— Он с выражением мимолетной боли подумал несколько, показал в сторону Сергея.— Вохминцева. Но и он был ранен. Я прибыл утром к Вохминцеву, и тут случилось странное: он стал обвинять меня в том, что я погубил его батарею, не поддержал огнем. Но дело в том, что я и не мог поддержать его батарею, так как Вохминцев завел орудия на пять километров в сторону, к немцам, а стрелять, как известно, надо было прямой наводкой. Добавлю, что от трибунала Вохминцева спасло ранение и эвакуация в тыл. А потом, как это бывает на войне, затерялись следы. Вот первое.— Он наклонился к столу и, вроде бы отмечая первое, стукнул карандашом по бумаге.

«Вот, значит, как!..— подумал Сергей.— Вот, значит, как он».

— Забыл,— проговорил Уваров и поднес руку к влажному виску,— забыл о главном. Мы случайно встретились в ресторане в сорок пятом году. И там была, как говорят, неприятная стычка между нами. Это еще первое. Второе.— Уваров, словно стесненный необходимостью добавлять подробности, немного помедлил.— Это уж совсем разговор не для партбюро, и стоит ли об этом говорить — не знаю... Второе... совсем личное. И может быть, отсюда постоянная ко мне неприязнь, ненависть, что ли. И здесь я не знаю, что делать. Начиная с фронта, Вохминцев все время испытывает ко мне какую-то странную ревность, совершенно непонятную.— Он удивленно пожал плечами, оглядел всех с полуулыбкой.— Не знаю — в чем ему завидовать мне? Мы равны. Вот все. Я просто должен был объяснить, почему я не хотел выступать на партбюро. Но я протестую против политического оскорбления, недостойного коммуниста.— Голос Уварова окреп, потвердел и снова зазвучал смягченно:— Часто я думал, прошло много времени с войны. А время меняет людей... Вот и все,— повторил он и сел с неловкостью, точно извиняясь за вынужденное выступление, и как после принужденного, неприятного труда очень утомленно провел ладонями по лицу, будто умываясь, стирая незаметно пот, закончил почти сконфуженно:— Простите, говорил сумбурно, наверно, не совсем убедительно. Здесь много личного...

— А свидетели есть у вас?— донесся из угла комнаты низкий голос парня в футболке, и в тишине слышно было, как заскрипел стул под ним.— Есть?

И голос Уварова ответил с прежней полуулыбкой:

— Для этого нужно искать однополчан, фронтовиков. Но я ничего не пытался доказать.

В эту секунду Сергей, не подымая глаз, совсем неощутимыми нажимами загасил сигарету в пепельнице на подлокотнике кресла — он боялся, что рука дрогнет, столкнет пепельницу, уже наполненную окурками, боялся, что он встанет, шагнет к столу, где спокойно и как бы смущенно, но незаметно вытирал со лба пот Уваров. Ему хотелось сказать: «Подлец и сволочь!» — и ударить, вкладывая всю силу, по этому смущенному, лоснящемуся лицу, как тогда в «Астории», в сорок пятом...

Но он не в силах был встать, не мог подойти к столу,— он сидел, опасаясь самого себя, чувствуя, что может сейчас заплакать от бессилия.

Все молчали. Жужжал вентилятор в духоте комнаты.

«Что я молчу? Что я молчу?..» — мелькнуло в голове Сергея.

— Значит, батарею погубил я, а не ты? — чуть вздрагивающим голосом проговорил Сергей.— Теперь понимаю... Переставил нас ролями: меня на свое место, себя — на мое... Я завидовал тебе? Может, поэтому? — Ему трудно было говорить, он перевел дыхание.— Потому что на твоей совести двадцать семь человек убитых? Если нужно, я многих могу назвать по фамилии... Ты не останавливался ни перед чем. За твое шкурничество в Карпатах ответил твой подчиненный, командир первого взвода Василенко. Когда танки расстреливали батарею, ты удрал и отсиживался в каком-то блиндаже, а потом раненого Василенко отдали под суд, хотя в штрафной должен был идти ты. Но на тебя доказательств не было—все погибли. Жаль, что меня ранило... И после я тебя не нашел на фронте...

— И что бы вы сделали, Вохминцев? — оборвал Свиридов, подозрительно косясь на Уварова.— Что?

— Дайте договорить! — громко бросил Косов.— Не перебивайте!

— Ты забыл одну деталь, Уваров. Когда танки добивали твою батарею, Василенко, уже контуженный и раненный, успел позвонить мне, и я приехал. Но среди убитых тебя не нашел. И если бы меня не ранило в тот день, ты был бы в штрафном, а не Василенко.

— Ближе к делу, Вохминцев,— опять перебил Свиридов, в то же время изучающе-внимательно взглядывая на Уварова.— Конкретнее!

— Потом я встретил его в сорок пятом и набил ему морду публично, и он не защищался и почему-то не поднял дела против меня. Ну а потом он заявил, что я еще до ареста должен был сообщить об отце куда следует.

— Как не стыдно, Сергей! — с упреком произнес Уваров, легонько поигрывая на сукне карандашом.— Нельзя же так. Нельзя... Так далеко можно зайти.— Он вздохнул и, по-видимому, этим сокрушенный, потупился в стол.— Может быть, мне, товарищи, все же не стоит присутствовать здесь ввиду... исключительного случая? Я бы попросил членов партбюро...— Лицо его стало скорбно-серьезным, он непонимающе поглядел на Свиридова, потом на неподвижно сидевшего Морозова.— Я попросил бы членов партбюро, чтобы это дело разбирали без меня. Есть мое заявление. Секретарь партбюро все факты изложил. Кажется, мое присутствие накладывает на непростое дело нечто личное...

— Это, кстати, умно придумано,— сказал Сергей, усмехаясь.— Молодец! Но ты объясни, где ты вступил в партию, в запасном полку?

— Ну а если так? — без выражения спросил Уваров.— Что же тогда?

— Я это знал. Кто тебе давал рекомендации?

Не повернув к нему головы, Уваров как будто не расслышал этого вопроса, и на миг Свиридов настороженно впился в его лицо замершими зрачками.

— Так кто, кто давал рекомендации? Назови. Забыл? — поторопил Свиридов.— Кто? Помнишь ведь?

— Подполковник Басов и майор Черенков. Но я все же попросил бы товарищей разбирать это дело без меня.

— Они, конечно, не знали тебя по фронту? — все так же резко проговорил Сергей.— Не знали?

— Ну и что же?

— Ничего. Просто на фронте свистели пули — и ты был ясен как на ладони, а в тылу опасности нет — и ты ловко умеешь надеть на себя маску доброго малого. И в бинокль тебя не разглядишь!

Остро пекло солнце, густо плыл дым над столом, смещая, затуманивая лица. Профессор Луковский, насупленный, весь ушел в кресло, белые его руки были сведены на папиросной коробке, лежащей на коленях. Косов смотрел перед собой непроницаемо синими глазами, посасывая трубку; и угрюмо оглядывался на профессора Луковского мускулистый парень в синей футболке, пы-

таясь, видимо, что-то сказать, но не говорил; и в ту минуту показалось Сергею, что Морозов из-под наклоненного лба все время наблюдает за ним, а карандашом водит по бумаге машинально. «Неужели они не чувствуют все?» — скользнуло в сознании Сергея, и тотчас медлительный строгий тенорок заставил его взглянуть на Луковского.

— Зачем же, дорогой вы мой? Оставайтесь... хм... Вы член партбюро, и мы не вправе вас упрекнуть... мм... в личном. Я только хотел бы, чтобы вы не касались воспоминаний, хотя здесь все запутано и... серьезно, надо сказать. С обеих сторон. Перейдем к настоящему. Павел Михайлович, мы отвлеклись. А у меня, дорогой, полтора часа времени.

И Луковский, засопев, подался телом в кресле, показывая на ручные часы.

С подозрением слушавший до этого и Уварова и Сергея, Свиридов внушительно постучал карандашом по графину.

— Неорганизованно проходит партбюро. Ближе к делу. Конкретно. Факты, всё говорят факты. Мы не можем не верить коммунисту Уварову, поскольку фактов нет против него. Он не обманывал партбюро, не скрыл ареста своего отца, не оскорбил члена партии, товарища, гнусным политическим ярлыком. А так, знаете, Вохминцев, вы завтра на любого — погубил, убил... Для этих вещей доказательства нужны. Суровые доказательства. А мы тратим время на ваши домыслы и соображения. Факты, факты нужны. Прошу высказываться по существу вопроса. Слушал я, и даже неловко как-то, Вохминцев, знаете ли. Да, неловко, стыдно. Прошу высказываться! А вам посоветовал бы посидеть и крепко подумать над своими ошибками, товарищ Вохминцев. У меня как секретаря партбюро создается впечатление, что вы ничего понять не хотите.

«Значит, ничего не нужно?» — подумал Сергей уже с ощущением, что все гибельно рушится, ломается и он не может ничего изменить. И вдруг впервые в жизни он почувствовал непреодолимую жуть одиночества не оттого, что так просто решалась его судьба, а оттого, что ничего нельзя было доказать, оттого, что не верили ему, не хотели верить.

— Прошу высказываться конкретнее,— проник из духоты комнаты, как через толщу, неумолимо сухой голос

Свиридова, и странная мысль о том, что какая-то высшая человеческая справедливость не может остановить этот голос, что он, Сергей, ненавидит эти впалые щеки Свиридова, толстый узел галстука под кадыком, эти подозрительные, щупающие глаза, эту прямолинейность,— и мысль не вязалась с тем, что в руках Свиридова его судьба и он, Свиридов, направляет ее так, как не должно быть.

— Разрешите?

Сергей увидел, как сквозь серый туманец, низкорослую фигуру Косова; трубка, зажатая в кулаке, погасла; возбужденный басок его стал ударять, кругло звенеть в ушах.

— Выступление Уварова для меня — это нежное блеяние оскорбленной овечки. Посмотришь на его «хилые» плечи — и не подумаешь, что он беззащитен. Его пытаются оклеветать, а он только улыбается и объясняет все личными отношениями. Абсолютно не верю в его фронтовые, так сказать, мемуары — рассказал все так, будто в обществе в платочек чихнул скромненько. Чепуха какая-то и, простите, баланда! Какого же святого молчал раньше Уваров, если уж так подробно изложил сейчас преступление Вохминцева на фронте? Хочу спросить и Вохминцева: почему до сих пор молчал и он? — Косов исподлобья повел на Сергея засиневшими глазами, перевалился с ноги на ногу.— Как парторг курса я должен сказать: Вохминцев совершил ошибку, и она, конечно, требует наказания. Но меня удивляет вот что: Вохминцев, грубо говоря,— подсудимый, и мы все судьи. Так, кажется? И судья — Уваров как член партбюро? А я бы хотел, чтобы мы одновременно поставили вопрос и об Уварове. Павел Михайлович, это и от вас зависит.— Он решительно повернулся к Свиридову.— Я Уварова плохо знаю, кашу с ним вместе не ел, под одной крышей не спал, и сейчас мы на разных курсах. Он выступал здесь, будто не обвинял, а ласкал насмерть Сергея. А я не верю тихоням с плечами боксеров!

— Вот как бывает, товарищи члены партбюро,— дошел до Сергея прыгающий от изумления голос Свиридова.— Парторг курса... Идейную, политическую незрелость вы показали, товарищ Косов! Не о коммунисте Уварове здесь идет речь, как вы знаете. Вы не верите Уварову, так говорите? А почему? Где факты? Как вы можете о своем товарище коммунисте... Так необоснованно?

Он гневно замолк, в упор вглядываясь в лицо Косова, севшего на свое место; кончики ушей у Свиридова отливали под солнцем восковой желтизной.

Косов, не отвечая, возбужденно набивал в трубку табак, прижимал его крепкими пальцами, неожиданно засмеялся резковато и зло:

— Бог не выдаст, свинья не съест. Меня ведь коммунисты курса выбрали парторгом! Они и переизберут, если надо.

Свиридов привстал, опираясь на костылек, переложил с места на место лист чистой бумаги перед собой, произнес иссушенным, как бы отталкивающим тоном:

— Вы отдаете себе отчет, товарищ Косов, как коммунист понимаете, что разбирается дело политического звучания? Я лично как секретарь партийной организации до последнего вздоха, до последнего... буду бороться за идейную чистоту партии...

Он трудно сглотнул, с гримасой потянулся к графину, но воды в стакан не налил, распрямился за столом:

— Коммуниста Уварова мы в обиду не дадим! Нет, не дадим, товарищ Косов! Кто хочет выступить?

«Он не верит ни одному моему слову, что бы я теперь ни говорил,— снова подумал Сергей.— И не верит уже Косову...»

— Вы говорите о бдительности и принципиальности, о чистоте говорите,— нашел в себе силы сказать Сергей.— Но рано хоронить моего отца и меня.

— Мы никого не хороним, товарищ Вохминцев! — не дал договорить Свиридов, застучав карандашом по графину.— Мы разберемся в вашем проступке объективно. Прошу не подавать реплики, вам будет предоставлено слово.

В эту минуту все молчали.

Он знал, что, если после всех выступлений признает свои ошибки, как бывало иногда с другими на партбюро, это смягчит многое. И, не в силах уже преодолеть немое чувство отъединенности, слушая глуховатый голос выступавшего Морозова, кажется, мягко защищающего его и в чем-то сомневающегося, затем журчащий тенорок Луковского, вставшего за кресло со сложенными по-домашнему руками на животе, потом вновь различая жесткий голос Свиридова, он почти на ощупь осязал два слова, змеисто поползшие в жарком воздухе комнаты: «выговор» и «исключить»; и «выговор» возникал в его сознании как

нечто ватное, извилистое, серое; «исключить» — режуще-острое, со смертельным жалом на конце. И он только думал сейчас о том, что непоправимо проиграл время, что был нерешителен когда-то и теперь не мог, не умел ничего доказать. И как-то все эти секунды, с неослабевающим напряжением ожидая еще чего-то, что должно произойти,— он почувствовал вдруг тишину, надавившую на уши,— сквозь дым в комнате прояснилось лицо Свиридова на фоне белой стены, сбоку от портрета Сталина, и голос Свиридова прозвучал, чудилось, над головой:

— Ну как, Вохминцев, не осознали свои ошибки? Будете говорить?

«И он воспитывает меня? И он считает, что воспитывает? — почему-то удивленно подумал Сергей, и в сознании мелькнуло одновременно: — Сказать? Выступить? Признать? Значит, отказаться от всего? От всего?» И, переборов молчание, он ответил:

— Нет.

И, ответив это, зачем-то взглянул на стучащие в серой пелене часы и, когда вынул сигарету из смятой в кармане пачки, сигарету, на вкус неощутимую им сейчас, и зажег быстро спичку, подумал еще: «3 часа 21 минута. Все!»

В 3 часа 22 минуты началось голосование. Пятеро проголосовали за исключение, двое за выговор — Морозов и малознакомый паренек в футболке; Косов и кто-то молчаливый, тихий, на кого он не обратил внимания, воздержались.

— Исключить из членов... членов Вэ-Ка-Пе-Бэ... — донесся до Сергея речитативом плывущий голос Свиридова, диктующий в протокол.

Было душно.

«Этого никогда не будет, чтобы ты грузила уголь, никогда не будет...»

Все кончилось. Ему казалось, кабинет давно опустел, а он еще слышал звук отодвигаемых стульев, негромкие голоса выходивших людей и, когда увидел медленной развалкой подошедшего Косова, сказал шепотом:

— Потом, Гриша, потом.

А рядом — шорох надеваемых пиджаков, сдержанный говор, шаги, кто-то рвал листки с записями, но его не интересовало, что делают, говорят эти люди, и он не смотрел на них, он не мог смотреть на них. Ему хотелось

одного — чтобы они как можно быстрее, немедля, ушли отсюда, из этой комнаты, где было партбюро: ему необходимо, ему нужно было все сказать этому добряку директору Луковскому. В те длительные секунды, когда происходило голосование, неожиданно появилась мысль: да, нужно что-то делать. И он понял, что́ теперь следовало делать,— ему нельзя было больше оставаться в институте, уйти из института... здесь уже не было для него места. Уйти, не раздумывая, потому что немного позже его попросил бы об этом Луковский.

Он курил, и ждал, и еще находил в себе волю, чтобы сидеть здесь и ждать, пока все выйдут из кабинета. У него удушливо давило в горле, и мерзко подташнивало от выкуренной пачки сигарет. Потом сразу стихло в кабинете. Тогда он встал, и задетая им пепельница соскользнула с подлокотника кресла, упала мягко, без стука, окурки высыпались на ковер. Он не хотел подбирать их.

— Ну что еще? Что еще?

В опустевшей комнате, перед дверью, выжидая, сложив перекрещенные сухощавые кисти на костыльке, стоял Свиридов, подозрительно и изучающе смотрел на Сергея.

— Что?— спросил он строго.— Обиделся? Ты что ж, на партию обиделся? Ты думаешь, мы против тебя боролись? А? Мы за тебя боролись. Партия воспитывает, а не карает. Чтобы ты понял, что член партии...

— Вы что думаете, партия состоит из таких дубарей, как вы? — выделяя слова, сквозь зубы проговорил Сергей.

— Ты...— Свиридов угрожающе ковыльнул к нему, упираясь в костылек, синева залила впалые щеки, рот стал плоским.— Ты с-мотри!

— «Вы», а не «ты». Я вступил в партию потому, что видел не таких, как вы! А вам бы я и коз пасти не доверил, а не то что возглавлять парторганизацию. Впрочем, когда-нибудь вам и коз не доверят!

— Молчи, Вохминцев!..— Свиридов ударил костыльком об пол.— Ты что? Ты что?

— Я отказался от последнего слова. Это последнее.

И Сергей, боясь не сдержать слезы, жестким комком застрявшие в горле, подошел к столу, взял листок бумаги, карандаш и, не садясь, останавливая рвущийся, скачущий почерк, написал:

«Директору Московского горно-метал. ин-та
проф. *Луковскому*

Прошу отчислить меня из ин-та в связи с семейными обстоятельствами.

Студ. 3-го курса *Вохминцев*».

В коридоре, впиваясь в пол, стучал, удалялся костылек Свиридова.

— Вы, дорогой мой, ждете меня?

— Вас. Вот возьмите.

— Что это? Позвольте, дорогой...

Надевая мундир, застегивая пуговицы, профессор Луковский, проворно втискиваясь брюшком между стульями, приблизился к своему креслу за огромным письменным столом со статуэткой шахтера над чернильным прибором, упал в кресло, его косматые брови взметнулись и приоткрыли наконец глаза, добрые, усталые.

— Что ж это, а? Как же это, а? Зачем же вы, дорогой мой? Прекрасный студент, умный ведь вы малый, а что наворотили. Зачем вам нужно было... хм... скрывать, оскорблять... ммм... Уварова... ведь тоже прекрасный студент, активист, выдержанный человек. Ай-ай-ай, Вохминцев... Горняки, будущие инженеры, властелины земли. И зачем вы это настрочили? Вгорячах? Мм? Ну признайтесь. С обидой махнули: на́ вот тебе, ешь!

Луковский качал седой львиной головой своей, читая огорченно заявление на столе, и, весь домашний, доброжелательный, был участлив, расстроен, и это особенно неприятно было видеть Сергею. Он сказал официально:

— Я прошу вас подписать мое заявление, профессор. Я многое делал вгорячах, но это совершенно осмысленно.

— Прекрасные студенты, умницы, вы же станете гордостью горного дела... Надежда, так сказать. Да, убежден. И как же это вы, Вохминцев, а? Сначала от практики отказались... Потом...— Луковский махнул белой маленькой детской ручкой, произнес не без досады:— Партбюро... и исключили ведь. А? Пятерки... ведь пятерки, ведь пятерки у вас. Помню отлично.

— Я прошу подписать мое заявление, профессор.

Он подумал о том, что Луковский искренне не хочет подписывать заявление, но также был уверен, что завтра

придет к нему Свиридов, стуча своим костыльком, и он, Луковский, подпишет все, что тот потребует от него.

— Ай-ай-ай, молодежь!.. Один стишки, другой это вот сочинение принес. А! Читай, мол, старик, как разбегаются студенты. А о жизни, о профессии думаете? Или так все? Шаляй-валяй? Вы что же, изменяете профессию? Разочаровались?

— Вячеслав Владимирович!

— Как же это... хм! Как же это случилось, Вохминцев, дорогой вы мой? Мм? И что же мне делать, вашему директору?

— Случилось так, профессор, что подлец выиграл бой,— ответил Сергей как можно спокойней.— И во многом руками умных людей. До свидания. Я зайду еще.

Он шел по длинному коридору, он почти бежал мимо пустых аудиторий, бесконечные стены мелькали серой лентой, разрезанной световыми квадратами окон, а его словно что-то гнало, торопило — скорее, скорее выйти, выбежать отсюда...

— Вохминцев!

Он вздрогнул от оклика. За поворотом коридора на лестницу из закутка безлюдной студенческой курилки поднялся со скамейки неуклюже высокий, нахмуренный доцент Морозов и, не глядя в глаза, кожаной папкой перегородил путь.

— Сергей, слушайте,— выговорил он.— Вечером, часов в десять, зайдите ко мне домой. Сегодня.

— Зачем же это?— не понял Сергей. Морозов был неприятен ему сейчас.— Не ясно, Игорь Витальевич. Зачем?

— Мне надо поговорить с вами. Зайдите. Я буду ждать.

— Благодарю вас. Я не приду.

Он вышел на бульвар.

Свет солнца на песке, пятна теней на аллеях, голоса детей, шумно скользящий поток машин за железной оградой, слитый гул улицы — все это была свобода, ощущение жизни, ее звуков.

Но он еще жил, думал в собранном, как оптическим фокусом, мире и не мог выйти из него. Он пошарил по карманам — осталась последняя измятая сигарета в пачке,— сел на теплую скамью, располосованную тенью, и кажется, сбоку отодвинулась незнакомая девушка в сарафане, в босоножках, с развернутой книгой на коленях, взглянула на него мельком.

А он смотрел на институт за бульваром, враждебно и пусто блестевший этажами окон.

«Ну что же, как же теперь? Что теперь?» — спросил он себя и неожиданно, как бы чужой памятью, вспомнил о записке Константина, вынул ее из бокового кармана — узкий почерк был небрежен, мелок, неразборчив.

«Серега!

В 11.30 уезжаю в Тульский бассейн (7-я экспериментальная шахта, последнее слово техники) на лето. Уезжаю с чертом в печенках, но ехать надобно.

Под радиолой найдешь мою сберкнижку с доверенностью на твое высокое имя. Там кое-что осталось — все мои капиталы от шоферской деятельности. Я все лето на государственных харчах, ресторанов там, ясно, нет. Мне эти гроши — до феньки. Тебе с Асей могут понадобиться. Этот старикан, профессор из Семашки, берет 150. Жужжит, если на рубль меньше. Я его предупредил — пусть заваливается без вызова.

Серега! Я все ж тебя люблю, хотя ты никогда не относился ко мне всерьез, бродяга. И даже не рассказал, что у тебя. (Хотя знаю — ты в сорочке родился.) Ты просто думал, что в башке у меня — джаз и распрекрасные паненки. Бог тебе судья!

Обнимаю тебя, старик. Привет и выздоровления Асе.

Твой *Костька.*

Если что, стукни телеграмму, и я брошу все и явлюсь перед светлыми очами твоими. Хотя знаю, что телеграмму ты не стукнешь. Я понял это тогда вечером.

Еще раз обнимаю, старик!»

Они вместе должны были ехать на 7-ю экспериментальную...

Как нужен был сейчас ему Константин с его смуглой донжуанской рожей и ернической улыбкой, с его полусерьезной манерой говорить и его набором пластинок, броско-модными ковбойками, яркими галстуками, с его безалаберностью и его привычкой покусывать усики и независимо щуриться перед тем, как он хотел сострить! Нет, ему нужен был Константин, нет, без него он не мог жить.

Он перечитал записку; девушка в сарафанчике закрыла книгу, испуганно взглянула, когда он, застонав, откинулся затылком к спинке скамейки и сидел так зажмурясь.

— Вам плохо, может быть?..— услышал он робкий голосок.

— Что? Что вы! Жара... Вы видите, какая жара...— Он постарался улыбнуться ей.— Нет, нет, не беспокойтесь...

— Простите, пожалуйста.

Она встала, одернула сарафанчик; поскрипывая босоножками, пошла по аллее, часто оглядываясь.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Целый день он бродил по городу.

Раскаленный асфальт, удушливо горький запах выхлопных газов от проносившихся мимо машин, знойные улицы, бегущие толпы на перекрестках, очереди у тележек с газированной водой, брезентовые тенты над переполненными летними кафе, дребезжание трамваев на поворотах, скомканные обертки от мороженого на тротуарах, разомлевшие потные лица — все это перемешивалось, передвигалось, город жил по-прежнему, изнывал от жары, и ломило в висках от блеска, от гудения, от запаха бензина.

Уехать!.. Куда? У него три курса института. Уехать, да, уехать немедленно, на шахту в Донбасс, в Казахстан, в Кузнецкий бассейн, на Печору! Что ж, он сможет работать шахтером, он знает неплохо горное дело. Новые люди, новая обстановка, новые лица... Работа... Его она не пугает: уехать!.. А Ася? А Нина? Уехать, бросить все? Это невозможно!

Почти инстинктивно он зашел на углу универмага в автоматную будочку, всю накаленную солнцем, снял ожигающе нагретую трубку, механически набрал свой номер и, когда зазвучали гудки, тотчас же нажал на рычаг — что он мог сказать Асе сейчас?

Он постоял, глядя на эбонитовый кружок номеров, потом с мучительной нерешительностью, с заминкой, набрал номер Нины. Гудки, гудки. Щелчок монеты, провалившейся в автомат. Голос:

— Алю-у, Нину Александровну? Нету ее...

И он повесил трубку, обрывая этот голос.

Он захлопнул дверцу автомата, сознавая, что недоделал, не решился на что-то, и медленно побрел по размякшему под солнцем асфальту.

«Уехать? От всего этого уехать? От Нины, от Аси? Невозможно. Не могу!.. А как же жить? Что делать?»

В поздних сумерках он сидел в кафе-поплавке напротив Крымского моста, пил пиво, курил — не хотелось есть,— глядел на воду, обдувало предвечерней свежестью, небо багрово светилось над гранитными набережными; городские чайки вились над мостом, садились на воду, визгливо кричали; вокруг скользких мазутных свай причала течение покачивало щепу, пустые стаканчики от мороженого, обрывки бумаги — и уносило под мост, где сгущалась темнота.

«Почему люди любят смотреть на воду?— спрашивал он себя.— В воде перемена, тяга к чему-то? Тяга к счастью, что ли? Но почему человеческая подлость живет две тысячи лет — со времен Иуды и Каина? Она часто активнее, чем добро, она не останавливается ни перед чем. А добро бывает жалостливо, добро прощает, забывает. Почему? Социализм — это добро, вытекающее из развития человечества. Коммунизм — высшее добро. А зло? Впивается клещами в наши ноги. Как могут быть в партии Уваров, Свиридов, тот старший лейтенант? Может быть, потому, что есть такие, как Луковский, Морозов?.. Морозов, Морозов... «Зайдите ко мне. Надо поговорить». О чем?»

Он не допил пива и расплатился.

— Пришли, Сергей? Очень хорошо, я вас ждал. Очень ждал. Я был уверен, уверен, что вы придете. Садитесь вот здесь. Хотите выпить, Сергей? Вы будете водку или коньяк?

— Благодарю. Я ничего не хочу.

— Ну как же так, если уже... Я бы хотел с вами... Вы можете побыть немного у меня?

— Вы просили, чтобы я пришел?

— Я вас ждал, Сергей. Я вас ждал.

Был Морозов в пижаме, куцей для его длинной сутуловатой фигуры, неудобно как-то торчали кисти рук, видны были безволосые голые ноги в стоптанных шлепанцах. Говоря, Морозов сгибался около низкого столика, на котором в тарелках нарезаны были колбаса, сыр, неловко ввинчивал штопор в коньячную бутылку, казалось, был углубленно занят этим.

Тесный кабинет Морозова в его квартире на Чистых прудах сплошь забит книжными шкафами, тахта со смятыми газетами, письменный стол перед раскрытым окном

завален горами книг, рукописей, на тумбочке возвышалась миниатюрная, сделанная из железа модель копра. Тюлевая занавеска шевелилась, легко надувалась ветром над столом, касаясь рукописей, сквозь эту занавесь точками проступали огни над черными Чистыми прудами.

В квартире тишина. Слышно было, как прошумел, поднялся лифт на верхний этаж.

«Нужно ли было приходить?— подумал Сергей, следя неприязненно за неловкой возней Морозова с бутылкой.— Он ждал?»

— Я никогда не думал... Делают пробки! Крошево, шлак!— вскричал Морозов, задергав штопор.— И ни к богу! Протолкнуть ее, что ли?

— Сразу видно, что вы не воевали в конце войны,— сказал Сергей.— Дайте я открою. По вашему умению вижу: часто пьете.

Он выбил пробку ударом о дно, поставил бутылку на стол.

— Я просто хочу с вами выпить, да, выпить!— заговорил Морозов, быстро наливая в рюмки, расплескивая коньяк.— С некоторого времени я пью сухое вино, но хочу дербалызнуть коньяку. С вами.

— А за что именно?— Сергей усмехнулся.— Это странно... Преподаватель пьет со студентом. Завтра Свиридов состряпает личное дело — лишь стоит узнать. Не опасаетесь?

— Пейте, Сергей!

— Я не хочу. Благодарю.

Морозов выпил поспешно, неумело, скривился, ткнул вилкой в кружочек колбасы, торопливо пожевал, снова налил и, чокнувшись, снова выпил как-то по-мальчишески, неаккуратно, будто хотел скорей опьянеть. Сергей наблюдал за ним с насмешливым удивлением, но не выпил, закурил только.

— Дайте, что ли?— сказал Морозов и потянул из пачки на столе сигарету.— Тысячу раз бросаю курить и никак. У меня в войну после завала на «Первой», в Караганде, легкие малость — да бог с ним! Дайте прикурить.

— Вот спички.

— Пейте. Почему вы не пьете?

— Думаете, Игорь Витальевич, только так можно состряпать откровенный разговор?

— Оставьте, Сергей. Мне просто захотелось с вами выпить. Вы слишком прямой парень, чтоб мне подумать... Не будем банальными идиотами. Вы знаете, как я отношусь к вам,— вы способный человек, и это я всегда ценил. Что уж там — вы сами замечали. Студент чувствует, как относится преподаватель.

— Ну и что?— спросил Сергей.— И что же вы, интересно, думаете об Уварове? То же самое?

— Трудно думаю, Сережа, сложно. Да. Но тактически, если хотите, он был ловчее вас. Опытнее. Не знаю всего, но чувствую, этот парень ловко и неглупо устраивает свою жизнь. Мало кто поверил ему, но чаша весов склонилась в его сторону. Вы понимаете? Все было против вас. Он понял обстановку и выбрал удар наверняка.

— Какую он понял обстановку?

— Пейте, Сережа. Я не могу пить один. Пейте, закусывайте и наматывайте на ус. Еще ничего не кончено.

— Благодарю. Я не хочу. Какую он понял обстановку?

Морозов, похоже, хмелел, лицо его не розовело, а бледнело, он встал и заходил по комнате своей ныряющей неуклюжей поступью, шаркая по паркету шлепанцами.

— Это особый разговор. Есть много причин, которые влияют на обстановку...

— Каких причин?— спросил Сергей.— И почему они влияют?

— Не знаю. Это сложный вопрос. Возможно, тяжелая международная обстановка, могут быть еще и внутренние причины, не знаю. Но идет борьба... И все напряженно. Все весьма напряженно сейчас. А в острые моменты у нас часто не смотрят, кому дать в глаз, а кому смертельно, под микитки. И иные поганцы, учитывая это, делают свое дело, маскируясь под шумок борьбы. Здесь мешается и большое и малое. Вот как-то раз после лекции подходит ко мне Свиридов. «Есть сигнал от студентов — не слишком ли много рассказываете о новейших машинах Запада? Считаю, все внимание отечественной технике должно быть, подумайте о сигнале».

— Свиридов!— повторил Сергей и придвинул к себе пепельницу.— Такие, как Уваров и Свиридов, подрывают дело партии, веру в справедливость. А вы понимаете всё, молчите и оправдываетесь международной обстановкой и иными причинами. Неужели вас перепугала фраза Свиридова?

— Нет, не перепугала. Но я ответил, что подумаю,—

покривился Морозов.— Хотя, как вы знаете, в моих лекциях западной технике уделено мизерное внимание. Свиридов прям, как линейка. И он тупо, по-бычьи проводит борьбу за идейную чистоту института. «Факты, факты!» Не учитываете, что нашлись бы один-два студента, которые написали бы: да, в лекциях доцента Морозова были космополитические тенденции. И пока суд да дело, очень жаль было бы отдавать кафедру какому-нибудь патентованному дураку, который выпускал бы недоучек. Здесь я приношу пользу, это я знаю не один год. Не будете возражать?

— Нет.

— Несмотря ни на что, человек должен приносить пользу.

— Игорь Витальевич, зачем и к чему говорить здесь прописные истины? Именно для этого вы позвали меня — с воспитательной целью? К черту летит все ваше умное молчание, когда ломают кости! А вы мне вкручиваете что-то похожее на проблему разумного эгоизма. Я это читал еще в девятом классе. На черта она мне!

Морозов зашаркал шлепанцами по комнате, серые небольшие глаза его смотрели на Сергея грустно.

— Хочешь сказать, почему я молчал?— спросил он тихо, переходя на «ты».— Почему?

— Нет. Это мне ясно.

— Не совсем. Тактически создался очень неудобный момент. Поверь, я немного опытнее тебя. Так я молчал, потому что весь бой за тебя впереди. Хотя и не знаю, чем он кончится. Если бы ты не скрыл об аресте отца...

— Я уверен и всегда буду уверен, что отец невиновен. Вы же понимаете, что мое заявление об аресте отца — это расписка в моей трусости.

— Все понимаю. Но есть факт, как говорит Свиридов. Объективный факт. И очень серьезный. Беспощадный. Но весь бой еще впереди.

Наступило молчание. Было слышно, как среди безмолвия дома опять прошел с шорохом лифт, на верхнем этаже стукнула дверца.

— Поздно!— проговорил Сергей и внезапно взял рюмку, наполненную коньяком.— Ваше здоровье!— чуть усмехаясь, сказал он несдержанно-вызывающим голосом.— Я все равно знаю, что когда-нибудь буду в партии. Я все же вступал в нее не в счастливый момент. А в сорок втором. Под Сталинградом.

— Что «поздно»? спросил Морозов.— Не понял. Что «поздно»?

— Я уезжаю, Игорь Витальевич,— сказал Сергей, сильно сжимая в повлажневших пальцах рюмку.— Как говорят — в жизнь. Что ж, поеду куда-нибудь в большой угольный бассейн... Вот вам и ваша польза — горные машины. Не примут забойщиком, не возьмут на врубовку, на комбайн, пойду рабочим, на поверхность — уголь грузить. Посмотрю...

— Куда?

— Еще не знаю. Все равно. Лишь бы шахта. Что ж, давайте за это выпьем, Игорь Витальевич.

Огни над Чистыми прудами по-ночному просвечивались сквозь надуваемую ветром тюлевую занавеску. И эта уютная комната на третьем этаже, с умными книгами на полках, с тахтой, рукописями, коньяком, рюмками на столике и разговор этот — все вдруг показалось отрывающимся от него. Да, были за тесной комнаткой на Чистых прудах другие города, иные люди, лица, в это мгновение все, что он мог вообразить, отчетливо существовало, было где-то, а решение ехать представлялось непоколебимым, единственно верным—и возникло минутное облегчение.

— Что ж, давайте за это, Игорь Витальевич. А не за разумный эгоизм!

Но Морозова не было рядом; он в раздумье сел за письменный стол, отодвинул груду книг, рукописей, горбато ссутулив костистые плечи, стал что-то нервно, скоро писать, не оборачиваясь, ответил:

— Пей. Я мысленно.

Сергей, однако, держа рюмку, поставил ее обратно, не выпив,— глядел в молчании на Морозова. Странно было: тот сутулился, как человек, привыкший работать над книгами, но громоздкие плечи, спина в несоответствии с этим выглядели грубовато-шахтерскими, недоцентскими.

— Вот,— проговорил Морозов, подходя, провел языком по краю конверта.— Вот!— И он, плотно припечатывая ладонью, поспешно заклеил конверт на столике.— Мой совет тебе: езжай в Казахстан,— прибавил Морозов отрывисто.— На «Первую». В Милтуке. Передашь письмо секретарю райкома Гнездилову Акиму Никитичу. Здесь все указано: адрес и прочее. Я проработал с Гнездиловым пять лет. Да, был у него главным инженером. Езжай! И вот что еще, знаешь ли...— Морозов с неуклюжестью

выдвинул ящик, вытянул из-под бумаг пачку денег.— И вот, знаешь ли, на первый случай... Да, видишь ли, таким образом...

— Не надо. У меня есть. Почему-то все мне предлагают деньги.

— Ну вот... Теперь выпьем, Сергей.

— Что ж, давайте.

Он медленно, поглаживая перила, вдыхая знакомый запах лестницы, поднялся на второй этаж и здесь, на площадке под тусклой запыленной лампочкой в сетке, увидев знакомые до трещинок, старые, обшарпанные стены перед дверью, переждал немного, не находя в себе сразу решимости нажать кнопку звонка,— все, мнилось, исчезнет, оборвется, упадет куда-то в черноту бездны: и стены, и почтовый ящик, и лампочка в сетке, и ее шаги, и шуршащий звук платья, и всегда обрадованно сияющие глаза навстречу ему, и голос ее: «Ты?» И с тем, что он не будет приходить сюда, не мог, не хотел согласиться и не мог, не хотел поверить, что они расстанутся надолго.

Он знал: это было самым страшным, что могло еще произойти в его жизни.

Сергей нажал кнопку звонка, и, когда дверь открылась, он все еще как будто не в силах был представить, что она по-прежнему здесь.

Нина стояла в передней. Он обнял ее молча и даже зажмурился, ощутив знакомый запах теплых волос.

— Что? Что?

— Я люблю тебя... И больше ничего... И больше ничего...

— Сережа, что?

— Я люблю тебя,— повторял он с сжимающей горло нежностью, прижимая ее к себе, чувствуя напряжение ее тела, дрожь ее пальцев на своей спине.

— Что? Что? Мне страшно, Сережа...

— Я люблю тебя. Я люблю тебя!..

— Что, Сережа, что?..

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Это письмо-записку — свернутый, помятый, грязный треугольник без штампа, без печати — он вытащил утром из почтового ящика, и потом, когда читал его, едва

разбирая написанные химическим карандашом и рвущим бумагу неузнаваемым почерком неясные слова, он еще не до конца сознавал, что это письмо отца, что это его так неузнаваемо изменившийся почерк, а когда прочитал и разобрал слабую, убегающую вниз, к обрезу грязного листка, подпись отца, он подумал, что за одну встречу с ним, за то, чтобы увидеть его хоть раз, он мог бы отдать все.

«Дорогой мой сын!

Прости меня, если то, что случилось со мной, отразится на твоей судьбе, на судьбе Аси, на вашей молодости.

Верь, что я всегда любил тебя, Асю, мать, хотя ты никогда не хотел простить мне ее смерти. И многое ты не мог простить мне после войны. Я помню твою неприязнь, твой холодок ко мне, а я ничего не мог сделать, чтобы его разрушить. Мы не совсем понимали друг друга, и в этом моя вина, только моя.

Мой дорогой сын Сергей!

Если ты когда-нибудь узнаешь, что со мной что-нибудь случится,— верь, что я и другие были жертвами какой-то страшной ошибки, какого-то нечеловеческого подозрения и какой-то бесчеловечной клеветы.

Что ж, и смерть, мой сын, бывает ошибкой. Ты знаешь это по войне. Нет, самое страшное не допросы, не грубость, не истязания, а то, когда человек не может доказать свою правоту, когда силой пытаются заставить подписать и уничтожить то, что он создавал и любил всю жизнь. Все должно кончиться, как ошибка, в которую невозможно поверить, как нельзя поверить, что все чудовищное, что я видел здесь, прикрывают любовью к Сталину.

Поверь мне, что я невиновен.

Поверь мне, что я коммунист, а не враг народа, как тебе будут говорить обо мне.

Поверь мне, что для меня дело партии — это все мое, чем я жил.

Что бы ни было, мой сын, будь верен делу революции, только ради этого стоит жить! Я верю в твою непримиримую честность.

Люби Асю. И береги ее. Она еще ребенок.

Придет время, и оно, мой сын, само разберется в судьбах правых и виновных.

И прости мне то, что мне не хватало сил быть образцом для тебя. А каждый отец хочет этого.

Помни, что я всегда любил вас.

И последнее... Я понял, что должен уехать очень далеко...

Крепись и не горюй. Смерть — не самое страшное...

Твой *отец*».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В сумерках Сергей вошел во двор института. Огромное здание проступало в сером воздухе, и там было тихо, пусто, сумрачно, лишь за деревьями светилась единственная полоса окон на втором этаже — то был читальный зал библиотеки.

Подняв воротник плаща, Сергей стоял на институтском дворе под тополями, капли пробивались сквозь листву, ударяли по плечам, по лицу его — неприятно холодили брови влагой, и слегка знобило от дождевой сырости.

Целый день он бродил по дождливому городу, без цели шагал по лужам, потом в сумерки начал петлять по мокрым и узким переулкам вокруг института, но, когда увидел со двора яркую электрическую полосу окон читального зала, как бы оборвалось все: лекции, экзамены, разговоры в курилках в конце коридора, горные машины, полуночный треп Косова и Подгорного в общежитии, куда он вместе с Константином заходил иногда поздним вечером, заходил просто так...

«Значит, всё? Это — всё?»

Став под деревьями, он посмотрел в глубину институтского двора, на флигельки общежития, теперь тоже опустевшего,— под желтыми окнами морщилась, лопалась дождевая вода на асфальте.

И не хлопали двери, не звучали голоса — везде было безлюдно.

Он пришел сюда, чтобы увидеть Косова и Подгорного,— знал, что они уезжали сегодня на практику в Донбасс, и он хотел их увидеть.

Когда, миновав двор с прилипшими к асфальту листьями, он на миг заколебался перед дверью общежития, а затем ступил через порог в коридор, освещенный одной матовой лампочкой, остро и едко пахнуло навстречу нежилой обстановкой: темнели сдвинутые к стенам столы, на них — оголенные сетки вынесенных кроватей, зашуршала

заляпанная известью бумага под ногами, загремела пустая консервная банка; здесь был сыроватый запах ремонта.

На двери во вторую комнату острием заржавленного рейсфедера было приколото объявление: «Убедительно просим коменданта не беспокоить и не врываться. Уедем сами. У нас час отдыха. Спасибо за внимательность. С почтением Косов, Подгорный, Морковин».

Сергей усмехнулся, толкнул дверь.

В комнате был хаос: всюду чернели кроватные сетки, матрацы вздыблены, свернуты в рулоны, на тумбочках кипами лежали старые конспекты, стол завален обрывками чертежей, на подоконниках валялись пузырьки из-под туши — и здесь был тот же ремонтный беспорядок.

Час отдыха заключался в том, что в дальнем конце комнаты, на голой сетке, навалив под голову стопу учебников, лежал, вытянув ноги в носках, Подгорный и задумчиво курил, на ощупь стряхивая пепел в горлышко бутылки от пива, стоявшей на полу.

Рядом в широких и длинных болтающихся трусах, в майке, потно прилипшей к толстой спине, возился, трещал деревянным, как сундук, чемоданом Морковин, он наваливался коленом на крышку, дышал озлобленно: в чемодане что-то не умещалось. Подгорный не обращал на него внимания.

— Здорбво,— сказал Сергей.— Час отдыха? А где Косов?

Он остановился посреди комнаты, руки в карманах, с плаща капало, капли шлепали по газетам на полу.

Подгорный быстро повернул лицо к нему, глаза округлились, лоб пошел гармошкой; и приподнялся, уставясь на ботинки Сергея, обляпанные грязью.

— Здоров... Сережка! Ты к нам?..

Морковин вскинулся возле чемодана, переступая толстыми, чуть кривоватыми ногами, учащенно замигал рыжими ресницами и, хлюпнув носом, спросил с изумлением:

— Это как же? Значит, исключили тебя? И ты как? И на практику не едешь?

Подгорный затолкал окурок в горлышко бутылки, оборвал его ядовито:

— Ты бачил, Сережка, морковинский сундук? Думаешь, он горную литературу везет? Заблуждение. Старые галоши, разбитые ботинки, драные рубахи — як собака рвала, а все в сундук кладет. Хозяин! Пригодится на прак-

тике. А ты думал! Он знает. Три часа укладывает. Во, погляди, Серега. Да еще на сундуке замок. Он у нас голова-а! Мыслитель! Аж над башкой сияние.

— Отцепись! — Морковин шмыгнул носом, не отводя взгляда от Сергея.— И на практику уже не едешь? — вторично спросил он, съеживаясь.— Значит, всё теперь? Что же тебя, выключили?

Он, видимо, наивно не понимал, как могло случиться это с Сергеем, и Сергей, осматривая комнату общежития, молчал, точно необычным был его приход сюда, куда часто приходил он прежде.

— Вот, заметил? Над башкой нимб мыслей. Сокра-ат! И за что ему четверки ставят, мыслителю калужскому? — съязвил Подгорный.— Садись, Сергей. Ну що стоишь? Григорий по «Гастрономам» бегает. Консервы на дорогу... Сейчас прибудет.— Он вроде раздраженно покачался на кровати, зазвенел пружинами.— Слухай, Морковин, шел бы ты погулять по коридорам. Ну погуляй, погуляй, хлопче!

— Не лезь! — зло огрызнулся Морковин.— Куда ты меня выгоняешь?

И демонстративно сел на чемодан, выставив крупные колени.

— Да! — Подгорный тоскливо перекатил глаза на Морковина.— Бес его возьми, ведь через два часа уезжаем. Слышь, Сережка, через два...

— Значит, через два часа? — проговорил как бы про себя Сергей и, не вынимая рук из карманов, зашагал по комнате; под его ногами шелестела бумага, сырой плащ задевал за угол стола, за спинки кроватей; он, казалось, пьяно, по-больному пошатывался; лицо за эти дни осунулось, похудело. Потом он задержался против окна, вынул одну руку из кармана, зачем-то начал трогать, переставлять на подоконнике пустые пузырьки из-под туши, сказал, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Ладно. Собирайтесь. Мешать не буду. Косова подожду, прощусь и поеду спать.

Голос Подгорного прозвучал за его спиной:

— Ты шо думаешь делать?

— Что делать? — повторил Сергей, все переставляя пустые пузырьки.— Уеду на шахту. Буду работать. Это все.

— Шо-о?

— Что тебя удивляет, Мишка?

— Значит?..

— Когда человека исключают из партии, его исключают и из института,— ответил Сергей, подбросил и поймал пузырек, поставил его на подоконник.— Тебе что — это неизвестно? Я подал заявление. Не стоит ждать, когда Свиридов напомнит об этом Луковскому. Я все понимаю, Мишка. И ты все понимаешь. Не надо удивляться!

В ту же минуту он повернулся от окна — раздались шаги в коридоре, дверь распахнулась: Косов в намокшем старом бушлате не вошел, а шумно, отфыркиваясь, ввалился в комнату, держа две авоськи, набитые банками консервов, свертками, бушлат был не застегнут, шея и грудь розовы, мокры, насечены дождем. Он с размаху грохнул авоськи на стол, сдернул флотскую фуражку, отряхивая ее, крикнул весело:

— Братцы, на улицах штормяга! Шлепал по «Гастрономам» каботажным рейсом на полный ход, вгрызался в очереди, что твоя врубовка. Иес, сэр, овер ол![1] А ну кинь кто-нибудь закурить! Сережка? И ты тут?

Он увидел Сергея, веселое выражение стерлось с загорелого лица его, косолапо, вразкачку, как ходил по морской привычке своей, не желая отвыкать, ринулся к нему, стиснул его кисть.

— Салага, черт! Я искал тебя два дня! Оборвал в автомате телефон. Где ты пропадал? Мы же сегодня отчаливаем...

— Я знаю, что ты звонил.

— Салага ты. Пакостная морда. Кустарь-одиночка. Вот кто ты! Исчез — и концы обрубил. За это шею бьют! Спасибо, что пришел!

Косов на радостях, не выпуская сразу Сергея, рванул его к себе, как всегда, играя силой, заговорил, всматриваясь в его лицо:

— Неужто все-таки на меня обиделся? Или чихнул на всех левой ноздрей через правое плечо? Этого не знал за тобой. Ты копилка за тремя замками. Копилка. Если обиделся — скажи в глаза, чего крутить?

— Какая обида! Пошел ты... знаешь? — Сергей выдернул руку из маленьких железных пальцев Косова, хмурясь, достал пачку сигарет, проговорил: — За что мне на тебя обижаться? Ну что смотришь? Бери сигарету.— Косов ногтями вытянул сигарету.— Черта в сумку! Я еще не умираю, Гришка.

---

[1] Да, сэр, все наверх! *(англ.)*

— Идиотские дела, старик,— сказал Косов.— Все както через Пензу в Буэнос-Айрес. У нас часто зуб дергают через ухо. Вот что я тебе скажу.

— Тут на кровати Холмин спал,— как-то не очень внятно пробормотал Морковин, заворочавшись на своем чемодане.— Вот тут он... Знаешь, Сергей?

— Здесь? — Сергей покосился на кровать.

— На этой,— мрачно ответил Косов.— Его переселили из третьей комнаты к нам, пожил пять дней — и амба! Тихий был парень, в очках, без конца читал Маркса и Гегеля. Причем на немецком языке. Читал и курил. Две пачки «Памира» выкуривал в день. Был с виду пацаненок.

— Его... здесь арестовали?

— Нет. Но сюда приходили ночью двое с комендантом и перерыли всю тумбочку и весь матрац.

— Между прочим, имел интерес... интерес имел Уваров к стихам цего Холмина,— сказал Подгорный, со стуком высыпал на стол из одной авоськи банки консервов, договорил вроде между делом: — Частенько приходил: ты, говорят, стихи отлично пишешь, дай почитать. А Холмин все любовную лирику Морковину читал. А контрреволюцию он тебе читал, ну?

Жмуря золотистые глаза, он глянул на замершего Морковина — тот, запинаясь, ответил шепотом:

— Какую контрреволюцию?.. Он про природу стихи писал. А никакой контрреволюции не было.

— Понимай шутки, Володька. Без шуток, браток, тяжело будет на свете жить,— серьезно сказал Подгорный, выволок из-под кровати потертый чемодан, стал как камни кидать туда банки консервов.— Продукты у меня. Назначаю себя завскладом.

И с такой силой захлопнул крышку чемодана, что задребезжали пружины на кровати.

Подгорный разогнулся, длинное смуглое лицо сумрачно, угольно-черные брови сошлись над тонкой переносицей.

— Ты чего молчишь? — спросил он Косова.

Косов ходил кругами по комнате, в расстегнутом бушлате, покачивая плечами, раздумывая, дым сигареты таял за спиной. Услышав слова Подгорного, спросил рассеянно:

— Что?

— Сережка уходит из института,— неудивленно объяснил Подгорный.— Слышал? И вообще...

— Тебе что — предложили? — спросил Косов, дернув ворот рубашки, словно бы жарко было ему.

— Не предложили, но предложат,— сказал Сергей.— Это ты знаешь.

У Косова что-то дрогнуло в лице.

— Знаю! Но ты думаешь, старик, что так все время будет? Знаешь, я ходил в войну на Балтике, такие ночные штормяги бывали — штаны трещат. Вспомни, чертов хрыч, сколько раз казалось на фронте — все, конец, целовались даже, как перед смертью. И все проходило. Да что я тебя агитирую за Советскую власть! Я тебя лозунгами прошибать не буду! Знаешь, что главное сейчас — бороться, но не наворотить глупостей, не подставлять под удар задницу.

Твердый голос Косова отдавался в ушах Сергея, а Косов, все раскачиваясь, цепкой походочкой ходил странными спиралями вокруг стола, рубил маленьким кулаком воздух. Сергей чувствовал озноб на затылке, он зяб, руки в карманах плаща не согревались, и болью резал по глазам свет оголенной — без колпака — лампы, висящей на шнуре над столом. И черный бушлат Косова, черные окна с потеками дождя, голые кровати со свернутыми матрацами —все было неуютно, тускло, обдавало его сырым сквозняком, и не верилось, что Косову было жарко — грудь обнажена под бушлатом, не верилось, что в этой сырой комнате Морковин в трусах сидел на своем холодном по виду чемодане и затаенно снизу вверх глядел то на Косова, то на Сергея.

Сергей спросил:

— Хочешь сказать — мне не уходить из института? Ждать, когда Луковский попросит? Хватит! Хватит, Гришка! Я не пропаду... Будет время — кончу институт. Думаешь, я с охотой ухожу? Разыгрываю оскорбленную гордость?

— Забываешь про нас! — разгоряченно сказал Косов и качнулся к Сергею.— Я соберу ребят, мы пойдем к Луковскому, в райком...

— Мне Свиридов сказал.— Сергей усмехнулся.— Мое исключение — это борьба за меня. Партия не карает, а воспитывает.

— Партия— это не Уваров и Свиридов, леший бы задрал совсем! — крикнул Косов.—Партия — это миллионы, сам знаешь. Таких, как ты и я!

— Но в райкоме верят Свиридову...

— Мы слишком много учитываем и мало действу-

ем! — не дал договорить Косов.— А надо действовать. Бог не выдаст, свинья не съест!

— Я все время придерживался этого. Но я уже решил, Гришка. Ничего переигрывать не буду. Все уже сделано. Я уже был у Луковского. Поеду в Казахстан.

— Это что — твердо? — спросил Косов.

— Я не пропаду. Разве во мне дело сейчас?

Он чувствовал едкий запах известки из коридора, до боли резал глаза яркий свет лампы на голом шнуре. И лица Косова, Подгорного, стоявшего в одних носках па полу, и похожее на блин робкое лицо Морковина, наблюдавшего за ним со своего чемодана, странно и отдаленно проступали в этом оголенном свете лампы. И в эту минуту он понимал, что знает нечто большее, чем все они.

— Самое страшное, Гришка, не во мне.

Одновременно взглядывая на Морковина, Косов и Подгорный замялись с каким-то недобрым напряжением. И тот, обняв круглые колени, придавив их к груди, растерянный, вдруг густо покраснел и покорно и тихо потянул из-под матраца брюки, начал, не попадая ногой в штанину, надевать их.

— Тю! — произнес Подгорный.— Ты куда ж?

— На вокзал,— уже натягивая рубашку, путаясь в ней, ответил срывающимся голосом Морковин.— Я мешать не буду. Я ведь не партийный... В одной комнате живем, а разговоры врозь. Как же жить вместе? А может, я... как и вы... Сергея тоже понимаю... понимаю... Может, вы думаете, что я... думаете, что я...

Его пальцы никак не могли найти пуговицы на рубашке, и, когда Сергей увидел его опущенное и будто что-то ищущее лицо и слезы обиды, внезапная жалость кольнула его. И он, как и Косов и Подгорный, недолюбливавший Морковина за его постоянную расчетливость, за его излишнюю бережливость (деньги от стипендии прятал в сундучок на замке, живя иногда впроголодь), сказал дружески:

— Сиди, Володя. Никто из нас не думает...

Тогда Подгорный с нарочитой ленцой поскреб в затылке, сказал: «Ах, бес, ну воображение!» — и тут же грубовато-ласково обхватил Морковина, посадил на чемодан.

— Ну шо ты козлом взбрыкнул? И слухать не хочу — ухи вянуть. На вокзал вместе поедем. Уразумел?

Морковин, съежившись на чемодане, продолжал тормошить пуговицы старенькой черной, приготовленной в дорогу рубашки,— и Косов выругался, с сердцем отшвырнул носком ботинка кусок ватмана на полу. Сказал:

— Забудь про эти слова! С ума сойти от твоих слов можно. Понял, Володька?

И долго смотрел под ноги себе.

— Это долго не может быть, не может, Сережка. Знаешь,— заговорил он,— мне вчера один тут... знакомый рассказал. Одного журналиста арестовали за то, что у него в мусорной корзине газету с портретом Сталина нашли. Ну за что, спрашивается? Кому это нужно? Бред! Может так долго продолжаться? Нет. Уверен, как черт, что нет.

— Знаю,— ответил Сергей.— Если бы я не был уверен! Не знаю — дождутся ли *там*?

Подгорный, сузив глаза, подтвердил задумчиво:

— От главное. Ой, чи живы, чи здоровы все родичи гарбузовы, есть така песенка, братцы...

Косов, сердито отталкиваясь маленьким кулаком от железных спинок кроватей, кругами заходил по комнате.

— Когда я набирал себе в разведку, то всегда узнавал ребят так. Подходил к какому-нибудь вервиле сзади и стрелял над ухом из нагана. Вздрагивал, пугался — не брал. Пугливых в разведке не надо. И пугливых в партии не надо. Мы что — трусим? Полны штаны? Нет, надо идти в райком, братцы! Сами себя перестанем уважать. Нет, Сережка, надо, надо! Все равно надо! Этот дуб Свиридов под ручку с Уваровым такую чистоту в институте наведут — ни одного стоящего парня не останется! Ну ты как, Мишка? Ты как?

Подгорный ответил после раздумья:

— Дашь сигнал к атаке — пойду. Танки артиллерию поддерживали. И наоборот.— И темно-золотистые глаза его улыбнулись Сергею не весело, не с фальшивой бодростью, а как-то очень уж грустно.

В ознобе Сергей прислонился спиной к косяку двери, стараясь согреться, но чувствовал, как мерзли от промокшего плаща лопатки, а голова была туманной, горячей,— и смутно появившаяся на секунду мысль о том, что он может заболеть, вызывала странное, похожее на облегчающий покой желание полежать несколько дней в чистой постели, забыться, не думать ни о чем. Он знал, что этого не сможет сделать.

— Я провожу вас до автобуса,— сказал он.— Вам, наверно, пора? Собирайтесь — я провожу.

— А! — отчаянно произнес Косов, рубанув кулаком по воздуху.— Деньки, как в бреду... беременной медузы! Собирай, братцы, манатки! И — гайда до осени. А осенью — или пан, или пропал. Или грудь в крестах, или...— Он поднял свой чемодан и резким толчком бросил на стол.

— Пан. Прошу пана — пан,— без улыбки отозвался Подгорный.

Они собрались быстро — студенческое количество их вещей не требовало большого времени для сборов, в пять минут все было готово. Косов сильным нажатием колена на крышку управился и с чемоданом Морковина, сказал, небрежно пробуя на вес: «Чемоданчик ничего себе — аж углы перекосились!» — а Морковин затоптался возле Косова, отворачивая свое круглое конопатое лицо, пробормотал с беспокойством:

— Разве уж тяжелый?

— Ладно! — обрезал Косов.— Пошли. Понесешь мой чемодан, я — твой. Боюсь, для твоего чемодана у тебя слабы бицепсы.

А когда выходили они из общежития и Косов легко перемахнул из одной руки в другую тяжелейший деревянный чемодан Морковина, Сергей почему-то вспомнил известную слабость Косова — везде демонстрировать силу: о нем говорили, что, если потребуется перенести все шкафы и столы из аудитории во двор и обратно, то лишь Косов согласится на это с удовольствием.

И хотя Сергей понимал, что и Косов и Подгорный знали то, что знал он, и оба чувствовали, как он, и оценивали многое так же, однако он разительно ощущал свое отличие от них — это письмо отца в нагрудном кармане под плащом — и думал, что они не знали всего так оголенно, больно и так ясно.

Они вместе — все четверо — дошли до автобусной остановки и здесь, остановившись на краю тротуара под фонарем, в стеклянный колпак которого буйно хлестали дождевые струи, стали прощаться.

— Старик, до осени,— сказал резковато Косов, глядя на Сергея угрюмо, исподлобья, не желая быть растроганным в последнюю минуту, но так стиснул кисть Сергея, точно всю силу надежды вкладывал в это рукопожатие.

— Перемелется, Серега, мука буде. Ось поверь — мука буде,— выговорил Подгорный с дрожащей улыбкой и легонько обнял его.— Ось поверь, мука буде...

— Счастливо,— сказал Сергей, скрывая голосом рвущуюся нежность к ним и слабо веря, что они расстаются ненадолго.

И когда взглянул на Морковина, на его как бы замкнутое в поднятый воротник куртки и напряженное желанием помощи лицо, увидел его часто моргающие от дождевых капель веки, он еле внятно услышал его прерывающийся от волнения шепот и почувствовал вцепившиеся в его руку пальцы:

— Ведь я тебя всегда... хорошо к тебе... Ты не замечал, а я уважал... И сейчас... Прощай покуда, Сергей.

— Ладно, Володя, ладно,— сказал Сергей.— Счастливо вам.

Они сели в автобус, и теперь не было видно их лиц сквозь затуманенные стекла, только неясно темнели силуэты, и эти освещенные окна качнулись, сдвинулись, поплыли в мокрую и жидкую тьму улицы, а потом огни автобуса начали мешаться с огнями фонарей, совсем исчезли, а тут, на мостовой, где только что был автобус, пустынно поблескивал асфальт, усыпанный прибитыми к нему дождем тополиными листьями.

Сергей повернулся и пошел, глубоко засунув руки в карманы промокшего плаща, пошел по темному тротуару, один среди этой безлюдной, шуршащей дождем улицы, а озноб все не проходил, его била нервная дрожь.

«Что ж, и смерть, мой сын, бывает ошибкой...», «Поверь мне, что я невиновен...» — вспомнил он, и синие на листке буквы, написанные химическим карандашом, всплыли перед его глазами.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В начале августа после трех суток езды через сожженные степи в прокаленном зноем металлическом вагоне Сергей сошел с поезда на новеньком вокзале «Милтук-уголь» и под моросящим дождем вышел на привокзальную площадь, сладковато пахнувшую углем и каким-то незнакомым южным запахом.

Город начинался за площадью, вокруг которой по-раннему редко светились окна, и там меж очертаний домов, меж

черными шелестящими карагачами, как показалось ему, в самом центре города проходила одноколейная дорога — свистяще шипел маневровый паровоз, мелькали над крышами багровые всполохи, и там протяжно пел рожок сцепщика, доносился лязг буферов, глухой грохот по железу.

Нагружался, наверно, уголь, он гремел в бункерах, и не сразу Сергей различил в сереющем воздухе рассвета справа и слева над улицами размытые очертания копров.

Он вдруг удивился тому, что он уже здесь, Ася далеко отсюда, в Москве, под присмотром Мукомоловых, и вспомнил последний разговор их, когда она сказала, что все понимает и поэтому отпускает его, она все поняла, Ася.

На краю площади, до блеска вымытые дождем, виднелись два такси, как в Москве, мирно горели зеленые фонарики. Одна из машин тронулась, сделала медленный разворот по кругу площади, затормозила около Сергея, из окна дверцы проворно высунулась голова молодого парня-казаха в модной кепочке без козырька, он крикнул:

— Салам, начальник! Куда везем?

— Я не начальник,— ответил Сергей и поднял отяжелевший под дождем чемодан.— Вы ошиблись. Нужно в райком.

— Садись, будь любезен, подвезем.— Шофер мастерски, в щелку зубов сплюнул на асфальт, весело и охотно раскрыл дверцу.— Давай! Откуда сюда?

— Из Москвы.

— Э-э, москвич?

— Был.

Он влез на сиденье рядом с шофером и еле успел достать мокрыми пальцами сигарету, как парень круто затормозил машину, облокотился на руль, подмигнул всем своим выпуклоскулым, подвижным лицом.

— Все, начальник!

— Что?

— Приехали. Райком.

— Уже? — не поверил Сергей, плохо понимая, и все-таки полез за деньгами.— Сколько с меня?

— Веселый парень, анекдоты рассказываешь! — замотал кепочкой и озорно, молодо захохотал шофер.— Какие деньги — пятьсот метров ехали! Только сигарету дай, московскую. «Прима» у тебя? Вот райком! Только рано еще.

Спят. Может, в гостиницу поедем? Чего думаешь? Давай.

— Нет. Я подожду. Спасибо. Возьми всю пачку. У меня есть.

Двухэтажное здание райкома было темным.

Он присел на чемодан под навесом. Он мог ждать под этим навесом хоть целые сутки.

Только в десять часов утра он увидел секретаря райкома Гнездилова. Невысокий, кряжистый человек в просторном брезентовом плаще, казавшийся от этого тяжелым, квадратным, грузно ступил в приемную, где пожилая заспанная машинистка безостановочно, пулеметными очередями стучала на машинке, задержал взгляд на Сергее, сидевшем на диване, глянул на чемодан, поставленный у его ног, сказал сочным голосом:

— Доброе утро, Вера Степановна. Это ко мне товарищ?

— К вам, Аким Никитич. Сидел, представьте, с ночи под навесом, пока райком был закрыт. Из Москвы.

— Из Москвы? Ну так. Проходите, коли ко мне.

Сергей вошел в кабинет секретаря райкома.

— Так, так,— говорил Гнездилов, уже за столом прочитывая письмо Морозова, характеристики, документы Сергея, изредка взглядывая недоверчивыми глазами.— На шахту? Работать?

— Да.

— Понятно. А отец арестован, так? Осужден?

— Да. На десять лет. Я узнал только это.

— А ты что же — обманул партбюро?

— Нет.

— Та-ак. Понятно. А Игорь Витальевич твой декан?

— Да.

— Что это ты заладил: да, нет, нет, да. Как заведенный. Эдак мы с тобой не договоримся. Будем мекать да бекать. Ты что, злой очень?

— Я жду вашего решения. Я вижу, что вас не обрадовали мои характеристики,— сказал Сергей.

Очень тесный кабинет секретаря райкома, загроможденный большим письменным столом и длинным, закапанным чернилами другим столом, поставленным к нему перпендикулярно, и деревянной вешалкой в углу, где висел брезентовый плащ Гнездилова, представился вдруг серым, неуютным, и вся простота его теперь выглядела неестественной, а простоватый этот разговор ненужно наигранным, нарочитым.

— Вон как ты крепко рубанул: «Не обрадовали характеристики»! Да, с такой характеристикой, дорогой товарищ студент, в золотари не возьмут. Вот таким образом получается.

Немолодое лицо Гнездилова с крупными чертами — мясистый нос, широкие брови, широкий подбородок — было слегка опухшим после сна, задумчиво-хмурым; голова, наголо бритая, наклоненная над бумагами, казалась массивной.

— Эк как ты: «Не обрадовали характеристики»,— продолжал Гнездилов.— Что ж, ты не согласен с исключением? Ошибки не понял? Ну, как на духу говори!

— Нет, с исключением я не согласен.

— Упрямый ты, никак? А это что? Зачетная книжка? На третьем курсе науки проходил. Ну что ж, пятерок много. А это что, тройку схватил? Характер, видать, неуравновешен, так? Ну что ж ты мне скажешь? Что с тобой делать? Что ты будешь делать, если прямо скажу «нет»?

— Что ж, поеду в другое место.

— А если и в другом месте? Пятно ведь везешь. И какое пятно!

— Поеду в третье.

— Неужто на всё пойдешь?..

Гнездилов, хмыкнув, пытливо обвел Сергея черными глазами, не спеша поглаживая шею, наголо, до синевы бритую голову.

— В грузчики пойду,— ответил Сергей.— Или рыть землю.

— От отчаяния?

— Нет. Я в войну много покопал земли.

Было долгое молчание.

— Вот что! — наконец сказал Гнездилов, и рука его тяжело опустилась на стол, где лежали документы Сергея.— Ты знаешь, куда приехал? Хорошо знаешь?

— Знаю.

— Так вот что — пойдешь рабочим в комплексную бригаду на «Капитальной». Понял, что это такое? Осваивать в лаве новый комбайн. Изучал у Морозова небось?

— Да.

— Ну вот. Предупреждаю, на третьем участке все сложно. Все вверх ногами. Сто потов с тебя сойдет, ночей спать не будешь, ног и рук не будешь чувствовать — такая работа! Ну?

«Рабочим комплексной бригады? — мысленно повто-

рил Сергей.— Что он сказал — рабочим комплексной бригады? Значит, в шахту?» И он немедля хотел сказать, что очень хотел бы этого, но проговорил вполголоса, сдержанно:

— Вы, кажется, забыли, что я...

— Я ничего не забыл! — жестко перебил его Гнездилов и сдернул трубку телефона.— Ты мою память еще узнаешь. Я все дела твои изучу, парень, и запомни: глаз с тебя спускать не буду.

— Значит, вы серьезно?..— почти шепотом выговорил Сергей.— Спасибо... Я ведь... я ведь готов был и в грузчики,— доверительно и тихо добавил он.— Мне уже было все равно, Аким Никитич.

Телефонная трубка издавала длительные гудки, Гнездилов строго покосился из-под бровей.

— А не справишься с работой — в грузчики, в сторожа переведем! Это обещаю.— И неторопливо набрал номер, заговорил своим густым голосом: — Бурковский? Привет, мученик! Опять горишь? Долго у тебя будет дым без огня? Когда я на твоем месте сидел, у меня, брат, дыма не было! Врубовки? А ты проси и врубовки! Что, я тебе буду ходатайства писать? Нажимай, требуй, из рук выхватывай! Экий у тебя дамский характер! Вот что. Закажи от своей шахты номер в гостинице и давай немедленно на-гора̀. Разговор есть. Ну! — Он бросил трубку, тяжело поднялся, снял плащ с вешалки.— Давай, Вохминцев. А через месяц позову тебя сюда. И спрошу. Спрошу строго. Иди. Гостиница направо за углом. Рядом. Сегодня отдохнешь, а завтра — под начальство к Бурковскому. Твой начальник участка. Если он тебя возьмет. Тут я, знаешь, не виноват.

Только возле самой гостиницы Сергей понял, что произошло, но еще не верил в то, что будет жить здесь и что сюда может приехать Нина. Моросило. Расстегнув плащ, откинув капюшон, он стоял около подъезда каменной, по-видимому, недавно выстроенной, четырехэтажной гостиницы с новенькими вывесками «Парикмахерская», «Ресторан» и не входил в нее,— сдавливая дыхание, билось сердце, и он губами ощущал: дождь был тепел.

А вся неширокая улица перед гостиницей была затянута водяной сетью, мимо домов бежали, скользили мокрые зонтики, и пронесся, шелестя по мостовой, глянцевито-зеленый автобус, тесно заполненный людьми в

брезентовых комбинезонах. И где-то близко звучал в сыром воздухе рожок сцепщика. Потом с лязганьем буферов, замедленно пересекая улицу, прошли к железному копру шахты, черневшему за крышами, товарные платформы, их тяжко подталкивала «кукушка». Пар от нее с шипением вонзался в туман.

Дождь не переставал, и небо было низким, мутным, а он все не входил в гостиницу, все смотрел на железный копер шахты, на «кукушку», на платформы, на дома, — и по лицу его скатывались теплые капли.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1953

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Такси, стой!

Человек выскочил из пустого арбатского переулка, спотыкаясь, бросился на середину мостовой навстречу машине, и Константин затормозил; человек закоченевшими пальцами начал рвать примерзшую дверцу и не влез, а упал на заднее сиденье.

— До Трубной! Быстрей, быстрей!

Константин из-за плеча взглянул на пассажира — молодое, острое, бледное лицо спрятано в поднятом воротнике, иней солью блестел на мехе; кожаный и будто скользкий от холода чемоданчик был поставлен на колени.

— Ну, а если поменьше восклицательных знаков? — спросил Константин.— Может, тогда быстрей?

— Быстрей — ты не понимаешь? — визгливо крикнул парень.— Оглох?

Ночной Арбат был глух, пустынен, с редкими пятнами фонарей на снегу, посверкивала изморозь в воздухе, на капоте машины, на стекле, по которому черной стрелкой ритмично пощелкивал, бросался то вправо, то влево «дворник».

— Что ж, поехали до Трубной,— сказал Константин.

Когда после синеющего пространства Арбатской площади, без единого человека на ней, с темным овалом метро, пошли слева за железной оградой заваленные снегом бульвары, Константин мельком посмотрел в зеркальце: парень сидел, облокотясь на чемоданчик, шумно дышал в поднятый воротник.

Ночью в опустошенной морозом Москве — среди вымерших зимних улиц, погасших окон и закрытых подъез-

дов, среди сугробов возле ворот и заборов — машина казалась островком жизни, едва теплившимся в скрипучем холоде, и у Константина появлялось ощущение нереальности ночного мира, в котором люди жили странной, отъединенной от дня жизнью.

Держа одну руку на баранке, Константин зубами вытянул из пачки сигарету, и, когда чиркнул зажигалкой, зябкий голос раздался за его спиной:

— Дай курнуть, шофер!

Константин из-за плеча протянул пачку, замерзшие пальцы парня тупо выдирали сигарету.

— Огоньку дай!

Ровно шумела печь, распространяла по ногам тепло. Константин поправил зеркальце, мазнул перчаткой по оранжевому от наплывавших фонарей стеклу, сказал лениво:

— Слушай, мальчик, а ты хороший тон знаешь? Имеешь понятие, что такое... ну, скажем, деликатность? Или перевести на язык родных осин?

— Молчи! Огоньку дай — и все, понял?

— Надо научиться слову «спасибо», мальчик.

— Молчи, говорю! — Парень жадно прикурил и отвалился на сиденье, перхая при каждой затяжке.

До Трубной ехали молча, Константин не продолжал разговор, насвистывая сентиментальный мотивчик, за три года работы в такси он давно привык к странностям ночных пассажиров и только на углу Петровки спросил:

— Ну? Где прикажете остановиться?

— Чего? Чего ты?

— Трубная,— сказал Константин и, затормозив на площади, обернулся.— Прошу. Доехали.

И тут же встретился с приблизившимися глазами парня, губы его ознобно прыгали, трудно выталкивали слова:

— Трубная?.. Трубная?.. Ты подождешь меня здесь, не углу, ладно? Здесь... Твой номер запомнил — двадцать шесть семьдесят два... Ты меня обождешь! И дальше... дальше поедем!

Парень, спеша, вытащил из бокового кармана пачку денег, вырвал из нее двадцатипятирублевку, швырнул на сиденье и выскочил из машины, дыша, как голый на морозе.

— Стоп! — крикнул Константин и опустил стекло.— А ну, потомок миллионера, возьми сдачу! Вот держи аккуратненько ладошкой — и привет от тети!

— Ты!..

Паренек затоптался около машины, переступая на снегу модными полуботинками; глаза его сразу стали напряженными, плоскими, он дрожал то ли от холода, то ли от возбуждения; и, мотнув чемоданчиком, вдруг заговорил с бессильной злостью:

— Я за ней, понял — нет?.. Она в Рязань уехала... Чемодан собрала и уехала! Мне в Рязань надо! Я ее из Рязани привез, женился, а она... Ух, догоню ее — убью! Из общежития уехала!.. Понял? Или нет?

— От кого уехала?

— Да не от тебя!..— срывающимся голосом закричал парень.— Я тут на Трубной к матери, а потом в Рязань! Пять бумаг будет твоих. Ну, шофер, ну? Ну, шесть сотен хочешь?.. Всю зарплату отдам! Ну не понимаешь, да? Мать у меня здесь, на Трубной! Скажу ей — и все! Подожди здесь — и в Рязань! Шесть бумаг отдам!

— Шесть бумаг? Все понял. К сожалению, на первом посту за Москвой задержат машину, и меня выпрут из парка. Мои рейсы в городе, парень.

— Трусишь, таксист? — взвизгнул парень.— Трусишь? Да?

Константин со скрипом поднял прилипшее от мороза стекло,— парень, размахивая чемоданчиком, побежал через пустырь площади к черной арке каменного дома. Там в студеном пару, в радужных кольцах горел фонарь. Парень вбежал под арку, слился с ее темнотой.

Константин развернул машину на площади, поехал в центр.

Выезжая на Петровку, он оглянулся на заднее стекло, там мелькнуло возле арки туманное пятно фонаря. «Трусишь?» — вспомнил он и грудью и рукой ощутил легкую нагретую тяжесть трофейного пистолета во внутреннем кармане.— Значит, теперь трусишь?»

После участившихся в последнее время случаев ограбления такси и после незабытой недавней встречи с тремя молодыми людьми по дороге в Лосинку, которая едва не стоила Константину жизни, он брал в ночные смены маленький плоский немецкий «вальтер», привезенный с фронта. Так было спокойнее.

В центре он остановил машину напротив «Стереокино», это было удобное место — перекресток путей из трех ресторанов, два из них работали до поздней ночи.

Поворачивая машину от Большого театра к заснеженной площади Революции, Константин увидел возле здания кинотеатра, под мерзлыми тополями, одинокую, поблескивающую верхом «Победу» и, подъезжая, осветил фарами номер такси.

«Михеев,— определил он.— Как всегда, здесь».

Константин вылез из машины, подошел к «Победе» и, потерев на холоде перчатками, открыл дверцу, улыбаясь.

— Ну что — покурим, Илюша? Дай-ка огоньку, держи сигарету! Кончай ночевать, сделай гимнастику и подыши свежим воздухом!

Михеев, парень с широким скуластым лицом, сонным, помятым, вытащил из машины плотное, как бы замлевшее от долгого сиденья тело; размикаясь, поколотил кулаками себя под мышками, выдохнул:

— Ха! Дерет, шут его возьми! Вздремнул малость, Костя... Пассажиров, чертей, мороз разогнал, без копейки приеду, ситуация, мать честная! Это ты мне — сигарету?

У Михеева чуть-чуть косили к носу круглые, будто немигающие глаза, и именно это придавало его широкоскулому и губастому лицу нечто птичье — всегда настороженное.

— Прошу, Илюша,— сказал Константин, щелчком выбивая сигарету из пачки.— Вот огоньку, же ву при, мой дорогой, спичек нет.

От этих щелчков вылетели из пачки две сигареты, одну успел подхватить Михеев, другая упала под ноги. Михеев, досадливо кряхтя, подхватил ее, обтер о рукав.

— Брось,— сказал Константин.— Снег, Илюша, не убивает бактерии.

— Так прокидаешься — без штанов ходить будешь. Можно взять, что ль?— Михеев аккуратно заложил вторую сигарету за ухо и зажег спичку, прикрыв ее ладонями, прикурил, после этого дал прикурить Константину.— Миллионщик ты, Костька, честное слово, и откуда рубли у тебя? — заискивающе сказал он.— Дорогие куришь... А я — гвоздики, на жратву еле...

— Ох ты, прелесть чертова!— засмеялся Константин.— Ты же больше меня зарабатываешь, Илюша. В сундучок кладешь? Под матрац? Ну, для чего тебе деньги? Женщин, Илюша, ты боишься, в рестораны не ходишь. Ну, когда женишься?

— Без порток, а о женитьбе думать? — сказал Михеев.— Жене деньги нужны. Вот тогда...

— Значит, с деньгами женишься, Илюша?

Михеев сделал вид, что не расслышал вопроса.

— Тут рассказывали,— заговорил он,— во втором парке шофера убили! Шпана. Гитарной струной удавили. Сзади накинули и... Триста рублей у него и было-то, видать.— Михеев сплюнул, бережно подул на кончик сигареты, поправил ее пальцем, чтобы не сильно горела.— Удавили-то возле Тимирязевки, а выбросили в Останкино. Машину нашли в Перловке. Вот сволочи... Вешал бы я их своими руками. Вешал бы прямо. Неповадно было бы. Что с нашим братом делают!

— Нашли? — спросил Константин.

— Чего? Кого нашли-то? — презрительно фыркнул толстыми губами Михеев.— Найдут, хрен в сумку. Бывает, невинного скорее найдут. Они только штрафовать умеют. А чтоб преступника...— Он крепко выругался и опять сплюнул.— А третьего дня одного... из третьего парка — молотком. Череп пробили. А у него — ни копья. Только из парка выехал... Что с нашим братом делают!

Вся огромная площадь была в слабом свечении зимней ночи, из синеватой тьмы сыпалась изморозь, роилась вокруг белого света фонарей. За бульварчиком проступали тяжелые, угрюмые, белеющие клочками снега меж колонн очертания Большого театра со вздыбленной в черноту неба квадригой. И было темным, казалось пустым здание гостиницы «Метрополь». Только одно окно покойно светилось над площадью в высоте этажей. Все стыло в инее, мороз шевелился, трещал на бульваре, поблизости от кинотеатра, давно погасшая огромная реклама и бородатое лицо Робинзона Крузо под ней были, чудилось, посыпаны кристаллами.

Константин, присев на крыло михеевской «Победы», оглядел площадь, ее мрачную пустоту, спросил:

— Ну, Илюша? Еще какие новости?

Михеев смотрел на гостиницу «Метрополь», на единственное горевшее окно, глубокие складки тоскливо собрались в изгибах рта.

— Какой-то иностранец коньяки-виски пьет или с бабой... занимается...— проговорил он.— Вот у кого деньги-то! Мне на всяких иностранцев не везет. Ни одного не возил. Я б его пощекотал на счетчик...

Константин задумчиво покусал усики.

— Ну ладно, Илюша, кончай ночевать. Пошли искать пассажиров. Первые — твои, вторые — мои.

— С удовольствием! У тебя ведь счастливая рука! — оживился Михеев, затаптывая в снег докуренную до ногтей сигарету.— Ежели б ты... я б с тобой всегда на пару работал. Везет тебе! К ресторану пойдем?

— Да.

«Уехал ли тот парень с чемоданчиком? — подумал Константин, идя с Михеевым мимо «Гастронома», мимо огромных стекол магазина «Парфюмерия» к ресторану «Москва»; снег звенел, визжал под ботинками, звук этот разносился на всю улицу.— Может, стоило все же отвезти его в Рязань?»

— Детей травят,— сказал Михеев.

— Что?

— В родильных домах. Родился мальчик — и вдруг раз! — умирает. В чем дело? Оказывается, врачи. Поймали трех. В Перове... Слышал? А то в аптеках еще — лекарства продают. А в них — рак. Раком заражают. Через год — умирают... Одну аптеку закрыли. В Марьиной роще. Арестовали шмуля. Старикашка, горбатый... Американцы подкупили...

— Что за чепуху ты прешь! — Константин насмешливо взглянул на Михеева.— Ну, что треплешь, сундук?

— Я при чем? — обиделся Михеев.—Послушай, что люди говорят... Не веришь? Какая же тебе чепуха, ежели...

— Ну что «ежели»?

Михеев не успел ответить, они завернули за угол метро. Перед гостиницей морозный туманец рассеивался клубящимся оранжевым светом ярко и широко освещенных окон,— и внезапно слева с каменных ступенек у дверей ресторана, прорезая тишину, послышался тонкий вскрик:

— Пу-усти-ите!..— И опять: — Пустите-е! Ой, бо-ольно!.. Бо-ольно!..

Михеев, округлив глаза, схватил за рукав Константина.

— Подожди!.. Кричат, что ль?

И, озираясь на ступени, Константин неясно увидел вверху, меж колонн, несколько угловато метнувшихся людей, непонятно сбившихся в кучу; и сейчас же человеческая фигура вырвалась оттуда, нелепо согнувшись, бросилась вниз по ступеням — человек поскользнулся и упал, покатился по ледяным ступеням, вскрикивая:

— Дима, беги!.. Что же это?.. Дима!.. Не трогайте!

— Что за черт! — сказал Константин.— Драка, кажется?

Оттуда, от колонн, трое ринулись вниз, следом за человеком, прыгая через ступени, зазвеневший голос раздался сверху:

— Сто-ой, мерзавец!

— Морды бьют. Надрались,— хихикнул Михеев.— И откуда деньги?

Упавший человек в черном пальто вскочил, затравленно оглядываясь, позвал шепотом:

— Дима... Дима! Беги! — И закрутился на месте, словно искал шапку вокруг себя.

Он кинулся по тротуару в ту сторону, где стояли Константин и Михеев, не заметив их, и Константин увидел испуганное белое лицо, темную ссадину на лбу, короткие, слипшиеся волосы. На миг человек этот приостановился, хватая ртом воздух, вильнул в сторону, побежал по мостовой к улице Горького.

— Держи-и, держи-и его!..

Трое сбегали по ступеням, поворачивали в сторону мчущегося по мостовой человека, и Константина как будто сорвало с места («блатного хмыря ловят!»), и в несколько прыжков он настиг этого петляющего по мостовой, выкинул ногу, встретив жесткий толчок по голени, и человек с размаху упал плашмя, задохнувшись, и в ту же секунду, когда он упал, Константин услышал топот ног, громкие злые голоса за спиной.

— Молодец!.. Ловко!.. Молодец! — прохрипел, подбегая, невысокий, квадратный в плечах человек (плечи вздымались, ходили вверх-вниз), плоское и сильное курносое лицо блестело потом.

С бегу он тыкнул в грудь Константина растопыренными пальцами, отталкивая его, проговорил хрипло:

— Спасибо, помог!

И, наклонясь над лежащим лицом вниз человеком, ударил его ногой в бок.

— Ты с кем, мокрица?.. Я т-тя... произведу в дерьмо!.. На! На! На...

Низенький этот с озверелым лицом бил ногами по безжизненно распластанному телу, при каждом ударе выдыхая воздух, точно дрова рубил, учащенно, поршнями двигались его локти. Тело на мостовой слабо изогнулось, задранное к лопаткам пальто сбилось бугром, руки уперлись в снег — человек, сделав усилие, вскочил и как-

то неловко пнул низенького в подбородок двумя кулачками. А Константин только сейчас ясно успел разобрать вблизи его лицо — юное и бледное лицо мальчишки лет восемнадцати.

— Дима, Димочка!..— умоляюще крикнул он, отступая от низенького.— Не бейте Диму!.. За что?

Набычив шею, низенький грузно рванулся к нему, взмахом кулака сбил на мостовую и затоптался, забегал над ним, носком ботинка с оттяжкой ударяя под ребра.

— А-а, ты у меня попоешь! — выдыхал низенький.— Я те покажу Диму!.. А ну, где этот Дима? Вы нас запомните, гниды!..

Константин почувствовал, что все расплывается перед глазами, все становится нереальным, тусклым, и вдруг ему стало больно и трудно глотать — сразу ссохлось в горле.

Смутно увидел, как справа, сутуло вобрав голову в плечи, растерянно отступал спиной, двигался по мостовой Михеев, а возле метро — двое в расстегнутых пальто молча, старательно избивали, гоняя от одного к другому, высокого паренька в короткой куртке, оттуда доносились отрывистые всхлипы:

— За что? Что я вам сделал? За что? Что я сделал?..

— А ну прочь, подлецы!.. Стой, сволочи! Пр-рочь!..

Константин лишь краем сознания понял, что это был его голос, и, стиснув зубы, достиг низенького в три шага, яростным ударом заставил его пригнуться, закрыться и тотчас подлетел к тем двум в пальто, что гоняли высокого паренька в куртке, и отшвырнул их от него. Эти двое, дыша паром, бросились на Константина, удары в челюсть, потом в грудь оглушили его.

Они наступали с двух сторон, угрожающе и осторожно, один кашлял, сплевывал на снег вязким, тягучим. И в этот миг Константин ощутил тишину. Он почувствовал — вдруг произошло неуловимое, не увиденное им. Двое смотрели куда-то мимо него, и когда Константин инстинктивно взглянул на низенького, тот правой рукой сумасшошно хватал что-то, лапал у себя под пальто — и он понял все.

— Стой, сволочь! Опусти руку! — крикнул Константин и, в это же мгновение вспомнив о пистолете, торопясь, рвущим движением выхватил «вальтер» из внутреннего кармана, шагнул к низенькому.— Назад! Назад, сволочь! Наза-ад!..

— Оружие? — сипло выдавил низенький, отступая.— О-оружие?..

— А ну, спиной ко мне — и марш! Бегом! — со злобой скомандовал Константин и махнул пистолетом.— Бегом, к Манежу! Бы-ыстро!

Заплетающейся рысцой низенький и двое в расстегнутых пальто побежали к Манежу, но, отбежав метров сто, они остановились. Чернели силуэты на снегу. Потом долгий милицейский свисток просверлил ночь; от гостиницы «Националь» приближалась к ним темная фигура постового.

— Быстрей, ребята! Смывайся отсюда! — подал команду Константин возившимся на мостовой парням.

Тот, первый, подымая лицо в крови, зажимая тонкой рукой нос, пытался встать; другой, в куртке, помогал ему, тянул за плечи, беспрерывно повторял сквозь стоны:

— Гоша, Гоша, бежим, бежим... Ты слышишь, быстрей, миленький!..

— Быстрей, быстрей, ребята! — лихорадочно выкрикивал Константин, с особой остротой сознавая, что все это безумие, что он не хотел этого, но ничего уже нельзя изменить.— Ну, что? Что? Вон туда — бегом! На улицу Горького, во двор! Бегом!..

«Я должен сейчас добежать до машины!.. А может быть, там кто-есть?.. Добегу ли я? Только бы на кого-нибудь не натолкнуться!.. Где Михеев?..»

Вталкивая пистолет в карман, он ринулся к угловой станции закрытого метро, возникшее странно пустыми огромными стеклами, резко завернул за угол и мимо безлюдного подъезда гостиницы побежал по тротуару к «Стереокино». Не слышал позади ни милицейского свистка, ни шума погони, ни окриков — все забивало, заглушало собственное дыхание и мысль, колотившая в мозгу: «Зачем это? Как же это? Только бы никого не было возле машины!.. Где Михеев?..»

И тут на краю тротуара, потирая потную грудь, увидел: «Победа» Михеева, задымив выхлопными газами, стремительно разворачивалась по кольцу площади, мимо мрачной и темной гостиницы «Метрополь», где по-прежнему в высоте этажей светило одно окно («иностранец коньяки-виски пил»), а его, Константина, машина, вся в блестках инея, по-прежнему стояла напротив кинотеатра.

Он раскрыл дверцу, упал на сиденье, руки и ноги сделали то, что делали тысячу раз. Он боялся только одного — чтобы не отказал на стуже мотор.

Мотор завелся... Опустив стекло, глядя назад в проем улицы, откуда можно было ждать опасность, он повел машину по эллипсу площади, сразу же набирая скорость.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Он остановил машину в одном из тихих замоскворецких переулков; сеялся снежок. Свет фонарей сузился, сжался, начал падать конусами, стиснутый мелькающей мглой; справа, за железной оградой, чернея, проступала сквозь снег старая каменная церковка, свежая белизна снега не покрывала ее низких куполов.

Машина перегрелась, мотор бился, сотрясая железный корпус.

Левое стекло он не подымал, пока сумасшедше гнал «Победу», петляя по улицам,— внутри машина выстудилась, и Константин на ветру весь продрог, одеревенела левая щека, закоченели пальцы. Он с усилием оторвал их от баранки, закрыл глаза, ощутив холод на веках от выдавленных ветром слез.

«Где был Михеев?.. Видел он или не видел?— спрашивал себя Константин, восстанавливая в памяти, как Михеев растерянно топтался на снегу в тот момент, когда низенький подбегал к пареньку, поваленному на мостовую.— Где сейчас Михеев?..»

И он вспомнил, что уже на Петровке обогнал его, трижды посветив ему фарами, и потом, выглядывая в окно, видел неотступно мчавшуюся следом машину Михеева, желтые качающиеся подфарники. Только перед Климентовским вплотную притормозив перед светофором, ненужно мигающим в ночную безлюдность улиц, он с нетерпением подождал, когда подойдет «Победа» Михеева; тот притер завизжавшую тормозами машину, опустил стекло, высунул белое испуганное лицо и ничего не спросил, лишь рот его кривился.

— В Вишняковский, к церковке!— глухо бросил Константин.— Там поговорим.

«Где же он был? Видел ли Михеев, когда я?..— думал Константин, ощупывая негнущимися пальцами ствол пистолета в кармане.— Что я должен делать с ним? Вы-

бросить? Спрятать? Те трое могли заявить. Могут проверить все ночные такси?..»

Он нерешительно вылез из машины, без щелчка закрыл дверцу. В переулке на двухэтажные деревянные дома, на навесы парадных мягко сыпался снежок, белил, ровнял мостовую, укладывался на железную ограду, на каменные столбы, на углами торчащее железо развороченных куполов и косо летел в темные проемы разбитых церковных окон.

«Да, в церкви, в церкви спрятать!..» — подумал он и еще неосознанно сделал шаг к закрытым церковным воротам, толкнул их, заскрежетало железо.

Он толкнул еще раз — ворота не поддавались. Тогда он подышал на пальцы, обожженные железом, и, спрятав руки в карманы, стал оглядывать ограду, постепенно приходя в себя: «Спокойно, милый, спокойно...»

Завывающий рокот мотора возник, приближаясь, в переулке, свет фар побежал по сугробам, зеленым глазом светил сквозь снег огонек такси.

«Михеев?..» И он тотчас увидел, как впритык к его машине подкатила «Победа» Михеева,— распахнулась дверца, и Михеев, без шапки, почти вывалился на мостовую, подбежал к нему на подгибающихся ногах.

— Корабельников!.. Корабельников!.. Ты-ы!..

— А шапка, Илюша, где?— как можно спокойнее спросил Константин.— В машине?

— Ты... ты что наделал?— набухшим голосом крикнул Михеев и схватил Константина за плечи, потряс с какой-то сумасшедшей силой.— Ты... Ты погубить меня захотел?.. Ты зачем пистолетом?.. Откуда у тебя? Ты кто такой? Погубить захотел?

Он все неистово тряс Константина за плечи, табачное дыхание его смешивалось с кислым запахом полушубка; выпукло-черные глаза дико впивались в зрачки Константина.

— Успокойся, Илюша.— Константин отцепил его руки от своих плеч, попросил:— Ну не кричи. Пойдем сядем в машину, подумаем...— И, подойдя к машине, раскрыл дверцу.— Лезь. Я с другой стороны.

«Он все видел. Где же он был? Почему я его не видел тогда?»

— Что ты наделал, что ты натворил, а?— бормотал Михеев, вытирая кулаком лицо.— Господи, надо было ведь мне поехать с тобой! С кем связался!.. Го-осподи!..

— Успокойся, Илюша, приди в себя,— заговорил Константин медленно.— Как думаешь, кто были те... которые парнишек?.. Не знаешь?

— Почем я знаю!— крикнул Михеев, кашляя в возбуждении.— Люди были — и все!.. Тот, задний, подбежал ко мне как бешеный, а сам вроде выпимши... Ну я и говорю...

— Что ты говоришь?— быстро спросил Константин.

— Ну и говорю: водители, мол, такси...

— Так,— произнес Константин.— Ну?

— Что — «ну»? Что ты нукаешь? Что ты еще нукаешь, когда делов натворил — корытом не расхлебаешь!.. Что ты наделал? Не понимаешь, что ль? Малая девчонка какая!

Помолчав, Константин спросил:

— Ну а за что они парнишек... как по-твоему, Илюша?

— Мое какое дело! Я что, прокурор?— озлобленно выкрикнул Михеев и дернулся к Константину.— Ты зачем пистолетом баловал? Ты зачем?.. Не знаешь, что за эти игрушки в каталажку? Защитник какой! Какое твое собачье дело? И чего ты лез? И зачем ты, стерва такая, пистолет вытащил? Откуда у тебя пистолет? Жить тебе надоело?.. На курорт захотел?..

Голос Михеева срывался, звенел отчаянной, пронзительной ноткой; он снова вцепился Константину в плечо, стал трясти его, едва не плача. Молча Константин освободил плечо, стиснул запястье Михеева и сидел так некоторое время, глядя в его широкоскулое лицо. Михеев тяжело задышал носом, подавшись к нему всем телом:

— Что? Ты что?

— Слушай, Илюша.— Константин с деланным спокойствием усмехнулся, и только это спокойствие, как он сам понимал, выдавало его.— Тебе лечиться нужно, Илюша! У тебя, дружочек, нервы и излишне развитое воображение.— Константин засмеялся.— Ну вот смотри — похоже?— И, хорошо понимая неубедительность того, что делает, он нащупал в кармане железный ключ от квартиры, зажал в пальцах, как пистолет, и, показывая, поднес к лицу Михеева.— Не похоже, Илюша?

— За дурака принимаешь?— крикнул Михеев.— Хитер ты, как аптекарь! Глаза у меня не на заднице. Ну ладно, поговорили,— добавил Михеев уже спокойнее.— Я в тюрьму не желаю. Я еще жить хочу. Я не как-

нибудь, а чтобы все правильно. Поехал я, работать надо... Я отдельно поеду, ты отдельно... Вот так... не хочу я с тобой никаких делов иметь.

Михеев заерзал на сиденье, нажал дверцу, вынес ногу в бурке, неожиданно задержался, растерянно пощупал голову.

— Эх, стерва ты, из-за тебя шапку потерял. Двести пятьдесят монет как собаке под хвост!

— Слушай, Илюша,— сказал Константин.— Здесь я виноват. Возьми мою. Полезет — возьми. Я заеду домой за старой... Вот померь.

Он снял свою пыжиковую шапку, протянул Михееву, тот взял ее, некоторое время подозрительно помял мех, затем натянул, вздыхая прерывисто, сказал:

— А что же ты думаешь — откажусь, что ль? Нашел дурака! Эх, связался я с тобой!..— и вылез из машины.

Константин подождал, пока Михеев развернет «Победу» в переулке, после тронул машину и уже неторопливо повел ее, петляя по замоскворецким уличкам, в сторону Павелецкого вокзала. Он не знал, куда ему ехать сейчас: то ли к вокзалу — поджидать утренние поезда, то ли вот так ездить по этим переулкам, до конца продумать все, что случилось...

Не переставая падал снежок, замутняя пролеты улиц.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В конце сорок девятого года Константин перебрался в опустевшую квартиру Вохминцевых, вернее, перенес свои вещи со второго этажа на первый — так хотела Ася; и его освободившуюся холостяцкую «мансарду» немедленно заселили — через неделю комнату занял приятный и скромный одинокий человек, работавший инженером в главке.

Семейство Мукомоловых прошлым летом переехало в Кратово, недорого сняв там половину дачи — поближе к русским пейзажам,— и лишь по праздникам оба бывали в Москве. Константин редко видел их; квартира стала нешумной, казалась просторной, но к этой тишине, к этому простору дома никак не могла привыкнуть Ася.

В новом этом состоянии женатого человека Константин жил, словно в полуяви. Иногда утром, просыпаясь и лежа в постели, он с осторожностью наблюдал за Асей,

чуть-чуть приоткрыв веки. Она невесомо ходила вокруг стола, ставя к завтраку чашки, звеневшие каким-то прохладным звоном, и Константин, сдерживая дыхание, зажмуриваясь, испытывал странное чувство умиленности и вместе с тем праздничной новизны и почти не верил, что это она, Ася, его жена, двигается в комнате, шуршит одеждой, отводит волосы рукой и что-то делает рядом; и он не мог полностью представить, что может разговаривать с Асей так, как никогда ни с кем не говорил, прикасаться к ней так, как никогда ни к кому не прикасался. Он вспоминал ее стыдливость, ее неумело отвечающие губы, то, что было ночью, в ее закрытых глазах, в напряженной линии бровей было ожидание чего-то еще очень тайного, не совсем испытанного ею; и он слышал иногда еле уловимый голос ее, пугающий откровенностью вопроса: «А тебе обязательно это?»

Он молчал, боясь прикоснуться к ней в эти минуты, смотрел на ее стеснительно повернутое в сторону лицо, и нечто непонятное и горькое вырастало в нем. Когда же после такой ночи, проснувшись, он смотрел на нее, свежую, опрятно одетую и будто обновленную чистотой, знал: только что стояла в ванной под душем. И Константин тогда со смутной болью как бы вновь слышал в тишине ее слова, зная также: сейчас Ася не будет вспоминать, что говорила ночью, что она радостна ощущением своей утренней свободы. И он ревновал ее неизвестно к кому, не до конца понимал ее стремление по утрам забыть, отделаться от той, другой жизни, без которой она, как мнилось ему, могла обойтись и без которой не мог жить, любить ее, обойтись он.

Он всегда опасался открыть глаза утром и не увидеть Асю.

Тогда сразу портилось настроение, пустота комнат уныло пугала его. Он оглядывал ее вещи, учебники по медицине на столе, поясок на спинке стула, мохнатое влажное полотенце в ванной, которым она вытиралась. Насвистывая, бродил из комнаты в комнату, не находил себе дела.

Ему казалось, что он отвечал за каждую ее улыбку и ее молчание, за пришитую к его кожанке пуговицу, за растерянный подсчет денег перед стипендией, за ее слова: «Знаешь, я еще могу походить год в этом пальто — не беда. Медики вообще народ нефорсистый, правда, правда».

В сорок девятом году он намеренно завалил два экзамена в институте и без сожаления ушел с четвертого курса, устроился в таксомоторный парк — и был доволен этим. Он был уверен, что именно так переживет трудную полосу в своей жизни и в жизни Аси...

Константин пришел домой в одиннадцатом часу утра. Привычная процедура конца смены: сдача путевки, мойка машины, разговор с кассиршей Валенькой — и он был свободен на сутки. Но он не торопился со сдачей путевки и денег, не торопился с мойкой машины — все делал, как обычно, шутя, но в то же время поглядывал на ворота гаража, поджидал машину Михеева, а ее не было.

Потом, потрепав по румяной щеке Валю, он сказал ей какую-то пошлость о коварстве румянца и легковесно поострил с заступающей сменой шоферов, сидя в курилке на скамье.

«Победы» Михеева не было.

Ждать дальше стало неудобно.

Константин вышел из парка, по обыкновению весело помахал Валеньке и не спеша направился за ворота.

Все настойчивее падал снег. Он уже валил крупными хлопьями, приглушал звуки, движение на улице. Обросшие снегом трамваи — мохнато залеплены номера, стекла — медленно наползали на перекрестки и беспрерывно звенели; вместе с ними побеленные до дуг троллейбусы пробивались сквозь снегопад. Неясными тенями скользили фигуры прохожих.

Снег остужал лицо, пахло пресной и горьковатой свежестью, но было тяжело дышать, как в воде, давило на уши.

«Михеев,— думал он под толчки своих шагов.— Задержался. Это ясно. Не набрал денег за смену... Опоздал... Я позвоню в парк из дома. Ася... Она уходит в поликлинику в десять. Как хорошо, что она ушла! Я все обдумаю...»

В парадном он снял кожаную, на меху, куртку, стряхнул снежные пласты, смел веником с ботинок. В коридор вошел утомленно — здесь сумрачно, тепло, из кухни шел сытный запах вареного картофеля.

Он открыл дверь своим ключом.

С улицы сквозь толщу мелькающей пелены не пробивалось ни одного звука, а в комнате два голоса — мужской и женский — с бесстрастной красотой дикции, сообщали придавленному снегом миру о наборе рабочей силы, о том, что в московских кинотеатрах идет новый фильм,— Ася забыла выключить радио. Константин прошел в комнату и выключил. Потом, не снимая ботинок, лег на диван, положил руки под затылок; волосы, мокрые от растаявшего снега, холодили голову.

«А что, собственно, произошло? — попытался он успокоить себя трезво.— А, черт совсем возьми! Тысячи такси в Москве... Да станут ли искать?»

Он пригрелся на диване, тяжелая дремота скосила его, повлекла, он начал падать куда-то, и чьи-то лица, подступая из темноты, провожали его в этом неудержимом, все ускоряющемся падении, и позванивало от скорости опущенное стекло дверцы, и не было силы поднять стекло, густой снег, летящий в глаза, в ноздри, душил его. И он чувствовал, что произошло страшное, должно было произойти... Телефон, телефон звонит!..

Константин, очнувшись, огляделся еще не проснувшимися глазами. Все так же шел снег. Тикал будильник на письменном столе. Телефон молчал.

«Михеев!— подумал он.— Это Михеев!..»

Он соскочил с дивана, быстро набрал номер телефона диспетчерской.

— Валенька,— сказал Константин ласково,— как там мой корень Илюша — вернулся?

— Десять минут назад домой ушел,— посмеиваясь, ответила кассирша.— А что, соскучился?

— Тронут сообщением, Валенька,— сказал Константин.— Ну, пока, красавица!

Он опять говорил пошлость, знал, что это пошлость, но говорил так — это освобождало его от серьезности.

Константин положил трубку.

На столе под стеклом лежала фотокарточка Аси — кто-то «щелкнул» из одноклассников (стоит на полевом бугре, ветер скосил в одну сторону платье над коленями и волосы на одну щеку, лицо загорожено книгой от солнца). Эту фотографию он любил и не убирал, хотя Ася иногда протестовала: «Спрячь ее, я тебе не кинозвезда!»

Константин, помедлив, задернул занавеску на окне и после этого вынул из бокового кармана маленький «вальтер».

Пистолет умещался на ладони весь, со скошенной перламутровой рукояткой: был выбит крохотными цифрами номер на металле — «1763», и рядом — знакомое «Gott mit uns»[1]. Над спусковым крючком — никелированный прямоугольничек: «Вильгельм фон Кунце».

Изящный, аккуратный пистолетик напоминал игрушку, которую все время хотелось держать в руках, трогать зеркально отшлифованный металл.

«Вальтер» этот попал к Константину в сорок третьем.

Низенький «бээмвэ» без камуфляжа, запыленный, гладко-черный, на всей скорости вкатил в то опустевшее село километрах в двух от левого берега Днепра, откуда утром отошли немцы к переправе.

Всю войну он ползал за немецкую передовую за «языками», ползал не всегда удачно, а эти на машине сами верли ему в руки — и он, стоя у крайнего плетня, первый полоснул из автомата по моторной части, по скатам. Их было трое, немцев. Двоих он почти не помнил, третьего запомнил на всю жизнь. В нем было нечто прусско-театральное, даже виденное уже: сухое лицо, прямая, с ограниченными движениями шея, надменные седые брови, две старческие складки вдоль крупного носа; кресты и медали зазвенели под полами черного глянцевитого плаща, когда разведчик бесцеремонно обыскал его: от оберста пахло духами, он был до бледности выбрит.

Он отдал оружие — «парабеллум» на широком ремне, новенький планшет, и, отдавая все это, нервно пожевывал бескровные губы, но глаза были спокойны, задумчиво-выцветшие. Потом от деревни шли осенними лесами, опасаясь столкнуться на дорогах с оставшимися группками автоматчиков.

А на третьем километре этот оберст коротко сказал что-то другому немцу и тот, смущенный, с заискивающим потным лицом, залопотал, показывая на ноги, на свой зад, на землю. И Константин понял: просили отдых. Оберст сидел на пне, привалясь спиной к дереву, в распахе непромокаемого плаща неширокая грудь, металлические пуговицы подымались дыханием; вдруг маленькая рука дернулась под плащ к левой стороне груди, стала рвать пуговицы, и искоркой блеснуло там, вроде бы треснуло за его спиной дерево. И он, привстав, откинув на влажный песок крохотный пистолетик, упал лицом вниз,

---

[1] «С нами бог».

кашляя судорожно, спина туго выгибалась, он будто давился. Лоб был прижат к козырьку высокой, соскользнувшей фуражки, и был виден седоватый затылок с глубокой выемкой шеи.

Он выстрелил себе в рот. Никто тогда не сумел предупредить этот выстрел: при обыске в селе разведчики не нащупали плоского пистолетика под ватной набивкой мундира, и Константин не мог простить себе этого. Таких «языков» он не брал ни разу.

Через час после допроса пленных и просмотра карт и бумаг начальник штаба вызвал Константина.

— Люблю я тебя, Костя, и осуждаю,— сказал он, довольно подмигивая.— Доставь ты этого оберста — носить бы тебе звездочку. Да ладно, бог с ним. Бумаги и карты распрекрасные приволок ты — цены им нет! Возьми-ка вот этот «вальтеришко», помни оберста. Пистолетик-то не так себе — фамильный. С серебром. Считай своей наградой. Беру это дело на себя. Ну, давай к хлопцам. Водки я там указал выдать.

Таким образом стало у него два пистолета: свой, уставной ТТ и этот немецкий «вальтер»; всякого оружия хватало вдоволь, но этот пистолетик был как бы шутливой наградой.

Он сдал свой ТТ в Германии в дни демобилизации, «вальтер» же не сдал и в Москве: он не мешал ему. Сначала пистолет умещался в любом кармане, потом забыто валялся в книжном шкафу за старыми томиками Тургенева. Но в сорок девятом году было тщательно найдено для него секретное место — в толстом томе Брема он вырезал в серединных страницах гнездо, пистолет вплотную вошел туда, и Брем был спрятан в углу шкафа.

Он начал носить его только после того, как трое парней ноябрьской ночью по дороге в Лосинку ударом сбоку вышибли его из машины, а затем, оглушенного, поставили перед собой (сзади третий железными пальцами сжимал и отпускал сонную артерию на шее), с заученной ловкостью проверили его карманы.

Он не хотел больше испытывать унижающее бессилие и чувствовать чужие натренированные пальцы.

Константин достал из книжного шкафа том Брема — и «вальтер» прочно лег в свое гнездо. Он поставил Брема во второй ряд книг, за старым собранием сочинений Тургенева, и это сейчас почти успокоило его.

«Да что, собственно, случилось?— опять подумал он, пытаясь настроить себя на обычную волну.— Все обошлось и прекрасно обойдется. Предопределять судьбу? Зачем и для чего?»

Сев на край стола, он поглядел на фотокарточку Аси и набрал номер поликлиники. Долго не подходили там, наконец бархатистый профессорский баритон дохнул в трубку:

— Да-а! У телефона.

— Анастасию Николаевну. Кто? Представьте себе, муж.

— Узнал по голосу, молодой человек. Сейчас. Если потерпите.

Далекий щелчок — это положили трубку на стол, потом неясный говор в мембране и ее голос:

— Костя?

Неужели так просто можно сказать: «Костя?»

— Я жду тебя,— тихо сказал он, глядя на ее фотокарточку: ветер все прижимал юбку к ее коленям, и жарко, как перед грозой, светило летнее солнце. Сколько тогда ей было лет?

— Ты ужасающий экземпляр,— сказала Ася со смехом, и голос и смех ее имели свое значение, понятное только ему.

— Я жду тебя. Вот... и все,— повторил он, не отрывая взгляда от фотокарточки (о чем она думала тогда, защищаясь книгой от солнца?). Он сказал: «Я жду тебя», вкладывая в эти слова свое значение, которое лишь она могла ощутить и понять по звуку его голоса.— Я жду тебя. И как видишь — немного люблю тебя... Чепуха? Дичь? Сантименты? Позвонил муж, оторвал от работы? И лепечет какую-то чепуху. Идиотство, конечно. Так и скажи этому профессорскому баритону. Я просто соскучился. Я так соскучился, что мне хочется выпить...

— Какой же ты у меня дурачина, Костя! Ужасный! — сказала Ася и снова засмеялась.— Ты просто Баран Иванович, ты понял? Я не буду задерживаться.

— Я жду тебя.

И, уже повеселевший, Константин соскочил со стола, прошел в первую комнату, насвистывая, выудил из глубин буфета начатую бутылку «Старки». Налив рюмку, он выпил, затем сказал: «Есть смысл»,— и закусил кусочком колбасы. А после этой рюмки и пахучего кусочка колбасы вдруг почувствовал, что сильно голоден, и почему-то захо-

телось яичницы с жареной колбасой,— последний раз ел вчера в четыре часа дня.

В кухне было пустынно, тепло. Методично капала вода из крана.

Константин с грохотом толкнул сковородку на плиту, начал с таким веселым нажимом резать колбасу, что кухонный столик закачался, зазвенели, стукаясь друг о друга, баночки из-под майонеза. И тотчас услышал бормотание, посапывание в дальнем конце кухни — как будто проснулся кто-то там от грохота сковороды.

Константин взглянул, почесывая нос.

— Это вы, Марк Юльевич? Кажется, вы стоите на карачках? Потеряли что-нибудь? Будильник? Ходики? Бриллиантовую «Омегу»?

Марк Юльевич Берзинь, заведующий часовой мастерской, латыш, новый сосед, по какому-то сложному обмену переехавший с семнадцатилетней дочерью в смежные комнаты Быкова, стоял на четвереньках под своим кухонным столом, повернув лысую голову в сторону Константина; хищно поблескивала лупа в глазу, спущенные подтяжки елозили по полу.

— Вы напрасно острите, вы понятия не имеете,— сказал он.— Я всегда говорил: мыши — это позор советскому быту. Мы живем не где-нибудь в Аргентине. Я, как дурак, расставляю мышеловки по всей кухне. Я разорился на мышеловках.— Марк Юльевич вздохнул.— Вы посмотрите. Наклонитесь, наклонитесь.

Константин заглянул под его стол.

— Не очень доходит, Марк Юльевич.

— Дойдет,— кротко сказал Берзинь,— когда пообивает пальцы о защелку. С меня хватит этого опыта. Ползая под столом, я окончательно расстроил нервы.— Он деловито нацелился лупой на мышеловку, поставленную возле мусорного ведра.— Вы только взгляните: аккуратно объела сало — и удрала. Как это действие называется?

— Да черт с ними!— захохотал Константин.— Плюньте на мелочи!

Берзинь вылез из-под стола с возбужденными жестами человека, который должен что-то доказать, движением брови освободился от лупы (она упала ему в ладонь) и закачал лысой головой.

— Это скороспелые выводы! Вы посмотрите — здесь была крупа. Что сейчас?

Он снял с кухонной полки стеклянную банку, поставил на плиту перед Константином. В банке среди шелухи гречневой крупы сидела мышь, ее носик ерзал, обнюхивая стекло, ушки прижаты испуганно, лапки подобраны под себя. Марк Юльевич рассудительно заметил:

— Она сожрала крупу и не смогла вылезти. Вы думаете, это просто мышь? Нет! Разносчик чумы, бешенства и других заболеваний. Я не могу допустить,— в квартире есть женщины и дети. Моя дочь, как ребенок, боится мышей. Я понимаю Тамару. Думаю, что и ваша жена не очень довольна, когда мыши играют в кастрюлях. Надо бороться... Мы — мужчины... Мы это забываем.

— Наверно,— ответил Константин охотно.— Что вы будете делать с этим представителем грызунов? Пристукните ее шваброй. И к черту — мусор!

Берзинь поправил на плечах подтяжки, просунул большие пальцы под них, воинственно ими защелкал.

— Где швабра?— спросил он.— Вы совершенно правы!

Марк Юльевич нашел взглядом швабру, однако все медленнее щелкал подтяжками, раздумывая.

— Мм... Нет,— проговорил он.— Это жестоко.

Вздохнув, он двумя пальцами взял банку, подошел к окну и не сразу открыл вмерзшую форточку,— крупные хлопья залетели в кухню, тая на голой макушке Марка Юльевича. Он поежился, но все же вытряхнул мышь из банки в сугроб за окном, после чего заявил Константину:

— Вот так мы будем делать.

И, храбро выпрямившись своим маленьким круглым телом, подтянув выступавший из просторных брюк живот, похмыкав носом, спросил грозно:

— У вас какие часы? Марка?

— Швейцарские. Еще фронтовые.

— Км, да... Зайдите как-нибудь. Я уверен — в них килограмм грязи. У меня нет никаких сомнений.

Двадцать минут спустя Константин, опьянев от завтрака, полулежал на диване; тепло разливалось по телу, но спина еще никак не могла согреться, только сейчас внятно чувствовал лопатками знобящий холодок, промерз за ночь.

«Быков... Переехал... Сейчас в его комнате Берзинь с дочерью. Домашний очень. Пригласить бы его сейчас на рюмку «Старки». Но, кажется, пьет одно молоко»,

Он поднялся, включил радиолу и заходил, сунув руки в карманы, из одной комнаты в другую, насвистывая. Свист его вливался в сумасшедшие ритмы, возникало ощущение воздушной легкости, игры, удовлетворенности жизнью: у него была Ася, деньги, здоровье, был смешной Берзинь в квартире, эта радиола, книги, свобода, которую давала ему работа таксиста...

«Что еще нужно человеку, черт побери! Власть, слава? Не создан для этого. Меня тошнит, когда надо командовать людьми. Досыта покомандовал на фронте. Полгода назад предлагали пост начальника колонны. «Три курса института, идейно подкованный товарищ, грамотный, но почему вы не в партии? Такие, как вы...» Они позабыли взглянуть в мою анкету: родители — тю-тю, отец жены — тю-тю...

«Спасибо, я еще не дорос». А что случилось, собственно говоря? Что со мной случилось? О чем это я? Ничего не случилось. Просто фокстротик. Рюмка «Старки»... Легкомысленный фокстротик — и ничего не случилось. А что может со мной случиться? Ровным счетом ничего».

Насвистывая, он подошел к книжному шкафу, в стекле увидел отраженное свое лицо, с интересом всмотрелся и подмигнул себе: «Ну как? А? Живешь?»

«Все прекрасно, конечно. Все отлично будет».

Но вместе с тем его смутно и неосознанно тревожило что-то, будто чувствовал присутствие постороннего живого существа. И, подняв глаза, понял, что это было или могло быть частью того: тиснением отсвечивали толстые корешки томов Тургенева, за которыми не виден был том Брема.

«К черту! Выбросить все это из головы! Чтоб не было в памяти! Да что может случиться?»

Он раскрыл дверцы шкафа.

С правой стороны на третьей полке виднелся маленький томик в сером переплете. Уголовный кодекс. Этот кодекс они купили в пятидесятом году и целый вечер листали с Асей, когда узнали, что Николай Григорьевич осужден на десять лет без права переписки.

«Пятьдесят восемь, пункт десять... Прелестная статейка. А что же, интересно, за хранение огнестрельного оружия? Тоже — прелесть? Ах вот... За хранение огнестрельного оружия... Так. Пять лет. Пять лет. Пять лет за этот фамильный «вальтер»? Однако никаких доказательств. Была пустая площадь. Только те двое и те трое... Кто они? Михеев? А что может сделать Михеев? Спокойно,

как говорят в Одессе. Ша — и не ходи головами, команда была. Никакой фантазии. Вот так пока и будем жить. И нечего изумляться и поворачивать голову в разные стороны — закрутишь шею винтом».

Он захлопнул дверцы шкафа, иронически скривясь своему отражению, и, подойдя к буфету, налил еще рюмку «Старки».

Фокстротик кончался, затихал на пронзительной нотке. Шипела, скользя по черному диску, игла.

Константин перевернул пластинку, поставил рычажок на «громко», рассеянно слушая нарастающую вибрацию труб, придушенный голос джазового певца.

Он не услышал стука в дверь — через порог виновато вдвинулся из коридора Берзинь, сложил на животе руки, забарабанил пальцами.

— Костенька, я прошу извинить,— у меня такое впечатление, что у вас в комнате конный базар. Сильно ржали лошади, хрюкали свиньи. Я прошу извинить. Томочка делает уроки. И... не делает, а слушает ваши джазы. Я понимаю, конечно, у каждого свои слабости... но можно чуть-чуть потише, я еще раз извиняюсь...

Константин сделал приглашающий жест.

— Садитесь. Вы знаете, Марк Юльевич, что музыка хорошо действует на сердечно-сосудистую систему?

— Первый раз слышу.

— Вы знаете, что Глинка и Римский-Корсаков воспринимали музыку как цветовые пятна?

— Ай-ай-ай...

— Вы знаете, что Пифагор утверждал, что музыка врачует безумие?

— Немыслимо,— сказал Берзинь.— Разве?

Взглянув на удивленное лицо Марка Юльевича, Константин с веселым видом выключил радиолу.

— Конный базар закрыт. Передайте Томочке, что в ее возрасте джаз разрушающе действует на нервную систему. Скажите ей, что это цитата из солидного медицинского автора.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В седьмом часу он, как обычно, встречал Асю возле метро «Павелецкая».

В наступающие предвечерние часы он не мог оставаться дома — томила бездейственная тишина зимних су-

мерек,— и Константин испытывал нетерпение скорее увидеть ее, радостно и быстро выходившую в толпе из дверей метро и с улыбкой берущую его под руку: «Костя, дурачина, ты давно меня ждешь?» — и эти почти привычные по интонации слова ее постоянно вызывали в нем какую-то всегда новую и невнятную боль, как только он локтем чувствовал Асину кисть в шерстяной перчатке.

Снег перестал, и была особая молодая чернота в небе, прозрачность и свежесть в воздухе и белизна на тротуарах, на заборах, на карнизах.

Метро весело-ярко пылало праздничным огнем электричества; за ним ровный свет магазинов спокойно лежал на белой пелене, но уже скребли на мостовых дворники, темнея ватниками в пролете улицы. Вместе с теплым паром метро поминутно выталкивало из себя спешащие толпы людей, и все длиннее вытягивались очереди на автобусных остановках и за «Вечеркой» около голой лампочки газетного киоска.

Люди не шли, а бежали мимо Константина, растекались в разные стороны от беспрестанно открывающихся дверей. Куда они спешили? Знали ли опи то, что порой испытывали он и Ася? И Константин глядел на лица мужчин и молодых женщин, особенно ясно слышал голоса, смех и торопливое хрупанье снега под бегущими мимо него женскими ногами, иногда замечал короткие встречные взгляды — и, почти мучимый завистью, думал, что все они спешили или должны были спешить к тому, без чего не мог жить он и чего стеснялась и боялась Ася. «Мы заслужили это?..»

— Костя! Дурачок, ты давно?

Он вздрогнул даже, услышав ее смеющийся голос.

Ася сбегала к нему по ступеням, размахивая чемоданчиком. Подбежала, глаза радостно засветились, взяла его под руку, воскликнула:

— Ну, долго ждал, соскучился? Что ты такой... чертик с рожками... прямо не улыбнешься! Не рад? А то возьму и вернусь, буду спать в кабинете главного врача на диване.

Он улыбнулся ей.

— Ты хоть на жальчайший миллиметрик любишь меня?

Она посмотрела снизу вверх, и он увидел только ее молодо сияющие глаза, в глубине которых был смех.

— Ну, если метрически... то на жальчайший километрик! Согласен? Ну пошли, возьми мой чемодан. Мне

будет приятно внимание.— Потом спросила чуть-чуть осуждающе:— Почему от тебя, дурачина, пахнет вином?

— Я никак не мог тебя дождаться, Ася.— И сейчас же он полушутливо добавил:— Бывает, когда я не могу тебя дождаться.

— Не оправдывайся! Сентиментальность не учитывается. Это в последний раз. Есть?

— Слушаюсь,— сказал Константин.

Они шли по Новокузнецкой улице, мимо деревянных заборов, пахнущих холодом метели, мимо глухо запорошенного школьного бульвара за низкой оградой.

Асина рука легонько и невесомо лежала под локтем Константина, и предупредительно сжимались пальцы, когда он делал чересчур спешащий шаг, а он хотел, чтобы ее пальцы сжимались чаще, лежали плотно ощутимой и твердой тяжестью под его локтем, хотел чувствовать каждый ее шаг, движение ее тела рядом с собой, близкое дыхание. Он думал: «Любит ли она меня?» — и с тревожным вниманием видел и себя и ее как бы со стороны: себя — тридцатилетнего парня с усиками, в щеголеватой кожаной куртке, эдакого знавшего виды опытного малого; ее — тонкую, в узком пальто, с зеркально-черными нелгущими глазами; и, будто глядя так со стороны, улавливал любопытные взгляды прохожих на себе и на Асе — и сейчас молчал против обыкновения.

Ася тронула его за рукав.

— Почему ты сегодня ничего не спрашиваешь?

— Не могу смотреть на тебя и говорить одновременно. Не получается синхронности.

— Но ты как-то странно смотришь на прохожих. Особенно на женщин. Они улыбаются тебе. Это интересно — почему?

— Я смотрю на тебя и на прохожих. Знаешь, о чем они думают?

— Кто — эти женщины?

— Они думают, что я соблазняю тебя. Они принимают меня за потрепанного донжуана, тебя—за десятиклассницу.

— Но у меня накрашены губы,— сказала Ася.— Теперь я буду их красить еще больше. Это спасет тебя. Согласен?

Он ответил опять полусерьезно:

— Зачем? Пусть будет так. Я просто действительно очень соскучился по тебе. Если бы ты запоздала на десять минут, я бы поехал в поликлинику. За тобой.

— Какой ты странный, Костя, бываешь!

Асина рука выскользнула из-под его локтя. Она почти машинально слепила на железной ограде бульвара комок пухлого снега, задумчиво подержала его в перчатке и бросила за ограду в косые тени на фиолетовых сугробах. Фонарь невидимо светил там, где-то в высоте деревьев.

— Костя,— негромко сказала она.— Ты веришь, что ты — мой муж! И что я — твоя жена? Веришь?

«Зачем она спросила это?» — подумал он и почувствовал, как стала неприятно горячей колючесть шерстяного шарфа, жавшего шею.

— Нет, Костя, ты ответь,— повторила она.— Ты веришь? Я спрашиваю серьезно.

— Я?

— И я...— вполголоса проговорила Ася.— Я даже не представляю иногда: ты, Костя,— мой муж?— Она стояла перед ним, вся вытянувшись.— Прости, Костя, я никак не привыкну... А ты?..

— Да,— сказал он.

— Вот видишь, Костя, как все ужасно получается... Ты бы вот сейчас просто поцеловал меня, а ты стесняешься. И я. А разве муж и жена этого стесняются! Нет, нет, нет!— заговорила Ася быстро, как будто преодолевая препятствие.— Прости меня. Я даже иногда боюсь идти домой... потому что... потому что... ну ты понимаешь... А разве это должно быть?— Она смотрела ему в грудь.— Господи, я никогда не знала... Что-то не так, Костя. Я не умею... не научилась, наверно, быть женой. Я все время помню, что ты друг Сережи, что ты... Почему это? Какая-то глупость, Костя, прости! Я просто не умею, как другие женщины. Я дура, дура — и больше ничего. Ты, конечно, не все понимаешь?

— Да,— повторил он по-прежнему, глядя ей в растерянное лицо.

— Идем, а то на нас оглядываются,— сердито сказала Ася и взяла его под руку.— Мы соберем толпу. Лучше уж играть в снежки или делать какую-нибудь глупость! Пусть тогда смотрят.

Они пошли, но уже не было у Константина того недавнего возбуждения от праздничной чистоты запорошенных улиц, не было той радостной боли ожидания, когда он встречал Асю,— мигом изменилось, точно стерлось все после этих ее слов, которых он всегда опасался. Константин хотел заставить себя сказать просто и ясно то, что не

стоит говорить об этом, что он не может и одного дня жить без нее и поэтому не имеет права обижаться.

Но он сказал, выдавливая слова, застревавшие в горле:

— Ася... верь себе и делай, как ты хочешь...

— А ты? А ты? — с досадой перебила Ася. — Ты же старше меня, ты же мужчина... Объясни ты — я выслушаю все.

— Я сам не научусь быть мужем. И я виноват в этом.

— Что же тогда делать? Что же? Это ужасно, если мы начинаем об этом говорить! Счастье, говорят, муж и жена. А ты разве счастлив? — спросила она с той твердостью, как будто ждала ответа: «Несчастлив».

— Я? Да, — глухо проговорил он и, помолчав, спросил резко и фальшиво: — Ну а ты, Ася?

— Самое страшное, что я не знаю...

Они завернули за угол. Сухо поскрипывал снег в переулке.

— Асенька, родная, это просто чепуха невероятная, — с натянутой улыбкой сказал Константин. — Дичь и чушь.

Она ответила нахмурясь:

— Нет, это неполноценность. Я чувствую... Но я никакая не женщина. И никакая не жена, Костя!

— Мы уже дома, — сказал Константин, испуганно как-то взглянув на ворота. — Я должен... Я схожу за сигаретами. Прости, Ася. У меня кончились сигареты. Я сейчас...

Он осторожно высвободил ее кисть из-под локтя, повернулся и пошел назад, ожидая за своей спиной ее оклика, но не услышал. Дуло метельным холодом из темноты бульвара, а весь переулок был в чистой пороше, и отпечатались на ней свежие следы — его и Асины.

«Зачем она говорила это? Зачем?» — подумал он и без всякой цели зашагал к перекресткам, к огням в любой час оживленной Пятницкой, особенно узкой в этом месте, постоянно наполненной народом, уютно горевшей окнами, отсвечивающей зеркалами парикмахерских, стеклами пивных киосков.

Справа, в глубине тихого и провинциального Вишняковского, зачернела полуразрушенная церковка, проступала в звездном небе куполами, и теперь с притупленной остротой мельком он вспомнил то, что произошло прошлой ночью. «А было ли это? Да черт с ним, что было! Главное другое, вот что случилось!»

Константин толкался по Пятницкой среди кишевшей здесь толпы, незнакомых лиц, мелькающих под витринами, среди чужих разговоров, заглушаемых скрежетом трамваев, среди этого вечернего, непрерывного под огнями людского потока, старался точно вспомнить причину возникшего между ними разговора, но не находил нити логики, и возникал, заслоняя все, жег вопрос: «Не может быть!.. Значит, у нее другое ко мне, чем у меня к ней? «Не знаю». Она сказала: «Не знаю». Страшнее этого ничего нет! Пике... А стоит ли выводить машину из пике?»

Он глотал крепкую свежесть морозного воздуха. Было ему жарко. И саднящё щипало в горле. Он все медленнее и бесцельнее шагал по тротуару навстречу скользящему мимо него течению толпы.

Да, конечно, нужно было купить сигарет. У него были сигареты, но надо, надо было запастись. Обязательно купить.

На перекрестке Климентовского и Пятницкой он зашел в деревянный павильончик — не слишком пустой в этот час, не слишком переполненный,— протиснулся меж залитых пивом столиков к заставленной кружками стойке.

— Четыре «Примы».

— Костенька?..

Он взглянул. И не без удивления узнал в продавщице розовощекую Шурочку, работавшую когда-то в закусочной на бульваре; прежним, пышущим здоровьем несокрушимо веяло от ее лица, только слишком броско были накрашены губы, подчернены ресницы, а халат бел, опрятен, натянут торчащей сильной грудью.

— Костенька, никак ты, золотце?— беря деньги красными пальцами, ахнула Шурочка.— Сколько я тебя не видела! Чего ж ты! Женился небось! И дети небось?..

— Привет, драгоценная женщина, вновь ты взошла на горизонте, солнышко ясное!— сказал Константин, рассовывая «Приму» по карманам, обрадованный этой встречей.— А ты как? Пятеро детей? Парчовые одеяла? Солидный муж из горторга?

Они стояли у стойки, за его спиной шумели голоса.

— Да что ты, Костенька!— Шурочка прыснула.— Какой такой муж? Да никакого мужа, что ты!.. Откуда?— сказала она со смешком, а брови ее неприятно све-

ло, как от холода.— Пьяница только какой возьмет!

— Не ценишь себя, Шурочка. Ты — красивейшая женщина двадцатого столетия.

— Пива хоть выпей, подогрею тебе. Иль водочки... Не видела-то тебя, ох, давно! Посиди. Как живешь-то? Совсем интересный мужчина ты, Костя!

Она торопливо налила ему кружку пива и аккуратно подала, разглядывая его, как близкого знакомого, своими золотистыми кокетливыми глазами, в углах которых заметил Константин сеточки ранних морщин. И вдруг поймал себя на мысли: уверенно считал себя еще совсем молодым, но тут ему захотелось очень внимательно посмотреть на себя в зеркало. Он подмигнул Шурочке дружелюбно и отпил глоток пива.

— Все прекрасно, Шурочка,— сказал Константин.— Знаешь, есть японская поговорка? «Тяжела ты, шапка Мономаха, на моей дурацкой голове». Крупицы народной мудрости. Алмазы. Японские летописи! Найдены в Египте. Времен Ивана Шуйского.— И он сам невольно усмехнулся, повторил:— На моей дурацкой голове.

Шурочка громче прыснула, все так же влюбленно глядя на Константина, сказала, махнув рукой перед своей торчащей грудью:

— Счастливый ты, Костя, веселый, шутишь все!

— Хуже, Шурочка.

— Инженером небось стал?

— Последний раз слышу. По-прежнему приветствую милицию у светофоров.

— Ах, какой ты!— не то с восторгом, не то с завистью проговорила Шурочка и, опустив глаза, тряпкой вытерла стойку.— Водочки, может, а?— И наклонилась к нему через стойку, виновато добавила:— Может быть, зашел как-нибудь, я здесь недалеко живу. За углом. Одна я...

— Александра Ивановна!

Кто-то приблизился сзади, дыша сытым запахом пива, из-за спины Константина стукнул о стойку пустой кружкой; белела кайма пены на толстом стекле.

— Александра Ивановна, еще одну разрешите?— В голосе была бархатная приятность, умиленное, бабьего вида лицо благостно расплывалось, добродушные щелочки век улыбчивы.— Еще... если разрешите...

Шурочка не без раздражения подставила кружку под

струю пива, потом подтолкнула кружку к человеку с бабьим лицом, он взял и подул на пену.

— Благодарю, Александра Ивановна, чудесное у вас пиво.— Он ухмыльнулся Константину, извинился и отошел к столику.

— Кто это?— спросил Константин.

— Да не знаю, противный какой-то,— шепотом ответила Шурочка, наморщив брови.— Целыми днями тут торчит.— И договорила по-прежнему виновато:— Может, придешь, Костенька, а?

Константин грустно потрепал ее по щеке.

— Я однолюб, Шурочка. К сожалению.

— Ох, Костенька, одна ведь я, совсем одна...

— Рад был тебя видеть, Шурочка.

С треском дверей, с топотом вошла в закусочную компания молодых парней в каскетках, в обляпанных глиной резиновых сапогах — видимо, метростроевцы; здоровыми глотками закричали что-то Шурочке, загородили спинами, осаждая стойку, и Константин из-за их плеч успел увидеть ставшее неприступным Шурочкино лицо; она искала его глазами, со звоном передвигая на стойке пустые кружки. Он кивнул ей:

— Привет, Шурочка! Всех тебе благ!

Константин вышел из закусочной — из душного запаха одежды, из гудения смешанных разговоров,— жадно вдохнул щекочущий горло воздух, зашагал по Климентовскому.

Пятницкая с ее огнями, витринами, дребезжанием трамваев, беспрестанно кипевшей, бегущей толпой на тротуарах затихала позади.

Климентовский был тих, весь покоен; и была уже по-ночному безлюдной Большая Татарская, куда он вышел возле наглухо закрытых ворот дровяного склада; темные заборы, темные окна, темные подъезды. Лишь пусто белел снег под фонарями на мостовой.

Он пошел по улице — руки в карманах, воротник поднят, шагал нарочито медленно, ему некуда было торопиться сейчас.

«Такую бы Шурочку, кокетливую, красивую и преданную,— думал он, пряча подбородок в воротник.— Жизнь была бы простой и ясной, как кружка пива. Понимание, покой, обед, теплая постель... И все было бы как надо. Но все ли, прости меня, грешного?.. Ася, Ася, что же это?»

— Все спешат, все спешат... Бутафория!

Впереди за углом дровяного склада, против уличного зеркала закрытой парикмахерской покачивался с пьяным бормотанием черный силуэт человека — он делал что-то, нелепо двигая локтями; похрустывал под его ботинками снег.

— Салют! — сказал Константин. — Вы, кажется, что-то ищете?

Человек этот, неверными жестами поправляя шляпу, вглядывался в зеркало, почти касаясь его лицом, говорил прерывистым сипящим баритоном:

— Ш-шля-ппа — это бутаф-фория!.. Бож-же мой, бутафория! — И качнулся к Константину в клоунском поклоне, едва устоял на ногах. — Добрый вечер, молодой челаэк! Я р-рад...

Лицо было властное, бритое, темнели мешки под глазами; пальто распахнуто, кашне висело через шею, не закрывая крахмального воротничка, спущенного узла галстука.

— Все спешили домой, к очагам и чадам... В объятия усталых жен, — заговорил человек. — В домашней постели в любовной судороге забыться до утра, уйти от насущных проблем. Дикость! Бутафория... Трусость! Философия кротов!.. — Он горько засмеялся, его лицо исказилось, и не смеялось оно, а будто плакало.

Константин сказал:

— Банальный конец.

— Как вы?.. — внимательно спросил человек.

— У всех бывали банальные концы, — ответил Константин. — Вы где-то здесь живете? Может быть, вас проводить? Я охотно это сделаю из чувства товарищества.

— Где я живу, — забормотал человек, угловатыми движениями обматывая кашне вокруг шеи. — На земле... Частичка природы, познающая самое себя. Когито эрго сум! Декарт. Смешно подумать! Сжигание самого себя во имя идеи. Свой дом, стол, кровать, жена... Сжигание! Боимся потерять все это. А он доказал...

— Кто? — спросил Константин.

— Человек. Профессор Михайлов. Он... Один из всего ученого совета... Он в глаза сказал декану, что тот бездарность и, мягко выражаясь, калечит студентов... А мы... мы предали его. Человека... Мы молчали... Во имя собственной безопасности. Мразь! Отвратительные животные. Молча похоронили светило с мировым именем.

А Михайлов был вне себя. Он один декану заявил: «Вы вне науки, вы по непонятным причинам сели в это кресло, вы просто администратор в языкознании... вы... лжец, карьерист и догматик!» А мы... не смогли...

— Какого же черта?— пожал плечами Константин.— А впрочем, ясно. Идемте, я вас провожу.

— Вам незнакома, молодой человек, работа «Вопросы языкознания»? Истина уже не рождается в спорах. Нет столкновения мнений. Есть, мягко говоря, директива.

— Где ваш дом? Застегнитесь хотя бы.

— Простите, я дойду сам... Я должен дойти,— запротестовал человек и начал искать на пальто пуговицы.— Подлость живуча. Подлость вооружена. Две тысячи лет зло вырабатывало приемы коварства, хитрости. Мимикрии. А добро наивно, в детском чистом возрасте. Всегда. В детских коротких штанишках. Безоружно, кроме самого добра... Не-ет, добро должно быть злым. Иначе его задавит подлость. Да, злым! А я ученик профессора Михайлова. Я...

— Дойдете?— прерывая, спросил Константин.

Его раздражали вязкая цепкость слов актерски поставленного голоса, холеное лицо, круглые мешки под глазами этого незнакомого и неприятно пьяного человека.

— Бут-тафория,— выдавил человек, в горле его странно забулькало, лицо вдруг съежилось, и он, бросив под ноги шляпу, стал топтать ее ногами, вскрикивая:— Мы не интеллигенты, нет!.. Мы не интеллигенты. Мы не представители науки. Мы не соль земли. Мы не разум народа. Мы попугаи. Комплекс бутафории!

Константин смотрел несколько удивленно, а человек неожиданно вцепился в лацканы его куртки, прижал трясущуюся голову к его плечу, запахло одеколоном.

— Знаете,— Константин со злостью отстранился.— Что я вам — жилетка? Рыдаете в меня? Вы профессору порыдайте! Какой вы там еще... разум народа? Идите спать. Ведь проснетесь завтра, будете вспоминать, что наговорили, тут и сами себя за шиворот к декану отведете. Привет, дорогой товарищ!— Константин сделал насмешливый знак рукой, зашагал по тротуару, не оборачиваясь.

На бульваре среди площади Павелецкого вокзала сел на торчавшую из сугроба скамью, снова подумал с тоской: «Ася, Ася. Что же это?»

Он сидел один на бульварчике, отдаленно скрипел снег, у освещенных подъездов вокзала звучали голоса носильщиков, под вызвездившим небом разносились мощные гудки паровозов, а он не находил в себе сил встать, пойти домой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В коридоре не горел свет.

Константин в нерешительности постоял за дверью; он был уверен, что Ася спала, он хотел этого; потом вошел и так тихо опустился на диван, что пружины не скрипнули.

Слабый желтоватый ночник в углу распространял по стене сонный круг, и поблескивал кафель теплой голландки; необычным, настороженным покоем веяло от закрытой двери в другую комнату.

Константин разделся, постелил на диване и лежа закурил, поставил на грудь пепельницу. Потемки пластами сгустились под потолком, куда не проникал свет ночника, тишина стояла во всем доме, и доносился однообразный стук капель в раковине на кухне.

Ему нужно было уснуть. И он пытался думать не о том разговоре около метро, а о Шурочке с ее кокетливым лицом, о том пьяном человеке, яростно топтавшем свою шляпу возле парикмахерской, но все это ускользало куда-то, заслонялось пустынной площадью, квадратным низеньким человеком, его сильным курносым лицом, наклоненным над распластанным на мостовой телом,— и Константин сквозь наплывающую дрему услышал, как что-то стукнуло, упало на пол, и с мгновенным испугом подумал, что это пистолет выпал из бокового кармана...

— «Вальтер»...— прошептал он и круто перегнулся на диване, ткнулся пальцами в пол и сразу увидел пепельницу, опрокинутую, блестевшую круглым донышком на полу.

И уже облегченно вытянулся, положил руку на грудь, в ладонь его туго ударяло сердце.

— Костя?— послышался Асин голос.

Он лежал, не снимая руку с груди, красновато-желтый перед закрытыми веками свет ночника колыхался волнами.

— Костя... ты не спишь?..

Он не ответил и не открывал глаз.

— Костя...— Шаги, легкое дуновение сквозняка по лицу.

Красный свет ночника стал темным — и Константин ощутил возле подбородка осторожный мятный холодок поцелуя, дыхание на виске; и молча, не открывая глаз, он протянул руки, с несдержанной нежностью скользнул по Асиным теплым плечам, по материи халатика, ища по ее дыханию губы.

— Ты только ничего не говори,— попросил он.

— Костя... очень злишься на меня?— прошептала Ася и тихонько прикоснулась щекой к его виску.— Я просто сама не знаю, что тебе наговорила!

— Асенька, обними меня. И — больше ничего.

— Костя, ты знаешь почему?

— Что?

— То, что будет...

Разомкнул веки — увидел близко ее неспокойно поднятые полоски бровей, ее оголенную шею и шевелящиеся, как будто вспухшие губы.

— Я боюсь этого... Я не сумею. Я становлюсь какой-то другой. Меня все раздражает. Я сама себя раздражаю.

— Асенька, но ты же врач... Ты должна знать. У тебя перестраивается организм. Я это сам читал в твоем справочнике. Я внимательно читал. Да о чем, Ася, я тебе говорю? Ты знаешь это лучше меня в тысячу раз.

— ...Перестраивается в худшую сторону. Мне кажется, что я не перенесу этого. И вместе со мной он.

— У тебя ничего не заметно, Ася... у тебя даже фигура не изменилась. Ты такая же, как была.

— Мне просто иногда страшно. За него. Очень.

— Ася, поверь, ничего не случится. Я совершенно уверен. Честное слово — все будет в порядке. Асенька, полежи со мной. И мне больше ничего не надо. Ты меня понимаешь немножко? Если бы женщины на этом свете хотя бы слегка любили и понимали мужчин, я бы поверил в бога.

— Зачем ты это говоришь?

— Глупость, конечно, говорю. Полежи, пожалуйста, со мной.

Ася легла рядом, легонько прижалась носом к его шее, сказала полувопросительно:

— Я полежу просто так.

— Да. У тебя холодный нос, девочка.

— Костя, кто такой Михеев? Он звонил два раза, говорил какую-то ужасную ерунду. Какими-то намеками,

Он завтра утром к тебе придет. Почему он должен прийти? Что-нибудь случилось?

— Нет.

— У вас никакого несчастного случая? Ты ничего не скрываешь?

— Нет.

Он приподнялся на локте и долго, задерживая дыхание, разглядывал ее лицо: одна щека прижата к подушке, возбужденные глаза скошены в его сторону ожидающе; и он будто только сейчас заметил, что кончик носа у нее чуточку вздернут — он поразился этому.

— Асенька,— шепотом проговорил Константин,— ты когда-нибудь чувствуешь, что ты...

— Дурак ты мой,— сказала Ася,— ужасный...

Она прикусила губу там, где он поцеловал, не отводя от его лица темных зрачков.

— Потуши свет,— попросила она.— Я тебя прошу.

Константин проснулся с чувством отлично выспавшегося и отдохнувшего человека, радостный ощущением ясного и теплого утра, которое должно было быть в комнате, и, не размыкая глаз, наслаждался и молодым здоровьем своего тела, и бодрыми трелями трамвайных звонков на улице, и влажными шлепающими звуками за окнами (казалось, сбрасывают с крыш мокрый снег), и поскрипыванием рассохшегося паркета от легких шагов Аси по комнате, и приглушенно тихим голосом радио из-за стены — передавали гимнастику; а когда он открыл глаза, то на секунду зажмурился от совсем весеннего света и воздуха, который имел запах земляничного мыла, тончайшей пыли.

Была приоткрыта форточка над диваном,— едва видимыми тенями струился волнистый парок. Разбиваясь брызгами, позванивали капли по карнизу, и, загораживая низкое водянистое солнце, что-то темное летело сверху мимо оттаявших стекол, и раздавались под окном плюхающие удары.

— Ася!— громко позвал Константин, потягиваясь.— Асенька, весна ведь, а? Как там у классиков? «Весна берет свои права...» Нет, эти классики — ребята молодцы!

А вся комната была в светлом тумане, и в нем, располосованном лучами, подле тумбочки с телефоном стояла Ася, в строгом рабочем костюме, который надевала в по-

ликлинику, теребила провод, говорила удивленным голосом:

— Да откуда вы говорите? Не нужно звонить — просто заходите... Опять твой Михеев,— сказала она, вешая трубку.— Представь, звонит из автомата в трех шагах от нашего дома. Он что — стеснительный такой?

— Асенька,— проговорил Константин.— Ты опоздаешь в поликлинику. Половина десятого. Кто стеснительный — Михеев? Чересчур осел, прости за грубость. Все напутал. Наверно, говорил с тобой одними междометиями?

— Я уже к нему привыкла вчера,— сказала Ася, откинув волосы; солнце отвесно било ей в лицо.— Я все же дождусь его... этого Михеева. Он меня заинтриговал. Просто любопытно: зачем он?

— Он неотразимый мужчина, ловелас, холостяк. И конечно, мушкетер. Это все у него есть. В избытке. Милый человек. Правда, Кембридж не кончал.

Константин, уже одетый, только не застегнута была байковая домашняя ковбойка, подошел к Асе, успокоительно поцеловал ее в край рта.

— Ася, я могу поклясться... Ну вот он, черт его подери! Наверно, будет просить подменить его. Как всегда.

Звонок толкнулся в коридоре, затрещал и смолк, и Ася, сейчас же выйдя и не закрыв дверь, звучно, быстро щелкнула в коридоре замком. Донесся как бы натруженный голос Михеева: «К Корабельникову можно?» — и откашливание, топот, и в вопросительном сопровождении Аси Михеев — в бараньем полушубке, шапка на голове — медведем шагнул в комнату, не глядя на Константина, а любопытно, вприщур озирая стены.

— Здоров, Константин. В постелях валялся?

— Привет, Илюша,— сказал Константин.— Поздравляю.

— С чем это?

— С весенней погодкой.

— Какая там весна! Закрутит еще.— Михеев покосился на Асю с явным неудобством от ее внимательного взгляда.— Извиняюсь, с вами это я по телефону?

— Да. Раздевайтесь и садитесь,— сказала Ася.— Давайте я повешу ваши полушубок и шапку.

— Да нет. Мне, значит... вот,— хмуро замялся Михеев и неловко снял шапку, вытер ею лоб.— Разговор... Промежду мною и вашим мужем.

Ася, отвернувшись, сказала:

— Ну, хорошо. Я пошла, Костя, не провожай.

— До свидания, Ася. Я буду встречать.

И когда вышла она и потом бухнула пружиной дверь парадного, Михеев все еще переводил немигающие птичьи глаза с неприбранного дивана на книжные полки, от буфета на коврик в другой комнате; коричневое его лицо словно застыло.

— Культурно живешь,— проговорил наконец Михеев.— Чисто, книги читаешь. А это жена твоя? Цыганочка, что ли? Нерусская? Так глазищами меня и стригла, ровно ножницами. Нерусская, так?

— Француженка,— сказал Константин.— Привез из Парижа до революции. Балерина из оперы, внучка Альфреда де Мюссе. Раздевайся, Илюша. Ты все же шофер такси, культуру, так сказать, в массы несешь!

— Ладно уж...

Михеев не снял полушубка, сел, оперся локтем об угол стола, пристально и заинтересованно продолжая осматривать мебель в комнате, задержал внимание на Асиных тапочках около дивана, заерзал на стуле.

— Если б я женился, покрепче женщину взял,— сказал он завистливым голосом.— Былинка больно — жинка твоя. Оно, конечно, дело понятия. Худенькие да интеллигентные — аза-артные!— И он вроде бы улыбнулся, на миг выказал зубы.— Говорят. Я сам это дело не уважаю.

— А я не уважаю, когда ты бросаешься в философию,— насмешливо проговорил Константин.— Так, дорогой знаток женщин, можно и промеж ушей схлопотать. Это я тебе обещаю.

И, перехватив взгляд Михеева, свернул, сунул постель в ящик дивана, задвинул тапочки под стол, спросил:

— Что новенького скажешь, Илюшенька?

Михеев, мрачнея, притиснул шапку к коленям, произнес, задетый тоном Константина:

— Ох, Костя, не ссорься со мной. Я тебе нужный человек. Насмешничаешь? Как бы не заплакали...

— Я же люблю тебя, Илюша. За широту натуры. За доброту люблю. Завтракать будешь? Есть «Старка».

Подумав, Михеев прерывисто втянул воздух через ноздри.

— Не пью я. Завтракал.— И переспросил угрюмо:— Что новенького, говоришь, Костя? Хорошо. Я вчерась позже тебя с линии вернулся. Туда, сюда, путевой лист, день-

ги сдал. Курю. Глядь — начальник колонны выходит. И директор парка. Что-то говорят. У директора рожа — что вон эта стена. Белая. Стали осматривать машины. Ко мне подходят. Посмотрели «Победу». И вопрос: «Вспомните: на каких стоянках бывали?» Отвечаю. А начальник колонны: «В районе Манежной стояли?» — «Нет»,— говорю.

— А дальше?

— А что — «дальше»! — вскрикнул Михеев, захлебываясь.— Ночь не спал, все бока проворочал. Завтра в смену выходить, а никакой уверенности. Как теперь работать будем? И чего тебе надо было, дьяволу, этих сопляков защищать? Родные они тебе? А ты револьвер вытащил! Откуда револьвер у тебя?

Константин зажег спичку, бросил ее в пепельницу, потом вытянул указательный палец.

— Из этого можно стрелять, Илюша?

— Оп-пять двадцать пять!— с горечью выкрикнул Михеев.— Чего ты мне макушку вертишь? Без глаз я? Или уж за дурака считаешь?

— Думай что хочешь, Илюша,— сказал Константин.— Только представь себя на месте пацанов. Тебя бы дубасили, а я бы рядом стоял, в урну поплевывал. Как бы ты себя чувствовал, Илюша?

— А за что меня избивать? Не за что меня избивать!..

— Да не важно «за что», дьявол бы драл!— Константин вскипел.— Ладно, все это некстати! Не о том говорим!

Он замолк, теперь внутренне ругая себя за бессмысленную вспышку против Михеева, а тот глядел в окно — веки были красны, крупные губы поджаты страдальчески.

— Политика ведь это,— проговорил Михеев.— А знаешь, как сейчас... Во втором парке паренек один книжку в багажнике нашел. Ну и читать стал. А через неделю его — цоп!— и будь здоров. А за твою пушку, ежели раскопают...

— Какая пушка, Илюша?— перебил спокойно Константин.— О чем ты?

Михеев потискал шапку на колене, наклонил мрачное лицо к столу, повторил тоскливо:

— Политика это. Тебе, может, трын-трава, а мне — как же?

— Ты здесь ни при чем, Илюша,— сказал Константин.— Если что — отвечу я. И не думай об этом. Выбрось из головы. Не преувеличивай. Вспомни: никто нас не

видел. Никого не было. Ни черта они нас не разглядели. Слушай, я жрать хочу — присоединяйся! Бутерброд сделать?

— Аппетиту нет,— простонал Михеев.— В горло не лезет.

— Заранее объявляешь голодовку?— Константин отрезал себе кусок колбасы, сделал бутерброд.— Тебе не пришлось воевать, Илюша?

— Начальника разведки фронта я возил. Генерала Федичева.

— Так или иначе. Артподготовки нет — сиди поплевывай на бруствер и наворачивай консервы в окопе. Тогда не убьют, не ранят, не контузят. Аппетит потерял — половины башки недосчитаешься. Все мины, брат, тогда летят в тебя. Арифметика войны, Илюша.

— Пропаду я с тобой,— проговорил Михеев.— Ни за чих пропаду. Какое у тебя отношение к жизни? А? Нету его! Беспутный ты, глупый, отчаянный человек!— Михеев вскинул багрово-красное лицо, зло глянул на Константина.— Вот сидит... и колбасу жует. Артиста изображает. И чего я связался с тобой, с дураком культурным! Разве у тебя какое стремление в жизни есть? Разве тебе в жизни чего надо? Вон в квартире все имеешь. С телефоном живешь!— Михеев, завозившись на стуле, презрительно и твердо договорил:— А я, может, в жизни больше тебя понимаю! И мне из-за тебя в каталажку? За красивые глазки твои?

Константин отодвинул стакан недопитого чая, подавляя внезапный гнев, произнес:

— Сопляк, дубина стоеросовая!— «Что я говорю? Зачем я говорю ему это?» — подумал он и, успокаивая себя, спросил иным, уже шутливым тоном:— Слушай, Илюша, ты коров видел? Ответь мне: почему корова ест траву, солому, хлеб, а цвет дерьма одинаковый?

— Ты чего?— испуганно вскинулся Михеев.— Глупые вопросы. Не знаю!

— Не знаешь, Илюша? Я тоже нет. Что выходит? В дерьме не разбираемся, а о жизни судим! Так получается? Значит, оба мы с тобой в жизни мало что понимаем. Только вот что, Илюша: никакого револьвера у меня нет и не было. Не понимаю, почему ты заговорил об этом? Ну, черт знает что может показаться со страху! Нет, никакого револьвера нет! И прошу тебя, Илюша, успокойся ты!

Всматриваясь в угол куда-то, Михеев вдруг упрямо заговорил, шевеля крупными губами:

— Отнеси ты его... сдай куда надо. Покайся. Ведь простить могут все же: мало что бывает. Как к человеку пришел, посоветовать, может, опыта у тебя нет. Начнут копать это дело. Не таких ловют.

— Знаешь, а мне не в чем каяться и нечего относить,— ответил Константин. — Пойми же меня наконец, Илюша!

— Ну что ж... Я по-человечески хотел посоветовать,— выдавил Михеев и надел шапку, насунул ее плотно на лоб. — Я, видно, политику больше тебя понимаю... Жареный петух тебя еще не клевал, видать! — Расширяя дыханием ноздри, спросил тихо: — Ты что ж, может, меня соучастником считаешь?

— Нет. Ты тут ни при чем.

— Бывай. Ладно. Шито-крыто.

— Ну, будь здоров, Илюша! Договорим на линии! — Константин похлопал его по плечу. — Пока! И не думай ты об этом!

Однако он никак не мог успокоиться после того, как с насупленным лицом ушел Михеев, а потом, полчаса спустя, все шагал по комнатам, морщился, подробно, по деталям вспоминая весь разговор с ним, и, чувствуя приступ горечи от совершенной им сейчас ошибки, он вновь начинал подробно вспоминать свои слова, как будто хотел найти неопровержимые доказательства собственной правоты и неправоты.

«Я не так разговаривал с ним? Я должен был его убедить. Он все видел, он все знает, — думал Константин неуспокоенно.— Нет, в этом уже невозможно сомневаться. Нет, не смог я его разубедить, да как это можно было?»

Все окно не по-зимнему горело солнцем, шлепали капли по карнизу, сбегали по стеклу; ударял по сугробам сбрасываемый с крыши снег.

«Хватит. Сейчас я ничего не придумаю. Поздно. Принять ванну, побриться — и все будет великолепно! Все будет отлично! Лучшие мысли приходят потом».

Константин перебросил банное полотенце через плечо, а когда вышел в коридор, из кухни семенящей рысцой выкатился Берзинь в широких смятых брюках, в опущенных подтяжках; шипящая салом сковородка была выдвинута в его руках тараном, от нее шел пар.

— Томочка, Томочка, я иду! Вы посмотрите, Костя, на эту ленивую девчонку. Нет, я шучу, конечно. Уроки, танцы. Пластинки! Я сам в молодости спал, как слон. Сейчас будем завтракать! Ох, если бы жива была ее мать, Костя!..

Тамара — дочь его, совсем юная девушка, заспанная, еще не причесанная, золотисто-рыжие волосы спадали с одной стороны на помятую подушкой щеку, — выглянула из двери бывшей быковской квартиры, сделала брезгливую гримасу.

— Па-апа, ну зачем так кричать? Просто весь дом ходуном ходит от твоего крика! Неужели ты не понимаешь?

И, заметив Константина, смущенно спохватилась, откинула с лица непричесанные волосы, ахнула, прикрыла дверь.

— Да стоит ли... в самом деле? — с неестественной беспечностью сказал Константин и, не задерживаясь, прошел в ванную. — Все будет хенде хох, Марк Юльевич...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Стояла оттепель.

В переулках снег размяк, потемнел, протаял на тротуаре лужицами, в них космато и южно блестело предмартовское солнце, дуло мягким пахучим ветром, и в тени, в голубых затишках крылец осевшие сугробы были ноздревато испещрены капелью. Влажный ветер листал, заворачивал подмокшие афиши на заборах, по-весеннему развезло на мостовых.

Константин возвращался домой после ночной смены, шел по проталинам, под ногами разлетались брызги, голый местами асфальт дымился на припеке, и было тепло — он расстегнул кожанку, сдернул шарф.

Вид улиц, уже не зимних, с оттаявшими витринами магазинов, с зеркалами парикмахерских (сквозь стеклянные двери виден покуривающий швейцар у вешалки), утренние булочные, пахнущие сухим ароматом поджаристого хлеба; красный кирпич облупленных стен; полумрак чужих подъездов; голуби, стонущие на карнизах; хаотичная перспектива мокрых московских крыш под зеленым небом — все это успокаивало и одновременно будоражило его. Он прочно считал себя человеком города. Он

любил город: весеннюю суету улиц, чемоданы у гостиниц, вечерние светы окон в апреле, ночные вокзалы, прижавшиеся пары на набережных, теплый запах асфальта в майских сумерках, людское скопление возле подъездов театров перед спектаклями и поздними киносеансами, любил провинциальный конец зимы в замоскворецких переулках.

Константин дошел до Вишняковского, прищурясь от вспыхивающих зеркал луж, взглянул на старинную церковку, над куполами которой возбужденно носились, кричали галки. Ветер влажно погромыхивал вверху железом, а внизу — запустение, прохладные плиты, темный, старый камень под солнцем в белом помете птиц, почернел снежок на ступенях.

«Вот здесь я хотел спрятать пистолет, в этой церковке,— подумал он вдруг весело. — И кажется, чуть не поторопился. Все идет как надо. Слава богу, все кончилось, все успокоилось, как ничего и не было. Значит, все прекрасно!»

На углу Новокузнецкой он зашел в автоматную будочку — всю мокрую, на нее капало сверху, грязные стекла были в потеках,— быстро набрал номер поликлиники.

— Анастасию Николаевну. Кто спрашивает? Представьте, профессор, муж,— сказал он в трубку, разглядывая натоптанный пол; а когда минуту спустя услышал Асин голос, даже засмеялся.— Аська... Бросай все, скажи, что твой дурацкий муж ошпарился чем-нибудь. Бывает? Конечно. Уважительная причина. Выложи ее профессору — и ко мне. Я брожу по лужам. И доволен. Взгляни-ка в окно. Вы там оторвались от жизни! Окончательно. Ничего не видите, кроме порошков хины. Ты чувствуешь весну?

— Костя, ты с ума сошел! — строго сказала Ася.

— Совершенно съехал с катушек. Бесповоротно. И на вечные времена. От весны. У меня даже температура. Тридцать девять и шесть! По Фаренгейту. По Реомюру. И Цельсию, кажется? — И Константин договорил с нежным упорством: — Представь, что я соскучился... Я жду тебя.

— До свидания, Костя, — сказала Ася спокойно: видимо, в кабинете была она не одна.

— Целую. Кто там торчит около тебя? Профессор? Судя по голосу — у него довольно дореволюционная бородища и отчаянная лысина. Так?

— Хорошо, — ответила она и помолчала. — Пока! Я все-таки задержусь.

— Все равно я соскучился, как старый пес, Аська! Напиши это крупными буквами на своих рецептах, ясно?

Он вышел из будочки на влажный воздух улицы, на капель, на брызжущее в лужах солнце.

В коридоре против двери стоял деревянный чемодан, рядом — галоши. Войдя в сумрак коридора, Константин задел ногой за этот чемодан, удивленно чертыхнулся, и сейчас же мелькнула радостная мысль: приехал Сергей!

Расстегивая куртку, он вбежал на кухню, но она была пуста, он снова повернул в коридор — и в это время навстречу отворилась дверь Берзиня: Марк Юльевич, излучая сияние, кивал на пороге, делал приглашающие жесты.

— Костя, сюда, пожалуйста, сюда! Я услышал, как вы пришли. К вам гость! Вас не было дома, ждал у нас! Пожалуйста! Я рад! Томочка — тоже.

— Ко мне — гость?.. Кто?

— Заходите, заходите!

Константин вошел.

В комнате за столом сидел сухонький человек в помятом пиджачке: полосатая сорочка, немолодое морщинистое лицо с узким подбородком неровно и распаренно краснело после выпитого горячего чая.

Константин вопросительно взглянул на кивающего Берзиня, на Тамару, молча сидевшую в кресле (свернулась калачиком, подперев кулаком щеку), спросил неуверенно.

— Вы... ко мне?

— Вохминцев, значит, ты? — натягивая улыбкой подбородок, проговорил человек и встал, показывая весь свой маленький рост, выставил через стол руку.— Вроде похож и непохож на папашу. Я — Михаил Никифорович, стало быть. Здравствуйте! Разговор для вас серьезный есть. Издалечка, можно сказать... Вот, значит, в каком смысле. Сынок?

И его высокий, какой-то намекающий голос, взгляд прозрачных синеньких глаз разом кольнули Константина ошеломляющей догадкой, и он, мгновенно подумав о Николае Григорьевиче, сказал поспешно:

— Здравствуйте! Идемте ко мне... Я не сын Вохминцева. Я муж дочери Николая Григорьевича.

— Спасибо за чаек, спасибо.

Михаил Никифорович вышел из-за стола, пожал руку Бердину, потом Тамаре, которая рассеянно протянула лодочкой пальцы, и ныряющей, но уверенной походкой в поскрипывающих сапогах последовал за Константином.

— Оттуда вы? Давно приехали? — спросил Константин уже безошибочно, когда через несколько минут он усадил Михаила Никифоровича за стол и тотчас достал из буфета водку. — Вы... Откуда вы?

— Паспорток бы, извиняюсь, ваш глянуть одним глазком, значит,— своим высоким голосом сказал Михаил Никифорович, скромно, с руками на коленях, сидя на диване, чуть возвышаясь над столом своей жилистой фигуркой.— Выпить я могу, так сказать, культурно... До шибачки не пью, а так, конечно, ежели нет никаких других горизонтов. А паспорток так... ежели вы зять с точки зрения законного брака.

Константин не без удивления достал паспорт и глядел, как он медленно читал, долго всматривался в штемпель о браке, а затем сказал официально строго:

— Извиняюсь, Константин Владимирович. Дело сурьезное... Я вас никак видеть не должен. Я в командировке здесь, то есть на двое суток...

Константин, не отвечая, чокнулся с рюмкой Михаила Никифоровича, выпил и так же молча пододвинул ему тарелку. Смешанное чувство любопытства и опасения сдерживало его от первых вопросов, и он убеждал себя, что спрашивать и говорить сейчас нужно как бы между прочим, случайно, уравновешенно.

Михаил Никифорович прикоснулся к рюмке с воспитанной осторожностью — мизинец оттопырен,— вдруг сурово нахмурился и, запрокинув голову, вылил водку в горло, тут же деликатно сморщился, стал неловко сильно тыкать вилкой, царапая ею по тарелке. И, жуя, полез во внутренний карман пиджачка, из потертого портмоне вытянул смятый и сложенный вдвое конверт, подал Константину.

— Ежели сына, значит, нету по обстоятельствам, вам письмецо. От Николая Григорьевича. Да-а... Просил передать лично семье. Передайте, говорит, а вас там примут, стало быть. Да-а...

И Константин не мог унять дрожания пальцев, раз-

рывая конверт; положил письмо на стол, медленно разгладил грязный тетрадный листок, испещренный карандашными строчками, падающими книзу, к обрезу листка,— карандаш в нескольких местах прорвал бумагу.

«Дорогой мой сын! Ася не должна этого знать, поэтому я обращаюсь к тебе.

Я все же надеюсь, что через десять лет увижу вас. Теперь я, как многие, жду одного — узнать, что с вами, дорогие мои. Одно слово, что вы живы и здоровы, может изменить в моей жизни многое. Я тогда смогу ждать, надеяться и жить.

И вот что ты должен знать. В Москве 29 января была очная ставка с П. И. Б. Это было нечеловеческое падение, и еще одного человека... (зачеркнуто), которого я считал коммунистом... Но поверь мне, что я все выдержал.

Главное — передай Асе, что я жив, и поцелуй ее крепко. Береги ее.

Обнимаю тебя. Твой *отец*.

Сообщать мой адрес бессмысленно.

Напиши несколько слов и передай тому, кто передаст тебе эту записку».

Константин сложил письмо, но сейчас же вновь, будто не веря еще, скользнул глазами по фразе: «В Москве была очная ставка с П. И. Б.» — и помедлил, остановив взгляд на этой строчке, почувствовал, как кожу зябко стянуло на щеках.

— Что ж, выпьем?

Михаил Никифорович, в ожидании пряменько сидевший на диване, только сапоги поскрипывали под столом, отозвался высоким голосом:

— С вами-то чего ж не выпить! Ежели по единой! — И руки снял с колен, волосы пригладил преувеличенно оживленно. — У нас горькая — страсть редко, по причине далекого движения железной дороги и так и далее. Больше бабы на самогон жмут без всяких зазрений домашних условий. Со знакомством!

И выпил, опять деликатно сморщившись, покрутил головой, понюхал корочку хлеба, передергивая бодро, живо локтями.

— Хор-роша горькая-то!..

Константин посмотрел на его повеселевшее личико, на грубые, темные, узловатые кисти, на вилку, которую он

держал неумело, но уверенно, и его поразила мысль, что, наверно, человек этот — надзиратель, что Николай Григорьевич находится под его охраной, и, сразу представив это, с усилием спросил:

— Вы охраняете заключенных?

Михаил Никифорович жевал, взглядывая на Константина, как глухой.

— Курил сигаретку-то... — Он вытер под столом руки о колени и взял из пачки сигарету аккуратно.— Сладкие бывают, да-а... (Константин чиркнул зажигалкой.) Эх, зажигалка у вас? Очень, можно сказать, культурная штука. А бензин как?

— Я шофер.— Константин показал удостоверение, раскрыл его затем перед Михаилом Никифоровичем, перехватывая его взгляд, добавил: — Вы не бойтесь, я не трепач. Просто интересно. Ну, много там у вас... заключенных? В общем, если не хотите, не отвечайте. Выпьем лучше. Вот, за вашу доброту. — И он прикоснулся к письму на столе.

Наступило молчание.

— Шофер, значит, ты? — Михаил Никифорович, натягивая улыбкой подбородок, вдыхал дым сигареты, прозрачные синенькие глаза светились блестками.— А вид у тебя ученый... Очки на нос — ну что профессор...— Он тоненько засмеялся. — Вредный народ-то, однако, профессора, знаешь то или нет, Константин Владимыч? Ай тут ничего не знают? С виду соплей перешибить можно, а все против, откровенно сказать, трудового народа. Вот что я тебе скажу, ежели ты простой шофер и должен понимать международную обстановку. Враги народу...

— Кто враги? Профессора?

Михаил Никифорович сделал жестким лицо, на лбу проступили капли пота, заговорил строго:

— Пятилетки, значит, и строительство, подъем рабочей жизни и колхозы, значит. Читают нам лекции, объясняют все хорошо... А они, профессора, прекрасно образованные, против гениального вождя товарища Сталина. Я что тебе скажу, послушай только,— внезапно поднял голос Михаил Никифорович.— Убить ведь хотят, каждый год их ловят. То там шайка какая, то тут. Фашистов развелось в городах-то ваших — плюнуть негде! И везут их, и везут, день и ночь. Местов уже нет, а их везут... Ни сна, ни покоя. Чтоб они сдохли! Вот что я тебе скажу, Константин Владимыч, человек хороший... Ка-

торжная у нас работа! Не жизнь, нет, не жизнь. Убег бы, да куда?

— Сочувствую,— сказал Константин, прикуривая от сигареты новую.

Видно было — Михаил Никифорович сильно захмелел, обильно влажным стало его лицо; его синенькие глаза смотрели не улыбчиво, а искательно, вроде бы сочувствия просили у Константина; узел галстука нелепо сполз, расстегнутый воротник рубашки обнажил темную хрящеватую шею.

— Какая же это жизнь? — снова заговорил он страдальческим голосом.— Ну, чего это я болтаю, а? Ну, чего болтаю, дурья моя голова! — залившись тонким смехом и мотая волосами над лбом, крикнул Михаил Никифорович. — Ну, скажи на милость — интерес какой! Язык болтает, голова не соображает, горькая, видать, в темечко шибанула! Никакого тут интереса нет, Константин Владимыч! Совсем жизнь наша неинтересная!..

— Вы рассказывайте,— сказал Константин.— Я слушаю...

— А чего рассказывать!— перебил Михаил Никифорович, качаясь хмельно и смеясь. — Не жизнь у нас, нет, Константин Владимыч! Звери мы, что ли? А? Ведь не звери мы!.. Вы мои мысли уважаете? Или непонятное говорю?

Легши грудью на стол, Михаил Никифорович потянул Константина за рукав, пьяно замутненные глаза его, короткие серые ресницы заморгали, и Константин в эту минуту с ощущением острого комка в горле невольно отстранился, тотчас же взял свою рюмку и выпил двумя глотками водку, проталкивая ею этот комок в горле, спросил:

— А.., как Николай Григорьевич? Николай Григорьевич...

— Очень, можно сказать, хорошо.

Михаил Никифорович тоже опрокинул в рот рюмку; вздыхая, пожевал корочку хлеба, после высморкался в носовой платок, зажимая по очереди ноздри.

— Люди там, скажу тебе, разные бывают: один — зверем косится, другой — можно сказать, с пониманием. — Тщательно вытер покрасневший носик, затолкал платок в карман.— Когда на даче, то есть, по-вашему сказать, в карцере, сидел, я ему кусок хлеба, а он мне: «Спасибо, вы же от себя отрываете». Как человеку. Мы обхождение

понимаем, не звери, Константин Владимыч. Какого захудалого когда и пострадаешь, чтобы, значит, не особенно. А кому и скажешь: мол, понимай отношение справедливости жизни: кормят тебя, вражину, поят, одевают — чего же тебе, шляпы на голову не хватает, такой-сякой! А к вашему тестю уважение есть, уважают его: сурьезный, молчит все.

— Как его здоровье? — спросил Константин.

— Очень, можно сказать, хорошее. Два раза в госпитале лечили его, — ответил Михаил Никифорович. — Вернулся — хорошо работал, не отдыхая даже. Об этом, так сказать, сомневаться нельзя. Месяц назад повел его к пункту, чего-то у него закололо. Фершел, тоже человек сознательный, постукал, говорит: «Ничего здоровье...»

— Он никаких лекарств не просил... чтобы вы привезли?

— Лекарств-то?

Михаил Никифорович встрепенулся неожиданно, выражение пьяной расслабленности сошло с его влажного лица, покрытого красными пятнами. Он обеспокоенно глянул на будильник, отстукивающий на тумбочке, задвигал плечами и локтями, точно бежать собрался, крикнул высоким голосом:

— Это же время-то сколько! Беседа — хорошо, а дело забыл, пустая голова! Опоздаю я в магазины — баба начисто со света сживет! — И захихикал, все двигаясь на диване. — В универмаг мне надо в ваш! Бе-еда! Просьба у меня к вам, Константин Владимыч, вот, значит, совет ваш... По секрету сказать, никакая командировка у меня сурьезная, а в Москву за одеждой и так далее, двое суток мне дали...

Он суетливо вытащил из потертого портмоне зеленый листок бумаги, развернул перед собой на скатерти озабоченно.

— Купить мне надо, можно сказать. Жене — полушалок, куфайку шерстяную, детишкам — ботиночки, мальтишки, брату — сапоги хромовые. Из продуктов: сахару — пять килограммов, чаю — восемь пачек, колбасы — два килограмма, конфет — один килограмм. Где все это закупить можно, Константин Владимыч? Совет прошу. На два дня я из дому только!

— Где думаете остановиться?

Константин, отъединяя слова, спросил это, в то же время думая об Асе, об этом почти необъяснимом присут-

ствии Михаила Никифоровича здесь, в доме, о длинных темных разговорах его, вызывающих тупую боль в сердце; и не отпускало его едкое ощущение удушья.

— Сродственников у меня в Москве никого. А с Николаем Григорьевичем разговор был... Ночку мне только и переночевать, ежели вы... — с заминкой проговорил Михаил Никифорович, виноватой улыбкой натягивая подбородок, и Константин прервал его:

— Хорошо. Одевайтесь. Пойдем в магазины. Я покажу... где купить!

Письмо отца Ася читала не в присутствии Михаила Никифоровича, она с испугом пробежала первую строчку, молча ушла в другую комнату, закрылась на ключ и там затихла.

Константин, не без колебания решивший показать письмо, хмуро прислушиваясь, сбоку поглядывая на дверь и машинально подливал водку Михаилу Никифоровичу — после магазинов ужинали в десятом часу вечера.

Михаил Никифорович, довольный покупками, согретый до пота водкой, которую пил безотказно, устроясь на диване среди разложенных вещей, пакетов с сахаром, кульков и свертков, вытирая платком осоловелое лицо, возбужденно обострял слипающиеся глаза, борясь с дремотой.

— Дети, конечно, за родителев страдают,— говорил, прочищая горло кашлем, Михаил Никифорович.— И женщины, жены то есть. А разве они виноваты? Скажем, отец супротив власти делов наворотил, а они слезьми умываются.

«Каких же делов наворотил Николай Григорьевич?» — хотелось усмехнуться Константину и жестокими, как удары, словами объяснить, рассказать о честности Николая Григорьевича, о давних взаимоотношениях его с Быковым; и когда он думал о Быкове, что-то нестерпимо злое, бешеное охватывало его. «Быков,— думал он, плохо слушая Михаила Никифоровича.— И Ася, и Сергей, и Николай Григорьевич, и я — всё Быков, всё от него... И это письмо и надзиратель. И Николай Григорьевич — враг народа. Что докажешь! Да Быков... Всё и от него и не от него. Очная ставка — знали, кого вызывали! Ах, сволочь! Что же это происходит? Зачем? Очная ставка? И поверили ему, хотели ему поверить!..»

— Женщины очень уж страдают...— говорил Михаил Никифорович, и размытым серым цветом звучал его голос. — К эшелонам повели колонну, несколько сотен. И тут, значит, такая несуразица случилась. Недалеча от товарного вокзала бабы откуда ни возьмись — из дворов, из закоулков, из-за углов к колонне бросились. Кричат, плачут, кто какое имя выкликает. Они, значит, к тюрьме из разных городов съехались, прятались кто где. Ну, крик, шум, плач, бабы в колонну втерлись, своих ищут... Конвойные их выталкивают, перепугались, кабы чего не вышло до побега. Затворами щелкают... И — прикладами. Командуют колонне: «Бегом, так-распротак!» Побежала колонна, баб отогнали прикладами-то. И тут, слышу, один заключенный слезу вслух пустил, другой, вся колонна ревмя ревет — бабы довели, не выдержали мужчины, значит. Кричат: «За что женщин? Дайте с женами проститься!» А разве это разрешено? Не положено никак. А ежели какой побег? Конвойные в мат: «Бегом! Бегом!» Как тут не обозлиться?

— Перестаньте! — послышался ломкий и отчужденный голос Аси.

Она вышла из комнаты, стояла у незакрытой двери.

— Перестаньте! — повторила она брезгливо.

Сухими огромными глазами Ася глядела на сморщенное сочувствием, потное лицо Михаила Никифоровича, сразу замолчавшего растерянно; в ее опущенной руке белел конверт, и Константин особенно отчетливо заметил — как кровь — чернильное пятнышко на ее указательном пальце. И быстро посмотрел ей в глаза, спрашивая взглядом: «Что? Что?»

— Передайте отцу это письмо, если сможете! — сказала Ася холодно. — И, если не трудно, ответьте мне одно: он здоров? Я врач и хочу послать лекарства... с вами. Но я должна знать.

— Очень даже, можно сказать, здоров.— Михаил Никифорович зачем-то незаметно потрогал детское пальто на диване.— Так и велел передать он. А что у нас? У вас газы, автомобили, дышать невозможно, а у нас воздуху много. Очень даже много. Для детей хорошо. Продувает. Скажу вам так. Перед отъездом ходил я тут с Николаем Григорьевичем, то есть папашей вашим, в медпункт...

И Константин, чувствуя, как от слов этих больно начинает давить виски, вмешался:

— Ася, он здоров, Михаил Никифорович мне подробно рассказывал. Нужно обязательно нитроглицерин. В сорок девятом у него болело сердце.

— Это я знаю,— сухо сказала Ася.— У меня на столе, Костя, я приготовила все лекарства.

Она повернулась и вышла в свою комнату, не простившись с Михаилом Никифоровичем даже кивком, и он, ощутив, видимо, ее ничем не прикрытую неприязнь, засовывая оставленное Асей письмо в кожаное портмоне, произнес с ноткой обиды:

— Очень сурьезная... жена ваша.

Он вздохнул глубоко и шумно, потупясь, снова украдкой пощупал, помял полу лежавшего на диване детского пальто и, оставшись довольным, начал тереть колени под столом.

— Лекарствов, можно сказать, не надо бы,— внушительно, солидно заговорил он.— У нас кто этими лекарствами баловать начинает — залечивается до больницы.

— Завтра я отвезу вас на вокзал,— сказал Константин, давя сигарету в пепельнице.— Вот вам подушка, простыня. Устраивайтесь. Спокойной ночи.

Ася уже лежала в постели — ладонь под щекой, возле, на подушке — развернутая книга,— не мигая, смотрела в стену, на зеленоватый круг от ночника.

Константин разделся и лег рядом, после молчания сказал:

— Теперь мне кое-что ясно.

— А мне — ничего, ни-че-го...— шепотом ответила Ася, водя пальцем по зыбкому пятну света на обоях,— был виден краешек ее напряженного глаза, поднятая бровь.— Боже мой, Быков, очная ставка... И этот надзиратель у нас в квартире. И хоть бы что... Все смешалось. Как же так можно жить? — Она оперлась на локоть; глаза, отыскивая взгляд Константина, требовательно блестели ему в глаза.— Ты слышал, что он говорил! Я не могу это представить. Что-то делается ужасное... Почему, Костя? Для чего?

— Асенька,— проговорил Константин.— Можно, я потушу свет?

Он погасил ночник и опять лег на спину, подложив кулаки под голову, чернота сжала комнату, лишь лунный свет холодной полосой упирался в подоконник, как зерка-

лом, отбрасывал блик в тень потолка; из-за стены доносилось всхлипывание, свистящее дыхание носом. Где-то во дворе гулким отзвуком хлопнула дверь парадного.

— Он спит, — с отчаянием сказала Ася. — Ты видел, как он трогал руками это детское пальтишко? Неужели у него есть дети?

— Трое.

— Нет. Если так — тогда страшно! Если бы ты знал, как я ненавижу Быкова и тех... кто поверил ему! Нет, хоть раз в жизни я хотела бы посмотреть всем им в глаза! Именно в глаза!..

— Ася... — тихо сказал Константин.

Он прижался лицом к ее груди и, мучаясь от ощущения своей беспомощности сейчас, робко обнял ее и, зажмурясь, лежал так некоторое время, потираясь губами о ее пахнущую детской чистотой шею.

— Асенька... ты плохо меня знаешь. Я знаю, что делать,— убеждающе сказал Константин. — Этот Быков еще пострижется в монахи. Так должно быть на этом свете. Нет, он еще поваляется у меня в ногах. Я знаю о нем все, чего никто не знает. Вот этого только я хочу!

Она быстро отвернула лицо, шепотом сказала в стену:

— Не надо, не надо этого говорить! Не смей! Ты меня не понял. Я не хочу, чтобы оклеветали и тебя. Ты теперь не один! Ты ничего не должен делать, ни-че-го!

В полночь Константин встал; лунный косяк передвинулся по комнате — теперь твердо освещал стену, были видны цветы обоев. Свет этот был так беспокоящ, вливал такое холодное безмолвие в комнату, что Константин, одеваясь, улавливая дыхание Аси сквозь шуршание своей одежды.

«Не надо, не надо, ты теперь не один!» — звучало в его ушах, как через заведенный моторчик. Он никак не мог заснуть, и эта давящая усталость бессонницы шумела в голове. Тогда, после этих слов Аси, Константин вдруг почувствовал неожиданную отчаянную растерянность, какую-то рвущую душу нежность к ней, к этим словам ее, а после, когда она заснула, он, боясь повернуться, изменить положение, чтобы не разбудить ее, лежал в липко окатившем его поту, замлело, затекло все тело; и когда, измучась, отгоняя лезшие в голову мысли, с расчетом взвесить все, что могло быть, поднялся в полночь, решение было неотступно ясным.

«Еще ничего не случилось,— убеждал он себя.— Она боится за нас. Еще ничего не произошло. Пистолет... Спрятать надежнее пистолет. Немедленно. Сейчас, сейчас. Почему я не сделал этого раньше?»

Он опасался разбудить Асю, заскрипеть дверцами книжного шкафа и, осторожно открывая, приподнял створки — они тоненько скрипнули в тишине комнаты,— отодвинул книги и достал толстый том Брема: как в дыму, гладко поблескивал в нем под лунным светом «вальтер».

Он сунул его во внутренний карман пиджака, колющим холодком ощутил грудью плоскую тяжесть, оглянулся через плечо на тахту — Ася спала. Постоял немного.

И опять, опасаясь скрипа двери, на цыпочках, поспешно вышел в другую комнату, но здесь натолкнулся на отлетевший стул, заваленный грудой одежды, поставленный перед порогом. Сразу оборвался храп, и взлохмаченная тень, фистулой свистнув носом, вскочила на диване, из окна высвеченная косым столбом луны,— Михаил Никифорович испуганно вскрикнул:

— А? Кто?

Константин, от неожиданности выругавшись, запутался ногами в одежде, упавшей на пол, торопливо стал подымать ее, в тот же миг тупо зашлепали по полу босые ноги — он, нахмурясь, выпрямился с чужим пиджаком в руках.

Михаил Никифорович в исподней рубахе, в кальсонах, синей тенью возник перед ним, выкатив остекленные страхом и луной глаза, повторял одичало:

— Ты что это? А? Как можешь?

И рванул к себе пиджак из рук Константина, смял его в горстях, проверил что-то, твердой ощупью скользнул по карманам, все повторяя одичалым голосом:

— Ты что же, а? Как можешь? Документ тут был, а? — И охватил Константина за локти.

— С ума сошли, черт вас возьми! — Константин резко перехватил жилистые кисти Михаила Никифоровича и зло оттолкнул его к дивану. Тот с размаху сел, откинувшись взлохмаченной головой.— Вы что — опупели? Сон приснился? — шепотом крикнул Константин.— Какие документы? А ну проверьте их! Какого черта стул у двери ставите? Забаррикадировались?

— А? Зачем? — прохрипел Михаил Никифорович и, уже опомнясь от сна, отрезвев, посунулся на диване, жел-

тые руки замельтешили над пиджаком, достал зашуршавшую бумажку, жадно вгляделся в нее под луной. И затем, странно поджав худые ноги в кальсонах с болтающимися штрипками, потерянно забормотал:— Это что ж я? С ума тронулся? Аха-ха-ха! Извините, Константин Владимыч, извините меня за глупые слова...

— Тише вы! Жену разбудите! — не остывая, выговорил Константин.— Спите лучше! И положите пиджак под голову, если боитесь за документы. А дверь не баррикадируйте!

— Извиняюсь, извиняюсь я...

Константин повернул ключ в двери, вышел в темный коридор, не зажигая света, прошел в кухню, тихую, лунную. Здесь, успокоясь, подождав и выкурив сигарету, намеренно спустил воду в уборной, несколько минут постоял в коридоре.

Затем на носках приблизился к порогу своей квартиры.

Всхрапывание, посвистывание носом доносились из комнаты. «Позавидуешь — он все же с крепкими нервами», — подумал Константин.

Потом, вслушиваясь в шорохи спящей квартиры, отпер дверь в парадное.

Через двадцать минут вернулся со двора.

Он спрятал «вальтер» в сарае, под дровами.

Утром Константин поймал такси в переулке, повез Михаила Никифоровича на вокзал. По дороге мало разговаривал, зевал, делая вид, что плохо выспался и утомлен, изредка поглядывал на Михаила Никифоровича в зеркальце.

Тот молчал, вытягивая узкий подбородок к стеклу. Возле подъезда вокзала Константин облегченно и сухо простился с ним.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Когда Константин вошел в насквозь пропахший бензином гараж — в огромное здание времен конструктивизма тридцатых годов, с уклонными разворотами на этажи, вразнобой гудевшими моторами перегоняемых машин, с шумом, плеском воды на мойке, около которой вытянулись очередью прибывшие «Победы», — он увидел в закутке курилки человек семь шоферов заступающей смены.

Стояли, сидели на скамье перед бочкой, покуривали, лениво переговаривались — как всегда, отдыхали перед линией.

Белое морозное февральское солнце отвесно падало сквозь широкие стекла.

Михеев сидел на самом краешке скамьи, теребил Константинову шапку, заглядывал внутрь ее, казалось — не участвовал в разговорах; круглое, плохо выбритое лицо было угрюмым.

— Привет лучшим водителям! — сказал Константин, здороваясь со всеми подряд, а Михеева еще и ударил весело по плечу. — Как, Илюшенька, настроение? Что ты видишь в донышке моей шапчонки?

Слова эти вырвались почти непроизвольно, однако он произнес их с испытывающим ожиданием, Михеев резко вскинул глаза на него, узко сомкнул пухлые губы, и Константин так же неожиданно для себя сказал оживленно:

— Недавно под настроение махнули с Илюшей «головными приборами». Он оторвал мою пыжиковую, а я его — заячью. Пришлось ее поставить на комод, как клобук мыслителя. Показываю соседям по квартире. Ажиотаж. Крики «ура». Выломали дверь. Был запрос из Исторического музея. Не успеваю снимать телефонную трубку. Что делать, братцы?

В курилке засмеялись. Михеев, не разжимая губ, молчал, кончики его ушей, полуприкрытые волосами, заалели, ярко видимые под солнцем.

— За мной, Илюша, в воскресенье сто граммов с прицепом и даже с двумя,— произнес Константин, сел между Михеевым и пожилым шофером Федором Плещеем, удобно развалившимся на скамье.

— Его на маргарине не проведешь. Он тебя, Костя, разгуляет на твои деньги! — отозвался Плещей и скосил на Михеева глаза, ясные, независимые. — Ну, выдай-ка, Илюха, последнее сообщение. Стоит ли масло покупать в магазинах и лекарство в аптеках? Ну? Откровенно! С плеча лупани! Ты хорошо обстановку в стране понимаешь.

Было Плещею лет сорок пять, тяжелый, крупный, даже грузноватый, с уже белеющими висками — от фигуры его, от умного и как бы неотесанного лица веяло самоуверенностью человека, знающего себе цену.

Работал он когда-то в грузчиках и, может быть, вследствие этого и его нестеснительной прямоты, особенно

густого баса, звучавшего иногда на все этажи гаража, сумел прочно и независимо поставить себя в парке.

— Так как же, Илюха? — повторил Плещей.— Масло можно покупать — или отравили его... эти самые? Или разве одну картошку можно? Расскажи-ка! Что говорил мне — сообщи всем. Полезно для высокой бдительности. Мы, брат, разных пассажиров возим. Ухо надо пристрелять. Ну, нажми на акселератор — и рубани за жизнь! И все станет ясным!

— Вы всегда разыгрываете и преувеличиваете, Федор Иванович,— сказал шофер Акимов, сдержанно обращаясь к Плещею.

— Добряк! — захохотал Плещей.— Иисус Христос ты, Акимов!

Михеев поерзал, обеспокоенно перевел глаза на Акимова, на лицо Плещея, потом на молча раскуривавшего сигарету Константина.

Акимов — бывший летчик, — без шапки, светловолосый, в короткой, на «молниях», меховой куртке, стоял, прислонясь к бочке, с серьезной задумчивостью покусывая спичку. Сказал:

— Ну что мы все время Илюшу разыгрываем? Зачем?

— Майор милиции вынул лупу и посмотрел на физиономию пострадавшего,— вставил дурашливо Сенечка Легостаев.

С бутылкой молока в руке Легостаев топтался на цементном полу, легонько выбивал щегольскими полуботинками чечетку и в перерывах отпивал из бутылки — подкреплялся перед линией. Младенчески розовый лицом Сенечка выглядел старше своих лет из-за вставных передних зубов, делавших его лицо наглым и отчаянным.

Сенечка кончил выбивать чечетку, навалился сзади на плечи Акимова, ухмылкой выказывая стальные зубы, спросил:

— Слушай, Илюшенька, а не... этих ли отравителей у нас искали? Директор и механик по машинам шастали, опрашивали насчет стоянок и всяких происшествий?

Константин быстро посмотрел на Легостаева.

— Что, всех? — Константин пожал плечами. — Меня нет. Бог миловал от разговора с начальством.

— Да и тебя сегодня кадровик искал, — отхлебнув из бутылки, добавил Легостаев. — И конечно, Илюшу. С самого утра бегал тут Куняев, Но тебя-то наверняка

повышают, Костя! И Илюшу — как чикагского детектива. Дадут пару «кольтов». Пиф-паф! Налет на аптеки!

— Уверен — повышают. А почему нет? — сказал Константин. — Давно жду министерский портфель. Но только вместе с Илюшей. Отдельно не согласен.

«Значит, его вызывали? — взглянув на угрюмо молчавшего Михеева, подумал Константин. — Его... Значит, меня и его. Обоих...»

— Сопи, сопи, Михеев,— снисходительным басом произнес Плещей. — Это помогает. А у меня, знаешь, дети масло едят. У меня четверо пацанов. С аппетитом.

«К кадровику? — думал Константин. — Вызывали в отдел кадров? Зачем? Для чего я понадобился?» И уже смутно слышал, что говорили рядом, но, успокаивая себя, по-прежнему сидел, невозмутимо развалясь на скамье между Михеевым и Плещеем, цедил дымок сигареты.

— Да что вы, друзья, атаковали Илюшу? — сказал удивленным голосом Константин.— Парень он — гвоздь. Молоток.

Плещей поддержал Константина своим внушительным басом:

— Во-во, почти все знает, как в аптеке!

— Пресс!— согласился Легостаев и хохотнул.— Сам видел: в пельменной он масло жрет, аж затылок трясется на третьей скорости.

— Что напали, отбоя нет! — внезапно зло огрызнулся Михеев и неуклюже встал, напружив шею.— А ты, Легостай, молчи! Знаю, как пассажиров под мухой с бабами знакомишь! С простигосподями... Чего ощерился? — Обернулся к Плещею: — Говорить с вами нельзя, Федор Иванович! Странно вы как-то разговариваете!

И пошел, раскачиваясь, к машинам, надевая на ходу шапку, оттопыривая ею алеющие уши.

— Обиделся, никак,— за что, кореш? — крикнул Легостаев и зашагал вместе с ним, размахивая бутылкой, стал что-то объяснять, снизив голос.

— Ну что вы сердите парня? — сказал Акимов умиротворяюще. — Есть люди, которые не понимают шуток,— ну и что? Я с ним одну комнату снимаю. Во Внукове. Честное слово, он обижается.

— Молоток, говоришь? — Плещей, точно не расслышав Акимова, двинул плечом в плечо Константина. — Молоток, да не тот. Не обтешется никак. Трепло! — Он постучал пальцем по скамье. — А? В Москве, говорит,

мальчиков в родильных домах умерщвляют. Врачи, мол, и все такое. Все знает. Спасу нет. Орел — вороньи перья. Так, Костя, или не так?

— Не совсем уверен, Федор Иванович.

— Вы очень его прижимаете в самом деле, Федор Иванович, — вставил миролюбиво Сенечка Легостаев, подходя. — Больно он злится на ваши слова... Переживает. Ну его в гудок!

— Чихать я на обиды хотел, Сенечка, левой ноздрей через правое плечо! Мещанскую темнотищу из него выколачивать надо! — без стеснения грудным басом загремел Плещей. — В затишках говорить не умею. Не мышь я, Сенечка, чтоб под хвост шуршать!

— Не совсем уверен, Федор Иванович, — повторил Константин.

— Это в каком смысле? — не понял Плещей.

— В том же... Значит, меня вызывали в кадры?

— Я-то тебя не разыгрываю! Давай к Куняеву! — крикнул Легостаев. — Повышают, видать, студентов!

Отдел кадров находился в самом конце коридора.

Сюда из гаража слабо проникал подвывающий рокот моторов, здесь всегда была тишина с запахом пыли, засохших чернил, с таинственным шуршанием бумаг на столах. Здесь шоферы невольно снижали до шепота крепкие голоса — всех овеивало непривычной официальной устойчивостью, стук пресс-папье чудился секретным и значительным, как и поставленная печать на справке.

В то время, когда Константин постучал: «Можно?» — и излишне уверенно дернул зазвеневшую стеклом дверь, начальник отдела кадров Куняев в старом, из английского сукна кителе сидел за простым двухтумбовым столом (на плечах серели невыгоревшие полосы от погон), листал папку, разглаживал листы, скуластое лицо было неподвижным, прямые пепельные волосы свешивались на лоб.

— Вызывали? — спросил Константин и бесцеремонно бросил шапку на облезлый сейф. — Кажется, вы интересовались мной, если я не ошибаюсь!

— А, товарищ Корабельников! — Куняев, весь подтянуто плоский, встал, смягчаясь одними серыми сумрачными глазами. — Все шутки шутите, это даже хорошо. Как работается? Садитесь.

Заученно он правой рукой поправил полы кителя, левая — протезная, в кожаной перчатке — мертво, неудобно уперлась в край стола.

— Это, товарищ Соловьев, наш шофер Константин Владимирович Корабельников, — сказал Куняев, кивнув куда-то в угол комнаты.

Константин, садясь, мельком глянул туда, различил между шкафами, за столиком в нише, сухощавого молодого человека в темном костюме; пальто и шляпа висели на гвоздике, вбитом в стену шкафа. Человек этот, читавший какую-то бумагу, приветливо ответил взглядом,— мягкая улыбка засветилась на его лице, — сейчас же подошел и сильно, дружелюбно потряс руку Константина тонкой и гибкой рукой.

— Очень приятно, Константин Владимирович.

И отошел к нише, снова принялся внимательно читать бумагу под дневным светом окна.

Константин сказал, преодолевая наступившее молчание:

— Слушаю вас.

Куняев положил локоть протеза на стол, опустил глаза к папкам и, поглаживая обтянутый кожаной перчаткой протез, спросил с шутливой фамильярностью:

— Как работается, товарищ Корабельников? Довольны?

— Мм... как вам сказать? Труд в свое время очеловечил обезьяну, товарищ Куняев.

— Хм!..

— Но в наше время является делом чести, доблести и геройства. Следовательно, я доволен. Зарплатой и своим начальством. И отделом кадров, — сказал Константин то ли насмешливо, то ли серьезно — можно было понимать как угодно.

Молодой человек у окна оторвался от бумаги и вынужденно заулыбался, и Куняев, словно щекой почувствовав эту улыбку, тоже слегка раздвинул губы, сказал:

— Ну, ну! Все шутите, товарищ Корабельников! Вот вас в парке за это и любят. Это хорошо. Умная шутка украшает жизнь... создает бодрое рабочее настроение. С шуткой, как говорится, работается веселее...

— Не всегда,— ответил Константин, испытывая смертельное желание закурить, особенно оттого, что на шкафу висело: «Курить воспрещается», оттого, что на столе Ку-

няева не было пепельницы, оттого, что не мог нащупать цель этого вызова.

Его неприязненно настораживало, что Куняев против обыкновения был не один и, казалось, не глазами, а щекой, затылком, всем телом ощущал присутствие здесь молодого человека, который стеснял его, сбивал с обычного тона.

— Так вот... н-да... зачем я тебя вызывал, — стирая со скуластого серого лица не свою, а точно отраженную, заемную улыбку, и сухо, как всегда, заговорил Куняев. И подал при этом Константину анкету из папки.— Уточнить кое-что хотел. Посмотри насчет наград. И насчет родственников. Точно у тебя? Все в порядке? Добавлений не будет? Каждый год анкеты уточняем. Никаких у тебя изменений? Если есть, впиши. Вон ручка.

Куняев сказал это и стал упорно глядеть в другую папку, занятый следующей анкетой, прямые волосы спадали на выпуклый лоб.

— Уточнить?.. — Константин прикусил усики, подумал. — Угу.

— Читай анкету, товарищ Корабельников. Читай внимательно.

В голосе начальника отдела кадров прозвучало нечто раздражающе невысказанное, и Константин вопросительно повел глазами по анкете.

Давний почерк, синие домашние чернила, вспомнил: анкету заполнял еще в сорок девятом году. Он быстро нашел графу «Когда и чем награжден» — все ордена, медали были вписаны («Все в порядке, но что же?»), и следом отыскал вопрос о родственниках: «Есть ли репрессированные?» Здесь его почерком было написано: «Отец жены, Вохминцев Николай Григорьевич, арестован органами МГБ в 1949 году». «Так вот в чем дело!» Следствие длилось девять месяцев, и тогда он не знал, что Николай Григорьевич будет осужден на десять лет. Тогда еще не верилось! И он и Ася узнали об этом в пятидесятом...

«Что же — повторяется история с Сережкой? Значит, сейчас разговор пойдет о сокрытии истины? Этот молодой человек уточнил? Зачем он здесь? Так что же они будут говорить сейчас мне? Значит, за этим я и был вызван? Но почему... именно сейчас, сегодня, а не год, не пять дней назад? Почему сегодня?»

— Насчет наград — все правильно. Если, конечно, я не забыл вписать какой-нибудь значок вроде «отличный

разведчик» или «отличный парень»,— сказал Константин, заставляя свои глаза блестеть невинно-весело в сторону строго поднявшего лицо Куняева.— Что касается графы о родственниках, то надо уточнить, если это требуется по форме. Отец моей жены, Вохминцев Николай Григорьевич, после девятимесячного следствия осужден особым совещанием на десять лет по статье пятьдесят восемь. Это я узнал в пятидесятом году. Впрочем, это не важно. Про анкеты вспоминаешь в исключительных случаях. Факт тот, что в графе этого уточнения нет. Разрешите вписать?

— Не важно, утверждаешь? Это как раз важно! — сухо произнес Куняев, из-под лба взглядывая на Константина. — Чего уж тут шутки шутить. Не до шуток. Анкета — твое лицо. А лицо-то каждое утро умывают, а?

Константин с выражением непонимания сказал:

— Что меняет... если я впишу «осужден»?

Выпуклые скулы Куняева отвердели, белыми бугорками проступили желваки, и цветным карандашом он нервозно защелкал по протезу.

— Что — шестнадцать лет тебе? Мальчик?

И сразу посуровел, покосился в угол комнаты на молодого человека, сидевшего незаметно за чтением бумаг.

— Ты что — несовершеннолетний? Ответственности нет?

— Анкеты — всегда стихия, — вздохнул Константин,— Понимаю. Разрешите, я впишу сейчас?

Молодой человек отложил бумагу, провел ладонью по залысинам и, вроде только сейчас услышав разговор, ясным взором поглядел на Константина, на Куняева, сказал мягко, примирительным тоном:

— Бывает. Забыл товарищ Корабельников. Это поправимо. Впишет в анкету, и все в порядке. Правда ведь, товарищ Куняев? — Он с неисчезающей доброжелательностью, вежливо ему кивнул. — Извините, пожалуйста. Не разрешите ли нам поговорить с Константином Владимировичем минут десять? Вы, Константин Владимирович, в пять заступаете? Ну я не оторву у вас время.

Он подвинул стул, гибким движением сел напротив Константина, уже не обращая внимания на выходившего из комнаты хмуро-замкнутого Куняева, подождал, пока затихли шаги за дверью, и потом с той же предупредительностью, с какой тряс, знакомясь, руку Константина, заговорил мягким голосом:

— Надеюсь, вы не подумаете ничего плохого, если я буду с вами доверителен, Константин Владимирович. Пусть вас не огорчает эта пресловутая графа. В отделе кадров без бюрократизма, как говорится, не обойтись. Ну, осужден ваш родственник через девять месяцев следствия. Ну, вы запоздали сообщить. Это ясно. Тем более он не ваш отец, только родственник. Простите... Вы, наверно, удивляетесь: «Кто это со мной говорит?»

Молодой человек извлек из внутреннего кармана удостоверение, предложил его посмотреть Константину.

— Чтоб не было недоразумения, представлюсь. Моя фамилия Соловьев. Я инспектор по отделам кадров. Меня интересует, Константин Владимирович, вот что. Вы служили в разведке во время войны?

— Да. Это записано в анкете.

— Ради бога, забудем про анкету. Передо мной вы, живой человек, анкета — это бумага, так сказать.— Соловьев с извиняющейся полуулыбкой кончиком пальцев прикоснулся к стаканчику, наполненному отточенными карандашами. — Вы всю войну служили в разведке? Именно в разведке?

— Да.

— И, судя по вашим наградам, вы были хорошим и, так сказать, смелым разведчиком, отлично выполняющим задания командования. Вы, наверное, не раз приносили полезные данные, различные сведения о противнике. Я вижу, вы любили свое дело, правда ведь?

— Разведчиком я стал случайно. Как многие на войне стали случайно артиллеристами, пехотинцами, штабистами и прочими.

Соловьев, улыбаясь, ласково перебил его:

— Я понимаю. Но я говорю о результате. Вы же на войне не меняли свою профессию? Значит, она вам нравилась? Константин Владимирович, сколько у вас наград?

— Шесть. Я уже сказал об этом товарищу Куняеву. В анкете — точно.

— Ради бога! — несильным своим голосом и предупредительно воскликнул Соловьев.— Вы опять об анкете. Я хочу говорить о жизни, а вы об анкете! — Он даже оттопырил нижнюю губу.— Я вас не утомил? Мне кажется, вы чересчур скромничаете, Константин Владимирович. Мне почему-то кажется, что у вас больше наград,— какое-то интуитивное, понимаете ли, чувство. Ведь почти каждый офицер-разведчик награждается или холодным

оружием, или же... огнестрельным. Я тоже немного воевал, не так, как вы, конечно, но знаком... Приходилось... встречаться и с офицерами разведки.

— Вы хотите спросить, награждался ли я оружием? Это вас интересует?

«Михеев!.. Да, Михеев!» — мелькнуло у Константина, еще не успевшего обдумать ответ, еще не успевшего нащупать все связи этого разговора, но чувствующего эти связи, и мгновенный страх незаметно и тихо надвигающейся опасности ожег его.

Этот приятно воспитанный Соловьев сидел перед ним дружелюбно, уронив на край стола сложенную лодочкой мраморно-чистую, без следов волоса кисть, лицо длинно, бело, интеллигентно, как у людей, имеющих дело с книгами.

Высокие залысины научного работника, доцента, над залысинами чуть курчавились барашком темные волосы — узкий мысок над благородным лбом. И, излучая уважение, доверчивую внимательность к собеседнику, поминутно встречали взгляд Константина его мягко-карие, почти девичьи глаза. В этом лице, в голосе Соловьева не было острой опасности, мрачной темноты, скрытой предупредительными манерами,— а он вдруг представил себя в ином положении и в ином положении Соловьева — и, представив это и глядя на белую слабую руку на краю стола, покручивающую стаканчик с карандашами, он подумал еще: «Михеев! Он разговаривал с Михеевым...»

— Почему вы задали этот вопрос: награждался ли я оружием? — спросил Константин с наигранным изумлением.— Не понимаю вас, товарищ инспектор. Как говорили на Древнем Востоке: «Слабосильны верблюды моих недоумений!»

— Почему я задал этот вопрос? — корректно повторил Соловьев и смиренно наклонил голову, точно не желая замечать взгляда Константина и обострять разговора. — По долгу службы. Я обязан иногда просматривать старые документы времен войны. Простите, это не проверка, не подумайте лишнего! Это обязанность. Мне случайно попались в архиве ваши документы тысяча девятьсот сорок четвертого года. Мне непонятна ваша скромность, Константин Владимирович. В старой анкете отмечено вашей рукой, что вы награждены оружием, пистолетом «вальтер» за номером... одну минуту...— Соловьев скользнул кистью за борт пиджака, достал из кармана

исписанный листочек бумаги.— Пистолетом «вальтер» за номером одна тысяча семьсот шестьдесят три,— добавил он ровным голосом.— Пистолет, разумеется, получен вами за храбрость, за проявленную доблесть. Так зачем же так скромничать, Константин Владимирович? Нужно было внести эту заслуженную награду в анкету. И все было бы кончено. То есть все встало бы на свои места. Вы могли его сдать или не сдать — это уже дело военкомата. Меня интересует чисто человеческая сторона. Зачем скрывать награду, заслуженную кровью?

— Я действительно был награжден пистолетом «вальтер»,— ответил Константин.— Но в сорок пятом году перед отъездом в тыл я сдал его в штабе дивизии в Будапеште. Следовательно, такой награды у меня нет.

Соловьев неслышно заложил ногу за ногу, охватил щиколотку двумя пальцами.

— У вас, конечно, есть документы о сдаче оружия?

— Какие могли быть документы в сорок пятом году, когда началось повальное движение славян на родину?

— Но... дается документ о сдаче наградного оружия. Именно наградного.

— В те времена подобные документы не выдавались. Все было проще.

Соловьев задумался на минуту; свет солнца из окна падал на его опущенные веки, на прозрачное от бледности лицо, четко просвечивал курчавый мысок над чистым высоким лбом, и этот жестко курчавый мысок почему-то бросился в глаза Константину, когда губы Соловьева выгнулись внезапно полумесяцем, блеснула улыбка, но уже насильственная, нетерпеливая — Константин заметил это по странному несоответствию черных волос и белых зубов.

«Михеев!.. Михеев!..» — опять подумал он с ледяным потягиванием в животе.

Соловьев вскинул глаза, спокойно, осторожно погрел ладонь на блещущем стекле, узенькая кисть была на вид бескостной, белела на столе, а он глядел в окно и продолжал улыбаться.

— Константин Владимирович, — заговорил он ласково, — наградное оружие — это ваша биография и это ваше дело. Ради бога, не подумайте, что это меня касается. Ради бога! Я готов забыть свои вопросы, простите великодушно. Но другое касается меня.— Рука Соловьева замерла на стекле.— Меня, как советского человека, и вас,

разумеется, как советского человека и, если хотите, как бывшего разведчика, человека в высшей степени бдительного. Разведка — ведь это бдительность, я не ошибаюсь?

— Вы не ошибаетесь.

— Ну вот видите. И здесь, Константин Владимирович, мне бы очень хотелось чувствовать ваше плечо. Я говорю с вами очень откровенно. Вы — уважаемый человек, вас, как я знаю, любят в коллективе. Вы по образованию — почти инженер, начитанны, разбираетесь в людях...

— Не много ли достоинств вы записываете на мой счет? — сказал Константин.— Я ничем не отличаюсь от других. Вы меня мало знаете.

— Я вам верю, Константин Владимирович. Я от всей души... очень вам верю!— проникновенно, с подчеркнутой доверительностью в голосе произнес Соловьев. — Нет, я не ошибаюсь. Я представляю людей вашего коллектива. Хорошие люди. Очень хорошие люди... Но... в последнее время поступают не совсем хорошие сигналы... Мы, советские люди, не должны смотреть сквозь пальцы на некую легкомысленность, аморальность. Как называют, темные пятна прошлого... Не так ли? Мы должны охранять чистоту советского человека, воспитывать... Вот, например, шофер Легостаев... Сенечка, вы его зовете...— Соловьев при слове «Сенечка», развеселившись, точно оттенил юмором имя «Сенечка», как бы пробуя его на вкус.— Веселый, хороший парень, верно ведь? А ведь что говорят: знакомит пассажиров с девицами легкого поведения, развозит их по каким-то темным квартирам... Правда разве это? Ну просто мальчишеская легкомысленность?.. Ну, что вы скажете об этом?

— Не знаю. Не замечал.

— Да, конечно, это не все знают,— согласился Соловьев очень охотно.— Да, да... С молодежью разговаривать по меньшей мере трудновато, тем более — воспитывать... Ох, молодежь, молодежь! Еще хочу посоветоваться с вами, проверить, что ли, Константин Владимирович. Сигналы тоже бывают ошибочны, неточны... Есть у вас... уже пожилой, уважаемый шофер, старый член партии Плещей Федор Иванович. Правда, что он груб, прямолинеен, резок, понимаете ли? Не так ориентирует коллектив... ну, в некоторых серьезных вопросах,— говорят, конечно, с преувеличением... Мне хотелось бы разобраться. Ну, как это так? Я слышал,— Соловьев беззвучно засмеялся, как смеются в обществе, давясь от услышанного

мужского анекдота,— его даже... его ядовитого язычка... побаивается ваш директор... Гелашвили. Верно, а?

— Не знаю. Не замечал,— повторил Константин.

Его обматывала, туго и клейко опутывала паутина слов, тихо и ровно стягивающих, как невидимая сеть: в них не было ни осуждения, ни требовательного допроса — в них был только намек, смешливое, снисходительное любопытство немного знакомого с людскими слабостями человека, который не хочет ничего осложнять, ничего преувеличивать. Но сквозь текучую паутину слов, сквозь эти туманно мерцающие полувопросы Константин напряженно угадывал нечто такое, что не касалось уже его (это он ожидал все время разговора), а было ощущение, что его расчетливо и вежливо прощупывают, прощупывают его связи и отношения к Легостаеву, к Плещею; и Константин вдруг, ужасаясь своей смелости, похожей на опасную игру, прямо глядя в мягкие и ясные глаза Соловьева, спросил:

— А можно без езды по проселочным дорогам? Скажите, для чего этот разговор?

— Ну что ж, давайте,— живо и весело согласился Соловьев, а Константин, не ожидавший этого охотного согласия, с зябким холодком и напряжением во всем теле увидел, как зашевелились близкие губы Соловьева, потом услышал конец фразы: — ...понял, что вы достаточно умный человек! И я очень хотел, чтобы вы, именно вы, бывший разведчик, помогали нам...

— Кому — «нам»?

— Мне,— уточнил Соловьев, поправляясь.— Мне. Человеку, обязанному воспитывать людей, Константин Владимирович.

— То есть,— перебил Константин.— Тогда... что же я должен делать?.. Я не понял.

— Вы понимаете, Константин Владимирович,— произнес Соловьев и не спеша носовым платком чистоплотно провел по бровям, по ямочке на подбородке.

— Вы ошибаетесь,— вполголоса сказал Константин.— Должен вам сказать... Я работаю с отличными ребятами и ничего такого не замечал, не видел!

— Константин Владимирович!— с укоризненной мягкостью проговорил Соловьев и сделал расстроенное лицо.— Ай-ай-ай, я с вами разве ссорюсь? Разве был повод?

— Простите.— Константин поднялся.— Мне можно идти? У меня в пять — смена.

— Одну минуточку.— Соловьев тоже встал. — Потерпите одну секундочку.

Он тронул Константина за пуговицу, словно бы в раздумье покрутил, нажал на нее, как на звонок; мягкой доброжелательности не было на его лице, сказал твердо:

— Да, хорошие ребята. Не сомневаюсь. Но как вы относитесь к тому, что у одного из ваших шоферов есть огнестрельное оружие, которое он пускает в ход с целью угрозы? Как вы назовете это, Константин Владимирович? Потом разрешите еще вопрос. После войны вы работали шофером у некоего Быкова Петра Ивановича?

— Да, работал, а что?

— Вы не ответили на первый вопрос.

Безмолвно Соловьев склонил набок голову, точечки зрачков обострились, застыли, прилипнув к зрачкам Константина, этим молчанием и взглядом испытывая его.

— Вы, к сожалению, ошибаетесь, товарищ Соловьев! — глухо проговорил Константин, беря с сейфа шапку. — Вы глубочайшим образом заблуждаетесь. Вы сами говорили: сигналы бывают ошибочны. Так разрешите мне идти?

Не отводя зрачков от лица Константина, Соловьев проговорил отчужденно:

— К сожалению, я уже ничем не смогу вам помочь. Если кое-что подтвердится! До свидания, Константин Владимирович. На этой бумажке мой телефон. Возьмите. Может быть, пригодится. Желаю вам счастливой смены. Надеюсь, этот разговор был между нами...

«Вот оно что!» — подумал он.

В парке не было ни Плещея, ни Акимова, ни Сенечки Легостаева — выехали на линию.

Знакомый звук моторов, не прекращаясь, толкался в стекло, в цементный пол, в стены; эхом хлопали дверцы; усталой развалочкой шли шоферы от прибывавших из рейсов машин, толпились возле окошечка кассы, считали деньги, бережливо вытаскивая их из всех карманов, держали путевые листы; нехотя переругивались с дежурным механиком, щупающим царапины на крыльях, ударяющим носком ботинка по скатам. Были обычные будни, к которым Константин привык, которые были такими же естественными, как сигареты в кармане.

Но Константин, выйдя из коридора отдела кадров, сразу почувствовал какое-то резкое смещение, какую-то угловатую и тусклую неверность предметов, испытывая странное отъединение от всего этого, точно и звуки, и голоса, и машины, и лица шоферов, и солнце в окнах — все было временным, непрочным, не закрепленным в своей привычной реальности.

«Михеев! — подумал он, ища глазами.— Да, Михеев!» И Константин даже обрадовался: «Победа» Михеева ожидала на выезде, и он стоял тут же, была видна спина его, широкий и сильный наклоненный затылок. Чистой тряпочкой он аккуратно протирал капот, закраины крыльев, но локти его двигались сонно, и спина, обтянутая полушубком, чудилось, тоже спала.

«Вот он, не уехал! Вот он...»

— Люблю я тебя, Илюша, и сам не знаю за что! — проговорил Константин и сзади уронил руку на плечо Михееву.

Тот, вскрикнув, испуганно обернулся, длинные волосы щеткой легли на воротник, зеленоватые глаза округлились.

— Ты... зачем меня?.. Ты за что?

И Константину показалось — тот ждал его.

— Ничего страшного. А все же мне кажется, что ты сволочь, Илюшенька! — сказал Константин, не отпуская напрягшееся плечо Михеева. — Очень похоже! Я не ошибся?

Михеев вырвал плечо, ощетинившимся медведем отпрянул в сторону.

— Ты чего пристал? Сильный, что ль? — придушенно выкрикнул он.— Драться будешь? — И суетливым рывком раскрыл дверцу, схватил гаечный ключ на сиденье.— Не подходи! Я тебе — смотри! Оглоушу! Пристал!..

— Предупреждаю, заткнись!

Константин шагнул к нему, взялся за отвороты полушубка Михеева, с силой придавил спиной к дверце, так что тяжко рванувшаяся рука его, в которой был ключ, зацарапала по металлу, — и пошел к своей машине с невылитой, тошнотворной в эту минуту ненавистью к Михееву, к себе, к своему бессилию.

— Константин Владимирович!

Навстречу от курилки пробирался среди машин Вася Голубь, его сменщик, совсем мальчик, с мускулистой

фигурой гимнаста; приблизился, сияя весь. Он грыз вафлю и начатую пачку протянул Константину:

— Подкрепитесь! Лимонная. Ждал вас, ждал! Запоздали. Я вам даже записку написал, в машине оставил. С драндулетом все в порядке, немного тормоз барахлит — подтянули. Возьмите вафлю, какие-то лимонные стали выпускать! Как у вас перед сменой?

— Прекрасное настроение, — сказал Константин. — Дай-ка попробую вафлю. Все хорошо, Вася.

Выехав из парка, он откусил кусок от вафли, вкус ее был приторно-вязок, душист, как тройной одеколон. Он выбросил вафлю в окно, закурил терпкую и горькую сигарету.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Нас, пожалуйста, на Тверской бульвар.

Он не взглянул на пассажиров, машинально переключил скорость. Потом донесся молодой басок, разговор и смех за спиной, но Константин не слушал, не разбирал слов — как он ни пытался после выезда из парка вернуть прежнее спокойствие, это уже не удавалось ему. Было ощущение рассчитанной или не случайно поставленной ловушки; он еще не верил, что она захлопнется, но вдруг огляделся и увидел, что дверца позади закрывалась. И затем понял, что полчаса назад ему терпеливо, вежливо и настойчиво предлагали выход, однако не понимал — почему, зачем и для чего это делали, если знали, что у него было оружие? Тогда с какой целью испытывали его?

«Так ли все это?»

— Ты не смейся! Ну, какое же это зло, Люба? — послышался громкий голос с заднего сиденья.— Это же скорее добро! Поверь. Она поймет, что я не отнимаю тебя у нее...

«Зло?..— думал Константин, глядя на асфальт, мчавшийся под колеса островками блещущего под солнцем льда.— А что же — добро? «Добро»,— с неприязнью вспомнил он сморщенное, плачущее лицо человека, ночью топтавшего свою шляпу возле парикмахерской.— Именно... понятие из Библии. Белого, непорочного цвета. Ангельской прозрачности голубиного взгляда, божественно воздетого к небу. И венец над головой, черт его возьми! Прав был тот, топтавший шляпу? Да, именно! А до-

бренькое добро наивно, доверчиво, как ребенок, чистенько, боится запачкать руки. Оно хочет, чтобы его любили. Оно очень хочет любви к себе. И я хотел любви к себе, улыбался всем, ни с кем не ссорился, дайте только пожить! Быков... настрочил донос. Очная ставка! И — поверили!.. Но почему он спросил о Быкове?.. Изучал анкету? Наводил справки? Как это понять: «После войны вы работали с Быковым»?

«Так что же? И с тобой так? Верить в чистенькое добро? И что же? Что же?»

Он очнулся оттого, что невольно глянул на пассажиров в зеркальце — в нем как бы издали дрожал пристальный взгляд девушки и гудел из-за спины убеждающий басок, особенно четко расслышанный Константином:

— Пойми, Люба, мама не будет возражать. Мы скажем ей все. У матери своя комната. Люба, ты должна жить у меня.

— Но я не могу, не могу! Я не хочу ссориться с твоей матерью. Мне кажется, она ревнует тебя ко мне.

— Люба...

В зеркальце возникла юношеская рука, поползла на воротник к подбородку девушки, и рыжая кроличья шапка парня надвинулась на зеркальце, загородила ее лицо, ее рот.

Константин сказал:

— Тверской бульвар.

Когда они сошли, он посмотрел им вслед. Они стояли на тротуаре, парень что-то быстро говорил ей, она молчала.

«А Ася... Ася! Как же Ася?»

Трое сели на Пушкинской площади — один грузный, головой ушедший в каракулевый воротник, щеки мясистые, лиловые от морозца, на коленях портфель с застежками на ремнях.

Отпыхиваясь, тучным своим телом создав на переднем сиденье тесноту, жирным баритоном сказал:

— Прошу нажать, уважаемый водитель!

— Нажму, если выйдет.

Грузный человек рассеянно покопался в портфеле, подал какую-то бумагу двоим на заднем сиденье, потом, мучаясь одышкой, начальственно заговорил:

— Ну и что же, что же, товарищ Ованесов? Вы считаете, что я волшебная палочка, что я вам из-под земли грейферные краны достану? Министр, только министр... Резолюция Василия Павловича — и пожалуйста! Выше Василия Павловича не прыгнешь — портки лопнут! Тр-ресь по швам — и по шее еще дадут!.. Ха, строители-мечтатели! Дети вы, дети! Расчеши вас муха!..

Молодой голос сказал сзади:

— Шахта будет пущена в эксплуатацию в этом году. Вы прекрасно знаете, что шахта союзного значения, с новейшим оборудованием. Шахта без грейферных кранов — чемоданы без ручки, Михал Михалыч! Как вы предлагаете — лес вручную разгружать? Рабочим носить бревна под мышками? Ошибаетесь, мы не дети! Мы и зубки можем показать, Михал Михалыч! Мы будем драться, Михал Михалыч.

В зеркальце — молодые вызывающие глаза с упрямством устремлены на грузного человека; тот захохотал, колыхнул животом портфель на коленях.

— Давай жми, Сизов, грабь, выколачивай, пиши письма! У меня пятнадцать новых шахт на шее, вот где! — Он похлопал себя сзади по каракулевой шапке.— Сроки! План! Проектная мощность! И все требуют, на горло наступают, дерут! Вы что ж думаете — я один решаю? Вам там, в Туле, хорошо, а мне, мне как?

Третий произнес:

— Вам лучше, как видно, Михал Михалыч.

— Что, что?— осерженно пробормотал грузный.— Как это — лучше? Строители-мечтатели!.. Что? Как? Хотите в план анархию ввести?

— Вы, кажется, из Тульского бассейна?— неожиданно для себя спросил Константин.— Как я понял.

— А?— Грузный повел глазами в его сторону.— Что такое? Давай знай, такси, в угольное министерство! Нечего тут прислушиваться, понимаешь!

Не меняя выражения лица, Константин спросил:

— Вы не двоюродный ли брат коммерческого директора Петра Ивановича Быкова? Вы хозяйственник, не правда ли?

— Малохольный... Нас везет малохольный шофер! Вы трезвы, товарищ?— грузный пыхнул хохотом, придерживая на коленях портфель.— Какой еще Быков, драгоценный мой?

Константин сказал:

— Мне показалось. Извините, если ошибся. Площадь Ногина. Прошу вас. Министерство угольной промышленности. По счетчику. И ни копейки больше.

Он остановил машину у подъезда, насмешливо взглянул на грузного, завозившегося с полой драпового пальто,— тот доставал деньги.

Они вышли. Грузный, заплатив точно по счетчику, зашагал по хрустевшему стеклу застывших луж — к подъезду, у широкой двери сердито-удивленно оглянулся, двое тоже оглянулись: Константин с бесстрастным выражением смотрел на серое здание министерства.

На бульварах он обогнал «Победу» Сенечки Легостаева и притормозил машину, опустив стекло,— студеный воздух, металлически пахнущий ледком, мерзлой корой зимних бульваров, охолодил лицо. И тотчас Сенечка, заметив притершуюся рядом машину, нагловато ухмыляясь, крикнул в окно Константину:

— Как делишки? Живем?

— Пожалуй.

— Вечером, Костька, время найдешь? Хочу познакомить тебя! Прелестные девушки! — Легостаев сдвинул со лба шапку, моргнул на заднее сиденье.— Как, а? Первый класс!.. Глянь! Убиться можно!

— Знаешь что...

— Так как? А?

К стеклу из глубины сиденья наклонились, прислонясь щеками, два женских напудренных личика — одинаковые пуховые шапочки, кругло подведенные брови, чересчур алые губы выделялись вместе с расширенными вопросительными глазами. Одна из них, оценивающе сощурясь, равнодушно поманила пальчиком в черной кожаной перчатке, Константин усмехнулся, отрицательно покачал головой. И тогда другая, постарше, вздернув черные выщипанные брови, грубовато просунула кисть к щеке молоденькой, ревниво отклонила ее от стекла и, засмеявшись Константину мужским смехом, поцеловала ее в губы.

— Как? Шик! Парижские девочки!— подмигнул Легостаев восхищенно.— И такие по земле ходят! Дурак ты женатый, Костька!

— Я бы тебе посоветовал бросать все это к чертовой матери!— сказал Константин.— Ты это понял?

— Чихать я хотел! К чему придерешься?— крикнул Легостаев.— Пусть план с меня требуют! Чего бояться-то? Я человек честный!

— А я бы тебе посоветовал бросать это к черту,— повторил Константин.— Ты понял, Сенька?

— Живи, Костька!

«Победа» Легостаева свернула в переулок, и Константин, нахмурясь, поднял стекло — машину продуло жестким холодом, выстудило тепло печки; он подумал почти с завистью: «Сенечка живет как хочет. Что ж, когда-то и я жил так, не задумываясь ни над чем. Но тогда не было Аси, тогда ничего не было. Было только ожидание. Что же это со мной? Страх за себя? За Асю? Страх? Может быть, опыт рождает страх? Привычка к опасности — вранье! Только в первом бою все пули летят мимо. Потом — рядом гибель других, и круг суживается...»

Он вывел машину на Манежную площадь и посмотрел на ресторан «Москва», испытывая щекочущий холодок в груди, затормозил в ряду машин у светофора возле метро, напротив входа в ресторан. Там, за колоннами, откуда от высоких дверей тогда ночью сбегали трое (он тогда увидел троих, как он помнил), сейчас никого не было. Только ниже ступеней толпа спешила к метро, переходила на улицу Горького, выстраивались очереди на троллейбусных остановках — обычная зимняя будничная толпа. И, глядя на толпу, он почему-то успокоился немного.

«Но Михеев... Соловьев...— подумал опять Константин с прежним тошнотным ощущением.— Почему он спросил о Быкове? Почему он напомнил о Быкове?»

Красный свет в светофоре скакнул вниз, перешел в желтый, перескочил в зеленый.

Ряд машин тронулся.

Руки его, от волнения ставшие влажными, вжались в баранку, привычно гладкую, округлую поверхность ее; и в это время кто-то запоздало выскочил из троллейбусной очереди, свистнул («Эй, эй, такси!»), но он проехал через перекресток на улицу Горького с облегчением, что не посадил никого.

На площади Пушкина свернул к стоянке такси — в очереди он был пятый,— вышел из машины купить сигареты. Он сунул деньги в окошечко табачного ларька, и, когда брал сигареты со сдачей, сбоку пьяно навалился, ерзая плечом, молодой парень в кепочке, осипло говоря:

«Мне, трудящему человеку, «Беломор». И Константин, теряя мелочь, не увидел, не успел разобрать черты его лица, выругаться.

В десяти шагах от ларька, на углу, около телефонной будочки вполоборота стоял невысокого роста, с покатыми плечами борца мужчина в спортивном полупальто, читал, развернув газету, невнимательно пробегал строчки и одновременно из-за газеты взглядывал на площадь, на близкую стоянку такси,— и Константин почувствовал оглушающие горячие прыжки крови в висках.

Не попадая пачкой сигарет в карман, Константин пошел по тротуару, внезапно свинцовая тяжесть появилась в затылке, в спине, в ногах. Эта тяжесть тянула его книзу, назад, непреодолимо требовала обернуться туда, на угол, но он не обернулся. Он с правой стороны влез в машину, включил мотор и лишь тогда, преодолевая эту тяжесть в спине, в затылке, оглянулся назад. Человека в спортивном полупальто на углу не было.

«Все!.. — подумал Константин.— Я не мог ошибиться!.. Что же это, что же? За мной следят? Может быть, я не замечал раньше? Не обращал внимания? Или это мания преследования?»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Квартира тридцать семь — на третьем этаже?

— Кажется.

На площадке третьего этажа, пахнущей едкой кислотой, Константин отдышался, посмотрел в огромное окно, ощущая коленями накаленную паровую батарею. Машина поблескивала внизу близ тротуара, па другой стороне этой тихой и узенькой окраинной улицы; желтели окна в деревянных домах.

И мимо них, мимо фонарей и машины косо летел легкий снежок.

Константин подождал на площадке, успокаиваясь перед темными дверями незнакомых квартир с черными пуговками звонков, почтовыми ящиками; запыленная, в разбитом плафоне лампочка тлела под потолком, на стены сочился свет, как в мутной воде.

— Тридцать семь...

Он вполголоса откашлялся, подошел к двери с номером «37» — массивной, дубовой, какие бывают только в

старых домах, и тут же сильным нажимом позвонил два раза.

Звонок заглушенно прозвучал за этой толстой дверью; показалось, смолк где-то в далеком пространстве, и Константин позвонил еще раз — долгим, непрерывным звонком.

Он ждал, притискивая пальцем кнопку; этот раздражающе-серый огонь лампочки на площадке слабо освещал массивную дверь, и железный почтовый ящик, и потускневшую на нем наклейку какой-то газеты.

— Кто там?

— Простите, Быков здесь живет?

— А в чем дело? Кто?

— Откройте, пожалуйста.

Загремели ключом, щеколдой, защелкали французским замком, потом дверь приоткрылась, возникла в проеме, задвигалась полосатая пижама, половина освещенного лица, ежик волос. И Константин, мигом оттолкнувшись от косяка, шагнул в переднюю и сейчас же, не поворачиваясь, захлопнул дверь за собой, услышав позади звонкий стук замка.

— Здравствуйте, Петр Иванович! — проговорил он. — Сколько лет, сколько зим! Не разбудил вас? Не узнали?

— Кто? Кто?

Быков, заметно постаревший, дрогнул опавшим, даже худым, лицом с темными одутловатостями под глазами, отшатнулся к шкафу в передней, не узнавая, стал подымать и опускать руки, выговорил наконец:

— Костя?.. Константин?..

— Угадали! Что ж мы торчим в прихожей, Петр Иванович? — сказал Константин наигранно-радостно. — Проводите в апартаменты, не вижу гостеприимства! А где же Серафима Игнатьевна?

Быков, изумленно собрав бескровные губы трубочкой, попятился, отступил в комнату, из которой розовым огнем светил висевший над столом абажур, и не сумел выговорить ни слова, только хрипло дышал.

— Благодарю,— сказал Константин.

В комнате, громоздко заставленной мебелью, кабинетными кожаными креслами, старинным зеркальным буфетом, отливающим на полочках стеклом посуды, ваз, рюмок, Константин расстегнул куртку, упал в кожаное кресло, бросил на комод шапку и глянул на Быкова.

— Ну вот! — произнес он.— Теперь я вижу, как вы устроились. Кажется, неплохо. Адресный стол дал точный адрес. Прекрасный тройной товарообмен. Соседи не мешают?

— Рад я, Костя, рад... Пепельница... на буфете, Костя,— проговорил Быков и снова поднял и опустил руки.— Ах, Костя, Костя...

— Что же вы стоите, Петр Иванович?

В углу комнаты над диваном малиновым куполом светился торшер; на тумбочке стакан с водой, какой-то порошочек; вдавленная подушка лежала на диване, и Быков сел возле нее, подобрав ноги в тапочках, пижамные брюки натянулись на коленях; все его неузнаваемо осунувшееся лицо пыталось выразить нечто похожее на улыбку.

— Костя... Костя... Да, Костя, вот живу здесь... Коротаем преклонные годы... Далеко от центра, от метро. Сообщение автобусом. И... и магазинов мало,— заговорил Быков слабым, растроганным голосом.— Магазинов мало... Неудобно я обменял, Константин, неудобно... Скучаю по старой квартире. А Серафима Игнатьевна гостит в Ленинграде, у дочки... Верочка замуж вышла... А я вот третий месяц как из больницы вышел, операцию перенес, Костя. Вот как получилось.

Константин намеренно не смотрел на Быкова, смотрел на коробок, по которому чиркал спичкой с нарочитой неторопливостью; сказал:

— А я, признаться... — Константин проследил, как дым сигареты шел к абажуру, струей толкаясь в него.— Признаться, я не думал застать вас дома, Петр Иванович.

— То есть как? Почему же, Костя?— спросил и поперхнулся Быков.— Кончаю ведь в семь часов. В театры, концерты не хожу. Стар. И болен я... Да и никогда не ходил. У меня семья... сам знаешь. Эх, Костя-Константин, вспоминал тебя, все время помнил я. Как же я рад, что заглянул ко мне, обрадовал старика. Вот спасибо. Лады. А то бирюками живем... знакомых никаких нет. Спасибо. А я слышу, звонок, думаю: «Ну кто бы это, ошибся кто?» Пить мне категорически нельзя, а может, ты рюмочку пропустишь? Ах, спасибо, что пришел! Жаль, Серафимы Игнатьевны нет, она тебя... вспоминала...

Константин заинтересованно прищурился на него.

— Признаться, я думал, Петр Иванович,— упорно договорил он,— что вы давно...— Он показал перекрещен-

ные пальцы.— Оказывается, нет. Приятно удивлен. Просто не верится. Ну что ж, видимо, не все сразу.

— Шутишь, а? Неужто не изменился совсем? — Быков качнулся вперед, неспокойно заелозил по полу тапочками.— Ах, не изменился ты, Константин. Вроде вон седина на висках, а не изменился. Весело проживешь жизнь.

— Не верится. Неужели это вы, Петр Иванович Быков?— проговорил Константин.— Не верится.

Быков сидел перед ним, весь седой, отечный, моргая красноватыми припухлыми веками, и Константин видел его новое опавшее желтое лицо, его странно костистый покатый лоб, открытую волосатую грудь и спущенные на сливочно-белых ногах шерстяные носки, теплые тапочки — эти признаки домашности и семьи; видел ковры на стене, прочно громоздкую, не без претензии на роскошь мебель, как будто стиснувшую со всех сторон его, — и медленно повторил:

— Неужели это вы, Петр Иванович Быков? И я у вас когда-то работал?

— Что? — приоткрыл веки Быков и уперся растопыренными пальцами в диван.— Ты, Костя, вроде не в духе, никак? Ах, шут тебя возьми, всегда ты был парень с шуточкой. Давай-ка,— он устало поднялся, старчески зашаркал, зашмыгал тапочками к буфету,— пропусти малую за здоровье, да вспомним старое, мы ведь с тобой, Константин...

Константин покусал усики.

— Что ж, не пропустим, но — вспомним! Вот это ваш письменный стол, уважаемый Петр Иванович? Вот этот ваш? Что здесь — бумаги, деньги?

Быков уже держал графинчик, вынутый из буфета, повернул голову и замер; дверца буфета, скрипя, закрываясь, толкалась в его плечо, собрав складкой пижаму.

— Ты что, Константин? — спросил он и понял: — Никак, за деньгами приехал? Чудак, сразу бы и сказал. Найдем. Вчера как раз получку получил. Да много ли тебе надо? Бери. Ничего, сведем концы с концами! Бери.

С графинчиком он приблизился к широкому письменному столу, выдвинул ящик, отсчитал внутри его несколько ассигнаций.

— На, двести пятьдесят тут, потом отдашь, будет если... Ну садись, выпей маленькую. Где работаешь-то?

— В уголовном розыске,— сквозь зубы сказал Константин и подошел к столу, упрямо и зло глядя в глаза Быкова.— Меня интересуют не водка, не деньги, Петр Иванович! Меня интересуют доносы. Все копии ваших доносов! Вы меня поняли? И если вы сделаете шаг к двери...— выговорил он с угрожающим покоем в голосе.— Я не ручаюсь за себя! Руки чешутся, терпения нет! Ясно? Будете орать — придушу вот этой подушкой. Все поняли?

Быков, болезненно выкатив белки, не закончил наливать из графинчика, синие губы собрались трубочкой, пробормотал:

— Ты — как?.. Как?..

Он стукнул графинчиком о стол около недолитой рюмки; щеки его покрылись пепельной серизной, кожа натянулась на скулах.

— Эх ты, Константин, Константин!.. За кого ж принимаешь меня?.. О чем говоришь?

— Благодетель вы мой, запомните — я вас не идеализирую!— Константин все покусывал усики, твердо глядя сверху вниз в лицо Быкова.— Ну, я жду основное: копии доносов. Первый — на Николая Григорьевича Вохминцева. Второй — на меня. Хочу познакомиться с содержанием — и только. Вы меня поняли?

Стало тихо. Было слышно, как жужжал электрический счетчик на кухне.

Быков отрывисто и горько засмеялся.

— Эх ты, герой, ерой.— Он задергал головой; капельки влаги выступили на покрасневших веках.— Я к тебе как к человеку, Константин, а ты — эх! Герой, а у ероя еморрой! Налетчик! Ты знаешь, что за это тебе будет?.. Знаешь, что бывает по закону за насилие? За решетку посадят! Жизнь на карту ставишь?

— Да, Петр Иванович! Пока вы строчите доносики— ставлю. Пока.

— Значит, что ж — убить меня, Константин, хочешь?

— Может быть. Где копии доносов?

— Какие доносы? Обезумел?— вскричал Быков.— С Канатчиковой сбежал?

— Вот что, Петр Иванович,— сказал Константин.— Вы сейчас сделаете то; что я вам скажу, иначе... Когда у вас была очная ставка с Николаем Григорьевичем? В сорок девятом году? В этом же году вы настрочили доносик на меня после истории с бостоном? Ну? Так? Или иначе?

— Врешь!

— Садитесь к столу! — Константин резко пододвинул бумагу па середину стола. — А ну, берите ручку, пишите! Вы напишете то, что я вам скажу.

— Что-о?

— Вы напишете то, что я вам продиктую! И это будет правдой.

— Да ты что — с Капатчиковой сбежал? — опять испуганно выговорил Быков и отступил к дивану, широкие рукава пижамы болтались на запястье. — Чего я должен писать? С какой стати? Чего выдумал?..

— Вы это сделаете! — оборвал Константин. — Сейчас сделаете! Садитесь к столу!

Константин с силой подтолкнул Быкова к столу, чувствуя его мягкое, дряблое, незащищающееся тело, но то, что он делал в этой комнате, пахнущей сладковатым лаком старой мебели, и то, что говорил, — все вроде бы делал и говорил не он, не Константин, а кто-то другой, незнакомый, чужой. И вдруг на секунду показалось — все, что делал он, слышал и видел вблизи, происходило как будто бы и существовало в отдалении: и странно малиновый купол торшера, и стол, и деньги на столе, и звук своего голоса, и ватный, ныряющий голос Быкова, и действия собственных рук, ощутивших дряблое тело. Где-то в неощутимом мире жили, работали, целовались, ждали, плакали, любили, гасили и зажигали свет в комнатах люди, где-то медленно шел снег, горели фонари, по-вечернему освещались витрины магазинов, но ничего этого прочно и осмысленно не существовало сейчас, словно земля, предметы ее потеряли твердую реальность, необходимую сущность; и то, что он делал, не было жизнью, а было мутно-серым, отвратительным, водянистым, зажатым здесь, в этой комнате, как в целлофановом мешке.

— Костя!.. Что же ты делаешь?

«Действительно, что я делаю с ним? — подумал Константин. — Так не должно быть? Я делаю противоестественное?..»

Он посмотрел на Быкова.

Быков стоял перед столом в расстегнутой пижаме, пальцы корябали желтую грудь, покрытую седым волосом, зрачки застыли на лице Константина.

— Костенька, это что же, а? Зачем? По какому праву?

«У него не было страха, когда писал доносы? — поду-

мал с отчаянием Константин.— Мучила его совесть?»

— А по какому праву...— произнес Константин, и тут ему не хватило воздуха,— по какому праву вы, черт вас возьми, писали доносы, клеветали — по какому? Если у вас было право, оно есть и у меня! А ну садитесь и пишите: заявление в МГБ от Быкова Петра Ивановича. Что стоите? Поняли?

— Что ты говоришь? Костя!— крикнул Быков и заморгал одутловатыми веками.— Какое заявление?

— Все вспомните. И о доносе. И об очной ставке двадцать девятого января, где вы... вели себя как последняя б... Двадцать девятого января! Вот это и напишите, что оклеветали невинного человека, честного коммуниста! Напоминаю: двадцать девятого января была очная ставка!

Константин подтолкнул Быкова, подвел его к столу, и тот, выставив короткие руки, этим лишь слабо защищаясь, внезапно обессиленно повалился на стул и, сгорбясь, задергался, заплакал и засмеялся, выговаривая сдавленным шепотом:

— Что ж ты делаешь? Ты думаешь, вот... испугал меня? Да меня жизнь тысячу раз пугала... Эх, Константин, Константин.— Быков на миг замолчал, клоня дрожащую голову.— А если я тебе скажу, что много ошибался я. Если скажу... И на очной... вызвали, коридоры, тюрьма... не помню, что говорил! Ошибся!.. Только в одном не ошибся... Я ж знаю, что у меня за болезнь. Язву, говорят, вырезали! А я знаю...

— На меня тоже, старая шкура, перед смертью донос написал?

Быков запрокинул желтое, в пятнах лицо, жалко отыскал глазами Константина, а слезы скатывались по трясущимся щекам, и он по-детски торопливо слизывал их с губ, повторяя:

— Не писал, не писал! На тебя не писал! Как к сыну к тебе относился. Спрашивали, плохого не говорил... А ты знаешь, сколько мне жить-то осталось? Знаешь? С такой болезнью...

— Хватит!— морщась, перебил Константин.— Хватит проливать слезы, Петр Иванович! Ей-богу, не жалко мне вас!

— Костя, Костя... Помру, вот рад будешь? А не хотел бы я...— вставая и покачиваясь, прошептал Быков и рукавом начал обтирать мокрое лицо.— Защищался я...

А совесть у меня тоже есть. Что ж ты будешь делать со мной? Если я сам...

— В монастырь... Если бы можно было — в монастырь. К чертовой матери я отправил бы вас в монастырь, паскуда!

— Серафима Игнатьевна и дочь у меня...

Но когда Быков, обмякший, подавленный, тихонько постанывая, расслабленно опустился на диван, никак не мог раскупорить порошок на тумбочке, Константин не смотрел на него, сжав зубы от жгучего отвращения, от смешанного чувства жалости и вязкой нечистоты, и в это мгновение едва сдерживал себя, чтобы не выбежать из этой комнаты с одним желанием — глотнуть морозного воздуха, жадно ощутить освежающий снежный холодок.

Он не глядел на Быкова, испытывая ненависть к себе.

«Нет, нет, нет! — подумал он.— Жалость? К черту! К черту!»

Он круто выругался и хлестнул Быкова ладонью по мокрой клейкой щеке.

В машине он, как всегда, привычно очищал перчаткой стекло, смотрел мимо поскрипывающей стрелки «дворника» на полосы фар, но не видел ясно ни скольжения фар по мостовой, ни по-ночному пустых улиц, синеющих новым снежком, по-прежнему падавшим из темноты.

Константин гнал машину, чувствуя горячие рывки сердца при перемене сигналов на светофорах, далеко простреливающих миганием безлюдные пролеты улиц, инстинктивно скашивал взгляд на регулировщиков — и не было момента осмыслить то, что сделал...

После того как загорелся за площадью всеми освещенными залами Павелецкий, и белая полоса окон привокзального ресторана с летящим на эти теплые окна снегом выдвинулась навстречу, унеслась назад, и машина нырнула в сразу показавшийся туннелем переулок, Константин затормозил машину под стеной дома и долго сидел, прислонясь лбом к скрещенным на руле рукам.

В первой комнате света не было.

Зеленый огонь настольной лампы косым треугольником упал под ноги ему, на пол, из полуоткрытой спальни, куда он вошел, и там загремел отодвигаемый стул — Константин остановился.

В проеме двери, загородив огонь, проступала темная фигура Аси.

Она запахивала на талии халатик.

И испуганный, непонимающий голос ее:

— Костя?.. Ты уже вернулся?

Она шарила по стене выключатель; Константин успел увидеть ее напрягшиеся под халатиком голые ноги, и тотчас вспыхнул свет; после темноты он был неожиданно ярок, и Константин отчетливо увидел лицо Аси, бледное, залитое электричеством, яркой чернотой блестели глаза.

— Ты уже вернулся?

— Нет. Я заехал по дороге,— преодолевая хрипоту, сказал Константин.— Я хотел тебя увидеть.

Она со вздохом опустила плечи.

— Я не ожидала тебя. Ты вошел тихо-тихо, и я почему-то испугалась.

— У тебя было открыто,— сказал он.— Ася, вот что... Я сейчас был у Быкова.

— Что? Что?

— Я был у него,— ответил Константин.

Темные увеличенные глаза Аси перебегали по его лицу, по его кожаной куртке, а пальцы теребили поясок халатика, и брови, и глаза ее никак не соглашались с тем, что сказал он.

— Ты? Был? У Быкова? — отделяя слова, проговорила Ася и отошла от него в сторону, зажала уши.— Слушать не хочу! Ничего не говори мне!

— Ася!— сказал Константин.— Ася, милая, ничего не случилось, я хотел объяснить тебе...

И тронул ее локоть; Ася почти брезгливо отстранилась, сказала шепотом, с гадливым отвращением:

— Ты был? У Быкова? Зачем?

Он растерянно проговорил:

— Ася...

— Зачем ты это сделал?

— Прости, если я...

— Зачем? Что ты наделал, Костя?

«Как объяснить ей все?— подумал Константин.— Как?»

Ася, зажмурясь, откинула голову и молчала. Он виновато приблизился к ней, увидел ее длинную шею, слабую выемку ключиц — и ему страстно захотелось осторожно обнять ее, успокоить, сказать, что он сам до конца не знает, для чего он это сделал; и ему хотелось объяснить

ей, что в последнее время он живет, точно ухватившись за надломленную ветку над трясиной, что ему не дает покоя, его мучает какая-то неуловимая, скользкая, надвигающаяся опасность, что он живет с ощущением следящего взгляда в спину — и не может преодолеть это, и боится за нее, за себя. Ему хотелось почувствовать успокаивающую тяжесть ее ладони на своих волосах и покаянно прижаться лицом к теплоте ее колен. Он все время ощущал в себе нервное, злое напряжение, готовый ко всему — к драке, к непоправимой беде, к словам, которые разрушали и еще более усугубляли что-то.

— Ася,— ответил он, стараясь говорить спокойно, но не сделал, как хотел, не обнял ее, услышал свой фальшиво прозвучавший голос: — Честное слово... ничего не случилось.

— Ничего не случилось? Неужели ты не понимаешь? Ты не понимаешь? Он ни перед чем не остановится. Ты подумал о нас? О чем ты с ним говорил?

— Теперь он ничего не сделает. Он уже сделал...

— Что? Что он сделал?

Она взяла его за борта кожаной куртки, спрашивая:

— Что он сделал?

— Ася, родная, мы еще поживем, не надо ни о чем думать,— сказал он, по-прежнему пытаясь говорить спокойно.

— Ты сказал «еще»? Почему — еще?

— Я говорю о Николае Григорьевиче.

— Прошу тебя, скажи яснее, Костя.

Но в эту минуту у него не хватало сил посмотреть ей в лицо, и, медля, Константин легонько снял ее теплые влажные пальцы с бортов куртки, прижал их к подбородку, глухо договорил:

— Может быть, я не должен был, Ася... Но я не мог. Прости меня. Я... поеду.

И тут его поразил неестественно оживленный голос Аси:

— Если ты разрешишь, я сейчас оденусь и поеду с тобой! Хоть один раз в жизни хочу увидеть твою работу. Ты хочешь?..

Константин почти испуганно взглянул на нее — Ася решительно развязывала поясок халатика, торопилась, и по лицу ее он видел: она готова была одеться сейчас и ехать.

Он остановил ее поспешно:

— Асенька, этого нельзя! Ася, это не разрешается, меня просто снимут с работы. Этого нельзя!

Тогда она заложила руки в карманы халатика и так села на стул, сказала тихо:

— Ну иди, Костя.

— Не надо,— Константин наклонился к ней и, едва прикоснувшись, поцеловал в волосы.— Не надо ни о чем плохом думать. Ложись спать, Ася. Со мной будет все в порядке. Я уверяю тебя, со мной будет все в порядке.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

К концу смены он был рассеян с пассажирами, получал деньги не считая, невнимательно и забывчиво переспрашивал, куда везти. Ощущение давящей тоски, неясности, неотпускающего беспокойства, никогда раньше не испытываемого им, заставляло его перед утром бесцельно гонять машину по Москве.

Ему было все равно: выработает он сегодня деньги или нет, и лишь немного проходило напряжение, когда он бесцельно мчал машину по пустынным переулкам без светофоров, неизвестно для чего подгоняя себя: «Быстрей, быстрей!» Но как только подкатывал к стоянке и здесь на холостых оборотах почти замолкал мотор, пустыня ночных улиц с ровным пространством мостовой наваливалась на него. Тогда он слышал, как в машине четко стучали, отсчитывали время часы с настойчивым упорством заведенного механизма.

Смена кончалась в девять утра. Константин ждал конца смены. Он не знал точно, что должен будет делать этим утром.

«Только не ждать, только не ждать,— убеждал он себя.— Я должен поговорить с Михеевым. Я хочу ясности... Но какой ясности я жду от него, какой?»

И независимо от того, как пойдет разговор с Михеевым, его мучило это «а дальше что?», и оттого, что он не в силах был полностью представить, что будет дальше, его охватывал нервный озноб, холодок змейками полз по спине.

Мотор был не выключен, печка работала, становилось душно, жарко в машине, пахло нагретым металлом, а он почему-то никак не мог согреться, и было неприятно сухо во рту.

Потом он не выдержал ожидания конца смены, в восьмом часу утра повел машину к парку.

Константин остановился на набережной, в трех минутах езды от гаража,— здесь он хотел перехватить Михеева по пути, и здесь было удобно ждать,— маршрут такси к парку из центра.

Утро начиналось чистое, розовое, со звонким морозцем, с зеркально молодым, хрустким ледком на мостовой. Лопаясь, он брызнул трещинками под каблуками, когда Константин вылез из машины, разминаясь после долгого сидения.

Холодного накала заря надвигалась из-за дальних улиц, краснел лед канавы, подымался парок над незамерзшим стоком бань возле далекого моста. Там, за мостом, над крышами вертикально дымили фабричные трубы; дым не таял, стекленел в небе, и были безмолвны ближние улицы в ранней стуже утра.

Воспаленными глазами Константин оглядывал набережную и небо, хлебнул несколько раз на полную грудь горьковато-холодный воздух — и от глотков этого крепкого студеного воздуха немного закружилась голова. Похрустев каблуками по ледку, он залез в машину, и теперь не было желания напряженно думать — вот так только сидеть, расслабив тело, ощущая эту пустоту, зябкость морозного утра, в котором, словно на краю света, занималась дымящаяся зимняя заря.

«Вот так хорошо», — подумал он.

Вместе с напряжением уходила грубая острота реальности, исчезала, покачиваясь, как на мягких рессорах, усталость, вся прошедшая ночь, разговор с Асей... И тут же как вспышка в темноте: «Михеев!.. А что Михеев? Что я должен делать с Михеевым?»

— Машина? Зачем машина? Кто водитель? Эй!

«Не заметил знак!» — вяло раздражаясь, подумал Константин и в ожидании нудного разговора с дотошным орудовцем разомкнул веки, принял удивленное выражение простецкого парня.

— А что, товарищ, разве?.. А где знак? История повторяется...

— Что?

— Один раз — как комедия, другой раз — как штраф.

И он приготовился зевнуть перед обычной нотацией, но не зевнул — за стеклом увидел досиня бритое лицо, круто выдающийся вперед подбородок; лицо кричало:

— Что? Кто сказал? Что сказал?

— Я,— договорил Константин. — Доброе утро, товарищ Гелашвили!

Он узнал машину директора парка.

Машина стояла впритирку, от работы мотора покачивался штырек антенны, и стекла, внутренность машины были в багровом освещении. Раскрыв дверцу, вынося ногу в хромовом сапоге на мостовую, Гелашвили рассерженно спрашивал:

— Почему? Почему, я интересуюсь? Корабельников!.. Сидишь и спишь? Кто разрешил? На курорт приехал? План перекрыл?

Гелашвили был в новом, белеющем меховыми отворотами полушубке, щегольски сидевшем на его сильной, атлетической фигуре, как отлично сшитый костюм; правая кисть толсто забинтована, покоилась на марлевой перевязи, — кажется, вчера поранился в мастерской. Левой рукой он решительно открыл заднюю дверцу Константиновой машины, спросил:

— Что — план перекрыл? Молчишь? Что молчишь?

Гелашвили соединил в прямую линию брови, подозрительно осмотрел пол и сиденья, проверил, нет ли следов цемента или извести; материалы эти для перевыполнения плана шоферы иногда прихватывали частникам на коммерческих складах, а этого Гелашвили не прощал.

— Говори — слушаю! — сказал Гелашвили, проверив и багажник. — Почему не работаешь? Когда смена кончается, в девять? Разучился на часы смотреть? Самый образованный шофер парка, отличный водитель, в пример ставили! Пассажир ждет, скучает, а ты на курорте сидишь? (Это была излюбленная его фраза.) Не дам! Разговор короткий! Надоело — уходи, плакать не буду! Лодырей не надо! Я таких шоферов в каждой подворотне найду! Ну, говори, объясняй — слушаю! Куда смотришь? На меня смотри!

— Может быть, я и уйду, — сказал Константин, глядя на фабричные дымы, плавающие среди утреннего неба.— Может быть, — и посмотрел в глаза Гелашвили, накаленные, неотступные.

— Воевал? — лающе спросил Гелашвили.

— Опять уточняется анкета?

— Ты машину, как винтовку, бросил!— крикнул Гелашвили и хищно сверкнул зубами.— Дезертир!

Константин хмуро сказал:

— Не будь вы директором парка... А впрочем, если вы повторите, я найду не менее крепкие выражения...

— Что повторить? Что?— крикнул Гелашвили.— Может быть... Подумаю!.. Начальства испугался? Струсил? Говори, а я от правды не умру, почему стоял? Ну как мужчина говори! Не кисейная барышня,— может, пойму! Ну что, пассажира ждал из этого дома? Объясни!

И Константин понял: он хотел, чтобы было именно так.

— Вы правы, жду, — ответил Константин.

— Завтра перед сменой зайдешь! Всякие дурацкие слухи ходят о тебе — надоело уже слушать!

Гелашвили сурово фыркнул и, сгибая атлетический торс, влез в свою машину.

«Победа» Гелашвили расстелила дымок на багровом ледке асфальта, покатила по набережной в сторону парка.

«Всякие слухи,— подумал Константин, сцепив зубы.— Что ж, кажется, Илюша торопится. Нет, нет, он не так глуп! Нет! Он, оказывается, тертый парень, с виду не скажешь!..»

На часах было пять минут девятого.

Он повел машину к парку.

— Никак, захворал, Костенька? Или ремонтировался на линии? Всегда сверх плана, а сегодня — кот наплакал. Если что — бюллетень бы взял.

— Умница, — сказал Константин. — Я всегда говорил, что без женщин мужчины пропали бы... Принимай деньги, Валенька, какие есть. Михеев вернулся с линии?

Кассир Валенька, курносенькая, вся светленькая, перебирая быстрыми пальчиками тощую пачку ассигнаций — ночную выручку Константина, — не задерживая пересчета, тряхнула кудряшками.

— Друг без дружки жить не можете! Он сдавал деньги — о тебе спросил. У него двоюродная сестра заболела. Торопился как бешеный. А ты, Костенька, у Акимова, у летчика, спроси. Он его за мойкой попросил посмотреть.

— Благодарю, Валенька.

И он не спеша двинулся к мойке, мимо машин, пахнущих после рейсов маслом, теплым бензином — привычным машинным потом. Завывание моторов уходило на этажи гаража, и в эти звуки знакомо вплетался прохладный плеск воды мойки, перед которой выстроились при-

бывшие из ночных смен такси. Когда смолкали моторы, было слышно, как перекликались там голоса, звучные, как в бане.

— Привет, Геннадий, привет, Федор Иванович! — сказал Константин, еще издали завидев Акимова и Плещея около мойки.

Акимов, голубоглазый, с зачесанными назад белыми, точно седыми, волосами, в летной куртке на «молниях», рассеянно смотрел на мойщиков — два паренька в рабочих халатах, деловито суетясь, били струями из шланга в ветровые стекла. Федор Иванович Плещей посасывал мундштук, прокуренным басом покрикивал, торопил мойщиков: «Бегай, бегай, как молодой в субботу!» — и его крупное, покрытое оспинами лицо было добродушно, массивная фигура прочно стояла на раздвинутых ногах.

— Еще раз здоров, что ли! — прогудел Плещей и в знак приветствия шевельнул косматыми бровями.

Акимов же ослепительно заулыбался.

— Как дела, Костя?

— Тебе известно, Геня, где Илюша? — спросил Константин и подмигнул мойщикам. — Здорово!

— Попросил проследить за мойкой, уехал к сестре — заболела, кажется, — ответил Акимов. — Или день рождения у нее. Что-то в этом роде. Пусть едет.

— Ну а зачем тебе этот долдон? — Плещей кашлянул дымом, ударом о ладонь выбивая сигарету из мундштука. — Нашел балаболку-дружка, знатока масла и аптек. Орел — вороньи перья!

— Да что вы, Федор Иванович! Парень как парень,— обиженно сказал Акимов.— Я ведь его лучше вас знаю, вместе живем. У всех у нас есть слабости. И у меня. И у вас ведь есть, Федор Иванович...

— Видел Иисуса Христа? — сказал Плещей. — А, черт тебя съешь! Тебя, брат, за доброту и наивность и из авиации выперли! — И, заметив, как покраснел и отвернулся Акимов, дружески тиснул его в объятии.— Ладно, я, брат, как грузчик, рубанул, не на паркетных полах воспитывался. Ну, по кружке пивка в честь получки? А? Посидим, помолотим языками за жизнь?

— Пожалуй, — согласился Константин.

— Не вышло, братцы, гляди на выход! Домашняя орава за мной, борщ стынет! Живите, братцы! Варька зорко меня оберегает от пива — толстею!

Он, довольный, крякнул, косолапо, неуклюже загро-

бая ногами, пошел от мойки между машинами. Навстречу ему в окружении четырех мальчишек стройно шла женщина средних лет, в пуховом платке с цыгански смуглым, когда-то очень красивым, тонким лицом, узкие глаза обрадованно блестели Плещею.

— Варька, молодец! Держи монеты! Есть свидетели — не выпил ни кружки! — Плещей беззастенчиво, на весь гараж чмокнул жену в щеку, отдал ей деньги, затем сгреб одного мальчишку, усадил верхом на толстую, бычью шею, приказал смеясь: «Держись за уши», — остальных подхватил на руки, зашагал, обвешанный семейством, к выходу в сопровождении жены, смущенно следившей за ним из-под платка. Говорили, она была цыганка, Плещей увез ее из табора, когда работал грузчиком на волжских пристанях.

— Завидую ему,— задумчиво проговорил Акимов. — За такую жену и таких пацанов жизни не жалко.

— Да, — подтвердил Константин. — А ты не женат, Геня?

— Не вышло. Так пошли, Костя? Мне на метро до Таганки. До вечера буду в Москве, а потом к себе, во Внуково. Кстати, что передать Михееву? Мы с ним вдвоем по дешевке снимаем комнату в поселке. Скажи — я передам.

— Ты говоришь, ничего парень Михеев? — спросил Константин. — Ты это серьезно считаешь, Геня?

— А что, Костя?

— Знаешь, Геня, а что, если я с тобой поеду во Внуково?.. Если можно, я поеду. Ты не против? Мне нужен Михеев. Подожду его. Принимаешь в гости?

— В авиации говорят: не задавай глупых вопросов.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Дачный поселок находился в лесу, в двадцати минутах ходьбы от станции, заметенные улочки были скупо освещены фонарями, огни в окнах горели редко.

Двухэтажный деревянный дом стоял на окраине, среди гудевшего массива елей; и когда миновали калитку и пошли по тропке, едва заметной меж сугробов, сбоку сыпался колюче-сухой снег, сбрасываемый ветром с крыши сарая, обдавало пресным холодком дачной глуши, запахом мерзлых дров.

— Сейчас,— донесся спереди голос Акимова.— Сейчас отогреемся!

Пока Акимов на крыльце возился с ключом, Константин, продрогнув, оглушенный зимним шумом деревьев, смотрел в потемки, на тени елей, махающих лапами перед стенами дома.

В непрерывном гудении леса угадывались другие звуки: ветер бросал, комкал над поселком отдаленный лай собак.

— Ну и в глухомань вы забрались, — сказал Константин.

— Чем дальше от Москвы, тем дешевле,— ответил голос Акимова.— Тем более что хозяева здесь зимой не живут. Заходи. Да осторожней. Береги голову. Тут бочки, тазы, какие-то кастрюли — зачем, сам дьявол не поймет. А, бог мой! Я уже сбил ухом корыто. Нагибайся!

Послушно нагнув голову, Константин последовал за Акимовым через промерзший тамбурчик, вонявший бочоночной плесенью, затхлой кислотой капусты, наугад перешагнул порог в сплошную тьму, почувствовал, как наступил на что-то мягкое, живое; угрожающе сиплое мяуканье раздалось под ногами, затем сверкнули две зеленые искры из темноты.

— А, черт! — выругался Константин. — А кошки, кошки зачем у вас?

— Оставили хозяева, ловить мышей.

— Ловит?

— Слишком нежно воспитана. Спит в книгах, а мыши погрызли все ножки столов. Нам наверх...

Акимов пошуршал по стене, щелкнул выключателем — вспыхнул в передней свет в пятнистом обгорелом абажурчике, стала видна дверь на первом этаже, забитая наискось доской, старые, облезлые обои, крутая, с перилами лестница на второй этаж.

На нижних ступенях, взъерошив шерсть, хищно шипела на Константина огромная худая кошка.

— Зверь,— заметил Константин, подымаясь следом за Акимовым по ветхой деревянной лестнице на второй этаж. Скрип ступеней, шаги отдавались в даче, в нежилой пустоте забитых комнат, обдуваемых ветром.

...Минут через пятнадцать сидели за столом, застеленным газетами, в маленькой комнате второго этажа, пили из граненых стаканов портвейн, закусывали яичницей, поджаренной Акимовым на электрической плитке.

В печке, разгораясь, постреливали, жарко закипали в огне березовые поленья, тянуло деревенским дымком, было уже в комнате теплее, веселее, и Константин не без интереса глядел на запыленную этажерку, заваленную книгами, чужую старомодную и обветшалую мебель, на потертый ковер перед диваном, гипсовую голову Вольтера возле высокой лампы под абажуром юбочкой — и почему-то показалось, что неожиданно задержался в этом старом, пропахшем плесенью доме, случайно обретя уют, огонь, а на рассвете надо двигаться к Висле в сыром тумане утра.

— Ты здесь с Михеевым? — спросил Константин, подливая вина Акимову и себе. — А это чей китель?

— Дачу сдает профессорская вдова, — ответил Акимов.

— А это твой китель, Геня?

На вешалке висел новый габардиновый китель с летными петлицами, но без погон, с полосой орденов и нашивками ранений — китель, словно недавно сшитый, приготовленный для парада, ни разу не надетый.

— Глаза мозолит. Демонстрация получается, леший его дери! — Акимов снял китель с вешалки, кинул его на диван, вниз орденами, сказал: — О чем ты хочешь поговорить с Ильей? Если нет смысла отвечать — вопроса не было. Мы иногда, как оглоблей, лезем в чужую душу.

Константин после колебания спросил:

— Слушай, Геннадий, значит, ты считаешь Илью честным парнем? Только откровенно.

— А что ты называешь честностью?

— Знаешь что... пошел ты! Честность есть честность со времен... когда человек стал человеком.

— Понимаю. Подожди.

Акимов лег на раскладушку, сосредоточенно уставясь в потолок, на зыбкую тень абажура, свет лампы падал на лицо его, глаза были ясными; с минуту он будто прислушивался к гудению ветра над крышей, слитному реву деревьев, царапанью и писку в щелях чердака; и Константин невольно посмотрел на потолок — он был низок, крыша, чудилось, вибрировала, где-то хлопал оторвавшийся кусок железа.

— Ты что? — спросил Константин. — Выпьем-ка лучше, Геня.

— Ту-4, показалось. Реактивный бомбардировщик. Прости, пожалуйста,— виновато сказал Акимов и припод-

нялся на раскладушке, взял стакан. — Непогодка. Канитель. Совсем не летная погодка.

— Ты не ответил,— напомнил Константин. — Я о Михееве. То, что я спрашиваю, до черта серьезно, Геня.

— С Ильей? — удивился Акимов.

— Нет. Это касается меня.

Акимов откинул белые волосы со лба, облокотился на стол, взгляд его стал внимательным — исчезло то задумчивое выражение, какое было, когда он лег на раскладушку.

— Я слушаю, Костя.

— Геня, я только хочу спросить у тебя одно. По-твоему, Михеев — честный парень? Вы живете вместе. И ты должен знать его лучше меня. Михеев — честный парень?

Константин уточнял то, что, казалось, было ясно ему, но он хотел услышать от Акимова хотя бы слабое подтверждение своей правоты или неправоты; ему важно было, что скажет сейчас Акимов: его серьезность, его спокойная размеренность и то, что он не до конца открывался, как это бывает у людей, знающих что-то свое, не предназначенное для других, вызывали доверие к нему.

— Я встречался с разной честностью, Костя,— ответил Акимов.

— А именно?

— Положим, было так, что мой бывший командир полка честно предупредил меня...

— Предупредил? О чем?

— Да. Предупредил, что меня готовятся выпереть из испытателей во имя «расчистки кадров». Честно предупредил, но сам на комиссии ни слова не сказал в мою защиту. А знал меня почти всю войну. Считал меня своим любимцем, вместе летали на «Петлякове». Сам вешал мне ордена и обнимал перед строем. Но на комиссии молчал. И меня отстранили от испытаний.

— Но почему?

— Плен. Так я это понял. Но комиссия об этом вслух не говорила. Были только вопросы. «Где был с такого-то периода по такой-то?»

— Ты был в плену?

— В сорок пятом сбили над Чехословакией. В немецком концлагере был три месяца. Словаки помогли. Партизаны. Бежал.

Акимов замолчал, откинул назад волосы.

Крыша загремела под ударами ветра; врываясь в уши, навалился снаружи упруго ревущий гул леса, задребезжали стекла. Ударила ставня. Электрический свет сник, мигнул и вновь набрал полный накал. Константин покосился на лампочку, налил Акимову из уже нагревшейся в тепле бутылки. Акимов неторопливо, но жадно отпил из стакана. Константин спросил:

— И что?

— Думаю, я понимаю командира полка.

— В чем?

— Мы испытывали секретные машины. Его этим и приперли. А у меня подозрительный пункт в анкете.

— Ясно, — сказал Константин. — Твой комполка чересчур застенчив...

— Не осуждай сплеча, Костя. Иногда складываются обстоятельства.

Константин перебил его:

— Когда-то я свято поклонялся обстоятельствам. Мы победили, война кончилась, мы вернулись, пусть каждый живет как хочет! Не совсем получилось, Геня. Я спокойнее бы относился к своей судьбе, если бы без памяти, скажу тебе откровенно, не любил одну женщину! Из-за нее я бросил институт, из-за нее — все... Ты знаешь, что такое счастье?

— Видимо, одержимость... Я, конечно, о деле говорю. Но что у тебя, Костя?

— Ничего, Генька.

— А все же?

— Я встретил своего комполка.

— Я тебе не задаю никаких вопросов. Я не имею права, — сказал Акимов, и пошарил в углу под газетой, где стояли бутылки из-под кефира, и вытянул оттуда начатую бутылку «Зубровки». — Что-то, Костя, не берет меня эта портвейная дребедень. Добавим? — И тотчас обернулся к двери, прислушался.— Кажется, звонок?

— Он? — спросил Константин.

Оба прислушались. Звонка не было. Незатихающие шорохи проникали снизу, из-под пола, из забитых летних комнат, а здесь, наверху, ветер, задувая, свистел в щелях рам, и кто-то скребся, терся о дверь с лестницы.

Снова сник, мигнул свет.

— Кошка, наверно, — сказал Акимов и подошел к двери, открыл ее; пустотой зачернела площадка лестницы.— А, ты тут скреблась? Что, надоело в одиночестве?

В комнату вошла кошка, взъерошенная, озябшая; на мягких лапах проследовала к печке, к багровому жару в поддувале, села за поленцами березовых дров, притихла там, как в засаде.

— У нас свет иногда дурит,— сказал Акимов.— Ветер провода замыкает, леший бы драл. Ну, добавим? — Он чокнулся с Константином и выпил полный стакан, не закусил.— Вот что, Костя, — сказал он, подхватывая подушку. — Куда сейчас поедешь? Жди Илью. На ночь он всегда возвращается. Я не буду мешать. Пойду спать, здесь есть комнатенка рядом. Можешь лечь на диван.

— Я тебя не стесню?

— Дьявольски воспитан ты.

— Спасибо, Генька. Спокойной ночи. Я посижу покурю.

Он проснулся от какого-то беспокоящего звука, давившего на голову, от внезапно толкнувшейся в сознании четкой и острой, как лезвие, мысли: случилось что-то! — и в первую секунду не сообразил, где он находится.

В темноте гулко гремело железо на крыше, звенели стекла в мутно проступающей раме окна, несло холодом, — и он понял, где он и зачем приехал. Лежал на диване одетый, не помнил, как уснул здесь, и весь закоченел от дующего стужей окна, одеревенело плечо от неудобного лежания. Печь, видимо, давно погасла, одинокий уголек неподвижно тлел, краснея в поддувале.

Ветер обрушивался, бил по крыше, на чердаке тоненько попискивало, и как будто глухо, с перерывами кашлял кто-то под полом,— и вдруг продолжительный звонок рванулся снизу, замер в глубинах дома и вновь настойчиво прорезался на первом этаже бьющимся непрерывным звоном.

«Звонят?»

Константин нащупал на столе спички, зажег, осветил часы, одновременно прислушиваясь, было два часа ночи. «Кто это? Звонят? Михеев?»

При свете огонька зашевелились в комнате предметы: стул, бутылки, тарелки на столе. Забелела газета на полу; неверный свет странно оголял комнату, делая ее заброшенной, мертвой...

Спичка обожгла пальцы, погасла, задушенная темнотой, а Константин все сидел на диване, напрягая слух, стиснув в кулаке спичечный коробок. Ему послышались

людские голоса, возникшие шаги под окнами, и снова продолжительный звонок забился в его ушах.

«Кто это?»

Он знал, что ему нужно встать, включить свет, открыть дверь комнаты, спуститься по лестнице, пройти мимо забитых комнат первого этажа к тамбуру. Но он не мог сдвинуться с места, встать — что-то инстинктивно остановило его, подсказывало, что это не Михеев, это не мог быть Михеев, что там внизу, за дверями, было иное, и страх морозным холодом пополз по затылку, туго стянул кожу на щеках, отдавались удары крови в голове.

Звонок на нижнем этаже оборвался.

Весь дом был наполнен визгом ветра, шорохами, по двери скребли, как наждаком. И хлипко, ветхо скрипела лестница, приближались снизу осторожные твердые шаги, качали ее...

Он подумал: «Это Акимов», — и, сжимая в кулаке коробок, смотрел в темноту, ожидая — распахнется дверь, войдет Акимов, зажжет свет. Но дверь на лестницу сливалась со стеной, никто не входил. Только скрипели шаги по ступеням.

— Акимов! Геннадий! — хриплым шепотом позвал Константин.

Никто не ответил.

И тут же в коротком затишье, между порывами ветра, услышал равномерные звуки за стеной, приглушенный храп — Акимов спал в соседней комнате. «Не может быть! Что же это?»

Он, застыв, смотрел в сторону двери, выходившей на лестницу вниз,— в лицо дуло пахнущим морозцем сквозняком, дверь, чудилось, приоткрылась — кто-то в потемках бесшумно входил в комнату с площадки, шурша одеждой.

— Кто?.. — крикнул Константин, уже готовый на все, и стал рвать из коробка спички, ломая их, будто не своими пальцами.

Одна зажглась, слабое пламя выхватило на секунду сузившуюся комнату, стол, бутылки на нем, диван... Дверь на лестницу была открыта. Она была широко распахнута в провал лестницы.

Сквозняк шевелил газету на полу.

«Что это со мной?» — подумал он, трудно дыша. И лег на спину, оттягивая воротник свитера, давивший шею,— жаркий и липкий пот окатил его.

— Идиот!..— выдавил из себя Константин и застонал. — Мне показалось...

Он закрыл глаза и в ту же минуту порывисто оперся на локти, напрягая мускулы.

Дом гудел под напорами ветра, и в нижнем этаже — это послышалось ясно — сначала внятно булькнул звонок, затем задребезжал исступленно, непрерывно, нарастая; звонок раздавался на весь дом.

И Константин, оттягивая и отпуская намокший от пота воротник свитера, теперь точно сознавал, что он не ошибался.

«Акимова... Разбудить Акимова!..»

Оглядываясь на окно, он встал, ноги сделали движение по комнате, неся облегченное, словно высушенное, тело. Натолкнувшись на зазвеневшие бутылки в углу, ничего не видя, он хотел постучать в стену, за которой спал Акимов, но охолонутый ледяным ознобом, и, задохнувшись от какой-то отчаянной решимости, Константин на ощупь по стене выбрался на лестничную площадку и, тут подождав немного, охрипшим голосом крикнул в темноту первого этажа:

— Кто там?..

И с трудом зажег спичку.

Пламя спички колебалось. Лестница ходила под его ногами — под рукой раскачивались ветхие перила, он делал намеренно сильные шаги, спускаясь все ниже.

Он остановился, оглушенный звонком, пронзительно трещавшим над головой.

— Кто там?.. — матерясь, крикнул Константин. — Кто?..

Ответа не было. Звонок смолк.

Он стоял вслушиваясь. Спичка погасла.

Тогда, приблизясь на несколько шагов к внутренней двери, он с размаху толкнул ее плечом и, натыкаясь на бочки в тамбуре, еле нашел, отодвинул железный засов и изо всей силы швырнул ногой входную дверь. Она распахнулась — ветер рванул ее к стене тамбура.

Константин мгновенно замер.

— Кто там! Входи!..— крикнул Константин.

За дверью никого не было. Смутно отливали снегом ступени в темноте.

Он усилием заставил себя сделать еще шаг через порог и здесь, на крыльце, в несущихся токах ветра, мерзлого запаха снега и хвои, озирался по сторонам, ослеп-

ленный темнотой ночи, чувствуя, как бешеными ударами рвется из груди сердце.

Возле дома никого не было.

— Так! — сказал он.

И внезапно, не закрывая тамбура, Константин повернулся и, расталкивая бочки с капустной вонью, вбежал в дом; потом, хватаясь за расшатанные перила, бросился по лестнице вверх, а в комнате не сразу нашел висевшую на спинке стула куртку, надел шапку и после этого, переводя дыхание, услышал какие-то звуки в коридоре. Приближались шаги. Рука со спичкой вползла в комнату; ничего не понимающее, помятое лицо Акимова смотрело на Константина поверх огонька, голос был заспан, звучал обыденно:

— Что за шум? Свет зажги... Илья приехал? Ты куда?

— Тут звонил кто-то,— проговорил Константин.— Я в Москву!..

— Ку-да-а? Кто звонил?.. Бывает, звонок от ветра работает... Михеев не приехал?

— Я — в Москву.

— Ку-уда в Москву? Электрички нет до утра!

— Доберусь на товарном. Будь здоров!

И, уже не разбирая, что кричал в спину Акимов, он сбежал по лестнице и выскочил, прыгая по ступеням крыльца, на снег, в навалившуюся на него ветреную стужу. И торопливо пошел, побежал к калитке, угадывая ногами скользкую тропку меж сугробов.

В поселке не горело ни одного огня.

Под ветром подвывали в небе провода, иголочки снега, срываемые с деревьев, резали разгоряченное и потное лицо Константина. Он бежал по темным заметенным улочкам поселка — наугад, к станции.

«Это просто я схожу с ума! — думал он, задыхаясь и видя впереди за крышами блеснувшие огни на путях.— Что же это было со мной? Что?»

Он испытывал сейчас такую ненависть к этой ночи, такое злое, презрительное отвращение, что, казалось, все, что он мог уважать в себе, было уничтожено этой ночью, и не было никакого смысла во всем, что он делал или хотел сделать. В том, что он испытывал сейчас, как бы проступил в нем второй человек, он ощущал его ненавистное вырастание внутри, его неудержимо, до унижения срывающийся, перехваченный голос, его липкий пот...

«Если *это*... если *это*, тогда — конец...»

Под Сталинградом после непрерывных бомбежек, когда в пыльной мгле пропадало солнце, он видел людей, которых называли «контуженными страхом»,— дико бегающие пустые глаза, сизая бледность или не сходящая болезненная багровость лица, внезапный фальшивый смех, жадность к еде, старчески трясущиеся руки, потерявшие силу, и отправление нужды прямо в траншее. Такие не вызывали ни жалости, ни сочувствия. Это были живые мертвецы. Таких убивало на второй день; их убивало потому, что они с животной слепотой цеплялись за жизнь, потеряв способность жить.

«Если *это*...— значит, конец!..»

Проваливаясь в разъеденных ветрами сугробах затемненной улочки под трещавшими над заборами соснами, он во всех деталях вспоминал ночь на Манежной площади, жалкое, опустошенное лицо Михеева в переулке около церкви, где они встретились, его визгливый голос: «Сам ответишь!» — и всплывал в памяти томительный разговор в отделе кадров с Соловьевым, потом человек с газетой возле стоянки такси на Пушкинской, приезд к Быкову — и, сопротивляясь тому, что подсказывало сознание, вдруг впервые ясно почувствовал взаимосвязь всего этого.

«Что же теперь? Что мне делать?.. Но если бы был Сергей... поговорить с ним, решить!..» — сказал он еще себе и сейчас же подумал об Асе, а подумав о ней, представил ее лицо: он боялся его увидеть.

«А как же Ася? Как же Ася? — подумал он опять.— Трус! Сволочь! Храбрился перед этим Соловьевым, перед Быковым, перед Михеевым... Ложь! Обманывал себя, а правда, вот она — дрожание коленок...»

Спотыкаясь, весь потный, он перешел пути под опущенным шлагбаумом, низко над землей басовито звенели телеграфные провода, светящиеся полосы рельсов уходили в раздвинутый впереди коридор лесов.

Отдыхая, поворачиваясь боком к ветру, он поднялся на платформу, по-ночному освещенную тусклым островком вздрагивающих фонарей. Ветер хлопающим громом налетел на деревянное зданьице, холод пронизал потное тело — и, затягивая шарф, ускоряя шаги, он вошел под крышу станции.

Под крышей теплее было, покойнее, темнели изрезанные, щербатые скамейки, за окошечком кассы занавесоч-

ка висела, чуть шевелилась: ветер пробирался и туда. Константин, придерживая поднятый воротник, поискал на стене расписание.

— Ждешь, дядя, никак, электричку? — послышался голос за спиной.

Константин обернулся.

— А?

В дальнем углу на скамье под лампочкой сидел плотный небритый парень в кожаном пальто и рядом другой — узкоплечий, с мальчишечьим лицом, в телогрейке, в ватных брюках. На скамье перед ними — бутылка водки, раскрытые консервы, оба деловито ели ножами из банки. Оглядев Константина, парень в кожанке отпил несколько глотков, передал бутылку узкоплечему.

— Когда... электричка в Москву? — спросил Константин.

— Неграмотный, дядя? — Узкоплечий, жуя, подошел к расписанию, стал водить, как указкой, кончиком ножичка по столбцам, обернул свое подвижное мальчишечье лицо и, смешливо пришепетывая, произнес сквозь щербинку меж зубов: — В пять утра первая... Бабушка, дедушка. Точно запомнил время, усики? Грузин?

— Пошел к черту,— проговорил Константин. «В пять утра... В пять!»

— Иди, Вась. Рубай,— вялым голосом позвал парень в кожанке.

Константин, согревая руки в карманах, прислонился плечом к деревянной стене, лихорадочно соображая, что делать сейчас,— и смотрел на жующих в углу парней, по смутно видел их лица.

Они ели молча.

«Значит, в пять. Значит, в пять утра? Ждать до утра?»

Ветер налетел на платформу, напоры его гулко разрывались вокруг станции, и донесся,— может быть, почудилось, — из ночи, из хаоса звуков слабый свисток паровоза, его тотчас смяло, унесло, как будто струйка ветра беспомощно пропищала в щели.

— Бабушка, дедушка,— хохотнул паренек с мальчишечьим лицом.— Чего, дядя, застыл, спрашивают? Садись в товарняк! Чего смотришь?

Константин почти не разобрал то, что сказал парень, только показалось на миг, что он понял что-то особое, необходимое, страшное,— и даже руки, засунутые в карманы, налились млеющим нетерпением.

«Только бы увидеть Асю... И — больше ничего. Только бы увидеть...»

Парни кончили жевать, узкоплечий вытер лезвие о край скамьи, не отрывая смешливого взгляда от Константина.

— Чего уставился, дедушка, бабушка? Не псих ты?

Константин не ответил.

Близкий свисток паровоза, рвя ветер, несся на станцию; Константин ногами почувствовал сотрясение пола и тут же рванулся к выходу, выбежал из деревянного зданьица в пронзительный, навалившийся паровозный рев, заложивший уши.

По глазам полоснул сноп прожектора, трехглазая железная громада с грохотом, шипением мчалась, надвигаясь из ночи, и налетела на станцию, свистя паром с запахом угля; мелькнуло жаром красное окошко машиниста, Константина обдало теплой водяной пылью — и тяжело забили колесами о рельсы, наполняя станцию пульсирующим гулом, огромные закрытые вагоны.

Это был товарняк.

Константин, оглохший в грохоте, пропустил половину состава и бросился за поездом по платформе, надеясь вскочить на тормозную площадку, но не рассчитал скорости поезда.

С увеличенным бегом пронесся последний вагон, стуча тормозной площадкой. Эту площадку мотало, и мотало там темную фигуру в тулупе, и красный фонарь стремительно удалялся над открывшимися рельсами.

Константин добежал до конца платформы, схватился за перила, упал на них грудью.

«Здесь они не сбавляют скорость... Не вышло! Что же делать? Пешком идти?.. По рельсам идти? Только не ждать до утра. Все, что угодно, только не ждать!..»

Платформа была по-прежнему унылой, ночной. В поселке не светилось ни одного окна. Почти сливаясь с темью станции, проступали две фигуры у стены — оттуда смотрели на него.

«Все, что угодно, только не ждать! Только бы увидеть Асю! Только бы...»

Когда он утром, растерзанный, потный, за сутки обросший щетиной, испачканный мазутом, с полуоторванным рукавом, не вошел, а, пошатываясь, ввалился в комнату и когда чуждо, резко увидел на пороге Асю, расте-

рянно открывшую ему дверь, Константин со спазмой в горле, тисками душившей его, хрипло прошептал:

— Асенька... — И, сдергивая с шеи шарф, точно всю ночь нес на плечах нечеловеческий груз, смотрел на нее, едва держась на онемевших ногах.

— Ты жив, ты жив?.. А я уж не знаю, что передумала!.. Где ты пропадал? Не спала ночь, прозвонила все телефоны, наделала шуму — в Склифосовского, в автопарке... Ты знаешь, что я подумала? Ты знаешь?

— Я тоже... о тебе, — прошептал он, не было сил говорить.

И она еще что-то спросила его, но в эту минуту он ничего ясно не расслышал, казалось — спрашивали не губы ее, а брови, глаза, все лицо, подчиненное им.

— Костя? Костя...

— Я думал о тебе всю ночь. Только об этом. Все время... — снова шепотом выговорил Константин, — и то, что... Я не жил бы без тебя...

А она, прикусив губу, молчала и горько одним взглядом спрашивала его: «Это всё, всё?»

— Ася, нас сняли с машин в конце смены. И отправили разгружать состав с лесом... Вот видишь, такой вид. Вот... Порвал рукав...

Константин падал несколько раз на обледенелой насыпи, сбегал со шпал, когда навстречу неслись товарные поезда, и, оскользаясь, скатывался в кусты сбоку путей; он сел на товарняк только в Востряковe. Но лгал он ей наивно, как говорят неправду не подготовленные ко лжи, видел, что она еле заметно отрицательно качала головой, лишь так отвергая его неправду, и он договорил чуть слышно:

— Я виноват... Я не мог позвонить...

Он глядел на нее, на темную, как капелька, родинку у края губ и со словами, застрявшими в горле, думал, что он ничего не сможет объяснить ей.

— Пожалуйста, скажи мне наконец правду...— Ася даже привстала на цыпочки, отвела его волосы с потного лба, заглядывая ему в глаза. — Ну, пожалуйста. У тебя ночью... ничего не произошло?

— Нет. Я просто смертельно устал. Ася, послушай меня...

Она, почему-то зажмурясь, перебила его:

— Нет! Ничего не говори. Не надо, Костя. Когда ты найдешь нужным, расскажешь мне все. Сейчас — не на-

до. Сними куртку. Я зашью. И иди в ванную. Усталость сразу пройдет.

— Я... сейчас, Асенька.

Он покорно снял куртку и, сняв, почувствовал от своего насквозь мокрого свитера запах прошедшей ночи — запах едкого страха, и, отступя на шаг, повторил:

— Асенька, родная моя.

А она молча села на диван, положив его куртку на натянувшуюся на коленях юбку, разглаживая место, где был надорван рукав, опустила лицо, мелко дрогнули брови — и ему показалось, что она могла заплакать сейчас.

«За что она любит меня? — подумал он. — За что ей любить меня?» — опять подумал он, видя прикосновение своей смятой, пропахшей вонью мазутных шпал куртки к ее чистым коленям, к ее чистой одежде — это грубое соединение ее, Аси, с той страшной ночью.

И он уже напряженно искал на ее лице выражение брезгливости.

— Иди же в ванную. Я зашью. Я сейчас зашью,— сказала она с дрожащей улыбкой.

Он выбежал из комнаты. Он боялся, что не выдержит этой ее улыбки.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Константин дремал за столом, клонилась голова, смыкались веки, у него не было сил встать, раздеться, лечь на диван; ранний мартовский закат уже наливал комнату золотистым марганцем, наполнял ее благостной тишиной сумерек, и он подумал: как хорошо не двигаться, не заставлять себя что-либо делать с собой, со своим смятым усталостью телом.

«Вальтер», — думал он. — Я должен это сделать сегодня, сейчас. Им известен даже номер пистолета. Выбросить. Выбросить! И — ничего не было. И нет никаких доказательств. Главное — улика. Уничтожить ее! Выбросить эту память о войне!»

Константин встрепенулся, как бы прислушиваясь к безмолвию, в нерешительности встал: тело ломало, болели икры — это не чувствовалось так, когда, опустошенный, сидел он за столом в мутной дреме после бессонной ночи. «Значит, — рассчитывая, подумал Константин, — взять ключ от сарая. Вернуться с охапкой дров. В коридоре не наткнуться на Берзиня, который в это время дома, он

рано приходит с работы. Господи, что это я? При чем тут Берзинь? Я иду за дровами, как ходят все. Спокойно, надо спокойно».

Медленно он надел куртку, вышел из парадного, холодом защипало ноздри. Двор был тих, пуст; закат из-за крыш падал на сугробы, был багрово-ярок: еще по-зимнему крепко схватывал вечерний морозец в колючем воздухе. И низко над двором, окутываясь дымом печей, висел над трубами прозрачный тонкий месяц.

Скрип снега, раздавшийся под ногами, мнилось, достигал крыш, отталкиваясь, возвращался с неба — Константин по темнеющей тропке пошел на задний двор.

И вдруг остановился в двух шагах перед сараем.

Дверь сарая была открыта. Звучали голоса, и кто-то возился, покашливая там нервно.

«Кто в сарае? Берзинь? С кем?»

— Вы, Марк Юльевич?— спросил он очень громко, позванивая связкой ключей, узнав покашливание Берзиня. — Добрый вечер! Как говорят...

За порогом на чурбане сидел Марк Юльевич в очках, завязывал кашне, обмотанное вокруг горла, толстое лицо было лиловато-красное от заката, он подтолкнул на переносицу очки, ответил тоном занятого человека:

— Да, да. Это я... Это мы... — Нацелился колуном и, сидя, ударил по березовому поленцу; оно треснуло стеклянным звуком. — Что? — с задышкой проговорил он.— Тома! Подавай мне, пожалуйста, короткие... Я выбился из сил.

За спиной его в углу сарая горела свеча, вставленная в горлышко бутылки; свечу заслоняла закутанная в платок фигура Тамары; она выбирала поленья и, прижимая их к груди, как ребенка, носила к отцу.

— Это дядя Костя?— сказала она и бросила полено, поправила волосы на виске. — Это дядя Костя?— Она, видимо, сразу не разглядела его в полутьме, подошла вплотную, несмело спросила: — Вы за дровами? Вы?..

Она тихонько опустила чурбачок на землю, напротив Марка Юльевича, все не сводя с Константина спрашивающих глаз, и проговорила опять робко:

— Дядя Костя?..

Берзинь сердито, шумно высвободил колун из полена, отдуваясь, простонал:

— Дети, дети, задают столько вопросов,— можно сойти с ума! Да, я устал слушать вопросы! Да, да!— сказал

он в голос и расщепил колуном полено.— Он за дровами, это ясно? Он ничего не потерял в сарае, это ясно? В школе ты учила стихи? «Откуда дровишки? Из лесу, вестимо!» Ты учила эти стихи? А мы берем дрова из сарая!

А Константин, уже не звеня ключами, смотрел не на Берзиня, не на затихшую Тамару — смотрел на слабый и сухой червячок свечи над грудой сдвинутых дров.

Там, в этом месте, был спрятан «вальтер», завернутый в носовой платок, и сверток этот был запрятан им на уровне гвоздя, забитого в стену, где постоянно висела ножовка.

Дров на прежнем уровне не было. Они были разобраны, и он тотчас же вспомнил, что тогда ночью спрятал пистолет в дровах Берзиней, твердо зная, что у них никогда искать его не будут. И, оглушенный внезапным ужасом и стыдом, Константин взялся за покрытую ледяной, скользкой плесенью бутылку со свечой, обвел взглядом Берзиней.

Оба они безмолвно, с каким-то объединенным сочувствующим вниманием глядели на него, на свечу, которую он тупым жестом переставил на другое место; язычок свечи заколебался.

— Вы... — сказал он и замолк, потом глухо договорил: — Не буду мешать. Простите...

Берзинь закивал странно и часто, полукашляя в нос; свеча дробилась в стеклах его очков, и рядом с его лицом белело лицо Тамары, — он видел ее изумленно наползающие на лоб брови. Она откинула платок, выгнув свою еще по-детски беспомощную шею, готовая что-то сказать, но не говорила ничего.

И он почувствовал себя как в душном цементном мешке и быстро пошел к двери; на пороге сказал:

— Простите меня, Марк Юльевич.

— Нет! Мы уходим! Томочка, возьми дрова! Мы мешаем соседу! Мешаем!— Берзинь вскочил, засновал локтями нелепо, как будто собираясь бежать; концы кашне мотались на его груди.— Сопливая девчонка! Что ты сидишь, я тебя спрашиваю! — срываясь на фистулу, крикнул Берзинь, оглянувшись на дверь. — Сопливая наивная девчонка! Куда ты запускаешь глаза? Где твоя вежливость? О-о! Думать! В первую очередь человек должен думать! — Берзинь постучал указательным пальцем себе в лоб.— Мы живем в коллективе. Мы должны уважать соседей. Мы уходим из сарая!

— Папа! — закричала Тамара возмущенно.— Не кричи! Мне стыдно за тебя! Почему ты боишься? Если у тебя не хватает смелости, я сама объясню Константину Владимировичу! Константин Владимирович! — Она перешла на шепот: — Константин Владимирович... Сегодня... мы брали дрова... И вы знаете... у нас...

Константин обернулся.

«Не говори! —хотелось сказать Константину.— Я все понял. Не говори ничего!»

Он молчал, покусывая усики, смотрел на растерянно моргавшего Берзиня, на шатающийся язычок свечи, на Тамару, доказательно прижавшую руку к груди, сказал наконец, вполголоса:

— Что «знаете»?

Он не мог объяснить сам себе, почему так открыто выговорил «что «знаете»?», и, сказав это, переспросил:

— Не понимаю, что — знаете? О чем вы, Тамара?

— Паршивая девчонка! Что ты говоришь, не слышали бы мои уши! — Берзинь обвязал кашне вокруг воротника, грубо потянул Тамару за рукав.— Что ты говоришь Константину Владимировичу! Мы уходим, сию минуту уходим, Константин Владимирович! Вам не стоит слушать ее болтовню. Стоит ее послушать — и можно повеситься!

— Ах так! Так, да? — сказала Тамара зазвеневшим голосом.— Ты трус! Ты боишься самого себя! Вот смотрите, Константин Владимирович, что мы нашли в сарае! Под этими дровами! Кто-то спрятал здесь! Смотрите!

Она отшвырнула поленья, вытащила маленький серый сверток из-под дров, шепча: «Вот-вот»,— и, не сняв варежки, стала торопясь и вместе боязливо разворачивать его. Конец пухового платка мешал ей, путаясь под руками,— и в следующую секунду сверток выскользнул из ее варежек. Пистолет со стуком упал в щепу. Белые фетровые валенки Тамары стремительно отскочили в сторону от упавшего в щепу «вальтера». Берзинь, страдающе охнув, схватился за голову.

— Что ты делаешь? Он заряжен патронами!.. Можно сойти с ума!

— Он заряжен пулями,— сказал Константин.

— Что? — удивился Берзинь.

— Пулями,— сказал Константин, глядя на «вальтер».

В щепе при огне свечи он тускло, масляно отливал гладким металлом.

Аккуратные валенки Тамары приблизились к пистолету и замерли, она сказала:

— Вот!..

— Пулями,— проговорил Константин.

— Что? — спросил Берзинь потрясенно.

— Пулями,— повторил Константин,— которые убивали на войне.

Усмехнувшись скованными губами, он поднял пистолет, а когда уже привычно держал на ладони этот зеркально отполированный, изящный, точно детская игрушка, «вальтер», на минуту почувствовал, как твердая рукоятка его, тонкая и влитая спусковая скоба плотно входят в ладонь, передавая коже холодную щекочущую жуть, таившуюся, запрятанную в этом круглом стволе,— стоит едва сделать усилие, нажать спусковой крючок...

Он услышал в тишине носовое дыхание Берзиня, скрип щепы под валенками — и на миг увидел в глазах Берзиня и Тамары, как бы вмерзших в одну точку, страх ожидания близкой опасности, исходившей от этого полированного металла; и обнаженно ощутил связь между собой и этим оставленным после войны «вальтером», будто он, Константин, нес опасность смерти — стоило лишь нажать спусковой крючок. И тут особенно понял, что не может ни перед кем оправдаться, объяснить, зачем он оставил пистолет, и ясно представил бессилие своих доказательств.

— Это... немецкий пистолет,— проговорил он наконец.— Старой марки. Лежит с войны...— И усмехнулся Тамаре.— Понимаете?

— Да, да, да! Это чей-то пистолет... лежит с войны! — эхом подтвердил Берзинь.— Да, да, да! Это с войны! Конечно, конечно!..

— Ты, папа, говоришь ужасную ерунду! — досадливо выговорила Тамара.— Эти дрова привезли осенью. Привез Константин Владимирович! — Она обратилась к нему по-взрослому, голос был трезво опытен, как голос зрелой женщины, и эта рассудительность поразила Константина.— Я уверена — револьвер надо сдать управдому или в милицию. Мы не знаем, зачем он здесь, может быть, готовится убийство! Это может быть?

— Н-не думаю,— сказал Константин; струйки пота, щекоча, скатывались у него из-под шапки, он добавил тихо: — Тамара, из этого оружия нельзя убить. Это «вальтер». Игрушка. Поймите — детский калибр. Кто-то привез его с войны как игрушку.

— Из револьвера убивают,— ответила Тамара.— У нас в школе мальчик принес финку. Нашли в парте. Его исключили. Директор сказал, что весь класс потерял бдительность...

Берзинь схватился за виски.

— Какой управдом? Какая милиция? Какой директор? Что у тебя в голове! Какое твое собачье дело? Я повешусь от такой дочери!

— Папа! Перестань! Это стыдно! Я ненавижу твои истерики! Мещанские слова! Я знаю, как ты читаешь газеты, слушаешь радио — зажимаешь виски, закрываешь глаза! Да, я знаю! — Голос ее очень трезво прозвучал в ушах Константина, ошеломив его откровенностью и прямотой.— Разбираешь события со своей мещанской колокольни!

Берзинь, растирая виски, закачался из стороны в сторону.

— Что она говорит! Что она говорит, отвратительная девчонка! Замолчи! — Он весь затрясся и так дернул книзу руку Тамары, точно бы хотел рукав телогрейки оторвать.— Замолчи, глупая! Или я тебя побью раз в жизни!

Он топтался перед ней, маленький, круглый, вобрав голову в плечи — то ли готовый ударить ее, то ли сам головой и плечами ожидая удара, не веря в то, что сейчас она сказала, а лицо было как у ребенка, которому сделали больно.

— Что ты делаешь... с отцом? — обезоруженно произнес он.— Что делаешь?

Испуганно трогая руку, которую грубо дернул отец, Тамара отошла к двери, расширяя глаза со стоявшими в них слезами, оттуда проговорила упрямым голосом:

— Не смей меня больше трогать, не смей! Я комсомолка, папа. Мы никогда не должны забывать! Мы обсуждали на собрании... Мы советские люди. Разве этот револьвер нужен хорошему человеку? Зачем он ему? А если какой-нибудь вредитель ночью спрятал? Константин Владимирович, скажите же, скажите папе! Он ничего не хочет понимать. Константин Владимирович, скажите же ему! Нужно немедленно сообщить в милицию! Я сама пойду. Я не боюсь!.. Я сама пойду!

— Замолчи! — срываясь на визг, затопал ногами Берзинь.— Я тебя изобью. Ты не моя дочь!

Константин не предполагал этого — Тамара вытерла глаза, решительно перешагнула фетровыми валенками

через кучу дров, рванулась из сарая и побежала по тропке к воротам среди сугробов.

— Тамара! Подождите... Тамара!

Константин сунул «вальтер» в карман, увидел на секунду, как Берзинь в отчаянии со стоном опустился на чурбачок,— и бросился к двери, ударившись о косяк, догнал Тамару на середине двора.

Она гибко откинула голову,— бледное лицо в платке, детские глаза выступили из темноты.

— Что вы? Вы — тоже? Тоже? — вскрикнула Тамара.— Что вы... хотите от меня? Вы боитесь, да? Почему вы все боитесь? Вы тоже боитесь?

— Тамара, не делайте этого! — заговорил он, стараясь убедить ее.— Тамара, милая, вы не должны этого делать! Нельзя ничего опрометчиво делать. Никогда не надо. Вы ведь многого не знаете. Вы можете погубить сейчас ни за что человека. Может быть, это все принесет большую беду! Поверьте, все может быть! — Ему стоило усилий улыбнуться ей в расширившиеся глаза.— Ну, если это мой пистолет... Я похож на вредителя? Ну, скажите — похож? Я похож?

— Вы-ы? — протяжно выдохнула Тамара, и кончики бровей ее разошлись в стороны.— Вы?

— Разве это важно? — продолжал Константин.— Но подумайте, что это пистолет такого человека, как я... Кто-нибудь привез с фронта. Спрятал. И забыл про него. Может же это быть? Поверьте, это может быть. Вот он, пистолет, я взял его! Я отнесу его в милицию и сдам! И все будет в порядке. Вам не нужно никуда ходить! И не нужно вмешиваться. Вы ведь девушка. Зачем вам это? Совсем не женское это дело. Ну? Разве я не прав?

— Вы знаете... вы знаете,— звонко заговорила Тамара и отвернулась.— Когда случилось это с мальчиком, я не сказала. Но на меня стали как-то странно смотреть даже учителя. Я видела ножик, но не подумала. А его исключили. Но я не понимаю: стали говорить, что я из любви к нему забыла о честности. Я не понимаю...

— Идиоты были всегда! И наверно, еще долго будут,— сказал Константин и прибавил дружески: — Вернитесь, Тамара. Вы обидели отца, но вы оба были неправы. Честное слово. Идите к отцу. Мы часто несправедливы с теми, кто нас любит. И прощаем тем, кому нельзя прощать. Поверьте, я немного старше вас. Я немного опытнее.

Замедленно проведя варежкой по щекам, словно снимая паутину, она спросила удивленно:

— Почему вы со мной... так говорите? Как с ребенком...

Он осекся, хотя ему хотелось говорить с ней.

А двор погружен был в синеющую темноту мартовского вечера с пресным запахом подмороженного снега, открывалась над границей крыш ровная глубина звездного неба, и проступал огонек свечи из раскрытой двери сарая. Все вдруг стало покойно, тихо, как в детстве. Ничего не случилось, не должно было случиться — ночь была закономерной, и закономерными были огонек свечи в сарае, звезды над двором, горький запах печного дымка и то, ужасное, что исправилось в жизни, как только он заговорил с ней. Он не знал, что это было, но он говорил с ней и чувствовал себя старше ее на много лет, и опытнее, добрее, чем, представлялось, эти знакомые и незнакомые люди за этими спокойно освещенными окнами во дворе. Жесткий ком пистолета, давивший на грудь,— комок зла, страха за Асю, за все, что могло свершиться,— было тоже закономерностью.

Он сказал:

— Идите к отцу, Тамара. И помиритесь. Не стоит портить друг другу жизнь. Из-за пустяка. Честное слово, жизнь неплохая штука, если быть добрым к добру и сволочью ко злу. И тогда прекрасно будет.

— Что? — одними губами спросила Тамара.— Какое зло?

— Это вы когда-нибудь поймете. Вы всё поймете. Послушайте меня, идите к отцу и скажите ему, что ничего не было. Ведь он вас любит.

Она посмотрела на него из темноты недоверчиво, шепотом сказала:

— Почему вы так говорите?..

— Томочка! — жалобным голосом позвал Берзинь из сарая.— Константин Владимирович...

— Идите! — сказал Константин, не отвечая на ее вопрос.— Идите.

Взглянув на сарай, она осторожно вздохнула и тихими шажками двинулась по тропке. В оранжевом от свечи проеме двери проступала маленькая, жалкая фигура Берзиня, покашливая, он горбился, в позе его были убитость, желание мира.

Константин пошел к парадному.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Иногда ему казалось — вся квартира была полна звуков: хлопала пружина парадного, Берзинь трубно и мужественно сморкался в коридоре; гулко, но неразборчиво шли волнообразные голоса из кухни, стихали и вновь толкались в стены, и Константин лежал на диване, в полузабытьи различал эти звуки.

Потом голоса замолкли на кухне.

«Почему люди так много говорят? — думал Константин.— Какой в этом смысл? Что это, форма самозащиты?.. Берзинь отлично понял, что пистолет мой. Но он слишком честен. И теперь смертельно перепуган. За себя, за Тамару и, наверно, за меня. Скажите мне, милый Марк Юльевич, зачем я берег этот «вальтер»?.. Почему я, дурак, не выбросил его раньше? Память? Наградное оружие? Да это же глупость! Нервы — ни к черту!.. И тогда, на даче, и сейчас. Я, кажется, болен, нервы, нервы!..»

Константин лежа нащупал во внутреннем кармане куртки пистолет — ему необъяснимо хотелось смотреть на него. «Вальтер» влип в пальцы: никель, кнопка предохранителя, литой спусковой крючок, гладкий ствол. Когда-то, несколько лет назад, в разведке этот «фоновский» пистолет был необходим всегда, легко оттягивал задний карман — запасной пистолет для себя; тогда он сам как угодно мог распоряжаться своей жизнью.

Но здесь, сейчас, в тишине комнаты, при виде этого точеного, как детская игрушка, механизма, здесь совсем по-иному — металлически и щекочуще — запахло смертью. И, со страхом, с ненавистью к этому пистолету, глядя на него, он снова ощутил вокруг себя провал, как тогда ночью, когда шел на станцию во Внукове.

«Нервы,— подумал он.— У меня размотались нервы. До предела размотались...»

Константин медлительно встал с дивана, поскрипывая рассохшимся паркетом, прошел в другую комнату, включил свет. Комната ожила вещами Аси: свитером, домашним халатиком на спинке стула. Окна блеснули черным, превратились в плоские зеркала. Они мертво отразили зеленый парашют застывшего на шнуре абажура и очертания лица Константина, выражение которого он не разобрал, когда задергивал занавески.

Он выложил на письменный стол томики Тургенева,

затем том «Жизнь животных» Брема, который необходимо было сжечь. Этот наивный тайник для «вальтера» все-таки был удобным — вырезанный бритвой футляр среди жирных строчек, и в глаза Константину бросилось несколько слов, оборванных выемкой гнезда, он прочитал машинально, не вдумываясь в смысл: «...потрясенные ревом тигра, животные...»

Он вздрогнул — громкий стук раздался в дверь из коридора.

Этот стук возник из шагов, голосов на кухне, из возбуждения в квартире. Стук начался в дверь первой комнаты, он заполнил ее, ринулся, проникая оттуда, из другого мира.

И, отчетливо услышав этот сумасшедший стук, Константин быстрым и сильным рывком охватил, сжал плоский и холодный как лед металл пистолета, а когда он оборачивался к двери, что-то знакомое, темное кинулось в лицо, мелко задрожало в тумане, жирная линия букв, смысл которых он теперь не понял; лишь в сознании его завязла мысль: «Вот оно, вот оно!»

За дверью гремели шаги. Стучали непрерывно.

И он понял, что это все — за спиной дышит пустота, в которой ничего нет, кроме угольного бесконечного провала. И еще он успел подумать, что сейчас, когда они войдут, исчезнут мать и отец, которых он уже забывал, почти не помнил, и незабытая война, и Сергей, и сорок пятый год, и Николай Григорьевич, и Ася, и ее радостно сияющие ему глаза («Прости меня, Асенька, прости меня!»), и Михеев, и Быков, и вся злость, и его мука, и его страх за Асю, с которым невозможно было жить.

«Вот и все, Костя...»

И, одним движением толкнув руку с «вальтером» в карман, глядя на дверь в другой комнате, он крикнул:

— Кто?..

В дверь прекратили стучать. Шагов не было, и только возбужденный голос сквозь дыхание:

— Константин Владимирович! Константин Владимирович!.. Вы спите? — Это был голос Берзиня.

— Кто там?.. Вы, Марк Юльевич?..

— Константин Владимирович! Откройте! Вы слышали? Вы спите? Радио... включите, пожалуйста, радио!

— Что? Какое радио?

С испариной на лбу, очнувшись, он застонал, протер лицо, словно разглаживая на нем напряжение мускулов.

И после этого повернул ключ в двери.

— Радио... радио! Вы слышали радио? Это второе сообщение... Вы слышали?

Берзинь на коротеньких ногах вкатился в комнату, волосы встрепанно торчали с боков лысины, подтяжки спущены, били по ягодицам, как вожжи.

В руках Берзиня была мышеловка, и несоответствие этой мышеловки и выражения несчастья в глазах его, во всей его фигуре удивило Константина. Он, не понимая, еле выговорил:

— Вы что? Что?

— Вы послушайте... послушайте! Вы не слышали? Не слышали? Передали о Сталине... И сейчас передают. Вы спали, да? Вы не слышали? Включите радио! Где у вас радио?

— Что — Сталин?

— Включите радио. Включите радио! — повторял Берзинь, суетясь по комнате.— Где, где у вас радио? Передают. Сейчас!

Константин вбежал во вторую комнату; дергая зацепившийся шнур, включил репродуктор, который размеренно ронял чугунные слова:

— ...и Совет Министров Союза ССР сообщают о постигшем нашу партию и наш народ несчастье — тяжелой болезни товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. В ночь на второе марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга.

Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания...

На Горбатом мосту тихой канавы Константин достал «вальтер» из внутреннего кармана и резко бросил его через железные перила в неподвижную вечернюю, освещенную огнями воду.

И не расслышал булькнувший звук внизу. Вода поглотила пистолет без всплеска — и не было кругов в маслянной черноте под мостом.

«Почему я этого не сделал раньше? Надеялся на что-то? Ждал? Не верил? Что ж — вот она, добренькая черта: сомневаться до последнего момента! И я не верил, сомневался?..»

После, скользя по гололеду ступеней, Константин спустился на безлюдную набережную — и здесь слева раздался стеклянный приближающийся хруст ледка под чьими-то ногами. Он со споткнувшимся сердцем глянул из-за поднятого воротника. Темная фигура постового, незаметно дежурившего в тени дома, солидно, неторопливо надвигалась на Константина, голос ударил, как выстрел:

— А ну, что бросил, гражданин? Что в канаву бросил?

— Пистолет. Обыкновенный пистолет,— внезапно с отчаянным спокойствием проговорил Константин.— Этого мало?

— Чего-о? Вы эти шутки бросьте. Вчера одна тоже бросила. Ночью. Утром посмотрели — младенчик на камушках. «Пистоле-ет»! Проходите, проходите, гражданин!

Ночью он сжег в печи том Брема, в котором было вырезано гнездо для «вальтера».

— Ты не спишь, Костя?

— Нет. Не могу.

— Это ужасно.

— Скажи как врач, инсульт — очень серьезно? Это излечимо?

— Да. Но это второй инсульт. Главный врач нашей поликлиники сказал, что это второй. Первый был в тридцатых годах. Мы не знали. Он без сознания. Поражены важные центры.

— Странно. Не могу представить, чтобы он был без сознания. Мы всегда думали, что он вечен...

— Когда я шла из поликлиники, на улице останавливались люди. Везде включили радио. Все молчат. Никто не ожидал. Знает ли об этом папа... там? И Сергей...

— Наверно.

— ...Письма, которые писал Сергей Сталину... Он писал о папе. Теперь я не знаю, что будет.

— Ася! Тебе неудобно лежать?

— Нет, нет... Что-то стало душно. Горло перехватило.

— Дать тебе воды? Тебе что-нибудь нужно, Асенька?

— Не надо. Ничего не надо. Возьми только руку из-под головы. Не обижайся... Я вот так лягу. И все пройдет.

— Ася!

— Что, милый?

— Ася, все прошло?

— Да.

— Ася... что ты сейчас чувствуешь?

— Этого не объяснишь. Маленького зайца. Лапками копошится за пазухой.

— Я люблю тебя. Одну. Единственную. Я никогда никого так не любил.

— Костя, глупый, ты так сказал? А он возится там и не знает — ни тебя, ни меня. Ни то, что в мире. Он сейчас ничего не знает.

— ...Ничего не знает. Ни о тебе, ни обо мне. Ни о своем деде. Все ему не нужно будет знать. К черту ему знать это!

— Нет! Он должен знать все. Я не хочу, чтобы он вырос комнатным цветком. Нет. Он должен уметь драться, защитить себя. Он не должен давать себя в обиду.

— Я уверен, Ася, он все же будет жить при коммунизме. Кулаки необходимы будут для спорта. Это нам нужны кулаки. Ася... тебе удобно лежать?

— Да, милый. Сколько сейчас времени?

— Два часа ночи.

— Два часа... Костя, ты не выключал радио?

— Нет, радио включено.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На следующий день перед сменой Константин увидел Михеева.

Помедлив, Константин размял сигарету, помедлив, чиркнул спичкой, затянулся, потом аккуратно бросил спичку в металлическую бочку около входа — ждал, пока пройдет первый порыв злой неприязни, возникшей сразу при виде широкой шеи Михеева со щеточкой отросших волос, лежавших на воротнике полушубка, его крепкой, тугой спины, его ватных брюк, заправленных в бурки.

Боком к Константину Михеев стоял в толпе шоферов, собравшихся перед линией в закутке курилки, щеки его темнели плохо выбритой щетиной, угрюмое лицо было непроспанно, одутловато, с похмельной, казалось, желтизной.

«Он был у больной сестры или на дне рождения, кажется? — вспомнил Константин недавние слова Акимова.— Он приезжает с линии раньше или позже меня, избегает встреч со мной!.. Или той ночью он еще где был? Что ж, и это похоже. О чем он думает сейчас?»

— А я тебе говорю — нет! Соображать надо! — донес-

ся из закутка рокочущий бас Плещея.— Слухи, брат, как мяч скачут!..

И Константин догадался, о чем говорили там.

Все, что задумал он, как бы теряло сейчас свою значительность, растворялось в неспокойной и сгущающейся обстановке, все как бы утрачивалось в последних событиях и незаметно отдалялось в охлаждающий туманец.

«Так что же?» — спросил он себя.

Константин зачем-то выждал минуту подле бочки с водой, отражавшей сквозь нечистые стекла окон фиолетовое мартовское небо, подошел к закутку курилки. Его никто не замстил; увидел один Сенечка Легостаев, как всегда, топтавшийся чуть в стороне с бутылкой кефира; несмотря ни на что, он закусывал перед сменой. Здороваясь, он открыл, криво улыбнувшись Константину, стальные зубы, спросил:

— Слышал? Что происходит-то на белом свете?

И, большим глотком отхлебнув из бутылки, навалился на чужие плечи, стал не без любопытства заглядывать в середину гудевшей толпы шоферов.

Шли разговоры.

— Что тут предполагать! Все может быть. Иногда и профессора ни шута не могут! —выделяясь, звучал натянутый густой бас Плещея.— Здоровье тоже было немолодое. Но надеяться надо — обойдется, может. Об этом и думать надо. А не о том, что профессора плохие. Всё козлов отпущения хотим найти!

— В войну ни одной ночи небось не спал — думал за всех. Вот тебе и кровоизлияние в голову. Сам все!

— С ним враги не особенно... Боялись. И Черчилль сволочь! И Трумэн... Всех держал. Надорвешь здоровье поди! А тут еще в юбилей письма в газетах: «Родной наш, любимый». Как сглазили!

— Да ты только, Семенов, ерунду не пори, моржовая голова! — раздраженно загудел Плещей.— «Сглазили»! Чего сглазили? Орел ты, вороньи перья! Ты еще у бабушки на самоваре погадай! Тут даже у нас некоторые балабонят, что врачи, мол, виноваты!..

— Я что, Федор Иванович? Я не болтал такое...

— Да ты, может, и нет. Ну а чего ты сразу задом заюлил-то, Семенов? Чего скис? Чего перепугался?

И в это время Константин через головы шоферов увидел повернутое к диспетчеру Семенову грубоватое и заметное оспинками лицо Плещея, сидевшего на скамье;

рядом молчаливо сидел Акимов, ресницы опущены, белые волосы зачесаны назад. Плещей сказал грустно Семенову:

— Разное болтают, брат. Это я тебе как коммунист говорю. Чешут языками направо и налево, озлобляют только всех. Всегда виновных ищем! — Он крепким хлопком выбил сигарету из мундштука.— Так, Михеев, или не так? Чего ты на меня из-за Семенова, как на огонь, смотришь? Это ты, что ли, тут утром болтал, что Сталина врачи отравили? Значит, как — профессора в ответе?

— Вы, Федор Иванович, больно уж как-то неполитично говорите,— ответил надтреснутым голосом Михеев, моргнув, как на яркий свет, глазами.

— А ну — конкретно! В чем? — рокотнул Плещей, упираясь кулаками в колени.

Михеев заговорил угрюмо:

— Разве о вожде народов кто болтает? Любили мы его, как отца. И так далее. Вы, как секретарь партийной организации, объяснение людям должны дать. А вы только людей высмеиваете, рты зажимаете. Семенову вот... Я, как беспартийный гражданин, даже не могу согласиться с вашим объяснением.

Плещей с зорким удивлением коротко остановил взгляд на Михееве и грузно ударил кулаками по своим коленям.

— Сосунок! Теленок вислоухий! — зарокотал Плещей насмешливо.— Ты меня будешь учить политграмоте! Когда ты задуман был на печке, я уже в партию вступил, Ленина видел, пятилетки строил. Ты что же, Михеев, ответственней, значит, коммунист, чем я? Значит, ты патриот и стоишь на страже? А ты, круглая голова, два уха, по-русски слово «правда» знаешь!.. Здорово, Костя! — в наступившем молчании, точно остыв и уже мягче сказал Плещей, заметив Константина, подошедшего в эту минуту сбоку Михеева; и взглянул Акимов обрадованно, поздоровавшись одними бровями; стали оборачиваться к Константину лица шоферов.— Садись с нами, Константин! Где же пропадаешь? В обрез что-то приходить начал, не видно тебя совсем, кореш! — грубовато-ласково проговорил Плещей и раздвинул место на скамье рядом с собой и Акимовым.— Посиди-ка, расскажь что-нибудь, а то тут... мозги растопырились!

— Действительно, пропадаешь где-то, Костя,— сказал Акимов.

Но Константин не успел ответить, кивнуть Плещею, Акимову, знакомым шоферам — на секунду встретился с глазами Михеева, невыспавшимися, красными, стоячими, как у птицы ночью, затем вроде кто-то махнул по глазам Михеева, мгновенно застлал тенью,— зрачки скользнули книзу.

— Здорово, Илюша!— проговорил Константин.— А я тебя искал вчера. Или, говорят, ты меня искал? Простите, ребята!— прибавил он, обращаясь ко всем.— Я одну минуту! Он давно хочет со мной поговорить. Но без свидетелей. Пошли, Илюша! Я готов.

— Заболел? Отстань, дурак!— презрительно сказал Михеев.

И, багровея, заплетаясь бурками, как-то угловато пошел от курилки к машинам, словно бы ожидая удара от Константина, который последовал за ним.

Возле машин Михеев внезапно спросил срывающимся голосом:

— Чего от меня хочешь?

— Ничего, ничего страшного,— обняв его за плечи, ответил Константин.— Только передам тебе несколько слов от одного человека... По его просьбе.

— Какого человека?— нахмурился Михеев.— Врешь все!.. Чего пристал?

— Ты позвонишь этому человеку по телефону — узнаешь. Но тогда будет поздно. Для тебя!— Константин поощряюще похлопал его по натянутой, как барабан, спине.— Для тебя! Пошли, Илюша. Давай вон туда. За машины. Там никто не помешает. Это секретный разговор. Я при всех не могу.

— Бешеный дурак!— опасливо проговорил Михеев.— Зачем глупость при народе болтал? Что подумают? Тебе за это — знаешь?

— Спокойно. Не надо волноваться, Илюша. Я сделал это для отвода глаз. Я ведь всю войну был в разведке, знаю, что такое вторая игра. И конспирация. А ты еще сопливый мальчик, хотя и хорошо кое-что делаешь...

— Ты что это болтаешь?— угрожающе произнес Михеев.

«Вот оно, сейчас, вот оно!» — подумал Константин не с новью узнавания, а с каким-то жутким, даже сладостным удовлетворением.

— Пойдем, Илюша,— проговорил он.— Я все возьму на себя.

В закутке — в самом дальнем углу гаража, за старой колонкой, за стоявшими там на ремонте машинами, тускло освещенными солнцем сквозь огромные и пыльные окна, Михеев, возбужденно оскалясь, выкрикнул Константину:

— Ну, чего хочешь?

— Давай здесь,— тихо и веско произнес Константин и положил руку ему на плечо.

— Чего ты хочешь? Чего?

Михеев, весь напрягшись, враждебно-настороженно бегал взглядом по груди Константина, широкоскулое, клочковато выбритое, помятое лицо подрагивало, как от тика.

— Чего? Чего ты?.. Что за разговор?

— Разговор очень короткий. Только запоминай,— размеренно сказал Константин.— Запомни, парень... запомни... что на этом свете есть правда. Я давно хотел тебе это напомнить. Очень давно. И так уж, слава богу, устроен свет, что всяким сволочам бывает конец! Это первое...

— О чем ты? Чего ты?— вскричал Михеев, пытаясь вырваться из-под руки Константина, но не хватило силы.— Пусти!

— А ты потерпи, Илюша.

— Пусти, говорят!— Михеев астматически задвигал широкой шеей, глаза с выражением страха выкатились и будто отталкивали Константина.— Пусти! Пусти!..

— Запомни второе, Илюша,— проговорил Константин, не отпуская его.— Я прошел огонь, воды и медные трубы, а ты еще — кутенок. Если завтра же ты не перестанешь клепать на меня, Плещея и Акимова, на всех остальных из парка, на кого ты должен клепать, я сделаю так, что в кармане вот этого твоего полушубка найдут оружие, а в твоей машине обнаружат кое-что, от чего можно крепко сесть! Ты меня понял, Илюшенька? Тем более что в парке не найдется ни одного человека, который тебя нежно любит! Запомни, милый: все будет сделано, как в ювелирном магазине. Запомни еще! Не торопись, милый, не рассчитав силы,— можно самому себе к черту снести затылок! Запомнил? И еще, Илюшенька.— Константин, прищурясь, жестко сдавил окаменевшее плечо Михеева.— Я легко могу позвонить Соловьеву по телефону ка-ноль... и доложить о тысяче рублей, которыми ты хотел купить свое молчание. Ты помнишь, как просил у меня тысячу рублей и обещал, что все будет в порядке?

— Пусти! Какие деньги? Сволочь! Пусти-и!— приду-

шенно выдохнул Михеев и вдруг озлобленно, разевая рот, двумя кулаками пнул Константина в грудь, стремясь оттолкнуть его от выхода из закутка, пронзительно крикнул:— Врешь! Пусти, душегуб!.. Бешеный! Не хочу! Уйди, гад! Пусти-и!..

— Заткнись, гнусная морда!— Константин схватил его за борта полушубка, всем телом притиснул к стене, подавляя желание ударить, тряхнул так, что в горле Михеева екнуло.— Молчи, харя! И запоминай, что говорят! Отвечай, шкура, запомнил? Запомнил?

Лицо Михеева расплывалось блином; он горячо дышал в губы Константина и, ворочая шеей, прижатый к стене, мычал, зрачки чернели, перебегали точками; и Константин, испытывая отвращение и ненависть, повторил:

— Запомнил, сволочь? Или еще не дошло?

— А-а! Пусти-и! Пусти-и!..

Михеев с неожиданной яростью забился в его руках, ударил коленом в живот, и Константин, превозмогая острую боль в паху, притянул его и, выругавшись, изо всей силы кинул спиной к стене, подальше от себя — он не хотел драки, зная, что может не удержаться от нее.

Охнув, Михеев сполз по стене на пол и, раздвинув ноги в бурках, кашлял, задыхаясь, выдавливал вместе с кашлем:

— Убить захотел? Убить? Я тебя упеку!.. Пистолет у тебя... разговорчики. Я тебя...

— Что-что? — крикнул Константин и бросился к нему.— Что ты сказал?

— Не трожь!— взвизгнул Михеев, засучив бурками по грязному полу.— Я ничего не говорил!.. Не говорил я! Убить хочешь?.. Не трожь!

«Похоже. Очень похоже,— подумал Константин.— Так и Быков».

— Убить?..

— Этого мало, сволочь!

— Чего вас пес надирает? Что за крик еще?— раздался голос в проходе закутка.

Константин оглянулся и тут увидел торопливо входивших в закуток насупленного Плещея, Акимова и вместе с ними весело изумленного Сенечку Легостаева, как бы всем лицом своим ожидавшего скандала. Константин сказал, сдерживая голос:

— Вот визжит парень непонятно почему...

— Что он еще, Костя? Что этот... упырь на полу за-

горает?— мрачно спросил Плещей, быстро окидывая глазами обоих из-под сросшихся лохматых бровей.— Разговор? А крик зачем? На весь гараж!

— Был разговор. По душам,— ответил Константин и кивнул на Михеева, медленно вставшего, злебно, со всхлипами сморкающегося в скомканный платок.— Илюшеньке захотелось посидеть на полу, охладить поясницу. Странности у него. Во время серьезного разговора садится на пол. Не удержишь.

Сенечка Легостаев захохотал, нагло показывая стальные зубы; Акимов испытующе поглядел на Михеева, затем на Константина и потупился.

— Бывает,— равнодушно произнес Плещей и сплюнул с непроницаемым видом, как если бы ничего не заметил здесь.— Иногда полезно бывает задний мост охладить. Только крика не надо. Лишнее!

Не подняв головы, Михеев по-бычьи протиснулся к выходу между Плещеем и Акимовым, вышел из закутка и заплетающейся походкой заспешил к машинам в сопровождении Сенечки Легостаева, который, ухмыляясь, спрашивал его:

— Чего бараном орал, гудок?

— Ну?— хмуро сказал Плещей и подтолкнул Константина к выходу.— На линию давай. Все должно быть как у молодого в субботу! Идеально. Ни одной придирки в смену! Ясно? Все как надо. И Акимов не понял, и я не понял. Ясно? У нас слух плохой... А Сенечка умом не допер.

— Понял, Федор Иванович,— негромко ответил Константин.— Спасибо. Я все понял.

— Давай, давай на линию!

Вечером, бреясь в ванной, Константин долго разглядывал свое лицо, темное, смуглое, похудевшее, чудилось, обожженное огнем; глаза смотрели устало и ожидающе-незнакомо. Прежде, бреясь и любя эти минуты, он насвистывал и подмигивал себе в зеркало, чувствовал тогда, как молодеет кожа на пять лет. Теперь бритье не так ощутимо молодило его, подчеркнуто открывало тронутые сединой виски, и мысль о том, что Ася видела это его новое лицо, была неприятна Константину.

Потом, ожидая Асю, он приготовил стол к ужину и задумчиво, со знанием дела, будто всю жизнь занимался

этим, заваривал чай; теплый пар, подымаясь, коснулся его выбритого подбородка, защекотал веки. И он опять представлял свое лицо темным, усталым, каким видел его в зеркале, и лег на диван, поставил пепельницу на пол.

Тишина стояла в квартире теплой неподвижной водой, и звуки расходились в ней, как легкие круги по воде: приглушенные заборами далекие гудки машин, изредка позванивание застывших луж под чьими-то шагами во дворе. И было странно: то, что произошло с ним в последние дни, и то, что происходило в мире, бесследно тающей зыбью растворялось в тупой тишине, и он почувствовал, что смертельно, до тошнотного онемения устал, что его охватывает равнодушие ко всему, бездумное расслабление мысли и тела.

Он поморщился, услышав затрещавший телефон.

От неожиданного звонка закололо в висках. Но он не хотел вставать, не в силах разрушить это состояние безнадежного отрешенного покоя; затем с насилием над собой снял трубку — могла звонить Ася.

— Да...

Трубка молчала.

— Да,— повторил Константин.— Да, черт возьми!

— Мне Константина Владимировича...

— Я слушаю. Слушаю! Кто это?

— Добрый вечер, Константин Владимирович,— откуда-то издалека зашелестел в мембране мужской голос, и Константин переспросил раздраженно:

— Да с кем я говорю? Ничего не слышно!

— Слушайте меня внимательно и не перебивайте. И не задавайте никаких вопросов. Я звоню вам для того, чтобы дать только один совет. Я понимаю, что Илья Матвеевич трус и деревянный дурак, но и вы поступаете не более умно, простите за прямоту. Мой вам совет: выбросьте немецкую игрушку куда угодно, чтобы у вас ее не было. Если вы еще не выбросили. И если вам нравится дышать свежим воздухом. Понятно, этого телефонного звонка не было и вы ни с кем не разговаривали. Не говорите об этом и жене. Это все!

Константин вытер обильно выступивший, как после болезни, пот на висках, пошарил сигареты в куртке, и, когда закурил, вобрал в себя дым, обморочно закружилась голова.

«Ловушка? Это ловушка? Но зачем она? Соловьев... У него был Михеев? Озлобился и пошел? Что ж — вот

оно, злое добро? А как? Как иначе?.. Это был голос Соловьева? Он говорил? Его голос? Неужели он симпатизирует мне? После того разговора? Соловьев? Что ему? Для чего?»

Константин с туманной головой начал ходить по комнате, не понимая, не зная, что нужно делать теперь, но чувствуя, что его удушливо опутало, как сетями, что он не может решиться сейчас ни на что, ничему не веря уже.

«Неужели? Не может быть!.. И это — правда?» — подумал он.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— Да, умер...

— Чего сказываешь, гражданин? В платке я, не слышу.

— Умер, говорю, Сталин. Не приходя в сознание.

— Го-осподи! А я слышу — музыка... Из Воронежа ведь я, у сродственников остановилась... Утром встала, брательник на работу собирается. «Плохо»,— говорит. А я-то говорю: «Разве врачи упустят?» Упустили!..

— Мамаша, не мешайте! Если идете — идите! Со всеми... А вы — под ногами!

— Бегут, что ли, впереди?

— Да нет. Стоят. Милиция порядок наводит.

— Когда диктор сообщал, голос так и дрожал. Говорить не мог...

— Как вам не стыдно, товарищ? Со стороны пристраиваетесь! Колонна оттуда идет! Во-он, оглянитесь!

— Это что же, родимые, его смотреть?

— ...Да, не приходил в сознание...

— Сто-ой!.. По трое бы построились! Товарищи, товарищи!

— Оживятся они сейчас... Рады!

— Как же мы теперь без него? Как же мы жить-то будем?

— Кто оживится?

— Да всякая международная сволочь. Как раз тот момент, когда они могут начать войну...

— Американцы соболезнование не прислали.

— Куда же смотрела медицина? Лучшие профессора!

— К сожалению, он был не молод. Здесь, видите ли, и медицина бессильна. Как врач говорю.

— Кто после Аллилуевой был его женой?

— Да кто-нибудь был...
— Что-о? За такие слова — знаете? В такой день — что болтаете языком, а?
— Я ничего не сказал, товарищ...
— Что было бы с нами, если бы не он тогда...
— Впереди есть милиция?
— Когда война началась, выступал. Волновался. Боржом наливал. По радио слышно было, как булькало...
— Иди рядом со мной. Не отставай!
— Верочка, не плачь! Не надо, милая. Слезами сейчас не поможешь. Я прошу тебя.
— Гражданин, это ваш сын? Смотрите, у него снялась галошка! Промочит ноги.
— Я на всех стройках... И в первую пятилетку, и потом...
— Социализм вытащил...
— Когда брата в тридцать седьмом арестовали, он Сталину письмо написал.
— Ну? Что вы шепотом?.. А он...
— Не передали ему, видать, секретари.
— Девочка, где твоя мама? Ты одна? Слушайте, чей это ребенок? Чей ребенок?
— Дедушка Сталин умер, да? Я пойду смотреть. А мамы нет дома.
— Господи! Иди сейчас же домой! Ты потеряешься! Что же это происходит?
— Те улицы оцепили. И проходные дворы. Народу-то...
— От Курского вокзала...
— Неужели Манеж перекрыли? Через Трубную?
— Слово у него было твердое. Много не говорил.
— В праздники на Мавзолее бывало стоит, рукой машет... А последнего Первого мая его не было...
— Как это не было? Я сам видел.
— Да, проститься.
— Я с сорок первого... Ничего, дойду на костыльке. Всю войну на ногах.
— Что там? Опять побежали?
— Вы ничего не видите? Почему остановились?
— Почему остановились?..
— Какие-то машины, говорят, впереди. Зачем машины?
— Девочка! Ты не ушла? Где мама, я спрашиваю? Это ваша?

— Нет, опять пошли...
— Вся Москва тронулась.
— Где? Где? Ему плохо, наверно. На тротуар сел. В годах. Товарищи, помогите кто-нибудь. Устал, видимо...
— Пошли, пошли! Ровней, товарищи, ровней!
Толпа текла, колыхалась, густо и черно заполняя улицу, с хлюпаньем месила растаявший сырой пласт гололеда на асфальте; по толпе дул промозглый мартовский ветер, и никого не защищали спины, поднятые воротники; ветер проникал в середину шагающих людей, выжимая слезы; и зябли лица, отгибались края шляп, полы пальто, отлетали за плечи концы головных платков. Люди не согревались ходьбой; от обдутой одежды несло холодом — низкое, пасмурное, тяжелое небо неслось над крышами, вливало резкий воздух туч в провалы кишевших народом улиц. С щелканьем выстрелов полоскались очерненные крепом флаги на балконах, над подворотнями; из репродукторов из Колонного зала приглушенно лились над толпами, над головами людей траурные мелодии, сгибая спины этим непрерывным оповещением смерти, непоправимостью случившегося.
— Музыка-то, музыка зачем? — закашлявшись, сказал кто-то сбоку от Константина.— И так сердце рвет...
— Смотри, женщина одна ведь!.. Из троллейбуса не выберется!
Толпу несло, вплотную притирая к цепочке стоявших под обледенелыми тополями троллейбусов. В гуле движения, в многотысячном шарканье, в липком шуме ног по мостовой не слышно было, как, закрыв лицо руками, плакала, рвалась женщина в замкнутую толпой дверь опустевшего троллейбуса. Но рядом сквозь голоса послышались бабьи вскрики, причитания, заглушаемые влажными комками платков, прижимаемых ко рту. Впереди тоненько заплакала девочка, крича испуганно: «Мама! Мама!» — и тотчас, как бы подхватив этот крик, истерически взвизгнули, зовя детей, несколько женских голосов, несдерживаемые вопли прокатились по толпе, охватывая ее, вырываясь в диком упоенном ужасе горя — и от мелодий Шопена, и от непонятности при виде этой мелькнувшей женщины в пустом троллейбусе. Кто-то крикнул:
— Стойте же! Стойте же, стойте! Она не успела выйти! Она была с девочкой! Я видел...

— Помогите ей!

— Да это кондуктор.

— Какой кондуктор? Ни одного нет!

— Боже мой, Костя, что это? Нас все время сжимают... Откуда столько людей? Ты слышишь — там впереди кричат!

Люди продвигались толчками, будто тяжко раскачивало их, сжимало стенами домов, толкало сзади волнами; впереди усилились крики женщин; крики эти и плач детей захлестывались новым слитным ревом голосов, этот рев катился спереди на людей. Никто не знал, что случилось там,— вытягивали шеи и подымались из плоти толпы, оглядывались растерянные и недоуменные лица.

— Что там? Что?

— Ася! Нам нужно вернуться! — крикнул Константин.— Нам не нужно ходить! Нам нужно вернуться!

Константин шел в середине толпы, охватив Асю за талию, защищая ее от натиска спин и ног все сгущавшейся людской тесноты,— нельзя было понять, почему так плотно сдавило, так закачало толпу, но он еще пытался раздвигать локти, напрягая мускулы плеч, он еще держал их раздвинутыми, и вдруг его локти приплюснуло к бокам. Он сразу ощутил чье-то прерывистое, трудное дыхание на затылке, на щеке, упругое живое шевеление человеческой массы, навалившейся сзади с двух сторон. И уже изо всей силы вырывая свои одеревеневшие локти, охраняя Асю, он с тревогой увидел ее добела прикушенную губу, увеличенно напряженные глаза.

Константин успел прижать ее к себе, успел наклониться к ее побелевшему лицу, крикнуть:

— Ася! Идем отсюда! Здесь нельзя! К тротуару, к тротуару! За мной! Охватывай меня руками за пояс!

«Зачем я послушался ее? Зачем мы пошли? Она хотела посмотреть? Зачем мы в этой толпе?»

Впереди опять закричали женщины. На мгновение разорвало и стремительно понесло в прореху толпу, какие-то цепляющиеся, раздирающие руки, набрякшие, задыхающиеся лица втиснулись между ним и Асей, и тут же их оторвало друг от друга.

— Ася! Ася!..

Константина несколько раз повернуло в круговороте

гущи и неистово потащило, поволокло на чужих плечах, ногах куда-то наискосок, боком к оглушительно надвигающемуся реву, это теперь не были человеческие голоса — казалось, рокочущая, вставшая до серого неба волна океана накатывалась на людей, готовая опрокинуть, утопить их.

— Ася!.. Ася!..— Константин уже не крикнул, а крик этот выдавился из его стиснутой чужими телами груди.— Ася-а!..

Он не понимал, не мог понять, что случилось и почему случилось это, он только, вырываясь из тисков человеческих тел, увидел возникшее среди голов бледное родное незащищенное лицо Аси с умоляющими глазами, намертво прикушенной губой и, ожесточенно расталкивая живую стену напирающих плеч, начал протискиваться к ней с необычайной охватившей его силой.

Он видел впереди ищущее лицо Аси, смутно чувствовал бешеные толчки своих рук, он задыхался, и в его сознании билось оглушающим молоточком: «Только бы не упала! Только бы... Только бы не упала!..»

Константин слышал впереди себя возгласы, рвущиеся в уши, но эти удары молоточка в сознании заглушали все: «Только бы не упала, только бы...»

— Что же это... Что же это, товарищи!..

— Кто сделал? Зачем?

— Я не могу!.. Я не могу!.. Я не могу...

— Коля-а!..

— С ума, что ли, сошли?

— Почему это?.. Что устроили!..

— Я упаду... Не могу!

— Зачем взяли детей!..

— ...Что вам? Что вы делаете?

— О-о-ох!..

— Машины с песком!.. Преградили путь!

— На Петровку!..

— Зачем? Зачем?

— Что ж это такое?.. А?

— С Трубной народ...

— Фонарный столб... Смотрите!

— Витя... держись, родной мальчик!.. Держись! Ручками держись! Потерпи!.. Держись, сыночек!

— Па-па!.. Ми-илый... Папочка!..

«Только бы не упала!.. Только бы... Только бы не упала!..»

— Ася-а! Ася!..

Он уже не видел ее лица, он лишь видел платок Аси среди месива людских голов, и, как бы косо вырастая из спертой черноты толпы, закачались слева голые деревья бульвара,— и оттуда вроде бы приблизились кузова грузовых машин, сереющие мешки из-за бортов, столб фонаря с прилипшим к нему телом мальчика. Мальчик, без шапки, в растерзанном пальтишке, с захлестнутым на спину пионерским галстуком, плача, обвивал руками фонарный столб, елозил маленькими, сплошь заляпанными грязью ботинками по растопыренным, вскинутым вверх, как подпорка, ладоням мужчины, человеческой массой притиснутого к столбу. Мужчина в разорванном на плече плаще глядел побелевшими страшными глазами и не кричал, а всем лицом просил о пощаде:

— Витенька, держись, сыночек, крепче!.. Витя! Родной, я здесь... Еще немножечко, упирайся мне в руки! Ну, держись! Ну, держись! Товарищи, товарищи!..

— Па-апочка!.. Не могу... Ми-иленький...

— Ви-итя!.. Сыночек!..

— Господи-и, упал!— воем прокатилось по толпе, шатнувшейся назад.— Мальчик!..

— Товарищи! Товарищи!

Константин не заметил, как упал мальчик, только что-то темное мелькнуло над головами, и толпа закачалась. Завизжали женщины, донеслись крики: «Остановитесь!»

«Где мальчик? Только бы не упала... Только бы не упала! Только бы!..— как молитва, проносилось в мозгу Константина.— Ася, не упади. Ася, не упади. Мальчик упал? И что же? Что же?..»

— Асенька!.. Ася!— крикнул он, вывертываясь и выжимаясь из клещей толпы, теперь совсем не чувствуя ногами твердость мостовой. Его приподняло и несло; кто-то, хрипя, лез сзади на плечи, упорно, обезумело упираясь кулаками ему в спину, в затылок, возникло сбоку с пустыми, вылезшими из орбит глазами, с перекошенным ртом, сизое и потное лицо парня. В исступлении колотя кулаками, он лез куда-то в сторону и вверх, на головы людей, и Константин, охваченный внезапным бешенством к этому безглазому лицу, готовому все смять, с ненавистью и злой силой ударил его головой в нависший подбородок и еще раз ударил.

— Сволочь!.. Куда? Не видишь — там женщины, дети!..

— Ты-и!..— заревело, мотаясь, лицо.— Один хочешь смотреть? Один?.. А я из Мытищ приехал!..

— Такие сволочи детей давят! — крикнул кто-то рыдающим голосом.— Озверел, дурак?

— Товарищи! Стойте! Остановитесь! Там мальчик! Там женщины!.. Мы не должны!

— Что же это творится?

— Как случилось? Я не могу понять!..

— Дети... Мальчик... А отец, отец где?

— Милиция — что?

— Там.

— Господи! Прости, господи!

— Товарищи, товарищи...

— А ребенок... Мальчонка где? Отец где?

— Женщина кричит... Опять!..

«Только бы не упала... Только бы... Какая женщина?»

Уже еле двигая окаменевшими локтями, он пробирался сквозь толпу, плохо слыша голоса, возгласы, придушенные стоны, в ожидании несчастья искал через головы людей узкий, будто кружащий вблизи фонарного столба платок Аси, задыхаясь, рвался к этому платку, никогда в жизни не осознавая так близко несчастья, которое могло произойти там, впереди; сердце, как вытесненное, билось в горле.

— Ася!.. Ася!.. Я к тебе!.. Я иду!..

— Товарищи! Товарищи! Мужчины, в цепь, в цепь! Сюда, в цепь!— Чей-то крик прорывался слева, хлестал по толпе.— Мужчины, сюда!

Фонарь, милицейские грузовики с песком, загораживающие улицу, голые деревья бульвара колебались перед глазами; толпа шаталась из стороны в сторону, как единое тело. Фонарь, приближаясь, медленно разрезал ее водоразделом. Потом на мгновение стало просторнее, твердая земля появилась под ногами, в разорванной щели меж людей мелькнула цепь милиционеров, правее цепи каких-то штатских, взявшихся за руки.

— Ася-а!..

— Костя!..— услышал он в вое голосов, надсадных командах милиционеров слабый Асин крик и из последних сил ринулся туда, в эту образовавшуюся в толпе щель. И, едва не плача, увидел ее руки, охватившие фонарь, щеку, придавившуюся к столбу, закрытые, замершие веки.

—Ася!.. Ася! Родная моя!..— Он оторвал ее от стол-

ба, повернул к себе, заглядывая в ее кричащие, с крупными слезами глаза, капельки крови выступали из прикушенной нижней губы.— Ася... Ася... Ася...— повторял он.— Ася, что? Что?.. Ася...

Он не мог ничего больше выговорить, он инстинктивно обнял ее, пригнул голову к своей потной шее и, резко отклоняясь спиной, потянул ее сейчас же в узкую щель разбившейся перед цепью милиционеров толпы. А она еще пыталась отогнуть голову, оглянуться назад, и он чувствовал своей горячей мокрой шеей ее незнакомый вздрагивающий голос:

— Там... у фонаря... там... мальчика... мальчика... Ты ничего... Ты ничего не видел?

— Сюда! Сюда!.. Прижимайся ко мне! Сюда!..

Толпа в этот миг стиснула их, охватила толщей трущихся тел; люди, сминая цепь милиционеров, кинулись в неширокий проход между стоявшими поперек улиц грузовиками. Константина ударило спиной о кузов, и он успел прижать Асю к себе, страшным усилием всех мускулов, рвя на спине куртку о кузов, успел ее повернуть боком к радиатору.

Почему-то у ската машины зачернела куча галош, огромных, растоптанных, и детских, на красной подкладке, и почему-то непонятно, разноголосо вырывался детский плач из-под машины.

Константин, как в пелене, различал: копошились там, высовывались из-под днища тонкие ножки в чулочках, появлялись возле колес красные ребячьи пальчики, топающие в месиве грязи; оттуда несся детский вопль:

— Мама! Ма-ма! Ма-амочка!

Константин повторял хрипло:

— Сюда! Сюда!

С трудом он разжал объятия, не выпуская Асю, еще на шаг продвинулся к борту машины — и в ту же секунду толкнул ее на подножку. Она упала на нее, не вытирая слез боли, сбегающих по щекам, прикусывая губы, сочившиеся капельками крови, и молча смотрела в небо.

—Ася! Что? Что?— крикнул он.— Ася, ну что?

Она разжала губы.

— Ничего, милый... Ничего, мой мил...

— Ася! Что? Ну скажи же, скажи — больно? Живот?..

Она глотала душившие ее рыдания.

—Там... у фонаря... Мальчик!.. А люди, люди... что с ними! Мне кажется... я наступила на него. Его не успели...— Сдерживая стук зубов, она закрыла лицо руками.— Что же это... милый? Что же это? Почему это случилось? Почему? Здесь дети под машиной... Они залезли под машину. Зачем здесь дети? И тот мальчик...

Оглушенный детским воплем из-под машины, рокотом толпы, напирающей в проходе, Константин, глядя на Асю, испугался этих ярких капелек крови на губах, ее странно поднятых к животу колен и, увидев это, едва сумел выговорить:

— Его успели... Асенька. Его спасли. Ты ни на кого не наступила. Тебе показалось, родная...

Толпа чугунными катками давила на спину Константина, все плотнее притискивая его к машине, к ее крылу, к подножке, на которой полулежала Ася. Людской вал неистовым напором прорывался к проходу, наваливался сзади на машины, на Константина. А он, напрягая мускулы спины и рук, упершихся в железную дверцу грузовика, старался удержать всем своим телом натиск толпы, охранить этот уголок подножки с Асей. И видел лишь ее огромные, молящие глаза, раскрытые на половину лица от боли. Он почти не слышал крики и гул толпы, темными кругами шло в голове. «Сколько так будет — секунда? Минута?— туманно мелькнуло в его сознании.— День? Год? Всю жизнь? Я не выдержу так пяти минут... Я не чувствую рук. Что же делать? Что же делать? Я ничего не могу сделать! Неужели я не могу!.. Вот легче, стало легче...»

Сквозь пот, разъедающий глаза, он вдруг заметил под ногами цепляющиеся красные пальчики, они поползли у ската машины, и, как из серого тумана, поднялось грязное, дурное лицо девочки — она захлебывалась слезами, высовывая голову из-под машины, и, царапая ногтем по рубчатой резине колеса, звала тоненьким, комариным голосом:

— Мама... Мамочка... Я хочу к маме... Я хочу домой...

Константин увидел ее в тот момент, когда толпа, оттиснутая цепью милиционеров, качнулась назад. Он оглянулся. Знал — сейчас толпа, напираемая сзади, снова качнется вперед, забьет трещину, в нее ринутся что-то орущие милиционерам, лезущие сбоку по головам парни с ничего не видящими сизыми лицами, и приплюснут его, и сомнут девочку около ската грузовика.

Он крикнул пересохшим горлом:

— Под машину! Под машину!

Растягивая в плаче большой рот, икая, девочка повела на Константина глазами; пуговицы на ее обтрепанном пальтишке были вырваны с мясом, белые нестриженые волосы растрепанно спадали на плечи.

— Мама!.. Мамочка!.. Домой!.. Я хочу домой!..

Отжимаясь одубевшими руками от железной дверцы, он хотел еще раз крикнуть: «Под машину!», но голоса не было, и в эту минуту краем зрения увидел Асины протянутые к девочке руки, оттолкнулся всеми мускулами от дверцы, сделал шаг к скату, только на миг ощутил беспомощно слабенькую детскую ключицу и почти швырнул девочку к Асе на подножку. Успел заметить, как Ася прижала ее светлую голову к коленям,— дверца машины темной зеленой стеной повернулась перед глазами, он сделал обратный шаг к ней. Но в эту минуту страшным напором толпы его крутануло возле подножки, ударило левым боком о крыло грузовика. Он услышал удар о железо, оно, чудилось, вошло в его тело и оглушило, ожгло пронзительной болью. «Неужели? Меня? Меня? Неужели? Меня?..— огненно скользнуло в его сознании.— Меня? Не может быть! Не может быть!..»

Он почувствовал, что не может шевельнуться, и опять услышал жесткий железный хруст. Он хотел привстать на цыпочки, стараясь высвободиться, вдохнуть воздух, но тотчас его сдавило дышащими, рвущимися вокруг машины телами, откинуло на радиатор, мотнуло головой на железо. Готовый закричать от боли в боку, он схватился за радиатор, через текущий туман еще пытаясь найти лицо Аси, прикрытые ее руками светлые волосы девочки. Но не увидел их, ужасаясь тому, что он ничего не может сделать, даже воздух вдохнуть. И прохрипел, ощущая губами соленое железо радиатора:

— Под машину... Под машину, Ася! С девочкой... Под машину!

Он улавливал воющий, нечеловеческий крик, и как будто в зрачки ему лезло лицо женщины с развалившимися на два крыла черными волосами, ее раздирающий вопль:

— Сам ушел и детей моих унес! А-а!..

И голоса сквозь звон в ушах:

— Товарищи! Товарищи! Назад! Мы не пойдем! Милиция! Остановите!

— Людей... что сделали с людьми?
— Кто виноват? Кто виноват? Кто виноват во всем?
И еще голос:
— Стойте! Стойте!..
Потом все исчезло, и пустота помчала его.
Он хрипел в эту пустоту:
— Ася... Ася... Под машину! Под машину!..
А из сплошной темноты накатывался, ревел шум моря, и он ногами чувствовал удары в сотрясающиеся от грохота камни, и ноги скользили по камням к краю высоты. Он хотел отклониться назад, найти точку опоры, но его подхватило потоком, как шерстинку, понесло между грифельным небом и бурлившей пустыней океана в ревущий хаос каких-то разорванных немых голосов, в месиво приближающихся из какого-то темного коридора лиц, раскрытых ртов, воздетых рук. И в этом каменном коридоре что-то кипело, двигалось, падало, задыхалось в судорожных рыданиях: «Остановитесь!»
Он знал, что сейчас умрет — чувствовал теплую солоноватую струйку крови, стекающую у него изо рта, он глотал ее, закрыв глаза, силясь спокойно понять, кто виноват в его смерти, кто это сделал и почему он должен умереть. Он лежал, истекая кровью, среди сумеречного поля под трассами крупнокалиберных пулеметов, различая близкие голоса немцев, шагающих к нему. Надо было немного отклонить тело, собрать усилием расслабленные мускулы, вытащить пистолет из нагрудного кармана, затекшего сплошь липким, вязким. Он нащупал скользкий пистолет, который был словно обмазан жиром, пальцы нашли спусковой крючок — последнюю пулю всегда оставлял для себя, и теперь не страшно было умирать.
Он остался один на нейтралке, не дополз к своим — и все ближе, все громче раздавались над головой шаги немцев. И он слабыми рывками приближал пистолет к виску, напрягаясь опереться на локоть и выстрелить точно... рука подкосилась — он упал лицом в жесткую землю, и в эти минуты чьи-то знакомые, прохладные ладони повернули его голову, стали гладить по щекам, по лбу, кто-то плакал, кричал и звал его на помощь из каменного коридора, из хаоса голосов, из опрокинутого пепельного неба:
— Костя!.. Костя!..
А он не мог уже ответить никому. Его качало, волок-

ло куда-то, затем нечто серое, тусклое разверзнулось перед ним, и там зазвенело тягуче и непрерывно по железу, и он подумал, что смерть — это железное, бесконечное, с набегающим в уши звоном.

Но то, что показалось ему, не было смертью. Он лишь на несколько минут потерял сознание от удара боком и головой о железо машины.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

«Где Ася? Где же она? Где Ася?..»

Он раскрыл глаза, приподнялся, застонал — и сейчас же ощутил затылком подушку. Он лежал, чувствуя колючую живую боль в боку, слышал дробные звенящие звуки, легкие, брызжущие, и сначала подумал, что это обморочный звон в ушах. Но сознание было ясным.

«Я жив? Я дома? Как я очутился дома? Меня ударило о машину? А Ася, Ася?» — спросил он себя и, мучительно вспоминая, обвел взглядом комнату.

Весь белый, квадрат окна был широко залит солнцем. Раскаленной белизной оно висело над мокрыми крышами двора, и за стеклом мелькали струи, вкрадчиво стучали по карнизу; и где-то внизу бормотало, шепелявило в водосточных трубах, плескало в асфальт.

«Это утро? Идет дождь?— подумал он.— И я один? И я дома?» — снова подумал он и тогда вспомнил все, ужасаясь тому, что вспомнил.

«Она была со мной. Я помню, мы шли... Я помню — она была со мной...»

— Ася! Ася!— позвал он чужим голосом.

И, замирая, встал на ноги, пошатываясь, сделал несколько шагов и толкнул дверь в другую комнату, от слабости держась за косяк, и здесь, не в силах выговорить ни слова, уловил ее шепот сквозь шум струй по оконному стеклу:

— Костя... Я здесь.

Ася сидела на постели, поднятое навстречу лицо бледно, смертельно утомлено, брови дрожали, и выделялись лихорадочным блеском глаза, устремленные на Константина.

— Ася... ты не спала?— Он передохнул, нашел ее растерянно блестевшие ему в глаза зрачки, но не хватило

дыхания сказать в полный голос, спросил шепотом: — Что, Ася, милая? Ничего не болит?.. Ася... Как ты себя чувствуешь?

Константин не узнавал ее за одни сутки похудевшего лица, ее искусанного рта и, подавленный дикой, отчаянной мыслью, что именно он непоправимо виноват перед ней, готовый плакать, упасть перед тахтой на колени, повторял:

— Что?.. Ася... моя Ася...

Он обнял ее, приник переносицей к ее напряженной, пахнущей детской чистотой шее, трогая ее теплые волосы.

— Ася, Ася...

— Костя, что делать?— Она порывисто уткнулась носом в его висок.— Я не знаю, что я должна делать. Как мы теперь будем?

— Что ты говоришь?

— Как жить?

— Ася, не говори так. Нас трое. Ты понимаешь, нас трое.

— Костя... Я должна идти на работу? Ты должен идти на работу? Как будто ничего не случилось? Ну вот.— Она оторвалась от него, ладонями взяла его голову, всматриваясь неспокойно.— Ну вот, слава богу, только синяк. И на боку у тебя синяк. Слава богу, слава богу, что так.

— Я знаю, как жить. Я все знаю, Асенька,— заговорил Константин.— Поверь мне. Ты хочешь поверить мне? Ты веришь, что я люблю тебя?

Она, вздрагивая, гладила, ерошила его волосы на затылке.

— Не могу представить — и мы и *он* могли погибнуть...

— Ася, послушай меня...— И он с успокаивающей нежностью поцеловал ее.— Ася, все будет прекрасно. Все будет как надо. Ты должна сейчас встать и приготовить завтрак, понимаешь меня, Асенька? Так у всех начинается жизнь, правда? С завтрака. Все люди начинают день с завтрака. И мы...

Она сказала тихо:

— Костя, что же будет?

— Прекрасно будет. Главное — вот ты, и мы дома. И я здоров как бык. И я хочу есть.

— Я одну секундочку... Ты не обращай внимания. Это

просто нервы...— Она чуть в сторону повернула лицо, и он увидел: слезы поползли по ее щекам полосами. Она попыталась улыбнуться.— Я не буду. Я секундочку. Я просто не могу. Ты не смотри на это. Вот, уже. Видишь? Уже прекратилось. Я сама не люблю...— Она виновато взглянула на него влажной чернотой глаз.— Хорошо. Пусть так. Выйди на минуточку, я оденусь. Ты готовь на стол. Хотя бы поставь чашки. Я постараюсь взять себя в руки. Я сумею. Ты знаешь, что я сумею.

— Я знаю, Ася. Я знаю.

Потом он закрыл дверь своей комнаты, присел к столу и так сидел, ослабли колени, не было сил убрать постель с дивана — ломало, стягивало все тело, как будто целую ночь спал в раскаленных железных тисках, его подташнивало, и неотпускающая боль отдавалась в голове.

Ему надо было перевести дыхание, отдохнуть несколько минут, он ждал, что эти минуты отдыха и слабости кончатся, как только послышатся из другой комнаты шаги Аси, и Константин, прислушиваясь к шорохам в соседней комнате, уперся лбом в сжатый кулак, зажмуриваясь.

Низкое утреннее солнце, прорываясь из-за крыш через мелькание дождя, входило в комнату желтовато-белыми столбами.

Дождь плескал в тротуары, с мокрых перекрестков доносились гудки машин, отрывистая трель трамваев, и Константину вдруг показалось — запахло, как в детстве: теплым парком влажного асфальта, сладковатой сыростью тротуаров, дождевых озер, и в лицо ему ощутимо повеяло свежестью намокшей одежды прохожих, пережидавших грозу под каменными арками, в чужих подъездах.

«Вот и дождь,— подумал он.— Я всегда любил дождь...»

Шаги в коридоре, внятный стук в дверь заставили его поднять голову, он подумал, что это Марк Юльевич, и, пересиливая себя, сказал негромко:

— Да, войдите.

И все точно легонько сместилось, все отстранило возникшее в дверях знакомое крупное лицо с влагой дождя на лохматых бровях, затем выдвинулась из коридора массивная фигура, огромные плечи неуклюже натягивали рукава брезентового плаща.

— Федор Иванович...— сказал Константин.

Федор Иванович Плещей, косолапо переваливаясь, шел к нему от двери, грубоватый голос его загудел, казалось, наполняя комнату воздухом гаража:

— Ну, здорово! Не знаешь, что в утреннюю заступаем? Ну, почему молчишь — заболел без бюллетеня?

Константин, медленно вставая навстречу Плещею, проговорил:

— Я не мог... Я был вчера там...

— А я вот к тебе, на пару слов, если разрешишь.— Плещей снял плащ, взглядывая на Константина, небритого, осунувшегося, в незастегнутой на груди нижней рубашке.— Водки бы с тобой сейчас не мешало, конечно, лунануть для хорошего русского разговора, да на машине я. Был, значит? Давай сядем, что ли. А то стоим, как-то неудобно вроде...

— Да,— хрипловато выговорил Константин.— Вы всё знаете, что было?

— Не один я, вся Москва знает. Да вон вижу — фонарь на виске, не объясняй,— сказал Плещей густым басом.— Ну? Поэтому на работу не вышел? Или другие причины?

Константин после молчания заговорил:

— Да, Федор Иванович... Я бы очень хотел, чтобы вы видели тот момент, когда на бульваре началась давка. Я этого не забуду. Нет, не об этом я хотел... Можете ответить мне откровенно?.. Только откровенно. Как теперь будет?

— Врать бы научиться можно было, да не смог, таланту не хватило.— Плещей продул мундштук и усмехнулся.— Вот ты жив-здоров, вот я с тобой здесь сижу, а не где-нибудь в другом месте. Это главное. Понял ты, Костя? Время-то, дружище Константин, на месте не стоит. Не может оно стоять. Время — оно умнее нас... А синяки, брат, скоро пройдут! Скоро!..

И Константину в эту минуту показалось, что Плещей никогда не знал того одиночества, какое познал он за эти последние дни, и еще показалось ему, что в живых глазах Плещея, в его тяжелых плечах, распирающих поношенный пиджачок, были доброта и мужское спокойствие.

Константин проговорил:

— Скажите, Федор Иванович... Ответьте мне на один вопрос. Вы ведь давно в партии?

— С тридцать второго. А что?

— Нет, ничего. Просто так...

— Ася! — позвал Константин, глядя на дверь в другую комнату.— Я голоден, как тысяча чертей! Ты слышишь, Ася? Мы ждем тебя. У нас гость.

— Я иду. Я готова.

«Что было бы со мной, если бы не она? — опять подумал он.— За что она любит меня?»

Из другой комнаты приближались шаги.

1964

СОДЕРЖАНИЕ

Бондарев Ю. В.

В81 Последние залпы. Тишина: Повесть и роман — М.: Сов. Россия, 1980.— 560 с., 1 портр.

В однотомник лауреата Ленинской и Государственных премий Юрия Васильевича Бондарева включены повесть «Последние залпы» и роман «Тишина». Произведения эти исполнены суровой и мужественной правды войны и послевоенного времени. Герой повести «Последние залпы» принадлежит к поколению, шагнувшему на поле сражения сразу со школьной и студенческой скамьи. В романе «Тишина» это поколение вступает в мирную жизнь. Время действия романа — сложные и незабываемые послевоенные годы.

Б $\frac{70302—138}{М\text{-}105(03)80}$ 90—80 4702010200 Р2

Юрий Васильевич Бондарев

ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ

ТИШИНА

Повесть и роман

Редактор Е. Н. Янковская
Художественный редактор М. В. Таврова
Технический редактор И. И. Капитонова
Корректор Т. Б. Лысенко

ИБ № 1941
Сдано в набор 24.04.79. Подписано в печать 14.12.79. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 29,4. Уч.-изд. л. 31,18. Тираж 150.000 экз. Заказ № 341. Цена 2 р. 20 к. в бумвиниле (тираж 50.000 экз.), цена 2 р. 30 к. в коленкоре (тираж 100.000 экз.). Изд. инд. ЛХ-181.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, проезд Сапунова, 13/15, издательство «Советская Россия».

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Готовится к выпуску книга:

Кочин Н. И. **Гремячая Поляна**

Первая часть трилогии («Гремячая Поляна», «Юность», «Нижегородский откос»), удостоенной Государственной премии РСФСР в 1978 году. Действие романа разворачивается в последние предреволюционные месяцы и первые годы Советской власти в волжской деревне.